

А.Л. Налепин
Т.В. Померанская

РОЗАНОВ@etc.ru



ПСКОВ
2013

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)
Н23

**Издается при финансовой поддержке
Федерального агентства по печати
и массовым коммуникациям
в рамках Федеральной целевой программы
«Культура России (2012–2018 годы)»**

Налепин А.Л., Померанская Т.В.

Н23 Розанов@etc.ru / А.Л. Налепин, Т.В. Померанская. – Псков,
2013. – 512 с., ил.

ISBN 978-5-94542-292-6

Книга А.Л. Налепина и Т.В. Померанской, объединившая работы, связанные с творчеством В.В. Розанова, создавалась их авторами в течение последней четверти прошлого века. В книгу вошли статьи, посвященные творчеству великого русского философа, и оригинальные тексты как самого писателя, так и людей из его «ближнего круга».

УДК 821.161.1
ББК 84 (2Рос=Рус)

ISBN 978-5-94542-292-6

© А.Л. Налепин, 2013
© Т.В. Померанская, 2013
© А.Г. Стройло, оформление, 2013
© ГППО «Псковполиграф», 2013

НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО

Сегодня творческое наследие великого русского человека Василия Васильевича Розанова уже является неотъемлемой частью отечественной и мировой культуры, объективным фактом общественного сознания. Так было не всегда. Долог и тернист был путь возвращения к нам уникального художественно-философского феномена Розанова. Особенно значимым и продуктивным было это возвращение уже в наши дни, в конце XX – начале XXI века, когда были открыты новые, неизвестные ранее документы и материалы о жизни и творчестве нашего великого соотечественника.

Я искренне рад, что активными участниками этого *Розановского Возрождения* были и остаются Татьяна Владимировна Померанская и Алексей Леонидович Налепин, мои давние друзья, единомышленники, коллеги. Создавая в течение вот уже более двадцати лет уникальное издание «Российский Архив», по достоинству оцененное в 1998 году Государственной премией Российской Федерации, они, без какой-либо интеллигентской экзальтации, без суеты, спокойно и плодотворно работали и на розановской ниве гуманитарных исследований.

В результате появилась эта книга с необычным и по-розановски эпатажирующим названием «Розанов собака и так далее точка Россия», которое, как мне кажется, в достаточно полной мере отражает роль и место Василия Васильевича Розанова не только в *исторической ретроспективе*, но и в контексте *современности* и, самое важное, в *перспективе дня будущего*.

Уверен, что книга эта найдет своего верного вдумчивого читателя. Того самого вечного русского собеседника, существование которого тонко подметил в начале прошлого XX века гениальный Василий Васильевич Розанов:

«Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком...»

И всё понятно.

И не надо никаких слов.

Вот чего нельзя с *иностранцем*».

Хотелось бы пожелать этому этапному для Алексея Налепина и Татьяны Померанской труду счастливой творческой судьбы. Пусть этот труд станет той самой книгой «с острым глазком», о которой Василий Васильевич Розанов говорил как всегда гениально и просто: «Книга – это быть вместе».

Никита Михалков



РОЗАНОВ НАДОЛГО

Наш новый Бартенев, создатель «Российского Архива» Алексей Леонидович Налепин, одновременный фольклорист, американист, историк, – еще и литератор, умеющий донести до нас свои открытия простым и ясным русским языком. В литературе главный предмет его занятий – В.В. Розанов.

Этот писатель и мыслитель вошел в его домашний быт еще со студенческих лет как своего рода *locus dei*, местный бог, и с той поры стал для него и его неизменной сотрудницы и жены Татьяны Померанской предметом углубленного внимания.

Увлечение Розановым захватило к нашим дням многих. Но А.Л. Налепин сразу внес в него корректирующий взгляд. Он начал восстанавливать через Розанова одну важную, казавшуюся периферийной, линию развития русской литературы. Кратко говоря – значение мелочей. Ее обозначил Салтыков-Щедрин очерками «Мелочи жизни». Но если Гоголь, которого побаивался и недолюбливал Розанов, раскрыл перед читателем, его словами, «страшную, засасывающую силу мелочей», «Русь с одного боку»; если у Толстого с другого «боку» хлынула в литературу положительная сила тех же бесчисленных подробностей, поднимающих неразменные ценности русской жизни; если сам Розанов взялся уже защищать ценности России прямо в текущей реальности, среди как будто исчезающих навсегда «мимолетностей» и «опавших листьев», – то А.Л. Налепин первым в наши дни навел на них, можно сказать, контрольный телескоп. Что, где, когда, на самом деле, – следуя шаг в шаг за Розановым, – он стал подвергать их тщательной исторической, филологической, документальной проверке. Отсюда стал вскрываться за ними утерянный, порой нежеланный смысл.

Петр Иванович Бартенев, «Русскому Архиву» которого наследует теперь «Российский», видел в разыскании подобных неожиданных свидетельств неотменимую задачу историка и отстаивал ее даже во сне. Так,

по его словам, ему явилась однажды Екатерина и, погрозив пальцем, спросила: «...Откуда же ты это узнал?» – «А как же, матушка, вот записочка, собственноручно изволили написать».

Строгость и неопровержимая достоверность свидетельств этой книги, без сомнения, порадует читателей В.В. Розанова. Другим, еще его не знающим, она откроет, насколько жива его мысль, вернувшаяся к нам надолго.

П. Палиевский



Вместо предисловия

О БЛАГОРОДНОЙ ЛАНИ, ВЫМИСТОЙ КОРОВЕ, ЗЕЛЕНОГЛАЗОМ КОЗЛЕ И ШЕЛУДИВОЙ СОБАКЕ

Как мне хочется быть собакой.
Собакой, лошадью на дворе и оберегать Дом и хозяина.
Дом – Россия. Хозяин – «истинно русские люди».
(почти проснувшись вдруг)

В.В. Розанов. Мимолетное. Запись от 19 июня 1915 года

Мы решили назвать нашу книгу, скажем откровенно, несколько провокационно и по-розановски вызывающе: «*Розанов@etc.ru*». Выражаясь по-русски, это звучит так: «*Розанов собака и так далее точка Россия*», где знак @ означает «собаку» как разговорную номинацию, распространенную в современном русском интернет-сообществе. Надо отметить, что в России этот знак кроме «собаки» называют также «лягушкой» и «бараном». В разных странах мира этот знак, присутствующий в любом адресе электронной почты, называется по-разному, но, как правило, тоже со своим «звериным окрасом». В Германии и Голландии – «обезьяний хвост», в Финляндии – «кошкин хвост», в Венгрии – «червячок» и «поросячий хвостик», в Швеции – «хобот слона», во Франции – «улиточка», в Китае – «мышонок» и т.д. Даже на международном языке эсперанто этот символ приобрел свой «звериный окрас» и получил название «улитка».

Применительно же к творчеству Василия Васильевича Розанова слово «звериного окраса» собака, означающее не только домашнее животное семейства *псовых*, но и понятие, обладающее еще и определенной обценной окраской, имело важное художественное и эмоциональное значение.

Вообще мир животных Розанова, своего рода *розановский зоопарк*, был сказочно экзотичен и всегда трепетно им оберегаем. Даже размышляя о неизбежном своем конце, Розанов не отделял себя от своего зоопарка и напечатал в 1905 году в седьмом номере журнала «Весь» статью «Мечта в шелку», где прозвучало следующее: «Странно, сколько животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же – благородная лань, не говоря уже о вымистой (с большим выменем) корове, входили в стихию моей души... В конце концов я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благоразумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и тут сказала моя человекообразность: однако во весь путь я именно являл фигуру осла, которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу. Меня давит решительно мысль, что после наступающей старости я взойду и на «могильный холм» в той же фигуре осла и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и, главное, с чужой поклажей животного станет монументом над кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом».

Для некоторых современников Розанова его личность ассоциировалась с другими странными животными. Например, для гимназиста Михаила Пришвина молодой учитель географии в Елецкой гимназии Розанов соотносился, как ни странно, с зеленоглазым козлом, о чем он поведал позже, в 1924 году, в автобиографической повести «Курымушка»:

«На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица...

– Почему он Козел? – спросил Курымушка.

Ахилл ответил:

– Сам видишь почему: козел.

– А географию он, должно быть, знает?

– Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.

– Про Америку?

– Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает, и говорят – он сумасшедший».

Животное собака тоже присутствует в розановском зоопарке, и для многих именно его обшечное значение олицетворяло личность

великого русского писателя и мыслителя. Так, властитель дум передовой русской интеллигенции начала XX века писатель Леонид Андреев писал Алексею Максимовичу Горькому 11 (24) апреля 1912 года буквально следующее: «Но все-таки не понимаю, что за охота тебе тратить время и труд даже на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительного человека. Бывают такие шелудивые и безнадежно погибшие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно, жалко чистого камня»¹.

Поэтому «собачье» заглавие книги, посвященной противоречивому творчеству Василия Васильевича Розанова, представляется нам оправданным и даже закономерным. Кроме того, наше интернет-название, несомненно, символизирует сегодняшнее время, когда переплелись классические традиции и новые коммуникационные технологии. Авторы книги уверены, что, набрав на клавиатуре компьютера название нашей книги, читатель откроет для себя много неожиданного и неизвестного.

Немного об истории появления этой книги. Вопреки расхожему в современной интеллигентской среде мнению о якобы тотальном запрете в советское время возможности чтения книг «отлученных» от отечественной культуры русских мыслителей предреволюционных лет, следует отметить, что исследовательский интерес к личности и творчеству В.В. Розанова, самого оригинального и парадоксального мыслителя XX столетия, возник не сегодня, а именно в советское время.

Случилось это в далеком 1966 году на филологическом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, когда нам посчастливилось стать участниками знаменитого спецкурса «Русский реализм конца XIX – начала XX века», который блистательно читал молодой **Петр Васильевич Палиевский**. Именно тогда мы впервые услышали имена многих неизвестных нам деятелей русской культуры, в том числе и В.В. Розанова. Тогда и возник сначала читательский, а затем и исследовательский интерес к творчеству нашего великого соотечественника. Его книги были доступны в знаменитой и любимой Исторической библиотеке, где мы читали их вдохновенно и целеустремленно. Поэтому не правы те, кто утверждает, что книги В.В. Розанова лежали под спудом в советских спецхранах. Конечно, они не пропагандировались и не цитировались в тогдашних учебных пособиях, но исчезновение

¹ Литературное наследство. Т. 72. М.: Изд-во АН СССР, 1965. С. 341.

розановских книг из каталогов библиотек случилось позднее, уже на излете семидесятых годов XX века, когда дряхлеющая Власть вдруг осознала опасности, от этих странных книг исходящие. Тот, кто хотел в те годы читать книги В.В. Розанова, всегда так или иначе «дотягивался» до них, а кому его творчество было безразлично и «не грело душу», тот этих книг не читал вовсе, точно так же, как и сегодня, в эпоху нравственной неопределенности и культурного безвременья.

Именно в 60–70-е годы прошлого века, «когда мы были молодые», сложилась сплоченная когорта исследователей творчества В.В. Розанова, которая печатно заявила о себе позже, в девяностые годы прошлого столетия. Увы, «иных уж нет, а те далече», слишком много воды утекло с тех благословенных лет, когда мы узнавали своих розановских единомышленников по одной лишь розановской фразе, розановскому образу, розановскому слову. Хотелось бы вспомнить имена некоторых безвременно ушедших близких нам по духу друзей, с которыми мы вместе готовили триумфальное возвращение творчества Василия Васильевича Розанова сначала в культурное пространство СССР, а затем и России.

Это **Всеволод Иванович Сахаров** (1946–2009), тогда для всех нас просто Сева Сахаров, талантливый филолог-энциклопедист, блестящий и бескомпромиссный полемист, будущий доктор филологических наук, и, конечно же, «ушедший на взлете» наш добрый друг, филолог от Бога, один из главных розановских просветителей «первого призыва» **Михаил Тихонович Палиевский** (1947–1983), который навсегда так и остался для нас молодым Мишей Палиевским. Его светлой памяти еще в 1988 году один из авторов этой книги посвятил одну из первых в СССР статей о творчестве Розанова, а также замеченную тогдашним культурным сообществом публикацию «пушкинских статей» Розанова в первом номере журнала «Литературная учеба».

«Как молоды мы были» – и потому без всякой надежды могли лишь мечтать, что когда-нибудь, в далеком завтра, хотя бы малая частица великого розановского наследия к нам вернется. В те давние легендарные времена активного постижения розановского феномена возвращение этого «неудобного» автора казалось фактом невероятным. Однако все-таки это случилось, как всегда в России вдруг и сразу, лавинообразно и неожиданно, или, как сказал бы сам Василий Васильевич, «почти проснувшись вдруг». И слава Богу, что

так произошло в России, в стране, которую Розанов так беззаветно любил и боготворил.

Наша книга объединила разные в жанровом своеобразии работы, так или иначе связанные с творчеством Василия Васильевича Розанова, созданные их авторами (как совместно, так и отдельно) в течение последних двадцати лет. Однако независимо от этого для нас это все-таки «Единая Книга», отразившая наш общий творческий процесс, в котором ее авторы существовали в постоянном творческом резонансе и взаимовлиянии. Необходимо особо подчеркнуть, что работа одного из авторов проходила в рамках так называемого конкретного литературоведения, ее выводы неизменно корректировались текстологическими изысканиями другого – и наоборот. Нам кажется, что результаты такого человеческого и творческого содружества были плодотворны и стали нашим скромным филологическим вкладом в становление отечественного розановедения.

Особо следует выделить введение в научный оборот ранее неизвестных текстов Розанова (в частности, неизвестных статей писателя, а также его писем к К.Н. Леонтьеву, П.П. Перцову и другим), малоизвестных фактов его биографии (например, несостоявшееся отлучение его от Церкви), биографий людей из его окружения (материалы к биографии Лидочки Хохловой) и многое другое.

Хотелось бы обратить особое внимание на публикацию в этой книге писем Розанова к Леонтьеву в исчерпывающем контексте известных писем Леонтьева к Розанову, что придало их переписке законченный смысл.

Помещенные в книге статьи касаются многих перспективных направлений в отечественном розановедении. Важным представляются наши наблюдения над генезисом стилистического своеобразия Розанова как писателя. Становится очевидным, что эти особенности ведут свое прямое происхождение именно от эмоциональных розановских маргиналий на полях книг и особенно писем, в огромном количестве и по разному поводу присылавшихся писателю. Несомненно, что именно письма Константина Николаевича Леонтьева, которыми он так щедро «одаривал» своего молодого единомышленника, стали первопричиной стилистического своеобразия жанра розановских «Опавших листьев».

Таким же важным представляются и наблюдения над «зеркальными» мотивами в творчестве Розанова. В разные психологические моменты человек, вглядываясь в зеркало, видит в нем либо отраже-

ние образа Божия, либо усмешку Дьявола. В русской литературе начала XX столетия Розанов был, пожалуй, единственным писателем, кто в образе своего «зеркального двойника» увидел не сакральный ноумен, а в первую очередь собеседника, друга-читателя. Если литература, например, русского зарубежья «перед зеркалом» продолжала по-интеллигентски рефлексировать, как в стихотворении 1924 года «Перед зеркалом» Владислава Ходасевича:

Я, я, я. Что за дикое слово!
Неужели вон тот – это я?
Разве мама любила такого,
Желто-серого, полуседого
И всезнающего, как змея?¹

то молодая энергичная советская литература в поэме 1925 года Сергея Есенина «Черный человек» решила эти проблемы по-пролетарски радикально, ее герой это «сакральное зеркало» в припадке безумия просто-напросто разбивал:

...Месяц умер,
Синеет в окошко рассвет.
Ах ты, ночь!
Что ты, ночь, наковеркала?
Я в цилиндре стою.
Никого со мной нет.
Я один...
И разбитое зеркало...²

Когда-то в далеком 1970 году один из авторов этой книги недолгое время работал завлитом (заведующим литературной частью) в Московском театре имени Ленинского комсомола. ЗАГС (Отдел записи актов гражданского состояния) Свердловского района города Москвы обратился к руководству театра, а те, в свою очередь, к своему завлиту с просьбой написать неформальный текст-пожелание молодоженам, вступающим в законный брак. Честно говоря, придумывать такой текст не было никакого желания, и потому текст был просто списан из приобретенного за 70 рублей (немалые, кстати, по тем временам деньги) на книжном черном рынке в Проезде Художественного Театра первого издания книги Василия Васильевича Розанова «Уединенное» (сегодня это *рапитет*, тогда – нет, просто

¹ Ходасевич В.Ф. Стихотворения. Л., 1989. С. 174.

² Есенин С.А. Собрание сочинений: в 5 т. Т. 3. М., 1962. С. 214.

старая книжка): «Живи каждый день так, как бы ты жил всю жизнь именно для этого дня».

Сотрудники Свердловского ЗАГСа города Москвы от всей души благодарили руководство театра, а те, в свою очередь, своего завлита за такие теплые, хорошие, искренние слова, которых, оказывается, очень мало на этом свете. Так «отверженный» русский писатель в советское время невольно продолжил всегда волновавшую его тему святости русского брака.

Сегодня пришло время Василия Васильевича Розанова. Время читать Розанова, время читать о Розанове, ибо делать это никогда не поздно. Как говорил когда-то Сенека, его мудрый древнеримский собрат по перу, «*alio lectio ingenium*», что значит «чтение питает ум».

В книгу вошли работы, посвященные творчеству В.В. Розанова, вводящие в научный оборот ранее неизвестные факты биографии и тексты как самого писателя, так и людей из его «ближнего круга», а также материалы, так или иначе соприкасающиеся с розановской темой во всем своем творческом многообразии. В соответствии с этими задачами книга состоит из трех разделов: «**Материалы и исследования**», «**Розанов. Тексты**» и «**В круге В.В. Розанова**».



МАТЕРИАЛЫ



**И
ИССЛЕДОВАНИЯ**

Памяти Михаила Тихоновича Палиевского

«РАЗНОЦВЕТНАЯ ДУША» ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА

Два ангела сидят у меня на плечах:
ангел смеха и ангел слез.

И их вечное пререкание – моя жизнь.

*Из «Уединенного» Василия Васильевича
Розанова*

Вынесенные в заголовок слова принадлежат Алексею Максимовичу Горькому. Они о Василии Васильевиче Розанове (1856–1919), пожалуй, самом противоречивом русском писателе на рубеже XIX–XX веков. Полный спектр чувств и эмоций вызывали у современников розановские сочинения, они одновременно притягивали и отталкивали даже привыкшего ко всему российского читателя. Уж коль речь зашла о цветовой символике применительно к творчеству Розанова, то уместно вспомнить еще одну цитату из Горького: «А к Вам у меня – сложное чувство, целая радуга чувств, с яркой зеленой полоской злости. Злость – это когда Вы лежачих бьете, занятие Вас недостойное»¹. Неоднозначной была оценка и других современников, которых обескураживала и именно поэтому раздражала невозможность поставить творчество Розанова в какие-либо определенные эстетические, идеологические и иные рамки. Ни на кого не походил этот «задумчивый странник», как окрестила его З.Н. Гиппиус, перефразировав, правда, самого Розанова («вечный странник»). Действительно, мнения об этом писателе были самые разные. Вот, например, из письма Леонида Андреева Горькому от 11 (24) апреля 1912 года: «Но все-таки не понимаю, что за охота тебе тратить время и труд даже на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительного человека. Бывают такие шелудивые и

¹ Письма А.М. Горького к В.В. Розанову и его пометы на книгах Розанова // Контекст-1978. Литературно-теоретические исследования. М.: Наука, 1978. С. 304. (Далее в сносках: Письма А.М. Горького к В.В. Розанову.)

безнадежно погибшие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно, жалко чистого камня»¹.

А это уже вовсе противоположное. Алексей Ремизов по следам розановской кончины: «Человек измеряется в высоту и ширину. А есть еще и мера – рост боковой. Об этом часто. Но без этого Розанов – не Розанов. О Розанове все можно говорить – «он уж не знает страха смутиться перед людьми». И надо: Розанов один – сам по себе – на своей воле»².

Или вот еще из «Живых лиц» слова наблюдательной и язвительной Зинаиды Николаевны Гиппиус: «...он был до такой степени не в ряд других людей, до такой степени стоял не между ними, а около них, что его скорее можно назвать «явлением», нежели «человеком». И уж никак не «писателем» – что он за писатель! Писанье, или, по его слову, «выговариванье», было у него просто функцией. Организм дышит и делает это дело необыкновенно хорошо, точно и постоянно. Так Розанов писал – «выговаривал» – все, что ощущал, и все, что в себе видел, а глядел он в себя постоянно, пристально»³.

Все же неприятие Розанова преобладало: беспринципный циник, двурушник, антисемит, нововременец и даже «декадент из кухни» – вот далеко не полный перечень «титолов», которыми наградило Розанова передовое российское общество того времени. Самое удивительное то, что определения эти соответствовали этике общественного поведения писателя. Но это всего лишь половина правды, а она порою хуже лжи. Действительно, беспринципен – ведь часто на одну и ту же тему публиковал он чуть ли не одновременно абсолютно противоположные по идейным установкам статьи: утром на страницах газеты «Новое время» ругал либералов, а вечером на страницах какого-либо «прогрессивного» издания поддерживал их. Причем даже не скрывал этого, и столичный интеллигент прекрасно знал, что критик Розанов и критик Варварин – это одно и то же лицо. Впрочем, он не только не скрывал имени, но и сам задумывался над причинами своего обескураживающего поведения: «Почему я так сержусь на радикалов? Сам не знаю. Люблю ли я консерваторов? Нет. Что со мною? Не знаю. В каком-то недоумении»⁴. Или вот еще об уважаемых всеми коллегах по литературному делу: «Что я все нападаю на Венгерова

¹ Литературное наследство. Т. 72. М.: Изд-во АН СССР, 1965. С. 341.

² Ремизов А.М. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 9.

³ Гиппиус З.Н. Живые лица. Выпуск второй. Прага, 1925. С. 9.

⁴ Розанов В.В. Уединенное. СПб., 1912. С. 272. (Далее в сносках: Уединенное.)

и Кареева. Это даже мелочно... Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели». Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном общении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот – уже пишу (мысленно) огненную статью». И далее: «Ужасно много гнева прошло в моей литературной деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)»¹.

Конечно же, это выходило за рамки всякого приличия, такое говорить (а уж тем более печатать) безнравственно, «неинтеллигентно». Но если бы такое он говорил только о других, а то ведь и о себе тоже, да еще более хлестко: «Во мне ужасно много гниды, копошащейся около корней волос. Невидимое и отвратительное. Отчасти отсюда и глубина моя»².

Действительно, был он ни на кого не похож, стоял не среди людей, а сбоку и всякой «тенденции», системе, особенно господствующей (неважно – в сознании ли, идеологии или даже в общественном настроении), сопротивлялся отчаянно. В «Литературных изгнанниках», книге, посвященной литературным и общественным судьбам таких же, как и он сам, «изгнанных» из литературы вследствие «реакционного», по мнению «прогрессивной» интеллигенции тех лет, мировоззрения писателей (Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, Константин Николаевич Леонтьев и другие), Розанов обмолвился об истоках своей общественной «беспринципности»: «Форма: а я – бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался втайне души комичным, и со всяким «долгом» мне втайне души хотелось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме трагического долга)»³.

Запомним этот «трагический долг», ибо только в отношении его он был честен и серьезен. «Проклятый» этот вопрос жег его всю жизнь, заставлял мучиться загадкой смысла человеческого бытия, которая так никогда и не будет разгадана, и дыхание бездны ощущал он постоянно, она притягивала и пугала его. «Я думал, что все бессмертно. И пел песни. Теперь я знаю, что все кончится. И песнь умолкла»⁴. Эти строчки, открывшие Короб розановских

¹ *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 27–28. (Далее в сносках: Опавшие листья. Короб 2-й.)

² *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб первый. СПб., 1913. С. 446. (Далее в сносках: Опавшие листья.)

³ *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913. С. 145–146.

⁴ Опавшие листья. С. 1.

«Опавших листьев», в какой-то степени наиболее точно отразили вечную его думу, стали темой всего его странного и неудобного для литературного обывателя творчества.

Даже многочисленные антисемитские эскапады Розанова были «нетрадиционны». Да, были юдофобские статьи, особенно в связи с делом Бейлиса, которые позже были сведены в известную своей тенденциозностью книгу «Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови»¹, но одновременно с этим был глубочайший интерес к культуре и истории одного из древнейших народов мира. Достаточно познакомиться с его работами по культуре Востока, начиная от многочисленных статей и брошюр, посвященных культуре древнего Израиля, и кончая выпусками «Восточных мотивов»², чтобы понять – Розанов был какой-то «ненормальный» антисемит, непонятным образом сочетавший юдофобство с юдофильством, имевший немало друзей и почитателей из среды еврейской интеллигенции (Лев Шестов, Михаил Осипович Гершензон и многие другие) и к своему шовинизму относившийся с «юмором висельника», что видно, например, из его письма к А.М. Горькому: «Я Вам не писал, п.ч. очень замотался, и... зачерносотенничался»³.

Он был искренен во всем, даже в беспринципности, что многими его современниками воспринималось как неприкрытый цинизм и безнравственность. Тем более сам он все время вроде бы поддакивал читателю: «Даже не знаю, через «ять» или через «е» пишется «нравственность». И далее: «И кто у нее папаша был – не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее – ничегошеньки не знаю»⁴. Поэтому от него можно было ждать чего угодно, он был непредсказуем в своих «вывертах» и «шатаниях». Так же естественно, как и антисемитские выпады из уст этого человека, который общественностью тех лет характеризовался как яркий шовинист, звучали и раздражительные для русского уха слова: «Вечно мечтает, всегда одна мысль – как бы уклониться от работы (русские)»⁵. Или такое, например: «Симпатичный шалопай – да это почти господствующий тип у русских»⁶.

¹ *Розанов В.В.* Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови. СПб., 1914.

² *Розанов В.В.* Из восточных мотивов. Пг., 1916–1917; *Розанов В.В.* Библейская поэзия. СПб., 1912.

³ Беседа. 1923. № 2. С. 410.

⁴ Уединенное. С. 155.

⁵ Уединенное. С. 72.

⁶ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 106.

Нет, Розанов на какую-то определенную полочку не положишь, для того чтобы как-то приблизиться к пониманию его феномена, мифологическое мышление, которое, как известно, оперирует контрастными понятиями (хороший – плохой), не подходит. Здесь есть над чем подумать, особенно если хочешь избежать скропалительных выводов. Как правило, все попытки найти какие-либо аналоги или параллели для творчества Розанова оказывались бесполезными. Обычно аналоги брались европейские, но розановское наследие неуловимо ускользало из предложенной схемы. Одно время он был «увенчан» прозвищем «русский Ницше», которое, по свидетельству Эриха Федоровича Голлербаха, «не казалось ему ни удачным, ни лестным»¹. Однако розановский индивидуализм был совсем иного рода, он был замешен на сострадании к «маленькому человеку». «С основания мира, – писал Розанов, – было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся – философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает сологубовским зудом: «кого бы мне посечь». Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы русский и от себя заговорил в духе: «падающего еще толкни» – его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали читать»².

Так же мало что объяснял и другой ярлык, навешанный на Розанова, – «русский Фрейд». Многие положения фрейдовского психоанализа были, правда, им предвосхищены (о природе художественного творчества, например), но это был, так сказать, «побочный продукт» его долгих изысканий в области «религии пола».

Невозможность сведения взглядов Розанова к какой-либо логической схеме понимали многие и потому избегали обобщающих оценок. Ведь каждая последующая розановская строка часто полностью опровергала предыдущую, в его взглядах отсутствовала общепризнанная логика, и уж совсем невозможно было вычлнить у него какую-либо *моноидею*. Он постоянно ускользал даже от самого пристального исследовательского взгляда, и это также было особенностью его творческого дара. Поэтому совсем не случайно, например, А.М. Горький в ответ на настойчивую просьбу Надежды Васильевны Розановой написать очерк о ее отце отвечал ей в письме от 29 июня 1919 года: «Написать очерк о нем – не решаюсь, ибо уве-

¹ Голлербах Э.Ф. В.В. Розанов. Жизнь и творчество. Пг., 1922. С. 5.

² Уединенное. С. 121.

рен, что это мне не по силам. Я считаю В.В. гениальным человеком, замечательнейшим мыслителем, в мыслях его много совершенно чуждого, а – порою – даже враждебного моей душе, и – с этим вместе – он любимейший писатель мой. Столь сложное мое отношение к нему требует суждений очень точно разработанных, очень продуманных, – на что я сейчас никак не способен. Когда-то я, несомненно, напишу о нем, а сейчас – решительно отказываюсь»¹.

Не решилась проанализировать созданное Розановым и З.Н. Гиппиус. Она ограничилась воспоминаниями о встречах с ним, а попытки целостного осмысления розановского творчества отменяла решительно: «Что еще писать о Розанове? Он сам о себе написал. И так написал, как никто до него не мог, и после него не сможет, потому что... Очень много «потому что»»².

Горьковское желание «когда-то» написать о Розанове осуществилось лишь в романе «Жизнь Клима Самгина»; его образ остался запечатленным и в автобиографической повести М.М. Пришвина «Курымушка». Розанов преподавал географию в гимназии, где учился будущий автор «Осударевой дороги», «Кашеевой цепи», «Кладовой солнца» и, конечно же, «Незабудок», книги, до сих пор так и не оцененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских «Опавших листьев». Розанов глазами ребенка – это особенный портрет, где невозможны ни поза, ни ложь:

«На другой день, как всегда, очень странный, пришел в класс Козел; весь он был лицом ровно-розовый, с торчащими в разные стороны рыжими волосами, глаза маленькие, зеленые и острые, зубы совсем черные и далеко брызгаются слюной, нога всегда заложена за ногу, и кончик нижней ноги дрожит, под ней дрожит кафедра, под кафедрой дрожит половица...

– Почему он Козел? – спросил Курымушка.

Ахилл ответил:

– Сам видишь почему: козел.

– А географию он, должно быть, знает?

– Ну, еще бы! Это самый ученый: у него есть своя книга.

– Про Америку?

– Нет, какая-то о понимании, и так, что никто не понимает, и говорят – он сумасшедший»³.

¹ Письма А.М. Горького к В.В. Розанову. С. 323.

² Гиппиус З.Н. Живые лица. Выпуск второй. С. 9.

³ Пришвин М.М. Курымушка. М., 1986. С. 106.

Речь идет об одной из первых книг Розанова «О понимании»¹, имевшей мудреный тяжеловесный подзаголовок «Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Легкость стиля, доходящая до косноязычия, до «каши во рту», фамильярное отношение с читателем – ведь «с читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как зареветь. Зрелище не из прекрасных...»² – все эти особенности розановского письма еще впереди, когда он придет к невероятному выводу, что «нечаянные восклицания» его души и есть истинная литература.

Диапазон розановских интересов был огромен. Собственно, как в жизни каждого из нас – всему найдется свое место (и быт, и искусство, и вопросы веры, и политика, наконец, – вечная тема бесконечных российских разговоров).

Читатель, хоть однажды встретившийся с розановскими книгами, обычно бывает ошеломлен разноцветьем тем и проблем, а также той манерой повествования, которая была присуща только ему.

Впрочем, «повествование», «тема», «проблема» – эти слова не для розановского письма. Привыкшие к определенной отчужденности литературы от жизни (при всех декларативных заявлениях, что литература есть художественное отражение бытия), к некоторой пусть условной, но дистанции между пишущим и читающим, нас озадачивает, когда эти каноны рушатся. После тургеневских красот и толстовского олимпизма «бормотание» и косноязычие главных книг писателя (опять не то слово!), куда к тому же вклеены очень личные фотографии всей большой розановской семьи, кажется «воспитанному» на большой литературе читателю чем-то даже кощунственным. «Боже мой, – восклицает раздраженный первооткрыватель «Уединенного» или «Опавших листьев», – да какой же он, к черту, писатель. Ни сюжета, ни образов, ни литературного стиля. Так и я могу». Однако никто так и не смог, хотя безуспешные попытки предпринимались неоднократно. Они продолжаются и по сей день, но, увы, всё тщетно.

Литературное творчество было для Розанова физиологической потребностью. Он действительно писал как дышал – естественно и свободно. «Талант писательства, – признается он в «Опавших листьях», – в кончиках пальцев, а тайна оратора в кончике его языка.

¹ Розанов В.В. О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания. М., 1886.

² Уединенное. С. 2–3.

Два эти таланта, ораторства и писательства, никогда не совмещаются. В обоих случаях ум играет очень мало роли; это – справочная библиотека, контора, бюро и проч. Но не пафос и не талант, который исключительно телесен»¹.

О магии розановского слова говорили и писали многие – с восхищением, недоумением, а чаще всего с досадой. Но необъяснимым было одно – почему всякий, соприкоснувшись с розановским творчеством, воспринимал его очень лично, почему оно никого не оставляло равнодушным?

Причин здесь много, но главная, пожалуй, в том, что «Розанов» или, если хотите, «розановщина» сидит в каждом из нас. Стараясь упрятать глубоко внутри себя все свои червоточины, стараясь казаться лучше, чем мы есть на самом деле, мы уходим от прямого зеркала, говорящего неллицеприятную правду, и все же не можем не оглянуться назад. А там стоит невысокий рыжеватый человек, не стесняющийся сказать о себе: «С выпученными глазами и облизывающийся – вот я. Некрасиво? Что делать?»².

И вовсе не бесстыдство и цинизм, а пронзительная жалость к человеку звучит в самообнажении, на которое способен не каждый исповедующийся: «Моя душа сплетена из грязи, нежности и грусти. Или еще: это – золотые рыбки, «играющие на солнце», но помещенные в аквариуме, наполненном навозной жижицей. И не задыхаются. Даже «тем паче»... Неправдоподобно. И однако – так»³. Виктор Шкловский, влияние Розанова на которого в плане стилистическом было огромно, как-то заметил, что произведения Розанова «интимные до оскорбления»⁴. Это действительно так, но и не так одновременно, ибо нельзя оскорбиться за самого себя.

«Саморазоблачения» Розанова создали ему славу того самого жесточайшего индивидуалиста, циничного эгоиста, каким он, кстати сказать, никогда не был. В этом может убедиться внимательный и, главное, чуткий читатель его произведений.

Это был ранимый, чуткий и внимательный созерцатель, который печалился и плакал о судьбе каждого маленького человека, в том числе и о своей собственной. И не оскорбление человека, а жалость к нему звучала даже в таких «невозвращающихся» его строчках (для сравнения вспомним горьковское «Человек – это звучит гордо...»),

¹ Опавшие листья. С. 399.

² Опавшие листья. Короб 2-й. С. 8.

³ Уединенное. С. 181.

⁴ Шкловский В.Б. Розанов // Сюжет как явление стиля. Пг.: ОПОЯЗ, 1921. С. 8.

стилистически созвучных писательской речи Ф.М. Достоевского: «Родила червяшка червяшку. Червяшка поползла. Потом умерла. Вот наша жизнь»¹.

У Розанова было много книг, и каждую он считал главной для себя: «Я задыхаюсь от мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение»². В каждой книге – его жизнь и душа. «Литературные изгнанники»³ – это в какой-то мере его собственная литературная судьба; «Темный лик. Метафизика христианства»⁴ – о мучительных поисках «религии жизни»; «Среди художников»⁵ – о том, что было близко ему в литературе и искусстве. Каждая книга была своеобразным подведением жизненных итогов, результат долгих поисков и размышлений. Всякий раз розановская книга являла новую ипостась его личности. И все же «разноцветная душа» его, о которой говорил А.М. Горький, душа мятущаяся и противоречивая, наиболее полно раскрылась в так называемой «исповедальной прозе» писателя – в «Уединенном», двух Коробах «Опавших листьев», в ряде других, как опубликованных, так и хранящихся в архивах («Мимолетное», «Смертное», «Из последних листьев», «Сахарна», «После Сахарны» и др.). По сути, все это была одна книга, ибо «Уединенное», где на обложке был изображен маленький грустный человечек и могильный крестик на горизонте, создало особый жанр литературы, возможности которого оказались неисчерпаемы.

Тютчевское *«мысль изреченная есть ложь»* в какой-то мере отражает специфику розановского письма. Писатель фиксирует на бумаге вовсе не то, что задумал написать, ибо между «подумал» и «сел за стол» прошло мгновение, а это почти вечность. Розанов сказал об этом тонко и поэтично, в высшем смысле этого слова, то есть просто и человечно: «Шумит ветер в полночь и несет листья... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полу-мысли, полу-чувства... Которые будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения, – без всего постороннего... Просто, – «душа живет»... т. е. «жила», «дохнула»... С давнего времени мне эти «нечаянные восклицания» почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой)

¹ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 317–318.

² Уединенное. С. 125.

³ Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913.

⁴ Розанов В.В. Темный лик. Метафизика христианства. СПб., 1911.

⁵ Розанов В.В. Среди художников. СПб., 1914.

заносить, – и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать»¹. Записи свои Розанов сопровождал пояснениями «где записано» и даже «на чем записано»: «вагон», «в нашей редакции», «на Троицком мосту», «за нумизматикой», «на обороте транспаранта», «в постели ночью» и даже в некоторых совсем уж неожиданных местах.

Все это шокировало, ибо было против всех литературных канонов. Но Розанов как раз и мыслил литературу иной: «У нас литература так слилась с печатью, что мы совсем забываем, что она была до печати и в сущности вовсе не для опубликования. Литература родилась «про себя» (молча) и для себя; и уж потом стала печататься. Но это – одна техника»². Именно поэтому «все мои «выходки» и все подробности: что я не могу представить литературу «вне себя», напр., вне «своей комнаты»³.

Интимный характер присутствовал во всем – даже в подзаголовке «Уединенного»: «Почти на праве рукописи». Розановская интимность часто оскорбляла читателя, который каноны читал, в то время как Розанов буквально глумился над «святым»: «Литературу я чувствую как штаны. Так же близко и вообще «как свое». Их бережешь, ценишь, «всегда в них» (постоянно пишу). Но что же с ними церемониться???!!!»⁴.

Розановский стиль нельзя было спутать ни с чьим другим, он был непредсказуем и неподражаем, а о тайне стиля сказал просто: «Стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь»⁵.

Трудно представить себе судьбу более печальную, чем розановская. Человек, всю жизнь пестовавший семью, живший для «гнезда своего» и страшившийся предстоящей утраты, получил все сполна, даже голодную смерть посреди взметнувшейся социальной бури. «Пирожка бы... Творожка бы» – эти слова, прозвучавшие со страниц предсмертных розановских писем, также нашли свое место в вечной розановской книге, которую он писал всю жизнь.

Умирал он неистово, как и жил, в смятении и сомнении. Казалось ему, что за грехи его, за отступничество от веры посланы ему эти испытания. Но даже смерть, когда человек наконец-то остается наедине с самим собой, когда наступает мгновение дей-

¹ Уединенное. С. 1–2.

² Уединенное. С. 107.

³ Опавшие листья. С. 395.

⁴ Там же.

⁵ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 428.

ствительно «уединенное», стала последним фактом творческой судьбы Розанова.

Бряд ли вся *танатология* – наука, изучающая смерть, процесс умирания живого, – имеет в своем распоряжении более ошеломляющие материалы. Умиравший Розанов надиктовывал своей дочери все субъективные ощущения своего угасания, и именно читая эти невероятные строки, наконец-то кожей понимаешь, что не было для него сочинительства, а была жизнь, смысл которой бесконечен.

В коричневой тетради с пожелтевшими и обтрепавшимися листами, озаглавленной «Последние мысли умирающего Розанова», рукой его дочери написаны эти страшные слова: «От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе умирающего. Говорят именно фигурно, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее (нрзб. – ощущение?) так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то страшным выпотом, которое нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой...» И уже на следующий день: «Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовное тоже ничего не приходит на ум. Адская мука – вот она налицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса – воистину узнаю их образ»¹.

Розанов умер на руках П.А. Флоренского под шапочкой преподающего Сергия Радонежского и лег в землю Троице-Сергиевской лавры рядом с могилой другого «изгнанника» – Константина Леонтьева.

Даже в нелегкие годы Гражданской войны, когда рушилась культура прошлого и судьба отдельной личности значила немного, розановское творчество, как, впрочем, и личность самого писателя, притягивали к себе все новых и новых людей.

В холодном Петрограде было объявлено о подготовке полного собрания сочинений Розанова. Значит, новая культура нуждалась в его художественном наследии. Но вопреки всем ожиданиям розановское собрание так никогда и не состоялось – уж больно противоречива была эта личность, в рамки не укладывающаяся.

¹ РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 244.

Судьбу свою посмертную Розанов предугадал еще в «Уединенном»: «Несите, несите, братцы: что делать – помер. Сказано: «не жизнь, а жисть». Не трясите очень. Впрочем, не смущайтесь, если и тряхнете. Всю жизнь трясло. Покурить бы, да неудобно: официальное положение. Покойник в гробу должен быть «руки по швам». Я всю жизнь «руки по швам» (черт знает перед кем). Закапывайте, пожалуйста, поскорее и убирайтесь к черту с вашей официальностью. Непременно в земле скомкаю саван и коленку выставлю вперед. Скажут: «Иди на страшный суд». Я скажу: «Не пойду». – «Страшно?» – «Ничего не страшно, а просто не хочу идти. Я хочу курить. Дайте адского уголька зажечь папироску». – «У вас Стамболи?» – «Стамболи». – «Здесь больше употребляют Асмолова. Национальное»¹. Именно это выставленное «коленко» и помешало Розанову благостно войти в пантеон отечественной культуры.

Однако «выверты» розановской судьбы на этом не закончились. В апреле 1912 года А.М. Горький писал Розанову с Капри: «Если же переживу Вас – пошлю на могилу Вам прекрасных цветов, – прекрасных, как некоторые искры Вашей столь красиво тлеющей, сгорающей души»². Алексею Максимовичу Горькому так и не пришлось увидеть розановскую могилу.

В середине двадцатых годов кладбище Черниговского монастыря, где находилась могила Розанова (как и Константина Леонтьева), было уничтожено. О случившемся Горький, находившийся в то время в Сорренто, узнал из письма М.М. Пришвина, который, в частности, писал: «Розанов лежит, как шило в мешке»³. В своем ответе от 15 мая 1927 года Горький в который уже раз размышлял о розановской судьбе: «Верно, Михаил Михайлович, сказали Вы о Розанове, что он, как «шила в мешке – не утаишь», верно! Интереснейший и почти гениальный человек был он. Я с ним не встречался, но переписьвался одно время и очень любил читать его противопожарную литературу. Удивляло меня: как эти неохристиане Религиозно-философского общества могли некоторое время считать своим человеком его – яростного врага Христа и христианского гуманизма? Он, у нас, был первым предвозвестником гуманизма, и Блок в этом вопросе шел от него, так же как от него шел и Гершензон в своем отрицании культуры, особенно резко выразившемся в «Переписке

¹ Уединенное. С. 287.

² Письма А.М. Горького к В.В. Розанову. С. 307.

³ Литературное наследство. Т. 70. М.: Изд-во АН СССР, 1963. С. 346.

из двух углов». В этом смысле и в этой области – борьба против Христа – Розанов был одним из наших «духовных» революционеров, – на мой взгляд, и хотя он был – из робости – косноязычен, но по прямолинейности мыслил не хуже Константина Леонтьева и Михаила Бакунина»¹.

Сегодня можно объективно и спокойно оценить духовное наследие Василия Васильевича Розанова. Впрочем, нет, спокойствие уходит, когда соприкасаешься с любой написанной им строкой. Его книги и по сей день вызывают смешанную, до странности противоположную гамму чувств и эмоций – восторг и негодование, смех и слезы, любовь и ненависть. Потому что он был искренен во всем – и в добродетели, и в пороке, боготворил землю, на которой родился, – это ведь «не на публику» из последних розановских писем: «До какого предела мы должны любить Россию... до истязания, до истязания самой души своей. Мы должны любить все до «наоборот нашему мнению», «убеждению», «голове»².

Нет никакого сомнения, что и сегодня произведения Розанова вызовут самые разноречивые суждения и оценки. Это естественно для такой неординарной личности, каким был он. Больше будет противников – это уже было при его жизни, и уж вовсе невозможно себе представить апологета Розанова. Такое бы вызвало удивление и смех даже у самого Василия Васильевича, да еще наверняка вернул бы насчет своего сторонника такое, что апологет наверняка бы навсегда удалился в более многочисленный стан Розанова не приемлющих. Он был мятежник, еретик, что прозорливо заметил еще Горький: «Вовсе Вы не консерватор, а – революционерше и в лучшем смысле слова, в настоящем русском, как Васька Буслаев»³.

В истории отечественной культуры Розанов занял свое, только ему предназначенное место. О нем можно умалчивать, как это было вплоть до недавнего времени, можно трактовать его чересчур упрощенно, следуя по стопам честного, но достаточно прямолинейного народника Н.К. Михайловского⁴, можно по незнанию или сознательно игнорировать его вклад в развитие целого ряда литературных жанров⁵, но розановская эстетика как прорыв в новое худо-

¹ Там же.

² *Розанов В.В.* Письма к Э.Ф. Голлербаху // Стрелец. Сборник третий и последний. Пг., 1922. С. 48–49.

³ Письма А.М. Горького к В.В. Розанову. С. 306.

⁴ См.: *Ерофеев В.В.* Розанов против Гоголя // Вопросы литературы. 1987. № 8.

⁵ См.: *Эпштейн М.Н.* Законы свободного жанра. Эссеистика и эссеизм в культуре нового времени // Вопросы литературы. 1987. № 7.

жественное пространство тем не менее существует вполне реально. Исповедальное «бормотание» его в наш рационалистический век зовет к размышлению и созерцанию, что вовсе не бесполезно. **«Если у тебя выпадет, дружок, поудобнее минутка к вечеру, – когда тени гуще и длиннее, и тебя не заметит ни проходящая жена, ни работающие дети – сядь и отдохни в уголке.**

Птичка летала...

Птичка устала...

Ты тоже «я» среди мира. Побудь «сам» и «один». Вынь хлеба, запасенный кусочек. Посоли «пережженной солью». И отдохни просто и эгоистично»¹. Это «Из последних листьев» Василия Розанова, из Великой Книги, которую он писал всю жизнь, но так и не закончил.

¹ Книжный угол, 1918. № 5.

«КНИГА – ЭТО БЫТЬ ВМЕСТЕ»

Пока читатель читает мою книгу, он будет «в одном» со мною, и, пусть верит читатель, я буду с ним в его де-лишках, в его дому, в его ребятках и верно в приветливой милой жене. «У него за чаем».

В. Розанов. Предисловие к «В Сахарне»

Василий Васильевич Розанов – пожалуй, самая загадочная, противоречивая, талантливая фигура в нашей культуре рубежа XIX–XX веков. Писатель, не создавший ни единого художественного (в традиционном понимании) произведения; мыслитель, постоянно разрушавший собственные самобытнейшие философские системы; литературный критик глубокого аналитического ума, шедший всегда вразрез с читающим большинством и потому этим большинством в лучшем случае воспринимаемый с раздражением или, на худой конец, с недоумением; богослов, скользивший по краю ереси и потому с официальной церковью находившийся в весьма сложных взаимоотношениях. Впрочем, и рафинированные богоискатели начала XX века изгнали Василия Васильевича из рядов Религиозно-философского общества. А еще блестящий и плодовитый публицист, так писавший «на злобу дня», что даже сегодня его невероятные эскапады о событиях и проблемах, уже канувших в Лету, читаются на едином дыхании. Бессистемный, вроде бы несерьезный для русской культуры человек; какой-то персонаж, да еще «персонаж наизнанку». А уж если говорить о политической «окраске» розановских творений – то здесь пестрота поистине ошеломляющая.

Может быть, потому Розанов нигде и не пришелся «ко двору» и часто в общественно-политической борьбе своего времени оказывался мишенью как «слева», так и «справа». Выжить, выстоять в такой ситуации вряд ли возможно, но только не для Розанова, ибо сила его была не в ориентации на какие-то «мнения», философские системы, художественные вкусы, а в личностном восприятии мира. Удивительное свойство – постоянно осознавать себя в мире, радоваться, негодовать, но никогда не чваниться, а грустить, помня о неизбежном для каждого «трагическом конце».

Действительно, был он ни на кого не похож, стоял не среди людей, а «сбоку» (по определению Алексея Михайловича Ремизова), и всякой «тенденции», системе, особенно господствующей, сопротивлялся отчаянно. В «Литературных изгнанниках», книге, посвященной литературным и общественным судьбам таких же, как он сам, «изгнанных» из литературы вследствие консервативного мировоззрения, писателей (Юрий Николаевич Говоруха-Отрок, Николай Николаевич Страхов), Розанов обмолвился об истоках своей «беспринципности»: «Форма: а я – бесформен. Порядок и система: а я бессистемен и даже беспорядочен. Долг: а мне всякий долг казался втайне души комичным, и со всяким «долгом» мне втайне души хотелось устроить «каверзу», «водевиль» (кроме трагического долга)»¹.

Истинная история жизни Розанова – вся в его ни на что не похожих книгах, ибо жизнь и творчество были слиты в нем воедино. Недаром Зинаида Николаевна Гиппиус, давний друг-враг Розанова, высказалась на сей счет весьма решительно: «Что еще писать о Розанове? Он сам о себе написал. И так написал, как никто до него не мог и после него не сможет, потому что... Очень много «потому что»»².

Василий Васильевич Розанов родился 20 апреля 1856 года в Ветлуге. Отца потерял, когда ему было три года, и мать с семью детьми переехала в Кострому. Когда Розанов был во втором классе гимназии, умерла мать и воспитанием стал заниматься брат Николай, фактически заменивший детям отца. В 1882 году Розанов окончил полный курс наук в Императорском Московском университете по историко-филологическому факультету и был определен к должности учителя истории и географии в Брянскую прогимназию. Вскоре был допущен к преподаванию и латинского языка. Затем учительствовал в гимназиях Ельца и Белого. В 1893 году переехал в Петербург и служил в Государственном контроле в должности чиновника особых поручений, а в 1895 году был командирован в Департамент железнодорожной отчетности, где проводил ревизию ассигнований на строительные работы на железной дороге. В 1899 году оставил службу.

Абсолютно ничего романтического нет в этом послужном списке. Банальная судьба российского чиновника. Между прочим, из

¹ *Розанов В.В.* Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913. С. 145–146. (Далее в сносках: Литературные изгнанники. Т. 1.)

² *Гиппиус З.Н.* Живые лица. Выпуск второй. Прага, 1925. С. 9.

этого же списка с удивлением узнаешь, что был Василий Васильевич коллежским советником, а это как-никак уже VI класс Табели о рангах, что приравнялось к сухопутному армейскому полковнику или же морскому капитану первого ранга. Трудно себе представить, но был Розанов и кавалером российских орденов – Святой Анны и Святого Станислава, правда, все третьей степени. Самые что ни на есть чиновничьи награды.

О детстве и юности своей поведал Розанов в работе 1905 года «Мечта в шелку», поведал иронично, но и с немалой толикой ностальгии. А вообще его гимназические, университетские годы, а вслед за этим учительская и чиновничья карьера не были столь «серы», как обычно представляется нам, воспитанным на «обличительной» литературе XIX века. Было всё – хорошее и плохое, как это обычно бывало в нормальной жизни российского интеллигента-разночинца. Может быть, больше, чем у других, было у него раздумий и мечтаний, тогда казавшихся бесполезными, той самой русской рефлексии, которая людей практических всегда раздражала и удивляла. Но рефлексия, т. е. самоанализ, мышление, имеющее предметом самого себя, оказалась в данном случае вовсе не бесполезной, ибо, преодолев его гипертрофированный эгоцентризм (что было, то было), привела Розанова к пониманию ч у ж о й боли, к состраданию и жалости к ближнему, а это было уже вызовом неумолимому железу XX века.

Розанов прошел все круги интеллигентских искушений, в разные годы по-разному отвечая на вечный российский вопрос: «Что делать?» И современников окончательный ответ Розанова на этот сакраментальный русский вопрос удивил, озадачил, вверг в смятение: «Что делать?» – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – Как что делать: если это л е т о – чистить ягоды и варить варенье; если з и м а – пить с этим вареньем чай»¹. По свидетельству самого Розанова, с братом Николаем он «ссорился, начиная с 5–6-го класса гимназии: брат был умеренный ученик Н.Я. Данилевского и М.Н. Каткова; уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем, Гизо, из наших – Грановским. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль с Дрэпером могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе...». Гимназию Розанов окончил «едва-едва – атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением, кажется, ко

¹ *Розанов В.В.* Эмбрионы // *Розанов В.В.* Религия и культура. СПб., 1901. С. 239.

всей действительности... В университете я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную скуку... скука родила во мне мудрость». Это был первый протест Розанова – против логических форм бытия, против рамок любой (философской, культурной или любой иной) системы, против втискивания человека в какое-либо идеологическое прокрустово ложе.

Любопытно его собственное ощущение происходивших с ним мировоззренческих метаморфоз. Итак, «все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно «Бог весть почему»... Учился я тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаюсь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для какой не было матерьяла, вещества, а – вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно – в тоску... Уже с 1-го курса университета перестал быть безбожником. «Бог поселился во мне...»

Мировоззренческая эволюция Розанова выглядела парадоксально, как бы со знаком минус. В то время как прогрессивная интеллигенция проделывала тернистый путь к позитивизму и даже к радикализму, «задумавшийся» Василий Васильевич побрел против течения.

В 1880 году случился странный брак Розанова – он женился «на дочери купца Аполлинарии Прокофьевне Суловой», той самой Суловой, которая «была предметом самой сильной страсти Достоевского. Женщина крайностей, вечно склонная к предельным ощущениям, ко всем психологическим и жизненным полярностям...»¹, послужившая Достоевскому прообразом таких героинь, как Полина в «Игроке» и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Брак Розанова с Суловой состоялся еще при жизни Достоевского. Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол «возлюбленной Достоевского», писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся.

Годы жизни с Суловой, а она оставила его в 1886 году, были истинной мукой, семейным адом. Об этих подробностях жизни Розанова можно было бы и не упоминать, не будь они столь важны для судьбы писателя – ведь из этой трагедии выросла мучительная для писателя тема, которую можно было бы определить названием одной из его книг – «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903).

¹ Гроссман Л.П. Достоевский. М., 1963. С. 282

В 1891 году состоялся второй брак Розанова, принесший наконец успокоение и простое домашнее счастье. Но Суслова развода не дала, и Розанов венчался тайно с Варварой Дмитриевной Бутягиной (урожденной Рудневой), «без свидетелей и без записи в церковной книге». Венчал их настоятель домового церкви Колабинского детского приюта в Ельце священник Иоанн Павлович Бутягин.

Варвара Дмитриевна («друг», «мамочка» – Василий Васильевич увековечил ее в своих книгах этими теплыми словами) была полной противоположностью Аполлинару Сусловой. Она как бы олицетворяла тихое семейное счастье, без всех «заумностей» ученой прогрессивной женщины. Была она домовита, ревнива, не слишком грамотна (что позже подчас шокировало «интеллигентных» посетителей дома Розановых), но была самым воплощением русской доброты и порядочности.

В письмах Розанова к К.Н. Леонтьеву можно найти немало хороших слов о той благодати и покое, которые вошли в душу Василия Васильевича. После «ада» с Аполлинару Сусловой это было просветление, истинный рай. Среди прочих важных тем, затронутых в письмах, много (а нам, привыкшим в первую очередь почитать ученые рассуждения, «высокие материи», кажется, что даже слишком много) говорится о теплоте рудневского дома, о кроткой Варваре Дмитриевне. «Кстати, – писал Розанов «оптинскому отшельнику», – что для Вас Оптина Пустынь, то для меня – здесь церковь Введения и одна духовная семья (или вернее – род), в которой вот уже 3-й год я исключительно провожу свободное время. Знаете: что такое понятие законности, долга, ответственности (внутренних) я вынес из семьи этой, больше всего от старой диаконицы, внуки Иннокентия Херсонского, которая, едва умея писать, долгими разговорами со мной, и, конечно, не преднамеренно, научила меня в п е р в ы е этому всему, хотя я кончил университет и изучал римскую историю... Удивительный тип русского характера, по чистоте, по незыблемой совершенно твердости, по мудрости (потому что сказать «по уму» совершенно недостаточно и нелепо)... Нет, знаете, в русском народе при бесконечных пороках есть и столько з д о р о в о г о еще, что иногда диву даешься, как-то это еще дожило до XIX века». А вот после философских рассуждений о Владимире Соловьеве, Н.Н. Страхове, Н.Я. Данилевском – о «домашней» Варваре Дмитриевне: «Она – кроткая, но без всякой вялости... Есть убедительные побуждения у меня считать ее не вульгарной, но именно в наш век исключительной женщиной». И Соловьев,

и Варвара Дмитриевна для Розанова были темами, одинаково серьезными, достойными философствования. Пожалуй даже, Варвара Дмитриевна значила намного больше.

Итак, Василий Васильевич предпочел интеллигентному уму доморощенную мудрость, и это тоже стало краеугольным камнем его «вызывающего» мирозозерцания. Конечно, его оппоненту достаточно легко было развенчать это нехитрое кредо, но и здесь Розанов шел против течения; то, что в глазах просвещенного, выучившегося человека выглядело тем, что надо отряхнуть и навсегда забыть, для Розанова имело вечный нравственный смысл, альфу и омегу бытия. И даже дородность Варвары Дмитриевны в противовес inferнальной внешности Аполлинарии Сусловой была для Розанова символом красоты («волнующаяся и волнующая ионическая колонна» – называл свою жену влюбленный в нее до своей смертной минуты Розанов).

Но счастливый брак Розанова стал для него и «проклятой проблемой», ибо по существу (по законам Российской империи) считался он двоеженцем, и все его дети, а было их пятеро – сын Василий, дочери Татьяна, Вера, Варвара и Надежда, считались незаконнорожденными. Татьяна, родившаяся 22 февраля 1895 года, была записана по имени ее крестного отца – Николая Николаевича Страхова, т. е. Татьяна Николаевна Николаева. Восприемником Веры, Варвары и Василия при крещении был «лейтенант морской службы Александр Викторович Шталь», и потому они были записаны как Александровы.

Счастье и отчаянье одновременно – впрочем, «как у людей» у Розанова ничего не было. Именно отсюда следует исчислять истоки той самой «деликатной» темы – проблемы поиска «религии жизни», «религии пола», – которая сделала имя Розанова для многих одиозным и даже «неприличным». Отсюда и его «богоборчество», во многом мнимое, ибо, оставаясь христианином, не мог он понять причину невозможности освящения своего истинного брака церковью, размышлял об этом, как всегда и во всем, до конца, впадая потому в ересь то ветхозаветную, а то и просто языческую. Так что все эти поиски «освященного пола» были направлены на защиту попавшего в беду человека, провозглашали святость рождения любого. Но для большинства эти откровения Розанова казались пикантной «клубничкой».

Сразу же после окончания университета состоялся его литературный дебют. Розанов вспоминал: «Все время с 1-го курса универ-

ситета я «думал», solo «думал»: кончив курс, сел сейчас за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительного не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю, такого «расцвета ума», как во время писания этой книги, – у меня уже никогда не повторялось... Встреть книга какой-нибудь привет, – я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга – ничего не вызвала (она, однако, написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Т. е. это не настоящее мое...» Книга вышла в Петербурге в 1886 году. Розанов жил тогда в Ельце, преподавал в тамошней мужской гимназии географию, и среди его учеников был и тринадцатилетний Михаил Пришвин – будущий автор «Осударевой дороги», «Кладовой солнца» и, конечно же, «Незабудок», книги, до сих пор так и нецененной, которая прямо продолжала, но уже в советской литературе, традицию розановских «Опавших листьев».

В 1888–1889 годах Розанов переводит (в соавторстве с П.Д. Первовым) «Метафизику» Аристотеля – первый в России перевод этого произведения.

Хотя Розанов и утверждал, что «это не настоящее мое», критика и публицистика стали истинным призванием Розанова. Сблизившись с кругом лиц, принадлежавших к так называемым «поздним славянофилам», в первую очередь с Николаем Николаевичем Страховым (по определению Розанова, человеком, который «в одном «я» совместил: 1) философа-аналитика, 2) биолога, 3) литературного критика, 4) публициста»)¹ и Юрием Николаевичем Говорухой-Отроком, который, как считал Розанов, «был лучший публицист-критик наших 80-х и 90-х годов XIX века»², Иваном Федоровичем Романовым (Рцы) и другими, Розанов начинает печататься интенсивно и с полемическим азартом. Великий «предостерегатель» и «удерживатель» Страхов и задумчивый «отшельник» Говоруха-Отрок приобрели в лице Розанова энергичного пропагандиста идей русского идеалистического консерватизма. «Гайна Страхова вся – в мудрой жизни и мудрости созерцания»³. Но это было кредо (причем неизменное, до самой гробовой доски) и самого Василия Васильевича.

Однако наиболее созвучен Розанову был, конечно же, Константин Николаевич Леонтьев – «...одинокая и единственная в своем роде

¹ Литературные изгнанники. Т. 1. С. 10.

² Там же. С. 12.

³ Там же. С. 11.

душа»¹, «разочарованный славянофил»², «философ реакционной романтики»³. Их знакомство продолжалось всего лишь неполный год, и хотя встретиться им так и не пришлось – влияние этого заочного знакомства на судьбу Розанова было огромно. Публикуя в 1903 году в журнале «Русский вестник» письма Леонтьева, Розанов писал: «...отношения между нами, поддерживающиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что, и не успевши свидеться, мы с ним сделались горячими, вполне доверчивыми друзьями... Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что нам не надо было сговариваться, договариваться до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге»⁴.

Розанов был, пожалуй, единственным, кто в те годы принял леонтьевскую теорию исторического прогресса и упадка, во многом предвосхитившую «Закат Европы» Освальда Шпенглера, принял полностью и целиком. В то время как просвещенная Европа ликовала по поводу триумфального шествия прогресса, Леонтьев пророчествовал о вещах мрачных и никак не созвучных эпохе – «о наклонной плоскости европейского либерализма», о тупике эгалитаризма, и даже в своей давней славянофильской мечте усомнился как-то вопреки логике: «Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш! Но что мы туда принесем? Это ужасно! Можно от стыда лицо закрыть руками... Речи Александрова (Александров П.А. – присяжный поверенный. Защитник на суде Веры Николаевны Фигнер. – *Авт.*), поэта Некрасова, 7-этажные дома, европейские (мещанские буржуазные моды) кэпи! Господство капитала и реальную науку, панталоны, эти деревянные крахмальные рубашки, сюртуки! Карикатура, карикатура! О, холопство ума и вкуса! О, позор! Либерализм! А что такое идея свободы л и ч н о с т и ? Это хуже социализма. В социализме есть идеи серьезные: пища и здоровье. А свобода! Нельзя грабить кого-нибудь. Нет, нет, вывести насилие из исторической жизни то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической»⁵.

Розанов, в те годы определившийся как славянофил и государственный, принял даже такой почти что «чаадаевский» тезис

¹ Леонтьев К.Н. Письма к Василию Розанову. Лондон, 1981. С. 32.

² Трубецкой С.Н. Разочарованный славянофил // Вестник Европы. 1892. № 10.

³ Бердяев Н.А. Философ реакционной романтики // Бердяев Н.А. *Sub specie aeternitatis*. СПб., 1907.

⁴ Леонтьев К.Н. Письма к Василию Розанову. С. 23.

⁵ Памяти К.Н. Леонтьева: Литературный сборник. СПб., 1911. С. 274–275.

Леонтьева: «Патриот ли я? Презираю я или чту свою родину? И боюсь сказать, мне кажется, что я ее люблю, как мать, и в то же время презираю, как пьяную, бесхарактерную до низости дуру...»¹.

Таким образом, кроме Достоевского и Пушкина, боготворимых Розановым, Леонтьев стал для него еще одним откровением, привнес искус независимости социально-политических убеждений, которые что-то для него значили, если он шел вопреки мнению большинства.

Книги Леонтьева, и в особенности «Восток, Россия и славянство» (СПб., 1885–1886), «Из жизни христиан в Турции» (М., 1876), «Наши новые христиане (Достоевский, Толстой)» (М., 1889), и многие его статьи привлекли Розанова не только социальными доктринами оригинального свойства. Это была еще и высокая литература, созданная мастером-стилистом, пусть холодная в своем эстетическом совершенстве, но от того, может быть, еще более притягательная. Это была красивая проза, само чтение которой читателя вдумчивого (а Розанов был именно из их числа) возвышало и воспитывало.

В одном из писем к Леонтьеву Розанов размышляет о когорте единомышленников и мыслит себя, провинциального учителя, где-то рядом с великолепным барином, российским консулом на Балканах, «оптинским отшельником» Константином Леонтьевым: «Знаете, я всегда представляю себе всех нас, с р а ж а ю щ и х с я , да в ш и х с е б е с л о в о п о б е д и т ь и л и у м е р е т ь ... в в и д е к р о ш е ч н о й д р у ж и н ы , н о о ч е н ь т е с н о с в я з а н н о й ... В ы н е с е р д и т ь с я , ч т о я в с е п и ш у «с о т о в а р и щ и», – э т о н е п о о с у щ е с т в л е н н о м у м н о ю , н о п о з а м ы с л е н н о м у к о с у щ е с т в л е н и ю ». И после этих строк, похожих на наивную искреннюю клятву в духе Герцена и Огарева на Воробьевых горах, в духе клятвы Горациев из гимназического учебника по древней истории, вдруг отчаянное пророчество, наверное, удивившее его самого, о будущей своей судьбе властителя дум, когда даже эстетическое совершенство Леонтьева будет существовать, осознаваться главным образом лишь в связи с розановским словом: «Чувствуется, что Бог мне поможет, и верю я в будущем в очень сильное свое влияние на души людей; почему-то верится».

Как в книге «О понимании», так и в последующих статьях Розанов подверг сомнению идею утилитаризма, что счастье есть цель человеческой жизни. Цель, полагал он, в ином, более естественном, соответствующем природе человека. «Обратите внимание,

¹ Там же. С. 275–276.

– писал он Леонтьеву, – на понятие потенциальности, этого странного полусуществования, которое есть в мире, действительно, – и Вы будете на пути к полному усвоению моего взгляда на человека, его природу, его душу, его цель».

Ученое философствование по традиционной книжной схеме абсолютно его не удовлетворяло, быть может, потому, что не в состоянии было ухватить эту самую «потенциальность», «полусуществование» размышлений и дум самого Василия Васильевича. В том же письме к Леонтьеву он признается: «Что книгу же «О понимании» никто не читает, в этом я всегда был убежден и нисколько на это не сердился, тем более что она, особенно в самом начале, чрезвычайно дурно, тяжелым языком написана, и вообще не ясна, плохо изложена, н е о с т о р о ж н о ».

В 1888 году в «Русском вестнике» появляется очерк «Место христианства в истории», а в 1891 году там же выходит работа «Легенда о Великом Инквизиторе» Ф.М. Достоевского», в которой Розанов исследовал природу российского нигилизма, а если говорить шире, то вообще всего радикализма XIX века.

Инквизитор как идея радикализма (а герой «Бесов» как конкретное проявление этой идеи) – этот объективный вывод, вытекающий из работы, – как-то сразу поставил Розанова «по ту сторону общественных баррикад». В двух этюдах о Гоголе, которые стали печататься как приложение к «Легенде», Розанов усомнился в трактовке революционно-демократической критикой наследия «натуральной школы» и высказал совсем уж «еретическую» мысль о том, что Гоголь заморозил литературу и общество «карикатурами», что и привело к потере чувства реальности и уважения к русскому человеку. Именно от Гоголя исчислял он путь «отрицательной» литературы, причем по нисходящей линии художественности до революционно-демократической критики и М.Е. Салтыкова-Щедрина включительно, которого почему-то не жаловал в своих последующих произведениях особенно сильно. Например, говорил так: «Щедрин около Гоголя как конюх около Александра Македонского»¹.

Уже тогда был зачислен Розанов в разряд «реакционеров», что было бы, в общем-то, объективно, если рассматривать автора как представителя какой-то идеи, направления, партии. Однако в основе такой оценки всегда лежит принцип упрощения – довести до элементарности живую мысль, а затем раскритиковать «в

¹ *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 47. (Далее в сносках: Опавшие листья. Короб 2-й.)

пух и прах». Именно поэтому Розанова всегда так легко «разбивали» оппоненты, начиная от непримиримых критиков-народников (Н.К. Михайловский) и кончая другими лихими обличителями розановской «реакционности», строящими систему своих доказательств, исходя из постулатов вульгарной социологии по типу «Розанов против...».

Между тем в любой розановской оценке, в любой его теории нужно увидеть человека, который пробует себя «вне концепции», – это особенно интересно ему. Поэтому его так бесконечно радует отрицание и критика его со стороны людей, мыслящих «правильно», «концептуально», а значит, тенденциозно. Поэтому так неожиданна реакция на критические стрелы в его адрес, совсем не писательская, а спокойно олимпийская с оттенком ерничества, как, например, все в том же письме к Леонтьеву: «Еще, чтобы не было недоразумений: литературного самолюбия, Бог весть почему, во мне совсем нет. В «Южном крае» мой взгляд на Гоголя был изруган, и я сам назван б е з м а л о г о д у р а к о м ; но статья написана в таком здоровом духе, и вообще видно, что ее писал такой хороший человек, л ю б я щ и й литературу, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить за м о т и в ы статьи ее автора, хотя и упрекнул его в резкости и н е о т ч е т л и в о с т и доказательств».

В 1891 году в «Московских ведомостях» появляются важные для Розанова статьи – или «фельетоны», как их тогда называли, – «Почему мы отказываемся от «наследства 60–70-х годов»?», «В чем главный недостаток «наследства 60–70-х годов»?» и ряд других, где разрыв с «шестидесятниками», идеями позитивизма и радикализма был провозглашен предельно отчетливо, даже в какой-то несвойственной Розанову категорической манере: «И если мы видели, как опять и опять человек рассматривается только как средство, если мы с отвращением заметили, как таким же средством становится и сама истина, могли ли мы не отворотиться от поколения, которое все это сделало?»

Розановские предостережения об опасности грядущей дегуманизации были встречены большинством российской интеллигенции, усмотревшим в них посягательство на идею служения прогрессу, с негодованием. Читатели увидели в этих первых работах Розанова своего рода идеологические декларации, которые левые гневно отвергли, а правые приняли их автора в свой немногочисленный стан. Правда, обе стороны смущали некоторая двойственность статей и книг Розанова. Консерватор, но с таким явственным оттенком ра-

дикализма, что в пору считать его чуть ли не «пропагандатором»; либеральствующий, но со столь определенной охранительной окраской, что в пору сравнивать его с редактором «Гражданина» князем Владимиром Петровичем Мещерским. В недоумении было даже ко всему привыкшее Главное управление по делам печати (цензура), определившее, к примеру, по поводу работы Розанова «О подразумеваемом смысле нашей монархии» (1895) следующее: «По мнению цензора, такое безусловное осуждение всего административного механизма России нисколько не может быть оправдываемо консервативностью общего направления статьи. Поэтому он считает необходимым представить об обозначенном на благоусмотрение Главного управления по делам печати как явления необычного и крайне нежелательного».

Вряд ли традиционные государственники могли себе представить, как Розанов в будущем разовьет идею государственности, – его вышучивание буквально всего в пору его творческого расцвета в десятые годы XX века поистине не знало границ и было виртуозно. Вот, к примеру, как выглядела его социально-политическая утопия «идеального российского государства»: «Я бы напр. закрыл все газеты, но дал автономию высшим учебным заведениям, и даже студенчеству – самостоятельность запорожской сечи. Пусть даже республики устраивают. Русскому Царству вообще следовало бы допустить внутри себя 2–3 республики, напр. Вычегодская республика (по реке Вычегде), Рионская республика (по реке Риону, на Кавказе). И Новгород и Псков, «Великие Господа Города» с вечем. Что за красота «везде губернаторы». Ну их в дыру. Князей бы восстановил: Тверских, Нижегородских, с маленькими полупорфирами и полувенцами. «Русь – раздолье, всего – есть». Конечно, над всем Царь с «секим башка». И пустыни. И степи. Ледовитый океан и (дотянулись бы) Индийский океан (Персидский залив). И прекрасный княжий Совет – с ½ венцами и посадниками; и внизу – голытьба Максима Горького. И все прекрасно и полно как в «Подводном царстве» у Садко»¹.

Выглядит эта картинка довольно весело, но самое интересное, что Розанов вовсе не шутил – в основе своей это была здравая «футурологическая модель», попытка спасти падающее здание тогдашней российской государственности. Однако о серьезных вещах полагалось говорить серьезно, и розановская «утопия» была воспринята как ёрничество.

¹ *Розанов В.В.* Опавшие листья. СПб., 1913. С. 465–466. (Далее в сносках: Опавшие листья.)

Словом, осознать, что само понятие «человеческая личность» тоже может быть нравственно-этической и даже социальной позицией, могли немногие. Для большинства же необходимо было классифицировать это непонятное явление – Розанов – строго по законам тамошней науки, поставить на определенную полочку, подобно экспонату в дарвинском музее – короче, как сейчас принято говорить, повесить ярлык. Как и его учитель Н.Н. Страхов, Розанов к теории Чарльза Дарвина относился скептически (в его работах выпадов против нее достаточно много), и тот факт, что «классифицировать» его так и не смогли, а довольствовались лишь неопределенным термином «двурушник», возможно, даже его позабыл. А Владимир Соловьев, этот российский философ-романтик, отклик свой на напечатанную в «Русском вестнике» (1894. № 1) статью Розанова «Свобода и вера» озаглавил не как-нибудь, а язвительно-образно – «Порфирий Головлев о свободе и вере»¹.

Именно с легкой руки Владимира Соловьева укоренилось за Розановым еще одно прозвище – Иудушка Розанов. Сам же он на сей счет размышлял довольно грустно: «Почему я так сержусь на радикалов? Сам не знаю. Люблю ли я консерваторов? Нет. Что со мною? Не знаю. В каком-то недоумении»².

После отставки в 1899 году литературная деятельность становится основным занятием Розанова. По сути дела, он трудится как литературный поденщик, как «пролетарий пера» – ведь надо кормить и содержать семью. Розанов пишет много, так много, что вряд ли даже возможно было бы составить полную библиографию всего напечатанного им в периодике. Согласно данным авторитетного «Словаря псевдонимов» И.Ф. Масанова (М., 1960), Розанов печатался под 47 (!) псевдонимами, начиная от скромного «Р.В.» и кончая странным «Мнимоупавший со стула». При этом многим петербуржцам была памятна история о том, как во время лекции Владимира Соловьева об Антихристе под Розановым «неожиданно» сломался стул.

Идея «сведения концов с концами», «кормления», содержания семьи – это для Розанова вовсе не жизненная тягота, а долг, даже более важный и святой, чем долг общественный. Забота о ближних – это для него высокая философия, и потому не надо воспринимать как некий эпатаж «шокирующее» рассуждение Розанова из «Опавших листьев»: «Моя кухонная (прих.-расх.) книжка сто-

¹ Соловьев В.С. Собрание сочинений. Т. 5. СПб., 1902.

² Розанов В.В. Уединенное. СПб., 1912. С. 272. (Далее в сносках: Уединенное.)

ит «Писем Тургенева к Виардо». Это – другое, но это такая же ось мира и в сущности такая же поэзия. Сколько усилий! бережливости! страха не переступить «черты»! – и удовлетворения, когда «к 1-му числу» сошлись концы с концами»¹.

Розанов удивительно легко и радостно отказался от догматов «мнений», определив центром своего мирозерцания и даже мировоззрения «теплый очаг», «дом», т. е. семью, семью и еще раз семью: «Лучшее в моей литературной деятельности – что десять человек кормились около нее. Это определенное и твердое.

А мысли?..

Что же такое мысли...

Мысли бывают разные»².

Мысли действительно были разные, и не так-то легко было их высказать. Общество требовало определенности, размежевания, позиции, т. е. всего того, что менее всего занимало «беспринципного» Розанова. «Сотрудничал я, – вспоминал писатель, – в очень многих журналах и газетах, – всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне очень хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров). Сотрудничая, я чуть-чуть приносивлял свои статьи к журналу, единственно, чтобы «проходили» они, но существенно вообще никогда не подавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «одна часть души пройдет у Берга»... Мне ужасно надо было, существенно надо протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского участия в «Русск. богатстве». Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий – я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «читатели бы очень удивились, увидев меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину: ни разу он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому ни шага...»

Розанов стал сотрудником газеты «Новое время» в 1899 году, и хотя газета слыла одной из самых реакционных, но тираж имела огромный и была, кстати, единственным изданием, которое россий-

¹ Опавшие листья. С. 182.

² Опавшие листья. Короб 2-й. С. 171.

ский император читал целиком, а не вырезки, как из всех прочих газет. «Нововременец» – вот еще один уничижительный титул, каким наградила Розанова прогрессивная российская интеллигенция. Впрочем, статьи за подписью «В. Розанов» читала внимательно, так же как и статьи в либеральном «Русском слове» за подписью «В. Варварин» (этот псевдоним был им образован от имени его супруги Варвары Дмитриевны), удивляясь и негодуя, как это можно печататься одновременно в изданиях противоположного направления.

Рассуждений Василия Васильевича о «части души» она не знала, а если бы и узнала, то наверняка бы не приняла. Как, например, Анастасия Романовна Крандиевская в статье «Интеллигенция подлинная и поддельная»: «Что может быть трагикомичнее, нелепее, уродливее, страшнее и вместе смешнее, как существование в наши дни в рядах «общественников», в кадрах публицистики, такой фигурки, как Розанов-Варварин, который как двуликий Янус одновременно служит и революционному «Русскому слову» и реакционному «Новому времени»?.. Подумайте: черная реакция переплелась с красной революцией в трогательной любви и нежности, доверии и дружбе!.. Одинаково интимно, одинаково искренно рокошет и Варварин свободолюбивым революционером, и Розанов мраколюбивым реакционером. Это ли не зрелище, «достойное кисти Айвазовского?!»¹. Полный патетики стиль вульгарной социологии оттачивался уже в те годы. Страшным он станет после, пока еще он вызывает улыбку.

Круг тем, на которые писал Розанов, был огромен – от чисто литературных до религиозно-философских, от бытовых заметок «на злобу дня» до общественно-политических. Вот хотя бы отклики на розановские статьи А.П. Чехова, который относился к Розанову неоднозначно. «В «Новом времени» от 24 декабря прочтите фельетон Розанова о Некрасове, – писал он о статье Розанова «25-летие кончины Некрасова» в 1902 году редактору «Журнала для всех» В.С. Миролюбову. – Давно, давно уже не читал ничего подобного, ничего такого талантливого, широкого и благодушного, и умного»².

А вот совсем противоположное из письма к тому же Миролюбову: «Читал в «Новом времени» статью городского Розанова... (речь идет о статье от 9 декабря 1901 года «Религиозно-философские соображения». – *Авт.*) ...Что у Вас, у хорошего, у прямого человека, что

¹ Итоги недели. 1911. № 3.

² Чехов А.П. Полное собрание сочинений и писем: В 30 т. Т. 11. Письма. М.: Наука, 1982. С. 108.

у Вас общего с Розановым, с превыспаренно хитрейшим Сергием, наконец, с сытейшим Мережковским?»¹. В письме к Розанову от 30 марта 1899 года Чехов пишет: «У меня здесь бывает беллетрист М. Горький... В последний раз мы говорили о Вашем фельетоне в «Новом времени», насчет плотской любви и брака (по поводу статей Меньшикова). Эта статья превосходна, и ссылки на Ветхий завет чрезвычайно поэтичны и выразительны – кстати сказать»². Это о резко критической статье «Кроткий демонизм», напечатанной 19 ноября 1897 года.

Говорить о системе литературно-критических взглядов Розанова можно лишь с большой долей условности. Слишком зыбкими и неустойчивыми были его отношения к тем или иным явлениям литературы и искусства; огромную роль играли даже такие невероятные факторы, как, скажем, настроение автора или даже внешний облик объекта критических выпадов. Розанову нравилось задумываться и размышлять над причинами своего обескураживающего поведения по отношению к уважаемым всеми коллегам по литературному делу: «Что я все нападаю на Венгерова и Кареева. Это даже мелко... Не говоря о том, что тут никакой нет «добродетели». Труды его почтенны. А что он всю жизнь работает над Пушкиным, то это даже трогательно. В личном общении (раз) почти приятное впечатление. Но как взгляну на живот – уже пишу (мысленно) огненную статью». И далее: «Ужасно много гнева прошло в моей литературной деятельности. И все это напрасно. Почему я не люблю Венгерова? Странно сказать: оттого, что толст и черен (как брюхатый таракан)»³.

И все-таки собственная концепция литературы, литературного процесса у Розанова была достаточно определенная. Были идеалы, пред которыми он преклонялся, – Пушкин, Лермонтов, Достоевский и, как это ни странно, «общественник» Некрасов. Достоевский, однако, в большей степени, ибо он, так или иначе, современник, который в одиночку, страдающий и непонимаемый, пророчески мучился вопросами, схожими с его собственными: «Достоевский – всадник в пустыне, с одним колчаном стрел. И капает кровь, куда попадает его стрела»⁴.

«Пушкин и Лермонтов кончили собою всю великолепную Россию от Петра и до себя» – так начинается Розанов один из своих

¹ Там же. Т. 10. С. 141–142.

² Там же. Т. 8. С. 140–141.

³ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 27–28.

⁴ Опавшие листья. С. 219.

«листок», вместивших в себя четкое по лаконичности и емкое по содержанию в ней концептуальных оценок видение (субъективное, конечно) российского общественно-литературного процесса. Чтобы были понятны вехи этого процесса, как его мыслил Розанов, приведем полностью этот, пожалуй, самый краткий курс истории отечественной литературы: «...По великому мастерству слова Толстой только немного уступает Пушкину, Лермонтову и Гоголю: у него нет созданий такой чеканки, как «Песнь о купце Калашникове», – такого разнообразия «эха», как весь Пушкин, такого дьявольского могущества, как «Мертвые души»... У Пушкина даже в отрывках, мелочах и, наконец, в зачеркнутых строках – ничего плоского или глупого... У Толстого плоских мест множество.

Но вот в чем он их всех превосходит: в благородстве и серьезности цельного движения; не в «что он сделал», но в «что он хотел».

Пушкин и Лермонтов «ничего особенного не хотели». Как ни странно при таком гении, но – «не хотели». Именно – все кончали. Именно – закат и вечер целой цивилизации. Вечером вообще «не хочется», хочется «поутру».

Море русское – гладко как стекло. Все – «отражения» и «эха». Эхо «воспоминания»... На всем великолепный «стиль Растрелли»: в дворцах, событиях, праздниках, горестях... Эрмитаж, Державин и Жуковский, Публичная библиотека и Карамзин... В «стиле Растрелли» даже оппозиция: это – декабристы.

Тихая, покойная, глубокая ночь.

Прозрачен воздух, небо блещет...

Дьявол вдруг помешал палочкой дно: и со дна пошли токи мути, болотных пузырьков... Это пришел Гоголь. За Гоголем все. Тоска. Недоумение. Злоба, много злобы. «Лишние люди». Тоскующие люди. Дурные люди.

Все врозь. «Тащи нашу монархию в разные стороны», – «Эй, Ванька: ты чего застоялся, тащи! другой минуты не будет».

Горилка. Трепак. Присядка. Да, это уж не «придворный менуэт», а «нравы Растеряевой улицы»...

Толстой из этой мглы поднял голову: «К идеалу!»

Как писатель он ниже Пушкина, Лермонтова, Гоголя. Но как человек, и благородный человек, он выше их всех... Он даже не очень, пожалуй, умный человек: но никто не напряжен у нас был так в сторону благородных, великих идеалов.

В этом его первенство над всей литературой.

При этом как н а т у р а он не был так благороден, как Пушкин. Натура – одно, а намерения, «о чем грезится ночью» – другое. О «чем грезится ночью» – у Толстого выше, чем у кого-нибудь»¹.

Многих, конечно, озадачит такое прочтение русской классики, ибо здесь сбиты все привычные ориентиры, с помощью которых можно бездумно и напролом «преодолевать» отечественную словесность. Розанов шел своим собственным путем, оглядываясь по сторонам, подмечая и размышляя, и самое важное – без поводыря. А то, что веши его были иными, может быть, и хорошо, – это заставляет читателя думать и учиться не упрощать сложное.

Слова, произнесенные во имя абстрактной идеи, бесплодны, здесь конец любому творчеству, в том числе и литературному. Именно поэтому так равнодушен был Розанов к либерализму, который, как он считал, есть всего лишь «удобство», но никак не основная идея творчества. «Либерал красивее издаст «Войну и мир», – писал он в «Опавших листьях», – но либерал никогда не н а п и ш е т « В о й н ы и м и р а » : и здесь его граница. Либерал «к услугам», но не душа. Душа – именно не либерал, а энтузиазм, вера. Душа – безумие, огонь. Душа – воин: а ходит пусть он «в сапогах», сшитых либералом»².

Именно поэтому литература была для него явлением из сферы идеальной, т. е. воспевающая высокие (как у Достоевского, Толстого, Лермонтова) идеалы, и только потом эстетическим феноменом. Герои-труженики (Максим Максимович, капитан Тушин, Платон Каратаев) и герои-мечтатели (Печорин, «лишние люди», «нигилисты») – вот тот рубеж, по которому разделял он идеальный мир русской литературы: «Победа Платона Каратаева еще гораздо значительнее, чем ее оценили: это в самом деле победа Максима Максимовича над Печориным, т. е. победа одного из двух огромных литературных течений над враждебным...»³.

И хотя слыл Розанов в глазах общественного мнения крайним эгоцентристом, опасность поэтизации индивидуализма, который все более и более захлестывал современную ему литературу, он предвидел отчетливо, причем опасность не только для искусства, но и для человечества в целом. Так, рассуждая в статье «Декаденты» (1904) о Ницше и Мопассане, о теряющем всякие сдерживающие границы культе собственного «я», о «Зоратустре» и религии

¹ Опавшие листья. С. 294–296.

² Там же. С. 464–465.

³ Уединенное. С. 122.

«сверхчеловека», Розанов пророчествовал: «На этом новом в своем роде *nisus Formativus*'е человеческой культуры мы должны ожидать увидеть великие странности, великое уродство, быть может, великие бедствия и опасности»¹. Как мы знаем, пророчество это в веке двадцатом печально подтвердилось.

У Розанова было много книг, и каждую он считал «последней», т. е. главной для себя: «Я задыхаюсь от мысли. И как мне приятно жить в таком задыхании. Вот отчего жизнь моя сквозь тернии и слезы есть все-таки наслаждение»². В каждой книге – его жизнь и душа. «Литературные изгнанники» (СПб., 1913) – это в какой-то мере его собственная литературная судьба «изгнанника»; «Темный лик. Метафизика христианства» (СПб., 1911) и «Люди лунного света» (СПб., 1912) – о мучительных поисках «религии жизни»; «Среди художников» (СПб., 1914) – о том, что было созвучно его душе в литературе и искусстве; «Восточные мотивы» (Пг., 1916) – о таинственном Египте, «сладкой тайне» Розанова...

Каждая книга являла новую ипостась его личности. Это были его «литературные рудники», где надсмотрщиком было не только общественное мнение (на него Розанов обращал мало внимания), но и сила реальная, от которой кое-что зависело.

В начале XX века Розанов проявляет особый интерес к новому для русской культуры явлению – декадентству. Все-таки с идейными славянофилами ему было скучновато – все время что-то «охранять» или «пытаться возродить». С декадентами ему было проще и веселее – их общественный эпатаж, эти «фиолетовые руки» и «бледные ноги» походили на игру.

Вообще игра, «дурачество» многое для него значили, и понять Розанова без них просто невозможно. Вспоминая с облегчением, как судьба отвратила его (после неудачи с книгой «О понимании») от философской стези, Розанов признавался: «...И когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю. NB: при постоянной, напряженной серьезности, во мне есть много резвости... во мне з а с т ы л мальчик... «Зрелых» людей, «больших» – я не люблю; <...> Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидал. Любил я только стариков-старух и детей-юношей, но старше 26 лет. С прочими – «внешние отношения», квартира, стол, деньги, никакой умственной или сердечной – связи (с «большими»)».

¹ Розанов В.В. Декаденты. СПб., 1904. С. 23.

² Уединенное. С. 125.

Вот это «застыл мальчик» в определенной мере и подтолкнуло Розанова к декадентам – Дмитрию Мережковскому, Зинаиде Гиппиус, Федору Сологубу и другим. Были среди этих «новых» людей и единомышленники – например, Петр Петрович Перцов, один из издателей журнала «Новый путь». Их дружеские отношения сохранялись до кончины писателя, и именно Перцов стал одним из хранителей архивного наследия Розанова.

Розанов начинает печататься в новых для него изданиях – «Мир искусства», «Весь», принимает участие в создании знаменитого Религиозно-философского общества, откуда был в 1914 году изгнан с формулировкой: «Выражая осуждение приемам общественной борьбы, к которым прибегает Розанов, общее собрание действительных членов общества присоединяется к заявлению Совета о невозможности совместной работы с В.В. Розановым в одном и том же общественном деле»¹. Это случилось как следствие позиции, занятой Розановым в известном деле Бейлиса, и после его выступлений в «Новом времени» против амнистии политическим эмигрантам.

Предвоенные годы были одновременно самыми тяжелыми и самыми блистательными годами Розанова, ибо именно тогда появились «Уединенное» и «Опавшие листья» – книги, обессмертившие его имя, и именно тогда 5 марта 1911 года в канцелярии святейшего правительствующего Синода было открыто «Дело по ходатайству Пр-го Саратовского о предании автора брошюры «Русская Церковь» В. Розанова церковному отлучению (анафеме)».

Согласно материалам дела, хранящимся ныне в РГИА, инициатором выступил бывший епископ Саратовский Гермоген, представивший Синоду доклад, где, в частности, отмечалось: «Долг имею всепочтительнейше доложить, что брошюра вся наполнена самыми злыми еретическими воззрениями... Вот как онаглели у нас на Руси всякие еретики и неверы; они свободно и без запрета болтают и глумятся над драгоценною святынею веры... Ведь подобная наглость несравнимо хуже, значительнее и возмутительнее той, какую допускали студенты и другие смутьяны, врывавшиеся с шумом и гамом во время «освободительного движения» в Православные храмы в шапках, с папиросками в зубах; этих физических хулиганов выводили из храма. Современные же нам хулиганы и забулдыги в сфере религиозной мысли, нравственного чувства и общего исповедования веры, вроде Розанова, Мережковского и других, смеющиеся и глу-

¹ Записки Санкт-Петербургского Религиозно-философского общества. Вып. IV. СПб., 1914. С. 66.

мящиеся над нашим драгоценнейшим сокровищем веры Христовой и Церкви, должны быть также выведены, изъяты из среды верных, отлучены от Святого Собрания и анафематствованы открыто, для пресечения производимого ими соблазна в среде верующей части общества и народа. Этот наглый отрицатель христианства, этот явный еретик, повторяющий в своих помыслах, воззрениях и во всем своем направлении Нестория, Ария, Льва Толстого и др. преданных анафеме, продолжает числиться православным...» И далее следует предложение о «предании явного еретика церковному отлучению (анафеме)».

В деле имеется еще один доклад Гермогена – на этот раз о книге «Люди лунного света», при выборе названия которой, как сказано в докладе, «автором руководила мысль заинтриговать читающую публику, особенно людей с развращенным воображением». Надо сказать, что Синод оказался значительно терпимее Гермогена, дело тянулось, по счастью, как всегда по-русски долго, вплоть до июня 1917 года и было прекращено со ссылкой на невозможность изъятия книг (вопрос об анафеме как-то был замят) в связи с изданным Временным правительством законом о свободе печати. Однако «взрывоопасность» книг Розанова была осознана отчетливо, особенно в случае распространения их «среди большого числа читателей, особенно людей, не могущих критически отнестись к ошибкам и заблуждениям автора»...

Так Розанов чуть было не стал вслед графу Толстому еще одним русским ересиархом. А нам, словно в назидание, остался «афоризм» Гермогена, который для характеристики всякого неординарного и талантливого явления можно услышать и по сей день: «Вот до чего может дойти человек, если дать ему свободу умствовать о том, что совершенно вне сферы его компетенции!»

Мятущаяся и противоречивая розановская душа («разноцветная душа», как назвал ее когда-то Максим Горький) наиболее ярко раскрылась в так называемой «исповедальной прозе» писателя – в «Уединенном», двух Коробах «Опавших листьев» и ряде других произведений, как опубликованных, так и хранящихся в архивах. По сути, все это была одна книга, ибо «Уединенное», где на обложке был нарисован маленький грустный человечек и могильный крестик на горизонте, создало особый жанр прозы, возможности которого оказались неисчерпаемыми.

Тютчевское «мысль изреченная есть ложь» в какой-то мере отражает специфику розановского письма. Писатель фиксирует на бу-

маге вовсе не то, что задумал написать, ибо между «подумал» и «сел за стол» прошло мгновение, а это почти вечность. Розанов сказал об этом тонко и поэтично, в высшем смысле этого слова, т. е. просто и человечно: «Шумит ветер в полночь и несет листы... Так и жизнь в быстротечном времени срывает с души нашей восклицания, вздохи, полумысли, почувства... Которые, будучи звуковыми обрывками, имеют ту значительность, что «сошли» прямо с души, без переработки, без цели, без преднамерения – без всего постороннего... Просто – «душа живет»... т. е. «жила», «дохнула»... С давнего времени мне эти «нечаянные восклицания» почему-то нравились. Собственно, они текут в нас непрерывно, но их не успеваешь (нет бумаги под рукой) заносить, – и они умирают. Потом ни за что не припомнишь. Однако кое-что я успевал заносить на бумагу. Записанное все накапливалось. И вот я решил эти опавшие листы собрать»¹.

Если рассматривать художественную литературу как авторское самовыражение, то в этих книгах она «закончилась», «умерла», пришла к своему предельному рубежу, ибо невозможно откровение, доходящее до самообнажения, большее, чем в этих вздохах-бормотаниях Розанова. Уж что-что, а героя своих книг он знал как никто другой: «Собственно мы х о р о ш о з н а е м – единственно с е б я . О всем прочем – догадываемся, спрашиваем. Но если единственная «открывшаяся действительность» есть «я», то очевидно и рассказывай об «я» (если сумеешь и сможешь). Очень просто произошло «Уед»².

Каждый «вдох» сопровождался пояснением автора – «где записано» и даже «на чем записано»: «вагон», «в нашей редакции», «на Троицком мосту», «за нумизматикой», «на обороте транспаранта», «в постели ночью», «прислонясь к стене дома на Надеждиной» и даже в некоторых совсем уж неожиданных местах. Все это шокировало, ибо было против всех литературных канонов. Но Розанов как раз и мыслил литературу иной: «У нас литература так слилась с п е ч а т ь ю , что мы совсем забываем, что она была д о печати и в сущности вовсе не для опубликования. Литература родилась «про себя» (молча) и для себя; и уж потом стала печататься. Но это – одна т е х н и к а»³. Именно поэтому «все мои «выходки» и все подробности: что я не могу представить литературу «вне себя», напр. вне «своей комнаты»⁴.

¹ Уединенное. С. 1–2.

² Опавшие листья. С. 378.

³ Уединенное. С. 107.

⁴ Опавшие листья. С. 395.

Интимный характер присутствовал во всем – даже в подзаголовке «Уединенного»: «Почти на праве рукописи». Розановская интимность часто оскорбляла читателя, который каноны читал, в то время как Розанов буквально глумился над «святым»: «Литературу я чувствую как штаны. Так же близко и вообще «как свое». Их бережешь, ценишь, «всегда в них» (постоянно пишу). Но что же с ними церемониться????!!!»¹.

Розановский стиль нельзя было спутать ни с чьим другим, он был непредсказуем и неподражаем: «Стиль есть то, куда поцеловал Бог вещь»².

В сентябре 1917 года семья Розановых покидает Петроград и обосновывается в подмосковном Сергиевом Посаде. Отъезд из столицы объяснялся необходимостью быть ближе к «земле-кормилице» – ведь в Петрограде становилось все голоднее, а также опасениями о возможном германском наступлении. Тогда и возникла «мечта о саде», который представлялся почти Эдемом, куда можно было бы «приходить с десертною тарелочкою и собирать к утреннему кофе и двум чаям, днем и вечером» ягоды. Право такое от хозяев Розанов получил «за подарение всех своих сочинений», но «сад оказался обманчив», «выродившийся сад». «Можно жить я год ко й . И можно жить словом о яголке, – писал в Сергиевом Посаде Розанов. – Можно жить земледелием. И можно жить словом о земледельческом классе. Я был тринадцать лет учителем гимназии в провинциальных городах Орловской и Смоленской губерний. Раньше был учеником Костромской, Симбирской и Нижегородской гимназий. И меня поражало, что во всех этих шести средних учебных заведениях не было никогда ничего об яголке и о земледелии. Как будто Россия не была никогда садовою и земледельческою страной; как будто она даже была расположена не на почве, а висела в воздухе... И вот эти «висячие сады Семирамиды» или, вернее, мифология о них произрастала единственно в наших учебных заведениях и единственно выращивалась в думах наших несчастных, заброшенных гимназистов. «Заброшенных», несмотря на множество опеки, постоянные ревизии, несмотря на двойной и тройной ярус и пресс наблюдения и наблюдательности. Младенческая страна»³.

Сад действительно оказался запущенным. И когда произошла революция и рухнули «висячие сады Семирамиды», Розанов со-

¹ Там же.

² Опавшие листья. Короб 2-й. С. 428.

³ Розанов В.В. Запущенный сад // Книжный угол. 1918. № 3. С. 7.

здает «Апокалипсис нашего времени»¹ – собственное осмысление происходящего в России. Написанный истово, кровью любящего сердца, «Апокалипсис» плакал о судьбе России, проклинал и тщился надеждой верить в будущее ее возрожденное величие. Это был плач сына по матери, это было продолжение все той же темы из «Опавших листьев»: «Счастливую и великую родину любить не велика вещь. Мы ее должны любить, именно когда она слаба, мала, унижена, наконец, глупа, наконец, даже порочна. Именно, именно когда наша «мать» пьяна, лжет и вся запуталась в грехе, – мы и не должны отходить от нее...»². К «Апокалипсису нашего времени» примыкают и другие «апокалиптические» статьи, и среди них «С вершины тысячелетней пирамиды (Размышление о ходе русской литературы)». Пред смертным своим часом Розанов бросил последнее проклятие и все же простил великую литературу.

Все предсмертное, апокалиптическое творчество Розанова, полное огненных, порою страшных слов, было проникнуто все же светлыми мотивами воскрешения. Ведь пророчествовал человек, для которого иной родины, чем Россия, не существовало. Это было не злорадство, не глумление, но крик боли – он жаждал не мщения, но любви, всего того, что он так хотел внушить всем людям: «Может быть, народ наш и плох: но он – наш народ, и это решает все»³.

Умирал Розанов в смятении и сомнении, ошеломленный обрушившимися на его семью невзгодами и несчастьями. Холод, навсегда застывший на страницах «Апокалипсиса», голодный стон «Пирожка бы... Творожка бы...», звучавший со страниц последних розановских писем, и самый страшный удар – трагическая смерть сына Василия, поехавшего на хлебную Украину за продуктами для семьи, но так и не вернувшегося: заболел в Курске испанкой и умер 9 октября 1918 года.

В ноябре 1918 года с Розановым случился мозговой удар, но, даже парализованный, он продолжал работать. Он продиктовывал своей дочери Надежде последние свои «листья», ощущения своего медленного угасания: «От лучинки к лучинке. Надя, опять зажигай лучинку скорее, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль. Что такое сейчас Розанов? Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе умирающе-

¹ *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. Вып. 1–10. Сергиев Посад, 1917–1918.

² Опавшие листья. С. 83.

³ Там же. С. 180.

го. Говорят именно фигурно, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга очевидно нет, жалкие тряпки тела. Я думаю, даже для физиолога важно внутреннее (нрзб. – ощущение?) так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то страшным выпотом, которое нельзя иначе сравнить ни с чем, как с мертвой водой...» И уже на следующий день: «Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так измождено, что духовное тоже ничего не приходит на ум. Адская мука – вот она налицо. В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса – воистину узнаю их образ».

Даже смерть, когда человек наконец-то остается наедине с самим собой и наступает мгновение действительно «уединенное», стала последней строкой его творческой судьбы, ибо не было для него сочинительства, а была жизнь...

Розанов скончался 5 февраля 1919 года и был похоронен на кладбище Черниговского монастыря близ Троице-Сергиевой лавры, бок о бок с Константином Николаевичем Леонтьевым. При жизни они так и не встретились. На могиле Розанова был поставлен крест с надписью из «Апокалипсиса», выбранной Павлом Александровичем Флоренским: «Праведны и истинны все пути Твои, Господи».

Однако и посмертная история Розанова оказалась в высшей мере трагичной, ни на что не похожей. Обратимся к словам Петра Васильевича Палиевского, увидевшего в судьбах трех русских мыслителей – Леонтьева, Розанова и Флоренского – некую фатальную российскую закономерность и предложившего задуматься над этим: «Те из нас, кто бывал в этих местах, знают, что ни могил, ни надписей там нет. У развалившейся ограды посетителя встретит заколоченная церковь и пустырь. Рассказывают, что в 20-е годы здесь помещалось общежитие слепых, и они, постоянно наталкиваясь на надгробия, как-то расколотили их железными палками. Правда эта символическая легенда или нет, зрелище, открывающееся на месте этих событий, удручающее. Мыслитель, одно название одной статьи которого («**Средний европеец как орудие всемирного разрушения**») стоит десятка объясняющих современность систем; другой – источник естественных сил, какого, верно, не знала история, восстановитель жизни среди любых химических свалок эпохи; третий – попытавшийся обнять все их проблемы энциклопедическим умом, – исчезают вплоть до буквального по Пушкину: «и мертвец вниз поплыл снова за могилой и крестом».

Правда, есть у этого русского небрежения, которому оправданий нет, и обратная сторона. Те, кому удалось сквозь него пройти, выбраться из-под растоптанных плит, поднимаются в неподменной подлинности и устанавливаются в культуре навсегда»¹.

Комментировать розановские страницы – задача неблагодарная да и ненужная. Слишком емко его слово, причудлива паутина ассоциаций, где за каждой ниточкой – раздумья, а то и целые судьбы. И то, что не дает он ответа на вопросы, а предлагает альтернативу, право выбора – решай, мол, сам, но прежде задумайся, – непривычно и рождает в душе тревогу и беспокойство. Трудно б ы т ь человеком, еще мучительнее п о ч у в с т в о в а т ь себя человеком. О тяжком пути познания самого себя, о том, что в конце концов к а ж д о м у придется отвечать (неважно – перед Богом или же перед собственной совестью) за земной свой путь, рассказывают книги вернувшегося к нам после долгой дороги писателя. Вся его жизнь – борьба за идеализм в высоком смысле этого слова, а это особенно необходимо в наш прагматичный век.

Сам Розанов был скептичен относительно издания своих сочинений: «Вывороченные шпалы. Шашки. Песок. Камень. Рытвины.

Что это? – ремонт мостовой?

Нет, это «Сочинения Розанова». И по железным рельсам несется уверенно трамвай»².

Тем не менее предоставим читателю возможность своими глазами увидеть малую толику из огромного наследия Розанова. Каждый подбор розановских произведений будет, конечно, субъективен; возможно, каждый последующий сборник его работ будет опровергать предыдущий. Это не противоречие, а норма для такого писателя, каким был Розанов. Читать его надо еще учиться, не раздражаясь на колкости и очевидные (по нашему мнению) «глупости», резкие и несправедливые вроде бы оценки и суждения, а задуматься и попытаться самому себе ответить на вопрос: «А почему так?» Книга, обмолвился как-то Розанов, «это быть вместе». Постараемся же друг друга понять.

¹ Палиевский П.В. Розанов и Флоренский: (Доклад, прочитанный на симпозиуме, посвященном творчеству П.А. Флоренского в Бергамо) // Литературная учеба. 1989. № 1. С. 115.

² Опавшие листья. С. 45.

В.В. РОЗАНОВ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА

Традиционная для нашего литературоведения исследовательская схема «Писатель имярек и фольклор», казалось бы, менее всего подходит творчеству Василия Васильевича Розанова.

Характерного для российской интеллигенции рубежа XIX–XX веков повального преклонения перед русским фольклором как тем духовным феноменом, который может оздоровить культуру, а российскую словесность одарить Словом истинным, чтобы восторжествовало «подлинное словотворчество», новое для города, старое для народа»¹, Розанов счастливо избежал. Его очевидный «фольклорный нейтралитет», выразившийся практически в полном отсутствии интереса к данной проблематике (хотя он любил писать и писал по любому поводу), как бы относит вынесенную в заголовок тему в разряд гипотетических.

Однако хотя особого восхищения народным творчеством в его работах мы не найдем, но не встретим, впрочем, и презрения, а уж тем более неприятия. Эстетический феномен русского фольклора душу его не пригревал, потому что это была незнакомая ему культура, во многом отличная от культуры провинциальных русских городов, в которых прошли детство и юность Розанова, и показательны в этом плане воспоминания его дочери Надежды, где она рассказывает о переживаниях и страхах отца за детей, когда семья выезжала даже не в деревню, а всего-навсего на летнюю дачу². О том, что традиционная крестьянская культура была не его темой, говорит то, что в известных его высказываниях о ходе движения русской литературы (например, в помещенном в «Опавших листьях» самом «кратком курсе» русской литературы³ фольклор даже не рассматривался как предтеча литературы; его как бы не существовало вовсе.

¹ *Иванов-Разумник Р.В.* Земля и железо // Русские ведомости. 1916. 6 апр.

² РГАЛИ. Ф. 419, оп. 2, ед. хр. 7.

³ *Розанов В.В.* Опавшие листья. СПб., 1913. С. 294–296. (Далее в сносках: Опавшие листья.)

Между тем Розанов как явление всеохватное и, самое главное, живое с фольклором все-таки имел свои принципиальные и нетрадиционные отношения, которые, особенно к закату его жизни, приобрели даже мировоззренческий характер, многое объясняя в розановской концепции «судьбы России».

Активной творческой традицией для Розанова был фольклор иного рода, который все же находится на периферии чисто фольклористических исследований, относящихся более к сфере этнографических наук или даже лингвистики.

Речь идет о таком явлении, которое определяется весьма расплывчатым термином – «фольклор и этнография города».

Розанов ранний, конца XIX века, сосредоточившийся на проблемах философских, публицистических и отчасти литературоведческих, традиционный фольклор как целостную эстетическую систему никоим образом не трактовал и, видимо, имел полные на то основания; это была не его стихия, для него, сформировавшегося в городской, отчасти мещанской, разночинской среде, гораздо ближе был мощный пласт городской культуры, подпитанный городским словом (уличным, чиновничьим, мещанским и т. д. и т. п.). В живом слове, даже в канцеляризмах и штампах, он видел некий знак художественности, для обычного человека, в том числе и ученого-фольклориста, не существующий вовсе.

Вот, например, из второго короба «Опавших листьев», где кредо его на фольклор такого рода как эстетическую систему выражено достаточно определенно, а для многих неприемлемо и вызывающе: «Я до времени не беспокоил ваше благородие, по тому самому, что мне хотелось накрыть их тепленькими». Этот фольклор мне нравится. Я думаю, в воровском и в полицейском языке есть нечто художественное. Сюда Далю не мешало бы заглянуть... (на процессе Бутурлина мелкий чиновник, выслеживавший в подражание Шерлоку Холмсу Обриена-де-Ласси и Панченко)»¹.

Объективно розановское понимание фольклора оказывается весьма современным. Для примера приведем определение фольклора, предложенное в 1985 году Комитетом правительственных экспертов ЮНЕСКО: «Фольклор (в более широком смысле традиционная народная культура) – это коллективное и основанное на традициях творчество групп или индивидуумов, определяемое надеждами и чаяниями общества, являющееся адекватным выра-

¹ *Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 22. (Далее в сносках: Опавшие листья. Короб 2-й.)

жением их культурной и социальной самобытности; фольклорные образцы и ценности передаются устно, путем имитации или другими способами; к формам фольклора наряду с другими относятся язык, литература, музыка, танцы, игры, мифология, ритуалы, обычаи, ремесла, архитектура и другие виды искусства»¹.

Однако при всем, казалось бы, безразличии к традиционному фольклору эта область культуры была для Розанова достаточно хорошо известна. «Фольклористическая» подготовка Розанова видна, например, из текста его статьи «Таинственные соотношения»: «Берегу как «зеницу ока» прекрасную, даже прекраснейшую книгу Иллюстрова «Русский народ в его пословицах». Прочел о сборнике «Русских сказок» Смирнова (хотел бы очень получить от автора в обмен на свое сочинение) статью Крючкова в «Книжном угле». Там же в первую очередь прочел об Ончукове, собиравшем, должно быть, «Онежские былины». Ончукова я лично знал. Работал в «Нов. времени»².

Лишь в одном месте ошибся Розанов: автором «Онежских былин» был не Николай Евгеньевич Ончуков (его сборник назывался «Печорские былины» (СПб., 1904), а Александр Федорович Гильфердинг. В остальных случаях – шла ли речь об уникальном труде крупного русского военного юриста, Председателя Главного военного суда генерал-лейтенанта Иакинфа Ивановича Иллюстрова «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках» (СПб., 1915) или о статье поэта и журналиста Дмитрия Александровича Крючкова «О делах сказочных» (Книжный угол. 1918. № 3), где был упомянут подготовленный Александром Матвеевичем Смирновым-Кутаческим «Сборник великорусских сказок из архива Русского географического общества» (Пг., 1917), – автор показал свою достаточную фольклорную компетентность.

Традиционный фольклор не обладал для Розанова той притягательной живой силой, которая таилась в городской культуре, отчасти и потому, что сила эта была выхолощена наукой о народном творчестве. В фольклористике Розанов видел еще одну ученую странность, которая превращает разговорную народную стихию в тот самый регламентированный неплодоносящий фольклор, который лишь оправдывает существование фольклористики.

Ученый «организует» народную стихию, и возникает фольклор, нечто пусть высокохудожественное, но все же искусственное.

¹ ЮНЕСКО и сохранение фольклора // Курьер ЮНЕСКО. 1985. № 5. С. 27.

² Розанов В.В. Таинственные соотношения // Книжный угол. 1918. № 4. С. 6.

Тезис, что фольклор возникает тогда, когда приходит фольклорист, отчетливо прозвучал в статье 1913 года «Великорусский оркестр В.В. Андреева» как очередная розановская странность, но смысл его был очень глубок, потому что он верно выявил взаимоотношения между изучаемым предметом и исследователем. И хотя эта статья имеет множество смысловых пластов, обратим внимание лишь на один из них – как Розанов мыслит интерпретацию народной стихии (в данном случае ее знаком выступает «балалайка») исследователем-интерпретатором (в данном случае это В.В. Андреев):

«Надели фрак и балалайка удалась.

Это был последний инструмент последнего русского человека, инструмент до того первоначальный, что он не только не «ожидал» от играющего слуха или умения, но не ставит требованием даже присутствие у него всех пальцев... «Трын-брын» – выходило, когда играющий просто «всей пятерней» махал по трем коротеньким струнам, издававшим коротенький звук, сейчас же умолкший.

И им не наслаждались, а около него смеялись, гоготали. Он всегда был пьяный, этот инструмент, – и в противоположность достопочтенной гармонии, которая ходила в смазных сапогах, балалайка ходила просто босиком или в опорках, совершенно невообразимых. На такой-то балалайке играл свою «барыню-барыню» пьяный мастеровой, завалившийся в канаву.

Мимо него проходил однажды Василий Васильевич Андреев и протянул, остановившись над пьяным:

– Э-э-э...

Он был небольшого роста, и весь сжатый, – с боков, спереди, сзади, – сухой, крепкий, нервный. Волосом черен и борода эспаньолкой а la Napoleon III. Не человек, а «фрак»... Все в нем – форма, срок и обязанность. Встает рано, ложится поздно и все сутки в заботе, труде и неумимости. Он остановился над канавой, услышав «трын-брын», и произнес твердо:

– Дело не в балалайке, а во фраке. Дело в том, что этот играющий на нем господин – босиком, не трезв и не умеет работать. Если бы он умел работать, он и в балалайке отыскал бы средства и возможности художественного удовлетворения. А чтобы приучиться работать, надо прежде всего сбросить эти опорки и надеть французские штилеты; далее – заменить остатки рваной рубахи и штанов голландским бельем, галстуком последнего фасона, и – главное! – по «тугой мерке» сшитым фракком, который бы сжимал, облегал бы человека как в стальную форму, который был бы «лучше

чем застегнутый», даже не будучи застегнут. Вот когда он наденет этот фрак, мы посмотрим...

И он взял вывалившийся у пьяного инструмент и унес его к себе...

И работал день и ночь над ним. Хлопотал, заботился; всюду ездил, изучал, расспрашивал. Размышлял, много размышлял. Собрал учеников, помощников, школу с непререкаемым и единственным условием-канонem: «никто без фрака да не приближается к балалайке»¹.

Опубликованный в пятнадцатом томе альманаха «Российский Архив» значительный пласт неизвестных ранее архивных документов² свидетельствует, что Розанов достаточно точно с помощью специфических художественных образов воспроизвел многолетнюю историю создания и становления Великорусского оркестра народных инструментов своего полного тезки Василия Васильевича Андреева.

Как правило, наука (интерпретация) всегда существует в международном контексте, и Розанов добавляет еще один характерный штрих: «Кстати: впечатлению помогли и немецкие голоса, а до начала концерта при входе – речь французская и английская. Сзади же я по всей линии четвертого ряда кресел (позади себя) слышал сплошную немецкую речь «до» и «после» музыки. Иностранцы, очевидно, полюбили «Великорусский оркестр балалаечников В.В. Андреева» как одну из удивительных виртуозностей, какие достигаются над русским материалом его европейской обработкой»³.

В 1929 году известный советский фольклорист Николай Иванович Кравцов, исследуя признаки фольклоризма того или иного писателя на материале русского фольклора, выделял наиболее характерные из них. Это и использование мотивов народных поверий, и запевки и прибаутки, и временно-географические зачины, и характерные для фольклора окончания, и лексика крестьянского быта, и образ-приложение (типа угли-очи, сокол-ветер) и многое другое⁴.

Когда речь заходит о своеобразии писательского стиля Розанова, о возможном наличии в его текстах той или иной фольклорной атри-

¹ *Розанов В.В.* Среди художников. СПб., 1914. С. 441–442. (Далее в сносках: Среди художников.)

² *Сесилкина Л.* В.В. Андреев и его Великорусский оркестр // *Российский Архив.* Вып. XV. М., 2007. С. 491–538.

³ Среди художников. С. 444–445.

⁴ *Кравцов Н.И.* Есенин и народное творчество // *Художественный фольклор.* Вып. IV–V. М., 1929. С. 192–203.

бутики, данная формальная исследовательская схема не имеет смысла, хотя для изучения творчества писателей, сознательно ориентированных на фольклор (например, для С.А. Есенина, С.А. Клычкова, А.М. Ремизова), она, несомненно, полезна.

Так же непродуктивно исследование розановского наследия с точки зрения «внутреннего, органического фольклоризма», реализующегося на идейно-смысловом, сюжетном или каком-либо ином системном уровне. Фольклоризм его произведений совсем иного рода, осмыслить который в какой-то мере можно лишь с точки зрения философии фольклора.

Странность розановского фольклоризма заключалась в том, что писатель понимал и чувствовал отечественный фольклор (впрочем, надо толковать это понятие расширительно – всю народную культуру) как некое мистическое отражение исторического процесса, причем не только и не столько прошедшего, но и будущего. Футурологические потенции одного из самых неприхотливых и даже вроде бы презираемых многими интеллектуалами искусств Розанова притягивали и настораживали, заставляли видеть в происходящем в России историческом, социальном, культурном и в конце концов в нравственном кризисе нечто, культурой (в том числе и фольклором) как бы запрограммированное заранее, семя, тайна которого становится понятной, лишь когда появляются «зримые побег» переживаемой всеми реальности.

Впрочем, нельзя отказать в удовольствии «перетрясти» все творчество Розанова в плане так называемого конкретного литературоведения, вернее, конкретной фольклористики – ведь «говорок» розановского повествования (язык мелкого чиновника, мещанина, провинциального интеллигента) сам по себе являлся фольклором, если рассматривать это понятие в широком смысле как «часть действительности, элемент быта или, точнее, целую сферу традиционного народного быта. Фольклор – весьма активная форма духовной культуры, активная форма поведения»¹.

Речевое поведение Розанова было крайне своеобразным, и фольклорные модели проявлялись в нем на самых различных уровнях. Например, очевидная ориентация (сознательная или нет – это другой вопрос) на «наиболее элементарные фольклорные формы – устные тексты, вошедшие в традицию и тем отличающиеся от разовых текстов, остающихся только языковыми (речевыми) явлениями»². Его тексты пересыпаны экспрессивными вульгариз-

¹ Чистов К.В. Народные традиции и фольклор. Л., 1986. С. 289.

² Там же. С. 283.

мами (типа «Дарвинишко», «Спенсеришко», «литературочка», «революционеришки» и т. д. и т. п.), игравшими в полемическом искусстве Розанова едва ли не самую существенную роль. Однако хотя Розанов в данном случае явно творил в стилистическом русле Ф.М. Достоевского и вообще литературы 60-х годов, но фольклорная первооснова, ее словесные стереотипы очевидны.

Для примера приведем эпизод сбора Емели на речку из классического сборника Дмитрия Константиновича Зеленина «Великорусские сказки Вятской губернии» (сказка А.Т. Краева): «Нашел он онучешка, нашел отопчешка, обул; обулся, тяжолъчошко обол, подпоясал онучешко, наложил колпачешко, заткнул (за пояс) тупичешко»¹.

Характеризуя речевое поведение Розанова, нельзя не обратить внимания на очевидное стремление писателя использовать паремиологический фольклорный фонд, причем особое значение для него имела переделка традиционных вариантов, что также «работало» на своеобразии его художественного стиля. Во всяком случае все его многочисленные «переделки» пословиц и поговорок типа «плевать во все лопатки», человек «без «Гоголя» в голове»² и т. д. и т. п. стали не только характерной чертой его повествовательного стиля, но вообще новым явлением русской поэтики. Легкость, с которой он манипулировал довольно консервативным фольклорным жанром, для рубежа веков была во многом неожиданна, так как продуктивным такой метод паремиологической контаминации стал лишь в наши дни, когда художественные тексты, да и бытовая речь наполнены подобными пословичными «нелепостями» (типа «не плюй в колодец, вылетит – не поймашь» и т. д.).

Необходимо отметить и такую особенность творчества Розанова, как латентный (скрытый) фольклоризм, который рождает (или не рождает) у читателя определенные фольклорные ассоциации, аналогии. Все зависит от «фольклорной грамотности» читателя, когда у него воссоздается не тот или иной фольклорный образ, а целый ряд в зависимости от знания читающим народной культуры.

Вот, например, розановское восклицание в скорбный момент отъезда в Киев на похороны П.А. Столыпина: «Хороши делают чемоданы англичане, а у нас хороши народные пословицы»³. Удовольствие

¹ Зеленин Д.К. Великорусские сказки Вятской губернии: (Записки Русского Императорского Географического Общества по Отделению этнографии). Т. 13. 1915. № 23.

² Розанов В.В. Сочинения. М., 1990. С. 520..

³ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 26.

от комфортного английского чемодана, от его незаедающих застежек несомненно вызвало некое экспрессивное восклицание, которое, в свою очередь, восхитило Розанова, что и стало причиной рождения этого «опавшего листа», где в очередной раз Розановым было выражено отношение к двум типам культуры, мироощущения, бытия.

Хотя для Розанова это экспрессивное выражение или пословица были вполне определены, читатель мысленно перебирал великое их множество из огромного паремиологического фонда в зависимости от собственного знания народной культуры. Причем ни одно из выражений, найденных читателем, не будет адекватным розановскому восклицанию – его слово, давшее толчок мысли, так навсегда и останется для всех тайной.

С позиций латентного фольклоризма следует вообще более внимательно подходить к творчеству любого писателя. Ведь подчас за внешне нейтральными в фольклорном отношении образами и ситуациями кроется тот или иной пласт народной культуры, отраженный в художественном тексте опосредованно, на уровне всего лишь модели фольклорного мотива или атрибутики.

Сошлемся хотя бы на достаточно известный текст Розанова, где он рисует социально-политическую утопию «идеального государства Российского»: «Я бы, напр., закрыл все газеты, но дал автономию высшим учебным заведениям, и даже студенчеству – самостоятельность Запорожской Сечи. Пусть даже республики устраивают. Русскому Царству вообще следовало бы допустить внутри себя 2–3 республики (по реке Риону, на Кавказе). И Новгород и Псков, «Великие Господа Города» с вечем. Что за красота «везде губернаторь». Ну их в дыру. Князей бы восстановил: Тверских, Нижегородских, с маленькими полупорфирами и полувенцами. Русь – раздолье, всего – есть. Конечно, над всем Царь с «секим башка». И пустыни. И степи. Ледовитый океан и (дотянулись бы) Индийский океан (Персидский залив). И прекрасный княжий Совет – с $\frac{1}{2}$ венцами и посадниками и внизу – гольтьба Максима Горького. И все прекрасно и полно, как в «Подводном Царстве» у Садко»¹.

Эта «лубочная» карта Российского государства в определенной мере создана в соответствии с законами «сказочной географии», реализующимися в фольклорных текстах в таких волшебных предметах (сказочная атрибутика), как «блюдечко с золотой каемочкой», которое показывает чудесные страны, и волшебный ковер, где, как,

¹ Опавшие листья. С. 465–466.

например, в сказке «Серая утица», «все царство-государство как на ладони видно. Синие моря, высокие горы, храмы божиин златоглавые, леса непроходимые, а звери и птицы, ровно живые, трепещутся»¹. «Сказочная география», вернее, вариации мотива «иногo царства» – «ступай теперь туда – нет никуда»², «пойди туда – не знаю куда»³ – присутствуют и в других произведениях Розанова; например, в работе «Мечта в шелку», где ирреальное место своего желаемого погребения определено Розановым в реальных географических координатах: «Всего лучше – это в лесу или в поле. И всего лучше вне градусов северной широты и восточной долготы. (Посмотреть градусы России, вне градусов России, но России не упоминать.)»⁴.

Анализируя розановские тексты с точки зрения конкретной фольклористики, следует обратить внимание на определенный синкретизм этих текстов, что сближает их с чисто фольклорными произведениями. «Фольклорные тексты, – писал К.В. Чистов, – синкретические образования с преобладающей, важной или ослабленной ролью словесного компонента в сочетании с другими невербальными коммуникативными компонентами (мелодией, мимикой, движениями, танцами, элементами изобразительного искусства и т. п.)»⁵.

Действительно, розановское письмо разительно отличается от обычных художественных текстов именно сочетанием словесного и невербального компонентов, что характерно именно для фольклора. Вспомним хотя бы приведенный выше «опавший лист» с английским чемоданом и русскими пословицами и согласимся, что за этим текстом (хотя термин «текст» для Розанова не совсем корректен) ощутимо движение (жестикуляция и мимика). В семиотике и паралингвистике подобные незвуковые элементы речи, накладывающиеся на звуковые элементы выражения смысла, определяются термином «суперсегментные единицы речи».

Еще более отчетливо просвечивают гримасы и жесты автора в его знаменитых рассуждениях о нравственности: «Даже не знаю, через «ять» или через «е» пишется «нравственность». И кто у нее папаша был – не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее – ничегошеньки не знаю»⁶. Удивительно, но в данном тексте со-

¹ Песни, сказки, частушки Саратовского Поволжья. Саратов, 1969. С. 55.

² Там же. С. 57.

³ Народные русские сказки А.Н. Афанасьева: в 3 т. М., 1985. С. 108.

⁴ *Розанов В.В.* Мечта в шелку // Весы. 1905. № 7. С. 8. (Далее в сносках: Мечта в шелку.).

⁵ *Чистов К.В.* Народные традиции и фольклор. С. 284.

⁶ Уединенное. С. 155.

держится полный спектр мимических интонаций – от нейтральной до ёрнической, и читатель как бы видит автора, приложившего руку к щеке в притворном горе.

Перечень подобных примеров можно было бы продолжить, но, даже если у разных читателей и возникнут различные мимические и жестикуляционные ассоциации, несомненно, что розановские тексты (как и фольклорные) в высшей степени драматизированы и наделены богатой мимикой, т. е. «суперсегментные единицы речи» накладываются на звуковые элементы выражения смысла. В этом плане Розанов-писатель соотносим с народным исполнителем; его тексты не столько читаются, сколько исполняются, т. е. обладают сценическим эффектом.

Можно привести и более формальные соответствия между произведениями Розанова и фольклором. Например, паспортизация фольклорных текстов (когда, где и от кого записано) и обязательные розановские ремарки, которыми заканчивается практически каждый «опавший лист» (типа СПб., Киев, вагон и т. д.). Однако все приведенные выше случаи фольклоризма розановских произведений хотя и могут быть предметом отдельного исследования, достаточно интересного и важного для понимания художественного стиля писателя, но сводить проблему лишь к этим исследовательским фрагментам неправомерно. Важнее попытаться выяснить специфику отношений писателя с народной культурой и фольклором на жанровом уровне, что позволит поставить вопрос как о месте фольклора в художественном мировоззрении писателя, так и о стиле его литературного поведения.

В этой связи необходимо остановиться на двух жанрах русского фольклора, игравших в творчестве Розанова роль достаточно принципиальную. Речь идет о так называемой сектантской поэзии и народной сказке.

Если быть точным, то сектантская поэзия не является фольклорным жанром, ее тексты имеют авторское происхождение. Однако по некоторым признакам (изуственность, вариативность, синкретизм и т. д.) сектантская поэзия с некоторой долей условности может рассматриваться в русле фольклорной культуры.

Стихия сектантства с его проповедью необычных, порою самых изуверских форм искупления греха, с его очевидным протестом против многих канонов и догматов официальной церкви притягивала Розанова. В культуре сектантства видел он аналоги тех же «прокля-

тых» вопросов (связанные с поисками «религии пола», например), которые были важны и для него самого.

Интерес к сектантству как явлению заставил его посвятить этой теме немалое количество статей, часть из которых затем была собрана в 1914 году в книгу «Апокалипсическая секта. (Хлысты и скопцы)». Размышляя «об оригинальном и огромном движении, которое испытала русская душа в расколе, об этой бездне инициативы, акции суровой борьбы и поэзии»¹, Розанов дал отличные этнографические зарисовки быта сектантов (хотя его «фольклорная экспедиция» была всего лишь на окраину Петербурга), исследовал феномен хлыстовства и скопчества и даже опубликовал некоторые образцы этой поэзии: «Послания» и «Страды» Кондратия Селиванова, а также скопческие духовные песни, извлеченные из показаний скопцов в Соловецком монастыре.

Хотя книга эта, строго говоря, не относилась к разряду фольклорных, а продолжала тему «Людей лунного света»², но введение в научный оборот этих текстов было объективно полезно для фольклористики и этнографии. Среди изданий, посвященных культуре старообрядчества и сектантства (*Рождественский Т.С., Успенский М.И.* Песни русских сектантов-мистиков. СПб., 1912; *Рождественский Т.С.* Памятники старообрядческой поэзии. М., 1909), книга Розанова считается одной из авторитетных.

Розановская концепция искусства (в том числе и фольклора) пережила вместе с автором трагическую эволюцию. Условный раздел можно провести по годам революции и гражданской войны в России, когда розановское видение фольклора и литературы приобрело апокалиптический характер, причем источник случившейся со страной социальной трагедии Розанов усмотрел именно в изящной словесности. Именно тогда наиболее остро была поставлена им проблема вины отечественной культуры.

Фольклорным жанром, к которому Розанов проявлял постоянный интерес в течение всей своей творческой жизни, была русская сказка. В начале века сказка трактуется им как некая навсегда данная метафизическая сущность, как хранительница Истины, Красоты, «которая спасет мир». В статье 1900 года «Сказки и правдоподобия» он видел в сказке «храм Невидимого и Неучтожимого»³ скрытую в ней потенциальную возможность для каждого вернуться к истине и

¹ *Розанов В.В.* Апокалипсическая секта: (Хлысты и скопцы). СПб., 1914. С. 42.

² *Розанов В.В.* Люди лунного света. СПб., 1913. (Далее в сносках: Люди лунного света.).

³ Среди художников. С. 29.

душевному здоровью. «Детский мир, – писал он, – еще не затуманившийся небесный мир, и каждое прикосновение к нему очищает взрослого, соскабливает заношенную старую кожуру с ученого и очищает из-под гражданина – человека <...> Кто знает, через век, через два не сделается ли серьезной политической программой лозунг: «Опять к детям!», «все – к детям!», да и – не только политической, а культурно-религиозною программой!»¹.

В 1912 году в работе «Возврат к Пушкину» Розанов сформулирует аналогичную культурно-религиозную программу для литературы (лозунг «Назад к Пушкину!»)². Предчувствие неизбежного русского возрождения еще до наступившего социального краха, неприемлемый для все более радикализирующейся интеллигенции призыв к социальной деидеологизации искусства, а заодно и общества (очистить «из-под гражданина – человека») и в связи с этим выбор «странного» направления движения (не «вперед к прогрессу», а «назад к Пушкину, детям») выглядели для многих риторикой, но истинный смысл розановского тезиса стал очевидным, может быть, лишь сегодня.

Из всего обилия сказочных персонажей Розанов останавливает свое внимание на образе наименее «волшебном», почти анекдотическом – а именно на Иванушке-дурачке. Именно этот герой стал олицетворять для Розанова все те качества национального характера, которые всегда помогали русскому человеку оставаться самим собой, какие бы социальные эксперименты над ним кто-либо ни производил.

Не идеализируя русский народ, понимая ясно его не только положительные, но и отрицательные свойства, он честно взглянул на своего соотечественника глазами непривлекательного сказочного героя. В определенной мере это был полемический вызов Розанова той части российской интеллигенции, которая, предчувствуя «отдаленного восстания надвигающийся гул» (Александр Блок), судьбу России видела в «стихийных людях», «для которых, – как писал Александр Блок в статье «Стихия и культура», – земля не сказка, но чудесная быль, которые знают стихию и сами вышли из нее...»³.

Возникшее очевидное противопоставление «стихийных людей» Александра Блока и «Иванушки-дурачка» Василия Розанова отражало в определенной мере жанровую специфику русского фоль-

¹ Среди художников. С. 24–25.

² Там же. С. 404.

³ Блок А.А. Собрание сочинений: в 8 т. Т. 5. Л., 1962. С. 356.

клора. Разные жанры несли определенные черты национального характера, и потому Блок, опираясь главным образом на духовные стихи и частушку, увидел своего народного героя иначе, чем Розанов. Развивая известный тезис Ф.М. Достоевского о слиянии в русской душе двух вечных начал – «идеала Содомского» и «идеала Мадонны», Блок писал в той же статье «Стихия и культура»: «Так вот: с одной стороны – народ православный, убаюканный казенкой, с водкой в церковных подвалах, с пьяными попами. С другой – этот «зачерепевший слой лавы» над жерлом вулкана. Они поют:

Ты любовь, ты любовь,
Ты любовь святая,
От начала ты гонима,
Кровью политая.

Те поют другие песни:

У нас ножики литые,
Гири кованые,
Мы ребята холостые,
Практикованные...
Пусть нас жарят и калят,
Размазуриков-ребят,
Мы начальству не уважим,
Лучше сядем в каземат...
Ах ты, книжка-складень,
В каторгу дорожка,
Пострадает молодец
За тебя немножко...

В дни приближения грозы сливаются обе песни: ясно до ужаса, что те, кто поет про «литые ножики», и те, кто поет про «святую любовь», – не продадут друг друга, потому что – стихия с ними, они – дети одной грозы, потому что – земля одна, «земля божья», земля – достояние всего народа»¹.

Народный герой Розанова был принципиально иным, потому что иной была жанровая (в данном случае сказочная) трактовка его. Розанов увидел за буфонной личностью Ивана-дурака характер, отличный от «стихийного» героя символистов. Не было в нем ни двух начал, ни разбойной удали, ни монашеской кротости. Даже в его вечном конфликте со старшими братьями содержалось опровержение блоковского тезиса, что «стихийные люди» «не продадут друг друга».

Со своим народным героем связывал свои социально-нравственные надежды и Розанов. Именно Иван-дурак как воплощение

¹ Там же. С. 358–359.

национального характера, по мнению Розанова, был способен выдержать обрушившиеся на Россию испытания прогрессом, рационализмом, рассудочностью, эгалитаризмом и прочими «измами», которые большинству мнились как панацея от всех социальных неудобств и бед. Углубляя понимание вечного в русском национальном характере, он квинтэссенцию этого начала увидел не в «приличных», ласкающих примитивное национальное самолюбие фольклорных жанрах (как то: эпос, героическая сказка, даже остроумный анекдот), а в образе, мягко говоря, странном, вечно гонимом, но всегда возрождающемся – в дураке.

В статье, посвященной сборнику сказок А.М. Смирнова-Кутаческого «Иванушка-дурачок» (СПб., 1912), Розанов противопоставлял это «вечное» и «шумное, временное» достаточно определенно. «Что же такое этот «дурак»? – писал он. – Это, мне кажется, народный потаенный спор против рационализма, рассудочности и механики, – народное отстаивание мудрости, доверия к Богу, доверия к судьбе своей, доверия даже к случаю. И еще – выражение предпочтения к делу, а не к рассуждениям, которые так часто драпируют собой тунеядство и обломовщину. Посмотрите-ка на «дурака» в работе, – хочется аплодировать»¹.

Во многом данная трактовка образа этого «низкого» героя волшебной сказки перекликалась с известной концепцией А.М. Смирнова-Кутаческого, который в Иванушке-дурачке видел смиренное, всепрощающее, всеискупляющее, нищелюбивое и пассивное существо, которому «противно чувство злобы и вражды», а в основании «всех нравственных чувств и отношений» лежит глубокая религиозность².

Розановское понимание этого сказочного героя было все же иным. Иван-дурак – не просто воплощение «мудрости непротивления», религиозности и социальной индифферентности, но залог неистребимости русского характера, и в том, как неизбежно преодолевает он социальные соблазны и утопии, навязываемые ему братьями старшими, ясно ощущался для Розанова оптимизм русской истории.

Социальный опыт страны побуждает увидеть в розановском апофеозе Ивана-дурака идею здравую и более глубокую, чем это казалось современникам. Именно с высоты социально-исторического опыта розановские сомнения относительно несомненных, казалось бы, истин, провозглашенных сторонниками эгалитаризма и демо-

¹ Среди художников. С. 421.

² *Смирнов-Кутаческий А.М.* Иванушка-дурачок // Вопросы жизни. 1905. № 12.

кратизма, как то: примат ума, рассудочность, знание и т. д. и т. п. (т. е. достоинства старших братьев), кажутся не такими уж бессмысленными.

Действительно, обозримое историческое прошлое продемонстрировало такое количество преобразователей, честных (несомненно честных) служителей прогресса, бескомпромиссных и искренних энтузиастов, боровшихся с «идиотизмом деревенской жизни» во имя, казалось бы, логичного (стоит лишь встать на правильную, «научную точку зрения») царства будущего равенства и свободы, что шокировавшее в свое время современников своей «антидемократичностью» розановское предостережение против возможных и вероятных «художеств» братьев старших и средних сегодня воспринимается как историческое предчувствие. «В слишком многих домах у русских, – писал Розанов, – все доброе и крепкое принадлежит действительно «дураку», т. е. «придурковатому» сыну в ряду других детей, придурковатому «брату» среди способных братьев, но которые благодаря своей «талантливости», во-первых, ничего не делают, а во-вторых, доходят до разных «художеств», приводящих их даже в тюрьму.

Эти «талантливые натуры», очевидно, развалили бы весь дом – развалили и растащили, если бы не «дурак», которому «художества» и проступки и на ум не приходят, который только ест и работает, – ну положим, как лошадь или корова (если случится быть «дуресестрице», что случается). Но ведь и в дому крестьянском лошадь явно полезнее пьющего человека, озорного человека, лентяя-человека. Лошадь безответно работает вот как именно «дурак»; а «дурак» работает как лошадь и, в сущности, спасает весь дом, спасает и кормит, спасает и строит. В элементарной жизни, какова русская старая и русская деревенская до сих пор жизнь, «дурак» и все множество действительных «дураков» играют огромную строительную и огромную сохранительную роль. И можно сказать, чуть-чуть преувеличив, что деревня только и живет «стариками да дураками» среди склонной «закучивать» молодежи и умников...»¹.

О том, как был развален и растащен дом «способными», «правильными» братьями, каждый имеет свое представление, исходя из собственного социального опыта, и тем не менее розановская апологетика Ивана-дурака многим и сегодня кажется унижительной и обидной. Розанов от этих упреков не отказывался и не оправдывался, но скорбел «по исчезающем дураке Иване» в деревне, который

¹ Среди художников. С. 422.

матери повинуется, Богу молится, дрова рубит, избу поправляет, живет и никого «при своей глупости» не обижает»¹.

Российская изба развалилась, когда старшие братья «обидели» Ивана-дурака и он не смог делать свою ежедневную, изнуряющую работу. В 1918–1919 годах русский философ Е.Н. Трубецкой в работе «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке»² писал о том, как в годы социальной ломки случилась смена духовных идеалов и возобладала конкретная материальная субстанция, мечта «легкого хлеба», «жирная утопия солдата-дезертира»³. «Новые идеалы» отвергли само существование Ивана-дурака с его безразличием к «вульгарному гедонизму». В определенной мере Трубецкой на новом историческом фоне развил положения Розанова, повторив вслед за ним мысль (правда, избежав обидного прозвища – «дурак»), что все-таки в простом труженике, т. е. в том же «работящем дураке», а не в талантливо рассуждающем умнике залог будущего возрождения. Не мечты о светлом царстве, а каждодневная, пусть даже многим рационалистам кажущаяся тупой, работа. «Поговорка «служи, казак! – атаманом будешь», – писал Розанов, – являет собою и вариант сказки о «дураке», и завет русского народа самому себе»⁴.

Розанов времен «Апокалипсиса нашего времени», когда погибала его Россия, его дом, его семья (и в буквальном, и в символическом смысле), когда, как он писал, «все – в дребезги!!!», предстает как беспощадный аналитик, пытавшийся разглядеть в хаосе, клубке социальных, политических, культурных противоречий истоки случившейся с Россией трагедии. И здесь опять возникает стихия фольклора как исходной первоосновы, некоего первобытного хаоса, которому уже однажды случалось быть.

В одной из самых трагических его статей предсмертного 1918 года – «С вершины тысячелетней пирамиды. (Размышления о ходе русской литературы)» трагедия происшедшего с Россией парадоксально мыслилась им как результат вины отечественной культуры, и, в частности, отечественной словесности. Не останавливаясь специально на проблеме вины литературы, напомним, что фольклор как система жанров (подобно литературе) Розанова не интересовал. Зато притягивала к себе некая мощная фольклорная первоматерия,

¹ Среди художников. С. 422.

² Трубецкой Е.Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке // Литературная учеба. 1990. № 2.

³ Налепин А.Л. Иллюзии «жирного царства» // Литературная учеба. 1990. № 2. С. 98.

⁴ Среди художников. С. 423.

начало всех литературных начал, которое было само по себе невинно, безгрешно, целомудренно. Вспомним в этой связи повышенный интерес Розанова к специфическому жанру – сектантской поэзии скопцов, которая также безгрешна, целомудренна, невинна уже в силу физиологических особенностей носителей этой поэзии.

Розанову суждено было стать свидетелем и участником очередного (предшествующим было время петровских преобразований) российского социально-культурного поворота. Уникальность события, когда одновременно рушились как социальные, так и духовно-культурные устои, давала Розанову моральное право вывести эти «таинственные соотношения» мистической зависимости российской истории от культуры и в первую очередь от литературы. Обосновывая данный противоречивый тезис, Розанов писал: «Нет предмета, смысл коего мы могли бы вполне понимать, если он еще не закончен. В этом отношении 1917-й и 1918-й годы, когда рухнуло Русское Царство, представляют собою исключительную историческую минуту, в которую видно все сполна историческое течение и литературное течение в их завершенном, окончившемся уже течении. Мы видим, куда все шло, к чему все клонилось, во что все развивалось, двигалось, формировалось. Этого, что лежит перед нашими глазами, уже нельзя переменить, переделать. Оно – есть, оно представляет собою факт, зрелище – нечто созревшее и переменам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и настанут, но самые эти перемены настанут от впечатления испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в общем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то «кончилось» в России. И куда побегут новые побеги ее – это будет зависеть от того, как мы уразумеем совершившееся вот именно в этом 1917-м и 1918-м году»¹.

Именно потому, что «что-то кончилось в России», а новое еще не началось, Розанов и решился в революционное межвременье на анализ «таинственных соотношений» истоков словесности (фольклора) с печальным историческим финалом. Начало (отправная фольклорная точка) было тихо и прекрасно: «Буквально, русская литература начинается из столь же безвестных источников, как и наша история: также – ночь, сумерки раннего утра, и вот – солнышко начинает прорезывать тьму. Город Новгород уже стоит, построен, ранее «призвания князей», а сказки рассказываются, песни поются, пословицы складываются и поговорки шутятся именно у звероло-

¹ *Розанов В.В.* С вершины тысячелетней пирамиды: (Размышления о ходе русской литературы) // Москва. 1990. № 5. С. 176–177.

вов, кривичей, древлян, полян и т. д. Все это «разговорные» начала Руси, все это «говорные начала Руси», и тут уже не было «никакого призвания князей», все это было еще бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И вместе с тем: еще – фундаментальнее. «Говор», уличная речь, речь базара, речь охоты, речь рыбной ловли, заунывный плач на похоронах – все это является полным составом «литературы» в том предрассветном сумраке истории. «Говор», «слово» – есть орган литературы; он орган ее – в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежности. Наверное, у римлян не было этих указываемых оттенков. Их твердые супины, их повелительные герундии – все говорит о воле, о приказании народа, и в самом деле раскинувшегося на весь свет властью, но у которого «золотого слова» не вышло в литературу, литература которого всегда была коротка и груба.

Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие песенки и весь «зимний сон» сказок предвещал литературу из чистого золота; как и странное «призвание князей» из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарактерном, не могущем «управиться с собою» и учинить у себя «свой собственный наряд». Говорит о народе пассивном, мягком, «зазевывающемся» при зрелище другого народа и всегда готовом побежать и «сделать так же, как он».

«Начала истории» как-то «одевают шапку» на все последующее течение ее; как «говоры базарны и уличные», слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное»¹.

В русской мировой отзывчивости, которая в XIX веке так восхищала Ф.М. Достоевского, в легкости и покорности, с которой «одевалась шапка» (красиво!), в отказе от собственной Красы Ненаглядной (из русских сказок) во имя некоей Красоты общечеловеческой увидел Розанов причины очевидной алогичности российской истории и культуры, когда страной воспринимались и чуждые модели социального устройства жизни (например, решительный поворот Петра Великого лицом на Запад), и философские воззрения, и даже литературные идеалы (влияние европейской литературы на русскую словесность), когда из бесформенного фольклорного «хаоса» возникли формы и жанры литературы. «Одеванию шапки» было, конечно, и сопротивление (стрельцы, боярыня Морозова, протопоп Аввакум, славянофилы), но оно нисколько не меняло направление хода истории.

Именно в эту литературу с треском и провалилась блистательная российская история, а сама словесность вернулась к первичным своим истокам – к простенькому озерцу народно-поэтической сти-

¹ *Розанов В.В.* С вершины тысячелетней пирамиды... С. 177.

хии. По Розанову, это уже хаос рукотворный, противоположный хаосу первичному, в основе своей невинному, своего рода возмездие за «одевание» чужой красивой шапки. В предсмертных работах Розанова эта тема стала одной из главных. И.С. Тургенев и Н.Г. Чернышевский «били в одну точку, – писал Розанов, – разрушали Россию. Но в то время как «Что делать» Чернышевского пролетело молнией над Россией, многих опалив и ничего в сущности не разрушив, «Отцы и дети» Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щедрина («Господа Ташкентцы») и история («История одного города») и купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не оставалось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция»¹.

Фольклор как наказание за «грехи» возгордившейся литературы – подобной постановки вопроса не было ни у одного из писателей – современников Розанова, видевших в фольклоре все-таки олицетворение здоровых нравственных сил народа (Александр Блок, А.М. Ремизов, Артем Веселый и другие). У Розанова же иначе, до последней уничижительной оценки боготворимого им народа, который «прогулял все» и ничего, кроме фольклора, не достоин: «Совсем дрянь народ. Какой же толк из него может выйти, раз он все поет, музыканит, сказывает сказки и шутит прибаутки. Решительно надо бы собрать не серьезные пословицы, а прибаутки русского народа. Тогда балаган русской жизни или «русская жизнь как в балагане» – восстала бы в полном нарядке»². И далее совсем уж полное, до конца, «до фольклора» отрицание России, «которая умеет только пускать сопли на дудку, которую держит во рту.

Цы-ня дудка моя
Да ух я...»³

Этапы в розановском восприятии фольклора зеркально отражали эволюцию взглядов его на судьбу России, да и, по сути дела, для него Россия и фольклор были единым понятием. От России иррациональной и трудолюбивой, что было воплощено в жанре народной сказки, до России, павшей на нравственное дно, «докатившейся» до бессмысленных прибауток, частушек и шуточек.

¹ Розанов В.В. Таинственные соотношения. С. 9.

² Там же. С. 6.

³ Там же. С. 8.

Представляя себе Россию утопическую, нереальную, чужую, живущую по законам «нормальной» цивилизованной страны (Англии, например), своего рода «иное царство» собственной страшной сказки, Розанов в первую очередь лишает эту утопию именно фольклора: «Оттого-то, вот от чего вся жизнь моя прошла с полной бесплодностью, с бесплодностью для себя и для окружающих, что я в детстве слушал, как молоденький портной нам, детям, рассказывал сказки, потом уже, поступив в гимназию, зачитывался сказками бр. Гриммов и, наконец, перешел к философии, но и ее понимая, как «сказку о мире», которая просто мне наиболее нравилась. Отчаяние... Ни философом, ни ученым, ни политиком такой народ не станет. И мы прогуляли царство <...> Англичане же, первый деловой народ в мире, не имеет просто песен и выписывает музыку из-за границы. Зато какие чудовищные станки. Фабрики. И вся стоит на каменном угле. Золотая земля. Бриллиантовый народ»¹.

И все-таки в том, что народу, который «прогулял свое царство», Розанов все же оставил тот художественный минимум (прибаутки), ниже которого лишь молчание и полное забвение национальной истории, был определенный исторический оптимизм. Из этого фольклорного источника неизбежно должны были появиться «новые побеги» новой словесности.

Однако в проблеме «Розанов и народная культура», пожалуй, главным является не преломление (стилистическое, мировоззренческое и иное) фольклора в его творчестве, а способ литературного существования писателя, иными словами, стиль литературного поведения, который во многом определял даже его место в художественном процессе.

В этой связи необходимо обратиться к давней работе П.В. Палиевского «К понятию гения», где литературное поведение было исследовано как филологическая, так и культурологическая проблема². При этом были вычленены некоторые характерные модели литературного поведения, и в частности «идея клоуна». «Она единственная позволяет, – писал автор, – так сказать, законно не иметь лица, заменив его серией масок; что там, под ними, – должно мерещиться чем-то одиноким, добровольно взявшим на себя страдание («смейся, паяц»)³.

В статье речь шла о феномене XX века – лжегении, который творит иллюзию своей гениальности с помощью некоторых приемов

¹ Розанов В.В. Таинственные соотношения. С. 7.

² Палиевский П.В. Литература и теория. М., 1979.

³ Там же. С. 182.

«странного» поведения. Видимо, вопрос следовало бы расширить – ведь поведенческий фактор играет важную роль и в судьбе, и в творчестве людей действительно талантливых. Привыкшая к литературной маске публики того времени стала склонна и естественное, искреннее, а потому непривычное поведение писателя воспринимать как очередную литературную маску-мистификацию. Отсюда обвинения Розанова в «двурушничестве», «беспринципности» и как неизбежный итог этого – навешивание ярлыков: Иудушка Головлев и т. д. и т. п.

В работе 1902 года «Пол и душа» Розанов подсчитал количество прозвищ, которыми он был «награжден» всего лишь в одной статье, посвященной критическому анализу его книги «В мире неясного и нерешенного»: «Читатели обыкновенной литературы не могут поверить, что на страницах академического журнала я назван: 1) шалопаем; 2) молокососом; 3) вертопрахом; мои критики: 4) мошенниками; далее сам я: 5) богохульником; 6) врагом христианства; и после такой «дробки» автор приписывает: «Я не хочу этим сказать что-нибудь обидное для г. Розанова»¹.

Мнимая розановская «маска» смущала, да и до сих пор смущает многих. Однако эта «маска» никогда не подыгрывала публике (в отличие от маски «клоуна-лжегероя») и всегда была против рационального большинства. В реальной жизни и в литературе в каждом человеке и литературном герое как бы скрыт тот или иной фольклорный жанр, который и предопределяет тот или иной стиль жизненного или литературного поведения. Иными словами, каждый человек и персонаж выражает собой достаточно определенный фольклорный жанр: есть люди эпического, сказочного, пословично-поговорочного, анекдотического и т. д. стиля поведения.

Тип поведения Розанова более всего соотносим с поведением фольклорного иррационального героя, «иронического удачника» (Незнайки, Емели, Иванушки-дурачка). Тема эта достаточно большая и достойна самостоятельного разбора, но на некоторые характерные примеры «дурацкого», «юродствующего», «эпатажного поведения» все же обратим внимание.

Уже внешний облик этих сказочных героев и Розанова имеет несомненное сходство (речь идет, конечно, о художественном портрете); во всяком случае, они одного эстетического и стилистического ряда. Вот, например, «автопортрет» Розанова из второго короба «Опавших листьев»: «С выпученными глазами и облизывающий-

¹ Розанов В.В. Пол и душа // Новое время. 1902. 4 апр.

ся – вот я. Некрасиво? Что делать»¹. Или из «Уединенного»: «Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волосы прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат кверху, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающийся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат»². Если сравнить эти тексты с фольклорными, например с «портретом» Емели из сборника «Сказки И.Ф. Ковалева», то можно сделать вывод об определенном стилистическом тяготении розановского текста к сказочному: «Сидит на печи, широко разинув рот, а волосы стоят, как веретена»³.

С «ироническими удачниками» русской сказки роднит Розанова и алогичный «дурацкий» стиль поведения – аналог всевозможных «чудаществ» Незнайки, Емели, Ивана-дурака. В сказке эти элементы играют сюжетообразующую роль, они «держат» действие, создают особенности фольклорного характера «иронического удачника», потому что «напускной индифферентизм, чудачество и здесь служат герою своеобразной маской, за которой он старательно прячет свое настоящее лицо»⁴.

Розановские чудачества не только помогали ему также прятать свое лицо, но и служили неотразимым полемическим приемом, не всегда честным с точки зрения общепризнанной морали, но ошеломляющим. Подобно сказочному Незнайке, который «злит, выводит из себя царя, когда вместо того, чтобы выполнить его просьбу и покараулить у него кур (в сказке царь занимается тем, что кур пасет), а затем коров, вылавливает всех кур да и складывает их «под корку» (корень), а коров перекальвает ...заваливает весь царский двор дровами, принесенными из леса; во время приготовления царского обеда впускает свиней, которые поедают всю «страву» и побивают посуду, носит воду не ведрами, а кадушками, дрова – возами, сено – стогами, а когда царь в наказание переводит его собак кормить, то перебрасывает им через забор быка, да так, что мясо из бычьей шкуры, «как из мешка, вытряхивается»⁵, Розанов творил свои чудачества, злил и издевался над своими оппонентами не менее изощренно.

¹ Опавшие листья. Короб 2-й. С. 8.

² Уединенное. С. 54–55.

³ Сказки И.Ф. Ковалева // Летописи Государственного Литературного музея. Книга вторая. М., 1941. № 6.

⁴ Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. Л., 1974. С. 97.

⁵ Там же. С. 94.

Конечно, не следует проводить прямых параллелей между героем сказочным и Розановым, это выглядело бы искусственной натяжкой, но структура их поведения все же едина – своими «дурацкими» действиями они ставят в дурацкое положение не себя, а своих оппонентов. Причем последним нечем было возразить, так как алогичные утверждения и действия невозможно опровергнуть логическими доводами и поступками. Сошлемся на некоторые примеры литературного поведения Розанова, которые соотносятся с моделью поведения «иронических удачников» волшебной сказки.

Одной из форм «чудачеств» была мнимая «неточность» Розанова при упоминании некоторых имен и названий, которая вызвала раздражение оппонентов, но не давала возможности для логического опровержения, ибо в этом случае оппонент попадал бы в еще более дурацкое положение.

Обратим, например, внимание на то, как Розанов «перепутал» название пьесы Леонида Андреева (вместо «Анатэма» – «анафема» в статье «Возврат к Пушкину»), и во многом станет понятным резко отрицательное отношение Леонида Андреева к Розанову, высказанное им в письме к Горькому 11 апреля 1912 года: «Но все-таки не понимаю, что за охота тебе тратить время и труд даже на пощечины для этого ничтожного, грязного и отвратительного человека. Бывают такие шелудивые и безнадежно погибшие в скотстве собаки, в которых даже камнем бросить противно, жалко чистого камня»¹. Возразить же Розанову по всем правилам литературной критики было невозможно. В этом случае Андреев попал бы еще в более смешное положение.

Не было слов и у левой интеллигенции от возмущения по поводу постоянного употребления «неправильного» отчества в святом для них имени Чернышевского. Он постоянно называл его Николай Григорьевич. Причем эту розановскую язвительность подчас простодушно не понимали даже близкие ему по духу люди. Вот, например, из записки З.И. Барсуковой к Розанову, помогавшей ему считывать корректуру Короба второго «Опавших листьев» в 1915 году:

«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Чернышевского звали Николай Гаврилович. Я так и исправила в гранках, но Вы перечеркнули и поставили Григорьевич. Сегодня я нарочно сделала справку, которая подтвердила, что его звали Гаврилович. Если еще не напечатали, необходимо исправить»².

¹ Литературное наследство. Т. 72. М., 1965. С. 341.

² РГАЛИ. Розанов. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 742.

Тем не менее «ошибочное» это отчество так и осталось в книге.

Или другой пример «ошибки», касающийся нашумевшего романа М.П. Арцыбашева «Санин», о чем рассказал в своей книге «Кукха. Розановы письма» Алексей Михайлович Ремизов: «Старых книг заветных В.В. не давал, а новые брали – их было всегда много, неразрезанные. В.В. этих книг не читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказывали. И даже писал: как-то, наслушавшись об Арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах»¹. Хотя о подлинности фактов, изложенных у Ремизова, надо говорить с осторожностью, ибо многое в книге является тоже мистификацией, но ситуация, в ней приведенная, типично розановская: конечно же, читал и знал, но «прикинулся дурачком», «сьюродствовал», а униженному оппоненту и возразить на то было нечем.

Были и иные формы чудачества, в том числе носившие даже невербальный характер. Многим петербуржцам была памятна история о том, как во время лекции Владимира Соловьева об Антихристе под Розановым «неожиданно» сломался стул. О том, что это было не случайное падение, а все-таки полемический ответ Розанова Соловьеву, свидетельствует появившаяся 29 февраля 1900 года в «Новом времени» заметка Розанова, скрывшегося за псевдонимом «Мнимо упавший со стула».

Выше упоминался и другой элемент сказочного («дурацкого») стиля поведения Розанова – попытка выполнить невыполнимое (похоронить в России вне пределов России), так озадачившая современников.

Даже с царством животных Розанов имел свои определенные равноправные отношения, что характерно для бытия именно сказочного «иронического удачника». В работе «Мечта в шелку» Розанов писал: «Странно, сколько животных во мне жило. Шакал и тигр, а право же – благородная лань, не говоря уже о вымистой (с большим выменем) корове, входили в стихию моей души... В конце концов я трус, ибо умел быть смелым только в мечтах, а жизнь прожил позорным ослом, не умевшим ни бежать, ни лягаться, ослом благоразумным, прошедшим неизмеримо длинный путь, и тут сказала моя человекообразность: однако во весь путь я именно являл фигуру осла, которого бьют и который несет какую-то чужую проклятую ношу. Меня давит решительно мысль, что после наступающей

¹ Ремизов А.М. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 17.

старости взойду и на «могильный холм» в той же фигуре осла и, так сказать, печальная эмблема длинноухого и главное с чужой поклажей животного станет монументом над кучкой земли, которая вспухнет над моим гробом»¹.

Соблазнительно увидеть в розановском осле литературный вариант неизменного помощника Иванушки-дурачка – уродливого жеребенка (Конька-горбунка). Все же прямых аналогий здесь нет, зато розановский текст вызывает вполне естественные фольклорные ассоциации именно благодаря «фольклорному» поведению его автора и выражает ту же философскую идею сказки, которую Е.Н. Трубецкой определял как «тайну солидарности всей живой твари и ее откровение в сказке»².

Очертив вокруг себя некое условное «фольклорное» пространство, в котором он чувствовал себя защищенным как независимо мыслящая личность, Розанов и существовал в соответствии с законами этого пространства. Оно определяло фольклорный код его поведения, странного для остальной читающей публики, существующей в ином словесном жанре. Именно поэтому, подобно истинно сказочному «ироническому неудачнику», он дерзил, эпатировал, потешался над своими оппонентами-противниками, сознательно порождая «у окружающих представление о нем как о простофиле и дураке, который ничего, кроме насмешки, презренья, унижения и порицания, недостоен»³.

Сотворив своим творчеством, равно как и стилем поведения, свой собственный фольклор и сам являясь его главным героем, аналогом сказочного Иванушки-дурачка, Розанов постоянно провоцирует недогадливого читателя на разгадку этой тайны:

«... – Ты что делаешь, Розанов?

– Я пишу стихи.

– Дурак. Ты бы лучше пек булки»⁴.

Или: «...там, может быть, я и «дурак» (есть слухи), может быть, и плут (поговаривают)...»⁵ и т. д.

Когда же кто-либо называл Розанова этим обидным для обычного человека словом, Розанов искренно радовался, ибо это было попадание в точку, но обвинитель об этом даже не ведал. В одном

¹ Мечта в шелку. С. 6.

² Трубецкой Е.Н. «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке. С. 108.

³ Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. С. 91.

⁴ Уединенное. С. 54.

⁵ Там же. С. 212.

из писем 1891 года К.Н. Леонтьеву это настроение Розанова звучит вполне отчетливо: «В «Южном крае» мой взгляд на Гоголя был изруган, и я сам назван без малого дураком: но статья написана в таком здоровом духе, и вообще видно, что ее писал такой хороший человек, любящий литературу, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить за мотивы статьи автора, хотя и упрекнул его в резкости и неотчетливости доказательств»¹.

Как и Иван-дурак волшеббно-фантастической сказки, творимый Розановым образ подразумевал осязаемую многими двусмысленность. Это был вовсе не дурак в прямом смысле этого слова, а искусно замаскированный идеальный герой, который, по словам А.Н. Веселовского, может «обыкновенно устраиваться умнее и выгоднее умных»². Между прочим, на эту характерную черту популярного сказочного образа иногда прямо указывают в процессе рассказывания сказки и сами сказочники: «А Иван был дурак, но очень умный»; «Дурак он дурак, а знает, что сказать»; «Дурак, а умнее всех»; «Дурак, а он всех хитрее делает, хоть когда»; «Его глупым считают, а он хитрый»³.

О том, что для Розанова этот стиль поведения был естественен и искренен, говорят даже предсмертные письма писателя, например к Н.Э. Макаренко от 20 января 1919 года:

«Всеми миру поклон, драгоценную благодарность, от своей Танечки тоже поклон, она грациозная, милая и какая-то вся игривая и вообще прелестная, и от Наденьки, которая вся грация: приезжайте посмотреть. И это пишу я, отец, которому, естественно, стыдно писать. Ну, миру поклон, глубокое завещание никаких страданий и никому никакого огорчения.

Вот, кажется, все!

Васька дурак Розанов»⁴.

В неопубликованной при жизни писателя работе «После Сахарны» Розанов обронил: «Только душу мою я сторожил. Мира я не сторожил»⁵. Фраза эта перекликается с известной надписью на могиле другого великого «изгнанника и странника» – Григория Саввича Сковороды: «Мир ловил меня, но не поймал». Розанов

¹ Померанская Т.В. Неизданные письма В.В. Розанова // Литературная учеба. 1989. № 6. С. 133.

² Веселовский А.Н. Собрание сочинений. Т. 16. М.; Л., 1938. С. 123.

³ Новиков Н.В. Образы восточнославянской волшебной сказки. С. 114.

⁴ Иванова Е.В., Померанская Т.В. Письма 1917–1919 годов // Литературная учеба. 1990. № 1. С. 86.

⁵ Розанов В.В. Сахарна // Литературная учеба. 1989. № 2. С. 112.

«мира» не боялся, но душу свою окружил творимым им художественным пространством, которое, словно в сказке, не позволяло чужому подойти к хранимому им сокровищу. В этом одиночестве он и сторожил-слушал свою душу и был всегда искренен перед самим собой. Именно «сказочный» стиль литературного поведения позволил Розанову сохранить творческую свободу, остаться самим собой, личностью в годы, когда это было практически невозможно, т.к. эпоха требовала позиции, определенности, конкретной стороны социальной баррикады.

НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЭТИКИ В.В. РОЗАНОВА И ИХ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ

В свое время, в 90-е годы XX века, занимаясь вопросами поэтики Василия Васильевича Розанова в широком филологическом контексте, я по совету выдающегося отечественного фольклориста, члена-корреспондента РАН Виктора Михайловича Гацака обратился к проблеме, казавшейся в те годы достаточно спорной: «Розанов и народная культура», которая при ее разработке неожиданно продемонстрировала несомненную *исследовательскую перспективу*. Более того, анализ своеобразной поэтики этого крупнейшего русского писателя рубежа XIX–XX веков позволял утверждать не только существование особой мировоззренческой соотнесенности творчества В.В. Розанова со стихией того культурного феномена, который условно можно определить широким понятием «народная культура»¹, но и говорить об очевидных стилистических параллелях между фольклорным и писательским осмыслением действительности.

В этой работе я попытался проанализировать некоторые элементы *розановской поэтики*, связанные с особыми *невербальными (паралингвистическими) средствами* художественной коммуникации и их соотнесенности с аналогичными *внесловесными компонентами* фольклорной системы².

Подобный анализ позволяет рассматривать проблему фольклоризма писателя на новом, достаточно широком креативном фоне, в том числе на *парафольклорном*, определить границы которого вряд ли возможно традиционными методами, а можно понять лишь как совокупность творческих приемов писательской поэтики, которая перерабатывает не только явный фольклорный материал, но даже и полное его отсутствие (*фольклорное молчание*).

¹ *Налетин А.Л.* В.В. Розанов и народная культура // Контекст-1992. Литературно-теоретические исследования. М.: Наследие, 1993.

² *Богданов К.А.* Очерки по антропологии молчания. Номо Тацэнс. СПб.: РХГИ, 1997; *Горелов И.Н.* Невербальные компоненты коммуникации. М.: Наука, 1980.

Достаточно сложен вопрос о художественном пространстве текстов Розанова. Оно во многом определялось *поведенческой культурой* автора, культурой, выпадавшей из традиционных (канонических) форм такого поведения у других авторов. В работе «В.В. Розанов и народная культура» было высказано предположение, что важным, если не важнейшим, элементом творчества Розанова являлось очерчивание вокруг себя некоего мнимого пространства, своего рода фольклорного «*игрового пространства*», вторжение в которое было чревато для вторгшегося не только художественным, но и нравственным провалом. Это было своего рода сказочное «*дурацкое пространство*», и оказавшийся в нем попадал в «*дурацкое положение*», выход из которого был невозможен, а если он случался, то был всегда для посягнувшего уничтожительным, унижительным и т. д. и т. п.¹

В связи с «*дурацким пространством*» неизбежно встает вопрос о специфике розановских текстов как нетрадиционных с точки зрения поэтики и стилистики. В общепринятое противопоставление текстов письменных и текстов устных в данном случае неизбежно вклинивается новый элемент, не имеющий аналогов в словесности, – *текст розановский*. Обычно текст письменный и текст устный рассматриваются как два равноценных варианта фиксации – либо устными, либо письменными средствами. Устный текст может быть письменно зафиксирован, и тогда он становится письменным, а письменный может быть прочитан, и тогда он становится устным.

То, что в основе *розановских текстов* лежит устная речь, несомненно, но означает ли это, что его, например, «Уединенное» есть всего лишь письменная фиксация проговоренного им? Здесь неизбежно возникает вопрос о невербальном контексте устной речи вообще. Некоторые исследователи используют термин «*пара-вербальный*», но это не меняет сути дела. Невербальные элементы устной речи включают в себя чрезвычайно широкий спектр – *миимику, жест, интонацию, мелодию* (текст может быть пропет), *танец* (текст может быть произнесен, в конце концов, пританцовывая), *положение (позу) тела* в момент произнесения (стоя, лежа, бегом) и т. д. и т. п. Все эти далекие от традиционного литературоведения понятия изучаются специальными этнологическими и антропологическими дисциплинами, в частности *кинесикой*. Но, несмотря на то что основы функциональной *классификации жестов* были заложены еще в 1889 году Чарльзом Дарвином в работе «Выражение

¹ Налетин А.Л. В.В. Розанов и народная культура. С. 123.

эмоций у человека и животных», говорить о стройной системе *кинесики* пока еще не приходится. Кинесические средства столь разнообразны, находятся в самых невероятных друг к другу сочетаниях, а кроме того, у разных народов различны, что говорить о возможности привлечения кинесики на помощь литературоведению и фольклористике пока преждевременно.

Столь же мало пригоден и *метод музыкальной эрритмии* (учение о ритме), предложенный Рудольфом Штейнером, говорившим, что «речь человека есть движение, действие», что каждый звук, как гласный, так и согласный, невидимо заключает в себе определенный жест. Он привлекателен в эмоционально-духовном плане, так как доказывает, что звук и жест мистически связаны и взаимно вытекают друг из друга (вспомним работы в области *эритмии* Андрея Белого), но тоже не дает конкретного научного инструментария для решения проблем *кинесики*. Пожалуй, единственным, кто развил идеи Рудольфа Штейнера в конкретной области, был Михаил Чехов, однако это разговор особый. О практике штейнеровских уроков существует достаточно много разнообразной литературы¹.

Возвращаясь к противопоставлению «*текст письменный – текст устный*», очевидно одно: перевод текста из первичной знаковой системы (речь) во вторичную знаковую систему (письменность) неизбежно приводит к потере, а чаще всего к полному исчезновению *невербального контекста*. А если осуществим обратный перевод вторичной системы в первичную, то есть в речь, то *невербальный контекст* чаще всего не восстанавливается.

Однако с *розановскими текстами* такого не происходит, и в этом еще одна уникальность его творчества. Еще раз подчеркну, что в этой связи можно говорить не о двух системах (устная и письменная), а о трех (*устная – письменная – розановская*).

Как уже говорилось, письменная фиксация не способна передать устный текст. Устная речь синкретична, где слово существует не только в связи друг с другом, но и в сложных взаимоотношениях с невербальными элементами. Сегодня существуют пока еще несовершенные средства передачи этой *синкретичности* (средства кино- и фотофиксации, звукофиксации).

Анализ *розановских текстов* показывает, что Розанов писал не столько письменные тексты, сколько стремился сохранить *синкретичность своей устной речи*. Обратим внимание на некоторые особенности – разве случайны его знаменитые *ремарки* под тем или

¹ *Белый Андрей*. Воспоминания о Штейнере. Париж, 1982.

иным текстом? Чаще всего при цитировании они опускаются как нечто малозначашее. Между тем все эти его «лежа», «сидя», «гуляя» не есть ли описание позы, когда была произнесена та или иная устная фраза? Ведь жест, поза тянут за собой фразу, и наоборот, измени в этом соотношении хоть один компонент, получится совершенно иной текст. Вот почему, например, «еду на извозчике», т. е. в положении сидя и ощущая тряску, рождает текст, невозможный в позе, скажем, «поутру в постели».

Все это, несомненно, ощущения, которые, скорее всего, невозможно конкретизировать научными терминами современной науки. Однако фиксация таких ощущений несомненно полезна и важна.

Столь же многочисленны и другие способы попытаться сохранить в письменном тексте *синкретичность* своей речи – ремарки, прямо указывающие на те или иные эмоции, не только внутренние, но даже внешние: «Как же не удивляться, что всякий русский с 16-ти лет пристаёт к партии «ниспровержения государственного строя». Щедрин смеялся над этим «Девочка 16-ти лет задумала сокрушение государственного строя. Хи-хи-хи. Го-го-го!»¹

Или «... а ведь по существу-то – Боже! В душе моей вечно стоял монастырь. Неужели же мне нужна была площадь? Бр-р-р-р!»².

Более сложно обстоит вопрос с жестами, мимикой и гримасами, подразумеваемыми только структурой построения фразы, ее мелодикой и только. Здесь надо вспомнить о так называемой «*обратной связи*», которая всегда существует в фольклорной системе между рассказчиком и слушателем, но отсутствует в книжной между писателем и читателем. Ведь рассказчик в зависимости от реакции варьирует и корректирует текст. Писатель этой возможности лишен. Розановский же текст в определенной мере обладает фольклорной способностью маневрировать именно благодаря скрытой, но прочитываемой системе мимики, гримасы, жеста и т. д.

Жестикуляция и гримаса, например, ясно прочитываются в известном его рассуждении о морали: «Даже не знаю, через «ять» или «е» пишется нравственность. И кто у нея папаша был – не знаю, и кто мамаша, и были ли деточки, и где адрес ее – ничегошеньки не знаю...»³. Прочитываемая в этом тексте мимическая сценка со сморщенной гримасой и пальчиком у щеки – одним словом, «баба *запрчитала*», становится более зрительно очевидной, когда *роза-*

¹ Розанов В.В. Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 164. (Далее в сносках: Опавшие листья. Короб 2-й.)

² Розанов В.В. Уединенное. СПб., 1912. С. 234. (Далее в сносках: Уединенное.)

³ Там же. С. 155.

новский текст прочитывается именно вслух, а не глазами. Вообще, видимо, эти тексты бессознательно были ориентированы их автором именно на чтение вслух, а не глазами. Именно тогда возникает интонация, которая тянет за собой тот или иной жест, гримасу, позу и т. д.

Трудно представить себе писателя, проговаривающего текст своего произведения. Например, Л.Н. Толстого, читающего текст романа «Война и мир». Да и вообще, нормально ли это – разговаривать самому с собой? Да еще и о смысле жизни. Обычно такие процессы протекают внутренне и никакой мимики или жестов не вызывают. И все же есть ситуации, когда такое возможно. У Максима Горького есть интересная работа под названием «*Люди наедине сами с собой*», где встречаются подобные ситуации:

«...Наблюдая, как ведет себя человек наедине сам с собою, я вижу его «безумным» – не находя другого слова.

Впервые я заметил это, еще будучи подростком: клоун Рондаль, англичанин, проходя пустынным коридором цирка мимо зеркала, снял цилиндр и почтительно поклонился своему отражению. В коридоре не было ни души, я сидел в баке для воды над головой Рондаля, он не мог видеть меня, да и я не слышал его шагов, я случайно высунул голову из бака как раз в тот момент, когда клоун раскланивался сам с собой. Его поступок поверг меня в темное, неприятное изумление. Потом я сообразил: клоун – да еще англичанин – человек, ремесло или искусство которого – эксцентризм...

Но я видел, как А.Чехов, сидя в саду у себя, ловил шляпой солнечный луч и пытался – совершенно безуспешно – надеть его на голову вместе со шляпой. И я видел, что неудача раздражает ловца солнечных лучей, – лицо его становилось все более сердитым. Он кончил тем, что, уныло хлопнув шляпой по колену, резким жестом нахлобучил ее себе на голову, раздраженно отпихнул ногою собаку Тузика, прищурив глаза, искоса взглянул в небо и пошел к дому. А увидав меня на крыльце, сказал, ухмыляясь:

– Здравствуйте! Вы читали у Бальмонта: «Солнце пахнет травами»? Глупо. В России солнце пахнет казанским мылом, а здесь – татарским потом...

...Л.Н. Толстой тихонько спрашивал ящерицу:

– Хорошо тебе, а?

Она грелась на камне в кустах по дороге в Дюльбер, а он стоял перед нею, засунув за ремень пояса пальцы рук. И, осторожно оглянувшись вокруг, большой человек мира сего сознался ящерице:

– А мне – нехорошо...

Профессор М.М. Тихвинский, химик, сидя у меня в столовой, спрашивал свое отражение в медном подносе:

– Что, брат, живешь?

Отражение не ответило. Он вздохнул глубоко и начал тщательно, ладонью, стирать его, хмурясь, неприятно шевеля носом, похожим на зародыш хобота.

...Отец Ф. Владимирский, поставив пред собою сапог, внушительно говорил ему:

– Ну, – иди!

Спрашивал:

– Не можешь?

И с достоинством, убежденно заключал:

– То-то! Без меня – никуда не пойдешь!

– Что вы делаете, отец Федор? – осведомился я, войдя в комнату.

Внимательно посмотрев на меня, он объяснил:

– А вот – сапог! Стоптался. Нынче и обувь стали плохо тачать...

...Женщины нередко беседуют сами с собою, раскладывая паянсы и «делая туалет», но я минут пять следил, как интеллигентная женщина, кушая в одиночестве шоколадные конфеты, говорила каждой из них, схватив ее щипчиками:

– А я тебя съем!

Съест и спросит: кого?

Потом – снова:

– А я тебя съем!

– Что – съела?

Занималась она этим, сидя в кресле у окна, было часов пять летнего вечера, с улицы в комнату набивался пьяный шум жизни большого города. Лицо женщины было серьезно, серовато-синие глаза ее сосредоточенно смотрели в коробку на коленях ее.

В фойе театра красивая дама-брюнетка, запоздав в зал и поправляя перед зеркалом прическу, строго и довольно громко спросила кого-то:

– И – надо умереть?

В фойе уже никого не было, только я, тоже запоздавший войти в зал, но она не видела меня, да и увидев, надеюсь, не поставила бы предо мной этот, несколько неуместный вопрос.

Много наблюдал я таких «странностей».

К тому же:

А.А. Блок, стоя на лестнице во «Всемирной литературе», писал что-то карандашом на полях книги и вдруг, прижавшись к пери-

лам, почтительно уступил дорогу кому-то, незримому для меня. Я стоял наверху, на площадке, и когда Блок, провожая улыбающимся взглядом того, кто прошел вверх по лестнице, встретился с моими, должно быть, удивленными глазами, он уронил карандаш, согнулся, поднимая его, и спросил:

– Я опоздал?..»¹.

Как правило, в такой ситуации присутствует *Некто*. Однако подобные ситуации «разовые», а творческий акт – процесс постоянный, и собеседником Розанова мог выступить только один человек, причем не воображаемый, а конкретный и ирреальный одновременно – это он сам. Имеется в виду зеркало, которое в творчестве Розанова, в стилистике и поэтике его поздних произведений объясняет многое, если не все. Его уединенный человек не так уж одинок, и у него есть собеседник – это он сам. И если *невербальный контекст* абсолютно не нужен воображаемому «я», то с «я» в зеркальном отображении *невербальные отношения* устанавливаются совершенно определенные. Вспомним ситуацию с известной фразой, приносимой Розановым перед зеркалом, которая во многом напоминает горьковских дам перед зеркалом или профессора Тихвинского перед медным подносом.

«...Такая неестественно отвратительная фамилия дана мне в дополнение к мизерабельному виду. Сколько я гимназистом простаивал (когда ученики разойдутся из гимназии) перед большим зеркалом в коридоре; и «сколько тайных слез украдкой» пролил. Лицо красное. Кожа какая-то неприятная, лоснящаяся (не сухая). Волоса прямо огненного цвета (у гимназиста) и торчат вверх, но не благородным «ежом» (мужской характер), а какой-то поднимающейся волной, совсем нелепо и как я не видал ни у кого. Помадил я их, и все – не лежат. Потом домой приду, и опять зеркало (маленькое, ручное): «Ну, кто такого противного полюбит». Просто ужас брал: но меня замечательно любили товарищи, и я всегда был «коноводом» (против начальства, учителей, особенно против директора). В зеркало, ища красоты лица до «выпученных глаз», я, естественно, не видел у себя «взгляда», «улыбки», вообще жизни лица: и думаю, что вот эта сторона у меня – жила, и пробуждала то, что меня все-таки замечательно и многие любили (как и я всегда безусловно ответно любил).

Но в душе я думал:

– Нет, это кончено. Женщина меня никогда не полюбит, ника-

¹ Горький А.М. Собрание сочинений: в 30 т. Т. 15. М., 1951. С. 280–285.

кая. Что же остается? Уходить в себя, жить с собою, для себя (не эгоистически, а духовно), для будущего...»¹.

Можно «зеркальное» абстрагировать в воображаемого читателя и даже состроить ему гримасу:

«...С читателем гораздо скучнее, чем одному. Он разинет рот и ждет, что ты ему положишь? В таком случае он имеет вид осла перед тем, как ему зареветь. Зрелище не из прекрасных... Ну его к Богу... Пишу для каких-то «неведомых друзей» и хоть «ни для кому»...»².

В «зеркальное я» можно абстрагировать даже весьма неопределенные понятия, такие, например, как «нравственность», о чем говорилось выше. Формально «гримаса и мимика есть», но отсутствует зеркало. Однако ремарка внизу (своеобразный аналог фольклорной паспортизации) о том, где это написано («СПб. – Киев, вагон») объясняет зеркальность. Вагон, окно, вечер – это тоже зеркало.

В народной культуре зеркало является символом отражения и удвоения действительности и границей между этим и иным миром и, как пишет Светлана Михайловна Толстая, «наделяется сверхъестественной силой, способностью воссоздавать не только видимый мир, но и невидимый и даже потусторонний; в нем можно увидеть прошлое, настоящее и будущее»³. И далее: «Как и другие границы (межа, окно, порог, печная труба, водная поверхность и т. п.), зеркало считается опасным, обращение с ним обставляется множеством табу...»⁴.

Академик Борис Александрович Рыбаков полагал, что в народной культуре зеркальное отражение имеет сакральный характер, так как связано с идеей вселенского «неосяжаемого» света. Он писал: «идея вселенского «неосяжаемого» света с очень давних времен стала ассоциироваться с зеркалами или с их предшественниками – плоскими сосудами, залитыми водой (Киклады). Зеркало удваивало мир, постоянно отражало «белый свет», являясь как бы его двойником. Вероятно, поэтому древним зеркалам придавалась правильная круглая форма, воспроизводящая круг небесного свода»⁵.

Многие розановские откровения тоже связаны с феноменом зеркала и с определенным *нарушением литературного табу*.

¹ Уединенное. С. 54–55.

² Там же. С. 2–3.

³ Толстая С.М. Зеркало // Славянские древности. Этнолингвистический словарь. Т. 2. М.: Международные отношения, 1999. С. 321.

⁴ Там же.

⁵ Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. М.: Наука, 1981. С. 456.

«Зеркальное объяснение» розановского письма настолько лежало на поверхности, что на это обратила внимание современная писателю критика. Пожалуй, наиболее полно и, как ему самому казалось, уничижительно сказал об этом в либеральной газете «Речь» публицист Давид Левин, к Розанову относившийся неприязненно и с явным предубеждением.

«... Г. Розанов рассказывает, что в молодости был недоволен своей наружностью; сомневался, полюбят ли его при такой наружности (далее следует уже приведенная обширная цитата из «Розанова перед зеркалом». – А.Н.)... Мне кажется, что «Уединенное», при каких бы обстоятельствах ни были написаны отдельные «обрывки», в целом есть все то же стояние перед зеркалом, эготическое стремление к зеркалу, поиски все нового и нового зеркала, желание опять и опять увидеть свое отражение. О, не с чувством Нарцисса, чей глаз не насытится собственным изображением, а с гложущим и тайным недоверием к себе, со смутным подозрением о своем безобразии. Книга именно рассчитана «на читателя» – читатель должен явиться тем же зеркалом, проверочным зеркалом надежд, опасений и сомнений г. Розанова. Читатель должен отразить «улыбку», «взгляд», «жизнь лица» (разумеется, в более общем смысле, а не одной только наружности) и полученным им впечатлением убедить г. Розанова, что это не обман воображения, а нечто действительное, реальное, «объективное»...»¹.

Глядя не на лист бумаги, как обычный писатель, а на *лист-зеркало*, Розанов, стараясь передать не только и не столько традиционный текст, сколько подвижную «жизнь лица», непроизвольно *моделировал своеобразную фольклорную ситуацию*, т. е. постоянно имел перед собой не просто читателя, а слушателя, имея возможность тонко реагировать не только с помощью слова, но и мимикой, жестом и интонацией на малейшие изменения в реакции своего *читателя-слушателя*. Он не создавал умозрительно своего воображаемого читателя, а постоянно имел его перед собой как слушателя. Отсюда и все чувства, какие он испытывал к себе, переносились на читателя, он его, как и себя, любил и ненавидел одновременно.

Имея такого благодарного и талантливую *слушателя-зрителя*, можно было говорить без литературного этикета, без чопорности, с гримасами, причмокиванием, с разнообразной жестикуляцией. Ибо как же еще разговаривать со своим визави – таким же человеком в халате и домашних туфлях. Не церемонясь, конечно же, не церемо-

¹ Бюллетени литературы и жизни. Год 1912. М., 1912. С. 724–725.

нясь. Эта *физиологическая наполненность текста* жестами и мимикой не могла испариться совсем, и потому следы ее ясно ощущаются каждым, кто соприкасается с *розановскими текстами*. Именно поэтому она чувственна и греховна в самом высоком смысле этого слова и неприемлема для тех, кто привык иметь дело с литературой традиционной, творимой в соответствии с *литературным каноном*. Именно народная культура подсказала писателю неизвестные рубежи *новой розановской поэтики*, именно в этом заключался истинный смысл *латентного (скрытого) фольклоризма* самого загадочного русского писателя рубежа XIX–XX веков.

«ВСЕГО ЛИШЬ НЕПОЛНЫЙ ГОД...»

Стесняющую замкнутость литературного творчества Розанов явственно ощутил, находясь на вершине своей писательской славы, и это заставило его кощунственно усомниться в былых, но все еще очевидных для всех ценностях и искать новые пути диалога с читателем.

Так возникло «Уединенное», эта особая, розановская форма повествования, по сути дела, новый литературный жанр, которому предшествовал непонятный многим какой-то «болезненный» интерес писателя к частной переписке. Именно в письмах Розанов видел нечто феноменальное, способное литературу оживить или, вернее, сделать ее совсем иной. И не желание подшутить над незадачливым читателем двигало Розановым, когда в «Опавших листьях» он неожиданно проговорил: «Почтмейстер, заглядывавший в частные письма («Ревизор»), был хорошего литературного вкуса человек. Раз, лет 25 назад, я пошел случайно на чердак. Старый чемодан. Поднял крышку, – и увидел, что он до краев набит (в конвертах) старыми письмами. Сойдя вниз, я спросил:

– Что это?

– Это мои (ко мне) старые письма, – сказала женщина-врач, знаменитая деятельница 60-х годов.

Целый чемодан!

Читая иногда письма прислуге, я бывал поражен красками народного говора, народной души, народного мировоззрения и быта. И думал: «Да это – литература, прекраснейшая литература».

Письма писателей вообще скучны, бесцветны. Они, как скупые, «цветочки» приберегают для печати, и все письма их – полинявшие, тусклые, без «говора». Их бы и печатать не стоило. Но корреспонденция частных людей истинно замечательна.

Каждый век (в частных письмах) говорит своим языком. Каждое сословие. Каждый человек.

Вместо «ерунды в повестях» выбросить бы из журналов эту новейшую беллетристику и вместо нее...

Ну, – печатать дело: науку, рассуждения, философию.

Но иногда, а впрочем лучше в отдельных книгах, вот воспроизвести чемодан старых писем. Цветков и Гершензон много бы оттуда выудили. Да и «зачитался бы с задумчивостью» иной читатель, немалые серьезные люди...»¹.

Случилось так, что поиски путей к «новой литературе», к нетрадиционной форме общения с читателем совпали у Розанова с подготовкой к публикации писем Константина Николаевича Леонтьева, одного из «отверженных» отечественной литературы. Письма эти были опубликованы в журнале «Русский вестник» за 1903 год (№ 4–6), и право же, «скучными и бесцветными» их не назовешь. Ведь писались они просто к другу, без какой-либо тайной мысли о возможной грядущей публикации.

Этих двух непохожих людей – потомственного дворянина Константина Николаевича Леонтьева, бывшего российского консула на Балканах, писавшего, по мнению «прогрессивной» критики, скучную холодную прозу и вызывающе консервативные статьи в защиту идей государственности, и мизерабельного провинциала Василия Васильевича Розанова, задумавшегося над жизнью человеческой «учителишку» из Ельца и опрокинувшего своими рассуждениями традиционные литературные, культурологические и иные схемы, – судьба свела лишь в письмах, то есть в сфере возвышенно духовной, в чем-то даже идеальной.

Встретиться при жизни им так и не довелось. Да и сама переписка продолжалась до обидного мало – «всего лишь неполный год», как писал об этом Розанов. Леонтьев, предчувствуя свой уход, мечтал увидеть своего неожиданного корреспондента, который поразил его не просто пониманием (при всеобщем непонимании окружающих) его, леонтьевских умопостроений, но более всего редким созвучием души и искренностью обыкновенного русского человека. Вот что писал Леонтьев в одном из писем Розанову: «...Наконец-то, после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения именно так, как я хотел, чтобы их понимали!» Или в другом письме: «...Быть может, и я наконец-то, встретивший Вас, буду иметь возможность сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко!...»

¹ *Розанов В.В.* Опавшие листья. СПб., 1913. С. 215–216.

Однако Розанову, для которого 1891 год принес долгожданное семейное счастье с тихой и кроткой Варварой Дмитриевной, было все недосуг, и, находясь в свадебном путешествии в Москве, он так и не собрался увидеться со своим, пожалуй, единственным в мире единомышленником, сетовавшим: «Надо нам видеться. <...> Постарайтесь приехать... Умру – тогда скажете: «Ах, зачем я его не послушал и к нему не съездил!» Смотрите!.. Есть вещи, которые я только Вам могу передать».

Трудно сказать, испытывал ли Розанов угрызения совести от того, что пренебрег той единственной возможностью, которую отпустила ему судьба, но поистине – «если бы молодость знала, если бы старость могла!». 12 ноября 1891 года Константин Николаевич Леонтьев скончался в гостинице Сергиева Посада, и на здании этом, сохранившемся до наших дней, увы, так и нет никакого памятного знака. Леонтьев был похоронен в ограде Черниговского монастыря, что в Сергиевом Посаде.

Казалось, что все это достаточно закономерно – забвение писателя и мыслителя, скепсис которого не вписывался в ту эйфорию общественного прогресса, которым жило «передовое» российское общество. Ожиданию долгожданной свободы, равенства и братства, то есть тем идеям, которые властвовали в мире и которые были подготовлены всем ходом развития российской словесности от Радищева до Тургенева, вряд ли мешало «брюзжание» одинокого «предостерегателя», пророчествовавшего об изъянах эгалитаризма и мнимостях избранного пути. Правда, пророчествовал Леонтьев зло и талантливо: «Да! Царьград будет скоро, очень скоро наш! Но что мы туда принесем? Это ужасно! Можно от стыда лицо закрыть руками... Речи Александрова (Александров Петр Акимович – присяжный поверенный. Защитник на суде Веры Николаевны Фигнер. – *Авт.*), поэта Некрасова, 7-ми этажные дома, европейские (мещанские буржуазные моды) кэпи! Господство капитала и реальную науку, панталоны, эти деревянные крахмальные рубашки, сюртуки! Карикатура, карикатура! О, холопство ума и вкуса! О, позор! Либерализм! А что такое идея свободы личности? Это хуже социализма. В социализме есть идеи серьезные: пища и здоровье. А свобода! Нельзя грабить кого-нибудь. Нет, нет, вывести насилие из исторической жизни то же, что претендовать выбросить один из основных цветов радуги из жизни космической».

Увидеть в леонтьевских футурологических концепциях зерно истины стало возможным лишь потомкам, пережившим лихолетья нравственных и не только нравственных утрат глобального свойства, но для современников Леонтьева его нападки на идеи эгалитаризма, позитивизма и, главное, либерализма казались кощунством и очевидной несуразностью.

Правда, не для всех, и Розанов был как раз из числа этих крайне немногочисленных сторонников леонтьевских идей. И если Леонтьев, скорее всего, лишь почувствовал в молодом учителе родственную душу, то Розанов разглядел в нем своего предтечу и самобытнейшего русского мыслителя, идеи которого будут поняты лишь в будущем. Впрочем, дело даже не в понимании, а в том, что слова, эти идеи выражающие, были все-таки произнесены вслух и стали потому материальной силой.

Почти с уверенностью можно сказать, что, не будь Розанова, леонтьевский феномен имел бы значительно меньший культурный и общественный резонанс. В Розанове Леонтьев как бы возродился вновь и стал фактом новой культурной эпохи, которая продолжается и по сей день.

Для Розанова Леонтьев остался одной из самых высоких личностей отечественной истории и культуры, о котором он мог сказать: «Мало к кому я так привязывался лично, темпераментно. Собственно, мы любим людей по степени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас. Один где-то попололся во рту, другой – прошел в горло и там застрял, третий – остановился на высоте груди; и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее».

Однако Розанов был бы не Розанов, если бы в центре его внимания были только идеи, а не человек, как неповторимое явление земного бытия. Именно поэтому письма, а не литература вовсе были для него вершиной человеческого самовыражения, не ложной (литературной), и истинной – ведь в письмах (частных) «человек всегда дома». Причем неважно даже, кто был его корреспондентом – священник, писатель, гимназист или даже несчастная «жертва общественного темперамента». «Переписка, письма – золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем», – писал Розанов, публикуя с многочисленными комментариями дорогие для него письма Константина Николаевича. Позже Розанов выпустит еще несколько изданий, где близкие ему люди

предстанут живыми в своем естественном противоречии и потому подлинности, на которую литература не способна. Так возникли книги об Алексее Сергеевиче Суворине¹, Николае Николаевиче Страхове и Юрии Николаевиче Говорухе-Отроке².

В этих книгах Розанов выступал не как вежливый публикатор, а как живой собеседник, ибо розановские комментарии, многочисленные пометы, разрастающиеся до объемов невероятных (до нескольких страниц убористого текста), продолжали разговор с уже ушедшими теньями, соглашались, ругались. И не будет противоречивым утверждение, что истинный Розанов не столько в его вечных книгах, сколько в этих подстрочных рассуждениях и восклицаниях на полях чужих писем. «Глубокое недоумение, как же «меня» издавать? – рассуждал Розанов и продолжал: – Если «все сочинения», то выйдет «Россиада» Хераскова, и кто же будет читать? – (эти чуть не 30 томов?). Автор «в 30 томах» всегда = 0. А если избранное и лучшее, тома на 3: то неудобное в том, что некоторые острые стрелы (завершения, пики) *всего моего мирозерцания* выразились просто в примечании к чужой статье, к Дернову, Фози, Сикорскому...

Как же издавать? Полное недоумение.

Вот странный писатель non ad typ., non ad edit.

Во всяком случае тот будет враг мне, кто будет «в 30 т.»: это значит все похоронить»³.

Но, кроме чужих писем, были еще и письма самого Василия Васильевича, количество которых огромно. Этот необъятный культурный пласт таит в себе находки самые неожиданные. Так обстоит дело и с опубликованными в 1989 году в шестом номере журнала «Литературная учеба» письмами Розанова к Леонтьеву, которые хранятся в РГАЛИ. Если соединить эти девять писем Розанова с письмами самого Леонтьева, опубликованными в 1903 году в журнале «Русский вестник», то представится редкая возможность не только ощутить коллизии литературной и общественной борьбы конца прошлого века, что, конечно же, интересно и важно в плане познавательном, но и получить нравственный урок культуры истинно человеческих отношений, честности и во многом утраченной сегодня искренности.

¹ Розанов В.В. Письма А.С. Суворина к В.В. Розанову. СПб., 1913.

² Розанов В.В. Литературные изгнанники. Т. 1. СПб., 1913.

³ Розанов В.В. Опавшие листья. С. 375.

БРАНДЕЛЯС, ЛУКУСТА И «ОТСЫРЕЛОСТЬ ПОЧВЫ»

«Пусть Панченко прежде всего скажет нам, кто таков Бранделяс?»

*Вопрос присяжного поверенного
И.С. Трахтерева своему подзащитному
(«Русское слово», 21 января 1911 года)*

Перечитывать старые газеты – занятие небесполезное. С какой легкостью мы выбрасываем только что прочитанную газету, полную сиюминутных новостей, и как внимательно, порою со священным трепетом, углубляемся в чтение случайно обнаруженных листков многолетней давности. В этот момент мы ощущаем себя немного прорицателями – ведь мы знаем, чем вся эта история, отпечатанная на желтой бумаге, кончится, что ждет героев и кумиров прежних лет впереди и как История поставит каждого из них на свое место.

Однако и события дня сегодняшнего довольно быстро «пожелтеют», и не только в прямом, «бумажном» значении этого слова, но и в смысле нравственной оценки их, «sub specie aeternitatis», то есть «с точки зрения вечности». И тогда бульварную литературу, ныне модную, претендующую на роль выразителя дум и чаяний, в конце концов все-таки назовут бульварной; кинематографическая пошлость, прикрывающаяся звонким лозунгом немедленного «приобщения к высотам мировой культуры», тоже обретет свое подлинное имя.

Попробуем же «с точки зрения вечности» погрузиться в историю лишь одного слова из книги Василия Васильевича Розанова «Уединенное». Слово это, как нам кажется, довольно точно выражает не только нравственные коллизии рубежа исторических эпох, но и имеет прямое отношение к дню сегодняшнему. Еще раз задумаемся, вчитываясь в события, происходившие в 1910–1911 годах, над

тем, что в истории многое повторяется и с некоторой определенной периодичностью возвращается, подобно комете Галлея, о которой много писали и в то время.

Вопрос, вынесенный в эпиграф, по всей видимости, задаем себе и мы, когда читаем этот «опавший листок» из «Уединенного» В.В. Розанова, где вроде бы все ясно и в то же время непонятно: «Бранделяс» (на процессе Бутурлина) – это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы суть «Бранделясы». В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам.

«После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов», скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо»¹. И еще в другом месте, размышляя о Владимире Соловьеве: «Загадочна и глубока его тоска; то, о чем он молчал. А слова, написанное – все самая обыкновенная журналистика («бранделясы»)»².

Конечно, всякий интеллигентный человек прекрасно знает, что Меровинги – это династия франкских королей в V–VIII вв. н.э., а историк и публицист Дмитрий Иванович Иловайский (1832–1920) был автором пятитомного труда «История России», а также создателем учебников для гимназий по русской и всеобщей истории.

Однако характерно, что все, к кому обращаешься с вопросом о «Бранделясе», отвечают, что это откуда-то из М.Е. Салтыкова-Щедрина, хотя такое предположение само по себе прозвучало бы для Розанова кощунственно – ведь трудно представить себе автора, более ему ненавистного, чем этот ниспровергавший основы государственности «ругающийся вице-губернатор»³. Розанов даже утверждал, что никогда не читал этого сатирика; вспомним его известный пассаж: «Я имел какой-то безотчетный вкус не читать Щедрина и до сих пор не прочитал ни одной его вещи»⁴.

Скорее всего это было не так; Розанов мистифицировать любил и умел, а его бесцеремонное «незнание», «путаница», «забычивость» являлись не совсем корректным, но всегда ошеломляющим и красивым полемическим приемом, когда на это «отсутствие логики» нечем было и возразить. Эта была скрытая полемика, и порою

¹ *Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 81. (Далее в сносках: Уединенное.)

² Там же. С. 232.

³ Там же. С. 20.

⁴ Там же.

она плодила больше врагов, чем открытые критические выпады. Вспомним, как в статье «Возврат к Пушкину» он «перепутал» название пьесы Леонида Андреева (вместо «Анатэма» – «Анафема»), и сопоставим этот факт с крайне неприязненным отношением Андреева к личности Розанова, «этого ничтожного, грязного и отвратительного человека»¹, возразить которому просто «не было слов». Или другой пример, касающийся нашумевшего романа М.П. Арцыбашева «Санин», о чем рассказал в своей книге «Кукха. Розановы письма» А.М. Ремизов: «Старых книг заветных В.В. не давал, а новые брали – их было всегда много, неразрезанные. В.В. этих книг не читал. Но всегда внимательно слушал, если рассказывали. И даже писал: как-то, наслушавшись об арцыбашевском Санине, в статье «семейной» упомянул о новом писателе Санине, написавшем роман «В лугах»². Хотя о подлинности фактов, изложенных у Ремизова, надо говорить с осторожностью, ибо многое в книге тоже является мистификацией, но ситуация, в ней приведенная, – типично розановская: конечно же, читал и знал, но «прикинулся дурачком», «сюродствовал», а униженному оппоненту и возразить на то было нечем.

Как «не было слов» и у левой интеллигенции от возмущения по поводу постоянного употребления «неправильного» отчества в святом для них имени Николая Гавриловича Чернышевского. Он постоянно называл его Николай Григорьевич. Причем эту розановскую язвительность подчас простодушно не понимали даже близкие ему по духу люди. Вот, например, из записки к Розанову З.И. Барсуковой, помогавшей ему считывать корректуру Короба второго «Опавших листьев» в 1915 году:

«Глубокоуважаемый Василий Васильевич!

Чернышевского звали Николай Гаврилович, а не Григорьевич, я так и исправила в гранках, но Вы перечеркнули и поставили Григорьевич. Сегодня я нарочно сделала справку, которая подтвердила, что его звали Гаврилович. Если еще не напечатали, необходимо исправить»³.

Тем не менее «ошибочное» это отчество так и осталось в книге.

Может быть, и «Бранделяс» тоже из числа очередных розановских мистификаций – любить-то М.Е. Салтыкова-Щедрина он не любил, но дребезжащее это слово, удивительное по своей пустоте

¹ Литературное наследство. Т. 72. М.: Изд-во АН СССР. С. 341.

² Ремизов А.М. Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923. С. 17.

³ РГАЛИ. Фонд 419 (Розанов В.В.), оп. 1, ед. хр. 724.

и напыщенности, сходное по звучанию с целыми семантическими рядами от «точить лясы» до «выкрутаса», «ловеласа», «лоботряса», «свистопляса» и т.д. и т.п., поразило и вдруг понравилось? Однако нигде у Щедрина этого «щедринского» слова, столь емко отразившего ряд пошлых тенденций в жизни и литературно-культурном процессе рубежа века прошлого и нынешнего, найти не удалось. Видимо, не так уж «беспринципен», как считали некоторые недалекие современники, был Розанов – если уж не уважал кого, то ни строки, ни слова того не «пригревал».

Существовала еще одна гипотеза происхождения этого замечательного слова – авторское словотворчество. Как Н.М. Карамзин ввел в обиход слово «промышленность», так и Розанов был первым, с его слов, правда, кто употребил слово «психопат», и с удивлением наблюдал, как оно начинает употребляться все более и более широко.

Однако смущало то, что «Бранделяс» был заключен в кавычки, тогда как собственные розановские новообразования (типа «Пешехонка», образованная не от знаменитых пошехонцев того же М.Е. Салтыкова-Щедрина, а от имени публициста и одного из редакторов «Русского богатства» А.В. Пешехонова) в тексте «Уединенного» печатались без кавычек. Кроме того, «Пешехонка» явно «прочитывалась», исходя из контекста¹, а «Бранделяс» оставался абсолютно темным по происхождению.

Между тем для современников Розанова слово это было ясно и понятно как конкретное название и существовало для большинства без того морально-нравственного подтекста, которым так восхитился автор «Уединенного». Давно забыт шумный судебный процесс по делу об отравлении «из корыстных побуждений» чиновника Департамента общих дел Министерства внутренних дел, наследника многомиллионного состояния В.Д. Бутурлина, а слово «Бранделяс», которое тогда было у всех на устах, навечно осталось на розановских страницах и превратилось в нарицательное понятие.

11 мая 1910 года в Петербурге в своей квартире в доме № 7 по Манежному переулку скончался Василий Дмитриевич Бутурлин, 26 лет от роду. 13 мая в газете «Новое время» был напечатан некролог с маленькой припиской: «О дне погребения будет объявлено особо». Эта «странность» вскоре объяснилась; 19 мая в том же «Новом времени» появилось сенсационное сообщение, оза-

¹ Уединенное. С. 48.

главленное «Отравление В.Д. Бутурлина», где сообщалось, что «небывалое в наших судебных анналах дело об отравлении подкупленным доктором своего пациента возникло в настоящее время в Петербурге».

Тема эта занимала Россию без малого год, вплоть до приговора, вынесенного 3 февраля 1911 года. По общественному резонансу она на какое-то время даже затмила «финляндский вопрос» и ожидаемое приближение кометы Галлея. О деле В.Д. Бутурлина писали газеты, журналы, эту тему обсуждали во всех слоях общества и даже в окружении «великого старца» Льва Толстого, о чем свидетельствуют «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого: «1910 г. 3 июня. Разговор об отравлении родственника Бутурлина – деле, ставшем громким благодаря газетам. Л.Н.: Я не читаю ни о Тарновской, ни о Бутурлине – мне это отвратительно»¹.

В.Д. Бутурлин был племянником А.С. Бутурлина, участника революционного движения 70–80-х годов XIX в., близкого знакомого Л.Н. Толстого. Так называемое «Дело Тарновской» было одним из шумных судебных процессов 1910 года. Молодая помещица М.Н. Тарновская привлекалась к суду по обвинению в организации убийства своего любовника графа П. Комаровского. Вообще, 1910 год был богат на скандальные судебные процессы. Вспомним «Дело Д.В. Вонлярлярского» по поводу подложного завещания по тридцатимиллионному наследству князя Богдана Огинского.

Подозрение в умышленном отравлении В.Д. Бутурлина пало на некоего доктора В.К. Панченко, помощника известного петербургского знахаря-шарлатана Аврахова. Панченко, опустившийся человек, стремившийся прослыть экстравагантным чудаком, этаким «Фаустом XX века», как он себя называл, показывал на следствии, что по просьбе покойного Бутурлина лечил его подкожными впрыскиваниями спермином Пеля от полового бессилия и что, возможно, шприц (в те годы его называли «шприц Праваца») был плохо стерилизован. Это привело к гнилостному заражению крови, в результате чего Бутурлин и скончался.

Однако экспертов одолевали сомнения, и тело бедного Бутурлина трижды подвергали вскрытию, причем дважды выкапывали из могилы.

И тут следствие начинает все больше интересоваться еще одним персонажем этого странного дела – мужем сестры покойного,

¹ Литературное наследство. Т. 90. «У Толстого (1904–1910). «Яснополянские записки» Д.П. Маковицкого. Кн. 4. М.: Наука, 1979. С. 268–269.

крупным помещиком и судовладельцем сорокасемилетним миллионером Патрикием-Казимиром Петровичем О'Бриен де-Ласси, который, как выяснилось, и рекомендовал В.Д. Бутурлину воспользоваться услугами доктора Панченко.

Де-Ласси, которого московская газета «Русское слово» первоначально окрестила совсем уж экзотическим образом – Обрион-де-ляси, происходил из древнего ирландского королевского рода. Именно этот богатый, красивый, респектабельный деловой человек, принадлежавший к тому же к элите общества, и оказался вдохновителем убийства брата своей жены.

Лучше всего атмосферу этого дела передает ежедневная газетная хроника. События чередовались с калейдоскопической быстротой: то признания доктора Панченко в совершении убийства, то отказ от показаний, то свидетельства, что миллионер де-Ласси рекомендовал доктора Панченко старому генералу Бутурлину, поскольку доктор якобы имел некое «средство для возрождения организма», то внезапное исчезновение находившейся в нервном шоке жены де-Ласси – Людмилы Дмитриевны и т. д. и т. п.

Словом, журналистика в связи с делом Бутурлина переживала свой «звездный час», газеты читались с тем же неукротимым восторгом, что и модный в то время захватывающий французский уголовный роман Алексиса Бувье «Иза». И к героям этой отвратительной человеческой драмы публика подходила с мерками бульварно-литературными, приравнивая Панченко, де-Ласси и других действующих лиц к персонажам «жуткого» криминального романа. То, что опустившийся доктор Панченко способен на отвратительное убийство, было ясно каждому (это диктовали законы жанра), но благородный де-Ласси... Ведь согласно тем же законам не мог аристократ, о котором сообщалось в газетах («Новое время» за 20 мая 1910 года), что «в день похорон В.Д. Бутурлина О'Бриен де-Ласси держал себя совершенно спокойно, присутствовал на панихиде, на выносе, рыдал над телом покойного и вообще, видимо, был сильно потрясен смертью», оказаться банальным уголовником. Так вокруг этого дела возник литературно-журналистский «бранделяс», но «бранделяс» жизненный оказался еще более неприличным и гадким.

Наконец Панченко сознался, что за обещанное ему де-Ласси вознаграждение (всего 200 рублей) вводил несчастному Бутурлину разводку бацилл – холерный эндотоксин и дифтерийный токсин. Казалось, было предусмотрено все – даже смерть от «дифтерийного

яда», поскольку Панченко по своему врачебному опыту знал, что судебные медики горло умершего обычно не вскрывают, и причина смерти будет в крайнем случае отнесена за счет плохо стерилизованного шприца Праваца. Однако следователь по важнейшим делам П.А. Александров и начальник сыскной полиции Петербурга В.Г. Филиппов дело вели упорно и кропотливо, и 18 января 1911 года суду присяжных был предъявлен «Обвинительный акт по делу об убийстве В.Д. Бутурлина».

Дело было настолько громким и так взволновало современников, что породило даже некое литературно-публицистическое, «бранделясное» осмысление его. Известный поэт и публицист Т. Ардов (Владимир Геннадиевич Тардов) посвящает процессу эмоциональную статью «Современный Фауст» (газета «Русское слово» от 22 мая 1910 года), в той же газете «Русское слово» Влас Дорошевич пишет ежедневные страстные фельетоны о процессе, находя несомненные литературные аналогии, сравнивая доктора Панченко с Расплюевым, а де-Ласси – с Кречинским, а поэт Владимир Александрович Шуф, укрывшийся за романтическим псевдонимом «Борей», посвящает в газете «Новое время» от 1 июня 1910 года «отравителям» пламенные стихотворные строки весьма назидательного свойства:

КУХНЯ ВЕДЬМЫ

Детским сказкам верить глупо,
Но темнеет жизни мгла, –
Мчится ведьма, скачет ступа,
Заметает след метла...
Шарлатанство в медицине,
Охладел научный пыл,
И язык своей латыни
Доктор Панченко забыл.
Повторен молвой стоустой
Слух, что может старый врач
Познакомиться с Локустой
Под влияньем неудач.
Мир встревожен медицинский,
Новых средств явился ряд, –
Что-то с кухней латинской
Совершилось, говорят.
В ней лекарств целебных мало,
Уверяют, что она

Просто кухней ведьмы стала,
Как в былые времена.
Изменились лишь детали, –
Нет kota и вещей птиц,
В коих верить перестали, –
Есть зато Праваца шприц.
Он удобен для отравы,
И разводкою бацилл
Заколдованные травы
Он с успехом заменил.
Жизнь сама теряет цену.
Мефистофель, старый бес,
Вывел вновь на нашу сцену
Кухню, полную чудес.
Если б доктор Фауст снова
Заглянул сюда порой, –
Наделить его готова
Ведьма юностью второй.
И для тех, кто ждет наследства,
Есть свои рецепты тут, –
Изумительные средства
Современники найдут.

Не прошел мимо «темы Локусты», а вернее сказать «Лукусты», известной изготовительницы ядов, отправивших на тот свет самого императора Клавдия и его сына Британника, и известный в то время писатель и публицист Н.А. Энгельгардт, опубликовавший в газете «Новое время» (24 мая 1910 года) «Историческую справку «Легенды об «отравителях», где привел исчерпывающие сведения о всех известных в мировой истории «отравителях» – от былинной красавицы Маринки, «зельщицы, коренщицы, отравщицы», до знаменитой в этом деле француженки мадам Бренвиллие, о самых невероятных способах отравления (посредством яблока, платка, перстня и даже укуса в порыве любовной страсти) и о всевозможных видах ядов – от классического «Aqua Tofana», которым владел сам Франциско Борджиа, до изысканных французских эпохи царствования последних Валуа. Вспомним в этой связи главу «Великий бал у Сатаны» из романа М.А. Булгакова «Мастер и Маргарита», в которой Коровьев рассказывает Маргарите историю госпожи Тофана. «– Очаровательная и солиднейшая дама, – шептал Коровьев, – рекомендую вам: госпожа Тофана, была чрезвычайно популярна сре-

ди молодых очаровательных неаполитанок, а также жительниц Палермо, и в особенности тех, которым надоели их мужья. Ведь бывает же так, королева, чтобы надоел муж... Да, так вот-с, госпожа Тофана входила в положение этих бедных женщин и продавала им какую-то воду в пузырьках. Жена вливала эту воду в суп супругу, тот его съедал, благодарил за ласку и чувствовал себя превосходно. Правда, через несколько часов ему начинало очень сильно хотеться пить, затем он ложился в постель, и через день прекрасная неаполитанка, накормившая своего мужа супом, была свободна, как весенний ветер... Когда тюремщики узнали, что около пятисот неудачно выбранных мужей покинули Неаполь и Палермо навсегда, они сгоряча удавили госпожу Тофану в тюрьме»¹.

Вокруг героев процесса возникали даже своеобразные апокрифы, такие современные легенды с мистическим осмыслением «проклятых чисел», таинственных судеб, рока. Такова была история с «чертовой дюжиной» из бульварного «Петербургского листка», но тем не менее довольно подробно пересказанная серьезной газетой «Новое время» (21 мая 1910 года): «Пет. лист.» рассказывает странный случай, связанный с О'Брайн де-Ласси, который в 1897 г. затеял «Русско-английскую торгово-промышленную компанию» со складочным капиталом в пять миллионов рублей. В этом предприятии принимали участие 13 лиц: граф Захар Лорис-Меликов, Роберт Ричардсон, лорд Дюнкемп, полковник Дольбек, Алексей Ганецкий, сын знаменитого героя (речь идет об Иване Степановиче Ганецком (1810–1887) – генерал-адъютанте, герое русско-турецкой войны 1877–1878 годов, который под Плевной принудил Осман-пашу к сдаче. – *А.Н.*), светлейший князь Витгенштейн, инженер Владимир Гаврилович Яроцкий, Вильям Друккер, член Белого дома в Америке и кандидат на президентство, его дядя Артур Робинсон, известный миллионер и владелец овцеводства в несколько миллионов голов в Канаде, князь Накашидзе, инженер В.И. Титов, прокурор Быков и П.П. О'Брайн де-Ласси.

Все они снялись на одной карточке 13 лет тому назад, и вот что с ними случилось:

1. Гр. Лорис-Меликов застрелился, страдая манией преследования;
2. Роберт Ричардсон убит при Калензо во время Трансваальской;
3. лорд Дюнкемп убит на Маггерс-Фонтене (Трансвааль);
4. полковник Дольбек убит при Ланспеке (Трансвааль);
5. А. Ганецкий ранен в Трансваале пулей навывлет.

¹ Булгаков М.А. Избранное. М.: Художественная литература. 1983. С. 258–259.

Затем женился в Москве на миллионерше Фирсановой. Во время семейной ссоры пустил себе пулю в сердце, но остался жив. Хирурги Парижа произвели очень удачную операцию, но прописали Ганецкому полный покой. На десятый день после операции в «Фоли-Вержер», где в фойе стоял силомер в форме негра, Ганецкий, забыв о совете врача, решил показать свою силу и одним махом вышиб стрелку, показывающую максимум. Но не прошло и минуты, как Ганецкий вдруг ухватился за мраморную колонну, еще минута, и на полу лежал труп. Парижские газеты острили: *le negre en bois l'a tué* (он был убит деревянным негром); 6. А. Витгенштейн убит на дуэли героем Трансвааля Максимовым; 7. Титов В.И. повесился; 8. инженер В.Г. Яроцкий умер от разрыва сердца во время спора с министром кн. Хилковым; 9. Друккер играл видную роль в парламентской жизни Соединенных Штатов. Нью-йоркский банкир Гуль просил разрешения застраховать жизнь Друккера в 10 миллионов долларов. За эту комбинацию он дал единовременно Друккеру всего 5000 долларов, но обещал поддерживать его ежегодно взносами. Не отдавая себе отчета в этой хитроумной комбинации, Друккер согласился и был застрахован на эту сумму при содействии пяти страховых обществ. Не прошло и года после страхования, как во время прогулки по Миссисипи на Друккера напали пьяные рабочие, вышедшие из какой-то таверны, и убили его наповал. Три года спустя один из убийц, находясь на смертном одре, принес повинную. Банкира Гуля арестовали и казнили; 10. Робинсон, дядя Друккера, при виде трупа любимого племянника, который жил у него в доме, пришел в такое отчаяние, что с ним сделался обморок. Через час он умер от разрыва сердца; 11. Накашидзе убит бомбой в передней П.А. Столыпина в момент покушения на Аптекарском острове; 12. Быков присутствовал на именинах у какого-то богатого армянина; армяне так перепились, что начали стрелять во все стороны и попали случайно в портрет покойного государя. Быков, состоя в должности местного прокурора, возмутился, побледнел и направился к выходу. Ему преградил дорогу очень пьяный армянин, доказывавший ему, едва ворочая языком, что это был лишь нечаянный выстрел. Быков тем не менее настаивал. Завязалась борьба. Быков оттолкнул пьяного армянина и уже достиг порога, как его сразила пуля, пущенная ему вслед из браунинга. Пуля угодила прямо в сердце. Армян судили по всей строгости закона.

Узнав об этой смерти, О'Брайн сказал: «Теперь моя очередь, но я еще поборюсь с судьбой».

Таким образом, кончает рассказчик, слышавший эту историю от самого О'Брайн де-Ласси, на тринадцатом году после сделанной фотографии несчастье постигло и тринадцатого товарища. Все его 12 товарищей были вполне порядочными людьми и ни в каком преступлении даже и не подозревались».

Пространная сага о судьбе участников этого англо-русского торгово-экономического предприятия не только занимательна, но и в высшей степени назидательна. «Апокриф» из жизни тогдашних кооператоров, по сути дела, таил в себе все жанровое многообразие литературы будущего – от мелодрамы в духе Ганецкого до политического (обличительного) романа в духе Вильяма Друккера, которому, увы, так и не суждено было стать Президентом США.

И напомнить о том, что в основе запойно читаемой, словоохотливой литературы и журналистики дня сегодняшнего лежит банальный «бранделяс» дня вчерашнего, лишний раз не мешает.

Тогда же, в 1910–1911 годах, казалось, что не было темы для России важнее, чем «отравление», которое стало столь же модным и поглощаемым публикой сюжетом, что и тема «личная» (если уж продолжать проводить литературные параллели) у куплетистов Шрамса и Карманчикова, а также у писателя Эрендорга и журналиста Колечкина в «Роковых яйцах» М.А. Булгакова.

Впрочем, не прошел мимо дела Бутурлина и В.В. Розанов. В газете «Новое время» он не обмолвился о нем ни словом, а вот в московской газете «Русское слово» 27 мая 1910 года за подписью «В. Варварин» напечатал подвальную статью под названием «Де-Ласси и Панченко», где весьма оригинально и нетрадиционно осмыслил это скандальное дело, чувствительно «ущипнув» энергичных российских «левых» тех беспокойных лет и «молодую не окрепшую еще нашу демократию» в лице Государственной Думы каверзным вопросом – вы говорите, что не будет нужды, не будет и преступлений, но это преступление вовсе не от нужды, ведь де-Ласси – миллионер? И уж совсем «асоциально» прозвучало его слово в защиту нравственности и порядочности как категорий вечных и незыблемых для человека, и вовсе как вызывающий и алогичный был воспринят большинством его вывод о природе таких цивилизованных мерзостей. «...Все это злодеяние, поразившее страну, – писал он, – в сущности образовалось из какой-то «отсырелости почвы», «нездорового воздуха», не более, не ярче...»

11 июня 1910 года уже в газете «Новое время» в статье «Бедные провинциалы...» он, не называя, правда, этого дела конкретно, но, несомненно, имея его в виду в числе прочих подобных, прямо соотносит этот нравственный «нездоровый воздух» с кризисом литературы, с «отсыреелостью» столичной, претендующей на духовную монополию, литературной почвы, то есть все с тем же «бранделясом». И потому именно презираемая всеми российская провинция, или, как говаривали, да и сегодня продолжают повторять радетели социального, экономического и иного материального прогресса – «несчастливая провинция», оставалась для Розанова единственным и последним оплотом российской духовности, порядочности и честности, то есть надеждой Литературы.

Рассуждая едко и зло о литературных обличителях российской провинции, в частности о романах Федора Сологуба «Мелкий бес» и «Навыи чары», а также о рассказах Анатолия Каменского, Розанов нравственные акценты расставил весьма определенно: «Что же касается скорби патриотов «о провинции», то нельзя не заметить им, что ведь дела Гилевича, Тарновской, Прилукова, Наумова, да и другие новейшие и тоже весьма скорбные, случились уж никак не в «богоспасаемой Пензе», а в городах старой культуры, высокого образования... и, словом, там именно, куда «молодежь всеми силами стремится переписывать на машинке» замечательные статьи замечательных авторов... Вместо «бедная провинция» не подумает ли кто-нибудь хоть про себя: – Бедная литература!»

И все же, почему именно «Бранделяс», хотя для многих уже очевидна соотносимость этого слова с именем главного героя процесса О'Бриен де-Ласси? Возникает естественное предположение, что тарабарское и глумливое это слово было создано Розановым в результате надоедливо бесконечного повторения аристократической королевской фамилии подсудимого: «Бриен де-Ласси, Бриен де-Ласси, Бриен де-Ласси» – вот и получился искомый «Бранделяс». Затасканное и заболтанное это слово, в основе своей даже благородное, для Розанова прямо ассоциировалось с «болтливой» и суетливой современной литературой, увы, продолжавшей традиции литературы некогда великой. Пустота, претенциозное громохание и понимание многими некоторой неприличности всего происходящего – как в жизни, так и в литературе.

Впрочем, жизнь и изящная словесность настолько тесно переплелись, что разделить неприличие литературное и бытовое

не представлялось возможным. «Бранделяс» еще не обернулся трагедией, как шутка он царствовал везде – даже благородное понятие защиты чести и достоинства, бескомпромиссная дуэль, унесшая столько российских талантов, на глазах превращалась в фарс и хихиканье. Конечно же, Розанов пробежал глазами рубрику «Судебные вести», печатавшуюся в его родном «Новом времени», и обратил внимание на информацию от 13 октября 1910 года: «12 октября в окружном суде рассмотрено без участия присяжных заседателей дело о дуэли, состоявшейся в ноябре минувшего года между студентом Гумилевым и писателем Корниенко-Волошиным. В большой компании, собравшейся в ресторане «Вена», Гумилев позволил себе оскорбительное выражение по адресу одной поэтессы (имя ее на суде произнесено не было). Волошин обиделся и ответил «оскорбительным действием». Гумилев послал вызов. Противники обменялись выстрелами, впрочем, безрезультатными. Вызывавшиеся в качестве свидетелей секунданты граф А. Толстой, кн. Шервашидзе, поэт Кузьмин и Зноско-Боровский с точностью не могли установить, были ли направлены выстрелы в воздух или в цель. Окружной суд приговорил обоих дуэлянтов к аресту: Волошина, как принявшего вызов, на 1 день, а посылавшего вызов Гумилева – на 7 дней».

Участников этой милой шутки жизнь развела на разные трагические полюса, но тогда никто из них даже предположить не мог, что смешная («бранделясная») альтернатива – «были ли направлены выстрелы в воздух или в цель» – блеснет мистическим отсветом и обернется в скором будущем той российской судьбой, которая выбрала для одного из них именно второй вариант – «в цель».

Хотя по логике вещей именно Розанов должен бы быть автором бессмертного «Бранделяса», слово это не было плодом его бормотания «про себя». Прозвучало оно 18 января 1911 года в напечатанном в газете «Новое время» «Обвинительном акте по делу об убийстве В.Д. Бутурлина», где среди прочего сообщалось, что один из жильцов квартиры, в которой обитал «Современный Фауст», «стал замечать, что Панченко и Муравьева (хозяйка квартиры. – А.Н.) ведут между собой какие-то подозрительные разговоры, в которых упоминается фамилия О'Бриен де-Ласси и Бранделяс, последняя, вероятно, сокращенная от первой».

Однако тогда это слово прозвучало эмоционально нейтрально, а вот через три дня защитник доктора Панченко присяжный поверенный И.С. Трахтерев «вдохнул» в него в лучших традициях адво-

катской риторики эмоциональный пафос, а следовательно, и жизнь. Приведем этот небольшой отрывок из официального стенографического отчета, напечатанного 21 января 1911 года в газете «Новое время», который немного отличается от вынесенных в эпиграф строк из «Русского слова»:

«Трахтерев заявил суду:

– Я попрошу предложить д-ру Панченко ответить на важные для меня в нравственном отношении следующие три вопроса:

– Кто такой Бранделяс?

– Это не комиссионер, как я сказал, – отвечает Панченко, – это О’Бриен де-Ласси.

– Получили ли Вы от де-Ласси 200 рублей 12 мая?

– Я получил 200 рублей не 12-го, а 13 мая.

– Предлагал ли Вам де-Ласси 10 000 рублей за убийство Бутурлина, 50 000 рублей за убийство отца Бутурлина и 500 000 рублей за убийство матери Бутурлина, живущей в Париже?

– Да, – отвечал Панченко своему защитнику, – де-Ласси мне это предлагал».

18 дней суд присяжных рассматривал это нечистоплотное уголовное дело и приговорил де-Ласси к бессрочной каторге, а Панченко к 15 годам каторжных работ. Приближалось время железное и «без сомнений», и неизвестно, как сложилась дальнейшая судьба героев процесса. Однако на страницах розановского «Уединенного», этой великой и честной книги, осталось только слово, которое, как и для присяжного поверенного И.С. Трахтерева, было для Розанова важным «в нравственном отношении». За словом этим, по-русски емким и непереводаемым ни на какие иностранные языки, стояли судьбы людей, распадающаяся нравственность эпохи, «отсырелость российской почвы», кризис литературы и культуры – словом, «Бранделяс».

Суть понятия «Бранделяс» значительно расширилась в наши дни. Это, по сути дела, и образ жизни, и способ мышления. «Бранделяс» как пошлое отражение истинной жизни существует не только в искусстве, но и в политике, экономике, науке, в системе человеческих отношений.

«Бранделяс» – это не только «офонаревший Арбат», это и слепая вера в магию слова, когда наивно полагают, что, назвав крестьянина на «древнеримский» манер «аграрием», можно изменить дело к лучшему, когда искренне считают, что, окрестив несовершенную нашу школу «гимназией» или «лицеем», можно поднять наше обра-

зование до уровня 1913 года; «Бранделяс» – это пошлость сознания, слепое рабство духа, творящего себе новых кумиров и преклоняющегося перед ними с той же страстностью и искренностью, что и вчера перед кумирами, сегодня уже падшими; «Бранделяс» – это паразитирование на трагедии страны и отчаянное сопротивление всему, что высветляет истоки этой трагедии; «Бранделяс» – это пошлость существования и мышления, когда нет сомнения в своей правоте. Словом, «что пошло, то и пошло» – вот что такое наш современный, все более крепнущий «Бранделяс».

МОЛЧАНИЕ РОЗАНОВСКОЙ ПИРАМИДЫ

(О НЕИЗВЕСТНОЙ СТАТЬЕ В.В. РОЗАНОВА
«С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ.
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХОДЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ»)

«Только горе открывает нам великое и святое. До горя – прекрасное, доброе, даже большое. Но никогда именно великого, именно святого». Это размышление Василия Васильевича Розанова, датированное 1 июля 1912 года, осталось на страницах первого короба его «Опавших листьев» – одной из вечных, вершинных книг великой русской литературы. С великого и спрос особый. К изящным поделкам литературных ювелиров можно относиться по-всякому – умиляться, восторгаться и даже не замечать вовсе. Это дело вкуса – и без них прожить, в сущности, можно, и найти интеллектуальную радость в чем-то ином. Но так получилось, что в России литература всегда была чем-то иным, нежели изящная словесность, это и искусство, и политика, и этика, и нравственность, идеология, наконец. Скажи мне, что ты читаешь, и я скажу о тебе всё.

Нигде, пожалуй, не было и такого личного отношения к литературе; из-за расхождения литературных вкусов могли прерываться многолетние дружеские отношения, распадались супружеские пары, случались вещи и похуже – и торжествовало тогда банальное – «кто не с нами, тот против нас». Но если погрузиться в литературный (в русском понимании этого слова) поток глубже, исчезнут поверхностные водовороты и зыбь и ошеломит натиск огромной силы, как тяжелая поступь Медного всадника, как неумолимые шаги Командора, как все убыстряющийся полет птицы-тройки. И, кажется, сама жизнь есть всего лишь инсценировка того, о чем литература уже напророчествовала, – лавины всадников, сшибшихся в кровавой сече, пропыленные тачанки...

Конечно же, это все мистика и не имеет никакого отношения к материалистическому пониманию хода исторического процесса. Не может литература пророчествовать, ибо еще со школьной скамьи известно, что литература всего-навсего «область искусства, отличительной чертой которого является изображение жизни, создание художественного образа при помощи слова»¹. Все это так. Но... Когда говоришь о провидческом даре В.В. Розанова, это самое «но» вдруг оказывается самым значительным в бесплодных попытках уловить его сущность во всех сферах (а количество их огромно), с которыми он соприкасался. В ряду противопоставлений одно для нас в данный момент наиболее важно: писатель, русскую литературу боготворивший, но в конце концов ее проклявший.

Странная фигура этот Розанов, скажут многие читатели и, конечно же, будут правы. Правы будут и когда закроют любую книгу, написанную этим «беспринципным», как определяла его современная критика, писателем. Но... Опять это проклятое «но». Все это «хитрейший змий Розанов» (как назвал его Максим Горький) уже предвидел: «Ну, читатель, не церемонься я с тобой, – можешь и ты не церемониться со мной:

– К черту...

– К черту!»

Вот как ошарашил интеллигентного российского читателя этот несносный Розанов уже на второй странице «Уединенного», о котором почти восемьдесят лет спорят, негодуют и говорят, говорят...

В июле 1917 года семья Розановых (а была она по-русски многочисленна – дочери Татьяна, Вера, Варвара, Надежда и сын Василий) перебралась из революционного Петрограда в Сергиев Посад, поближе к первопрестольной. Лишь дочь жены Варвары Дмитриевны от первого брака Александра Бутягина, падчерица Розанова Аля, решила остаться в революционном Петрограде и не поехала вместе с семьей. Холодно и голодно стало в столице, да и боязнь возможного немецкого наступления на Петроград заставила тяжелое на подъем семейство отправиться в путешествие, которое во все времена имело для российской словесности и культуры некое сокровенное и часто непредсказуемое значение; словом, свершилось еще одно путешествие из Петербурга в Москву.

Правда, книги со сходным названием Розанов так и не написал, но сокровенный смысл этого путешествия все же был, ибо это был

¹ Тимофеев Л.И., Венгеров М.П. Краткий словарь литературоведческих терминов. М., 1963. С. 78.

последний путь странного и самого искреннего российского писателя по земле боготворимой им России, уже шагнувшей в неумолимое лихолетье. Последняя, *ростанная* их дорога.

То, что «чудище обло, озорно, огромно, стозевно и лайй», было очевидно всем, и даже не надо было больше оглядываться окрест себя – трещина прошла по душе каждого; чтобы понять смысл происходящей исторической драмы, надо было вновь отворотиться от интеллигентского мудрствования и довериться доморощенным чувствам, которые Розанова никогда не обманывали, и изречь свою собственную истину, пусть предвзятую, но собственную и потому такую пронзительную и искреннюю. Так появился розановский «Апокалипсис нашего времени», еще одно, прощальное его откровение, плач по России, по полям которой просакал уже не Медный всадник, но «конь бледный, и на нем всадник, которому имя «смерть»» («Откровение святого Иоанна Богослова», 6, 7).

Десять тоненьких выпусков розановского «Апокалипсиса нашего времени» появились не в каменном Петербурге Достоевского, этой нерусской столице России, а на теплой подмосковной земле, на которой в пору житейской суеты и призрачных поисков смысла бытия бывал он не часто.

Поселились в живописной Красюковке, что в восточной части Сергиева Посада, на Полевой улице в доме № 1, арендованном у священника Андрея Беляева, преподававшего в Вифанской духовной семинарии. «Беляев построил свой дом в 1914 году. Началась Первая мировая война, и строителей забрали в армию, так что отделочные работы они не закончили. Но сама постройка была оборудована по последнему слову техники. В доме были водопровод, теплый туалет, ванная. Вода подавалась ручным насосом из колодца в верхний бак. Для ванны она подогревалась в дровяной колонке. На участке была рубленая сосновая баня. Имелся телефон, один из первых в городе. К сожалению, многие «удобства» негодились Розанову в этот период. Наоборот, просторные комнаты и большие печи требовали хороших дров, которых нельзя было раздобыть. И Розановы голодали и мерзли в этом доме»¹.

Интересен ранее неизвестный факт, о котором сообщает Т.Н. Шпанькова, что «стоящий рядом с розановским домом № 3, по воспоминаниям старожилов, был построен в 1914 году генералом Стесселем. Стессель Анатолий Михайлович в начале XX века был

¹ Шпанькова Т.Н. Прогулки по родному городу. Сергиев Посад. Красюковка. Сергиев Посад, 2007. С. 47–48.

весьма заметной политической фигурой – комендантом крепости Порт-Артур во время ее восьмимесячной осады японцами в 1904 году. Пока крепость держалась, на генерала сыпались награды. Но в январе 1905 года он позорно сдал крепость, еще способную к обороне, за что был судим и приговорен к смертной казни. Позже ее заменили десятью годами лишения свободы. В 1909 году Стессель был помилован царем. После этого он, по-видимому, и появился на Красюковке»¹.

Встречался ли Розанов со своим печально знаменитым соседом, можно лишь предполагать. Во всяком случае это было бы интересно для писателя, не пренебрегавшего возможностями беседовать с самыми разными людьми – священниками, литераторами, философами, гимназистами, студентами, кухарками, экзальтированными дамами и т.д. Хотя биографические справочники приводят 1915 год как год смерти генерала Стесселя, но, как сообщает краевед, «по местному преданию, Стессель пропал во время революции, дом был брошен»².

Именно здесь, у святынь русской государственности и духовности, вдали от друзей и единомышленников (ибо с московским кружком философов он так и не успел близко сойтись), появились на свет эти последние «листки» его исповедальной прозы, замкнувшие круг «Уединенного» и «Опавших листьев».

Впрочем, немногочисленный круг людей, близких Розанову по духу, в Сергиевом Посаде все же возник – художник М.В. Нестеров, молодой священник С.Н. Дурылин, издатель Г.А. Леман и, конечно же, П.А. Флоренский, этот российский гений и вечная ее боль. Но писал Розанов свой «Апокалипсис», пожалуй, больше для себя, а не для своих просвещенных друзей – ведь пережить судьбу Родины в эпоху ее трагедии каждый обязан был сам, без подсказки испытать чувство уединенного в наивысшем смысле этого слова как единения с родной землей. Именно поэтому местом провидческого покаяния и откровения Розанова стала московская земля – сердце России. Здесь выговорился он до конца, испустил последнее свое слово-дух и трагически завершил собою блестящую эпоху когда-либо существовавшей литературы, так радостно открытую Пушкиным.

После Розанова началась уже другая литература, более прагматичная, что ли, более реальная... Да и читатель пришел иной, жизне-

¹ Там же. С. 48.

² Там же.

радостный, обуреваемый жадой познания, наивно вообразивший, что мир вокруг него сложен наподобие ломоносовской мозаики, и потому свято веривший, что разум, разобрав эти разноцветные камушки, объяснит все, даже необъяснимое. За его плечами не стояла еще мощная культурная традиция, и потому, даже читая Пушкина, Толстого или, скажем, Достоевского, он читал все-таки нечто иное, чем его предшественники из уже ушедшего времени, потому что сам он был другим, и, конечно же, розановская рефлексия была ему странна, да и не нужна вовсе, а отчаяние предсмертных работ Розанова, полных апокалиптического ужаса, было для трогательного неопита двадцатых годов по крайней мере подозрительно, а чаще всего просто «контр-р-революционно».

Однако помимо выпусков «Апокалипсиса нашего времени» Розанов издает в это время и другие статьи и произведения, примыкающие к «Апокалипсису», где мучительно ищет ответа на второй «вечный» вопрос русского интеллигента – «кто виноват?». Первый вопрос был, конечно же, «что делать?», и Розанов ответил на него в начале столетия с обескураживающим блеском эпатирующего полемиста, восставшего против «тенденции»: «Что делать?» – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – Как что делать: если это л е т о – чистить ягоды и варить варенье; если з и м а – пить с этим вареньем чай»¹.

На вопрос «кто виноват?» надлежало ответить уже не петербургскому студенту – московскому жителю, за плечами которого было не двести холодных невских зим – многовековая история, и где-то в ее глубине Розанов и пытался отыскать изъян.

Целая серия «апокалиптических» статей была создана Розановым за период с осени 1917 года до кончины писателя в феврале 1919 года. Часть из них была напечатана еще при жизни автора или вскоре после смерти в журнале «Книжный угол». В № 3 за 1918 год – «Запущенный сад», «Гоголь и Петрарка», в № 4 – «Солнце», «Тайнственные соотношения» и «Колебания мира» в № 5 – «Апокалиптика русской литературы», одно из самых тяжелых обвинений литературе, породившей «сонм чудовищ» реальности. Вплоть до своих последних номеров, до 1921 года, журнал продолжал публиковать фрагменты розановских откровений под заголовком «Из последних листьев». Однако еще большее количество розановских материалов так и не было напечатано – они осели в архивах, част-

¹ *Розанов В.В.* Эмбрионы // *Розанов В.В.* Религия и культура. СПб., 1901. С. 239.

ных коллекциях, да и просто у людей, соприкасавшихся с семейством писателя. Тексты, подготовленные автором для несостоявшихся выпусков «Апокалипсиса нашего времени», в значительном количестве сохранились в Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ), ряд предсмертных сочинений и писем, посвященных «апокалиптической» теме, хранится в Отделе рукописей ИРЛИ (Пушкинский Дом) РАН, в Отделе рукописей Российской государственной библиотеки (бывшей Государственной библиотеки СССР имени В. И. Ленина) и в ряде других хранилищ.

Среди этих неопубликованных и изданных материалов, о которых, так или иначе, было известно исследователям, особое место занимает статья «С вершины тысячелетней пирамиды. Размышления о ходе русской литературы», написанная, видимо, на рубеже 1918–1919 годов. Она долгое время оставалась вне поля исследовательского внимания, ибо время ее создания не благоприятствовало ее сохранности как памятника отечественной культуры – холод, разруха, нехватка всего самого необходимого, в том числе и бумаги. Впрочем, глухие упоминания об этой розановской работе все же были. Люди, помнившие его, вроде бы слышали о большой статье, посвященной русской литературе и истории, но что в ней было конкретного, сказать затруднились.

Копия последней розановской работы сохранилась в архиве Петра Петровича Перцова, издателя и публициста, близкого друга Розанова. «Рукописи не горят» – это мудрое, но ставшее, к сожалению, сегодня расхожим и потому банальным утверждение могло бы иметь и продолжение в том смысле, что рукописи восстанут из пепла именно тогда, когда приходит их время. Это действительно так, и что-то иррациональное ощущаешь всякий раз, когда происходит «открытие» того или иного художественного произведения – ведь рождение почему-то случается именно тогда, когда все этого ждут. Примеров тому на нашей памяти более чем достаточно. Но, облаканные читающей публикой, книги эти становятся баловнями литературного процесса, а их страдания окутываются романтической дымкой прошлого, и сентиментальной влагой наполняются глаза. Чужая боль, но свои сострадающие слезы. В них утонуло множество поистине великих произведений, и стоны их создателей едва ли могут быть услышаны за ревом восторга сострадания.

Проплакал и Розанов в новоявленной нам «Пирамиде русской литературы». И хотя прошло уже более девяноста лет, но то, что это была своя боль и *с в о и* слезы, уединенные, как и все у Розанова,

делают его «Пирамиду» явлением неординарным. Он и здесь остался искренним индивидуалистом, тогда как время все настойчивей звало бескомпромиссных общественников. Впереди сияло голубое небо эгалитаризма, а Розанов скорбел о каком-то рухнувшем Русском Царстве и пытался найти некий смысл случившегося, понять, «куда побегут новые побеги России». И если Александр Николаевич Радищев закончил свое «Путешествие» торжественным «Словом о Ломоносове», то есть литературу воспел и восхитился ее светлым даром пророчества иной светлой жизни, то Василий Васильевич Розанов не просто усомнился в этом даре, но увидел в литературе бездну страшную, куда, словно в *тартарары*, провалилась блистательная российская история, воспетая Татищевым и Карамзиным.

Несомненно, что в те лихие годы розановские откровения имели бы совершенно определенный общественный резонанс – ведь любому здравомыслящему интеллигенту было ясно: «побегут побеги» туда, куда настойчиво звали идеалы великой литературы, – к счастью и справедливости. В этом хоре восторга розановский пессимизм выглядел бы просто неприличным, странным, неуместным, да и не нужным большинству.

Согласимся, что и позже всем было бы также не до розановских построений – ведь сооружали здание новое, невиданное, на фоне которого сомнения Достоевского о высшей гармонии, что «не стоит она слезинки хотя бы одного только того замученного ребенка, который бил себя кулачком в грудь и молился в зловонной конуре своей неискупленными слезками своими к «боженьке», сомнения эти казались старорежимным анахронизмом, буржуазными предрассудками и слюнтяйством. Допотопная розановская пирамида была бы просто никому не интересна; в моде были иные геометрические фигуры – спираль башни Владимира Евграфовича Татлина или серый куб «Дома на набережной» архитектора Бориса Михайловича Иофана. И, может быть, вполне закономерно, что именно на верхней грани этого серого куба, построенного в 1931 году, «расположился штаб по уничтожению – мастерская Б.М. Иофана», где разрабатывался план сноса храма Христа Спасителя¹.

Время выбрало для появления из небытия работ Розанова день сегодняшний. Но вряд ли его строки вызовут всеобщий восторг читателей, как это происходит ныне с новоявленной беллетристикой. Розанов, обвешанный еще при жизни всевозможными ярлыками «певца мещанства», «обывателя», «реакционера» и так далее и тому

¹ Молева Н. Главный солдатский храм // Московский литератор. 1988. 29 апр.

подобное, оказался вне сферы массового сознания, которое, почувяв в нем инородное тело, наверняка отторгнет его от себя. Причин тому немало, но среди многих назовем одну, в данном случае наиболее важную: как и для современников Розанова, для нас литература все так же продолжает быть сутью исторического явления, а не наоборот. Плохо это или хорошо – это другой вопрос; может быть, именно здесь кроется загадка *«таинственной русской души»*, вечной силы великого русского идеализма.

Розанов прекрасно это понимал и, проклиная литературу, ставшую сутью жизни и истории народа, тогда как в «нормальных» цивилизованных странах все было как раз наоборот, все-таки внутренне восхищался этим парадоксом, этой еще одной российской несуразностью, имевшей воистину провиденциальный смысл. Но согласиться с тем, что в соотношении «литература – история» мы и сегодня продолжаем исходить все же из литературы, а не из истории, мы как-то не в силах, а к тем пророкам, кто решается произнести эту «крамолу», относимся как к еретикам и дружно негодуем.

«Литература», которая была смертью своего отечества. Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться» – этот розановский «крамольный» тезис в сущности развивал стародавние, рассыпанные по страницам «Уединенного», «Опавших листьев» и иных его книг выпады против боготворимой интеллигенцией культуры. Боготворил ее и Розанов, но видел ее иначе, не в плоской проекции обычного читательского восприятия, а более объемно, как будто обладал третьим глазом древнеиндийского божества. И если виртуозные розановские выпады петербургской поры были ценимы лишь знатоками, наслаждавшимися высоким классом полемического боя, а литературный обыватель негодовал и требовал полемической дубины (ведь это освященное оружие литературной критики), то «апокалиптическое» видение литературы, рожденное на московской земле, ошеломило всех железной логикой, искренним чувством, мудрым спокойствием пророка, *умирающего пророка*.

Не было литературы и истории, а была сама жизнь, где все, каждая мелочь повседневности, великие философские идеи и нелепые детские страхи, великая война и бытовые невзгоды маленького человека играли свою решающую роль. Все творило историю, и уж, конечно же, литература, которая всегда была обоюдоострым оружием, способна была творить добро и зло, петь Христа и Антихриста, созидать храмы и капища – словом, давала право выбора, то есть

той самой свободы, которой вечно алкало человечество. Да только выбор этот должен был сделать Человек, который сам себя никогда познать не сможет.

Великий *«предостерегатель»* Василий Васильевич Розанов, подобно своим предтечам Константину Николаевичу Леонтьеву и Николаю Николаевичу Страхову, страшился таящегося в человеке яда искушения, абсолютизации каких-то начал, казавшихся большинству вечными, само собою разумеющимися, естественными. Сам, являясь порождением эстетики шестидесятников, он ее сокрушительно отверг, излив язвительные строки на кумиров русского радикализма – Н.Г. Чернышевского, Д.И. Писарева, М.Е. Салтыкова-Щедрина, ибо страшился их апологетики, той самой «абсолютной истины», которую творили из их противоречивого наследия.

Преклоняясь перед красотой русского слова, он произнес приговор даже тем вершинным произведениям родной литературы, которые вроде бы единодушно почитались всеми как художественный феномен. Вот эти розановские строки из статьи «Таинственные соотношения», что появились в 1918 году: «Но в то время как «Что делать?» Чернышевского пролетело молнией над Россией, многих опалив и ничего в сущности не разрушив, «Отцы и дети» Тургенева перешли в какую-то чахотку русской семьи, разрушив последнюю связь, последнее милое на Руси. После того как были прокляты помещики у Гоголя и Гончарова («Обломов»), администрация у Щедрина («Господа Ташкентцы»), и история («История одного города»), и купцы у Островского, духовенство у Лескова («Мелочи архиерейской жизни») и, наконец, вот самая семья у Тургенева, русскому человеку не оставалось ничего любить, кроме прибауток, песенок и сказочек». Это были еще конкретные обвинения тому или иному литературному факту – с ними можно было спорить или же недоуменно пожать плечами. В потаенной же работе «С вершины тысячелетней пирамиды», словно нарочно скрытой от потрясенных происходящим современников, картина культурного Апокалипсиса предстала еще более фантазмагорической – литературный Крон пожирал детей своих: «Войны совершались, чтобы беллетристы их описывали («Война и мир», «Севастополь», «Рубка леса», «Красный смех» Леонида Андреева), и преобразования тоже свершались, но – зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если «освободили крестьян» – то это Тургенев, его «Записки охотника», а если купечество оставили в презрении – то потому... что

там было «Темное царство» Островского, и нужно было дождаться времени, когда они преобразятся в новофасонных декадентов» и так далее.

Насколько истинна логика культуры Розанова, сказать невозможно. Каждый должен сам ответить на этот вопрос. А одному быть трудно и неудобно. «И был вечер, и было утро»... Утра Василию Васильевичу Розанову не суждено было увидеть, его судьбой стал вечер, и то вчерашнее небо великой культуры, которому он искренне молился, поглотило его:

«Ты был небесен только в слове. И – это небо тебя раздавило».

В «Откровении святого Иоанна Богослова», зовущемся в народе еще и «Апокалипсисом», которое так или иначе оставило след на творчестве всех великих наших писателей от протопопы Аввакума до Михаила Булгакова, начертано: «И увидел я новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет» (21, 1). Розанов не увидел ни нового неба, ни новой земли. Но осталась сотворенная им *Пирамида*, которая так странно высится среди русских проселков. Вечная сладкая тайна Египта, влекшая Розанова всю его жизнь, была, в сущности, тайной его невидимой, не вполне осязаемой России, ибо для него не существовало дилеммы «стать Европой» или «остаться Россией». Тайна России существовала в нем, подобно невидимому граду Китежу, и она умерла вместе с ним, а нам остались отблески ее бытия – «Русский Нил», застывший на страницах одной из великих розановских работ, а теперь вот и «Пирамида» – апокалиптическая антиутопия-предостережение. Прислушаемся ли мы, созидающие новую пирамиду культуры, к этим предостережениям или же отринем их с легкостью жизнерадостной молодости – вот вопрос, на который, вероятно, так и нельзя дать ответа.

Из «Розановской энциклопедии»¹

Персоналии

ФЕОФАН [Быстров Василий Дмитриевич; 31.12.1873 (12.1.1874), Подмошье, Новгородская губ. – 19.2.1940, Лимёй, департамент Дордонь, Франция] – архиепископ Полтавский, ректор Петербургской духовной академии (1909–1910), епископ Петербургский и Ладожский (с 1908), епископ Ямбургский (1909–1910), архиепископ Полтавский и Переяславский (1913), духовник царской семьи после 1905. В 1905 познакомил *Г. Распутина* с представителями императорской семьи, но осенью 1911 выступил против Распутина и был переведен в Крым, а в 1912 – в Астрахань. В 1920 эмигрировал. Феофан являлся для Розанова одним из высших воплощений церковного *аскетизма* среди современников. Защищая семью, *детей, пол*, Розанов не раз заочно полемицировал с Феофаном, «фанатическим приверженцем *монашества*» (*Розанов В.В.* Собрание сочинений. Русская государственность и общество. Статьи 1906–1907 гг. Т. 15. М.: Республика, 2003. С. 374). Розанов вспоминал в связи с Феофаном о неприемлемом для него толковании таинства *брака* как «скверны» и сетовал, что «у Феофана петербургского», как и в святоотеческих писаниях, нет ничего о семье: «Дитяти стало не видно». (Там же. С. 371.) Р. фантазирует: «И вдруг дитя, розовенькое, трехлетнее, вошло бы в инспекторскую квартиру Феофана и, протягивая ручонки, сказало бы: «Папа! Разве забыл? Христос учил обо мне, о нас, о царстве небесном. Пойдем туда, к Нему, в Его царство». Феофан принял бы это за «наваждение». За что-то «нечистое», «от лукавого». Он смог бы только ответить: «Сгинь, нечистый!» (там же). В докладе «О христианском аскетизме», прочитанном в *Религиозно-философском об-*

¹ В это раздел включены статьи А.Л. Налепина, опубликованные в книге: Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николюкин. М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2008.

ществе 12 марта 1908, Розанов говорил: «Почему молитвотворец Давид не есть аскет и «христианский святой», а Феофаны – большой и малый, Тамбовский <Феофан Затворник> и Петербургский, – суть «аскеты» и «почти святые», по приговору потомства и современников. Говоря о Феофане малом, я разумею замечательную личность современного нам инспектора Петербургской духовной академии; личность сильную и высокую, но, с моей точки зрения, религиозно-отрицательную <...> Об обоих я могу сказать то, что так часто говорили отцы-пустынники о соблазнявших их образах. Именно, они жаловались, что к ним иногда являлся «ангел», соблазнял их «на худое», как они говорили. По этому соблазну они в самом ангеле открывали присутствие «демона <...> Вот таким принятием демоническим началом Космоса «светлого вида» – для введения в соблазн человечества – я и считаю весь вообще аскетизм» (Розанов В.В. Собрание сочинений. Около народной души. Статьи 1906–1908 гг. Т. 16. М.: Республика, 2003. С. 310). В статье, посвященной защите С.М. Зориным в 1907 диссертации об аскетизме, Розанов дает *портрет* его оппонента Феофана: «Знал я и Феофана или, точнее, чуть-чуть знал, видал. Монах. Инспектор духовной академии. Очень молодой, с прекрасным, привлекательным *лицом*, гораздо красивее Зорина <так писал Розанов>. Раза два он появился на религиозно-философских собраниях <...> Во всей громадной массе слушателей и дискутантов нельзя было сейчас же не заметить этого монаха, с прозрачным, небесным (не шучу и не преувеличиваю) лицом, который ни разу не поднял глаз на публику и не произнес в оба вечера ни слова. Заметно было только, когда он входил и выходил из собрания, до чего он женственно-неловок и застенчив, я бы сказал – институтски и застенчив, и неловок. Больше он не появлялся. А я потом узнал, что он страшно редко покидает «затвор» свой, в который обратил свою квартиру, что он поставлен инспектором не по надежде на его управление или руководство *студентами*, но «для примера» им: чтобы был в академии светоч, свеча и мерило того, «что ожидается от человека духовного звания», и чтобы они если и не сообразовались с ним, то тогда все-таки оглядывались на него <...> Самое имя «Феофана» при постриге в монашество он принял вслед и по почитанию знаменитейшего из аскетических писателей наших XIX века, епископа Феофана тамбовского, получившего в *литературе* и вообще среди духовенства имя «затворника» (Розанов В.В. Собрание сочинений. Русская государственность и общество... Т. 15. С. 367–368). Диспут с участием Феофана проходил необыч-

но: «Говорили тихо, арх. Феофан до того тихо, что с обычных мест публики (т. е. очень близко к официальным столам, за которыми сидели профессора и оппоненты) ничего не было слышно, и совершилось небывалое явление: вся публика, покинув места свои, окружила вплотную кресло Феофана, став между ним и диспутантом (он на высокой кафедре) и выслушала, стоя, в плотном кольце, подставляя ладони к ушам, весь очень долгий спор». (Там же. С. 369–370.) Розанов вспоминал в письме к Э.Ф. Голлербаху: «Но сперва о слове Феофана, «праведного» (действительно праведного), инспектора Духовной академии в СПб. Сижу я, еще кто-то, писатели, у архимандрита (и цензора «Нов. пути») *Антонина*. Входит – Феофан и, четверть часа повозившись, – ушел. Кажется, не он вошел, а «мы вошли». Когда Антонин спросил его: «Отчего Вы ушли скоро», он ответил: «Оттого, что Розанов вошел, а он – Дьявол» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. В нашей смуте. Статьи 1908 г. Письма к Э.Ф. Голлербаху. Т. 17. М.: Республика, 2004. С. 373–374*). Розанов находил в этом заявлении Феофана подтверждение своей особой пронизательности в вопросах мистики пола и противопоставлял аскета Феофана «Апису»-Распутину: «Конь ослу не товарищ. Гриша – конь, а Феофан – осел» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Мимолетное. 1915 год. Черный огонь. 1917 год. Апокалипсис нашего времени. Т. 8. М.: Республика, 1994. С. 61*). Розанов и Феофан были знакомы и встречались. *С.П. Каблуков* упоминает о намерении Р. послать свою статью «Афродита и Гермес» (Весы. 1909. № 5), в которой шла речь о значении тетраграммы имени Божия, Феофану как «специалисту этого вопроса» (В.В. Розанов: Pro et Contra. Личность и творчество Василия Розанова в оценке русских мыслителей и исследователей. СПб.: РХГИ, 1995. Кн. 1. С. 205). Одна из личных встреч Розанова и Феофана состоялась в саду духовной академии: «Владыка Архиепископ как-то вспоминал и об одном молчаливом диспуте с известным философом-публицистом Василием Васильевичем Розановым. Когда тот посетил Владыку, тот собирался погулять на свежем воздухе в саду Академии. Владыка любил гулять в этом саду, когда его ум и сердце были заняты лишь *молитвой* Иисусовой. Поскольку гость был знаком ему и прежде, он пригласил его тоже погулять на воздухе в редкий для столицы погожий день. Философ совершенно неожиданно начал очень возбужденно и громко обличать *монашество*. Владыка в ответ молчал, не отвлекаясь от молитвы. Тогда Розанов продолжил свои обличения. Потом, немного подождав и не услышав возражения, призадумался. Прошлись

еще немного. Спорщик продолжал, но уже медленней и тише, заглядывая в глаза Владыки, но так и не разгадав, какое впечатление производят его пассажи, так как Преосвященный молился, опустив глаза долу. Далее Розанов стал терять нить своих размышлений, повторяться. Владыка Феофан по-прежнему молился молча. Наконец гость остановился, посмотрел долгим взглядом на Владыку и тихо-тихо, как бы самому себе, неожиданно сказал: «А может быть, Вы и правы». Умный человек, он сам почувствовал слабость своих аргументов» (*Бэттс Р., Марченко В.* Духовник царской семьи. Святитель Феофан Полтавский. Новый Затворник (1873–1940). М., 1996. С. 43–44). Розанов, тяготевавший к «священному безмолвию», почувствовал неожиданные неисчерпаемые стилистические возможности феномена *молчания*, когда отсутствие Слова как такового является в стилистическом и семантическом плане более значимым, чем его наличие.

(*Розановская энциклопедия. С. 1046–1048*)

ХОХЛОВА Лидия Дометьевна [в замуж. Баранова, Иванова; 24.5(5.6).1900, Петербург – 2.4.1991, там же] – близкая подруга с гимназических времен дочери Розанова – *Надежды Розановой*, которая с 1920-х жила в семье Хохловых на улице Пестеля в Ленинграде. Как и Н.В. Розанова, Хохлова занималась *живописью*, в частности художественной мультипликацией. Долгие годы хранила у себя *архив* Н.В. Розановой, по воспоминаниям которой, в 1919 она встретила Хохлову в *Москве* по дороге на службу. Узнав о болезни Розанова, «она тут же отдала ей свой завтрак, состоящий из белого хлеба с маслом. Отец был тронут до глубины *души* этим порывом сострадания и тут же написал ей записочку, хотя рука едва ему повиновалась уже» (Записки Отдела рукописей РГБ. М., 2000. С. 64). Это был последний прижизненный автограф Розанова: «Милая, дорогая Лидочка! С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас последний кусочек чудного, белого с маслом хлебца, присланный Вами из Москвы в декабре и спасибо Вашей милой сестрице. И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об этом кусочке масла. Спасибо, милая! И родителям вашим спасибо. Спасибо. Благодарный Вам <благородный весь дом>. В. Розанов. Эту записку сохраните» (Литературная учеба. 1990. № 1. С. 85; Записки Отдела рукописей РГБ. С. 64). Существует бумажный «Троицкий образок» с изображением иконы Богоматери

«Неувядаемый цвет», подаренный Н.В. Розановой Хохловой с надписью: «Моей дорогой Лидочке на память о прошлом и настоящем, светлом и темном. Надя. 27-ого дек., 1917 г. Сергиев Посад. Лавра» (архив автора).

(Розановская энциклопедия. С. 1123–1124)

Темы

БРАНДЕЛЯС – слово, применявшееся Розановым для *характеристики* современного ему литературного процесса, образа жизни и мышления. Происходит от имени Патрикия-Казимира Петровича О’Бриен де-Ласси (1863 – после 1912), одного из обвиняемых по уголовному делу об отравлении «из корыстных побуждений» чиновника Департамента общих дел Министерства внутренних дел, наследника многомиллионного состояния Василия Дмитриевича Бутурлина. 19 мая 1910 газета «Новое время» в сообщении «Отравление В.Д. Бутурлина» рассказала, что «небывалое в наших судебных анналах дело об отравлении подкупленным доктором своего пациента, возникло в настоящее время в Петербурге». *Тема* эта, имевшая широкий общественный резонанс, занимала Россию без малого год, вплоть до приговора, вынесенного 3 февраля 1911. Подозрение в умышленном отравлении пало на доктора В.К. Панченко, который по просьбе Бутурлина лечил его подкожными впрыскиваниями спермином Пеля от полового бессилия. Это привело к гнилостному заражению крови, в результате чего Бутурлин и скончался. Однако экспертов одолевали сомнения, и тело В.Д. Бутурлина трижды подвергали вскрытию, причем дважды выкапывали из могилы. Следствие выяснило, что вдохновителем и организатором этого преступления был муж сестры жены покойного, крупный помещик, судовладелец и миллионер П.П. О’Бриен де-Ласси, потомок древнего ирландского королевского рода. Слово «Бранделяс» возникло в результате бесконечного повторения подсудимыми этой аристократической фамилии, о чем сообщалось в газетном отчете о процессе. Трахтерев (защитник В.К. Панченко на процессе) заявил суду: «Я попрошу предложить д-ру Панченко ответить на важные для меня в нравственном отношении следующие три вопроса: – Кто такой Бранделяс? – Это не комиссионер, как я сказал, – отвечает Панченко, – это О’Бриен де-Ласси» (Новое время. 1911. 21 января). Суд приговорил де-Ласси к бессрочной каторге, а Панченко к 15 го-

дам каторжных работ. Не прошел мимо дела Бутурлина и Розанов. 27 мая 1910 года в «Русском слове» он напечатал статью «Де-Ласси и Панченко», где осмыслил это дело (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. Т. 20. М.: Республика, 2005*). Слово «Бранделяс» осталось на страницах «Уединенного» и было для Розанова важным в нравственном отношении как символ кризиса современного ему общества и культуры, утраты нравственности и человеческой порядочности: «Бранделяс» (на процессе Бутурлина) – это хорошо. Главное, какой звук... есть что-то такое в звуке. Мне более и более кажется, что все литераторы суть «Бранделясы». В звуке этом то хорошо, что он ничего собою не выражает, ничего собою не обозначает. И вот по этому качеству он особенно и приложим к литераторам. «После эпохи Меровингов настала эпоха Бранделясов», – скажет будущий Иловайский. Я думаю, это будет хорошо» (*Розанов В.В. Уединенное. М.: Политиздат, 1990. С. 39*).

(Розановская энциклопедия. С. 1294)

НЕСОСТОЯВШЕЕСЯ ЦЕРКОВНОЕ ОТЛУЧЕНИЕ

(Анафема). 5 марта 1911 в канцелярии Святейшего Правительствующего Синода по 1-му Столу VI-го Отделения было открыто «Дело по ходатайству Преосвященного епископа Саратовского о предании автора брошюры «Русская Церковь» В. Розанова церковному отлучению (анафеме)» (РГИА. Ф. 796, оп. 193, ед. хр. 1226; см.: *Розанов В.В. Собрание сочинений. В темных религиозных лучах. Русская церковь и другие статьи. Т. 3. М.: Республика, 1995. С. 441–442*). Дело открывал рапорт Синоду Гермогена, епископа Саратовского и Царицынского, который гласил следующее: «У нас в Саратове, в книжных магазинах «Нового времени» стали теперь продавать брошюру В. Розанова «Русская Церковь» (СПб., 1909). Брошюра анонсируется заманчивым объявлением – «Освобождена от ареста по решению Санкт-Петербургской Судебной палаты». Такого рода анонс привлекает к брошюре внимание со стороны общества. Ревнителю православия сообщили мне об этом и выразили свою скорбь по поводу того, что на книжном рынке открыто продается безбожная еретическая книга. Долг имею всепочтительнейше доложить, что брошюра вся наполнена самыми злыми еретическими воззрениями, направленными против православного христианства, – воззрениями, осужденными на вселенских

соборах, и потому такая книга должна быть изъята из продажи <...> Вот как обнаглели у нас на Руси всякие еретики и неверы; они свободно и без запрета болтают и глумятся над драгоценною святынею веры, пред которой все другие люди верующие предостоят с кротким и благоговейным трепетом и умилением <...> Ведь подобная наглость несравнимо хуже, значительнее и выразительнее той, какую допускали студенты и другие смутьяны, врывавшиеся с шумом и гамом во время «освободительного движения» в Православные храмы в шапках, с папиросами в зубах; этих физических хулиганов выводили из храма. Современные же нам хулиганы и забулдыги в сфере религиозной мысли, нравственного чувства и общего исповедывания веры, вроде Розанова, Мережковского и других, смеющиеся и глумящиеся над нашим драгоценнейшим сокровищем веры Христовой и Церкви, должны быть также выведены, изъяты из среды верных, отлучены от Святого Собрания и анафематствованы открыто, для пресечения производимого ими соблазна в среде верующей части общества и народа. Этот наглый отрицатель Христианства, этот явный еретик, повторяющий в своих помыслах, воззрениях и во всем своем направлении Нестория, Ария, Льва Толстого и других преданных анафеме, продолжает числиться православным. Так это обстоятельство смущает всех искренно верующих людей, то почитаю долгом своим благопокорнейше ходатайствовать пред Святейшим Синодом о предании явного еретика церковному отлучению (анафеме). В этом последнем случае истинные дети Святой Церкви будут знать, с кем они имеют дело. Объявлением еретика еретиком прекратится соблазн среди православных. При сем имею честь представить один экземпляр названной брошюры «Русская Церковь» (РГИА. Л. 5–6). Рапорт Гермогена констатировал: «Лицемерное рассуждение Розанова с самим собой вслух пред другими о том, будто он «сам» независимо от евангелистов видит в лице Иисуса Христа Сверхъестественное Существо (С. 36–37) совершенно ничтожны: они только обнаруживают хитрость и лукавство гнусного и безбожного еретика, желающего проскользнуть и лишь умереть православным христианином, при отрицании почти всего православия» (Там же. Л. 6.). Еще в 1910 году в газетах появилось известие о предстоящем отлучении ряда писателей. Епископ Гермоген требовал, чтобы отлучены были «беллетристы-эротики, Каменский, Арцыбашев, Л. Андреев» (Розанов В.В. Собрание сочинений. Загадки русской провокации. Статьи и очерки 1910 г. Т. 20. М.: Республика, 2005. С. 363). Свои мысли о тщетности отлучения Розанов развил в ста-

тье «О вещах бесконечных и конечных (По поводу несостоявшегося «отлучения от церкви» писателей)» (Русское слово. 1910. 13 октября). Дело об отлучении Розанова от Церкви пополнялось все новыми материалами. Позднее был приложен девяностостраничный рапорт того же Гермогена с резкой критикой книги «Люди лунного света», где прозвучал очередной афоризм Гермогена: «Вот до чего может дойти человек, если дать ему свободу умствовать о том, что совершенно вне сферы его компетенции» (РГИА. Л. 8.). Дело тянулось вплоть до июня 1917, когда стали действовать совсем иные законы. Определение Синода гласило: «1917 года июня» <так в тексте> – дня. Святейший Правительствующий Синод Российской Православной Церкви слушали: рапорты преосвященного Гермогена, бывшего Епископа Саратовского от 27 февраля и 16 июня 1911 года за №№ 82 и 290, с отзывами о книгах В. Розанова «Русская Церковь. Дух. Судьба. Ничтожество и очарование. Главный вопрос.» СПб., 1909 и «Люди лунного света. Метафизика Христианства». СПб., 1911 и 1913 и с указанием на необходимость принятия мер к пресечению возможности широкого распространения этих книг. Приказали: в силу изданного Временным Правительством закона о свободе печати и воспрещении применения к ней мер административного воздействия (Собрание указов и распоряжений Правительства. 1917 г. № 109. Ст. 597. П. 1) не считая возможным входить ныне в суждение об изъятии вышеназванных книг В. Розанова из обращения, Святейший Синод определяет: настоящее дело производством прекратить» (РГИА. Л. 2.). Вопрос о анафеме был замят. Однако «взрывоопасность» книг Розанова была осознана в высшей степени отчетливо, о чем Синод высказался 10 сентября 1914 вполне определенно: «При таковом характере и содержании книги эти, в случае распространения среди большого числа читателей, особенно людей, не могущих критически отнестись к ошибкам и заблуждениям автора, могут произвести большой соблазн среди верующих» (Там же. Л. 3–4). Розанов не состоялся как очередной российский ересиарх.

(Розановская энциклопедия. С. 1713–1714)

ФОЛЬКЛОР. Традиционный фольклор был Розанову хорошо известен. Фольклористическая подготовка Розанова очевидна, если обратиться к некоторым его текстам: «Берегу как «зеницу ока» прекрасную, даже превосходнейшую книгу Иллустрова «Русский народ в его пословицах». Прочел о сборнике «Русских сказок»

Смирнова статью Крючкова в «Книжном угле». Там же в первую очередь прочел об Ончукове, собиравшем, должно быть, «Онежские былины». Ончукова я лично знал. Работал в «Нов. времени» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Апокалипсис нашего времени. Т. 12. М.: Республика, 2000. С. 346*). Демонстрируя свою «фольклористическую грамотность», Розанов ошибся лишь в одном: автором «Онежских былин» был А.Ф. Гильфердинг, а не Н.Е. Ончуков (его сборник назывался «Печорские былины»). В остальном же – шла ли речь о классическом сборнике И.И. Иллюстрова «Жизнь русского народа в его пословицах и поговорках» (Пг., 1915) или же о «Сборнике великорусских сказок из Архива Русского Географического общества» (Пг., 1917) А.М. Смирнова-Кутаческого – Розанов продемонстрировал свою фольклористическую компетентность в знании традиционных жанров русского фольклора. Размышляя в статье «Великорусский оркестр В.В. Андреева (НВ. 1913. 25 янв.) о традиционных народных музыкальных жанрах, Розанов выдвигал фольклористическую проблему угасания и даже выхолащивания живой художественной традиции и превращения ее в регламентированный «казенный» фольклор, объект изучения, который служит лишь оправданием существования фольклористики как науки. Фольклор – не живая народная стихия, а бездушная система традиционных жанров и возникает в тех случаях, когда появляется его исследователь или когда, по выражению Розанова, «никто без фрака да не приближается к балалайке» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Среди художников. Т. 1. М., Республика: 1994. С. 392*). Былинные мотивы и образы, например, «велики вы, грязи Смоленские», «Владимир Красное Солнышко» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Во дворе язычников. Т. 10. М.: Республика, 1999. С. 56*), реалии календарной обрядовой поэзии (семик, Масленица, Благовещение), все то, что составляет «наряд народной жизни», присутствуют в работах Розанова: «Культура и деревня» (Торгово-промышленная газета. Литературное приложение. 1899. 18 июля; *Розанов В.В. Собрание сочинений. Во дворе язычников. Т. 10. М.: Республика, 1999*), «Первые шаги отечествоведения» (Новое время. 1901, 17 октября; *Розанов В.В. Собрание сочинений. Во дворе язычников. Т. 10. М.: Республика, 1999*), «Сказочное царство» (Новое время. 1900. 26 мая; *Розанов В.В. Собрание сочинений. Во дворе язычников. Т. 10. М.: Республика, 1999*). Привлекателен для Розанова был не традиционный фольклор, а народно-поэтическая стихия, звучавшая в «живом слове» – уличном, чиновничьем, ме-

щанском. Тяготение к «словечкам» разговорной речи, создание собственных неологизмов по фольклорной модели – отличительная черта поэтики Розанова. Речевой стиль писателя отличала ориентация на фольклорные модели, на устные тексты, вошедшие в народную традицию. Его тексты пересыпаны экспрессивными вульгаризмами (типа «Дарвинишко», «Спенсеришко», «Бранделяс», «литературочка»), игравшими в полемическом искусстве Розанова существенную роль. Хотя Розанов, используя эти вульгаризмы, творил в русле стилистики Ф.М. Достоевского, его словесные формы сопоставимы с текстами фольклора (главным образом сказочными), которые и служили моделью для розановского словотворчества. Розанов активно использовал малые жанры фольклора и в первую очередь его пословичный жанр, причем особое значение имели для него переделки традиционных пословичных моделей, что и создавало своеобразие особого художественного стиля писателя. Например, человек «без «Гоголя» в себе» (*Розанов В.В. Сочинения. М.: Советская Россия, 1990. С. 520*); «плевать во все лопатки». Особенность творчества Розанова – латентный (скрытый) фольклоризм, который рождает у читателя фольклорные ассоциации, зависящие от его фольклорной грамотности, при этом возникает не какой-то определенный народно-поэтический образ, а ряд образов, не однозначный для разных читателей. Такое опосредованное отражение в художественных текстах Розанова народной культуры реализуется на уровне фольклорного мотива или фольклорной атрибутики. Такова его картина идеального утопического Российского государства: «Русь – раздолье, всего – есть» (*Розанов В.В. Уединенное. М.: Политиздат, 1990. С. 188*). Лубочная карта России создана в соответствии с законами «сказочной географии», реализующимися в таких волшебных предметах (сказочная атрибутика), как «блюдечко с золотой каемочкой» или волшебный ковер, где «все царство-государство как на ладони видно». «Сказочная география» в виде вариации мотива «инога царства» («пойди туда – не знаю куда») или ирреального места своего желаемого погребения присутствует и в других текстах Розанова. (Мечта в шелку // *Весы. 1905. № 7; Розанов В.В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. Т. 4. М.: Республика, 1994. С. 196–197*). С произведениями народно-поэтического творчества сближает тексты Розанова и их синкретизм, т. е. сочетание словесного и внесловесных компонентов текста, свойственное народным исполнителям. Розановские текстовые ремарки («лежа», «сидя», «на извозчике») соотносятся с фольклорны-

ми текстами. Для Розанова характерным являлось не только преломление фольклора в его творчестве, но и особое литературное поведение, соотносимое с поведением фольклорного иронического неудачника» (Емели, Иванушки-дурачка). Своими чудачествами и нелепостями (падение со стула во время серьезной лекции Вл. Соловьёва и его отчет об этой лекции, опубликованный в газете «Новое время» 29 февраля 1900, подписанный псевдонимом – «Мнимо упавший со стула») Розанов очерчивал вокруг себя «дурацкое» фольклорное пространство, что позволяло ему сохранять творческую свободу. Создание такого мнимого, «игрового пространства» (имеющее прямые аналоги в народной сказке) стало тем самым сказочным «дурацким» пространством, выход из которого был или невозможен для попавшего в него или же если это все-таки происходило, то исход был всегда унижительным и уничижительным. Именно это обстоятельство определяло фольклорный код «странного» писательского поведения Розанова. Жанром, к которому писатель проявлял постоянный интерес, была сказка. Она трактовалась им как вечно данная метафизическая сущность, как хранилище Истины, Красоты, как основа русской мысли. В статье «Сказки и правдоподобия» (Новый журнал иностранной литературы. 1900. № 7) он видел в сказке «храм Невидимого и Неуничтожимого» (Розанов В.В. Собрание сочинений. Среди художников. М.: Республика, 1994. С. 176), скрытую в ней потенциальную возможность для каждого вернуться в мир детства, к истине и душевному здоровью. В работе «Возврат к Пушкину» (Новое время, 1912. 29 января; Розанов В.В. Собрание сочинений. Среди художников. М.: Республика, 1994 (т. 1) Розанов выдвинул аналогичную культурно-религиозную программу и для литературы, подразумевая очистить из-под гражданина – человека, т. е. деидеологизацию искусства. Центральным персонажем его философских исканий становится Иванушка-дурачок, олицетворяющий для него те качества русской мысли, которые всегда помогали русскому человеку противостоять любым социальным экспериментам. Это был вызов Розанова той части интеллигенции, которая, предчувствуя грядущие социальные катаклизмы, связывала судьбу России со «стихийными людьми» А. Блока. Противопоставление «стихийных людей» Блока и «Иванушки-дурачка» Розанова отражало особенности обращения писателей к русскому фольклору. Если Блок опирался на духовные стихи (жанр, которому и Розанов уделил значительное внимание в книге «Апокалипсическая секта: Хлысты и скопцы») и частушку, то

Розанов – на волшебную сказку. Идеальный народный герой Розанова был принципиально другим. В статье о сборнике сказок А.М. Смирнова-Кутаческого «Иванушка-дурачок» (СПб., 1912) фольклорные предпочтения Розанова были заявлены вполне определенно. Именно такой герой был способен выдержать обрушившиеся на Россию испытания рационализмом и рассудочностью (т. е. теми мнимыми достоинствами, которые олицетворяли собой старший и средний брат из русской волшебной сказки). Для Розанова Иван-дурак был не просто воплощением «мудрости непротивления» и социальной индифферентности, но и основой русского национального характера. В том, как преодолевал Иван-дурак социальные соблазны, навязываемые ему «умными» старшими братьями, ощущался Розановым вечным оптимизмом русской истории. Розанов скорбел «по исчезающем дураке Иване», который «матери повинуется, Богу молится, дрова рубит, избу поправляет, живет и никого «при своей глупости» не обижает» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. Среди художников. Т. 1. М.: Республика, 1994. С. 381*). Характерно, что одно из предсмертных писем близкому другу Розанов подписал: «Васька дурак Розанов». В «Апокалипсисе нашего времени», в статье «С вершины тысячелетней пирамиды (Размышления о ходе русской литературы)» (*Розанов В.В. Собрание сочинений. О писательстве и писателях. Т. 4. М.: Республика, 1994*), в предсмертных работах Розанова вновь возникает фольклорная стихия как исходная культурная первооснова, первобытный хаос, из которого происходит вся русская культура и словесность. Из наивного бесформенного фольклорного хаоса и родилась великая литература. Однако путь русской литературы, с легкостью воспринимающей чужие идеалы, виделся Розанову как отказ от нравственных национальных (фольклорных) основ, подтачивание народных фольклорных идеалов. Именно в эту великую литературу и «провалилась» российская история. А сама словесность вернулась к первичным истокам – к хаосу народно-поэтической стихии. Отстаивая свой тезис об исторической «вине» литературы, которая талантливо высмеивала и разрушала народные идеалы, Розанов подвел итог своей эпохе: «Русскому человеку не оставалось ничего любить кроме прибауток, песенок и сказочек. Отсюда и произошла революция» (*Таинственные соотношения // Книжный угол. 1918. № 4. С. 9*). Фольклор, считал Розанов, стал расплатой за «грехи» возгордившейся великой литературы. Розанов писал: «Совсем дрянь народ. Какой же толк из него может выйти, раз он все поет, музыканит,

сказывает сказки и шутит прибаутки. Решительно, надо собрать не серьезные пословицы, а прибаутки русского народа. Тогда балаган русской жизни или «русская жизнь как в балагане» – восстала бы в полном порядке» (Там же. С. 6). Он имеет в виду Россию, «которая умеет только пускать сопли на дудку, которую держит во рту.

Цы-ня дудка моя

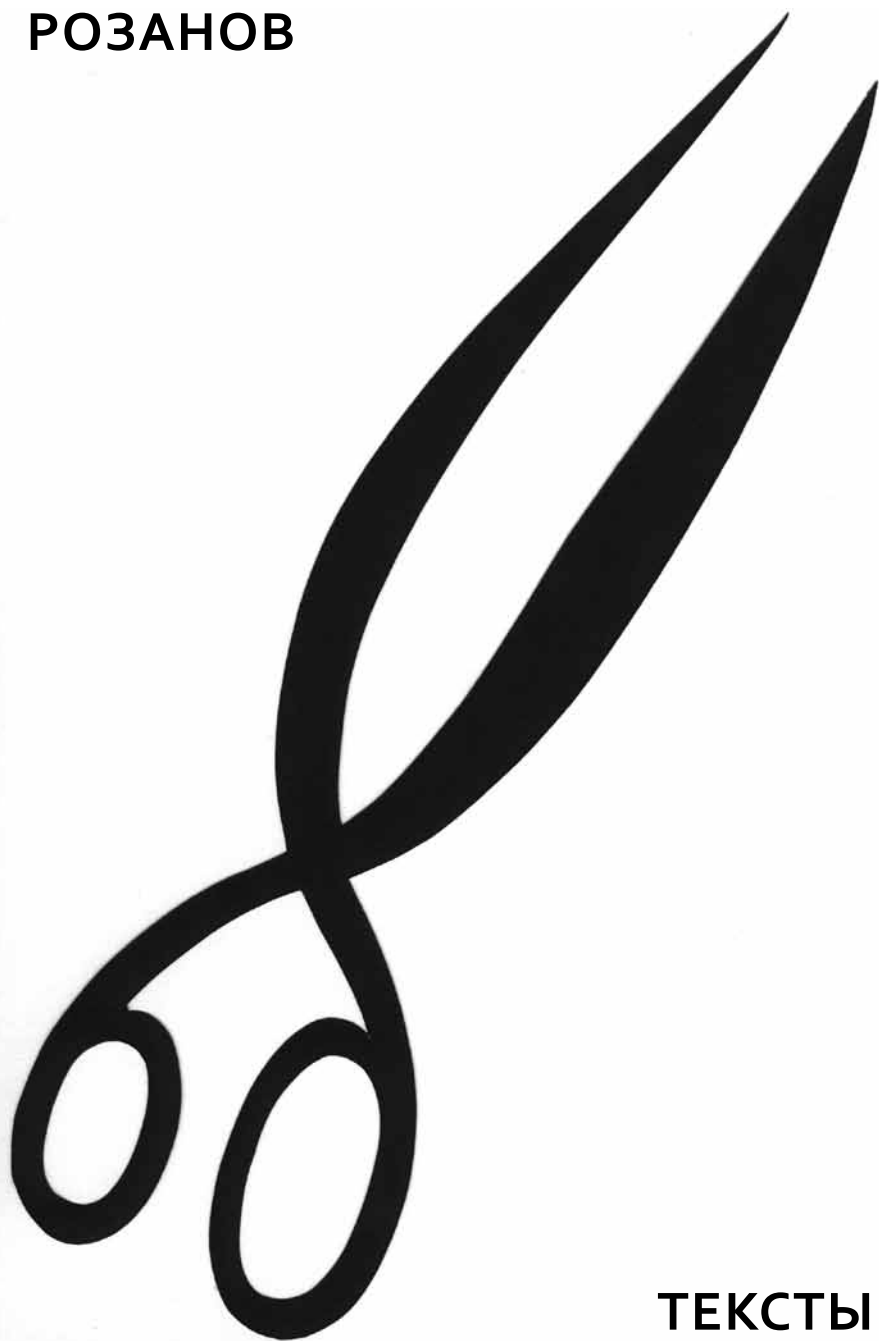
Да ух я...»

(Там же. С. 7).

Приведенный песенный отрывок содержит звукоподражательное междометие, характерное для украинской песенной лирики, и свидетельствует о знакомстве Розанова не только с русским фольклором (см.: *Гринченко Б.Д.* Словарь украинского языка: В 4 т. Т. 4. Киев, 1909. С. 403).

(Розановская энциклопедия. С. 2251–2254)

РОЗАНОВ



ТЕКСТЫ

В.В. Розанов
Материалы к биографии

I

АНКЕТА
ДЛЯ БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ
деятелей Нижегородского Поволжья

| | |
|-----------------------------------|---|
| <i>Фамилия</i> | Розанов |
| <i>Имя</i> | Василий |
| <i>Отчество</i> | Васильевич |
| <i>Год, месяц, число рождения</i> | 1856 год, апрель... |
| <i>Место рождения</i> | Ветлуга Костромской губ. |
| <i>Вероисповедание</i> | Православное |
| <i>Кто были родители</i> | Отец мелкий чиновник лесного ведомства, – мать дворянка урожденная Шишкина |

Краткая история рода (главным образом: были ли в роде выдающиеся в каком-либо отношении люди)

Не знаю дальше родителей, но дед был священником.

Ход воспитания и образования. Под какими умственными и общественными влияниями оно происходило:

Отца потерял 3-х лет (в Ветлуге или Варнавине), – и одновременно мать с 7-ю детьми переехала в Кострому ради воспитания детей. Здесь купила маленький деревянный домик у Боровкова пруда. Только старшая сестра Вера и старший брат Николай († директором Вяземской гимназии) учились отлично; прочие – плохо <даже> скверно. Также и я учился очень плохо. Не было ни учебников и никаких условий для учения. Мать 2 последних года жизни не вставала с постели, братья и другая сестра были «не работоспособны»,

и дом наш и вся семья разваливались¹... Мать умерла, когда я был (оставшись на 2-й год) учеником 2-го класса. Нет сомнения, что я совершенно погиб бы, не «подбери» меня старший брат Николай, к этому времени как раз окончивший Казанский университет. Он дал мне все средства образования и словом был отцом. Он был учителем и потом директором гимназии (в Симбирской, в Нижнем, в Белом, Смоленск. губ. и в Вязьме). Он рано женился на пансионерке Нижегородского института благородных девиц, времени директриссы Остафьевой, Александре Степановне <Троицкой>, дочери нижегородского учителя. Эта замечательная по кротости и мягкости женщина была мне сущю матерью. От нее я не слыхал не только грубого, но и жесткого слова. С братом же я ссорился, начиная с 5–6-го класса гимназии: он был умеренный, ценил Н. Я. Данилевского² и Каткова³; уважал государство, любил свою нацию; в то же время зачитывался Маколеем⁴, Гизо⁵, из наших – Грановским⁶. Я же был «нигилист» во всех отношениях, и когда он раз сказал, что «и Бокль⁷ с Дрэпером⁸ могут ошибаться», то я до того нагрубил ему, что был отделен в столе: мне выносили обед в свою комнату. Словом, <все> «обычно русское». Учился я все время плоховато, запоем читая и скучая гимназией.

Гимназия была отвратительна, «Толстовская». Директор – знаменитый К.И. Садоков, умница и отличный в сущности директор: но я безотчетно или вернее «бездоказательно» чувствовал его двуличие, всячески избегал – почему-то ненавидел, хотя он ничего вредного мне не сделал, <нрзб.> неприятного. Кончил я «едва-едва», – атеистом, (в душе) социалистом, и со страшным отвращением кажется ко всей действительности. Из всей действительности любил только книги. В университете (историч. филолог. факультет) я беспричинно изменился: именно, я стал испытывать постоянную внутреннюю *с к у к у*, совершенно (безграничную), и позволю выразиться – «скука родила во мне мудрость». Все рациональное, отчетливое, явное, позитивное мне стало скучно «Бог весть почему»: профессора, студенты, сам я, «свое все» (миросозерцание) – скучно и скучно. И книги уж я не так охотно и жадно <стал> читать, не «с такою надеждою». Учился тоже «так себе». Вообще, как и всегда потом, я почти не замечал «текущего» и «окружающего», из него лишь «поражаясь» чем-нибудь: а главное была... не то чтобы «энергичная внутренняя работа», для каковой не было матерьяла, вещества, а – вечная задумчивость, мечта, переходившая в безотчетное «внутреннее счастье» или обратно – в тоску. Кончив – поступил учителем и

к учительству относился как ко всему: «что-то течет вокруг меня: и все мешает думать». Уже с 1-го курса университета я перестал быть безбожником. И не преувеличивая скажу: Бог поселился во мне. С того времени и до этого, каковы бы ни были мои отношения к церкви (изменившиеся совершенно с 1896–97 г.)⁹ – что бы я ни делал, что бы ни говорил и ни писал, прямо или в *особенности* *косвенно* я говорил и думал собственно только о Боге: так что Он занял всего меня, без какого-либо остатка, в то же время как-то оставив мысль свободною и энергичною в отношении других тем. Бог меня не теснил и не связывал; я *стыдился* Его (поступая или думая дурно), но никогда *не боялся, не пугался* (ада никогда не боялся), Я с величайшей любовью приносил Ему все, всякую мысль (да только о Нем и думал): как дитя, пошедшее в сад, приносит оттуда цветы или фрукты или дрова «в дом свой», отцу, матери, жене, детям: Бог был «дом» мой (исключительно *меня одного*, – хотя бы в то же время и для других «Бог», но это меня не интересовало, и в это я не вдумывался), «все» мое, «родное» мое. Так как в этом чувстве, что «Он – мой», я никогда не изменялся (как грешен ни бывал), то и <обратно> во мне совершенно утвердилась вера, что «Бог меня никогда не оставит». Кажется, этому способствовало одно мое чувство или особенность, которой в равной степени я ни у кого не встречал: скромность, как бы вытекающая у меня из совершенной потери *своей личности*. Уже много лет я не помню, чтобы когда-нибудь обижался на личную обиду: и когда от людей грубых (напр. романист Всеволод Соловьев¹⁰) мне приходилось испытывать чрезвычайные обиды, я не мог сердиться даже в самую минуту обиды, и потом долее 3-х дней не помнил, что *она была*. Это глубокое умаление своей личности у меня (вытекало) из тесноты отношения к Богу: «уничуждения» (деланного) во мне тоже нет: а я просто *ничего не думаю о себе*, «сам» – просто неинтересная для меня вещь (как впрочем и весь мир) сравнительно с «родное – Бог – мой дом», «мой угол». С этим умалением своей личности (и личности целого мира) связано (как я думаю и уверен) моя свобода и даже (может показаться) бесстыдство в литературе. Я тоже «ничего не думаю» и о писаниях своих, не ставлю их ни в какой особенный «плюс», а главное – что бы ни случилось написать и что бы ни заговорили о написанном – с меня «как с гуся вода»: я ничего этого не чувствую. Я как бы «заснул со своим Богом» и сплю непробудно счастливым сном. «Чувство Бога» продолжается у меня (без перерывов) с 1-го курса Университета: но *характер чув-*

ства и следовательно постижение Бога изменилось в 1896–1897 гг. в связи с переменою взглядов на 1) пол, 2) брак, 3) семью, 4) отношение Нового и Ветхого Завета между собой. Но рубрики 1), 2) и 4) были в зависимости от крепчайшего *утверждения в семье*. Разные семейные коллизии сделали, что мне надо было съехать с *почвы семьи, с камня семьи*. Но тут уперлась вся моя личность, не гордым в себе, а именно *смирненным, простым, кротким*: это-то «смирненное, простое и кроткое» и взбунтовалось во мне, и побудило меня, такого «тихонького», восстать против самых великих и давних авторитетов. Если бы я боролся против них «гордостью ума» – я был бы давно побежден, разбит. Но «кротости» ничего нет сильнее в мире, кротость – непобедима: и как я-то *про себя знаю*, что во мне бунтует «тихий», «незаметный», «ничто»: то я и чувствую себя совершенно непобедимым, теперь и даже никогда. Вообще если разобраться во всех этих коллизиях подробно – и развернуть бы их в том, это была бы величайшая по интересу история, вовсе не биографического значения, а так сказать, цивилизационного, историко-культурного. По разным причинам я думаю, что это «единственный раз» в истории случилось, и я не могу отделаться от чувства, что это – провиденциально.

Все время с 1-го курса университета я «думал», solo – «думал»: кончив курс, сел сейчас за книгу «О понимании» (700 страниц) и написал ее в 4 года совершенно легко, ничего подготовительно не читавши и ни с кем о теме ее не говоривши. Я думаю, такого «расцвета» ума, как во время писания этой книги, – у меня уже никогда не повторялось. Сплошное рассуждение на 40 печатных листов, – летящее, легкое, воздушное, счастливое для меня, сам сознаю – умное: это я думаю вообще не часто в России. Встреть книга какой-нибудь (привет), я бы на всю жизнь остался «философом». Но книга – ничего не вызвала (она однако написана легко). Тогда я перешел к критике, публицистике: но все это было «не то». Т. е. это не настоящее мое: и когда я в философии никогда не позволил бы себе «дурачиться», «шалить», в других областях это делаю. NB: при постоянной, непрерывной серьезности, во мне есть много резвости и до известной степени «во мне *застыл* мальчик и никогда не переходил в зрелый возраст». «Зрелых» людей, «больших» – я и не люблю; они меня стесняют, и я просто ухожу в сторону. Никакого интереса с ними и от них не чувствую и не ожидаю. Любил я только стариков – старух и детей – юношей, не старше 26 лет. С прочими – «внешние отношения», квартира, стол, деньги. Никакой умственной или сердечной связи (с «большими»).

Сотрудничал я в очень многих журналах и газетах, – всегда без малейшего внимания к тому, какого они направления и кто их издает. Всегда относились ко мне хорошо. Только консерваторы не платили гонорара или задерживали его на долгие месяцы (Берг, Александров¹¹). Сотрудничая, я *чуть-чуть* приноровлял свои статьи к журналу, единственно чтоб «проходили» они: но существенно вообще никогда не подавался в себе. Но от этого я любил одновременно во многих органах сотрудничать: «одна часть души пройдет у Берга...». Мне ужасно надо было, существенно надо, протиснуть «часть души» в журналах радикальных: и в консервативнейший свой период, когда, оказывается, все либералы были возмущены мною, я попросил у Михайловского¹² участия в «Русском богатстве». Я бы им написал действительно отличнейшие статьи о бюрократии и пролетариях (сам пролетарий – я их всегда любил). Михайловский отказал, сославшись: «читатели бы очень удивились, увидав меня вместе с Вами в журнале». Мне же этого ничего не приходило в голову. Материально я чрезвычайно многим обязан Суворину¹³: *ни разу* он не навязал мне ни одной мысли, ни разу не внушил ни одной статьи, не делал и попытки к этому, ни шага. С другой стороны, я никогда в жизни не брал авансов, – даже испытывая страшнейшую нужду. Суворин (сколько понимаю) тоже ценит во мне не жадность: и как-то взаимно уважая и, кажется, любя друг друга (я его определенно люблю, – но и от него кроме непрерывной ласки ничего не видел за 10 лет), – хорошо устроились. Без его помощи, т. е. без сотрудничества в «Новом времени», я *вот теперь* не мог бы даже отдать детей в школы: раньше хватало только на пропитание и квартиру, и жена в страшную петербургскую стужу ходила в меховой кофте, не имея пальто. Но моя прекрасная жена никогда ни на что не жаловалась, о горе – молчала, делилась с другими только «хорошим»: и вообще должен заметить, что «путеводной звездой» моей в жизни служила всегда эта 2-я жена, женщина удивительного спокойствия и ясности души, соединенной с тихой и чисто русской экзальтацией. «Величие в молчании».

Статьи мои собраны в книгах:

- 1) «Сумерки просвещения», 1899 г.
- 2) «Природа и история», 1899 г.
- 3) «Литературные очерки», 1900 г.
- 4) «Религия и культура» (два издания), 1900 г.
- 5) Легенда о Великом Инквизиторе – Достоевского. Три издания.
- 6) В мире неясного и нерешенного (главная идейная книга). Два издания, 1904 г.

- 7) Семейный вопрос в России. 2 тома, 1905 г.
- 8) Около церковных стен. 2 тома, 1907 г.
- 9) Ослабнувший фетиш, 1907 г.
- 10) Место христианства в истории, 1891 г. Брошюра
- 11) О декадентах, 1907 г. Брошюра
- 12) Метафизика Аристотеля. Книги I–V. Перевод и комментарий в сотрудничестве с П.Д. Первовым (учитель гимназии в Ельце).

Служил сперва учителем истории и географии (Брянск, Елец, Белый), потом в Госуд. контроле, потом – нигде. Служба была так же отвратительна для меня, как и гимназия. «Не ко двору королева» или «двор не по короле» – что-то из двух.

В. Розанов

Примечания

Анкета, заполненная В.В. Розановым в 1909 году для Библиографического словаря деятелей Нижегородского Поволжья, хранится в РГАЛИ в личном фонде писателя (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21). Розанов дает отдельные ответы на первые восемь пунктов анкеты (в публикации вопросы выделены курсивом). Ответ на девятый пункт анкеты – обобщенный, он включает в себя ответы на остальные шесть пунктов:

– *Начало и ход деятельности;*

– *Замечательные события жизни;*

– *Перечень всего написанного или переведенного Вами или, по крайней мере, имеющего то или иное отношение к Нижегородскому краю (по содержанию, месту написания или печатания и т. п.), с точным по возможности обозначением: а) если речь идет о книге – года, места, формата и количества страниц, б) если речь идет о журнальной или газетной статье – года, номера, названия периодического издания, где она появилась;*

– *Перечень известных Вам рецензий и отзывов о произведениях Ваших, также, по возможности, с точным указанием номера и года периодического издания, где эти отзывы появились;*

– *Не появились ли где-нибудь биографические сведения о Вас (если появились, то в какой книге или в каком номере периодического издания).*

Анкета заполнена мелким, достаточно аккуратным почерком, с характерным для В.В. Розанова подчеркиванием особо важных и принципиальных для него слов. При публикации они выделены курсивом.

¹ Семья Розановых:

– Отец: Розанов Василий Федорович (ок. 1820 – 1861).

– Мать: Розанова Надежда Ивановна (1826–1870).

– Братья: Николай (1847–1894), Федор (1850–1901), Дмитрий (1852–1895), Сергей (1858 – после 1911).

– Сестры: Вера (1849–1868), Павла (1851–1912).

² Данилевский Николай Яковлевич (1822–1885) – публицист, социолог и естествоиспытатель.

³ Катков Михаил Никифорович (1818–1887) – публицист; издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости».

⁴ Маколей Томас Бабингтон (1800–1859) – английский историк и политический деятель.

⁵ Гизо Франсуа Пьер Гийом (1787–1874) – французский историк и политический деятель.

⁶ Грановский Тимофей Николаевич (1813–1855) – историк, общественный деятель.

⁷ Бокль Генри Томас (1821–1862) – английский историк и социолог.

⁸ Дрэпер Джон Вильям (1811–1882) – американский естествоиспытатель и историк.

⁹ В 1891 году В.В. Розанов тайно обвенчался с В.Д. Бутягиной. Первая жена, Аполлинурия Прокофьевна Сулова, не давала ему развода. Дети Розанова от брака с Варварой Дмитриевной считались незаконнорожденными. Это во многом предопределило обращение В.В. Розанова к теме «Брак и Церковь», «Семья и Церковь».

¹⁰ Соловьев Всеволод Сергеевич (1849–1903) – писатель, автор исторических романов.

Первоначально в тексте анкеты было написано «Вла...», затем зачеркнуто и написано «Всеволод». Известны статьи Владимира Соловьева с резкой критикой В.В. Розанова («Порфирий Головлев о свободе и вере» и др.). Печатных отзывов Всеволода Соловьева о В.В. Розанове обнаружить не удалось. Однако в фонде Розанова сохранился листок с записями, разъясняющими этот случай. В 1896 г. Розанов опубликовал в журнале «Русское обозрение» (т. XXXVIII) статью «Еще доброе дело на Руси», где критически были оценены опубликованные в 1895 году в «Русском вестнике» мемуары историка С.М. Соловьева. Эта статья вызвала раздражение издателя мемуаров, старшего сына историка – Вс. С. Соловьева. Розанов писал об этом: «Никогда я не думал, чтобы в таких умеренных границах приведенная критика была понята как оскорбление фамильной чести знаменитого историка и по прямой связи с ним – издателя его мемуаров. <...> В тесном интимном круге писателей, собравшихся проводить отъезжающего сотоварища, он неожиданно подошел ко мне и покрыл потоком ругательств, между коими «мерзавец», «недостойн развязать ремень у сапога», «я набил бы тебе морду, если б встретил не здесь, в постороннем обществе» – были едва ли не самые мягкие. Ничего я не мог, не умел, не хотел возразить» (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 206, л. 31).

¹¹ Александров Анатолий Александрович (1861–1930) – редактор-издатель журнала «Русское обозрение» и газеты «Русское слово»; Берг Федор Николаевич (1840–1909) – редактор-издатель журнала «Русский вестник».

¹² Михайловский Николай Константинович (1842–1904) – социолог, публицист, литературный критик; один из редакторов «Отечественных записок» и «Русского богатства».

¹³ Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – издатель газеты «Новое время» и журнала «Исторический вестник».

II

ПРОЕКТ УСЛОВИЙ МЕЖДУ РЕДАКЦИЕЙ «НОВОГО ВРЕМЕНИ» И В. В. РОЗАНОВЫМ

В. В. Розанов, становясь постоянным сотрудником «Нового времени», не по договору только, но и по совести и любви к делу обязуется и хочет приложить весь ум и старание к возвышению чести и литературного достоинства газеты.

Его *постоянное участие* в ней выражается:

- а) в оставлении им места службы.
- б) во внимательном слежении за газетную печатью вообще и за ходом внутренней и внешней политики.
- в) в особенно внимательном слежении за ходом событий в сферах образования, семейного положения, окраин.
- д) Он ежемесячно поставляет для газеты 8 передовых статей; иногда 6, иногда 10 – смотря по текущим событиям и интересу их.
- е) Если бы в течение месяца, по причине особо важного события или события, имеющего ярко характерные особенности (дело Скублинской, дело Ольги Палем)¹, относительно которого газете нет необходимости высказываться, но он лично и в интересах газеты захотел бы высказаться под своим именем, то подобная (бегучая) заметка заменяет одну передовую статью, и, следовательно, число обязательных становится 7 или 6. Это – необходимо, дабы не было напряженности и искусственности в поднятии *общих тем*, составляющих предмет передовой статьи.

В состав постоянного его сотрудничества вовсе не входят *фельетоны* и *библиография*, помещение которых остается во всем на прежних условиях; т. е. как свободная работа и оплачива-

емая в прежнем размере, вне связи с платою за постоянное сотрудничество.

Редакция «Нового времени» обязуется:

1. Уплачивать, за 8 передовых статей в месяц, 3.000 р. в год постоянно текущего жалованья, т. е. ежемесячно по двести пятидесяти рублей.

2. Независимо сего – по 15 коп. за строку передовых статей и мелких, под его подписью или без подписи, заметок. Но оплата фельетонов, требующих художественно-критической работы воображения, и библиографии, требующей обширного чтения, остается на прежних условиях, т. е. 20 и 15 коп. за строку.

3. Ежегодно Редакция дает В.В. Розанову отпуск на полтора месяца, в течение коего жалованье сохраняется в прежней 250-руб. сумме, а обязательства В.В. Розанова прекращаются. Эти 1½ месяца могут быть передвинуты на который-либо из летних месяцев, по соглашению.

4. Если бы в течение года, зимы и вообще рабочего времени В.В. Розанову случилось заболеть или в семье его произошли бы требующие безотлагательного внимания события и, словом, что-либо внутреннее и до газеты не относящееся потребовало бы совершенного перерыва его сотрудничества на некоторое время, напр., даже на месяц, то Редакция, принимая во внимание, что взяла его в постоянную себе службу, обещает и обязуется, сохраняя ему полное содержание, не тревожить его в это исключительное и бедственное время.

Как одною, так и другою стороною все должно быть выполняемо охотно, с честью, свободно – дабы в столь нервном деле, как литература, никакая тень угрюмости отношений не портила прежде всего литературы. «Отравленная душа» есть «отравленная литература»: и всякое мучение автора есть вред газете.

Боле всего опасаясь недостатка тем, В.В. Розанов просит Редакцию не быть несколько озабоченною, если бы течение передовых статей вдруг прервалось: богатое событие вызовет их ряд в непосредственной смежности, пустота самой жизни вызовет длинную полосу молчания. Вообще здесь легко перейти в «ремесленность» «поставщика»: что, губя автора, не может способствовать и поднятию достоинства газеты. Для обеих сторон будет спасительнее, если работа, пусть публицистическая, сохранит не только в писании, но и в слежении за событиями свободно-художественный характер. «Нет ремесла, есть литература» – для обеих сторон.

Не в пределах только этих условий, но – так как жизнь многообразна и изменчива, сотрудник В.В. Розанов и Редакция «Нового времени» обещают вообще любовно хранить интересы друг друга, делая все к возможному обоюдному споспешествованию. И да подаст им Бог помощь в их усилиях и благословит труд и начинание.

В текущем 1899 году правило о полуторамесячном отдыхе сохраняется. Так как В.В. Розанову необходимы некоторые хлопоты по приведению служебных дел в состояние, удобное для передачи, и для выхода в отставку тоже требуется некоторое время, то полное действие настоящих условий начинается не ранее 1-го мая. В случае, если бы Редакция пожелала, в возмещение этого времени, воспользоваться его летним отпуском, т. е. сократить его в настоящем году до двух недель, то В.В. Розанов ничего против этого не имеет. Вообще *время перехода*, однако ни в каком случае не долженствующее затягиваться на май месяц, не может быть отчетливо и точно в работе В.В. Розанова.

Сии условия будем хранить свободно и крепко, без обязательства, но с охотою и по чести.

С.-Петербург. 2-го апреля 1899 года.

Коллежский советник Василий Васильевич Розанов
А. Суворин

Примечания

«Проект» хранится в РГАЛИ в личном фонде писателя (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 21). Документ представляет собой два листа, исписанных аккуратным мелким почерком В.В. Розанова и в конце скрепленных подписями В.В. Розанова и А.С. Суворина.

¹ Шумные уголовные процессы 90-х годов. В частности, дело Ольги Палем, обвинявшейся в 1895 году в убийстве студента А.С. Довнара, не желавшего продолжать с ней любовную связь. Оправдательный приговор вызвал раздражение в обществе против суда присяжных.

III

ДУХОВНОЕ ЗАВЕЩАНИЕ

Во имя Отца и Сына и Святого Духа!

Памятуйа о часе смертном, могущем внезапно постигнуть меня, и находясь в здравом уме и твердой памяти, я, Коллежский Советник Василий Васильевич Розанов, сего тысяча восемьсот девяносто девятого года марта пятнадцатого дня признал за благо изложить свою волю относительно имеющего остаться по смерти моей имущества, а равно прав литературной собственности, и посему настоящим завещанием моим определяю:

1. Имущество движимое и недвижимое, в вещах или книгах состоящее, равно деньги, находящиеся в каких-либо банках или кассах, и, наконец и особенно, право на печатание оставшихся после меня рукописей или переиздание напечатанных мною при жизни сочинений завещаю в полную и безраздельную собственность вдове Коллежского Регистратора Варваре Димитриевне Бутягиной и ее четырем незаконнорожденным детям. Означенная Варвара Димитриевна Бутягина, урожденная Руднева, в день написания сего Завещания и впредь до возможной перемены в моем семейном положении проживает со мною неразлучно с пятого июня тысяча восемьсот девяносто первого года по Свидетельству, данному ей марта двадцать восьмого дня тысяча восемьсот восемьдесят седьмого года за номером шестьсот тридцатым от Елецкого Окружного Суда на основании 536 статьи Устава о службе по определению от Правительства, Свод Законов том III издания 1876 года, 57 и 63 статьи Устава о паспортах, Свод Законов том XIV издание 1857 года.

2. Незаконнорожденные дети означенной в пункте 1 Варвары Димитриевны Бутягиной, коим совместно с нею и под ее опекою я завещаю в полную собственность и распоряжение мое имущество и мои авторские права, суть:

Дочь Татиана, родившаяся 22-го февраля 1895 года; крещена при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви. Восприемниками от купели были: действительный статский советник Николай Николаевич Страхов и жена чиновника особых поручений при министре земледелия и

государ<ственных> имуществ Ольга Ивановна Романова¹. Как считающейся незаконнорожденную, ее полное имя, отчество и фамилия, усвояемая по имени крестного отца, есть: Татиана Николаевна Николаева.

Дочь Вера, родившаяся 26 июня 1896 года; крещена священником Иоанном Рождественским, при Преображенской церкви, что при Доме Милосердия в Лесном (в С.-Петербурге). Восприемниками от св. купели были: Лейтенант морской службы Александр Викторович Шталь и жена Статского советника Мария Петровна Ген. По имени крестного отца и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее: Вера Александровна Александрова.

Дочь Варвара, родившаяся 1-го января 1898-го года, крещена 25-го января священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви; восприемники при св. купели были Лейтенант Александр Викторович Шталь и жена статского советника Мария Петровна Ген. По имени крестного отца и как «незаконнорожденной» полное имя, отчество и фамилия ее Варвара Александровна Александрова.

Сын Василий, родившийся 27-го января 1899-го года; крещен священником Иоанном Херсонским при С.-Петербургской Введенской, что на Петербургской стороне, церкви, при восприемниках от св. купели Лейтенанте Александре Викторовиче Шталь и дочери дворянина-чиновника Ольге Александровне Фрибес². По имени крестного отца и как «незаконнорожденного» полное имя, отчество и фамилия его Василий Александрович Александров.

В случае, если бы от названной Варвары Дмитриевны Бутягиной после написания сего Духовного Завещания родились и еще дети³, также записанные «незаконнорожденными» – они наравне с перечисленными здесь четырьмя назначаются мною наследниками моего имущества и моих прав.

3. Сим завещанием предоставляется означенным в пункте 2-м лицам:

а) Мое личное имущество, состоящее в вещах, книгах, рукописях и изданиях.

б) Деньги, лежащие в сберегательной кассе служащих по месту службы (в настоящее время – Государственный контроль).

с) Деньги во Вспомогательно-сберегательной кассе сотрудников газеты «Новое время». В сей кассе я состою начиная с 1898-го года. Из каждого получаемого мною гонорара отчисляется в эту

кассе четыре процента, и к концу года сумма сия удваивается издателем «Нового времени». По смерти сотрудника «Нового времени» вся сумма сбережений и удвоений разом выдается его наследнику. Лицо сего наследника сим Духовным Завещанием определено, и означенной Варваре Димитриевне Бутягиной или ее детям удержанная с меня сумма отчислений и удвоений да будет выдана Алексеем Сергеевичем Сувориным или его наследниками.

д) Единовременная выдача пособия из Кассы взаимопомощи при Обществе для пособия нуждающимся литераторам и ученым, согласно правил оного и соответственно сделанному там мною завлению.

е) Может быть подано прошение в Литературный фонд с просьбою о назначении постоянной пенсии на воспитание и обучение детей ее, согласно и на основании нижеследующего пункта 4-го.

г) Право на издание, переиздание и продажу как рукописей моих, так и напечатанных статей в разных повременных изданиях (все подписаны именем «В. Розанов»), так и книг: 1. «О понимании; опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания». Москва. 1886 г. – 1 т. 5 р.; 2. «Место христианства в истории». Москва. 1890 г. Цена 20 к.; 3. «Легенда о Великом Инквизиторе – Ф.М. Достоевского». СПб. 1893. – Цена 1 р. 50 к.; 4. «Красота в природе и ее смысл». М. 1894. – Цена 1 р. 5 к.; «Сумерки просвещения». СПб. 1899 – Цена 1 р. 6. «Религия и культура». СПб. 1899. – Цена 1 р.; 7. «Литературные очерки». СПб. 1899. – Цена 1 р.. Право исключительной собственности на означенные сочинения согласно закону принадлежат наследникам моим, т. е. означенным в сем Духовном Завещании лицам, по смерти моей в течение пятидесяти лет.

Наилучшими советниками по получению всех сих сумм могу указать: в Государственном контроле – Заведующий кассою Иван Евгеньевич Цветаев или сослуживец по отделению – Александр Иванович Самойлов. В «Новом времени» – Алексей Алексеевич Суворин (Эргелев пер., д. 6). Относительно кассы взаимопомощи литераторов и ученых – Венгеров Семен Афанасьевич (Разъезжая ул., д. 39), или Слонимский Леонид Зиновьевич⁴ (Преображенская ул., д. 32, уг. Сеперного переулка), или Колубовский Яков Николаевич⁵ (Сергиевская, дом 16), они же укажут и относительно подачи прошения в Литературный фонд о постоянном на воспитание детей пособии, что есть самое главное и может служить надежным пособием. Я же всех поименованных здесь лиц прошу как друзей своих и как тружеников пера не оставить мою вдову и детей сирот указа-

нием, разъяснением и помощью. Общее же руководство хлопотами прошу не отказаться принять на себя друзей моих Петра Петровича Перцова или Антона Флориановича Адамовича.

4. Все, означенные в сем духовном завещании дети: Татиана, Вера, Варвара и Василий рождены Варварою Димитриевною, по первому мужу Бутягиною, и мною, Василием Васильевичем Розановым, в счастливом и целомудренном супружестве, в коем полу-тайно, полу-явно мы состоим с пятого июня 1891-го года, будучи в сей день, с благословения родительницы Варвары Димитриевны, урожденной Рудневой, нашей возлюбленной теперь матери, Александры Адрияновны Рудневой, повенчаны, без свидетелей и записи в церковные книги, при домово́й церкви Калабинского детского в городе Ельце приюта настоятелем Иоанном Павловичем Бутягиным⁶ – да будет благословенно его имя и не вменена будет в грех его правая решимость «поднять со дна ямы впавшую овцу в субботний день»; при консисториею формально не уничтоженном моем браке с первою супругою – да будет имя ее забыто, – оставившею самовольно меня в бытность мою в Брянске в 1886-м году. Свидетелями сего оставления в полной моей в этом невинности, а равно усилий вернуть ее, были мои товарищи по службе в прогимназии, из коих как на особливо осведомленных сошлюсь на Василия Николаевича Николаева, Демьяна Ивановича Плютичевского, Ивана Игнатъевича Пенкина (ныне директора Орловской прогимназии). Так как не определено нигде, ни в Ветхом Завете, ни в Новом, ниже в каноническом праве, что «таинство брака» *есть сосредоточено и ограничено* («собрано») в «чине венчания», и самый термин «таинство венчания» отсутствует всюду, а везде употребляется «таинство брака», т. е. «таинство супружества», «сопряжения» «двух в плоть едину» (*Бытие, 1*) и раздвижение их в «семью» через благословенное «чадорождение», и именно этому реальному таинству даны все благословения Божии и обетования и награды («чадорождением», по Апостолу, «женщина спасается»), то с разрушением, и по доказуемой свидетелями, не моей вине, реального супружества, я считал и считаю умершим мой первый брак вполне, вместе и с венчанием, и супругу мою первую умершею же в супружеских и в отношении ко мне чертах, и еще существующею лишь в чертах гражданских и до моего супружества не относящихся; а по сему рассуждению я вступил во второй брак, желая исполнять и далее и всю мою жизнь до конца, основную заповедь Божию (*Бытие, 1*). Удержание браков,

фактически распавшихся, в значении будто бы еще продолжающегося «религиозного таинства», когда нет тут главной черты таинства: «подобия союзу Христа с Церковью», есть недоразумение и учение о фиктивном браке, т. е. не религиозное, хотя бы и было гражданским или каноническим. Посему с открытою совестью и готовностью пойти на Суд Божий я вступил во второй брак, который *есть* и притом во всей полноте *религиозного таинства*: ибо суть «свидетелей» и «церковной записи» уже не образует явно никакой части таинства. Благословение же Божие нашему союзу я вижу в непрерывном Варвары чадородии, в безупречном нашем счастье, в непоколебимой верности: и когда «волос человеческий» без воли Божьей не падает, столь огромные дары не суть без воли Божьей. Червонец же выкованный, «признается» он или «не признается», *есть* и даже в куске и слитке он полноценен. Посему и детей наших Татиану, Веру, Варвару, Василия считаю лишь извне поставленными неправильно, но по внутреннему закону они стоят правильно и ни перед кем не должны опускать глаза, твердо указывая на своих родителей, которые в свою очередь твердо указывают на них, своих детей, без страха перед Богом и трепетания перед людьми. И да не упрекнут они памяти своих родителей, во имя безмерной и счастливой любви, нас всех шестерых, и еще с присоединением седьмой – моей падчерицы возлюбленной же, Александры Михайловны Бутягиной⁷, связывающей. Призываю на семью мою благословение Божие и завещаю всей ей, в случае моей кончины, жить в любви и согласии. Аминь.

Коллежский советник Василий Васильевич Розанов.

Марта пятнадцатого дня тысяча восемьсот девяносто девятого года. С.-Петербург.

К сему духовному завещанию, писанному собственноручно Коллежским Советником Василием Васильевичем Розановым, находящимся в здравом уме и твердой памяти, прилагаю руку. Коллежский Секретарь Антон Флорианович Адамович.

К сему собственноручному духовному завещанию Василия Васильевича Розанова руку прилагаю свидетель дворянин Петр Петрович Перцов.

Приват-доцент С.-Петербургского университета Семен Афанасьевич Венгеров.

Примечания

Духовное завещание В.В. Розанова хранится в РГАЛИ в личном фонде писателя (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 15, л. 3–4). Документ представляет собой два листа пожелтевшей плотной бумаги, заполненных достаточно аккуратным почерком В.В. Розанова с обеих сторон и скрепленных подписями Петра Петровича Перцова, Семена Афанасьевича Венгерова и Антона Флориановича Адамовича. К нему приложена объяснительная записка старшей дочери В.В. Розанова Татьяны Васильевны:

«Это духовное завещание лежало в предисловии в рукописи книги «О понимании» и было первым, затем было написано второе завещание, которое несколько разнится от первого, так как мама была больна и право распоряжения рукописями предоставляется дочерям и сыну в порядке их старшинства, т. е. в случае смерти старшего право распоряжения всеми рукописями передается следующему наследнику по старшинству. Это завещание хранится у меня.

Т.В. Розанова. 1927 г.»

¹ Жена Ивана Федоровича Романова (Рцы) (1861–1913) – писателя, публициста консервативного направления, друга В.В. Розанова.

² Писательница, сотрудничала в журналах «Русский вестник», «Гражданин», издатель и редактор иллюстрированного сборника «Улей». В РГАЛИ хранится ее обширная переписка с В.В. Розановым.

³ 22 октября 1900 года у В.Д. и В.В. Розановых родилась дочь Надежда.

⁴ Журналист, публицист, сотрудничал в журнале «Вестник Европы».

⁵ Библиограф, историк философии.

⁶ Брат первого мужа В.Д. Розановой.

⁷ Дочь В.Д. Розановой от первого брака, умерла в 1920 г.

IV ПИСЬМО В СОВЕТ Московского общественного Управления Архивным Делом

В Совет Московского общественного
Управления Архивным Делом

Сим прошу покорно зачислить меня на одну из открывающихся должностей. Гражданин Василий Васильевич Розанов. 16 июля

1918 года. Жительство имею в Сергиевом Посаде Московской губернии, Красюковка – Дом Беляева¹.

Родился в городе Ветлуге Костромской губернии, в семействе чиновника лесного ведомства, исправляющего обязанности лесничего, 20 апреля 1856-го года². Отца лишился трех лет. По смерти отца, мать моя переехала в город Кострому для <воспитания> многочисленных детей своих. Здесь я поступил в Костромскую гимназию. Но будучи учеником второго класса, я лишился матери, которая умерла после <двухлетней> болезни. Смерть ее совпала с окончанием курса моего старшего брата Николая в Казанском университете. Он взял меня и моего меньшого брата на воспитание. <Здесь> же мы росли и воспитывались. Сперва он служил преподавателем истории и географии в Симбирской гимназии, а затем перевелся в Нижегородскую <нрзб.> – директором в Белевскую Смолен. <губ. прогимназию, переезжая вместе...>

Моя прошлая служба. По окончании курса в 1878 году в Нижегородской гимназии, поступил на историко-филологический факультет в Московский университет. В нем пробыл с 1878 по 1882 год. По окончании курса в нем служил преподавателем истории и географии преемственно в Брянской прогимназии, Елецкой гимназии и Белевской, Смоленской губернии, прогимназии. Всей моей преподавательской службы было с 1882-го года и по 1893-й год. Потом был переведен на службу в С.-Петербург, ныне Петроград, в Государственный контроль, на должность чиновника особых поручений при Государственном контролере, в то время Третий Иванович Филиппов. Им был откомандирован к занятиям в Департамент железнодорожной отчетности, где производил ревизии ассигнований на строительные, по железным дорогам, сооружения и работы. В 1899-м году оставил службу в Государственном контроле по собственному желанию. Как во все время государственной службы, так равно и по выходе в отставку, все время занимался литературною, журнальною и газетною работою. Писал в Русском Вестнике, Русском Обозрении, в журнале Новый Путь и Вопросы философии и психологии по предметам воспитания и (обучения), по вопросам литературной критики и по философии. Отдельно сочинены и напечатаны мною книги: «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки как цельного знания», в 1886 году, «Сумерки просвещения» в 1899 году, «Литературные очерки», 1900 год, «Религия и культура», 1900, «Природа и история» в 1900 году, «Семейный вопрос в России» два тома в 1903 году, «Около

церковных стен», два тома в 1906 году, и еще другие меньшие сочинения. Всего же книг и брошюр мною сочинено и напечатано тридцать одна.

Примечания

Черновик письма в Совет Московского общественного Управления Архивным Делом хранится в РГАЛИ в личном фонде писателя (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 26). В отличие от приведенных выше документов, письмо написано неровным почерком, строчки разбегаются, часть слов не дописана. Текст, помещенный в угловые скобки (во всех документах), прочитан предположительно.

¹ В сентябре 1917 года, опасаясь возможного наступления германских войск на Петроград, семья Розановых переезжает в Сергиев Посад, где поселилась на Красюковке в доме священника Беляева. К 1918 году дела семьи пришли в полный упадок, и Розанов предпринимал отчаянные попытки хоть как-то обеспечить себе постоянный заработок, о чем и свидетельствует данное письмо.

² Далее, до конца абзаца, текст написан сбоку, на полях.

ПЕРЕПИСКА В.В. РОЗАНОВА С К.Н. ЛЕОНТЬЕВЫМ

К.Н. Леонтьев был незримым спутником В.В. Розанова на протяжении всей его жизни. «Кон.<стантин> Ник.<олаевич> Леонтьев очаровал меня с первого к нему прикосновения, в памятный вечер в городском саду, в Ельце, – где в читальне, на столе, я видел очередную книжку «Русского вестника» с его статьей «Анализ, стиль и веяние. По поводу романов графа Л.Н. Толстого»...»

«Очарованность» начала 1890-х годов рассеялась, но осталось где-то недоуменное любование этой удивительной личностью, казалось бы, давно забытой, но постоянно присутствующей в сознании современников. Доказательством может служить письмо Д.С. Мережковского, оказавшееся переплетенным в тетрадь с письмами Леонтьева Розанову: «Дорогой Василий Васильевич! Прочел сейчас письма Леонтьева. Не могу не писать, хотя никогда этого не делаю... Какой удивительный и чужой, и родной человек! Тогда-то *все* и началось! – Вы правы. То, что у Леонтьева было сырым пороком, – теперь в *нас* взрывается. И мог ли он предвидеть силу и направление этого взрыва?... Леонтьев – вообще – серый или даже *темный гений*. Есть такие. В нем – первозданный металл – радий. Принцип разрушения. Потому-то он так и тщился быть охранительным, консервативным... Сам себя боялся. Наши нигилисты (даже сам Шигалев) перед ним просто щенки. Вот грядущий русский *терог* – и *без хамства*, без Максима Горького. Какое-то трагикомическое благородство, как в Дон-Кихоте. Даже в Достоевском – больше «хама». Присюсюкивание – «деточки», деточки» и пр. Л<еонтьев> – вот настоящий сатанист. <...> (далее отрезано, пропущена одна строка – *Прим. публ.*). <...> «черную мессу». В сущности вся его эстетика – сатанизм, садизм (Ставрогин). И этот-то человек друг Амвросия Оптинского! Да, велик «русский Бог», и кое-что *будет* в России. Л<еонтьев> – самое русское явление. И кроме Вас никто его не заметил... Слава Богу, нас уже *нельзя* не заметить. В нас

Л<еонтьев> отомщен. Ваш Д. Мережковский». (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 517, л. 23, 50). Письмо написано, вероятно, в 1903 г. после выхода журнала «Русский вестник» (№ 4–6), где были опубликованы письма К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову с предисловием, послесловием и комментариями к каждому письму самого Розанова.

Письма К.Н. Леонтьева хранятся в фонде Розанова (РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 517.). Это черная тетрадь с заголовком золотом – *Письма К.Н. Леонтьева*. На л. 1 запись В.В. Розанова – «Константин Николаевич Леонтьев – милый, прелестный, незабвенный». На л. 7 – «Для метранпажа: подчеркивание одной чертой набирать курсивом, подчеркнутое двумя чертами набирать мелким жирным шрифтом. В. Розанов».

Письма В.В. Розанова к К.Н. Леонтьеву хранятся в фонде К.Н. Леонтьева (РГАЛИ. Ф. 290, оп. 1, ед. хр. 49).

Расположение писем и датировка произведены на основании помет К.Н. Леонтьева о времени их получения, а в случае отсутствия помет – исходя из писем самого К.Н. Леонтьева, который в отличие от Розанова все свои письма аккуратно датировал.

ИЗ ПЕРЕПИСКИ К.Н. ЛЕОНТЬЕВА

К.Н. Леонтьева я знал всего лишь неполный год, последний, предсмертный его. Но отношения между нами, поддерживавшиеся только через переписку, сразу поднялись таким высоким пламенем, что, и не успевши свидеться, мы с ним сделались горячими, вполне доверчивыми друзьями. Правда, почва было хорошо подготовлена: я знал не только все его политические труды (собранные в сборнике «Восток, Россия и славянство», 2 тт.), но и сам проходил тот фазис угрюмого отшельничества, в котором уже много лет жил К.Н. Л-в. Самое место его жительства – Оптина пустынь, где жил чтимый глубоко мною старец от. Амвросий, – привлекало меня. И я помню, что когда случалось, в праздничный вечер, играть с юношеством и подростками «в почту» (каждый *себя* называет городом и получает по своему адресу, как и отсылает от себя, шуточные записочки), – то всегда при этом выбирал (= называл себя) «Оптину пустынь». Она мне казалась самым поэтичным и самым глубокомысленным местом, среди прозаичных и скучно-либеральных «Петербурга» и «Москвы», не говоря уже о «Лондоне» или «Берлине». Строй тогдашних мыслей Леонтьева до такой степени совпадал с моим, что

нам не надо было сговариваться, договаривать до конца своих мыслей: все было с полуслова и до конца, до глубины понятно друг в друге. Мною, кроме большой книги «О понимании» (1886 г.), было написано к этому времени «Место христианства в истории», две статьи в «Вопросах философии и психологии» и «Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского» (в «Русск<ом> вест<нике>», за 1891 год). С временем окончания этой последней статьи совпадает и начало моего знакомства с Леонтьевым. Прочтя его «Анализ, стиль и веяние в произведениях гр. Л.Н. Толстого» в «Русск<ом> вестн<ике>» за тот же 1891 год, я горячо заинтересовался самою личностью их автора и выписал его «Восток, Россия и славянство» через Говоруху-Отрока, писавшего под псевдонимом «Ю. Николаев». А когда Леонтьев узнал (через Говоруху-Отрока) о моем интересе к нему, то прислал мне, в Елец, книгу свою «Отец Климент Зедергольм, иеромонах Оптиной пустыни». На другой день после этого я получил и первое письмо, из пачки здесь предлагаемых. Дружба наша, столь краткая и горячая, не имела в себе прослоек, задоринок. Только можно сказать, в последний день его жизни мы разошлись. Именно, я как бы встал на дыбы при его предложении восхититься *и Вронским* (из «Анны Карениной»), а он еще выше поднялся на дыбы, из-за моего прямо отвращения к этому болвану, мясистому герою. Все было страстно, пылко в нашем противоречии. Совершенно я понимал его восхищение перед героями жизни, дела (полководец, политик), после того как литература, в ее невысоких слоях, приучила всех рамоликов, наших и иностранных, восхищаться только героями письменности, кабинета: учеными, поэтами, филантропами. Но, понимая это, я все-таки хотел преклониться – ну, перед Кромвелем, ну, наконец, даже хоть перед Фридрихом Великим, но уж никак не перед юбочником Вронским, с его «жирными ляжками», и т. п. Вронский *не был для меня героем*, не был представителем героического, т. е. эстетическим лицом, а для Леонтьева был. Притом я недаром любил от. Амвросия Оптинского: сам сын очень бедных людей и видел много в своей жизни бедности, я никогда от нее не хотел отделяться, *как от родного*, как медвежонок *от своей берлоги*. Кроме того, бедность я знал, как *трудность и страдание*, всегда возбуждавшее во мне и навсегда воспитавшее *сострадание*, – почему все сытое и самодовольное, физически или духовно, раз и навсегда имело во мне себе недруга. Итак, я был с Леонтьевым согласен на эстетику, но не в признании ее у *богатых*, а у *бедных*; согласен с религиозным его устройением души, но нуждаясь

в религии, как *утешении*, а не как источнике *квиезма* (его точка зрения); и был готов на борьбу, движение, «походы» (какие можно и куда можно), но в защиту пролетариата, а не против пролетариата. Таким образом, точек расхождения было множество; но нас соединило единство темпераментов и общность (одинаковость) положения. Обнищавший дворянин-помещик был то же, что учитель уездной гимназии; а кружок монахов в Оптиной пустыни очень напоминал некоторые, идеально высокие типы из белого духовенства, какие мне пришлось встретить в Ельце. Такова была общая почва. Но главное, нас соединила одинаковость темперамента. Не могу ее лучше очертить, как оттенив отношением к Рачинскому. Рачинский всегда был рассудителен, до конца слов не договаривал, из принципа мыслей своих не выводил же; у него все были середочки (!) суждений, благоразумные общие места, с которыми легко прожить; и сам он был предан такому благоразумному и добродетельному делу, около которого походив, надо было снять шапку и сказать: «благодарю вас, Сергей Александрович, за то, что вы существуете». Безрассудного-то и не было ничего у Рачинского, – безрассудного и страстного. А мы *родимся* только на страстях. Я и Вронскому оттого не умел симпатизировать, что он мне казался тем же мелким чиновником или литератором, только на военной почве, т. е. с *тем же темпераментом*, мелочностью души и жизни. С Леонтьевым чувствовалось, что вступаешь в «мать-кормилицу, широкую степь», во что-то дикое и царственное (все пишу в идейном смысле), где или голову положить, или царский венец взять. Еще не разобрав, кто и что он, да и не интересуясь особенно этим, я по всему циклу его идей, да и по темпераменту, по границам безбрежного отрицания и безгранично далеких утверждений (чаяний) увидел, что это человек пустыни, конь без узды, – и невольно потянулись с ним речи, как у «братьев разбойников» за костром. Цитадель штурмов был самодовольный либерализм наш, литературный, но затем также общественный и государственный. В те дни он был всемогущ, и решительно каждый нелиберал был «как бы изгой без княжества»: ни ум, ни талант, ни богатое сердце не давало того, что всякий тупица имел в жизни, в печати, если во лбу его светилась медная бляха с надписью: «я либерал». Вот эта-то несправедливость, так сказать, мировая, что люди расценивались не «по душам», а прямо «по кастовым признаниям» таких-то убеждений, подняла, и на много лет подняла, всю силу моего негодования против нее: как мы волнуемся же против привилегированных высших учебных заведений, откуда

выходя и без знания, и без сердца, люди уже по одной своей заштампованности получают сразу «IX классный чин» должности. Таким образом, источником моего антилиберального настроения было общее христианское чувство и вместе демократическое (= все люди равны по душам, и добряк-консерватор выше прижимистого либерала); а у Леонтьева этим источником был эстетический страх, что либерализм своим уравнительным и освободительным движением подкашивает разнообразие и, следовательно, красоту вещей, социального строя и природы. Но в краткие месяцы нашей дружбы и этой разницы мотивов нельзя (некогда) было рассмотреть. Мы только оба кипели негодованием к либерализму. Таким образом, «братья разбойники» были вовсе «не братья», – и это сказало удивленным и как бы болящим его восклицанием в последних письмах, почти накануне заболевания и смерти. Но если бы мы и окончательно рассмотрели друг друга, я убежден, ничего бы собственно из горячности дружбы мы не утратили. Более всего меня приковывало к Леонтьеву его изумительно чистое сердце: отсутствие всякого притворства в человеке, деланности. Человек был в словах весь – как Адам без одежды. Среди масок литературных, всяческой трафаретности в бездарных и всяческой изломанности в даровитых, он мне представился чистою жемчужиной, в своей Оптиной пустыни, как на дне моря. И до сих пор, не имея ничего общего ни с его сословным аристократизмом, ни с его чаяниями «открыть вторую Америку» в византизме и основать новую разбойническую республику (новую Венецию) на полуразрушенных камнях Афона, я тем не менее сохраняю всю глубокую привязанность к этому человеку, которого позволяю себе назвать великим умом и великим темпераментом. В его уме, в его судьбе, в его сердце жили запутанности, гораздо более занимательные, чем вся ученость Данилевского или Страхова.

Рассматривая по смерти этого монаха его библиотеку, я увидел толстый том с надписью «Alcibiad», французская монография о знаменитом афинянце. Такого воскрешения афинизма (употреблю необыкновенный термин) шумных «агора» афинян, страстной борьбы партий и чудного эллинского «на ты» к богам и к людям, – этого я никогда еще не видел ни у кого, как у Леонтьева. Все Филельфо и Петрарки проваливаются, как поддельные куклы, в попытках подражать грекам, сравнительно с этим калужским помещиком, который и не хотел никому подражать, но был в точности как бы вернувшимся с азиатских берегов Алкивиадом, которого не догнали стрелы врагов, когда он выбежал из зажженного дома возлюбленной. Ум

Леонтьева, – скажу, гений его, – был какой-то особенный. Нужно бы приложить снимки с почерка его, этого женского, с едва выраженным нажимом пера, лежачего (очень отлого поставленные буквы), с тонкими, почти острыми загибами, с подчеркиваниями слов или иногда в слове только слогов, которые он произносит резким и острым способом, как женщина чешет косу, откидывая далеко гребень. Этот почерк был очень похож на стиль его (каллиграфически изображал его), нервный и острый, страстный и мучительный. Идеи его были исключительны, и неудивительно, что не принялись. Но вполне удивительно, что он не был оценен и как писатель, как «каллибр ума», как «портрет литературный» в галерее нашей словесности. Здесь он занимает, можно сказать, отдельный кабинет, «cabinet poig», без ходов к нему, без выходов от него. Ибо по существу он как не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я, впрочем, наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас и, вероятно, всегда имел и будет постоянно (до скончания веков) иметь 2–3, много 20–30 в стране, в цивилизации, в культуре настоящих «поклонников», хранящих «культ Леонтьева», понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его «литературный портрет» (сумму литературных и темпераментных качеств) всем остальным в родной и в неродных литературах. Давно, давно следовало бы издать «opera omnia» Леонтьева, но, к сожалению, между его личными друзьями, из которых некоторые обладают значительными средствами, и денежными, и типографскими, очевидно, он имел лишь приятелей, или заимствователей «нужных для времени» (царствование Импер<атора> Александра III) идей, но не имел настоящего, в излагаемом выше смысле, «поклонника». К несчастью, в личной жизни он, кажется, сам больше любил людей, нежели ими был любим. Это тем более печально, что наследники литературных прав его уже сейчас не очень ясны: он не имел прямых потомков, а жена его, если не ошибаюсь, или не жива, или не может распорядиться своими правами литературной собственности по болезни. Таким образом можно опасаться, что изданные в 1885–<18>86 году два тома его сочинений и еще ранее этого изданные «Рассказы из жизни христиан в Турции», не дождавшись переиздания теперь, попадут в фатальный цикл «пятидесятилетия литературной собственности» и не будут вообще никогда переизданы, ни собраны в фундаментальное «opera omnia». «Fatum» неизвестности, на который он мне горько жаловался в письмах, очевидно, действительно тяготеет над ним.

Точно над ним стоит ангел смерти и мешает ему ожить. Во всяком случае, настоящие письма я печатаю не только из благоговения к памяти друга, но и как разрозненные листки, какие имели бы быть вставлены в «opera postuma» замечательного писателя.

Идеи Леонтьева и сложны, и просты. Это был патолог (Л-в был медик по образованию, ученик еще Иноземцева), приложивший специально патологические наблюдения и наблюдательность к явлениям мировой жизни, но преимущественно социально-политической; он отличился вкусами, позывами гигантски-напряженными к *ultra*-биологическому, к *жизненно-напряженному*. Я знал одного очень старого (и немного циничного) доктора, которого во всякую свободную минуту находил за Майн-Ридом (детские книги). На мое удивление этот доктор – поляк, в свое время «потерпевший» и доживавший жизнь в уездном городке – ответил: «Знаете, за день так навозишься с больными, что взять к вечеру рассказ о том, как лошадь возила по прериям всадника без головы (заглавие одного из сочинений Майн-Рида), есть истинное наслаждение, точно откроешь в душе форточку». И о Леонтьеве можно сказать, что его «эстетизм» был синонимичен, или, пожалуй, вытекал, или коренился на *анти-смертности*, или, пожалуй, на *бессмертии красоты*, прекрасного, прекрасных форм. В «эстетику» он «открывал форточку» из анатомического театра своих грустных до черноты политических и культурных наблюдений, соображений. Старый, как Сатурн (по политике), он начинал прыгать, как молодой козленок, при виде всякой цветной ленточки (в переносном смысле), всякой эстетической черточки в окружающем (любовь его к Вронскому, восхищенность при виде красивых и стройных русских полков в Варшаве, при виде старых сенаторов, склонявшихся в Оптиной перед монахом-старцем). Тут наш Алкивиад пел свою победную песнь; клобук монаха (Леонтьев был тайно пострижен на Афонской горе, что не возлагало на него никакого мундира монашества в миру и мирской жизни) становился прозрачен, невидим.

Но вот эстетическая, его радовавшая ленточка кончалась: на фоне появлялся либерал-земец, либерал-адвокат, либерал-журналист. Алкивиад совершенно исчезал: мы имели перед собой черного-черного монаха, в куколе до облаков, с посохом в версту, который дико и свирепо, «интеллигентно-убежденно» начинал дубасить этим посохом по голове либерала, большею частью действительно по голове пустой, приговаривая: «негодяй! разве я не читал Вольтера (Л-в именно в монастырской своей жизни любил перечитывать

французских *esprits forts*, даже не без особенного тонкого сочувствия) читал все, что ты читал, и даже больше, и лучше твоего понял; но как могучий конь любит узду могучего господина, – и я возлюбил власть над собою Господа и целую каждый день руку у этого невежественного и нечистоплотного монаха (*не об Амвросии*), тогда как ты всего только смерд и раб, ползающий неэстетично у ног поганой твоей публики, собрания таких же смердов, как сам ты. За что все вот тебе удар палкою, тебе и твоей публике». И Леонтьев писал пламенно-негодующую статью... в порицание болгарских политиканов, «честных учителей» (= либералов) тамошних, или в защиту игуменьи Митрофании, «которая все-таки была монахиня, а не либералка, да к тому же еще из дворянского рода». «Честные либералы», которые, нужно заметить, всегда были довольно тупоголовы, так и принимали его речи в прямом смысле, докладывая о замечательном и странном публицисте своим читателям, что «вот он выступает защитником таких личностей, как Митрофания, и противником освобождения Болгарии от турецких зверств». Либералам-докладчикам (или доносчикам) и в голову не приходило, что публицист в кукле есть самое свободомыслящее явление, может быть, за все существование русской литературы; что безбрежность его скептицизма и сердечной и идейной свободы (независимости, вытекания только из субъективного «я») оставляет позади себя свободу Вл. Соловьева, Герцена, Радищева, Новикова. Позволяю себе назвать все эти имена. Все они гораздо более были подчинены давлению окружающих обстоятельств, идей, сословия или воспитания и пр.; все гораздо более «сообразовались» с обстоятельствами внешними, давая место и житейски, и литературно все же некоторой дипломатической игре. Ее и тени не было в Леонтьеве, который был в трудах своих свободен, капризен, деспотичен, как царственная женщина в беспорядке своей уборной, среди черных невольниц.

Но я все отклоняюсь в сторону *характеристики* от спокойного *изложения его идей*. Он поступил в монашество, стал из неверующего естествоведа христианином, потому что в небесном и абсолютном авторитете положительных церковных доктрин, во-первых, нашел границу для своего философского скепсиса и пессимизма, упор для волн своего ума, которые решительно катились в бесконечность; а во-вторых, в неподвижности и консерватизме церковного строя он нашел опору против «разрушительного уравнительного процесса», который его пугал в Европе и России. «О стены монастыря разобьется всякий либерализм; монастырь же – от Бога, и если тоже крушится,

то лишь по-видимому, на самом же деле, как небесное учреждение, до светопреставления, до Антихриста устоит; и если устоит, – а не устоять не может, – монастырь, то около него и за ним и вследствие его устоят и красивые варшавские, особенно конные полки, где служит Вронский или его собратья, и на которые я, старый монах и медик, полюбуюсь из далекого окошечка, из кельи Оптиной пустыни, уже с чисто медицинской жизнерадостностью. Вот собственно и весь круг идей Леонтьева, в сущности монотонных; но разберите, читатель, не более ли в смесь этих начал входит разнообразия, чем, напр<имер>, в *summa idearum* Соловьева или Герцена? Именно Соловьев и Герцен были монолитны, при необозримом разнообразии их деятельности, их литературного выражения. Все «поделки» Герцена и Соловьева – из одной породы камня. В Леонтьеве поражает нас *разнопородность* состава, при бедности и монотонности линии тезисов. Ну, как вы сочетаете Алкивиада и Амвросия Оптинского, пострижение на Афоне и кавалерийские вкусы; медицину и дипломатику; да и еще больше, как узнал я, прочтя всего года два назад его турецко-славянские повести. Леонтьев был первый из русских и, может быть, европейцев, который, говоря языком Белинского, открыл «пафос» (живую душу, настоящий смысл, поэзию) туретчины, ее воинственности и женолюбия, религиозной наивности и фанатизма, преданности Богу и своеобразного уважения к человеку. «Ах ты, турецкий игумен», – не мог я не ахнуть, перечитав у него разговор одного муллы с молодым турком, полюбившим христианку. «Три есть столба, на которых держится мир, – толковал шепотом мулла. – Первый столб золотой и идет до неба: это наше святое и праведное мусульманство. Второй столб поменьше и сделан из серебра: он также хорош. Это – вера Авраама, которую исповедуют собаки-жиды, но Авраам через Измаила был и наш праотец; только жиды не приняли праведного Корана. Третий столб тоже к небу идет и тоже истинный, только покороче тех обоих и сделан из меди. Это христианство». И т. п. И с таким вкусом и знанием, с таким любованием на наивность турка это рассказано, как русский вообще никогда не найдет в себе подобных слов для мусульманина. Наконец, он рассказывает случаи влюбления и житейские нравы турков, и они везде почти выходят мужественнее, героичнее славянских, более, так сказать, похожи на конных солдат в Варшаве, тогда как балканские славяне все похожи на петербургских адвокатов, что для Леонтьева было до последней степени скучно. Тонкими, пластическими штрихами он набросал то, что я назвал бы «законом гарема», т. е. тайну

внутренней и теплой, даже горячей-горячей привязанности друг к другу членов семьи в этом, столь непонятном для нас типе семейного сложения. Он показал здесь матерей и жен, умирающих за детей и мужей; влюбленность, которая держится до старости; и все это при правиле (и обычае), когда старая турчанка сама копит и откладывает деньги, чтобы купить на них молодую невольницу крепкому, нестарому своему мужу: «Я смерила на базаре ее ногу, и выбрала с самой маленькой ступней: ибо красивость ступни есть первое условие красоты женской». И все эти подробности подбирает афонский монах; это – гораздо свободнее, чем признание некоторых прав за консерватизмом со стороны Герцена, чем обличения печального состояния крестьянства при Екатерине Второй. Это вообще так свободно, как никогда и ни у кого не было в литературе. Дух Леонтьева не знал, так сказать, внутренних задвижек: в душе его было окно, откуда открывалась бесконечность. Древние Афины, современная Турция, Оптина пустынь – все одинаково, как бы в лунном мерцании, пронеслось под ногами этого в своем роде киевского бурсака Хомы, на котором сидела чародейка-красавица («Вий» Гоголя). Не умею лучше, как с этим странным полетом ведьмы и семинариста, сравнить фантастическое (и вместе гармоничное) по составу творчество Леонтьева. «Фу, как пляшет казак, фу, черт, как он пляшет», – дивился Бульба на первого попавшагося в Сечи казака-танцора. Но танец был, правда, великолепен, естествен, целостен, «гармоничен» по задачам своим и особливому смыслу. Вполне удивительно, что никто-то из критиков не поразился и не признал своеобразных качеств в подобном же словесном танце, – я готов сказать, танце небесной свободы и прелести, – Леонтьева. Это была одинокая и единственная в своем роде душа. «Стиль моего письма недоступен никому, – мог бы сказать этот мастер, бросив предсмертно кисть. – Ни повторить моих картин, ни продолжать моих картин – никто не сможет».

Мне приятно вспомнить, что посмертно я оказал одну услугу Леонтьеву. Именно, когда в словаре Брокгауза и Ефрона статьи дошли до буквы «К», то Вл. Соловьев сообщил мне, что статья о Леонтьеве поручена ему. Я стал неотступно просить Соловьева написать как можно больше, страниц шесть; написать основательную статью, ибо ведь это, в таком монументальном словаре, будет увековечением бедного Леонтьева, который при жизни не дождался и сносной критической статьи о себе. В этом духе и очень настойчиво я послал несколько записок Соловьеву. Соловьев был прекрасная

по податливости и мягкости душа, да и Леонтьева он сам любил, но все стеснялся «либеральных» редакторов издания, которые могут подняться на дыбы против большой статьи о «мракобесце» – Леонтьеве. Наши либералы никогда не были остроумны и, имея большею частью в сердце «пять с плюсом за поведение», имеют в голове обыкновенно плачевную «единицу за успехи» (в науках, в понимании, в идейности). Наши либералы – это самая безыдейная часть общества, до грусти, до отчаяния. От Южакова до Михайловского – это стена Петрушек за алгеброй. Но оставим их. В коротенькой записочке Соловьев меня известил с восторгом, что ему удалось провести в «Словарь» характеристику что-то около 6 столбцов, и при убористой, компактной печати и чрезвычайной («словарной») сжатости изложения это выходило цельною литературной характеристикой. Статья эта о Леонтьеве мастерски написана Соловьевым, и есть прекрасное общее введение в систему его мышления. Наконец, я считаю полезным упомянуть, что к Леонтьеву всегда чувствовал смесь антипатии и неуважения, смешанного с подозрительностью, Н.Н. Страхов, бывший в душе «честнейшим либералом», свободолюбом и гуманистом; но еще более, чем Страхов, его не любил Рачинский. Последнему, в устных беседах, я все навязывал Леонтьева, но встречал упорное молчание. Мне известно было, что Рачинский был консерватор и религиозный, церковный человек; поэтому его молчание приводило меня в недоумение. Наконец он сказал: «да, Константина Николаевича Леонтьева я еще по университету помню, и тогда же мы с ним были знакомы, не близко, но как товарищи; он был на медицинском факультете, когда я был на философском (прежнее смешение естественного и филологического факультетов). Но он сразу же меня оттолкнул некоторыми своими мыслями, приемами, нравственно-смелыми взглядами. Я от него отскочил, как ужаленный от гадюки. Я не спорю, что он отлично пишет и вообще очень талантлив; но я чувствую к нему непобедимое *отвращение* (он сказал с ударением), которое от годов молодости до старости ни в чем не ослабилось». Тихий, не замутимый и замутимый Рачинский чувствовал в Леонтьеве как бы Мальштрем (ревуший водоворот в Ледовитом океане) и отводил от него в сторону свою утлую лодочку. Леонтьев был несравненно гениальнее его, как и Страхова. Они не любили и почти боялись Леонтьева. Как Хома-философ (в «Вие»), спокойно улегшийся на незнакомом ночлеге, испугался при входе ведьмы-старухи (она же оборотень-красавица), они защищались от Леонтьева почти его словами: «нет, голубушка, теперь

пост, и я скоромиться не хочу». То же отвращение, негодование, до отказа просто что-нибудь прочесть. В самом деле, и тихая библиотека-квартира Страхова, и прелестное Татево, – ото всего этого и шепок не сохранилось бы, попади они в Мальштрем Леонтьева, эту ревущую встречу эллинского эстетизма с монашескими словами о строгом загробном идеале.

Еще одно слово. Когда я в первый раз узнал об имени Ницше из прекраснейшей о нем статьи Преображенского в «Вопросах философии и психологии», которая едва ли не первая познакомила русское читающее общество с своеобразными идеями немецкого мыслителя, то я удивился: «да это – Леонтьев, без всякой перемены». Действительно, слитность Леонтьева и Ницше до того поразительна, что это (как случается) – как бы комета, распавшаяся на две, и вот одна ее половина проходит по Германии, а другая – в России. Но как различна судьба, в смысле признания. Одним шумит Европа, другой, как бы неморожденный, точно ничего не сказавший даже в своем отечестве. Иногда сравнивают Ницше с Достоевским; но где же родство эллиниста Ницше, «свирепого», с автором «Бедных людей» и «Униженных и оскорбленных». Во всяком случае здесь аналогия не до конца доходит: Леонтьев имел неслыханную дерзость, как никто ранее его из христиан, выразиться принципиально против коренного, самого главного начала, Христом принесенного на землю, – против *кротости*. Леонтьев сознательно, гордо, дерзко и богохульно сказал, что он *не хочет* кротости и что земля не нуждается в ней: ибо «кротость» эта (с оттенком презрения в устах Л-ва) ведет к духовному мещанству, из этой «любви» и «прощения» вытекает «эгалитарный процесс», при коем все становятся курицами-либералами, не эстетичными Плюшкиными; и что этого не надо, и до конца земли не надо, до выворота внутренностей от негодования. Таким образом, Леонтьев был *plus Nietzsche que Nietzsche meme*; у того его антиморализм, антихристианство все же были лишь краткой идейкой, некоторой литературной вещицей, только помазавшей по губам европейского человечества. Напротив, кто знает и *чувствует* Леонтьева, не может не согласиться, что в нем это, в сущности «нищанство», было непосредственным, чудовищным, аппетитом, и что дай-ка ему волю и власть (с которыми бы Ницше ничего *не сделал*), он залил бы Европу огнями и кровью в чудовищном повороте политики. Кроткий в личной биографии, у себя дома в квартире (я слышал об этом удивительной прелести, идиличности рассказы), сей Сулейман в куколе, за порогом дома, в дипломатической

службе, в цензуре, но главное, в политических аппетитах (на практике ему даны были в руки только мелочи) становился беспощаден, суров – до черточки, до конца. Раз он ехал по Москве на извозчике. «Куда едешь», – поправил возницу полицейский и направил на другой путь; ленивый возница пробормотал что-то с неудовольствием. Вдруг кроткий Леонтьев гневно ударил его в спину. «Что вы, барин?» – спросил тот политического Торквемаду. – «Как же, ты видишь мундир: и ты смеешь не повиноваться ему или роптать на него, когда он поставлен... (тем-то, а тот-то) губернатором, а губернатор – царем. Ты мужик и дурак – и восстаешь, как петербургский адвокат, против своего отечества». Пусть это было на извозчике и в Москве; но важно *вездеприсутствие* и, так сказать, *вечно-присутствие* *idée fixe* Леонтьева, из которой он ничего *не сумел бы* забыть и не воплотить, будь он цензором, посланником, министром, диктатором. Это был Кромвель без меча, без тоги, без обстоятельств; в лачуге за городом, в лохмотьях нищего, но точный, в полном росте Кромвель. Был диктатор без диктатуры, так сказать, всю жизнь проигравший в карты в провинциальном городишке, да еще «в дураки». Но человеческое достоинство мы должны оценивать не по судьбе, а по залогам души. И по такой оценке достоинство Леонтьева – чрезмерно, удивительно. Прошел великий муж по Руси – и лег в могилу. Ни звука при нем о нем; карканьем ворон он встречен и провожен. И лег, и умер, в отчаянии, с талантами необыкновенными. Теперь очевидно, что никакие идеи Леонтьева не привьются и что он вообще есть *феномен*, а не *сила*; так сказать, *fata-morgana* Мальштрема, а не *он* в действительности. Бог одолел человека; но человек этот был сильный богоборец. Это об Якове записано, что он «боролся с Богом» в ночи и охромел, ибо Бог, не могши его побороть, напоследок повредил ему «жилу в составе бедра».

В. Розанов
{1903 г. СПб.}

К.Н. ЛЕОНТЬЕВ – В.В. РОЗАНОВУ

I

13 апреля 1891 г., Опт. п.

(Христос Воскресе!)

Читаю ваши статьи постоянно. *Чрезвычайно* ценю ваши смелые и оригинальные укоры Гоголю¹; это великое начинание. Он был очень вреден, хотя и непреднамеренно.

Но усердно молю Бога, чтобы вы поскорее *переросли Достоевского* с его «гармониями», которых никогда не будет, да и не нужно².

Его монашество – сочиненное. И учение от. Зосимы³ – ложное; и весь стиль его бесед⁴ фальшивый.

Помоги вам Господь милосердый поскорее вникнуть в дух реально-существующего монашества и проникнуться им.

Христианство личное есть, прежде всего, *трансцендентный* (не земной, загробный) *эгоизм*⁵. *Альтруизм*⁶ же сам собою «приложится». «Страх Божий» (за *себя*, за *свою вечность*) есть начало премудрости *религиозной*.

К. Леонтьев

¹ В первых главах напечатанной в тот же год Легенды о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского «Укоры» эти действительно у меня были; были прямы и резки и подняли в критике тех дней бурю против меня. Гоголь был священен и, как всегда для толпы, «безукорен».

{Примеч. 1903 г.}

² «Гармонии» – всеобщий мир и примиренность на земле; идея «пальмовых листьев и белых одежд» Апокалипсиса («и отрет Бог *всяческую слезу* на земле» – обещание Апокалипсиса, перед «пальмами» и новыми одеждами); вместе – это песнь вифлеемских пастырей, встретивших Рождество Христово: «Слава в вышних Богу и на *земле мир*» и пр. В упор против этой вифлеемской песни Леонтьев, *уже монах*, отвечает: «не надо мира». Это – «нищсеанство». Я, впрочем, употребляю термин «нищсеанство» лишь для литературной аналогии, считая – ошибочно или нет – Ле-

онтьева и сильнее, и оригинальнее Ницше. Он был «настоящий Ницше», а тот, у немцев, – не настоящий, «с слабостями сердечными».

{Примеч. 1903 г.}

³ Пантеистическое, благое, доброе. Впрочем, тоже злой человек, и, уже отделясь теперь вовсе от Леонтьева, я скажу покойнику: «ну, конечно, от *птичек лесных*, от *полевых травок* Зосима взял свою доброту, благодать, пантеизм: на афонских задворках он выучился бы только жесткости, сребролюбия и таким порокам, о коих вне обители и не слыхивано».

{Примеч. 1903 г.}

⁴ Ну, какой же стиль, если не благодатный? Вся Россия удивилась и умилилась величию благодати Зосимы. «Не наш, не наш он!» – восклицает Леонтьев от имени православного монастыря. «И правда – не ваш», – отвечаю я и беру Зосиму в охапку и выношу его, а с ним и все его богатство душевное – за стены тихих обителей.

{Примеч. 1903 г.}

⁵ Это все очень глубоко. Трепет, *истуг* за себя – да, вот начало «страха Божия» и «премудрости религиозной». Недаром иезуиты (я видел в «*Imago primi saeculi Societatis Jesu*», 1640 г.) в первую фанатичную пору существования своего изображали «общество Иисусово» как корабль среди бушующих волн. «Только мы спасаемся, – грядите к нам! Вне – гибель!!» До инквизиции отсюда уже вершок расстояния. Ведь и она родилась вся из испуга за спасение; ее гнездо – религиозное отчаяние (францисканцев).

{Примеч. 1903 г.}

⁶ В личной биографии Леонтьев был *поразительный* альтруист; и это все поправляет в нем, преображает сумрачные идеи его в *fata morgana*. «Авель, для чего ты надеваешь на себя шкуру Каина? – хочется спросить. – И жмешь руку брата, выкидываешь за борт его «каинство» (= нищезанство); и, если богат, заготавливаешь жирного барана в снедь и усаживаешь за стол его: «Авель милый, ты отошел от каинского мышления: отложи клубок в сторону, вооружись ножом и вилкой и кушай сытно, как Петр Петрович Петух. От хорошей пищи проходят худые мысли».

{Примеч. 1903 г.}

II

8 мая 1891 г., Опт. п.

Письмо ваше, Василий Васильевич (как и сами вы, вероятно, могли предвидеть), доставило мне *величайшее* утешение. Вчера я думал ответить вам сначала только два слова и приложить, кстати, ту статью об вас г-на Южного (из *Гражд.*), которую вы видите. Так как я слышал, что «Гражд.» имеет ход почти исключительно в одном Петербурге, то я думал, что до вас эта дельная заметка Южного не дойдет. Более подробный ответ на ваше дружественное письмо я откладывал не по нежеланию, конечно, писать вам; но по случайным и неотложным заботам, которые мне угрожали и которые вчера к вечеру разрешились, к счастью, неожиданно и хорошо. Теперь мое время и мой ум свободны, и я могу ответить вам, хоть и не так подробно, как бы желал, но все-таки и не двумя словами...

Не знаю, с чего начать! Вы до того ясно меня (т. е. мои книги) понимаете, что я даже дивлюсь; вы *удовлетворяете* меня, как никто, пожалуй, из писавших мне письма или статьи и заметки обо мне. Разве только тот Фудель, которому посвящена моя брошюра о Национальных объединениях. Он *священник* православный, *немецкой* крови, и тоже *переживший* Достоевского, вступил 3 года тому назад со мной в переписку; потом приехал в Оптину, обратился, по моему совету, к от. Амвросию и стал *просто* православным в деле личной веры, без ложных надежд на «гармонии» и приверженцем моих взглядов в политике¹. *Дай Бог, чтобы и с вами то же случилось!* Вы не пишете мне, какую именно должность вы занимаете при гимназии (думаю, что преподавателя «русской» литературы), — но во всяком случае какая бы ни была должность, мин. народ. просвещ. у всех есть каникулы и, вероятно, вы свободны от 1–2 июня до 1–2 августа. Отчего бы и вам не приехать сюда в июне или июле? Я не знаю еще человека (а тем более из молодых, *нового стиля*), который не вынес бы от свидания с отц. Амвросием таких *особого рода* впечатлений, которые усиливают *личную* веру и располагают к заботе о *личном* спасении («трансценд. эгоизм», которым я вам так неожиданно угодил). И мне было бы в высшей степени приятно познакомиться с вами *не на одной лишь бумаге*.

Книгу мою «От. Климент» (а кстати, и исправленную брошюру «Анализ» и «Национальные объединения»), я, как и означено на надписи на обложке, послал вам по совету Юрия Николаевича Говорухи-Отрока, от которого я получил Великим Постом письмо. В нем он говорил не между прочим, а главным образом о том, что вы очень довольны моими сочинениями, и советует мне послать вам и «Климента», которого вы не знаете. Я так и сделал. Не понимаю только, что за недоразумение вышло между нами тремя?! Он пишет, что дал вам мои книги (я понял так, что это 2 тома «Вост., Росс. и Слав.», ибо я дал ему и Грингмуту по 20 экз., с просьбой *раздавать* даром, – для пропаганды хорошим людям): а вы пишете, что «насилу розыскали мои 2 тома в моск. книжных магазинах»... Как это странно! И почему же он *вам-то* не дал, если так, когда у него 20 экз.!!²

Вы пишете, что *не знали вовсе* моего имени и моих сочинений до тех пор, пока не прочли в «Р.В.» «Анализ, стиль и веяние»... И немножко утешаете как будто меня тем, что вы «не очень *сведущи*». Благодарю за доброе намерение; но поверьте, не нужно быть «малосведущим», чтобы не знать меня. Не вы первый «открываете» меня, как Америку, несмотря на то что я публицистикой стал заниматься серьезно с 73-го года («Панславизм и греки»); романы из Новогреческой и отчасти Турецкой жизни стал печатать у Каткова с 68 года (повесть «Хризо»), и почти все эти повести и романы были изданы отдельно в 76-м (кажется) году и, наконец, «Вост., Росс. и Слав.» было издано в 85 и 86 году. (Я не говорю уже о плохих повестях и романах из *русской жизни*, которых я напечатал несколько в 61, 63 и 66 году.) Почему это так? Не знаю... Многие из сочувствующих мне пытались объяснять это и тем, и другим, но, по-моему, это объясняется, с одной стороны, очень просто: *мало обо мне писали другие*, мало порицали и мало хвалили; мало нападали и мало выражали сочувствие; т. е. было *вообще мало серьезных критических отношений*...³

Да, с этой *внешней* стороны – дело просто; но когда спросишь себя: *да почему же* мало писали и противники, и единомышленники, и на 1/2 согласные, – то здесь уже решение очень трудно! Я не могу вам перечислять здесь все мелкие факты, все странные случаи, все необъяснимые поступки одних и все таинственные «уклонения» какие-то других; наприм., того самого Н. Н. Страхова, к которому вы обратились с вопросами *обо мне как раз не вовремя*; ибо я несколько месяцев тому назад, именно за 30-летнюю его противу меня недобросовестность, послал, краткое открытое ему письмо со словами псалма: «*уклоняющегося от меня лукавого не познах*» (т. е. не буду с ним *связываться*, водиться больше). В самом деле – если

придется нам когда-нибудь увидаться, то я расскажу вам про его ко мне отношение удивительные вещи! Именно удивительные; ибо личного столкновения между нами не было никогда (до этого моего открытого письма, – как заключения 30-летнего знакомства и во многом единомыслия)... Расскажу и много других фактов, которые вас удивят и даже, вероятно, опечалят; но объяснить их можно, во-первых, только древней поговоркой *habent sua fata libelli*; а во-вторых, *по-Оптински*: «Божья воля!» Разумеется, что последнее объяснение лучше всех, не потому только, что оно душеспасительнее и бого-угоднее, но и потому, что оно всех глубже и вернее; повторяю, *факты* до того странны и исключительны, что только Божьим «смотрением» их можно объяснить. Для Бога – всякая «душа» важна: «Бог хочет всем спастися и в разум истинный прийти», – говорит Церковь (даже в Катехизисах, которые нами, к сожалению, не ценятся и в которых, однако, содержится *решительно все*, что Христианину необходимо!).

Это так; но *почему-то* на жизни одного человека весьма видна нить, за которую Господь выводит его из лабиринта его собственных страстей и умственных блужданий, а на жизни другого проследить ее труднее, не знаю! Да и кто знает это? *И не нужно* вовсе нам все знать и все понимать!! Я знаю только то, что *моя* нить Божия смотрения очень ясна; нередко до малейших изгибов! Бог Сам знает, кому **что** и *в какое время* дать. Я *прежде* был так самоуверен, и сильное воображение мое могло так далеко завлечь меня куда-нибудь, куда не нужно, – что Господь, по бесконечному милосердию Своему, долго *мешал* (я так думаю) даже и сочувствовавшим мне людям *печатать* обо мне и усиливать мою известность; «сила Божия ведь, когда нужно, и в немощах наших познается»; один *ленился* взяться за дело серьезно; другой был робок характером; третий очень занят; четвертый был просто недобросовестен или питал ко мне личное отвращение... И все это в течение **30** лет так мало-помалу меня «осадило» и «отрезвило», что оказалось истинным мне благодеянием!.. Оно и больно было; да мало ли что! Христианское учение (настоящее, а не *Фед. Мих...*) иногда *весьма* сурово и страшно, что делать! Но раз *безбоязненно* и *безусловно* принятое по *простому* и *старому Катехизису* (одобрен *Св. Синодом – да! да!*), оно дает такие *мощные* опоры, такие удивительные утешения (*косвенно* – иногда даже и для бедного, многострадального самолюбия нашего), каких никакая другая философия дать не может. Так *нужно* было меня выработать, и для этой цели пригодились и в друзьях, и в критиках и русская лень, и общече-

ловеческий эгоизм, и опять-таки специально-русская *умственная* робость, русское предательство не всегда даже по злобе, а чаще по вялости и легкомыслию... А теперь, когда мера духовного воспитания исполнилась, вот уже 5–6 лет все чаще и чаще, все серьезнее и серьезнее стали упоминать мое имя...⁴ Даже и за границей раза два-три помянули⁵. И сверх того, прибавлю, и в самое неблагоприятное для меня время Богу, видимо, было неуютно, чтобы я впал в уныние, чтобы я счел себя решительно бесполезным и бездарным, потому что те самые люди, которые не хотели потрудиться для поддержки меня в печати, – «приватно», чуть не «по секрету», в *частных ко мне письмах* и в заглазных беседах, почти превозносили меня. Так делали Влад. Серг. Соловьев, Фет, Влад. Андр. Грингмут и многие другие! *Даже* и этот самый Ник. Никол. Страхов... например. А ведь все это люди один другого лучше, один другого умнее, один другого образованнее и т. д... Если бы *напечатать* все то, что я слышал от них на словах и что написано в их письмах, так это забытья от гордости можно... А в печати – ни-ни!..

Видите, как видна *телеология* духовного Промышления: ни отчаиваться, ни пренебрегать собой, как писателем, – нельзя; приватно *превозносят*; ни испортиться от ранней и быстрой славы или удачи – нельзя; *публично обходят* – молчанием, или (как Вл. Соловьев) с большим уважением поминают имя, но всегда мимоходом и очень кратко.

Иначе объяснить все это я не умею: да и не вижу пользы.

Довольно об этом: об *этом* чем меньше говоришь, тем лучше! И вам, я думаю, при всем вашем сочувствии, другие предметы будут интереснее.

О «пороках русских» напишу я вам в другой раз... Коротко и ясно. Замечу только, что эти пороки очень большие, *требуют большей*, чем у других народов, *власти* церковной и политической. То есть *наибольшей меры* легализованного внешнего *насилия* и *внутреннего* действия *страха* согрешить. А куда нам «любовь»? *Народ* же, выносящий и страх Божий, и *насилие*, есть *народ будущего*, ввиду общего безначалия... *Ясно?* Если не ясно, еще потом объясню.

Если желаете, то я пришлю вам мои *новогреч. повести*, только на прочтение, с возвратом, ибо у меня другого экз. нет⁶...

Писать письма к друзьям я ничуть не тягочусь, но не всегда могу; болезнен и приучил себя к строгой *очереди* в занятиях. Не берусь за другое дело, не окончив какого-нибудь первого; через это бывают отсрочки, даже вопреки охоте сейчас ответить.

Хорошие мои портреты все розданы: когда получу новые снимки с того же негатива, пришлю вам, а пока, чтобы удовлетворить вашему желанию видеть мое старое лицо, посылаю вам *слишком черную*, неудачную фотографию; все-таки понять и по ней можно, какое у меня лицо. Смолоду я был хорош, а теперь слишком много морщин. Это почему-то физиологическое свойство у людей нашего класса иметь в старости много мелких морщин на лице... У мужиков, у монахов «из простых» и у людей белого духовенства этого нет... Их старость гораздо благообразнее... Морщины крупнее, кожа *свежее* нашей⁷. Заметьте, это так.

На этот раз прощайте. Пишите, сколько угодно, когда хочется; не всегда тотчас отвечу, но всегда буду очень рад.

Отвечаю на ваши объятия, сколько сил осталось!..

Ваш К. Леонтьев
(Константин Николаевич)

PS. *Холостой* вы или *женатый*?

Если женатый и если задумаете в Оптину приехать, то не берите с собой *на 1-й раз* супругу вашу, какая бы она прекрасная женщина ни была. Знаю, по прежнему опыту, как полезно в хорошем монастыре пожить неделю, месяц *одному* и как отвлекают *именно близкие люди*⁸, приехавшие с нами, наше внимание от тех впечатлений и дум, которых влияние так дорого. Позднее – другое дело...

Хотя в статье вашей о *Великом Инквизиторе* многое множество прекрасного и верного и сама по себе *Легенда* есть прекрасная фантазия, но все-таки и оттенки самого Дост. в его взглядах на католицизм и вообще на христианство ошибочны, ложны и туманны⁹: да и вам дай Бог от его *нездорового* и *подавляющего* влияния¹⁰ поскорее освободиться!

Слишком сложно, туманно и к жизни неприложимо.

В Оптиной *Братьев Карамазовых «правильным правосл. сочинением» не признают*, и *старец Зосима ничуть ни учением, ни характером на отца Амвросия не похож*¹¹. Достоевский описал только его наружность, но *говорить* его заставил совершенно *не то*, что он говорит, и *не в том* стиле, в каком Амвросий выражается. У от. Амвросия *прежде всего* строго *церковная мистика* и уже потом – прикладная мораль. У от. Зосимы (устаами которого говорит сам Фед. Мих.!) – прежде всего мораль, «любовь» и т. д... ну а мистика *очень* слаба.

Не *верьте* ему, когда он хвалится, что знает *монашество*; он знает хорошо только *свою проповедь любви* – и больше ничего.

Он в Оптиной пробыл дня *два-три всего!*..

«Любовь» же (или проще и яснее *доброту, милосердие, справедливость*) надо *проповедывать*, ибо ее мало у людей и она легко гаснет у них, но не должно *пророчить ее воцарение на земле*. Это *психологически, реально* невозможно и *теологически* непозволительно, ибо *давно* осуждено церковью как своего рода *ересь (хилиазм, т. е. 1000-летнее царство Христа на земле, перед концом света)*. Смотри *Богословие Макария*, т. V, стр. 225, изд. 1853 г.¹²

Аминь.

¹ Фудель – очень умный, сурово-умный человек, но без блеска, без аромата, без гениальности. Он воспроизвел Леонтьева в себе, как деревянная доска – гравюру с живого дерева (= Леонтьева). Именно на Фуделе, может быть, лучше всего можно проследить: «ну что же вышло бы с идеями Леонтьева *вне Леонтьева*? Вне его *личной доброты* и таинственно с монашеством сопряженного эллинского эстетизма?» Фудель в самом христианстве понимает только суровость, черствость, дисциплину. Он, приехав в Петербург, читал здесь публичную лекцию о необходимости поднять, так сказать, «духовные возжи»; а в одном споре со мной – по какому-то теоретическому поводу – открыл какой-то одобренный училищным советом при синоде учебник и сказал: «Вот *тут написано*, чего же вы *спорите*». Я мог бы только ему улыбнуться. Если бы он потребовал объяснения улыбки, я бы ему ответил далее, что *слово Божье* есть все основание моей и *его*, да и вообще *европейской* веры и что была какая-то темная история с знаменитым протоиереем Павским: его хотели лишить сана за опыт *точного перевода* с еврейского языка книг Библии.

{Примеч. 1903 г.}

² Ужасная путаница: два тома «Востока, России и славянства» едва были для меня разысканы в московских книжных лавках; это было за полгода или за год до этого письма. А «приятели» Леонтьева, которым он поручил «даром раздавать и пропагандировать его два тома», преспокойно бросили их на чердак, сказав: «а ну их! конечно, отличные, но не на базар же их вывозить».

Там – торг, все съедобное, и мы сами там полакомимся, но возиться с этою фараоновой коровой, с Леонтьевым, – Бог с ним. Старик наивен и поверит, что мы покою ими не даем знакомым и незнакомым».

{Примеч. 1903 г.}

³ Нет, тут еще причина, фатальнее и глубже. После смерти Л-ва *сейчас* же появились обширные журнальные статьи о нем: моя – в четырех книжках «Русск. вестн.», январь – апрель 1892 г., и, года два спустя, в «Вестнике Европы», в «Русской мысли», в «Русском обозрении» и «Вопросах философии и психологии» целый ряд статей, то полемических, то анализирующих, А. Александрова, кн. С. Трубецкого, П. Милюкова, Л. Тихо-

мирова, Фуделя. И все-же в результате – *ничего, никакого общественного внимания*. Кроме своей библиотеки, я никогда и ни у кого не встречал в библиотеке сочинений Леонтьева. Его имя в обществе если и известно, то *понаслышке*, а не *по чтению*. Я не могу этого объяснить иначе, как следующим, несколько *колдовским* способом. Известно, что в жизни (и в истории) большую роль играют так называемые *нечаянности*. Природа (творческие ее силы) любит как бы *удивлять* человека, видеть его *удивленное* лицо. Поэтому чего мы особенно сильно *ожидаем* или *желаем*, очень часто, до странности часто, *не исполняется*. Л-в, во-первых, имел право на огромное влияние, и, вероятно, первые годы, не сомневаясь, *ждал* его, а потом с каждым годом все мучительнее желал – и тоже *ждал*. Может быть, в истории литературы это было *единственное по напряженности ожидание успеха*: и природа, так сказать, скучая произвести до утомительности подготовленный факт, просто ленилась подойти к этому колодезю ожидания и положить цветок в давно протянутую руку. – «А, ты все ждешь?! Бедный! Вот сейчас; только я сперва подбегу к этому сонному человеку, которому и не брезжется, что он когда-нибудь будет известен, и развоню его имя по всем уголкам вашей России». Годы проходили; Лейкин славился, Гайдебуров гремел, Стасюлевич и Пыпин выросли в отечественные величины. «Ну, что же мне?» – измученно пищал из Оптиной Леонтьев. «Ах, это – ты! ах, это – все он, – говорила Natura-Genitrix. – Правда, надо бы ему помочь, но такая невыразимая скука подойти к этому натруженному месту, натруженной думе, которая по пальцам сочла и перечла все свои шансы и вероятности на успех. Ну, и помогу ему, но завтра; а сегодня свернусь в клубочек и отдохну, ибо и без того уже помогла десятерым». И не наступало этого «завтра», не наступило вовсе.

{Примеч. 1903 г.}

⁴ Ну уж «упоминать». Так и до сих пор, до 1903 г., кроме «любителей», имя Леонтьева, К. Н., куда менее известно, нежели однофамильца его, Леонтьева {Павла Михайловича} – друга Каткова, составителя Латинского словаря.

{Примеч. 1903 г.}

⁵ Удивительно! удивительная *степень* ожидания!! Если бы Л-в вдруг *забыл* возможность славы (исчезло душевное в эту сторону напряжение), как бы заспал ее, – то она сейчас, мне кажется, и вошла бы к нему. *Она все время стояла у дверей его*, но ожидала, пока он перестанет смотреть на нее. Но он не переставал сюда смотреть и так утомил «гостью», что, отойдя, она даже не вспомнила о нем и тогда, когда он умер, и что теперь можно бы его прославить. «А, тот несчастный все скребется в дверь: «не отопру». Но это уже не он скребется, а мыши в его могиле.

{Примеч. 1903 г.}

⁶ Много лет не читав беллетристики и как-то, за исключением великих мастеров, не уважая ее, я так и не попросил у Леонтьева его повестей, думая, что это нечто «средненькое». И никогда не искал с ними знакомства,

пока случайно, года два назад, не наткнулся на них, в старинном издании, чуть ли не шестидесятых годов. Но едва я начал их читать, как поразился красотою и художественной верностью живописи. Молодые греки, мечтающие о парламенте, молодые боярыни греческие, вспоминающие об Аспазии, грубые, суровые, старые турки-паши, большой родовой быт славян, и торговля, везде торговля, и деньги, в перемешивании с разбойничеством (в горах), – все дает великолепную панораму Балканского полуострова перед самым освобождением. Удивительно, что они не переведены на греческий и южнославянские языки. Но когда-нибудь они там станут родною книгой, *своей* отечественной, ибо схватили портрет национальностей в минуту, когда национальной литературы не существовало иначе, как в форме народного песно-творчества. С тем вместе политические идеи Л-ва сквозят везде и здесь; но, одетые в плоть и кровь, они нигде не жестки. Напр., «либералов» греков, молодых университетантов, он рисует чуть-чуть разве смешными, но вместе такими грациозными и милостивыми, что нельзя оторваться от зрелища. И всю картину любишь и уважаешь.

{Примеч. 1903 г.}

⁷ Как все замечено! Какая наблюдательность! Страхову или Рачинскому просто не пришло бы на ум *посмотреть* на это. Иное дело эстету Л-ву: ему дай *лицо* и затем уже начинай «о душе». Я говорю, Алкивиад в нем не умирал, – с длинными волосами, вечно нравившийся женщинам.

{Примеч. 1903 г.}

⁸ Да, *любовь к родному* отвлекает «от нас» (аскетов, аскетизма); а как любить «нас» непременно нужно, – то *оставь родное*, сперва хоть на время, а потом, смотря, как обстоятельства сложатся, – может быть, и навсегда. Таков исторический, тихонький, вполголоса припев аскетизма. «Хочешь поцеловать детей? На, лучше поцелуй набалдашник моего посоха».

{Примеч. 1903 г.}

⁹ Этого нельзя отрицать. Сперва «Легенда» поражает блеском и глубиной; *афоризмы* из нее и навсегда остаются глубокими, прекрасными. Но только афоризмы: в целом Д-ский построил совершенно невозможную (и неверную) концепцию христианства и церкви, говорит о не бывшем, как о бывшем, а может быть, главного-то в *бывшем* и не заметил. В конце концов Легенда и основной ее замысел даже банальны: все съезжает на трафарет вечного плача: «все *люди* (= инквизиторы, католики) испортили, нагадили и из золотого зерна безмерной цены *вырастили* крапиву». Но нам думается, как бы злоумышленник-садовник ни старался, или как бы он глуп и, наконец, пьян ни был, все же из яблочка вырастет, хоть и кривая, но *яблонька*, и если уж поднялась крапивка, то верно из крапивного зерна.

{Примеч. 1903 г.}

¹⁰ Д-ского я читал, как *родного*, как *своего*, с 6 класса гимназии, когда, взяв на рождественские каникулы «Преступление и наказание», решил ознакомиться с писателем для образовательной «исправности». Помню этот

вечер, накануне сочельника, когда, улегшись аккуратно после вечернего чая в кровать, я решил «кейфовать» за романом. Прошла вся долгая зимняя ночь, забрезжило позднее декабрьское утро: вошла кухарка с дровами (утром) затопить печь. Тут только я задунул лампу и заснул. И никогда потом *нервно не утомлял* меня (как я слышал жалобы) Достоевский. Всего более привлекало в нем отсутствие литературных манер, литературной предвзятости, «подготовления», что ли, или «освещения». От этого я читал его как бы записную книжку свою. Никогда ничего непонятого я в нем не находил. Вместе с тем, что он «все понимает», все видит и ничего не обходит молчанием, уловкою, – меня в высшей степени к нему привлекало. Но, я думаю, в конце концов Д-ский *себя сам не понимал*, т. е. не знал того, *из какого* он зерна растет и *куда* растет. В последнем анализе и, так сказать, при последнем ударе аналитического резца он отступал назад; это – везде. Он – *ослабевал*. Между тем надо было только на шаг еще дальше продвинуться, а затем «на другой ключ» перестроить все струны арфы, – и получилась бы та чудная мелодия, «гармонии», которые он чувствовал как бы сквозь сон, но их въявь и пробужденно никогда не увидел. Его считают иногда «жестоким» (в идеях, в картинах). Может быть, «новый ключ» арфы и заключался в тоне кротости, в замене тона негодования, презрения, насмешки, – в котором ему надо было рисовать, пожалуй, ту же «живую фотографию» (есть такие детские картинки), какие он рисовал. Тон детства надо ему было взять взамен тона *старости*. У него взят почти всюду тон старости, даже тон брюзжащего старикашки.

{Примеч. 1903 г.}

¹¹ Леонтьев, в оценке этого факта, многого не принял во внимание. Прежде всего, Д-ский, не менее Л-ва *странный и самостоятельный, удался* в литературе и горит на небосклоне ее огромною (и вещею) кометою, с бесчисленными искрами хвоста ее. *Вся* Россия прочла его «Братьев Карамазовых» и изображению старца Зосимы *поверила*. От этого произошло два последствия. *Авторитет* монашества, слабый и неинтересный дотоле (кроме *специалистов*), чрезвычайно поднялся. «Русский инок» (термин Д-го) появился как родной и как обаятельный образ, *в глазах всей России*, даже неверующих ее частей. Это первое чрезвычайное последствие. Второе заключалось в следующем: иноки русские, из образованных, невольно подались в сторону *любви и ожидания*, пусть и неверных, какие возбудил Д-ский своим старцем Зосимою. Явилась до известной степени новая школа иночества, новый тип его: именно – любящий, нежный, «пантеистический» (мой термин в применении к иночеству) . Явился, напр., тип монаха – ректора заведения, – просто не знающего личной жизни, личного интереса; живущего среди учеников буквально, как отец среди детей. Если это не отвечало типу русского монашества 18-го – 19-го веков (слова Леонтьева), то, может быть и даже наверное, отвечало типу монашества 4-го – 9-го веков. Вот чего не принял Л-во во внимание.

{Примеч. 1903 г.}

¹² Ну, тоже все «авторитеты». Тут смотри, кто у кого понадерган, который компилятор у которого: «инде из немцев, инде из англикан, инде от латинцев, – хоша они и папезники, но грамоте больше и раньше нас научены». Все это богословствование из книги в книгу с каждым новым переписыванием все разжижается. Истины религиозные самовозжигаются из опыта. И кто «на кресте» (биографическом) не бывал, тот и Бога не узрит. «Голгофа» таким образом имеет свой смысл – источника великих откровений; только ее сам переживи и никогда, никогда другому ее не навязывай. Лучше пройди мимо и Голгофы, и откровений. Но если случится на нее взойти, то вот, отверзутся очи твои на многое неожиданное. Ошибка исторического христианства заключалась главным образом в том, что, поджимая под себя хвост при виде страдания, однако же находились (и всегда находились) трусливые, говорившие: «я боюсь, а ты, *однако, поиди*». Не само-страдальцы испортили его, но то, что на их путь стали звать вообще человечество сытенькие. Леонтьев свое страстное и острое монашество вынес из десятилетий биографического уныния, о котором слишком ясно в приведенном письме говорит (что значит *для писателя*, и урожденного, с призванием, – почти не быть даже и читаемым!). Но что, если бы начинающему писателю не только посоветовать, но и фактически, творчески создать, обусловить полную и навсегда судьбу: остаться вовсе в неизвестности. И еще с присказкой: «ничего, зато вы спасетесь, станете, может быть, монахом; в немощах ваших сила Божья скажется». Затем, естественная жизнь человеческая, и именно в миру, среди людей, имеет уже сама в себе *естественные* страдания, роковые, неустраимые. Главным образом, это суть: болезни, смерть, бедность, изнеможение в труде, разочарование в близких людях. Их всех не знает, не несет монашество; этот *легчайший*, беспечальный и беспечный, *путь жизни* (только одна «скорбь»: не касаться женщины). Что значит, напр., для родителей потерять девятилетнего единственного ребенка, уже столь возлюбленного, на котором висит, можно сказать, весь смысл дома их, жизни, биографии, быта!! Монах этого не знает! Что, далее, значит любящей жене вдруг узнать о неверности мужа, мужу – о неверности жены!! Как потрясается вся жизнь. Через душу переехал поезд, оставив тело живым, – вот сравнение! Поэтому, если аскеты говорят (как деревянное правило), что «надо искать скорбей» или «не убегать скорбей», то именно потому, что они вовсе и не знают скорбей иначе, как в форме грибного стола во все посты и пресловутого «некасания женщины». Отсутствие и незнание *настоящих* «скорбей» и заставило их так легко обходиться с их идеей. Голгофа есть в жизни, неизбежна. И еще увеличивать ее, искать – *грех*.

{Примеч. 1903 г.}

III

24 мая 1891 г., Опт. пустынь

Очень рад, Василий Васильевич, что мой неудачный, черный портрет удовлетворил вас, – только, поверьте, «черт не так страшен, как его рисуют!»... Я вовсе (уввы!) не «мрачен» на деле. Очень желал бы быть *природно*, естественно мрачнее; это *выгодно* в жизни; к несчастью, я лично не только весел, но даже и очень легкомыслен. А если в сочинениях моих много мрачного, то это уж не мой личный характер, а *правда жизни самой*, на которую ранние занятия анатомией, медициной, зоологией, ботаникой и т. д. приучили меня смотреть объективно, т. е. по возможности независимо от моего личного характера и личных обстоятельств. Так мне кажется, а впрочем, себя судить трудно, и я могу ошибаться в понимании *источников* такой комбинации; *сам* веселый и даже нередко легкомысленный, по воззрениям пессимист (впрочем, «оптимистический», т. е. «слава Богу, что не хуже», «страдания полезны» и т.д.). В понимании *источников* могу ошибаться, но самый *факт* сочетания этого верен.

Так себя и рекомендую на случай личного знакомства.

Дальше и я буду отвечать вам по пунктам.

1) *Вы женитесь!* Дай Господь мир и любовь. Не знаю, какова ваша невеста, но расположившись к вам за ваше ко мне заочное и *неожиданное* сочувствие (вы догадываетесь, конечно, что я этим не избалован, как Толстой и Достоевский) и замечая и по статьям вашим, и по письмам, что вы человек, *глубоко все чувствующий*, молю Бога, чтобы Он подкрепил вас на этом, столь скользком в наше время пути! Главное для меня, *самое главное*, чтобы вы *прежде невесты успели поставить ногу на венчальной коврик!* Вы, конечно, знаете, *что* это значит?

Один 40-летний супруг, жену свою любивший неизменно и нежно в течение 20 лет и вполне ею довольный, говаривал мне, однако, не раз: «Муж должен быть главою, но пусть хорошая жена вертит им так, как *шея* вертит *голову*. Кажется, будто голова сама вертится, а вертит ее шея; не надо, чтобы жена видимо командовала, это скверно». И я совершенно с ним согласен.

Мы давно уже привыкли к улыбочкам и шуточкам при чтении свадебного апостола, когда диакон возгласит: «А жена да *боится* мужа своего!» А шуточного или «несовременного» тут нет ничего. Хорошая жена должна хоть *вид* подчинения показывать, если у нее и нет настоящей боязни. Разумеется, и у апостола Павла тут дело идет не о том, чтобы у всякой жены ноги подкашивались от страха при взгляде на мужа, но о *духовном страхе*, о страхе согрешить не только изменой, но и всякими мелкими сопротивлениями и *словесными* оскорблениями, на которые так падко большинство женщин. (Особенно они стали падки до этого в XIX веке, с тех пор, как их стали, к *сожалению*, реже за это *бить*!) Мужчина мужчины боится (*всякий*, хоть до известной степени); у мужчин *слова* не шутка, — во всех классах общества пощечина, кулак, топор, поединок, — *все это помнится* очень хорошо. Но *нынешние* женщины привыкли безнаказанно говорить мужьям, любовникам, братьям, знакомым, даже отцам или воспитателям такие вещи, за которые телесное наказание весьма еще слабое возмездие. Ибо боль от телесного наказания скоро проходит, а боль от некоторых слов бывает так глубока, что *десятки* лет дает себя, при случае, опять чувствовать. Я не верю даже, чтобы самый искренний христианин мог *вполне забыть эти* обиды; он может простить (и то после *долгих молитв и размышлений духовного рода*, иначе он пустой человек); может не мстить, даже с радостью заплатить добром; но *боль и негодование* при случайном воспоминании останутся навсегда! Дай Господи, чтобы ваша будущая супруга была в этом отношении одной из тех исключительных женщин, которых и мне посчастливилось *изредка* встречать. Встречал, но мало, а больше несносны! Трудная вещь брак! Труднее монашества, уже потому, что монашество прямо имеет в виду тернии, а на этих терниях все-таки расцветают, хоть и не розы, ну а мелкие и весьма иногда милые и душистые цветы неожиданных утешений; брак же с привлекательной девушкой, разумеется, в первое время похож на венок из роз и жасминов, но тем ужаснее колют шипы его!

Смолоду я сам был пламенный защитник женщин, но к 1/2 жизни я жестоко разочаровался в них и перешел на сторону мужчин. Недавно мне случилось присутствовать при беседе одной дамы с молодой, но очень умной служанкой, весьма при этом доброй и религиозной. Дама начала бранить мужчин, а молодая служанка (сама замужняя) возразила ей на это: «Однако, правду сказать, и у нашей сестры много *подлости* есть!» Я ее чуть не обнял за это!

Конечно, все, что я пишу, – не совсем «свадебно» и празднично, и я прошу вас простить мне этот «сті І’ате». *Насмотрелся, особенно в России (на Востоке женщины посдержаннее), и не скажу – теперь, а даже с ранних лет!*

Прошу вас, какова бы ни была ваша невеста, – *станьте первый на коврик...* Если она кроткая¹, ей это понравится, если вспыльчивая, тем *нужнее это*. У меня прошлого года была напечатана в «Гражд.» статья «Добрые вести», в 4-х главах, о современном, *весьма* сильном религиозном движении в среде русской образованной молодежи (идут в священники, в монахи, ездят к старцам, советуются с духовниками, решаются даже поститься; Достоевским, слава Богу, уже не удовлетворяются, а хотят *настоящего* православия, «мрачно-веселого», – так сказать, *сложного* для ума, *глубокого и простого* для сердца и т. д.). Трех первых глав у меня нет, а есть одна IV; в ней говорится о религиозности женщин, о семье, о монастырях, которые посещать нужно, и т. д. Позвольте мне предложить эту главу невесте вашей, как свадебный подарок. Кто знает, – может, и *пригодится*. А пока пришлите мне, пожалуйста, и вашу фотографию, и фотографию невесты. Хочется *вообразить*, и никак не могу.

Теперь – 2). Вы пишете, что подозреваете и Страхова, и Соловьева в «зависти»². Избави Боже вас это думать, особенно про Влад. Соловьева. В Соловьева, как в человека, я влюблен (хотя ужасно недоволен им за его наверно *лживый* переход на сторону прогрессистов и Европы). И он, – я имею этому доказательства, – меня *очень* любит лично; у нас были *особого рода* условия для личного сближения, между прочим, мое короткое знакомство с человеком, к которому он давно привязан. Я не могу сверх того вообразить даже, чтобы человек, который во всех отношениях выше меня, стал бы **мне** завидовать! В чем же? Помилуйте! Не в *успехе* ли?!³ Я, конечно, с другой стороны не могу не считать себя *правее* его в моих воззрениях на веру, жизнь России и т. д. Иначе зачем бы я писал (не видя вдобавок даже и тени справедливости к себе со стороны серьезной критики)? Но ведь *правильность и правда* взгляда не значит еще превосходство таланта и познаний? Эти последние на его стороне, *бесспорно*. Чему же завидовать: дарований и знания у меня меньше⁴ (разве он этого не знает?), годов гораздо больше, т. е. силы и охоты к борьбе гораздо меньше, а успеха, популярности, даже простой известности – очень мало. А не писал он обо мне (т. е. он не раз и с большой похвалой упоминал обо мне, но всегда мимоходом, а не специально) по двум

главным причинам: во-первых, по разным случайностям (*fatum!*), вроде хоть *вашей* же (начали статью и *бросили*⁵, *женитьба*, *экзамены* и т. д. Разве не *fatum?*), а во-вторых, именно потому не решался писать, что лично очень любит меня, а между тем сам признавался, что мягко писать против большинства моих идей ему трудно; начал прошлого года специальную статью, но *бросил*, побоялся оскорбить человека, резко разбирая писателя. Я сказал ему, что только пусть не слишком *злит*ся (как на других), а пусть пишет так, как думает и как говорит мне же на словах, при свиданиях.

Недавно я получил от него письмо, где он сообщает, что скоро появится (вероятно, в «Русск. мысли») статья «Идейный консерватизм», где главная речь будет обо мне... Интересно! Ожидая и одобрений, и порицаний самых резких (за ненависть к Европе, за излишество эстетики во взгляде на жизнь, за неподвижность в старом православии и т. д.).

Очень бы интересно и *вашу* статью прочесть. Не пришлете ли вы мне ее в рукописи, как есть? Это было бы мне **большим** утешением в моем одиночестве. **Вы** (да еще двое-трое *молодых* людей) понимаете меня *именно так, как я желал всегда быть понятым*.

Как вам кажется, – я думаю, это для меня-то не *шутка!* И можно позаботиться даже и за два дня до свадьбы упаковать и прислать рукопись. Почерк ваш я разбираю хорошо. Да коли хвалите, так уж тщеславие научит догадаться!

3) *Брату* вашему книги мои пошлю, как только получу из Москвы несколько экземпляров.

4) Вы желаете, чтобы я вам побольше написал о Страхове. Простите, не *хочется!* Я всегда имел к нему какое-то «физиологическое» отвращение; и очень может быть, что и у него ко мне такое же чувство. Но разница в том, что я всегда *старался* быть к нему справедливым (т. е. к *сочинениям* его) и пользовался всяким поводом, чтобы помянуть его добром в печати: советовал молодым людям читать его, дарил им даже его книги, а он ото всего подобного по отношению ко мне всегда уклонялся, и примеров этой его недобросовестности я могу при свидании (о котором *мечтаю!*) рассказать вам много. Но и *в нем зависти собственно* ничуть не подозреваю. Хотя *его-то*, с его *тягучестью* и *неясностью идеалов*, я уже никак не намерен считать выше себя (подобно тому, т. е., как считаю Владимира Соловьева, несмотря на его заблуждения и *прогрессивное иезуитство*), ибо доказателен ли я или нет, не знаю, но знаю, что всякий умный человек поймет, чего я хочу, а из Страхова никто ни-

чего *положительного* не извлечет, у него все только тонкая и верная критика, да разные «уклонения», «умалчивания», «нерешительность» и «притворство». Но ведь из того, что я считаю его по всем пунктам (за исключением *двух*: систематической учености и умения *философски* излагать) ниже себя, не следует, что и он в этом со мной согласен. Я думаю, *наоборот*, он себя считает гораздо выше: иначе он писал бы обо мне *давно*. У него есть *три* кумира: Аполл. Григорьев, Данилевский и Лев Толстой. Об них он писал давно, много и настойчиво, о *двух первых* даже *он один*, и писал постоянно и *весьма мужественно*. И даже нельзя сказать, что он *критиковал* их: он только *излагал и прославлял* их. Их он считает выше себя и честно исполняет против них свой литературный долг. И в этом он даже может служить примером другим. Владимир Соловьев правду говорит, что характер его очень непонятный и сложный: и добросовестен, и фальшив и т. д. Я думаю так: он писал бы обо мне много в двух случаях: или если бы он сам, независимо от других, ценил меня высоко⁶, или если бы и не ценя, видел, что у других, у многих я имею успех и что с влиянием моим необходимо считаться (как считаемся мы с «либералами»). Но ни того, ни другого нет. Значит, и ему завидовать *нечему*... Дурак будет тот, кто в *литературе* мне позавидует, а он не дурак.

Моя литературная судьба есть удивительная школа терпения – и только! Завидовать нечему! А *поучиться* некоторому *неозлоблению*, думаю, можно. В отношении Страхова ко мне прежде всего есть что-то загадочное, так думает и Владимир Соловьев. Объяснить очень трудно. Все объяснения не подходят⁷.

Ну, прощайте. Господь с вами. *Не раз уже молился* за вас грешными моими молитвами и впредь не забуду. Отчего бы вам не побывать *и с молодой женой у от. Амвросия* (да и у меня кстати)? *Диаконицу* хвалите, а сами *подражать* ей не хотите?

Ваш от души К. Леонтьев

Рукопись и портреты, ваш и жены вашей, не забудьте прислать. Только с *женой вместе на одной фотографии не снимайтесь*, ради Бога. Это ужасный *mauvais genre*!

P.S. 25-го мая. Две заметки о *Соловьеве* Влад. На счет его даровитости.

Я ему раз писал (прошлой зимой) в частном письме: «Счастье ваше в том, что вы способностями выше *всех* ваших противников (*переименовал*: Страхова, себя, Яроша, Астафьева и т. д.); но из это-

го не следует, что вы теоретически правы и что жизнь пойдет по вашему пути. И Наполеон I был выше всех современных ему полководцев, выше Веллингтона, Кутузова, Блюхера, Шварценберга и т. д. *И они все сознавали его превосходство; но все-таки оружия не слагали и кончили тем, что низложили его, ибо история была за них, а не за него*». Соловьеву это так понравилось, видно, что он читал это место Страхову (пропустивши, впрочем, – к сожалению – его имя). Страхов тогда обратился ко мне с письмом, в котором рассказывал о «хвастовстве»⁸ Соловьева и кстати спрашивал, как я думаю о «фальшивости» и «лукавстве» Соловьева, который его, Страхова, в этих же именно дурных свойствах обвиняет. Вообразите оригинальность моего положения между почти единомышленником, которого я не люблю и даже не уважаю, и противником, которым и лично, и литературно восхищаюсь?! Считаю Страхова и по *природе*, и специально в делах со мною крайне фальшивым⁹, утомленный, наконец, собственным моим по отношению к нему долготерпением (30-летним!), я ответил ему кратко, *открытым* письмом, что «не намерен входить в подобный разбор, кто из писателей наших более фальшив и кто менее, но предпочитаю ответить словами прор. Давида: *Уклоняющегося от меня лукавого не познах* (т. е. не хочу с ним больше водиться)».

НВ. И *после этого* как *раз* вам случилось к нему обратиться за сведениями обо мне.

2) *Вл. Соловьев о Достоевском в частном письме.*

Лет 6 тому назад Соловьев, *почти* тотчас же вслед за произнесением где-то трех речей в пользу Достоевского (где между прочим он возражал и мне, на мою критику пушкинской речи Д-го, и утверждал, что христианство Д-го было *настоящее* святоотеческое), написал мне письмо, в котором есть следующее, весьма злое место о том же самом Фед. Мих-че: *«Достоевский горячо верил в существование религии и нередко рассматривал ее в подозрную трубу, как отдаленный предмет, но стать на действительно религиозную почву никогда не умел»*.

По-моему, это злая и печальная правда!

Ведь я, признаюсь, хотя и не совсем на стороне «Инквизитора»¹⁰, но уж, конечно, и не на стороне того безжизненно-всепрощающего Христа, которого сочинил сам Достоевский. И то, и другое – крайность. А еванг. и свято-отеч. *истина в середине*. Я спрашивал у монахов, и они подтвердили мое мнение¹¹. *Действительные инквизиторы в Бога и Христа веровали, конечно, сильнее самого*

Фед. Мих.¹² Ив. Карамазов, устами которого Фед. Мих. хочет уни-
зить католичество, – совершенно неправ.

Инквизиторы, благодаря *общей* жестокости века, впадали в ужасные и бесполезные крайности; но крайности религиозного фанатизма объяснять безверием – это уж слишком оригинальное «празднословие». Если христианство – учение божественное, то оно должно быть в одно и то же время и в высшей степени *идеально*, и в высшей степени *практично*. Оно таково и есть в форме *старого* церковного учения (*одинакового* с этой стороны и на востоке, и на западе). А какая же может быть практичность с людьми (даже и хорошими) без некоторой доли *страха*? «Начало премудрости (духовной) есть *страх* Божий; *плод* же его *любь*».

Все прибавки к вере и все «исправления» 19-го века никуда не годятся, а наши *русские* и тем более, ибо они даже и не самобытны; я могу привести цитаты из Ж. Занда и др. французских авторов, в которых раньше Достоевского говорится о «любви» и против *суровости католичества*. Старо и ошибочно. Разница между православием и католичеством – велика со стороны *догмата, канонических отношений, обрядности* и со стороны *истории развития* их; но со стороны *церковно-нравственного духа* различия очень мало; различие главное здесь в том, что *там* все ясно, закончено, выработано до сухости; а у нас недосказано, недоделано, *уклончиво*...

Но это относится не к *сущности нравственного учения*, а к истории и темпераменту тех *наций*, которые являются носительницами того и другого учения.

3) *Насчет ваших книг*. За присылку их очень вам признателен; *брошюры* все прочел с величайшим удовольствием, и это чтение усилило во мне еще больше желание *видеть вас*. Вы уже тем подкупили меня еще и раньше, что *имели неслыханную у нас смелость впервые с 40 годов заговорить неблагоприятно о Гоголе*. Это большая смелость и великая заслуга. Сочинения последнего его периода, т. е. самые знаменитые, очень обманчивы и вредны; я тоже писал об этом кое-где мимоходом; но я стар, а вы молоды. Честь и слава вам за это! За большую книгу «О понимании» еще не принимался. *Боюсь* немножко, ибо, хотя я не лишен вполне способности понимать отвлеченности, но очень скоро устаю от той *насильственной и чужой последовательности и непрерывности*¹³, в которую втягивает меня всякий философ. Большею частью, по философским книгам только «порхаю» с какой-нибудь своей затаенной «тенденцией»; *ищу* – и порхаю; не как бабочка, конечно (ибо это для 60-летнего старика

было бы слишком «грациозно»), ну а как какая-нибудь шершавая пчела (трутень?).

4) Что вы нашли «благообразного» в *наружности* Ник. Ник. Страхова? Не понимаю!

Вот наружность Соловьева – идеальна, изящна и в высшей степени оригинальна.

А Страхов? Не понимаю!

«De gustibus non est disputandum!»

Впрочем я пристрастен: у Соловьева мне и слабости, и пороки нравятся; а у Страхова я и самое хорошее – признаю... конечно, признаю, но – прости мне Господи! – скрепя сердце!

Когда дело идет о Соловьеве, мне надо молиться так: «Боже! Прости и охлади во мне мое *пристрастие!*» А когда о Страхове, то иначе: «Боже! Прости и уменьши мое отвращение»ю.

И то, и другое – *грех*: христианство – *Царский* путь, *средний!*

27-го мая

Вчера уже письмо было запечатано и готово для отправки, а сегодня я распечатал его, чтобы сообщить вам *три* новости.

Во 1-х, получил вчера же извещение, что Говоруха-Отрок скоро приедет *пожить* в Оптину, перед путешествием за границу (преимущественно в Царьград, – хвалю!); с другой стороны, тот самый *Фудель*, которому я посвятил мои письма о *Национальной политике*, на днях предупредил меня, что он уже в дороге и в *1-х числах июня* будет у меня. Не соблазнит ли вас хоть этот случай – познакомиться с двумя даровитыми единомышленниками? Не привлечет ли хоть это вас сюда?

Фудель человек замечательный; ему не более 26 лет; он уже 3-й год *священником* в Белостоке и теперь надеется быть переведен в Петербург, для слушания лекций богословия. Он кончил курс юристом в Москве; под влиянием Ив. С. Аксакова и все *того же* Достоевского, напечатал очень хорошую («аки *млеко* первоначальное») книжку, «Письма о русской молодежи», против нигилизма и в духе того пламенного тумана, в который заводят оба вышеупомянутые знаменитые авторы. Потом, не хуже вас, вступил со мной в переписку; *не долго думая* (он решителен и тверд: *немецкая кровь* по отцу, *польская* по матери! Увы!), приехал сюда, поговорил с от. Амвросием и со мной и благословился у от. Амвросия пойти в священники. Я рекомендовал его Победоносцеву и др. лицам, – его рукоположили более 2-х лет тому назад (он женат), и туман «гармонии» и т.п.,

слава Богу, совсем прояснился; он предался безусловно христианству, *известному, ясному и сформированному*, и совершенно доволен с этой стороны своей судьбой. Он понял очень быстро, что с одним моральным идеализмом («любовь», «гармония», «Он» [Христос – только прощающий]) далеко от современного смятения мыслей и чувств не уйдешь, и нашел спокойствие духа в том, что я с *метафизической* точки зрения позволяю себя называть *материалистическим спиритуализмом* [например, Христос – вполне Бог, но и вполне человек, за исключением греха: т. е. *воплощение*; наше воскресение *плоти* после общего суда; *все таинства*: вода (крещ.), миро (миропом.), вино и хлеб (причащ.), елей (елеосв.), брачное соединение *плоти* (брак), **руко-**положение (священство), *человеческая* беседа (исповедь), *поклоны, крест, просвирка, икона*, даже и чудотворные *мощи, свечи, лампы* и т. д. Разве все это не *вещество, мистически одухотворенное?* Та мистика и не *настоящая*, которая не нашла себе материальных форм!]. Это с метафизической точки зрения, а с *лично психологической* настоящее христианство можно (как я уже писал вам и с чем вы согласились) назвать *трансцендентным эгоизмом*, влекущим, однако, за собой неизбежный и практический, земной *альтруизм*, хотя *немного*, да влекущим, даже и в самых злых и грубых людях. (Нач. премудр, *страх* Господень!) Рекомендую вам Фуделя с *самой лучшей* стороны. Хорошо бы сходитьсь и съезжаться! Но мы этого не делаем! Или очень мало...

Вторая новость касается вашей книги «О понимании».

От Амвросий говорит часто, что там, где нет «страха Божия», и страх человеческий очень полезен. Вот вчера напал на меня некий весьма тонкий страх *человеческий*. Вас испугался. Я подумал: «Вас. Вас. Розанов, видимо, человек сильно все чувствующий, а ну, как он меня возненавидит за то, что я долго за его книгу не принимаюсь?»¹⁴ Ведь мне же будет грех, что я и из-за лени моей ввел в искушение хорошего человека! Да и сам я желаю, чтобы он меня любил, а не ненавидел» и т. д.

И попробовал «попорхать». Присел в одном месте (в конце): смотрю – мед; присел в другом – тоже все хорошо и *понятно* (даже и *мне* – не метафизику!) и *ново* во многом. Остался ужасно доволен и, оставив свое обычное легкомысленное дилетантство, приступил к систематическому чтению с *первой главы*.

Различение *знания* от *понимания* мне показалось очень ясным, верным и (для меня, по крайней мере) *новым*; я нигде этого не встречал...

Очень хорошо и *доступно!*..

При этом, признаюсь, я осмелился, применяя это различие и к своим собственным сочинениям, подумать: статья моя «*Русские, греки и юго-славяне*» есть выражение моего знания; я описал их свойства и различия, а моя теория (гипотеза?) *триединого* процесса в истории и в особенности гипотеза *смешения*, ведущего к *упрощению образа и смерти* (исчезновению), – есть выражение моего понимания. Это есть *открытие*, если оно оправдается трудами людей, более меня ученых¹⁵.

Так ли я понял? Не сомнение ли это одно? Вырвитесь на мгновение из объятий суженой вашей, чтобы или *уничтожить* мою претензию, или поддержать ее... Я давно этого решения жду от кого-нибудь, но почти все *именно этот пункт* обходят в молчании... Только один Астафьев лет 5–6 тому назад, на публичных лекциях своих (*весьма* малолюдных) и в отдельной брошюре потом признал эту гипотезу *смешения* глубокой и важной. Но он так неясно и тяжело пишет и говорит, что портит этим все лучшие свои задачи. Буду теперь уже, не порхая, продолжать чтение вашей книги.

Третья новость. «Сборника» моего («Вост., Россия и Сл-во») мне вчера прислали из Москвы *10 экз.* Из них я брату вашему пошлю 2 экз. Один с надписью, как вы советовали, а другой так, для *пропаганды*: если вы желаете, то и вам, для *последней цели*, пришлю экз. *пять*.

«Национ. политики» у меня нет, и не знаю, где ее склад! Брошюра эта была издана одним приятелем, она, как водится с моими книгами, почти вовсе не пошла; приятель не окупил даже расходов; потом сам заболел (болезнью головного мозга), удалился к отцу в дальнюю провинцию, и хотя теперь ему и гораздо лучше, но я не хочу беспокоить его вопросами о том, где склад брошюры и т. п.

Хорошее издание «От. Климента» здесь все истошилось, а в Москве оно почти не продавалось, ибо от. Амвросий в течение многих лет раздавал ее даром людям образованного класса.

Есть у меня плохое издание, – не знаю, послать ли его вашему брату или нет? Очень уж скверно издано в Варшаве (в 80-м году).

Еще раз прощайте.

Видите, как вы ошибились, предполагая, что я тягочусь писать письма? Право, это гораздо приятнее, чем писать статью для печати. Пишешь письмо к единомышленнику или к близкому, с убеждением, что возбудишь или сочувствие, или живое возражение; пишешь

статью для публики, – знаешь, что встретишь или удивленное непонимание, или насмешки над «оригинальностью» и «чужацеством» своим, или обвинения в «парадоксальности», или чаще всего пренебрежительное молчание...

Прибавьте к этому 60 лет, лень, недуги, полнейшую обеспеченность спокойной и уединенной жизни, а главное, постоянную боязнь согрешить на краю могилы излишними волнениями литературного самолюбия, – и вы поймете, почему гораздо приятнее писать Фуделю, вам и некоторым другим людям, чем для печати: как-то *нравственнее чище, безгрешнее, бескорыстнее*¹⁶.

Ваш К. Леонтьев

¹ Все это длинное рассуждение, к счастью, оказалось *не нужным*. «Коврика» и не заметил, не то чтобы пытаться «ранее вступить на него». Но какова, однако, *психология предвечная* у нас, вызвавшая вековым постоянством своим обычай. «*Кто-то* из нас будет господствовать?»... Вспоминается слово, сказанное Израилю Богом через пророка Иезекииля: «и ты не будешь Меня более называть *господином* (Ваал), а будешь называть Меня *супругом*» (Иегова). Да супружества *нет вовсе*, если оно не каплет, как мирра, нежностью и благоуханием, взаимной уступчивостью, *восторгом* уступчивости. «Вступи *ты первый* (или: «*ты первая*») на коврик» – вот долженствующая, правильная психология супружества. Но нравы потекли так, что этого никто не говорит. И снова вспомнишь Завет Ветхий, Завет *Вечный* по слову Божию, столь нам нужный сейчас, практически нужный. «*Ты и семейство твое*» – вечный словооборот в законодательстве «раба Божия Моисея». Человек не мыслится *без семьи*, как предмет не существует и не мыслится *без тени*. Оттого сотворение Евы примыкает так *органически* к сотворению Адама («из ребра его»), дабы показать, что и мыслиться они не должны друг без друга. Они – *органически*, и притом *предустановленно органически*, соединены: и ни Адам *не кончен без Евы*, ни Ева *не начата без Адама*. Здесь – любовь, от самого создания и в плане самого создания. Бог в могуществе своем мог бы сотворить Еву из второго куска глины: тогда любовь была бы *возможна*, а не стала бы *требуема*. Давно уже у нас (в Европе) стала любовь и связь супружества чем-то «возможным для всякого», а не «необходимым для каждого». Не прибавляем мы: «*ты и семейство твое*», ибо человек может быть *и без семейства*, мыслится и *бессемейным*. Все поставлено так, как если бы «Адам» и «Ева» были сделаны из двух отдельных глиняных куколок. Все уже разрушено и, может быть, невосвратимо. Правда, и мы риторически повторяем: «муж и жена – одно», но это – не слово любви (ибо не из любви течет), а слово власти. *Мы* соединили, *стало быть* – одно» (= «крепко»). И колотит «одна половина» другую. Ревет вторая половина: «мочи нет терпеть!» Но ей гордо отвечают: «тише... сделай веселое лицо; улыбайся; сохрани обман, не

выдай нас: *ведь вы теперь одно, ибо мы вас соединили и уже невозможно разделить вас*, так как это значило бы признаться в бессилии нашего соединения; а такому признанию препятствует наша гордость». Вот отчего в Библии есть картины Содомы и Гоморры, не утаен случай Лота и его дочерей, вообще *ничего не утаено*: но на всем протяжении ее листов ни одного (ни одного!) случая, где бы 1) муж жену бил, 2) родители били свое дитя. Все дети рождались в любви, а все супружества были счастливы. Чем, какими мерами золота оценить единственный этот социальный и исторический факт? И не воображайте, что это проистекало: 1) от послушливости еврейских детей, 2) от покорливости еврейских женщин, 3) от любви мужей-евреев. Из непослушания их Моисею, из послушания их пророкам и Богу ясно, что народ еврейский был буйный, самонадеянный и страстный. Да, но и тигр *любимую тигрицу любит, а не грызет*. Дело в том все, что каждый еврей *жил именно с любимой женою*, а каждая еврейка была *супругою именно любимого человека*; что у них законы о браке, через Моисея данные и потом подробно *в том же духе* разработанные, были торопливыми слугами на побегушках у любви («ребро Адама»); тогда как у нас любовь – робкая раба закона, который с нею не сообразуется, а ее с собою, с своей гордостью и неподвижностью, хочет сообразовать. Невозможно не заметить, что даже Вирсавию с Давидом *не разъединил* пророк Нафан; а Бог Вирсавии от Давида дал сына Соломона. И Бог, и пророки, и закон простирались, как голубой полог неба, над любовью, утучняя ее плодородием и никогда-то, никогда ей не противясь. У нас «не так люби, как хочется, а как мы *велим*», и «жена *да боится* своего мужа» и «коврик» и «кому первому на него вступить». Да, есть «*благословенный*» и «не благословенный брак» не только индивидуально, но и исторически. В Европе, во всей толще ее веков и народов, «брак не благословенный»; над ним, над семьею европейскою (вовсе не библейски устроенною, а *по римскому языческому праву*) явно нет полога Неба, нет Промыслителя. Это – *не божественный брак*. В Ветхом Завете он был божественный, «благословенный Богом брак».

{Примеч. 1903 г.}

² Мне казалось непостижимым, как можно было *знать* труды и личность Л-ва и молчать (столько лет!) о нем. Так как Л-в мне представлялся ярче, гениальнее обоих названных писателей, то я в изумлении и назвал порок «зависти» как единственное объяснение молчания их, помимо которого ничего не мог придумать.

{Примеч. 1903 г.}

³ Ничего этого я не думал и думал о чувстве Сальери в отношении к Моцарту. Что значит зависть к *успеху*, сравнительно с завидованием *душе* золотой, Богом возлюбленной, гениальной?

{Примеч. 1903 г.}

⁴ Какой везде прелестный о себе тон: вот этому-то, способности такого тона, и можно было «завидовать», как настоящему и чудному дару Божию.

{Примеч. 1903 г.}

⁵ Ранее знакомства (т. е. переписки с Л-вым) я начал для «Русск. вестн.» большую о нем статью: «Эстетическое понимание истории», прерванную на первом отделе моими личными хлопотами. Она была окончена только при известии о смерти Л-ва и напечатана в «Русск. вестн.» посмертно.

{Примеч. 1903 г.}

⁶ Я не выпустил ни одного из жестких слов Л-ва о Страхове и должен их уравновесить словами Страхова о Л-ве. Прочитав «Анализ, стиль и веяние» Л-ва, я был поражен, встретив *совершенно нового в литературе человека*, увидев «литературный портрет», какого вовсе (ни у нас, ни у иностранцев) не видывал никогда. Впечатление свое я сообщил Страхову, с которым был интимен. Но, как верно здесь пишет Л-в, Страхов был «тягуч, неясен и уклончив». – «Да, да, Леонтьев, Константин Николаевич, – знаю; давно пишет и очень талантливо пишет. Очень талантливый человек»... Ничего более определенного он мне не сказал. Позднее я узнал, что он, как и Рачинский, питал непобедимое и неустрашимое отвращение к личности Л-ва и всему образу его мыслей. Тут был протест против «нищезанятия не в Ницше». Оба они возмущались смесью эстетизма и христианства, монашества и «кудрей Алкивиада» и, главное, жесткости, суровости и, наконец, прямо жестокости в идеях Л-ва, смешанной с аристократическим вкусом к роскошной неге, к сладострастию даже. «Фу, черт – турецкий игумен!» – это *удивление* во мне, у них выразилось как *негодование*, как *презрение*. Но не может человек видеть «зад свой» (выражение Библии о Боге), и Л-в никогда не догадался о настоящем мотиве отчуждения от себя многих людей, также, по-видимому, как он, «консервативных», «православных».

{Примеч. 1903 г.}

⁷ Здесь есть еще одно объяснение (в отношении Рачинского и Страхова), которого, очевидно, не подозревал Л-в, что именно оно действует. И я здесь сообщить о нем не могу, хотя один раз у Страхова в письме ко мне, а у Рачинского в личном разговоре со мной оно вырвалось. К этому мотиву и относится фраза Рачинского о Л-ве, приведенная мною выше: «я – отскочил от него» (Л-ва). Но это относится к нерассказываемым в печати подробностям биографии. Бедный Л-в всех этих мотивов не подозревал, а никто из близких людей, например, Вл. Соловьев, и не мог их выговорить.

{Примеч. 1903 г.}

⁸ Страхов так пишет: «хвалился» или «хвастался», – не помню.

{Примеч. К. Л-ва.}

⁹ Вл. Сол. я не считаю *природно*-фальшивым по темпераменту; но думаю, что он *телеологически* стал в последнее время притворяться, *будто* сочувствует *европейскому прогрессу*. Надеется этим путем и либералов наших привлечь к мысли о *примирении церквей* и о *подчинении папе*. За это негодуя на него сильно.

{Примеч. К.Н. Л-ва.}

¹⁰ «Легенда о Великом Инквизиторе» – известная вводная глава в «Братьях Карамазовых», где приводится длинная речь Инквизитора испанского, объясняющего Христу, отчего католичество вынуждено было отречься от Христа, изменить ему, исказить его учение и стать на сторону «умного Духа Пустыни» (= дьявола), говорившего в пустыне со Христом. Во все время речи Инквизитора, Христос безмолвствует и только в заключение целует его в «бескровные уста».

{Примеч. 1903 г.}

¹¹ Едва-ли Л-в не наивничал, обращаясь к ним «за разъяснением». Бедную и несчастную сторону нашего духовенства составляет то, что они зачастую не только не знают (иначе, как формально, школьно, схоластически) литературы и философии и между прочим всех религиозных волнений и недоумений, волнующих «внешний (для духовенства) мир», но его решительно невозможно и ввести в дух этих недоумений, в настоящие и *кровные* его мотивы. Только приходя в соприкосновение с духовенством, понимаешь, как много значит *школа* и *история личного образования*, личных знакомых, встреч, прочитываемых книг. Духовное лицо прикасается только к духовным же; и они все слежались в ком твердый и непроницаемый. У них есть *свои* сомнения, но не наши, *своя* боль – и тоже не наша. Нашей боли и наших сомнений они никогда не почувствуют, и в глубочайшем, в душевном смысле – мы просто не существуем для них, как в значительной степени – и они для нас. Печально, но истинно.

{Примеч. 1903 г.}

¹² Тут – глубокая правда у Л-ва. Мы просто не понимаем, что такое «инквизитор», а Достоевский набросал совершенно невероятный портрет инквизитора-атеиста. «Это вы сами, Фед. Мих., в Бога не веруете», – мог бы ему ответить инквизитор-испанец, повернувшись спиной. Вообще мы, русские, понимаем только *тип русской веры*, тип веры несколько беззаботного и не энергичного человека. *Идеалисты* французской революции начали «terror rei-publicae», а *идеалисты* Христовой веры начали инквизицию, этот «terror fidei». Поразительно, что очень *серьезные верующие люди* не питают отвращения к инквизиции до сих пор! Не жалуются, что «она была»; ни сатир, ни картинок на auto-da-fe не пишут. Это их молчание, спокойствие (среди наших, столь либеральных времен!) показывает, что в *идеализме веры* действительно содержится «инквизиционный момент»: еще немного глаза поугрумяют, веки – опустятся, губы сожмутся, и они произнесут «auto-da-fe».

{Примеч. 1903 г.}

¹³ Как это хорошо выражено, мотивировано. Действительно, философ внешний куда-то *тащит мою душу*. Вот отчего *настоящие* философы мало читают *других* философов (Кант, Декарт, Бекон знали историю философии слабее посредственных профессоров своего времени). Настоящий оригинальный и сильный ум, ум *именно философский*, не станет (больно будет) читать другого *настоящего же философа*, разве изредка и «несистематически», хотя *мыслить сам* вечно будет (наслаждение). Напротив, пассивный ум, мертвый, не оригинальный – будет сколько угодно читать философов и философий. «Кто бы меня ни потащил, – со всяким пойду». От этого иногда профессор-медик, профессор-юрист, профессор-историк еще бывает философом, с призыванием к философствованию и философии. Но никогда этим не бывает «читающий философию профессор». Они в смысле философском – потерянный материал.

{Примеч. 1903 г.}

¹⁴ Брошюры я ему послал с намерением, чтобы он прочел (легко, на интересные темы), а книгу «О понимании» – только из вежливости. Куда в 60 лет читать волюмы. Но как наивно и детски чисто это. «В. В. рассердится, что я его не читаю». Да почти все мои личные друзья и посейчас не раскрывали этой книги. Вообще писатели не весьма много читают, и это – не без основания, и даже – не худо. Читатель пусть будет именно читатель, а писатель – писатель, а смешивать два эти ремесла вовсе ни к чему. Ведь какая жалость выходит, когда *не урожденный* писатель начинает «писать». То же можно представить себе и относительно настоящего, т. е. жадного и обильного, плодотворного чтения.

{Примеч. 1903 г.}

¹⁵ Да, я не ошибся, избрав названием книги «понимание» и слив с ним философию. Какая в самом деле разница между «знать» и «понимать»? Последнее – это точно дух какой-то ворвался в факты, в знания и счленил их в организм, в философию! «Эврика» (=нашел, *догадался*) – вот девиз философии, восклицание философа; «вижу» земляного Вия (у Гоголя) – глас эмпирика и эмпиризма. Книга «О понимании» (737 стр.), через два же месяца по отпечатании, была осмеяна (рецензентами, очевидно и не прочитавшими ее) в двух журналах, «Вест. Евр.» и в «Русск. мысли», и, не имея еще о себе рецензий и критики, легла на полках магазинов. Лет пять назад, очень нуждаясь в деньгах, я продал ее на пуды, по 30 коп. за том (вм. 5 руб.), подумав: «sic transit Gloria mundi». На ее напечатание я все время учительства откладывал рублей по 15–20 в месяц, уверенный, что она делает эру в мышлении.

{Примеч. 1903 г.}

¹⁶ Да, это все глубоко истинно и чисто! Переписка, письма – золотая часть литературы. Дай Бог этой форме литературы воскреснуть в будущем.

{Примеч. 1903 г.}

IV

13 июня 1891 г., Опт. п.

Неоцененный и *неожиданный* друг (позвольте вас иногда и так называть), буду для ясности отвечать по пунктам...

1. *Ваш портрет...* Я очень доволен им... Выражение вашего лица напоминает мне Ионина, бывшего сослуживца моего в Турции, консула в Янине и Черногории, потом министра-резидента в той же Черногории, потом посланника в Бразилии, а теперь временно состоящего в Петербурге при министерстве иностранных дел. Это он пишет в «Русск. обозр.» политические статьи под псевдонимом «Spectator»¹. Если вам они попадались, то вы, конечно, видели, как он сочувствует моим отрицательным взглядам на славян. Это один из самых прямых и добросовестных умов, каких я только знал. У него глаза какие-то ясные, честные, твердые и как бы удивленные (полагаю, от бесхитростного *внимания*, – «внимание для внимания», «понимание для понимания» и т. д.). Ваши глаза (на фотографии) напомнили мне его глаза. Только носик ваш, кажется, не очень красив, – слишком *национален*, если не ошибаюсь...

2. *Ваша статья...* Еще прежде получения вашего последнего письма я уже сделал к ней примечания на особых листах. Часть их касается до вас, часть до меня. Вам я делаю замечания только *стилистические*; это мой «пункт». О себе кое-что кратко биографическое, ибо в этом вы по незнанию фактов немного ошиблись. (Например, о моем «стремлении в центры *деятельности*»² и т. п.) По *существу* же я не только не могу почти ничего на вашу статью возразить, но не умею и даже... как-то... *боюсь* вам выразить... до чего я изумлен и обрадован вашими обо мне суждениями!.. С самого 73 года, когда я в первый раз напечатал у Каткова политическую статью («Панславизм и греки»), и до *этой* весны 91 года я ничего подобного не испытывал! Нечто успокоительное и грустное в то же время! Если бы статья ваша была окончена и напечатана, то я мог бы сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыко!..»

Теперь еще, пока статья ваша не окончена и не напечатана, я, конечно, не могу этого воскликнуть; но я все-таки могу сказать: «**Наконец**-то после 20-летнего почти ожидания я нашел человека, который понимает мои сочинения *именно так, как я хотел, чтобы их понимали!*»

Не думайте, что отзывов о моих сочинениях не было вовсе; за последние 5–6 лет их было там и сям достаточно, и даже были *весьма* похвальные, но все это кратко, недоказательно, неясно и т. д. А главное, *историческую мою гипотезу* все старались обходить осторожным молчанием³. О предсмертном *смешении*⁴ дерзнул серьезно отозваться только один Астафьев в публичных лекциях своих в 1886, кажется, году. На этих лекциях собиралось не более 30–50 человек, и то наполовину по личному знакомству с Астафьевым. Успеха не было никакого, и журнальная критика (даже и московская) не обратила на эти его лекции никакого внимания. Из 5 наиболее распространенных и наиболее влиятельных московских газет того времени («Моск. вед.», «Русь», «Соврем. изв.», «Русск. ведом.», и «Русск. курьер») ни одна не сказала ни слова⁵. И это понятно отчасти: последние две («Р. В.» и «Р. К.») – газеты, вполне европейски прогрессивные и очень рады умолчать о том, чего совершенно ничтожным назвать нельзя, а хвалить невыгодно; что касается до Каткова, Аксакова и Гилярова-Платонова, то они все трое *прежде* сами слишком много послужили *этому самому смешению*⁶, а потом сами же шаг за шагом стали от него отступаться⁷, чтобы им легко было свыкнуться с таким *коренным отвержением*, какое выражается в моих книгах и в лекциях Астафьева (у него, впрочем, с оговорками).

Итак, и того единственного человека, который решился публично заявить о важности и правде моей гипотезы «вторичного⁸ смешения», – замолчали.

Лекции Астафьева изданы отдельными книжками; я их вам пошлю только на прочтение и подержание, но не *в дар*. Может быть, они вам пригодятся.

3. Ваши жалобы на то, что «печатание» оскверняет чистоту нашего внутреннего мира, меня тоже немного сконфузили... «Вот тебе раз! – подумал я, – а ну как он и статью обо мне тоже сочтет осквернением! *Вот утешит-то!*» – Я не помню, искренно говорю, в каком именно смысле я писал вам, что предпочитаю дружеское письмо – статье для печати (я начинаю – увы – утрачивать свою, прежде превосходную память); но думаю, что это было вовсе не в таком идеальном смысле, в каком вы это понимаете, а в каком-

нибудь более практическом (напр., любезный и скорый ответ на письмо, сочувствие и т. д.; *виден* непосредственный плод и приятно, а где *видимый* плод от статьи? Внимания, труда, напряжения мысли в 20 раз больше, а *вознаграждение где?* Самое верное – это хорошая *плата*, – ну, это, конечно, всякому и самому бескорыстному человеку годится не для себя, так для других. И только). Поэтому не приписывайте мне тех *целомудренных* чувств, которые вы в себе сознаете. Я их не сознаю в себе, а напротив того, очень люблю видеть свои труды в печати. Пока они *дома*, я чувствую, что они мои, и все недоволен ими; а в печати – они *полу-чужие*, и тогда они мне гораздо больше нравятся. А просто лишь *трудиться* в 60 лет наскуило, и *теперь*, наприм., я в восторге от того, что от Амвросий благословил мне до осени, до зимы и *сколько даже угодно, ничего нового для печати не писать*; несмотря даже на то, что по некоторым особым условиям нынешнего года это воздержание может весьма тяжело отозваться на кое-каких *вещественных* обстоятельствах. Понимаю очень ясно эту опасность, но пока она не настала, я спокоен и рад; «старец благословил; будет невыгодно и тяжело зимою, значит – нужно это испытание, обойдется все хорошо, тем лучше!» «Возверзи на Господа печаль твою!» Но все-таки мне 60 лет («*очень старый* писатель», как вы говорите!), а вам 37. Избави меня Боже от вашего литературного «целомудрия». Это тоже «*fatum*» будет ловкий!

Здесь же кстати будет сказать и то, что и ваше сообщение о полной *ясности понимания*, при которой уже и писать не хочется, – тоже для меня не особенно ободрительно!.. «Нет, мол, я теперь так уж ясно понимаю Леонтьева, что разбирать его сочинение не могу!» Недурно будет это! Каким бы это средством – не знаю – *туману* вам напустить, чтобы поскорее пришла охота его рассеивать?

4. Вы напрасно думаете, что я, подобно Страхову, не читаю вашей книги «О понимании». Я прочел внимательно половину и, по правде сказать, с *Заключения-то* и начал. Я нахожу, что вы пишете яснее многих других метафизиков. О *правоте* (вообще) вашей не берусь судить, недостаточно силен в этом, но *родственность* мысли чувствую на каждом шагу; неприятно мне было только то, что вы говорите против *материальных чудес*. Какое же без них христианство? Зачем *до конца* полагаться на нашу логику. «*Credo quia absurdum!*» Я же, прибавлю, и на других, и на *самом* себе видел *вещественные чудеса*. Если увидимся, – расскажу. И зачем это *все понимать!* И так уж мы стали в XIX-м веке понимать, или, вернее,

знать слишком много. Дай Бог, чтобы в XX-м веке более глубокое понимание некоторых привело к ослаблению знания у большинства (*рациональный, развивающий обскурантизм*). Впрочем, насчет чудес следует вашу терминологию употребить обратно: о чудесах полезно *знать* (факты), но *понимать* их избави нас Боже!

5. Еще одно приложение (*ad hominem*) этих ваших двух терминов: *знание и понимание*. О чудесах довольно *знания; понимания* не нужно. Совершенно иначе я отношусь к вашему желанию, чтобы рукопись ваша была возвращена вам *только по востребованию*. *Знаю* и, конечно, подчиняюсь воле хозяина рукописи, но *не понимаю* и желал бы *понять* «целесообразность» подобного распоряжения! Думаю так: если бы вы собирались куда-нибудь надолго из Ельца, то просто написали бы мне об этом, чтобы и письма в Елец не посылать пока. Значит, не в этом *секрет*. А что-нибудь одно: или вы с Варв. Дмитр. сами сюда сюрпризом собираетесь (так думает одна молодая дама, принимающая участие в моих делах и сношениях), или (так я думаю) – это опять-таки «ревность» Варв. Дмитр. «Подожди возвращать рукопись, а то слишком опять займешься этим несносным *старым писателем!*» *Понимаю* и это. И хочу надеяться, что это даже к лучшему для меня, забудете немного, мысль ваша затемнится на время, захотите опять умственной борьбы, разъяснения самому себе и сядете кончать.

6. Эпиграф из Герье⁹ жертвую вам на растерзание, но посвящение Филиппову – *нет, нет и нет!* Вы не знаете, что *значил* для меня этот человек в течение 10 и более лет. Ведь нельзя же дойти до такой ненормальности, чтобы писать только для себя, а я некоторые *подобия* откликов стал слышать только лет 6–7 тому назад. Только у Филиппова я уже с начала 70-х годов видел и ясное понимание моих целей¹⁰, и горячее, твердое, деятельное участие. Не позволительно быть неблагодарным.

7. *О моем влиянии* на реакционные реформы¹¹. Разве метеоролог, верно *предсказывающий* погоду, имеет на нее сам влияние? Если врач *самого больного не лечит* и на *консилиум не приглашается*, но *знает*, как идет болезнь, и *понимает* заранее, что нужно делать, то когда случится, что и другие врачи попадут на те же лекарства и делают пользу, – разве этот посторонний врач может сказать про себя, что имел «влияние»? Конечно, нет. Он может считать себя очень дальновидным, пророком, гением даже; но никак *не влиятельным* лицом. В государствах, еще не обреченных на скорую гибель, государственные люди, вовсе даже и не гениальные, доходят до *нужного*

одним эмпирическим тактом, как доходили без правильных теорий старые врачи. Дезинфекцией занимались не без успеха и прежде открытия микробов, бактерий и т. д.

Я уверен, что ни Государь, ни покойный Дм. Андр. Толстой, ни даже Ив. Давыд. Делянов ни разу не говорили себе: «на основании закона *триединого процесса развития* и из страха *предсмертного смешения* сделаем то-то и то-то». Ибо, если бы они *смешения* этого *вполне сознательно* боялись, то, хлопоча усердно и основательно *о православии* для эстов и латышей (это нужное *единство*), не вводили бы *французских судов на русском языке* в Остзейском крае (это вредное *однообразие, смешение*), а если какой-нибудь граф, барон, бургомистр, предводитель немецкого дворянства или пастор оказал бы сопротивление православию на *их туземных языках*, то ссылали бы его в Сибирь или хоть в Вятку без околичностей. Поймите, прошу вас, разницу: русское царство, населенное *православными немцами, православными поляками, православными татарами* и даже отчасти православными *евреями*, при численном преобладании православных *русских*, и русское царство, состоящее, сверх коренных русских, из множества *обруселых протестантов, обруселых католиков, обруселых татар и евреев*. Первое – созидание, второе – разрушение. А этой простой и ужасной вещи до сих пор никто ясно не понимает... Мне же, наконец, *надоело* быть гласом вопиющего в пустыне! И если Россия осуждена, после короткой и *слабой* реакции, вернуться на путь саморазрушения, что «сотворит» один и одинокий пророк? Лучше *о своей душе* побольше думать, что я с помощью Бога и старца и стараюсь делать... *Моя душа без меня* в ад попадет, а Россия, как обходилась без моего влияния до сих пор, так и впредь обойдется. Пусть гипотеза моя есть научное открытие и даже великое, но из этого еще не следует, что практическая политика в XX-м веке пойдетсообразно этому закону моему. *Общественные организмы* (особенно западные), вероятно, не в силах будут вынести ни *расслоения*, ни глубокой мистики духовного единства, ни тех хронических жестокостей, без которых *нельзя* ничего из человеческого материала надолго построить. Вот разве союз социализма («грядущее рабство», по мнению либерала Спенсера) с *русским Самодержавием* и *пламенной мистикой* (которой философия будет служить, как собака) – это еще возможно, но уж *жутко же* будет многим. И Великому Инквизитору позволительно будет, вставши из гроба, показать тогда язык Фед. Мих. Достоевскому. А иначе все будет либо кисель, либо анархия...

Старо человечество, старо! Вот и я *понимаю* теперь, в 60 лет, чего бы я должен был избегать в 20, 30, 40 лет, чтобы не изнемогать, как теперь изнемогаю, но уже вернуть прошлого не могу!

Ну, а ряд блестящих торжеств еще будет у России бесспорно в ближайшем будущем. Да *мягки* мы все стали слишком и к себе, и к другим. *Страх Божий* утратили, а этой пресловутой, какой-то еще неслыханной «любви» все нет как нет.

8. Что Варвара Дмитриевна вдова, этому я *очень* рад. Вдова может быть скоро и верно понята и сама все скоро поймет. А у девушек вечно сумбур в голове. Девушки для добросовестного мужа очень опасны! Загадочны и обманчивы...

Не ей ко мне ревновать, а *мне к ней*. Беда, да и только.

9. Отчего вы не ответили мне, что желаете получить для прочтения мои ново-греческие повести? Повести, я думаю, и в медовый месяц с новобрачной можно почитать. А впрочем, не буду слишком набиваться. И про книгу можно сказать: «не в пору гость хуже татарина!» Больше пока нечего сказать.

Прощайте.

Варваре Дмитриевне мое почтение...

Ваш К. Леонтьев

P.S. Если у вас есть роман «Братья Карамазовы», пожалуйста, вышлите мне его на 2 недели. Нужно справиться и проверить кое-что свое. Не бойтесь, я человек *весьма* аккуратный, будет цело и вовремя возвращено. Идею «потенциальности» в вашей книге я, кажется, угадываю и смутно понимаю в приложении к утилитарному идеалу. Если я верно понял, то, конечно, это «очень просто» и математически точно. Дай Бог!

ПРИМЕЧАНИЯ¹²

1) «Ненависти»¹³ *собственно* у Д-го ко мне не было; напротив того, он при последней встрече нашей в Петербурге (в 80-м году, всего за месяц *до речи*) был особенно любезен, ибо весьма сочувствовал моим передовым статьям в «Варш. дн.». Но, когда я, живя тогда в калужской своей деревне, прочёл эту речь¹⁴ о «гармонии», то ужасно удивился и огорчился; я считал его *настоящим* православным, а настоящее православие *даже права* (по учению и предсказанию евангельскому и апостольскому) не имеет ждать «всепримирения», «всепрощения», «вселюби» и вообще *моральной* гармонии (*здесь*),

а может допускать только *временные* улучшения и ухудшения. (*Теперь*, в 80-х годах, *улучшается*.) Огорчившись, я написал статью об его речи, а он, воображавший со слов Аксакова и других, что его речь – великое «событие» (Катков заплатил ему за эту речь 600 р., но за глаза смеялся, говоря: «какое же это событие!»), ужасно на меня рассердился и написал свою заметку. Я ее не видел и не искал видеть, но мне говорили *почитатели* его (в том числе Влад. Соловьев), что она «очень нехороша», и Влад. Соловьев сильно порицал Страхова за то, что он допустил практическую¹⁵ <дуру>* вдову Фед. Мих. это напечатать после его смерти. Соловьев находит, что эта заметка не делает Д-му чести.

2) Соловьев лично очень дружен со мной и любит меня. Он к тому же очень сочувствует <моей личной религиозности> тому, что я религию ставлю выше национализма, и потому ему труднее, чем всякому другому, специально писать обо мне; соглашаться не может и боится огорчить или оскорбить. Неизвестность же моя (сравнительная) облегчает ему молчание. Нет **настоятельного** побуждения противодействовать. Однако в книжке своей «Национальный вопрос» он с большой похвалой отозвался о «Византии и славянстве». (Слышно, однако, будто он теперь кончает обо мне статью для «Новостей».)

3) Вы к Льву Толстому, *как проповеднику*, слишком добры. Он хуже *преступных* нигилистов. Те идут сами на виселицу, а он – блажит, «катаясь, как сыр в масле». Удивляюсь, почему его не сошлют в Соловки или еще куда. Бог с ней, с той «искренностью», которая безжалостно и бесстыдно убивает «святиню» у слабых! Он *верит*, правда слепо, в одно: *в важность собственных чувств и стремлений*, и нагло, меняя их, как башмаки, беспрестанно, знать не хочет, каково будет их влияние! У него же самого *истинной*-то любви к людям и тени нет. У меня самого и у многих других были с ним сношения по делам самого неотложного *благотворения*, и я, и все другие вынесли из его наглых бесед по этому поводу самые печальные впечатления. «Человек вторую неделю с семьей *корками* питается», – говорю я ему. – «Наше назначение не кухмистерское какое-то», – отвечает он (*при Влад. Соловьеве*); дело шло о *чтении* в пользу этой несчастной семьи. Он отказался, и мы с Соловьевым и без него добыли около 200 руб. Прошу вас верить, что *личные* мои сношения с ним ничуть не располагают меня быть против него. Он, например, за глаза всегда меня хвалит и предпочитает многим другим писателям за то, что я «стекла бью» (это его слова). *Но я его за его новую*

* Здесь и далее в ломаных скобках зачеркнутое К.Н. Л.

деятельность хвалить не могу и не буду, и права, как православный человек, не имею!

Прошлый год он у меня был здесь, в Оптиной; сидел и спорил, тоже и меня как будто пытаюсь *сдвинуть!* Но, разумеется, не солоно хлебнул... Впрочем, он не только со мной самим бороться не может на *этом* пути, но даже и попытки его испортить двух юношей, бывших под моим и катковским влиянием, потерпели постыдное фиаско. Они были не только тверды с ним, но и резки.

Не надо его, наглого старика, баловать.

Гений романиста сам по себе, свинство человека и проповедника сами по себе.

Dixi¹⁶

4) Я бы просил заменить слово «желчно» выражениями: строго, ядовито, резко. Подумайте, это по отношению моему к *романам* Толстого неуместно, несправедливо. Не слишком ли много, с другой стороны, и эпитет «страстная» (любовь). Я *давно* уже не могу любить «страстно» литературу. Без *хорошей* литературы все-таки можно *всячески жить*. В век Екатерины, например, *хорошо морально* жил Тихон Задонский, хорошо эстетически Потемкин. То, что вы слышите в моих отзывах, – есть только отголосок «давнего», неостывшего. Вот православие (догматическое, обрядовое) и независимость России от западного прогресса я *страстно* люблю.

5) Пресытился я давно (еще живя в Турции, в 70-х годах) *всей русской школой*¹⁷.

6) *Верно!* Превосходно! Ясно!¹⁸

7) Вы любите хороший *слов!* Не лучше ли вообще ухитриться как-нибудь избегать этого множественного «черт»? Не слишком ли похоже на «чёрт»?

8) Восхитительно сказано. В 10 раз яснее, чем у меня¹⁹.

9) Так ли это насчет силы Толстого в изображении «первобытной наивности»?.. Я сомневаюсь. Не потрудитесь ли вы заглянуть на досуге еще раз и в его романы, и в те страницы моего «Анализа», где я говорю о *простых* людях, что он их тайные *чувства* плохо разбирает. Что касается до фигуры *Алпатыча* (в «Войне и мире»), то, во 1-х, он уже немножко «интеллигенция»; да и в описании сражения под Смоленском я вижу больше картину внешнюю, чем ряд идей и ощущений Алпатыча.

10) По моему мнению, не хочет *рисковать*²⁰, боится *не справиться* в оттенках; как не справился с *душой* Наполеона; все *одно и то же* – самолюбие и только (т. е. у *его* Наполеона).

11) Не слишком ли эти слова «*оборван., общип.*»²¹ – крайни?.. Можно ли назвать такими словами изображения Андр. Болконского, Вронского, Левина, даже бесхарактерного, но умного и симпатичного Пьера Безухова? И многих других. Отчего же они (*после лиц предыдущих* авторов, Тургенева, Писемского, Достоевского) производят весьма положительное, а не *отрицательное* впечатление?

12) Я хотел сказать²²: «более *оригинальной*, творчески-русской фантазии, чем фантазия Жуковского (германская) и Пушкина» (как бы общечеловеческая в самом лучшем смысле, но не особенно оригинальная).

13) Превосходно! В высшей степени точно: «отчуждающийся»²³.

14) Это все великая правда. Прежде любили анекдоты, самые факты *жизни*²⁴. Нынче *жизнь, как жизнь*, меньше любят. Всегда «искали» чего-то впереди, но в *меру*, а главное – *немногие*. Нынче большинство «интеллигенции» помешалось на этом «искании». И Льву Толстому, между прочим, за его искание и «искренность», стоит сотни две горячих всыпать *туда*... Старый <сукин сын>... Безбожник-анафема!

15) Я опасаясь для *будущего* России²⁵ *чистой оригинальной и гениальной* философии... Она, может быть, полезна только как *пособница* богословия... Лучше 10 новых *мистических* сект (вроде скопцов и т. п.), чем 5 новых философских систем (вроде Фихте, Гегеля и т. п.). Хорошие философские системы, [именно хорошие], – это *начало конца*.

Если же вы говорите дальше о «спасении души» в смысле церковном, прямом и *реальном*, т. е. об *избежании* ада для *индивидуальной души* и *воскресении* новой, высшей плоти, а не в смысле аллегорическом, *идеалистически-земном*, т. е. не в смысле душевной «гармонии» на *земле*, то, конечно, я согласен... Пошли Господи нам, русским, такую метафизику, такую психологию, этику, которые будут приводить просто-напросто к Никейскому *символу веры*, к старчеству, к постам и молебням и т. д.

16) Печатал я еще раньше 86-го года, начиная с 67 года, довольно много *повестей* и *романов* из *новогреческой жизни* (или из *жизни христиан в Турции*). В «Русском Вестнике» от 67 до 82 года, в пережку с публицистикой. Были и отзывы – разные... Есть отдельное (хотя и не полное) издание; изд. Катковым.

17) Тут у вас сведения биографически не верны. 29–28 лет я решил оставить медицинскую практику и вздумал поступить на консульскую службу... 31 года получил должность секретаря кон-

сульства на острове Крите, через 7 месяцев был – не то чтобы удален оттуда, а переведен в Адрианополь (за то, что ударил хлыстом французского консула в его собственной канцелярии, – одно из самых жизнерадостных моих воспоминаний). Управлял в Адрианополе консульством почти 2 года, потом сам был сделан консулом в Тульче (на Дунае), в Янине (Эпир) и в Салониках (Македония). В 71 году удалился на Афон, мечтая о монашестве... В 73 вышел в отставку и уехал на родину, в свое Кудиново.

В «центры» высшей политической деятельности я «не рвался» тогда, не считал еще себя (*до 73 года*) способным иметь *свои* взгляды на высшую политику, а учился у других, которых считал опытнее и даже способнее себя с этой стороны... И начальство, считая меня *весьма хорошим* политическим практиком и готовя меня, по собственным словам, к *значительным* повышениям, и не подозревало (так же как и я сам этого не думал), что я способен написать политическую вещь, вроде моего первого опыта («Панславизм и греки» в 73 году). В Петербурге изумились, когда узнали, что под *псевдонимом Константинов* – кроюсь я... Приписывали другим. *После* этого (42-х лет только!) я и сам в 1-й раз понял, *что* я на этом пути могу сделать. До тех же пор, с 21-го года, я все стремился создать какое-нибудь замечательное *художественное* произведение... Все искал лучшего; жег, – и между прочим сжег в Салониках *восемилетний* труд мой (5–6 романов *в связи* из русской жизни 1811–1862 г.). *Прежде* чем Зола, о котором тогда еще и помину не было, я начал этот труд в 60-х годах под общим заглавием «*Река времен*».

Считая себя (с 57 до 71, 72, 73 года) романистом гораздо более, чем публицистом и *теоретическим* политиком, я центров (столиц) не любил и всегда куда-нибудь из них скрывался; то в Крым на войну (54–57 г.), то в имение матери (не раз), то деревенским врачом у богатых людей (в Нижегородской губернии), то в турецкую провинцию на целых 10 лет.

Я всегда находил, что художника, поэта, романиста *провинция формирует лучше, чем столица* (особенно чем наш Петербург). В Петербурге *романисту* нужно быть богатым и *ездить ко двору*. Иначе что там *почерпнешь!* А жизнь провинции я всегда любил; не только *усадебную*, помещичью, но и жизнь губернского города. Уездные города, правда, скучноваты; в них есть только *объективная* поэзия (в стиле Островского); а *субъективно* – скучно.

Вот почему я тогда в центры не рвался и службу свою в турецкой провинции очень любил, пока не случился со мной глубочайший и

тяжелый внутренний переворот, после которого я уехал на Афон и задумал в отставку... В течение 10-летней службы консулом я только на *три месяца, один раз*, приезжал в Петербург.

Консульская роль на Востоке очень деятельна и самобытна. Меньше зависимости на службе нельзя и найти. Князь Горчаков! говорил, что для него консул в Турции имеет гораздо больше значения, чем посланник второстепенного западного государства. И был прав.

18) Вот за это²⁶ спасибо! Не *смеешь* и верить! Не избаловали люди!..

И за слова о славянофилах – *большое* спасибо!.. Именно «наивные» верования старых славянофилов противоречили их *основной* идее.

19) О китайцах. Разве уж так «бесплезен» их «быт»? – Во 1-х, он очень красив в своем роде. На «бесперспективной живописи» отдыхаешь после давнего, наскучившего и *неизлечимого, реалистического совершенства* Греко-Европейского искусства.

Вообще же полагаю, что китайцы назначены завоевать Россию, когда *смешение* наше (с европейцами и т. п.) дойдет до высшей своей точки. И туда и дорога – *такой* России.

²⁷ «Гоги и магоги» – *finis mundi!* После этого что еще останется? Без новых диких племен или без способных к *пробуждению* что возможно? Вообще – *немного* человечеству *остаётся*, мне кажется... Точные науки ускоряют гибель. «Древо познания» иссушает мало-помалу «Древо жизни».

20) Верно. Я тогда вовсе не думал²⁸ об условиях или основаниях *общечеловеческого единства*, у меня было в виду одно лишь религиозное: православие, *единство Востока*. Да и вообще сознательное, идейное общечеловеческое единство есть приближение предсмертного *смешения*, а физиологическое или *психологическое* единство было и даже сознавалось всегда. Людоед и тот знал всегда, что он *человека* ест, а не другой *вид* животного.

21) Ваши слова о *труде*. За «труд» *какой бы то ни было* на небесах награды церковь не обещает, а за веру и *труд по вере* в Св. Троицу и т. д. – да! **Не иначе!**..

22) Не могу согласиться с вами касательно истории XIX века. Величественны в этот век были только *войны* Наполеона I... А «*чудовищных форм*» в нем я тоже не вижу. Казарменные 6-этажные дома, пиджаки, панталоны, фраки – пошло, некрасиво, *ужасно* даже, но ужасно не по чудовищности, а по *убийственной прозе форм*. «Чудовищны» в XIX веке только *машины*; но они ведь ведут все к той же «пиджачной» цивилизации.

23) *Справедливо* ваше указание, что по части фактических иллюстраций у меня «бедно, кратко»... Источники для справок (в Константинополе, в 74 году) были донельзя скудны... Но я не горевал и писал в надежде, что найдется *когда-нибудь человек, по истории более меня специальный*, который оценит мою теорию и разовьет ее подробнее и доказательнее... *Это* ведь не раз бывало; сами знаете.

Гете первый высказал предположение, что кости головы и лица суть не что иное, как ряд более развитых *позвонков*, а Окен и Карус подтвердили его взгляд...

Быть может, и я *наконец-то, встретивши вас*, буду иметь возможность сказать: «Ныне отпускаеши раба Твоего, Владыка»...

К. Леонтьев

¹ Или здесь – ошибка Л-ва, или г. Ионин очень недолго подписывался этим псевдонимом. Spectator в «Русском обозрении», по крайней мере 90-х годов, вовсе – другое лицо, не Ионин.

{(Вл. А. Грингмут) Прим. 1903.}

² Ниже идут везде замечания на посланную (и посмертно напечатанную) рукопись: «Эстетическое понимание истории». В начале ее сделан был очерк его теории «триединого процесса», о котором он выше говорил, и которая составляет ключ к разумению всех его писаний, и заметки о его личности. В них, между прочим, я упомянул, что Л-в «стремился в центры деятельности (т. е. столицы), но всегда от них был (*fatum*) «отталкиваем» (в провинцию глухую, в турецкую «заграницу»)».

{Прим. 1903.}

³ Поразительно! В *ней-то* и главная *суть* Л-ва; без нее – *его* просто *нет*. Здесь сказывается поразительная тупость наших философских и историко-философских кафедр, а также наглость и поверхностность нашей публицистики, наших публицистов. В печати у нас *ругаются*, собственно, а не думают; или защищают «лицо», протаскивают «идейку», – но *идейку* как голый *тезис*, как краткое требование.

{Прим. 1903.}

⁴ По Л-ву, когда растение, животное, человек, государство, культура переходят через *зенит*, движутся и склоняются *к смерти*, то происходит в нем «предсмертное смешение элементов», как бы *упрощение* всего вида, лица умирающего предмета. Государство становится *просто*, религия – *проста* (рациональна, бедна культом), наука – эмпирична (=проста же) и т. п. *Механизм* растаивает, *морфология* живого тела – спадается. Отсюда Л-в видел в *падении* классов, в *обезличении сословий* признак падения европейских обществ; и отсюда, только отсюда – вытекал «аристократизм» тенденций этого бедного и скромного человека, этого бескорыстного (лично) человека.

{Прим. 1903.}

⁵ Как, бедный, подбирает все даже только возможные отзывы печати, – и не о себе, а о лекции, на которой его теория была *упомянута!* Тут даже какая-то неопытность: ну и «отозвались» бы газеты, напечатали бы по столбцу репортерских отчетов: и все бы их на утро прочли, попомнили до обеда, а к ужину – забыли. *Ничего* не сделали для памяти Л-ва даже обширные статьи в либеральнейших и ходких журналах.

{Прим. 1903.}

⁶ Т. е. они все три были, напр., *бессловны*: Катков громил польских *магнатов*, Аксаков – остзейских *баронов*; оба – по косвенным (*руссофильским*) мотивам, но это – все равно. Л-в стоял и *за магнатов*, и *за баронов*, как *за сильную орду* в Казани, «от которой Россия (в Москве) много хорошего переняла» (в одном месте он так говорит), и по мотиву даже совершенно бескорыстному: все это – *разнообразило* общерусскую жизнь, все это было *выразительно* и *исторически* красиво.

{Прим. 1903.}

⁷ Везде Л-в судит, как философ, воображая, что корифеи публицистики, им названные, то «удалились» от теории «предсмертного смещения», то «приближались» к ней. Они просто писали, что *сегодня надо*, а до лекций Астафьева или книг Л-ва им и дела не было.

{Прим. 1903.}

⁸ В отличие от «первичной слитности», *детской* простоты существования. Напр., в нации *сословий*, *классов* так же нет в эпоху Рюрика или Ромула (*первичное* смещение элементов), как и в эпоху Каракаллы (*вторичное* упрости́тельно смещение), объявившего всех *жителей* необъятной империи равно «*cives romani*».

{Прим. 1903.}

⁹ Я Л-ва упрекал в письме, для чего он взял к книге своей «Восток, Россия и славянство» эпитафю слова из какой-то статьи Вл. И. Герье, профессора истории в московском университете, – слова совершенно *обыкновенные*, где воздается некая (небольшая дань) консерватизму; и для чего он посвятил книгу Т.И. Филиппову, человеку, о котором я не имел причины что-нибудь дурное думать, но который был тоже человеком *обыкновенным*. Необыкновенность книги Л-ва, казалось, потускнялась и этим сереньким эпитафюм, и этим сереньким посвящением.

{Прим. 1903.}

¹⁰ Т. е. *практических*. Во 1-х того, что Л-в стоял за константинопольский патриархат против «болгарской схизмы» (национального болгарского от греков освобождения, вопреки «каноническим правилам»), и, во 2-х, что Л-в ценил и любил наше *старобрядчество*. О К.Н. Леонтьеве мне неоднократно приходилось говорить с Т.И. Филипповым, но ни однажды я от него не слышал не только одобрения, но даже и упоминания об его «триедином

процессе», т. е. корне всех отрицаний и утверждений Л-ва. Кстати, о «болгарской схизме». Известно, что в начале и в середине 19-го века греки, видя пробуждающееся национальное сознание болгар, истребляли письменные и вещественные памятники их истории, вообще их национальной личности. Все это было на глазах первых болгарских грамотеев, первых их ученых, священников, учителей, вождей народных. Болгары все это «сложили в сердце своем» и, как только обстоятельства сложились благоприятно, – потребовали «национализации церкви». Но, по древним церковно-каноническим правилам, «в одном городе не может быть двух православных самостоятельных епископов», ибо этим нарушался бы «закон любви христианской». Для чего болгарам свой епископ, положим, в Филиппополе или Адрианополе, *когда там есть уже епископ грек* той же православной церкви. Епископ-грек, который раньше без зазрения совести жег болгарские манускрипты, – едва болгары начинали просить себе «своего епископа», начинал ссылаться, что по постановлению такого-то вселенского собора «этого быть не может, ибо этим нарушается евангельский закон любви, закон единства церкви, не знающей разделений национальных и государственных». А когда болгары все-таки *национальной* церкви добились, то патриарх константинопольский «за нарушение ими канонических правил» объявил весь болгарский народ состоящим в «схизме», т. е. «в ереси». Пример этот ярок и важен, чтобы показать, как «правила любви» (!) мало-помалу трансформировались в какую-то *работу стряпчих* над текстами о любви; и из них мало-помалу сплелась удушительная веревка, тем более ненавистная, что она вся намылена «любовью» и особенно ловко обхватывает шею удушенника (в данном случае – болгар, но при случае и всякого другого).

{Прим. 1903.}

¹¹ Я Л-ва спрашивал в письмах, не имел ли он (т. е. через идеи свои) влияния на известный поворот русской политики, начиная с 81-го года. Но, очевидно, практические русские государственные люди еще менее его перелистывали, чем Аксаков, Катков или Гиляров.

{Прим. 1903.}

¹² *Примечания* – к рукописи статьи моей: «Эстетическое понимание истории».

{Прим. 1903.}

¹³ На слова статьи: «в желчных строках Достоевского (в посмертно напечатанной «Записной книжке» его) о Леонтьеве сказала какая-то ненависть. Напротив, Вл. Соловьев, не слишком склоняющий слух к тому, что против него говорят, на этот раз внимательно поправился».

{Прим. 1903.}

¹⁴ Знаменитую речь при открытии памятника Пушкину в Москве. Как эта речь, так и последние любящие рассказы Л.Н. Толстого, начиная с «Чем люди живы», вызвали одну из самых блестящих и мрачных брошюр Леонтьева: «Наши новые христиане, гр. Л.Н. Толстой и Ф.М. Достоевский». Но

уж если «изменой христианству» показалась Леонтьеву «любовь» названных писателей, призыв их к «братолюбию», – то чем могло бы показаться, в отношении к христианству, «алкивиаство», «красивые страсти» самого К.Н. Леонтьева? Тут, в эти годы и в тех брошюрах, в сущности, начался глубокий религиозный водоворот христианства. Стержнем его был вопрос: что есть *сердцевина* в христианстве: *нравственность, братолюбие* или некая *мистика*, при коей «братолюбие» и не особенно важно?

{Прим. 1903.}

¹⁵ Вставлен грубый порицательный эпитет, который мы опускаем.

{Прим. 1903.}

¹⁶ Сохраняем все это, как документ, – как {и} сам Толстой обнаружил грубые и жестокие к нему письма за два последние года. Все это – живая история, страниц которой (никаких) не следует вырывать. «Что было – *было*» принцип истории.

{Прим. 1903.}

¹⁷ На слова мои: «Л-в, очевидно, сжился с миром художественного творчества Толстого и, наконец, через много-много лет, как будто пресытившись им, теперь отрывается от красоты, так долго и безмолвно созерцаемой, и, отрываясь, высказывает, почему он это делает».

{Прим. 1903.}

¹⁸ На слова: «Почти невозможно не согласиться с взглядом его (Л-ва) на Толстого как на последнего и высшего выразителя своеобразного цикла нашей литературы, после которого ей предстоит или повториться и падать в пределах того же внешнего стиля и внутреннего настроения, или выходить на новые пути художественного творчества, искать сил к иным духовным созерцаниям, чем какие господствовали в последние сорок лет, и находить иные приемы, чтобы их выразить».

{Прим. 1903.}

¹⁹ К словам: «Психологический анализ, недостаточно проникающий у Гончарова, узкий в своем применении у Тургенева, искаженный и болезненный у Достоевского, только у гр. Л. Толстого вырос во всю полноту свою, двигаясь во всех направлениях, повсюду нормальный и достигающий везде той глубины, дальше которой для художника предстоит уже не изображение, но придумывание и фантазирование.

{Прим. 1903.}

²⁰ На слова: «В одном только – в *национальности* Толстой встречает некоторое препятствие для своего анализа, через которое, не знаем, может ли, но очевидно, не хочет переступить».

{Прим. 1903.}

²¹ На слова: «Толстой любит унижать своих героев, он хочет видеть их смешными даже и тогда, когда сами они хотят быть только серьезными.

Странное следствие получается из этого: оборванные, ошипанные своим творцом, перед нами выходят люди, как их Бог создал, и если мы все-таки находим в них иногда черты высокого и героического, то это уже героизм истинный, правдивый».

{Прим. 1903.}

²² На слова: «Л-в тонко указывает на первое пробуждение у нас сильно-го воображения, которое замечается в Гоголе».

{Прим. 1903.}

²³ На слова: «Таков всегда убедительный, проникнутый любовью, но уже и отчуждающийся суд, который произносит Леонтьев над высшими произведениями нашей натуральной, в литературе, школы».

{Прим. 1903.}

²⁴ На слова: «Как будто сила жизни, которая цветет всякое лицо и составляет всякое поколение шумно и не задумываясь идти вперед, стала иссякать в теперешнем поколении, – и то, что еще так недавно привлекало всех, теперь никого более не занимает. Мы потеряли вкус к действительности, в нас нет прежней любви ко всякой подробности, к каждому факту, которая прежде так прочно прилепляла нас к жизни. От мимолетных сцен действительности, над которыми, бывало, мы столько смеялись или плакали, теперь мы отвращаемся равнодушно, и нас не останавливает более ни их комизм, ни трагизм их внешней развязки». – Берем эту большую выписку, ибо восклицание Л-ва здесь закрепляет наблюдение чрезвычайно важного психического перелома конца 80-х и начала 90-х годов нашей общественности.

{Прим. 1903.}

²⁵ На слова: «Вековые течения истории и философии – вот что станет, вероятно, в ближайшем будущем любимым предметом нашего изучения; и жадное стремление, овладев событиями, направить их – вот что делается предметом нашей главной заботы. Политика, в высоком смысле этого слова, в смысле проникновения в ход истории и влияния на него, и философия, как потребность гибнущей и жадно хватающейся за спасение души, – такова цель, неудержимо влекущая нас к себе».

{Прим. 1903.}

²⁶ На слова: «Из всех идей, волнующих современный политический и умственный мир, ни одна не способна так встревожить нашу душу, до такой степени изменить наши убеждения, определить симпатии и антипатии и даже повлиять на самые поступки в практической жизни, как историко-политические взгляды Леонтьева. Он первый понял смысл исторического движения в XIX веке, преодолел впервые понятие прогресса, которым мы все более или менее движемся, и указал иное, чем какое до сих пор считалось истинным, мерило добра и зла в истории. С тем вместе, уже почти по пути, он определяет истинное соотношение между культурными мирами

и преобразует совершенно славянофильскую теорию, отбрасывая добрую половину ее требований и воззрений как наивность, коренным образом противоречащую ее сословной идее».

{Прим. 1903.}

²⁷ Слова: «Гоги и магоги, «*fnis mundi*» и т. д. очень напоминают известное чтение Вл. Соловьева «О конце всемирной истории и Антихристе». *Главное – тоном напоминают*, грустью, безнадежностью. Указание на роль китайцев как будущих завоевателей России сливает воззрения Соловьева и Леонтьева до тождества. Близкие друзья, они, конечно, не раз говорили «о будущем» по свойственной русским привычке; о *приоритете* мысли, чувства тут не может быть и речи, да он вообще и не интересен, кроме как для библиографов-гробовщиков. Леонтьев на 10 лет раньше сказал ту мысль, которая зашумела из уст Соловьева (опять *fatum*). Но вот что следовало бы заметить обоим мыслителям. В противовес «опустившимся рукам» у них обоих, какая энергия предприимчивости у «мечтателей» – Достоевского, Толстого! «Розовое христианство», «розовые христиане», – бросил им упрек обоим Л-в в желчной брошюре своей: но если это «новое» христианство дает обоим им силы *жить*, то не очевидна ли некая доля *истины* в нем? Ибо невозможно *жить из лжи*, а только можно *жить из истины*. «Розовое христианство» двух наших реалистов-романтиков (Дост и Толст.) не есть ли с тем вместе «христианство, возвращающееся к *Древу Жизни*» (см. у Л-ва о нем) на место «христианства, связанного только с «*Древом Познания*» (схоластика, ученость, догматизм)? Оба они, и Соловьев, и Леонтьев, и были связаны до излишества с «Древом Познания»; отсюда их пессимизм, уныние. А эстетизм Л-ва, его «алкивиадство», как юный листочек, как молодая почка пробуждающегося *Древа Жизни*, оттого, несмотря на монашество, так крепко и держалось на нем, а он сам в себе *более всего ее любил*, – что это-то и было залогом спасения и исцеления для них обоих, и Соловьева, и Леонтьева. Соловьев так рано и грустно умер оттого, что в нем вовсе не было (!!) этой почки *Древа Жизни*; а Л-в все-же прожил до 60 лет и даже (как мне пишет) был «веселый и, наконец, не без легкомыслия человек». Есть «воды живые» и «воды мертвые», это надо помнить, как комментарий к «Древу жизни» и «познания».

{Прим. 1903.}

²⁸ На слова: «Мы остановились так долго на сдерживающем единстве в жизни человечества и его отдельных наций, потому что, сосредоточив свое внимание на начале разнообразия, К. Леонтьев только указал его, но не определил и не объяснил».

{Прим. 1903.}

V

19 июня 1891 г., Опт. п.

На днях, думая о вас, я вспомнил, что вы, по-видимому, не желаете больше служить в Ельце... Не хотите ли вы, чтобы вас перевели в Москву в одну из гимназий?.. В начале июля здесь собирается побывать Третий Иванович Филиппов; он, по-видимому, в хороших отношениях с гр. Деляновым и может повлиять на это. Сверх того я и к самому министру народного просвещения имею некоторый ход... Были примеры, что моя рекомендация у него не оставалась без последствий. Впрочем, насчет гр. Делянова я ручаться не могу наверное. Тут нужна обдуманность и осторожность, чтобы не испортить дела. Я имею привычку в подобного рода делах не спешить, а действовать, «подготовивши почву». Что касается до Филиппова, то он мне давний, личный друг, и с ним я могу говорить откровенно, он и насчет других министров дает превосходные советы, ибо знает все в Петербурге.

Весь вопрос в том, желаете ли вы в Москву. Мое мнение, что это было бы вам полезно. Раннюю молодость хорошо провести в провинции; ближе к «почве» и т. п. Но в 37 лет, в года «плодоношения», так сказать, лучше трудиться там, где сбыт «плодов» облегчен всячески. И мне самому это было бы приятно, потому что независимые от меня обстоятельства вынудят, кажется, меня или этой осенью (в сентябре), или будущей весной переселиться к *Сергию Троице*, т. е. я буду ближе к Москве (и к вам в таком случае)

Прибавлю еще вот что, для меня весьма важное. У меня есть одно довольно большое и давно начатое сочинение под заглавием «*Средний европеец как идеал и орудие всемирного разрушения*». Вы поймете без труда, в какой тесной связи оно состоит с одобряемой вами гипотезой «вторичного смещения и упрощения форм». Едва ли я буду в силах его кончить; силы мои *слабеют*, и что еще важнее, *охота* – все меньше и меньше... После 30-летней борьбы утомлен, наконец, несправедливостью, предательством, равнодушием одних; бессилием и неловкостью других; подлостью – третьих...

При моей вере в мистические начала вам, конечно, не покажется странным, что я придаю *большое* значение моему заочному знакомству с вами *именно тогда, именно тогда*, когда во мне случился особого рода внутренний перелом: до прошлого года я считал тот день *потерянным*, в который я не писал¹; теперь таких дней множество; и я *рад*, что *могу не писать*; рад, что материальные условия жизни позволяют мне забывать о «вознаграждении»; а для «влияния», которого, при всем желании утешить себя иллюзией, я нигде открыть не могу, – не желаю отказываться даже и от гран-пасьянса², который можно раскладывать по целым часам.

Конечно, я говорю о влиянии *серьезном*, вроде влияния Каткова, Л. Толстого, Достоевского, Добролюбова и Писарева в свое время; а не о каком-нибудь *suicis d'estime* – вроде Страхова³ и т. п. Таким-то и я давно пользуюсь. Но ведь это для усталых чувств и угасающих мыслей – возбуждение слабое!

Если бы мы *увидались*, я бы вам прочел эту рукопись и передал бы ее вам для окончания *за меня*...

Если бы у меня были *теперь* лишние деньги, я бы попросил вас принять от меня так или иначе 200–300 р. для свидания со мною и т. д.

Вот почему мне было бы приятно и перевести вас в Москву, если мне еще не судьба этот год умереть⁴, а судьба *жить* у Троицы.

Так как я мало-помалу становлюсь бесполезным, то есть шанс еще *пожить*: я замечал, что люди бесполезные и невлиятельные долго живут⁵.

Что делать: «Не так живи, как хочется, а так, как Бог велит!»

¹ Какая «урожденная» потребность писать и почти полувековое абсолютное невнимание общества к писателю, почти полная его нечитаемость! Миф о «муках Танталя», я думаю, никогда еще не имел для себя такой иллюстрации, как в этом своеобразном русском писателе с своеобразною, *поразительною* судьбою.

{Прим. 1903.}

² Поразительно. Я же выше сказал, что это был маленький Тамерлан, проигравший всю жизнь «в дураки» в провинции. Это признание Л-ва о «гран-пасьянсе» почти буквально совпадает с моею мыслью.

{Прим. 1903.}

³ Действительно: есть писатели, которые входят в плоть и кровь общества, страны; и есть писатели для полок библиотек. 99% литературы существуют для библиотек. Существование скучное, тусклое, печальное.

Невозможно и представить себе, что значит «входить в жилы» общества, чувствовать, что ты перерабатываешь дух людей, *быт* людей. Это – особая психология, головокружительная.

{Прим. 1903.}

⁴ Увы, таинственное предчувствие Л-ва сбылось. Он умер в этом году, едва только переехав к Троице-Сергию.

{Прим. 1903.}

⁵ Какое наблюдение! Действительно, бесценная жизнь (Лермонтов, Грибоедов, Пушкин) пересекается точно каким-то насилием на половине и уносится; а сколько «старичков на пенсии» мозолят глаза казначейству и выглядят «кашеями-бессмертными».

{Прим. 1903.}

VI

5 ию<л>я 1891 г., Опт. п.

Не 5 и не 7 строк, как вы желаете, а 75 000 написал бы я вам, дорогой и милый, добрый Василий Васильевич!.. Если бы не был так слаб... Болен я *всегда*, вот *уже 20 лет*, но заниматься мне это не мешает, кроме некоторых дней особого изнеможения или уныния. (Вот и *теперь* я в таком состоянии)... Мыслить и сочинять, читать серьезное не могу; но для письма, и *тем более вам*, всегда найдутся силы... Поэтому не болезнь причиной тому, что вы долго не получали от меня вестей, а ваши собственные *распоряжения*... Тотчас после вашего последнего письма я вам ответил в Елец, потом послал вам туда же 3 экз. моего «Сборника» и *столько же* брату вашему в г. Белый. Сверх того я в Елец же недавно послал еще одно вам письмо с деловым вопросом: *не желательно ли вам место при одной из московских гимназий!* У меня «есть рука» по мин. народн. просвещения, и я могу по крайней мере «попытать счастья». Удастся, – хорошо, не удастся, – ваше положение не ухудшится...

Статью вашу обо мне (от которой, конечно, я в восторге!) не осмелился возвратить вам, несмотря на то что заметки к ней давно готовы; ибо вы сами не велели возвращать ее до востребования... *Куда* вы уезжаете, вы мне не сказали; а все посланное мною вам в Елец, разумеется, лежит там, на почте, и *будет возвращено мне, если вы немедленно не напишете в почтовую елецкую контору*, чтобы вам все выслали на ваши Воробьевы горы...

«Обижаться» же мне на вас не только не за что, но так как монахи приучили меня в *самом деле часто молиться*, то я каждый день (иногда и не по *разу*, а чаще) молюсь, чтобы вы не переменялись ко мне и не оставили бы меня на краю могилы без вашей поддержки и без ваших (*неслыханных* еще ни от кого другого) утешений... Какое тут «негодовать» или «сердиться»! Тут надо свечи ставить или песни петь бравурные... Простите, что сегодня больше не могу ни слова написать... Изнемогаю и телом, и духом... Отчасти и от африканской жары...

У меня гостит теперь молодой *доцент* моск. университета Анатолий Александров (27 лет), друг и ученик мой... Он до того восхитился вашей статьей и вашими письмами, что если бы не это письмо ваше, извещающее, что вы под Москвою, то он непременно бы заехал к вам в Елец знакомиться... (Он едет к родным в Белев.)

Боже! *Доживу ли я* до того, чтобы видеть вашу статью оконченной и напечатанной! Варваре Дмитриевне мой искренний поклон с просьбой не «ревновать» ко мне и не мешать вам мною, грешным, заниматься!

*Обнимаю вас крепко.
Ваш К. Леонтьев*

VII

20 июля 1891 г., Опт. п.

Вчера получил ваше письмо с извещением, что переходите в Белый и т. д. Прошу вас, известите на ответном бланке¹, куда ж вам *теперь* более подробно писать: в *Елец*, в *Москву* (до 15?), или в *Белый*!

Александров – доцент по *русской литератур*.

Мое письмо вас обрадовало, а ваше произвело на меня *истинно-удручающее* впечатление известием об *отсрочке* статьи даже до *Пасхи*! Доживешь ли!? Опять *fatum*! Опять высшая Сила, с которой бороться нельзя.

К. Леонтьев

¹ Письмо – «открытое», с бланком для ответа.

{Прим. 1903.}

VIII

30 июля 1891 г., Опт. п.

Спешу, дорогой Вас. Васильевич, ответить вам в Елец, так как до 8 августа еще далеко.

Как видите, я возвращаю вам вашу статью с моими заметками, которые были сделаны еще в начале июня. Вы ее не *требовали*, правда, но я все-таки решился возвратить ее, ибо мне так на сердце легче. Вообразите себе девицу, например, которая сознавала в себе и видела и то-то, и то-то, и другие ей подтверждали все это, что она не могла не сознавать в себе, но по какой-то игре судьбы ей в любви серьезной все не удавалось – то улизнет один жених, то другой *из расчетов* (видимо) предпочтет другую, то третий чего-то побоится; так дожила она, положим, хоть до 35 лет и решилась давно уже не ждать *той* оценки, которая удовлетворила бы ее. Вдруг откуда-то неожиданно явился человек; он говорит ей *именно то*, что она уже 20 лет тому назад мечтала слышать. Все давно уснувшие в ней чувства пробудились... Конечно, уж не с той живостью, с какой они могли бы пробудиться прежде, но все-таки проснулись... И что ж? Опять обман! Этот человек или покидает ее также внезапно, как и явился, или сам умирает, и т.п.

Положение писателя, которого хотя и хвалили, но все не так и *не за то именно*, за что он сам себя ценит (я за *теорию смешения* и за указание на *негодность славян*), – разве не похоже на положение этой женщины?.. Я думаю, что похоже... Вы говорите: «будьте веселы». По натуре я и так довольно весел, и если взять в расчет года, суровость настоящего православного мировоззрения и несколько неизлечимых и важных недугов, из которых один (сильное и неисправимое без весьма жестокой и опасной операции *сужение мочевого канала*) беспрестанно за последние года угрожает весьма лютой смертью (*ischuria*), то могу сказать, что я даже *слишком* весел и легок духом! Вообще. Но нынешним летом Богу угодно было послать мне разом несколько новых испытаний (в этом числе и значительное ухудшение этой самой болезни), и поэтому я и *так* давно уже «удручен», молюсь, бодрюсь¹, стараюсь насильно заниматься

чем-нибудь, но есть такие нравственные давления, против которых ничего не сделаешь, пока сам Бог не облегчит их хотя бы изменением внешних обстоятельств. И вот в *такое-то* время я *неожиданно* встретил вас, и стало хоть с одной стороны светлее... И то еще все в *зародыше*... Кончайте, не кончайте – это ваше дело. Но мне будет легче, когда я верну вам начало вашей статьи...

Сверх того, мне пришлось в голову послать вам две брошюры Астафьева (в одном переплете). *Он один только* отдал справедливость моему «смешению». Но кто же читал эти брошюры 5–6 лет тому назад? 20–30 человек. И на лекциях (эти брошюры – публичные лекции) его собралось едва-едва столько же²!

Все другие – и Соловьев, и Страхов (в 1876 году), и Грингмут, и Юрий Николаев – старательно обходили этот *главный пункт*³, когда упоминали обо мне. Страхов только раз (по просьбе Берга, вероятно) писал обо мне в «Русском мире» 1876 года (Берг был редактор); он разбирал «Византизм и славянство», *очень* хвалил, но только как вещь, хорошо написанную в пользу возврата к «старому» православию; о «триедином же процессе» ни слова! *Имени своего под статьей не подписал*, а только буквы и *в общем издании* своих сочинений *этой статьи не поместил!*.. Впрочем, если хотите (напишите 2 слова на открытом бланке), я вам пришлю еще книжку с наклеенными разными обо мне отзывами за все время (от 1876 года до 1891). Когда я еще жил в своей деревне, лет 10–11 тому назад, у меня жила одна молодая родственница, весьма увлекавшаяся моими идеями. Она вздумала собирать эти отзывы там и сям, и бранные, и лестные, и оставила мне эту книжку⁴. Я нашел, что это весьма умно придумано и, на всякий случай, полезно, и с тех пор продолжаю собирать все подобные отзывы (многие из этих вырезок присылаются мне друзьями, ибо я, кроме «Гражд.» и «Моск. вед.», никаких газет не читаю и считаю даже такое чтение в высшей степени вредным!) О «Визант. и слав.» вы, сверх того, можете найти у Влад. Соловьева весьма серьезный отзыв, хотя и мимоходом, в его брошюре «Национал. вопрос» (Изд. 2-е 1888 года, IV гл. «Славянск. вопрос», стр. 79).

Вот вы боитесь, что 2-я половина вашей статьи будет «вялее» первой; может быть, чужие взгляды частью возбуждают, частью рассердят, частью обрадуют вас?..

В заключение хотелось бы мне поговорить с вами о вашей брошюре «Роль христианства в истории». Но отлагаю это по необходимости до другого раза. Ко мне вчера вечером приехал гость, и мне никак нельзя на все утро оставлять его одного.

На этот раз скажу только вот что. «Нагорную...» ли «...проповедь» надо при вопросе о примирении религии с наукой противопоставлять системе Коперника? Эти примеры *слишком выгодны* для вашего *желания* примирить их⁵. А попробуйте сопоставить *воскресение, вознесение, рождение* от Девы, *оставшейся Девой*, и т. п. с современной физиологией, клеточной анатомией, дарвинизмом и т. д.? Как хотите, а значительной частью того или другого надо пожертвовать. Я для моей *личной* жизни давно, давно и с *радостью* пожертвовал наукой, и во многих смыслах, во 1-х, в том смысле, что я ее уже давно *сердцем* перестал любить в *основании*, а смолоду любил; во 2-х, в том смысле, что в случаях *сомнений*, считаю эти сомнения мои действием злого духа и *отгоняю* их от ума моего, как *грех*, в 3-х, в том, что все усовершенствования новейшей техники **ненавижу всей душой** и бескорыстно мечтаю, что хоть лет через 25–50–75 после моей смерти истины *новейшей социальной науки*, сами *потребности* обществ потребуют если не уничтожения, то *строжайшего ограничения* этих всех изобретений и открытий. *Мирные* изобретения (телефоны, жел. дороги и т. д.) в 1000 раз вреднее изобретений *боевой* техники. Последние убивают много отдельных *людей*, первые убивают шаг за шагом всю живую, *органическую* жизнь на земле. Поэзию, религию, обособление государств и *быта*... «Древо познания» и «Древо жизни». Усиление *движения* само по себе не есть еще признак усиления жизни. Машина идет, а живое дерево стоит.

И к тому же большая разница не только между Коперником (не скажу гением, **а человеком XVI века**) и средней «интеллигентной» массой XIX века, но – и между этой массой и **нами**; мы еще с вами сумеем как-нибудь переварить это *точное* с *таинственным* (я *первое* обыкновенно подчиняю *второму*, говоря: «быть может, ученые *ошибаются*»); но пока *популярная* наука, ходячая, не примет того пессимистического, *самоотрицающего* характера, о котором мечтаю, не только студенту и даже профессору дюжинного ума, но и нынешнему волостному писарю не легко будет справиться с этим антагонизмом, и сила более ясная и грубая (вдобавок же и *модная*), т. е. сила точной науки будет торжествовать над *истинной* и *личной*, т. е. *богобоязненной* религией (т. е. над *трансцендентным эгоизмом*, о котором я вам уже писал) .

Ну, прощайте, обнимаю вас. – Гость обидится⁶.

Ваш К. Леонтьев

¹ Какой везде грустный тон! При объяснении теорий Л-ва нужно постоянно иметь в виду, что они изошли от «Иова на гноище». Тут не за-порхаешь. Не запоешь лазурных песен. Самая религия представится как утешение сквозь грозу. Да, есть Бог «в тихом веянии» (явление Илии про-року) и есть Бог «в буре» (говоривший Иову). Л-в слушал последнего. И не мудрено, что собственные глаголы его «рвали паруса», а не шелестели в кружевах изнеженных слушательниц и слушателей.

{Прим. 1903.}

² Довольно курьезно, что имя Астафьева (московский философ 80-х годов) все же более известно читающему русскому обществу, нежели имя Л-ва. Я слышал, что *устно* он хорошо говорил, но *литературная* его речь была до того чудовищно мертвенна, непонятна, неуклюжа, что, получив его «две брошюры», я повертел в руках их, как кирпичики или как плитки из библиотеки Ассурбанипала, и бросил. И такой-то писатель был един-ственным, через *популяризацию* которого еще мог подняться Л-в. Между тем *сам* он был «*scriptor elegantissimus*»; так говорится у Кюнера, кажется, о Саллюстии. Л-в писал, как *думал*, как *написаны эти письма*; надеюсь, читатель увидит, что он пишет легко, ярко, выразительно; что в речи его нет ни *непонятностей*, ни лишних слов. Отсутствием ненужных слов, ко-торые почти у всякого писателя занимают от 1/3 до 3/4 написанного, Л-в всегда меня прельщал.

{Прим. 1903.}

³ Т. е., в сущности, обходили *всю философию* Л-ва, останавливаясь на нем лишь как на публицисте-*консерваторе*. Вне теории «предсмертного упростительного смешения» Л-ва просто нет, он как бы не родился, не про-изнес *ни слова*.

{Прим. 1903.}

⁴ Л-в переслал мне и я сохраняю этот любопытнейший сборник. Он представляет собою две толстые переплетенные тетради, наподобие уче-нических «черновых» или «общих тетрадей», в четвертинку форматом и в толщину учебника Иловойского. По обеим сторонам каждого листа накле-ены отзывы о Л-ве. Их в общем очень много, но они все почти появлялись или в губернской провинциальной прессе, или в захудалых столичных ор-ганах. Почти во всех их Л-в пересмеивается, или перевирается, или если хвалится, так «оптом», без вхождения в подробности его мышления. Жур-нальных статей, т. е. основательных, нет ни одной. Наклейки эти, перед тем как их послать мне, Л-в грустно перечитал и усеял своими замечани-ями, полемикой, осуждениями, воспоминаниями или автобиографически-ми, или о знакомых и о друзьях-писателях. Получилась любопытнейшая книга, где мы как бы присутствуем в комнате самого Л-ва: так близко сто-

им к психологии его *in statu nascente*. Может быть, со временем я дам некоторые из этих заметок: они будут дороги *любителям* Л-ва, каковых всегда будет несколько в литературе.

{Прим. 1903.}

⁵ «Место христианства в истории» – первая моя журнальная статья – кой в чем, пожалуй, остается верна и до сих пор; но в общем она лирически-наивна. В ее конце я *увлекаю* читателя на путь идей о *примирении*, о *непротиворечии* христианства и науки: «напр., – говорю я, – противоречит ли нагорной проповеди система Коперника? Это – явления *разных категорий*, вполне согласимые». Л-в на это и отвечает совершенно основательно.

⁶ Да, вот в чем дело: *метод* науки вовсе не тот, что «откровения»... И *темы* другие. Но тут приходит на ум одно соображение: астрономия, геометрия, «звездочетство» и измерение «градуса меридиана» входило в *древние религии* «волхования» и не входит в религию только *сейчас, у нас*. *Наша* религия – «скорбей сердца» и «утешения» для «плачущих», «алчущих» и «гонимых». Что им даст «звездочетство»? Просто – оно *им* не нужно. Но только *им*. *Нами* и нашим *душеустройством* не исчерпывается религия, не кончается; и особенно *не начата* в истории. А «творение миров», а идея и *факт* «Творца миров»? Он *зовет* астронома, направляет трубу его телескопа. И алгебра, и механика здесь у места. Дело в том, что мы к XIX–XX веку окончательно слили с *моралью религию*, исключив из последней метафизический момент. Вот этот-то метафизический момент нисколько не расходится с наукою и даже с *чудом* в ней. Ведь биология же нас учит, что, напр., все внутри нашего тела процессы, напр., пищеварение, совершаются *сокращенными* путями, через заготовленные в организме кислоты, щелочи, механизмы, которые делают ненужными длинные обычные (химические) процессы. В сущности, каждая реальная *вещь* есть маленькое *чудо в своем роде* и источник чудесных феноменов. Да если взять факты: *размножения, роста, старости*, – то вот уже тут и «воскресение», и «девство при материнстве» содержится.

{Прим. 1903.}

IX

13 августа 1891 г., Опт. п.

Многоуважаемый Василий Васильевич!

Отправляя вам свои *замечания* к вашей статье, я забыл упомянуть о *двух* вещах, из которых одна имеет в виду *ваши* писательские интересы, а другая – скорее мои (хотя косвенно и до вас может касаться)...

1) Вы говорите, что я был смолоду *врач*, и обращаете внимание на то, что это как бы неслыханный пример, чтобы врач сделался серьезным литератором. Я боюсь, чтобы вас не осудили за забвение, во 1-х, того, что *сам Шиллер* был смолоду тоже военным врачом; а потом и того, что врачами были *Эжен Сю*, а у нас *Влад. Ив. Даль (Казак Луганский)*. Оно, конечно, *редкость*, но полагаю, что в ваших интересах было бы показать читателю, что вы эти имена помните.

Говорят также, что нынешний *Чехов* из медиков. Я его вовсе не читал, но слышно, что у него талант.

2) Вы хотите озаглавить вашу статью: «Эстетическое воззрение на историю». Так, кажется?

Опасаясь, что очень немногие поймут слово «эстетика» так серьезно, как мы его с вами понимаем.

Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что в наше время большинство гораздо больше понимает эстетику *в природе и в искусстве*, чем эстетику в истории и вообще *в жизни*¹ человеческой.

Эстетика природы и эстетика искусства (стихи, картины, романы, театр, музыка) никому не мешают и многих утешают.

Что касается до настоящей эстетики самой жизни, то она связана со столькими опасностями, тягостями и жестокостями, со столькими *пороками*, что нынешнее боязливое (*сравнительно*, конечно, с прежним), слабонервное, малoverующее, телесно самоизнеженное и жалостливое (тоже *сравнительно* с прежним) человечество радорадешенько видеть всякую эстетику на полотне, подмостках опер и трагедий и на страницах романов, а в действительности – «избави Боже!».

Мне иногда даже кажется, что по мере расширения круга среднего понимания природы и искусства круг *эстетического* понимания истории все сужается и сужается. В этом случае само христианство (*по-моему*, конечно, *ложно* понимаемое большинством, т. е. понимаемое *более с утилитарно-моральной*, чем с *мистико-догматической* стороны) часто играет в руку демократическому прогрессу². Например, в вопросах *войны и мира*. Истинное *церковное* христианство, и западное, и наше, вовсе так *войны не боится*, как боится ее разжиженное утилитарно-моральное христианство XIX века. Почитайте самые консервативные газеты, и в них беспрестанно такие фразы, где христианство и *политический мир* без зазрения совести путаются. (Хотя бы в «Гражданине», ну да и в «Московских ведомостях»).

Я не могу здесь много об этом распространяться, но прилагаю небольшие отрывки³, которые я набросал на досуге, скорее для себя и для друзей, не находя их достойными печати.

Вы с полуслова меня поймете.

Я *уверен* в этом именно вследствие *верного выбора* вами заглавия для статьи обо мне. Да, он верен, но невыгоден с практической стороны. По существу, по глубочайшей основе моего образа мыслей это так: «Эстетическое воззрение»! Но именно такое-то *указание на сущность* моего взгляда может компрометировать его в глазах нынешних читателей⁴.

Я считаю *эстетику мерилом* наилучшим для истории и жизни, ибо оно приложимо ко всем векам и ко всем местностям. *Мерило положительной религии*, например, приложимо только к *самому себе* (для спасения индивидуальной души *моей за гробом, трансцендентный эгоизм*) и вообще к людям, исповедующим *ту же религию*. Как вы будете, например, приступать со строго христианским мерилом к жизни современных китайцев и к жизни древних римлян?

Мерило чисто моральное тоже не годится, ибо, во 1-х, придется предать проклятию большинство полководцев, царей, политиков и даже художников (большую частью художники были развратны, а многие и жестоки); останутся одни «мирные земледельцы» да какие-нибудь кроткие и честные ученые⁵. Даже *некоторые святые, признанные христианскими церквами*, не вынесут чисто *этической* критики. Например, св. Константин⁶, св. Ирина, св. Кирилл Александрийский и *почти все ветхозаветные святые* (которым, однако, *велено*⁷ *молиться*)... Это во 1-х, а во 2-х, *этическое* мировоззрение неизбежно и всегда колеблется между двумя разными моральями:

моралью внутренней борьбы (или моралью *стремления*) и моралью *внешнего результата* (мораль осуществления). Пример 1-й морали: я рабовладелец; *могу* бить, *могу* даже *изувечить* раба, но воздерживаюсь от *последнего*, с большой победой над собою, хотя, однако, *все-таки* *бью* и *бью* крепко, но без членовредительства, и *бью*, например, *за дело*, *за грубость*, *подлость* и т. д. Пример 2-й морали: *не бью* *слугу* вовсе, потому, что *боюсь мирового судьи*.

Первая мораль, конечно, *менее верна*: но зато она ближе и к мистической религии, и к эстетике (победа разума и сердца над гневом и зверством есть также *эстетическое* явление – *моральная эстетика*); вторая мораль – гораздо *вернее*: но ведь эта забота об одном лишь внешне-моральном результате и приводит шаг за шагом к тому обще-утилитарному мировоззрению, которое и есть всемирная уравнивательная *революция* (смещение, разрушение, вторичное упрощение и т. п.). В эстетическом же мировоззрении *все вместимо!*.. И *все религии*, и *всякая мораль*, даже до некоторой степени и мораль внешнего результата. Например, противно было видеть, как дурного тона помещица бьет по щекам вовсе не слишком виновную служанку (мужчина и женщина – большая разница!), мировой судья тут является орудием *отрицательной эстетики*: та же помещица после 61 года не только *не бьет*, но и сама становится *интересной*, ибо слуги уже начинают злоупотреблять своей свободой и притесняют ее, и т. п.

Все это так... Но, увы! Не только в глазах какой попало публики, но и в глазах многих весьма серьезных, весьма влиятельных, весьма высоко в государстве поставленных людей слова: «художник», «эстетик», «эстетический взгляд на жизнь» – роняют практическую ценность мыслей.

Им представляется все это сейчас чем-то вроде излишества, роскоши, искусства для искусства, *десерта* какого-то, без которого можно обойтись.

Они никак не могут понять, что только там и *государственность сильна*, где в жизни еще много разнородной эстетики, что эта видимая эстетика жизни есть признак внутренней, практической, другими словами – *творческой*⁸ силы.

Вот что я хотел сказать.

В заключение дерзну прибавить несколько «безумных»⁹ моих афоризмов:

1) Если видимое разнообразие и ощущаемая интенсивность жизни (т. е. ее эстетика) суть признаки внутренней *жизнеспособности* человечества, то уменьшение *их* должно быть признаком *устарения человечества и его близкой смерти* (на земле).

2) Более или менее удачная повсеместная проповедь христианства должна неизбежно и значительно уменьшить это разнообразие (прогресс же, столь враждебный христианству *по основам*, сильно вторит ему в этом *по внешности*, отчасти и *подделываясь* под него).

3) Итак, и христианская проповедь, и прогресс европейский совокупными усилиями стремятся *убить эстетику жизни на земле*, т. е. *самую жизнь*.

4) И церковь говорит: «*Конец приблизится, когда Евангелие будет проповедано везде*».

5) *Что же делать!* Христианству мы должны помогать, даже и в ущерб любимой нами эстетики, из *трансцендентного* эгоизма, по страху загробного суда, для *спасения наших* собственных душ, но прогрессу мы должны, где можем, противиться, ибо он одинаково вредит и христианству, и эстетике.

¹ Нельзя не обратить внимания, что как с идеями Л-ва роднит, с одной стороны, Ницше, так с его *вкусами* удивительно совпадают так называемые «эстеты», «декаденты», «символисты» и проч. Мне известно (из личных знакомств), что они даже и не заглядывали в Л-ва, прямо не знают о *существовании* его. Между тем коренная его мысль, сердцевинный пафос – порыв к *эстетике житейских форм*, к *мистицизму и неисповедимости житейской сути* – суть в то же время надпись на поднятом ими знамени. Замечательно, что почти сейчас же после его смерти (в 1891 г.) явилось шумное, яркое, самоуверенное движение в сторону «красивых форм жизни»; зашумели Рескин, Ницше, Метерлинк, наши «декаденты». И вот тут-то выразился роковой *fatum* Л-ва, что то движение, которое он так страстно призывал всю свою жизнь, когда родившись, придя, почти победив, – даже и не назвало его по имени. Это действительно поразительно. Да и не виною ли в этом, что Л-в так замешал свое имя и силы в *хронику текущих событий*; не виною ли просто журналы, в которых он участвовал и которых никто не читал??

{Прим. 1903.}

² Вот здесь и подходит как бы «ком к горлу» Л-ва: он – монах, испрашивавший благословения старца на образ мысли свой, на труды литературные. Но «конные полки» Варшавы ворошат ему мысли, но кудри Алкивиада *обольщают* его. С «наукой» он разделался, почувствовав к ней скуку; скорее – положил ее в карман с твердым намерением не вытаскивать и не справляться. Но от «эстетики жизни» он не мог заснуть и между тем вынужден признать, что *более всего ее разрушает демократический прогресс*, являющий лишь светски обработанные истины Евангелия: братство, свободу, равенство. В катакомбах все это было «Бога ради», на парижских улицах «для себя», но *результат* там и здесь один: «первоначальная простота» (в катакомбах), «вторичное упростибельное смешение» (на париж-

ских улицах). Преторианец или гвардеец преобразуются в «сироту» хныкающего или в блузника работающего. Там и здесь ни тоги, ни аксельбантов не сохранится. Но тут начинался пафос Л-ва: «если без аксельбантов, то я лучше хотел бы умереть, даже – не родиться!» Таким образом, на дне его души, на самом ее дне лежали как бы вечно грызшие друг друга два змия: эстетизм и христианство, «эллин» и житель катакомб.

³ Отрывки эти, пересланные Л-вым мне, у меня сохраняются.

{Прим. 1903.}

⁴ Под влиянием этого соображения Л-ва, практически довольно основательного, я написал редактору «Русск. вестн.» 1892 г. (когда печаталась статья) переменить заглавие «Эстетическое понимание истории» на другое: «Теория исторического прогресса и упадка». Но письмо мое (из г. Белого) было получено в Петербурге, когда уже появилась январская часть моей статьи *под первым заглавием*; тогда редактор вторую, февральскую часть выпустил *под вторым заглавием*. Не помню, под которым заглавием вышла мартовская часть; но только эта путаница с заглавиями была равно вредна и смешна.

{Прим. 1903.}

⁵ Замечательное отрицание *универсальности* морального мерила. Это то, что позднее у Ницше и ницшеанцев получило название: «поверх добра и зла» (= «морали»). У Л-ва видно, *сквозь зубы*, неуважение, презрение, почти издевка над «моральным критериумом», который, однако, *по всемирному взгляду*, составляет пафос христианства. Выньте из Евангелия нравственную красоту, отнимите ее у апостолов – и останется что-то неясное и неубедительное, ради чего во всяком случае невозможно было бы отречься от «ветхого» завета, завета «вечного». Нет более *мотива* для перемены «Савла» в «Павла». «Древние говорили вам: *око за око*, а Я говорю: *отдай и рубаишу*», «благословляйте клянущих вас» и пр. Таким образом, со своим имморализмом (теоретическим) Л-в встал как бы *против* Христа, в упор, прямо и, завертываясь в греческую тунику, повернулся со словами: *«не нужно! не хочу!! и не уважаю!!!»* Это – «бунт» почище Карамазовского, по спокойствию тона, в котором он ведется.

{Прим. 1903.}

⁶ Известно, что св. Константин Равноапостольный казнил сына, оклеветанного влюбленною в него мачехою, а затем сжег жену в раскаленной бане, когда она ему изменила. Также кроткого и боязливого, послушного ему тестя своего Максимиана Геркулия (прозвище, полученное за громадный рост), будучи недоволен им за какие-то упущения в областном управлении, он вызвал ко двору своему и приказал удавить. Но это не соделало препятствия возвести его, за великие заслуги для церкви, в сонм святых и даже наречь равноапостольным.

{Прим. 1903.}

⁷ Вот эта *отчужденность* мысли Л-ва и сообщает ему, так сказать, *аналитическую* цену; это действительно не то что «гармонии» Достоевского, против которых как-то не умеешь *упереться*. Видя перед собою честного Л-ва, отсчитывающего «добродетели» и «признания», как по счетам пятачки и гривенники, выхватываешь, при виде ужасного итога, у него счета из рук и разбиваешь их о голову счетчика: «вот тебе, мучитель мой, истязатель души моей!»

{Прим. 1903.}

⁸ Вот где *центр* дела: что эстетично то, что *растет!* Не в этих ли мыслях Л-ва сближение с наименованием, у древнего Платона, «Творца мира» Демиургом, *художником*. Он таков не оттого, что *соделывает* Вселенную, как столяр – вещь, а что *отделяет* ее, как ювелир, «совершает» (= совершенствует), как бы восхищаясь делом рук своих и в восхищении почерпая новый мотив (пафос) для дальнейшего совершенства.

{Прим. 1903.}

⁹ В них вся *суть* Л-ва, разом поднимающая его над близорукими современниками, дающая ему преимущество мысли даже и над Д-ким. То-то он его и звал все «Фед. Мих.», с оттенком неуважения, как *моложеватого* товарища. Тут Л-в бесконечно *стар* исторически, точно «перед антихристом», когда уже «разгибаются» книги «за семью печатями» (Апокалипсис). Дело в том, что мы, христиане, вовсе не умеем выйти из орбиты христианского созерцания и, так сказать, каждый луч нашего зрения есть *в то же время* луч «воссиявшего мирови Света Разума». Все – мораль, «любви ближнего», соделывайся «братом ему». *Патолог* Л-в вдруг восклицает: «позвольте, вы *хвораете!* вы *умираете!!* и хворь, и смерть (биологическую) отождествили с нравственным *идеалом*». Но этот патолог в то же время монах: выкрикнув восклицание свое, он весь съезжился от страха, ушел весь в куколь свой, откуда глухо несутся стенания: «боюсь! за *душу* свою боюсь!! *адских* мук боюсь!!!» А что такое мука, – он по болезням своим, уже 20-летним, знает. Но и опять же, как вечно болеющий, он не хочет хвори; он разбрасывает пузырьки лекарств, выдвигается вновь из куколя своего, ищет цветного, звучного, «эстетического». «Эстетика универсальнее христианства! Что христианство для китайца и римлянина: «местное явление!» И т. д. Так, подобно маятнику, качался бедный Л-в между двумя абсолютно противоположными, несовместимыми мирами, идеалами. Но невозможно не заметить, что эстетизм был *натурою* его, а в христианство он все-таки был только крещен; это – первозаконие и второзаконие. Тут – граница для известного афоризма, что «всякая душа человеческая – христианка», «человек уже рождается христианином». Нет этого, и не без причины Христос сказал: «рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух» и «нельзя войти в царство небесное, если не родиться (вторично) от Духа и Истины».

{Прим. 1903.}

Х

14 авг 1891. Опт. п.

Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я получил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что *успею*. Я очень озабочен приготовлениями к переезду на Троицкий посад. Переписка с вами, В. В-ч, доставляет мне *уже редкое* по живости своей наслаждение, – говорю «уже редкое» потому, что в 60 лет сильно чувствуешь только одно: нарушение физического покоя и вообще телесные страдания; остальное все – и печальное, и приятное – скользит по душе, не оставляя в ней глубоких следов; но ваши письма чрезвычайно утешают и оживляют меня. Буду для порядка и ясности отвечать вам по пунктам.

1) Наклейки с отзывами посылаю (2 книжки) .

2) Греческие повести подожду посылать, чтобы не отвлекать вас от статьи («своя рубашка к телу ближе»). Пошлю позднее из *Троицкого посада*.

3) Вместо них посылаю довольно любопытную статью обо мне в *республиканском* (вообразите, какой «пассаж»!) журнале «Revue Nouvelle» (г-жи Adam) – «Un portrait» и т. д. – *Чернофф* – псевдоним; настоящая фамилия этого француза *Портье д'Арк*. Он дает уроки в Петербурге. Я, разумеется, *обязан* чувствовать признательность за его «прославление»; но при всем старании быть благодарным, не могу ослепить себя до того, чтобы не видеть его преувеличений и бестактности. И лично биографические сведения не точны, и все спутано, и фразы без конца и т. д. «Исторический вестник» не без основания в библиогр. своей заметил тогда: «Что за мысль пришла Г. Чернову знакомить франц. публику с писателем, которым у нас никто не интересуется?» К сожалению, эта заметка «Истор. вестника» в наклейки не попала. *Ее разорвал в минуту веселости* Влад. Соловьев, говоря: «не хочу, чтобы этот *хам* (библиограф) *поддерживал в вас свою несправедливостью духовную гордость*» (т. е. гордость смирения) и т. д.

4) *О средн. европейце* теперь не могу вам прислать, ибо она в таком беспорядке, что вы спутаетесь, – без разделения на главы, и главы без числа и конца. Отложим это пока.

5) *Два первые* фельетона ваши в «Моск. вед.» прочел с удовольствием: но 3-го почему-то не видал еще. Я сам не видал «Моск. вед.», но мне дают их здесь другие, – и случается, что как-нибудь один номер или два пропустят, а я по лени за цифрами номеров не слежу и спохватываюсь иногда так поздно, что нужного мне номера нельзя и разыскать. Впрочем, когда касается что-нибудь до меня, то любезный иеромонах, их получающий, уже не пропустит этого номера и даже отметит карандашом... Так что 4-й фельетон я надеюсь прочесть, если только *личное* недоброжелательство Петровского (*вполне, впрочем, мною заслуженное!*) не помешает его напечатанию. Ваша манера мыслить и писать очень отвлечена и не всякому доступна; но она *чрезвычайно* изящна, тонка и глубока. Кто может осилить, тот наслаждается. Но для пользы *дела* понуждайте себя более «иллюстрировать» вашу симпатичную метафизику *примерами, фактами, картинками* и т. п. Я знаю, что привычка к философскому движению мысли отучает от этих «иллюстраций»; но надо пожалеть и тех читателей, которые менее способны к отвлеченной последовательности. Вот и я принадлежу к их числу; и не будь в вашей книге «О понимании» всех этих *примеров* (зерно, прямая линия, круг и т. д.) – я бы в ней очень мало понял.

6) В ответ на вашу просьбу – объяснить вам, что заставило меня оставить дипломатическую карьеру, которая шла так хорошо (и даже *очень* хорошо под *конец*, судя по отзывам кн. Горчакова и обещаниям Игнатьева), и думать о монашестве, скажу вам следующий афоризм: «Полуоткровенность и недосказанность часто больше вредят настоящему пониманию чужой жизни, чем совершенное умалчивание». А с *полной откровенностью* я об этом в *письме* распространяться не могу. Если Бог поможет, наконец, нам увидаться (не отчаиваюсь!), то *на словах* – другое дело! Постараюсь, однако, *кое-как* объяснить... Причин было *много разом, и сердечных, и умственных, и, наконец, тех внешних и по-видимому* (только) *случайных*, в которых нередко гораздо больше открывается Высшая Телеология, чем в ясных самому человеку его внутренних перерождениях. Думаю, впрочем, что в основе всего лежат, с одной стороны, уже и тогда, в 1870–71 году: *давняя* (с 1861–62 года) философская ненависть к формам и духу *новейшей европейской* жизни (Петербург, литературная пошлость, железные дороги, пид-

жаки и цилиндры, рационализм и т. п.); а с другой – *эстетическая* и *детская* какая-то приверженность к *внешним формам* Православия; прибавьте к этому сильный и неожиданный толчок сердечных *глубочайших* потрясений (слыхали вы французскую поговорку: «Cherchez la femme!»), т. е. во всяком серьезном деле жизни «ищите женщину»); и наконец, внешнюю *случайность опаснейшей и неожиданной болезни* (в 1871 году) и *ужас умереть в ту минуту, когда только что были задуманы* и не написаны еще: и *гипотеза триединого процесса*, и «Одиссей Полихрониадис» (лучшее, по мнению многих, художественное произведение мое), и наконец, не были еще высказаны о «юго-славянах» все те обличения в европеизме и безверии¹, которые я сам признаю решительно исторической заслугой моей (**сам** Катков этой опасности не понимал или не хотел на нее указать по свойственному ему оппортунизму и хитрости)... Одним словом: *все главное мною сделано после 1872–73*, т. е. после поездки на Афон и после *страстного* обращения к *личному* православию... *Личная вера почему-то вдруг* dokonчила в 40 лет и политическое, и художественное воспитание мое. Это и до сих пор удивляет меня и остается для меня таинственным и непонятным. Но *в лето 1871 года*, когда, консулом в Салониках, лежа на диване в страхе *неожиданной смерти* (от сильнейшего приступа холеры), я смотрел на образ Божией Матери (только что привезенный мне монахом с Афона), я *ничего этого* предвидеть еще не мог и все литературные планы мои были даже очень смутны. Я думал в ту минуту даже *не о спасении* души (ибо вера в *Личного Бога* давно далась мне гораздо легче, чем вера в *мое собственное личное бессмертие*), я, обыкновенно вовсе не боязливый, пришел в ужас просто от мысли о *телесной* смерти, и, *будучи уже заранее подготовлен* (как я уже сказал) целым рядом других психологических превращений, симпатий и отвращений, я *вдруг*, в одну минуту, *поверил* в существование и в могущество *этой Божьей Матери*; поверил так ощутительно и твердо, как если б видел перед собою *живую, знакомую, действительную* женщину, очень добрую и очень могущественную, и воскликнул: «Мать Божия! *Рано!* Рано умирать мне!.. Я еще ничего не сделал достойного моих способностей и вел в *высшей степени* развратную, *утонченно-грешную* жизнь! Подыми меня с этого одра смерти. Я поеду на Афон, поклонюсь старцам, чтобы они обратили меня в *простого и настоящего* православного, верующего и в *среду*, и в *пятницу*, и в чудеса, и даже постригусь в монахи...»

Через 2 часа я был здоров; все прошло еще прежде, чем явился доктор; через три дня я был на Афоне; постригаться немедленно меня отговорили старцы; но *православным* я стал очень скоро под их руководством... К *русской и эстетической* любви моей к Церкви надо прибавить еще то, чего не доставало для исповедания даже «середы и пятницы»: *страха* греха, страха наказания, страха Божия, страха духовного. Для достижения этого страха *духовного* – нужно было моей гордости пережить всего только 2 часа *физического* (и обидного) ужаса. Я *смирился* после этого и понял сразу ту высшую *телеологию случайностей*, о которой говорил. Физический страх прошел, а *духовный остался*. И с тех пор я от *веры* и *страха Господня* отказаться уже *не могу, если бы даже и хотел...* Религия не всегда утешение; во многих случаях она тяжелое иго, но кто истинно уверовал, тот с этим игом уже ни за что не расстанется! И всякое *сомнение*, всякое *невыгодное* для религии философствование он будет с ненавистью и презрением *легко* от себя отгонять, как отгоняют несносную муху... А что было после обращения, после 1871–72 года, – об этом рассказывать невозможно *здесь!* Эти 20 лет, от 40 до 60, я *прожил* совсем *иначе*, чем первое 20-летие зрелости (от 20 до 40 лет). Я не говорю – лучше, безгрешнее, а только *иначе*, совсем с другим основанием, глубже и полнее... В эти же последние 20 лет (после Афона) я и написал все лучшее и оригинальное...

Больше ничего я на этот раз не могу вам сказать.

Приезжайте на Рождество ко мне в Троицкий посад (*если я там останусь*: ибо это только там решится), и тогда о многом скажу яснее и подробнее.

7) Об отце Амвросии позвольте тоже отложить подробную беседу. Скажу только следующее: *святость, признаваемая церковью*, может быть благодатью Божией усвоена людям самых *несходных натур* и *самых разнородных* умов. О. Амвросий по натуре и по уму склада более практического, чем созерцательного. «Практического», разумеется, не в каком-нибудь мелком смысле, а в самом высоком и широком. В том смысле, например, в каком и Евангельское учение можно назвать в высшей степени *практическим*. И любовь, и жестокие угрозы, и высшие идеалы отречения, и снисхождение к кающимся грешникам. Прибавлю еще: он скорее весел и шутлив, чем угрюм и серьезен, – *весьма тверд* и строг иногда, но чрезвычайно благотворителен, жалостлив и добр...

Теорий моих и вообще «наших идей», как вы говорите, он не знает и вообще *давно* не имеет ни времени, ни сил читать. Но *эпоху*

и людей он понимает превосходно, и психологический опыт его изумительный. Иногда, впрочем, приказывает себе вслух читать некоторые рекомендованные ему небольшие статьи. Так, мою статью в «Гражданине», о связи сословных реформ Толстого и Пазухина – с замедлением прихода антихриста, он велел прочесть себе 2 раза и чрезвычайно одобрил. Он «равенства и свободы» *не любит, как и все духовные люди*². Sapient sat!

8) О «Братьях Карамазовых». Разве я просил их у вас? Совсем не помню. Меня это очень удивило. Не беспокойтесь; у меня теперь они есть; променялся на другие книги с одним петербургским «фельетонистом» и «беллетристом», который приезжал сюда, видимо, для «изучения нравов».

9) После 20-го августа уезжаю на *Троицкий посад*. Вероятно, останусь там, если только увижу, что могу там *по-своему* навеки устроиться. *Если же нет, то скоро вернусь*. Вы из какого-то доброго и поэтического (видимо) чувства жалеете, что я оставляю Оптину; *а старец настойчиво*, уже с весны *побуждает* меня к этому переселению ввиду близости (там) именно той самой *хирургической помощи*, к которой и вы мне советуете прибегнуть. От Амвросий говорит: «Не должен христианин напрашиваться на слишком жестокую смерть. Лечиться – *смирение*». И даже торопит отъездку, пока не холодно. Может быть, у него есть и другие обо мне соображения, о которых он умалчивает.

10) Ischuria значит полное и решительное *задержание мочи*. Неправильное, трудное испускание называется dysuria. Dysuria пренебреженная ведет к ischuria. Ischuria, если не прекратится никаким средством, влечет за собой скорую и крайне мучительную смерть или: от *разрыва* мочев. пузыря, излияния мочи в полость живота и острого, в высшей степени болезненного воспаления брюшины (peritonitis acutissima); или от заражения крови *обратно* всасывающею мочею (*uremia*); при этом бред, иногда бешеный и т. д.

Вот почему от Амвросий и желает, чтобы я был ближе к хорошим хирургам. А если бы он сказал: «не ездите и готовьтесь здесь умирать» (как он иным и говорит иногда), то я, конечно, остался бы.

Впрочем, не надо старческую заповедь принимать всегда в прямом и чисто практическом смысле, что «вот все у Троицы еще *лучше* будет». Вовсе нет; может случиться в «земном» смысле и *хуже*; но важны благословение и послушание в «загробном» отношении, в смысле «*трансцендентного эгоизма*».

11) *Заключение*. Я смолоду набрал у Тургенева до 200 р. сер. и не отдал ему. И от многих людей видел много любви, снисхождения и вещественной помощи в течение моей уже долгой жизни. И как-то не стыжусь этого, а рад и за себя, и за людей, что добры. Позвольте же и мне предложить вам такой план: если я, оставшись у Троицы, к Рождеству увижу, что у меня найдутся *вольные* деньги, то возьмите у меня, *сколько будет нужно* на проезд из Белого и обратно ко мне и на прожиток в гостинице в течение *недели* (не менее, а то и более, иначе будет «смешение») и будемте разговаривать каждый день раза по два или хоть по вечерам без умолку от 6 до 11.

Отдадите, когда вздумается. И я должен и медлю, и мне должны хорошие люди и не спешат. Эта *метода* и национальна, и одна из самых «христианнейших»!

Надо относиться к этому просто и с сердечной чистотой верить, что нередко дающему давать гораздо приятнее, чем получающему – принимать. Особенно – *прошу вас* верить, до чего мне, полуживому, из эгоизма дорого было бы свиданье³ с вами, именно с вами!

Неужели вы сами *почтичь сердцем* этого не можете? И неужели Варв. Дмитр. будет вас отговаривать? Я готов буду тогда ей самой написать просительное письмо.

Аминь! Теперь надолго замолчу. **Некогда!** А вы пишете.

К. Леонтьев

¹ «Безверие» юго-славян!.. Поразительно вообще в истории европейской цивилизации, до чего *трудна для европейца* вера! Какие-то случайные и личные скорее *отклонения* в веру, чем *исключения* – *в неверие!* Паскаль, Амьель, люди странные, вечно больные, охающие, – вот они верили! Чуть солнышко сквозь дождь проглянет, европеец танцует, открывает лавочку, затягивает песенку и о Боге вовсе не думает. Совершенно обратное в Азии: счастливейшие цари, Давид, Соломон, владыки Тира или Ниневии, то воздвигают тысячелетние храмы, то пишут пропитанные теизмом книги. В счастья и в несчастья – азиат всегда мистик; европеец – только в несчастья. Европеец *только когда боится*, – верует (и Л-в: «*страх* – начало премудрости», т. е. *религиозной*); азиат с Богом и тогда, когда мирно пасет скот, среди четырех жен (Ревекка, Лия, Балла, Зелфа у Иакова), рождая непрерывно детей. Почему это? где тайна этого? Где тайна того, что с европейца, как солому с крыши, веру уносит малейший ветерок? «Юго-славяне» – «не веруют», «рационалисты», пиджачники, «техники». А мы, русские? Нет, тут *сорт* «верь», а не одна «слабость верующего». Не оттого ветер уносит солому, что она «на крыше», но оттого, что она именно «солома». Посмотрите на глубокую трудность внушить «веру» семинаристу,

питомцу духовной академии: а ведь только и делают, что «внушают» им ее. Опровержения (веры) – слабы, доказательства – сильны, а нет иногда доказательства. Можно сказать, «неверие» родится в Европе, как плесень на сыром месте, «само собою», «везде»; а «вера» выращивается с трудом, как какая-то орхидея, требуя парников для себя, «стечения случайностей», приспособлений, напряжения. Последний пастушонок в Туркестане, в Сирии о Боге *ближе* знает, *проникновеннее* скажет (см. хананеянка перед Христом: «Господи! и псы не бывают лишены кусков со стола господина своего», вдовица сидонская перед Илиею: «ты пришел напомнить мне грехи мои», и пр.), чем в Европе первый богослов. Ведь и Л-в вот в этих письмах что *дорогого* сказал о религии, что *взяло бы за сердце*? Религия явно для него или член политической системы, или упрямый предрассудок старика, который решил «отравить час» современникам-безбожникам.

{Прим. 1903.}

² Защитим немножко монахов: конечно, «равенства и свободы» нашей, из «буйства» происходящей, они не любят; но *лучшие* из них в себе самих, в «братии» своей, в *братстве* своем имеют такое *море* свободы и равенства, в котором наша исчезает, как ручеек в океане. Они нашли *без родства* (аскетизм) дух и форму и сущность родства: вот их секрет. Истинный (высокий) монах уже не имеет осуждения миру; но не по равнодушию к греху, даже не по снисхождению, что было бы гордостью сильного в отношении к слабому, а по *орлиному лету* своему и по *отцовской* к миру нежности. Вообще монашество, лучшее, истинное, содержит в себе некоторое *психическое чудо*, притом новое, до Христа не бывшее. Тут какой-то синтез Евангелия (*припоминаемых* его речений, притч, образов, даже смысла) и природы; тут во всяком случае много лесов, лесного запаха, ландышей, звезд, далекого горизонта, вечного уединения и *углубления в себя*, – словом, много *пантеизма древнего*, но, так сказать (как в музыке), поставленного «на другой ключ». Этим «другим ключом» была «благая весть» Христа. В Нем они получили Лик «взявшего на себя грехи мира», Лик во всяком случае Прекрасный, Неизъяснимый. Ландыши и запах лесов слились с человеческим образом («Сын Человеческий»), и получилась религия вместе: в *отношении к Богу*, и *глубочайшей человечности*. «Равенство, братство и свобода» тут слишком живут. *Французскую* «свободу и братство» монахи не пускают к себе, как *обезьяну* – люди, ибо там (на западе) действительно явилась лишь «гримаса» и братства, и свободы. Тут Д-кий в отрицании западных «идеалов» был прав, как и вообще славянофилы. Но граница монашества, и абсолютная граница, начинается со следующего. Положим, я отрок: мне 14–16–19 лет. Я несу в себе целый мир потенциал энергичного, страстного, веселого, предприимчивого, трудолюбивого. Монах (высший, идеальный) все это не осудит, даже похвалит! но какую-то вялую похвалюю, – и в этом весь секрет, мировой секрет монашества!! Дело в том, что в самом монашестве нет *энергизма к деятельности*, и «отрицание мира», «ухожение из мира» все же есть его корень, не переменимый, вечный, существенный! Сопоставляя

два выражения: «Тако Бог возлюбил мир, что и Сына Своего Единородного отдал за него» и «не любите мира, ни того, что в мире», мы первое находим одиноким, а второе подпирается такими краеугольными выражениями, как восклицание Самого Христа и притом в *центральные* мгновения служения Своего: «*Мужайтесь, Я победил мир*», «*Ныне суд князю мира сего*», «видели ли вы Сатану, спадшего с неба?» Через это самое «принесение Сына за мир» изъясняется не в смысле принесения Его *за мир сущий*, но – *для преображения мира* и лишь в этой «преобразенности» спасаемого. Теперь наши «энергии» в мире все суть обыкновенные, «не преображенные», и монахи не осуждают их, однако им никак и не сочувствуют. В конце концов «монашество», будучи «чудом психическим», однако же в корне содержит все-таки некоторое «испеление» бытийства, бытийственных вещей (отсюда буря против него Петра Великого, да и всех *энергических* людей). В монашестве вообще скрыт еще не разгаданный мировой секрет. Иногда оно мне представляется Живою и Личною Смертью: тихим увяданием с радостью на свое увядание. Ибо *побежать, прыгнуть* (действия *безгрешные*) монах все-таки никак не может, не *потеряв всей своей сути; захлопать в ладоши*, ну, напр., при виде подвига святости, – не может же! *Улыбнуться* – да, может. Вообще *тихость*, *штиль планеты* целой и, в последнем анализе, смерть – вот суть монашества. Может быть, мы, умирая, «преображаемся»; тогда в монашестве предчувствие «рая за гробом». Но тогда «лилии» этого рая слишком безжизненны; а ведь «древо жизни» (в *Апокалипсисе*) двенадцать раз в год приносит плоды!! Апокалипсис, как и Библия, как седмисвечник в скинии завета – все это «нет! нет! нет!» в отношении к монашеству, самому безукорному.

{Прим. 1903.}

³ Конечно, все очень легко было исполнить, но какая-то лень и суеверие, что я не увижу именно то дорогое и милое, что образовал уже в представлении о невиденном человеке, заставило меня несколько не спешить свиданием, да и вообще не заботиться о нем. Так мы и не свиделись. А *in concreto* человек всегда интереснее и лучше еще, чем по писаниям, письмам. Сужу по Страхову, которого долго знал, и из знания этого извлек бездну наслаждения, пользы. «Точно путешествуешь по Финикии, по Африке» и пр., знакомясь с новыми любопытными людьми. Новый человек интересен, как и новая страна. Но я всегда ленив был к таким «путешествиям».

{Прим. 1903.}

XI

20 авг.

Я еду решительно 24–25-го.

Посылаю вам все отзывы¹, какие только у меня есть. При свидании расскажу еще много любопытного про Каткова, Аксакова и мног. других.

Прошу вас убедительно *никому* этих наклеек не давать и не показывать (разве только брату вашему, если он с вами так единомыслен и близок). Большую часть *заметок пером* я сделал *теперь* и *собственно для вас*, так как вы желаете поближе познакомиться с моим литературным прошедшим. Но я бы не желал, чтобы эти заметки были в нескольких руках.

Вы спросите, может быть: «Какие же тут секреты?»

Секреты, не секреты, а есть такие «оттенки» в этих примечаниях, которые я бы, вероятно, изменил, если бы писал их не для вас, а для кого-нибудь другого, который внушал бы меньше доверия, чем вы.

Вам я инстинктивно верю, т. е. вашему участию и вашей искренности, а главное – вашему утонченному *пониманию*.

Теперь я долго не буду вам писать. Некогда. Но из Троицы пришлю адрес свой.

P.S. 21 авг. Сейчас только окончил чтение вашей статьи «Европ. культ.»² и т. д. (в № 76 авг.). Опять приходится сказать еще раз: «*Ныне отпущаеши*».

К. Леонтьев

¹ Критические о себе.

{Прим. 1903.}

² «Европейская культура и наше к ней отношение» – четвертый и последний фельетон в «Моск. ведом.» за 1891 г., август. Тут говорилось о Л-ве и его теориях.

{Прим. 1903.}

XII

3 сент. 1891. Троицкий посад

Дорогой и многоуважаемый Василий Васильевич. Наконец я кое-как добрался до *Троицы-Сергиева* и остаюсь здесь по крайней мере до лета; а вернее, что навсегда. Пока совершенно одинок, не выхожу из номера по слабости и скучаю по Оптиной. В Москве пробыл всего двое суток; были у меня Говоруха-Отрок, Грингмут, Александров и друг. Говорили о вас – и здесь я *воочию* увидел всю ту пользу, которую вы мне сделали даже и маленькой статьей в *Моск. вед.* Я это предвидел; но в Москве убедился уже вполне.

Весьма было бы приятно получить от вас весточку.

Адр. на Новой Лаверской гостин. № 24.

Ваш К. Леонтьев

XIII

13 сент. 1891. Сергиевск. посад

Неоцененный и единственный в мире (для *меня*, разумеется; вы сами теперь, я думаю, это понимаете?) Василий Васильевич! Слушайте, что я вам скажу: ровно год тому назад Влад. Серг. Соловьев взял у меня книгу, в которой наклеены все *последние* и *вам неизвестные* статьи мои в «Гражд.» (от 1887 до 1891 г.). Взял он ее у меня с целью писать что-то и где-то об «идейном консерватизме», которого представителем он меня считает. Но увлеченный ближайшей к его делу борьбой и по другим неизвестным мне причинам, статью до сих пор не окончил, продолжая от времени до времени извещать меня, что ни за что все-таки не откажется от этого намерения. Откажется или не откажется, но я эту книгу теперь взял у него для того, чтобы издать 3-й том «Вост., Россия и славянство».

При этом я обещал возвратить их ему к 1 декабря; надеюсь, что через неделю, не более, друг мой Александров начнет переговоры с типографиями, и так как я настолько неизвестен или малоизвестен, что без наличных денег он, пожалуй, и не скоро найдет то, что мне нужно, — то книга будет до тех пор напрасно лежать у меня (показывать ее хозяевам типографий не нужно; они большей частью ничего и так не поймут, и с них достаточно перечня заглавий; я уже испытал это). Вследствие всего этого я подумал, что могу на целый месяц (напр., до 1/2 октября) предоставить ее в ваше распоряжение, да кстати же пошлю вам и некоторые отрывки из консульских моих воспоминаний, которые были тоже в разное время напечатаны в разных газетах. Эти воспоминания, вероятно, тоже войдут в 3-й том¹.

Вот что я хотел вам сказать. Завтра пошлю купить коленкор и велю зашить посылки.

Давно вы мне ничего не пишете; я уже соскучился без ваших писем.

Я здесь теперь живу в глубочайшем одиночестве в гостинице и никуда через дурную погоду не выхожу.

Грущу о милой Оптиной; но делать нечего! Теперь до мая прикован!

Ваш К. Леонтьев

¹ И *до сих пор* этот 3-й том не издан. Fatum. Вообще слова мои, что Л-в гораздо больше любил людей, чем люди его любили, – мне думается, верны и много объясняют в его судьбе.

{Прим. 1903.}

XIV

18 окт. 1891 г. Серг. пос.,
Новая лаврская гостиница

Если бы я знал, Василий Васильевич, что мое долгое молчание потревожит вас, я бы давно написал вам хоть 5–10 строк. Но *именно вам* мне всегда хочется написать не 5 или 10, а 5000 строк. И потому иногда откладываю. К тому же, сознаюсь, к стыду моему, я стал ленив и *приступить* к какому-нибудь делу, которое мне кажется серьезным (а таковым я считаю нашу переписку), просто боюсь.

Вы спрашиваете, сержусь ли я на вас или болен? Ни то, ни другое, т. е. болен, как всегда, а не особенно; но сверх той лени и тех промедлений и колебаний воли, о которых я сейчас говорил, я во все первые числа октября был очень озабочен и занят счетами и деловой и хозяйственной перепиской. В жизни моей теперь крутая перемена или, вернее, несколько перемен, в зависимости одна от другой. Главное то, что я, так сказать, разрушаю теперь свой домашний, семейный строй, крепко сложившийся за последние 11 лет, и, в ожидании возможности поступить куда-нибудь *в ограду*, поселяюсь пока здесь один, в некоторого рода «безмолвии». «Безмолвие» по-монашески не значит «молчание»; это значит более или менее *беззаботное*, беспопечительное *одиночество*, разумеется, с постом и молитвой. И древние отцы различали два главных рода иночества – *послушание* (в общине) и *безмолвие* (одиночество).

Кстати сказать, я перешел из № 24 в особую, весьма *просторную*, но тихую и с виду очень монашескую квартиру, *со сводами* (средние века), внизу той же гостиницы, и *очень* ею доволен. *Для друга найдется место*. У меня около Оптиной было заведено целое хозяйство в особой усадьбе; своя мебель (кудиновская, материнская, даже 1811 года, приданое!) и т. д. Большая, хорошая библиотека. Обо всем этом нужно было писать, распоряжаться, что продать, что пожертвовать, что мне оставить. Конечно, все это было уже заблаговременно решено и благословлено покойным старцем (вы,

разумеется, уже знаете теперь, что он 9 октября скончался). Как бы то ни было, вы понимаете, что в первое время забот тут много. (Не помню, писал ли я вам, что жена у меня *слабоумная!*) Надо было и ее устроить у добрых и верных людей и т. д.

Теперь, когда я все это перечислил, вам будет ясно, что можно было мне и не сердиться и не особенно болеть, а все-таки не писать.

Кончина моего старца от. Амвросия не застала меня врасплох; он был так слаб, что я дивлюсь, как он мог еще дожить до 79 лет. Я столько лет ждал со дня на день его смерти, что теперь ничуть этим не поражен. Понимаю, конечно, что встретятся еще не раз случаи, если проживу еще долго, когда я буду восклицать: «где от. Амвросий!...» Но что же делать! Воля Божия! Господь, *если нужно*, и другого человека нам пошлет!

До получения известия я каждый день поминал его имя на молитве за здравие, а после стал поминать за упокой. И только... Но для многих других, не столь приготовленных или по *сердечному* (не чисто-духовному) чувству безгранично ему преданных, это очень тяжело. Я знаю даже таких, у которых личное к нему чувство было сильнее самой веры в церковь. Мое чувство к нему было более духовного оттенка; я его слушался, избегал делать что-нибудь важное без его благословения; видел от него много *всякого* добра (даже и *вещественного в прежние трудные времена*) ; но так страстно, как другие, привязан к нему не был. Я уверен, что есть люди (особенно пожилые монахини), которые надолго его не переживут, да есть и молодые мужчины, за *веру* и *будущность* которых я несколько боюсь; для них от. Амвросий был все.

Страхова статью (о Л. Толстом) прочел с негодованием, отвращением и бешенством! Какая хитрая, подлая статья; и с другой стороны – какая рабская преданность Толстому!..

Я так был взбешен этой статьею, что хоть сейчас возражать, и возражать грубо, беспощадно и т. д.

Но, разумеется, писать не стал. Я никогда полемикой с *отдельными лицами* не занимался, а теперь и тем более мне не до нее, когда я только и думаю о том, как бы поскорее расплатиться с некоторыми (старыми) долгами¹ и *вовсе перестать* писать.

Когда я в последний раз, прощаясь с от. Амвросием, – говорил ему об этом *новом моем чувстве*, года два, не более пробудившем впервые и все растущем, – об *отвращении к писанию*, не к чтению других авторов, о нет, но к *собственному* писательству, он мне сказал: «Ну, поправляйте, *издавайте* старое, а нового ничего не пиши-

те, *разве по нужде*) (т. е. для уплаты долгов и для помощи ближним).

Помоги мне, Господи, исполнить завет этого святого человека.

Варваре Дмитриевне передайте, что у меня *особо сильных страданий*, боли нет, при моих сложных и неизлечимых недугах; только иногда душит до слез нервный *гортанный* кашель. Но и в этом я отчасти сам виноват, – *курю*; с помощью Божией, впрочем, стал гораздо меньше курить, а все-таки еще курю. Вот за этот грех и казнь поделом.

(Для других курить не грех, а для *меня грех*.)

Ну а что вам сказать в ответ на то, что вы говорите о Вронском и вообще о наших людях власти... Не знаю! Разве то, что понемногу сами дойдете с вашим *умом* и вашим *вкусом*. Если мои книги не растолковали вам, *почему может и должен нравиться Вронский*, то что может сделать письмо?

Помните, вы писали мне, что понимаете, почему мне нравились, с одной стороны, *Бодянский*, а с другой – *разбойник Сотури*? Неужели Вронскому и рядом с ними² места не найдется! И т. д. и т. д. ...

Нет, еще все тот же припев:

Надо нам видеться³.

Ибо рядом с полнейшим согласиём у нас с вами есть непостижимые недоразумения... Так, например, для вас лица Достоевского *просты и естественны*. А для меня они почти все отвратительно *изломаны*⁴. А вот именно Вронский-то для меня прост и естествен; всех «изломаннее» в «Анне Карениной» – это Левин. Одно это «искание» меня бесит... «Искатели» должны быть *редки и велики умом*⁵. И тогда они стоят внимания. Так и было в старину, а теперь этих вредных искателей как собак, и кроме ненужных страданий и вреда от этого ничего не выходит. Что касается до *иностранного принца*, в котором Вронский увидал в увеличенном виде свои же черты и сказал: «неужто и я такая глупая говядина!» – то это со стороны Толстого гениальный взмах кисти, – но со стороны Вронского *просто ошибка*, от тяжелого собственного настроения. И принц, и он сам – *здоровые крепкие, светские* люди, – и прекрасно. А что *мы*, кабинетные, или вообще «штатские» люди не таковы, нам же хуже. Кстати, скажите: который из двух героев романа «Анна Карен.» в случае религиозного переворота, стал бы *просто православным*, ездил бы к отцу Амвросию или даже стал бы примерным монахом. Конечно, Вронский, а не несносный этот Левин (такой же *противный* лично, как сам Лев Николаевич).

Постарайтесь приехать.

Умру, – тогда скажете: «Ах! Зачем я его не послушал и к нему не съездил!»

Смотрите!.. Есть вещи, которые я *только вам* могу передать.

К. Леонтьев

¹ Из писем Л-ва к г. Губастову (ныне русскому резиденту при папском престоле, долголетнему сослуживцу и другу Л-ва), напечатанных в «Русском обозрении», видно, что это были крошечные, в несколько десятков рублей, а один в немного сотен рублей (200–300), долги разным знакомым еще в Турции. Л-в постоянно этим тревожился: и не тем, что он *должен* деньги («честь моя не очищена»), а тем, что, быть может, эти деньги очень нужны и, во всяком случае, очень пригодились бы давшему их. Не на меня одного эти тревоги, среди болезней и страшной собственной бедности, производили впечатление необыкновенной душевной чистоты Л-ва.

{Прим. 1903.}

² Конечно, не найдется. И Бодянский, и Сотири – фигуры *оригинальные* и *независимые*. Вронский же, хоть и блестящий гвардеец, также есть только продукт *среды и времени*, результат *обстоятельств*, как и «средний европеец», «либеральный земец» или «либеральный адвокат» (категория понятий Л-ва). Он *мне и Л-ву* представляется «оригинальным», «фигурою», – *потому что мы не военные*; как и мы ему, верно, представились бы «фигурными». Л-в в оценке Вронского исходил из эстетического идеала, между тем эстетичного-то ничего во Вронском и нет. Разве что эполеты позолочены лучше, чем у других офицеров. Но слова эти мои не затрагивают (как, вероятно, думал Л-в) эстетики вообще в «бранных кликах», в воинском лагере, дремлет ли он ночью перед грозой или пробужден и разразился сам грозой. Древние, начиная с египтян, имели «бога войны». Война есть вообще категория, трудно постижимая «для штатских» (напр., писателей), но она есть именно категория, мир особенный и сильный, со своею тайною и сущностью. Но, как и все в Европе, война стала в ней неэстетичной: это тот же «телефон» и «рельсовый путь», машина чудовищная, где очень мало лица человеческого. Войска Густава Адольфа и Валленштейна, войска Кромвеля или Генриха IV, Карла Великого или Омара – это вовсе другое, чем наши войска! Прежде всего была идея, великая, священная, за которую несло оружие. В сущности, только *священная война* и понятна, допустима. Но когда два дипломата, сокровенно от народов и даже мало понятно для своих государей, хитрят друг с другом, хитрят год, десять лет, пятнадцать лет, – а на 16-й год у одного хитрости не хватило и другой бросает войска на нацию, как бульдога на мышь (Бисмарк на Францию), то получается зрелище кровавое и бессмысленное, также мало эстетичное, как крушение товарного поезда или проигрыш в рулетке. Л-в же пересаливал: и одобрял не эстетику небесную (в отражениях на земле), а звон шпор,

позолоту пуговиц, «La nature morte», как говорят художники. Красив дождь и радуга. Но ничего особенно красивого нет, когда учитель физики перед классом учеников повторяет их в физическом кабинете.

{Прим. 1903.}

³ Подчеркнуто тремя чертами. Вообще при печатании этих писем жирный шрифт передает тройное или двойное подчеркивание слов, нередкое у Л-ва. И еще оговорка: везде слова: «церковь», «православие» у него написано с прописных букв, что не передано при печатании этих писем.

{Прим. 1903.}

⁴ Ну что же, и лица Шиллера, и Фауст у Гете разве не «изломаны»? не «изломан» ли и Гамлет? Тут Л-в идет против *вымысла*, идеализации в искусстве, возвращается к *натурализму*, который сам же так неистово отрицал. Д-кий, конечно, не срисовывал типов с действительности, а выдумывал человека; однако выдумывал его, повинувшись глубочайшему знанию человечности. Таким образом, пожалуй, он «человека» и не верно рисовал, зато очень верно – человечество. До поразительности, до ослепительности. Выбросить его из всемирной литературы, из дум человека о себе, так же невозможно, как выбросить Шекспира, Гомера, Моисея, пророков.

{Прим. 1903.}

⁵ Все это очень верно. Но «великий искатель» может вырасти на почве «вообще ищущей», а не среди квиетизма и успокоенности. В нижеследующем рассуждении о Вронском и Левине заметим следующее: ну, ввести бы Леонтьева в целый эскадрон Вронских или в факультет Левиных, Раскольниковых. К Вронским, в их залу, Конст. Никол. Л-в вошел бы с азартом восхищения, почти неся букеты из белых роз. Но кончились приветствия, прошел час рукопожатий, все усаживаются или так бродят по зале или казарме. Скучно Константину Николаевичу. Никто не понимает ни его «триединого процесса», ни восхищения к Бодянскому или Сотири. Все очень одобряют болгарских либералов, а о патриархе константинопольском просто говорят, что его надо сбросить в Босфор. Но и об этом говорят не настойчиво, а просто танцуют и едят бутерброды. Л-ву просто тут нечего делать: и, задыхаясь, в конце концов он бросился бы вон. В залу или, пожалуй, в студенческую «столовую» он вошел бы, пожимая плечами и аристократически морщась: все в плэдах Раскольниковы, Разумихины, Левины. Он оборвал бы и был бы оборван (в речи), но понимаемый и понимая. Он заспорил бы и, незаметно, *годы* бы prosporил, не скучая здесь, найдя бы учеников или учителей, найдя вождя себе или «верных», как воины Густава Адольфа, солдат своим идеям. Кому же в сочинениях своих говорил Л-в? Расспросите среди Вронских, «знакомы ли они с сочинениями Леонтьева, столь замечательными в историческом и политическом отношении?» И не слыхивали. А какой-нибудь бедный студент, из ненавидимого Л-вым типа, ломает над ними голову, ворошит волосы, хватается за перо, пишет им *апологию* или страстный *протест*. Увы, все

сочинения Л-ва похожи на страстное письмо с неверно написанным на конверте адресом. Он оттого и прошел *мимо* публики, *мимо* читателя, что «Дульцинея» этого героя Ламанчского просто не слушала его «изъяснений в любви»; а кто его мог бы выслушать и любить, тому он сам не сказал ни слова привета. Мы любим *не сродное* с нами: Л-в сам, конечно, был «вечно ищущий» и гениально ищущий Левин, Раскольников, до *преступности* в «исканиях», до святотатственности, до великих посягновений (отношение его к христианству). Оттого он, как исполн на карликов, и посмотрел на *литературные портреты* Достоевского и Толстого. Но «портреты» – Бог с ними: с Достоевским и с Толстым Л-в разошелся, как угрюмый и непризнанный брат их, брат чистого сердца и великого ума. Но он именно из их категории. Так Кук открыл Австралию, Колумб – Америку, и хотя они плыли по румбу разных показаний компаса, однако история обоих их описывает в той же главе: «великие мореплаватели». Сущность этого «великого мореплавания» заключается в погружении в умственный океан, в отдаче всего себя, до последних фибр, до злоключений, до опасности и личного несчастья – диковинкам его глубин и отдаленностей. Все три они, и Достоевский, и Толстой, и Леонтьев, не любили берега, скучали на берегу. Берег – это мы, наша действительность, «Вронские». В «скуке» Л-ва было много капризов, изгибов, которые и разобрать трудно. Он был гораздо менее прямолинеен, чем названные два писателя, отрицания которых не допускают сомнения о себе, как и положительный их идеал. Леонтьев – весь в капризах, как женщина: он делает ложные «изъяснения в любви», как ложно же негодует. Он любит страстно и мучительно, никак не менее, чем оба названные писателя, но никак не может сказать, от застенчивости или неопытности, *кого* именно и *почему* он любит, говоря стихом поэта:

Любовью безумной и страстно-мятежной.

Во всяком случае, из этих трех категорий людей: монахов, «государственников», «искателей» – около его могилы бродят тени только последних. И к ним, и к нему идет этот стих Пушкина, вызванный видом царскосельской статуи:

Урну с водой уронив, – об утес ее дева разбила.
Дева печально сидит, праздный держа черепок.
Чудо! не сякнет вода, изливаясь из урны разбитой,
Дева над вечной струей, вечно печальна сидит.

Вода, вечно бегущая, и этот разбитый «не нужный» черепок – как хорошо это выражает биографию Леонтьева, не удавшуюся, несчастную, около глубокого его мышления. А неосторожная «урно-носительница» – это умная часть нашего общества, пожалуй его «искатели». Правда, они «разбили» сосуд, но они же его и оплачут слезами длительными и осмысленными.

{Прим. 1903.}

Послесловие к письмам К.Н. Леонтьева

Письмо это было последним. Леонтьев умер 24 дня спустя после написания последнего из здесь приведенных писем (12 ноября 1891 года). Он умер не от своей мучительной болезни, а от той самой *rheumatism*, пример которой избран (в «Византизме и славянстве», центральной философской у него статье) для объяснения признаков смерти в своем «триедином процессе». Дурная погода, встретившая его у Троице-Сергия, на которую он уже жалуется в последних из этих писем, не заставила его побережиться. Он схватил простуду: развилось воспаление легких, болезнь не смертельная в молодости, но в возрасте 60 лет роковая. И он умер, прохворав недолго и не страдав исключительным страданием. Мысль обрадовать его напечатанием большой о нем статьи все время не оставляла меня: но, к сожалению, именно этот 1891 год был для меня полон исключительных хлопот, забот, отчасти – опасностей. Телеграфное известие о его смерти, прочитанное в газете, поразило меня удивлением и жалостью. Мало к кому я так привязывался лично, темпераментно. Собственно, мы любим людей *по степени того, насколько глубоко они проходят внутрь нас*. Один где-то пополоускался во рту, другой – прошел в горло и там застрял, третий – остановился на высоте груди; и лишь немногие, очень немногие за всю жизнь, проходят совсем внутрь. С Леонтьевым я испытал последнее. Личность его еще не озарилась для меня тем мягким, снисходительным, прощающим и любящим светом, какой исходит из его рассказов: «Из жизни христиан в Турции». Я знал его лишь в суровых и беспощадных чертах его философии, политики и публицистики. Соловьев верно формулировал его мысли в термине: «идейный консерватизм». Определив фазу 19-го столетия, как фазу «пред-смертного смешения», он захотел ей сказать, как некогда Иисус Навин о дне сражения: «стой, солнце, и остановись, луна». Конечно, он знал, что ничего от его крика не остановится, разве что ненадолго, слабо. Все царствование Александра III он приветствовал как эту нужную исторически «остановку»; на царствование Александра II, особенно после первых дней, смотрел как на несчастье русское и даже как на несчастье европейское. «Люди умирают», – и надо это умирание остановить. Известно, что и Вл. Соловьев посмотрел на фазу нашей истории, как на предсмертную, – в последние дни своей жизни («Три разго-

вора», {также} предсмертные беседы с проф. С. Трубецким). Но он не произнес: «стой», и ничего вообще не произнес, если не считать таких неудачных вещей, как стихотворное приветствие императору Вильгельму, двинувшему войска свои на «гогов и магогов» (китайцы). Но так ли они были оба правы? Есть ли вообще основание для такого окончательного пессимизма? «Человечество износилось: в цивилизации нет больше *зарождающихся* идей и в то же время *этнографический материал hominis sapientis* исчерпан». Так они оба думали. Но в каком смысле можно оказать, что, напр., русский народ «исторически износился», если *буквально* он живет сейчас не сложнее и не душистее, не «развращеннее» и не культурнее, чем при Владимире Мономахе? *Буквально* свежесть его и остается, как при Владимире Мономахе? Если у западных народов, германцев и романцев, в движение приведена вся масса народов, «вскисло» и «взошло» уже все, что способно к этому (хотя и это *хорошо ли мы знаем?*), то на пространстве восточ. Европы жили историческою жизнью буквально тысячи, а не миллионы; *люди и человеки*, а не *народы*. Наконец, прожили ли и отжили ли *мусульмане!* Что такое *еврей* и *кончено* ли с ним? Явно, что *главные узлы* истории даже и не завязывались, а не то чтобы развязались в прямую и гладкую, рациональную, понятную нить. *Ничего в истории непонятно*, – значит, вся она еще в будущем. Жизнь греков, римлян, уже ко временам Александра Великого и Тиберия – изъяснилась внутренним изъяснением, равно была понятна для Фокиона, Демосфена, Ювенала и Тацита. Нам все еще ничего не понятно из хорошо известных фаз всемирной истории: что? для чего? чем все кончится? Т. е. *главнейшие части* всемирной истории просто даже не начались; все еще идут только «подготовительные члены». Не только совершенно крепко «жид», и не для всемирного же торгового он создан, – не только не тронута ядро русского племени, не жила вовсе Литва, ничего не сказали угрюмые финны: но посмотрите на свеженьких, как ядерное яблоко, татар «с халатами»: неужели эти молодцы, эти явные дети, нимало не развращенные (признак смерти, разложения), не способны прожить час хорошей истории?! Право, и Соловьев, и Леонтьев судили человечество по петербургским адвокатам, петербургским журналистам, неудачным профессорам московским, харьковским, киевским. Бог с ними! Какая же это фаза «всемирной истории». Просто – это неудачные современники.

Два-три века «сереньких людей и сереньких событий» – и то еще ничего определенного не говорят о *плане* истории, о «конце»

всемирных событий. Что можно было представить себе глуше, печальнее веков VIII–XIV византийской истории? Вот история глухонемого, вот века глухонемые. И прошли. И ничего. «Все разлагается», – томились они. Но не образуется ли чего-нибудь вновь? Три эти кардинальные факта: жид, мусульманин, христианин – даже и не разговаривали еще между собою иначе, как в миссионерском перевирании и наивности. Целые миры цивилизации, так сказать, еще не «сняли друг перед другом шапки», не поздоровались, прямо – не посмотрели друг на друга. Все еще замкнуто, сомкнуто. Какие новые, громадные, неожиданные картины могут быть выброшены из жерла «всемирной истории», когда придут в настоящее касание эти кардинальные ее камни. Само христианство казалось «изжитым» обоим писателям, ибо оба они видели, что оно переходит «просто в мораль», а эта мораль просто сливается с «либерализмом и прогрессом». «Я бы обрадовался секте скопцов», – говорит Л-в в одном из приведенных писем. Но почему не взять секту обратную, столь же живучую, страстную, мистическую? Вообще Л-в был слишком теоретичен, слишком обобщенный человек, не вглядывавшийся и даже просто незнакомый с *любопытнейшими подробностями*. Ну, если взять, напр., наше *русское сектантство* (не старообрядство), то ведь уже одно оно во всяком случае не говорит о «потухшем кратере человечества». Мало ли там чего есть. Если от мира сект этих обратимся к общему их основанию, на которое все же они *ссылаются*, приводят из него *оправдание* для себя, к Евангелию, – то вот мы уже найдем источники для «рек воды живой», еще не пролившейся. Бедный до несчастья, Л-в ссылался на «*том V Догм. Богословия Макария*», но ведь всем (и духовн. лицам) хорошо известно, что это компиляция латино-немецко-русская. Взял бы он Кальвина, Меланхтона, наших Аввакума и Селиванова, т. е. *углубленных мыслителей* над Евангелием, – и ум его запутался бы, вошел бы в калейдоскоп узлов религиозных, которые его заняли бы более «гран-пасьянса». Поразительно, что в письмах его нет ссылок на ап. Павла, да и на Евангелие – почти нет, а только на «предания оптинских старцев». Т. е. он *сам* не погружался в стихию и глубь Евангелия. Вообще, в «грозе истории» оба они не жили, а только пользовались «от дождя» ее. А в «грозе»-то и интерес, там и бесконечность. Там и надежды жизни. Нельзя отрицать, что оба они жили в бездарную эпоху; но при всей любви и благоговении к их памяти невозможно не заметить, что и сами они не смогли эту сторону современно-

сти преодолеть, и легли в ней костями, хотя чрезвычайно томясь. *Счастливы*, свежи, радостны они были бы только в великую эпоху. Это слишком ясно из биографии, из всего духовного их образа. Явно, они были «рак на мели», «рыба на берегу». Потопа новых вод на берег, прилива «на мель» – вот чего подъять, не физически только, но и духовно, у них явно не было сил. Они были не только «на мели», но и сами не были «левиафанами». Отсюда грусть их имела причины быть удвоенной. Немного в истории русской есть таких грустных и изящных лиц. Над своим временем они поднимались высоко. Оба – мы это знаем – тянули к прошлому, к далекому прошлому, древнему, древнейшему. И хочется кончить сравнением их с теми встающими из могил мертвецами, которые высоко-высоко из них поднимались, вопили что-то и со стоном падали назад, – когда в утлом челне, с казаками и женой, проезжал по Днепру Бурульбаш («Страшная месь» Гоголя). В словах этих да не будет прочитан жестокий упрек: во всяком случае очевидно, что и Леонтьев, и Соловьев центральным идеальным содержанием относились к давно прошедшему, один – усматривая его в средневековой теократии, другой – в чем-то среднем между романтической Европой и византийской недвижимостью. Только Соловьев древний идеализм свой смешивал с «новыми либеральными идеями», распространяя умственные приобретения «адвокатов и журналистов» на суждения о церкви и христианстве; Леонтьев же идеализм свой ни с чем не смешивал. Таким образом разница между ними уже не была так огромна. Вл. Соловьева прямо тошнило от «теократии» *pur sang*, без либерального «подкрашивания». Он требовал духов на гроб, около которого плакал. Леонтьев считал духов «современной нечистью», добрейший и благороднейший человек, он указывал, «всем жертвуя», на игуменью Митрофанию, не предвидя, не рассчитывая, что она отобрала бы от него все те весьма и весьма «либеральные книжки», какие он любил потихоньку почитать, и свела бы его быт к такому рассудочному и утилитарному счету поклонов, вставанию поутру во столько-то часов и немедленному засыпанию на ночь, «без грез и вдохновения», – от которого он, изобразитель красивого мусульманства, пожалуй, перешел бы сам в мусульманство. «Все-таки там гурии», – заметил бы великий скептик. Они ужасно многого оба не разобрали в прошлом: не разобрали, между прочим, и того, что томившая их современность, включительно с рационализмом и бездушным материализмом, есть только телесные останки, однако вытканные тем самым духом, отлет которого из тела они оба оплакивали; что между тем, что оба

они так любили и что ненавидели, есть связь не хронологическая только: IX век – XIX век, но органическая: XIX век *весь вытек, до мелочей, до подробностей*, из IX века. Детское нарядное платьице, розовое, с лентами, – и старушечий чепец надеты на одно и то же существо, и даже оба они надеты, повинувшись *одному вкусу, моде и стилю*. Возьмем *старость* мусульманства, еврейства, Китая, как ее можно представить или как она есть (что я отрицаю): совсем другие пороки, иные слабости, иные излишества. *Совсем иной будет стиль старости*. Возьмем Грецию и ее падение, возьмем Рим в падении, Персию: совсем иная картина, чем засыхающая (положим) Европа в XIX веке. Европа XIX века трудолюбива, деятельна, скромна. Она нимало не «порочна», не сластолюбива, не роскошна, не изнежена. Рабочий, приказчик, учитель, перебивающийся на крошечном жалованье офицер – вот ее типы. По отсутствию пороков – им бы тысячу лет жить. Но они до того прозаичны, так пронизаны «светским» (laïci), в такой степени «инструментальны» (= машинны), что *им самим* кажется невозможным жить; и остаток души в них, *память* о душе своей бессмертной, разбивает иногда эту куклу, оставшуюся от человека (самоубийства, в 70-х годах XIX века чуть не эпидемические). Во всяком случае тут смерть не от пресыщения и излишества, а от бедности, нищенства. «Блаженни нищие духом» – слов этих не в силах повторить с верою (пафосом) те, кто до такой глубины переживает это нищенство. И Соловьев, и Леонтьев – оба поражены были страшным нищенством своей эпохи; «мертвыми душами», которые от времен Гоголя к их времени еще более умерли, еще страшнее стали походить на мертвецов. «Скопческое сжимание планеты», – так выражу я астрально это субъективное чувство.

Сейчас нет самоубийств. Да и вообще нет той страшной и особенной, непереносимой печали, какая у названных писателей совмещалась с центром их идеализма. Все они, включая сюда и Гоголя, шли по стезе тезиса: «не любите мира, ни того, что в мире: похоть плоти, похоть очей, гордость житейскую». Они были не только историческими жертвами, но частью и провиденциальными орудиями того, что я назвал «планетным ссыханием», которое могущественно и всеобъемлюще, как некогда был ледниковый период на земле. Но не окончательно и не абсолютно, как этот же период. В одном месте писем Леонтьева читатель заметил выражение, что «лучше десять мистических сект *вроде скопчества*, нежели одна гениальная философская система» (для России). В 1894 году, только что познакомившийся с Соловьевым и со мною, покойный Ф.Э. Шперк

передал мне, не без удивления, весьма сочувственные слова Соловьева о принципе оскпления как радикального средства отвязаться от угнетающей нас «плоти». Да и в самом деле, к чему это вечное бегство от непобедимого врага, которого можно умертвить минутой боли? Какой выигрыш, какая свобода для духа! «Бороться» с врагом?.. Но есть ли смысл в борьбе, когда в ней вечно бываешь побежден? Лежать под сидящим на тебе «бесом» (=плоть) – какая красота для праведника?! Одно движение ножа над тем, что *должно умереть* и к *умерщвлению чего* направлены все прижизненные усилия, что, наконец, *все равно не живет*, а составляет вредный придаток вроде червеобразного отростка слепой кишки, – это в самом деле мудрость! Соловьев, также как и Леонтьев, как и заморивший себя постом Гоголь, не усматривали *положительного, светлого и праведного* содержимого в том, на что посягнувшие совершил уже Ориген. Между тем «мистицизм», коего жаждал Леонтьев, да и все они три, мог двинуться и не по пути скопчества, но по противоположному пути, – к окончанию того «ледникового периода», с которым мы сравнили весь круг скопческих идей. Тогда все пойдет не к ссыханию, не к отчаянию (психология их трех), а к расцвету, к дождю, к радуге, увиденной Ноем, и словам Божиим о ней: «вот тебе знаменье, что это *не повторится еще*». В двойственной натуре Леонтьева, в его признаниях, что «лично я весел и даже бываю легкомыслен», в поразительной его личной доброте, – во всем этом видно, что *ядро его натуры* нимало не подчинилось страшно иссушающим, сжимающим его идеям, что под сумраком их благоухал именно живой цветок, прелестнейшее конкретное выражение «мистицизма в сторону расцвета». Да ведь и Соловьев, всю жизнь провозившийся с теократией и союзом с папством, не успел при жизни напечатать, но оставил в портфеле *Вестника Европы* предсмертное, последнее стихотворение: *Белые колокольчики*, которое я переименовал бы в «Душистые колокольчики». Какое заглавие, какой символ, какое предчувствие!

Сбились мы! Что делать нам?

В поле бес нас водит, видно,

Да кружит по сторонам... –

могли бы сказать они о *сознательных, преднамеренных* шагах в своей литературной деятельности. А *бессознательная*, она повиновалась другим тяготениям и, только «охваченная снами», не умела выразиться или выражалась очень редко.

В тумане утреннем неверными шагами
Я шел к таинственным и чудным берегам.
Боролася заря с последними звездами,
Еще летали сны, и схваченная снами
Душа молилася неведомым богам.
В холодный белый день дорогой одинокой,
Как прежде, я иду в неведомой стране.
Рассеялся туман, и ясно видит око,
Как труден горный путь и как еще далеко,
Далеко все, что грезилося мне.
И до полуночи неробкими шагами
Все буду я идти к желанным берегам,
Туда, где на горе, под новыми звездами,
Весь пламенеющий победными огнями,
Меня дождется мой заветный храм.

Удивительное стихотворение. Как оно искренно! Как *целообъемлюще*, т. е. говорит о чем-то цельном, достроенном, отнюдь не зачаточном; говорит о готовом, *сущем*. Между тем какая связь этого стихотворения со всеми сознательными частями работы Соловьева, – с папством, «примирениями», ветхозаветною «теократией», «чтениями о бого-человечестве» и всеми вообще его сочинениями, как бы вышедшими из-под фронтона которой-нибудь из наших духовных академий и только более талантливыми. Стихотворение это *глубоко-ново*, а мысль его, и содержание, и надежда – *сотворены*. Это что-то *сотворенное душою* Соловьева; мы говорим не о стихотворении, а о *сюжете* его. Последние подчеркнутые строки, этот «храм, пламенеющий победными огнями», под «новыми звездами», – вовсе не средневековый католический храм, и не Янус двуликого христианства, католическо-православного, о котором, казалось, он хлопотал всю жизнь. Мы сказали, что есть свой *непременный* стиль у старости и смерти; но есть *свой* стиль и у рождения, у рождающегося, по которому мы можем отгадать будущее строение родившегося. В стихотворении этом до того отсутствует тон *бедноты, минорности*, – выражаются слезы восторга к чему-то напряженному, как бы к предвечному ветру, надувающему паруса человечества, – что мы можем считать его прелестным весенним лучом, растаивающим тот «ледниковый период», которому он служил прозаическими и сознательными своими трудами.

В. Розанов
{1903 г. СПб.}

В.В. РОЗАНОВ – К.Н. ЛЕОНТЬЕВУ

I

<апрель 1891 г.>

Воистину Воскресе!

Не могу Вам выразить той радости и удивления, которые я ощутил вчера, когда на поданной посылке прочел: «От *К.Н. Леонтьева*», я Вас так всегда, с этими инициалами мне неизвестного имени и отчества, и называю, когда приходится заводить речь на счет истории или политики.

Впервые узнал я Вас из «Анализа стиля и веяния»^I и, прочитав 1-ю же статью, тотчас написал Н.Н. Страхову^{II}, спрашивая, не знает ли он Вас, и кто Вы, и чем занимаетесь, и, по возможности, какой наружности: форме, как и Вы же, я всегда придавал не столько значения, сколько, не знаю почему-то, всегда интересуясь ею.

Он мне ответил кое-что, но решительно отказался, в ответ на одно из последующих писем, хлопотать достать Ваш портрет, чего я решительно от него просил. Позднее я достал все, что мог, Ваше и все прочел, и даже в «Университетском отчете за 1855 год» разыскал Вашу фамилию в списке окончивших^{III}.

Если бы Вы меня спросили, почему мною овладело такое нетерпение, то скажу Вам: от неожиданности, от новизны впечатления. Решительно, прочтя страницы 2–3 «Анализа», я уже ясно видел, что имею перед собой человека безмерной внутренней силы, тонкой, не ошибающейся проницательности и совершенно не стесняющегося ничьим присутствием. Читатель, конечно, стоит где-то в стороне, но Вы его не видите – и разговариваете с собою. От этого невыразимая прелесть языка Вашего, этих отрывочных, сухих и точных фраз, представляющих часто (грамматически) лишь сложное сказуемое или сложное определение, напр., в характеристике Тургенева (упоминаю об этом, ибо безмерно дивился Вашему синтаксису, мне ужасно нравящемуся, хотя, конечно, неподражаемому, «не возродимому»).

Все в «Анализе» меня привлекало, все там верно: о излишестве в подсматривании, о бесцельных реалистических прибавках (шрам Кутузова), о слишком большой выпуклости в изображении людей «консульства – империи»; бесподобно нравились сжатые и сильные, *исчерпывающие* слова о Тургеневе, Щедрина, даже Достоевском;

оригинально и верно «о гениальных произведениях не гениальных людей» и всего лучше об С.Т. Аксакове (я его всегда любил, но после чтения «Анализа» вдруг выписал). Поразили меня заметки о появлении у нас впервые сильного воображения у Гоголя и еще одно место, где Вы делаете в 3–4 штрихах очерк психического развития нашего общества за нынешний век (там еще есть слова, что «в шестидесятые года все сорвалось со своего места», и пр.; справиться я не могу, ибо Вашу статью уже вчера отдал в чтение). Дивился Вашим курсивам («Л. Толстой не смеется над кн. Андреем... и *Долоховым почему-то*») – это меня ужасно поразило, это «подглядывание» в душу Толстого). Никак не мог только понять Вашего негодования на «типити-типити-бум» – мне представлялось убедительным, что это муха, зацепившаяся за паутину и пытающаяся оторваться, ударяется об стену – «бум». Для больного подобные вещи, мелкие окружающие звуки, и другой раз – субъективные – все, целый мир. Это «типити-бум» точно вводит Вас в комнату больного с тяжелым воздухом, на момент – как будто Вы лежите на его месте и прислушиваетесь к странным звукам, значущим и даже ощутимым лишь для его напряженных в борьбе со смертью органов ощущения и во все почти не существующим для здорового. Впрочем, быть может, я ошибаюсь.

Вовсе не нужна Ваша уступка Николаеву^{IV} и мне о Достоевском, – в ней бесконечно хороши только слова «впрочем – ничего, ничего – молчание», совершенно в Вашем стиле, в стиле Вашей крепкой не ошибающейся и не поправляющейся духовной организации.

Еще раз повторяю – Ваш язык, сухой, точный, как бы сталью подрезывающий каждый предмет и подводящий под него пленку именно нужной толщины и проч. (простите, что вздорно пишу – не умею выразить свою мысль), меня безмерно приковывал, и я множество страниц перечитал по многу раз, именно ради языка, любуясь им.

Тотчас выписал, по ссылке Страхова в «Записной книжке» Достоевского, Вашу брошюру «Наши новые христиане»^V. Кому я давал ее читать, всем больше нравится часть, посвященная Толстому, мне же гораздо более понравилась часть о Дост<оевском>: какая сжатая, удивительная характеристика (где Вы его называете «моралистом в смысле писателей XVII в.») и какое убийственное, опять не ошибающееся развенчание его *Пушкинской речи*. Вообще, что Вы мне и в письмо написали о нем, о ложности и некоторой фальшивости его стиля – я разделяю это. Меня только неизъяснимо привлекает, 1) что он до того охватил все вопросы духовной жизни нового общества,

что, говоря о нем, находишься прямо в центре живой, теперешней истории; и 2) я его люблю за необыкновенную простоту всех его героев, за то, что, будучи «исковерканы», они никогда не бывают *манерны*: искусственность, придуманность в чем-либо, *важничанье* для меня всегда было непоправимо отвращающим свойством, и, грешный человек, я немного люблю, когда люди с очень большими мыслями немного дурачатся, фантазируют, прихотничают, словом, не «ведут себя». Мне нравится Филипп Македонский^{VI}, когда он плясал и дурачился от радости на Херонейском поле^{VII}; Агамемнона^{VIII} величия – я почему-то не люблю: скучно, и всегда не «всего более умно».

Но я все еще не знал о существовании Вашего «Востока, России и славянства»^{IX} и только дивился, почему современник Л. Толстого и участник Крымской войны, так любящий и так знающий литературу, так очевидно вдумывавшийся в то, во что другие никогда не вдумывались, – так мало писал и так мало известен (я вовсе не из особенно *сведущих* людей). И вдруг из одного фельетона Ю. Николаева узнаю, что у Вас есть какая-то книга «Византизм и славянство»: тотчас при оказии поручаю в Москве ее разыскать, и там после поисков по всем магазинам наконец дали. 2 т <ома> Ваших статей («Восток, Россия и Славянство»), где и «*Византизм и славянство*».

Я только что вернулся в Елец, а главное, расклеился в дороге, как Вы со своими милым Сотири^X (помните?) – и мне трудно писать. Скажу только, что Ваша теория прогресса и разложения (пневмония, как пример выздоровления или умирания, общая формула: прогресс-усложнение, умирание-упрощение, оправдание ее даже на развитии планет, подведение под эту формулу всей истории, взгляд на революцию как на открывшийся в Европе эгалитарный процесс, и пр., о 1000-летнем росте государств) – все меня поразило, все было ново и, очевидно, истинно («печальная и суровая наука»), и я до последней строки все принял в свой ум и сердце: потому что очевидно и много сердца Вы вложили во *все* свои писания. Все дальше было мне понятно в Вас: понятна любовь к Сотири и «липованам»^{XI}, понятно отвращение к Гладстону^{XII} и *недалекому* Лессепсу^{XIII}, понятно все Ваше негодование, так великолепно выразившееся («не для того же Моисей всходил на Синай и пр., чтобы Гамбетты и Жюль Фавры^{XIV} высиживали свои яйца мешанского счастья!») – это чудные слова). Не буду дальше говорить, потому что не в силах, – но *как Вы себя любите и понимаете, так и я Вас не только уважаю, но и люблю и понимаю*, – все, все до последней мелочи, до раннего интереса к френологии, до

отвращения к Оверу^{xv}, любви к Бодянскому^{xvi}, до поездки к Смоленскому предводителю дворянства, до отсутствия всяких сантиментальностей по отношению к славянам; только больно, больно мне было, когда Вы говорили о бессодержательности русской крови, но спасибо за слова: «мы великий народ, это видно из самых отвратительных пороков наших» (только они не ясны, а уж как бы мне хотелось разгадать и недосказанное Вами).

Спасибо за письмо Ваше, я сохраню его как драгоценность; Вам трудно писать (сужу по почерку, и Вы стары), но всякую строку Вашу сохраню и приму в сердце свое: повторяю, я в Вас никогда не находил ошибки; о «трансцендентном эгоизме» и «альтруизме»^{xvii}, который приложится, – тотчас же все понял и признал. Но Вы умеете очень кратко и много выражать; не оставьте меня этими краткими строками. Скажу только, что я в высшей степени б<ыл> подготовлен к принятию Ваших идей: читая Токвиля, я также больше всего поразился, что «все люди стали схожи между собой»; но не было у меня формулы, не видел я теории, это было единичное печальное наблюдение.

Крепко обнимаю Вас и целую, как только может хоть усталый довольно, но молодой еще человек обнять и поцеловать старого, так много ему сказавшего.

Ваш глубоко преданный В. Розанов

II

Многоуважаемый и дорогой
Константин Николаевич!

<20 Май 1891 г.>

Благодарю Вас и за портрет Ваш (который очень хорош – характерен и значущ), и за письмо, и за вырезки из «Гражданина» Ваших «Записок отшельника»ⁱ и статьи г. Южногоⁱⁱ (я ее действительно не знал, потому что «Гражд<анина>» здесь никто не получает).

Если я Вам скажу, что я 1) хлопочу из всех сил о переводе меня из г<ор>. Ельца в какое-либо другое место службы и 2) менее чем через месяц из холостого человека становлюсь семьяниномⁱⁱⁱ и 3) что у нас еще экзамены – то Вы поймете, до чего я в хлопотах и озабочен, и верно простите краткость моего письма.

Все, что Вы пишете о судьбе своей как писателя, действительно характерно для «граматократии» нашей: мало есть положений и мало родов деятельности, которые бы так расшатывали, обезличивали или искажали все устои индивидуального существования человека: его характер, его совесть, живое сердце и простую порядочность. Вы вот все пишете (мне это ужасно нравилось – верно): «монахи, купцы, учителя» и пр.; знаете – писателей тоже нужно поместить *в конце*.

Отвечаю Вам по пунктам:

1) Говоруха-Отрок не был знаком со мной, когда я разыскивал в Москве Ваши книги: иначе бы, конечно, я от него получил. – Почти несомненно, что он *очень добрый* и порядочный человек, – это видно и из письма его к Вам, и из писем ко мне. Он верит в свою деятельность и к людям способен относиться как человек, а не как писатель только. Мне он очень симпатичен, мил, я люблю его. Его я никогда не видал: видел только (бывши 1 день на Страстной в Москве) его № в Кокоревке, его портрет и портрет его жены, и также массы книг, журналов и газет. Мне стало при обзоре его квартиры жалко его как человека: люди теперешние, лучшие – это, знаете, как Франческа ди Римини у Данта – что-то вечно несущееся, ни за что не могущее удержаться, да и не знающее, что это *нужно*.

2) Ради Бога, напишите о Страхове как можно больше: он очень характерен, очень любопытен. По поводу моего увлечения Вами он мне несколько раз повторял в письмах: «мне нравится, что Вы увлекаетесь *всем умным и изящным*» и в другой раз: «он (Вы) *эстетический славянофил*». Только в последнем письме он несколько раздраженно ответил на похвалы Вашему «*Национальному вопросу*»^{IV}. Но, знаете, темную сторону в складе его характера, его сердца я давно прозреваю: он очень холоден, сух, эгоистичен; он завистлив ко всякому дарованию и почти ненавидит его, когда оно имеет успех; он как-то одновременно и верен (наблюдателен), и мелочен в своих суждениях; как-то дробен весь, хотя всегда привлекателен (в письмах и сочинениях); он, не надеясь покорить себе читателей, как-то искусственно *сколачивает* себе славу: то там, то здесь искусственными мерами силится возбудить к себе внимание. Так что письмо Ваше вдруг возбудило во мне все эти дремавшие подозрения. Я его видел в течение 1 1/2 недели на Рождестве года 2 назад и ежедневно с ним беседовал: у него характерный, неприятный, деланный голос, при величайшем благообразии наружности: не верное ли отражение его духовной сути?

3) Я – учитель истории и географии, т. е. в составе грамотократии – кою разрушить – не пожалел бы никаких сил.

4) Обдумайте: не можете ли Вы об отце Амвросии^V написать так же, как об От<це> Клименте^{VI}. Вы не можете себе представить, как чрезмерно, как колоссально его влияние здесь! Книга о нем имела бы величайший успех: вот и прекрасный случай критику и политику, ниша жизнеописание духовных лиц, начать связывать в один узел, в один моток столь разнообразные нити; это хорошо, это значуще для будущего, – это проблеск, пожалуй, Византизма *начинающегося*. Прошу Вас – подумайте об этом. Здесь в редком доме Вы не найдете портрета о. Амвросия.

Кстати: что для Вас – Оптина Пустынь, то для меня – здесь церковь Введения и одна семья духовная (или вернее – род)^{VII}, в котором вот уже 3-й год я исключительно провожу свободное время. Знаете: что такое понятие *законности, долга, ответственности* (внутренней), я вынес из семьи этой, больше всего от старой диаконицы – вдовы, внуки Иннокентия Херсонского^{VIII}, которая, едва умея писать, долгими разговорами со мной, и, конечно, непреднамеренно, научила меня *впервые* этому всему, хотя я кончил университет и изучал римскую историю. Она знает От<ца> Амвросия, несколько раз бывала у него и в трудных (сомнительных) случаях жизни обращается к нему письменно за советами. Ее собственная (теперь 62-летняя) жизнь начиная с 16 лет была непрерывным исполнением долга, трудом и заботами около братьев, которых должна была в 16 лет, по смерти матери, взять на свое попечение, потом о детях своих, частью несчастных, частью порочных, которых она всех сберегла, исправила и поставила на ноги, и теперь блюдет 3-е поколение внуков. Удивительный тип русского характера, по чистоте, по незыблемой совершенно твердости, по мудрости (потому что сказать «по уму» совершенно недостаточно и нелепо). И сколько, выражаясь Вашими словами, оптимизма на деле выходит при суровом пессимизме религиозного созерцания у этой женщины. Я ей передал как-то Ваши слова (из книги): «перед концом мира охладает любовь в людях». – «Да как же, конечно, охладает», – сказала она и стала разъяснять и приводить примеры из жизни, ссылки на слова Евангелия, которое она постоянно в свободное время читает (единственная ее книга). Она меня тоже очень любит, [особенно с тех пор], как, оказывается, выслушала из-за стены при начале нашего знакомства, насколько я верующий человек. Нет, знаете, в русском народе при бесконечных пороках есть и столько *здорового* еще, что иногда диву даешься, как-то это еще дожило до XX века.

Будьте добры и любезны: пошлите «Восток, Р<оссию> и Славянство» (подчеркнув карандашом в оглавлении «Византизм и славянство») и (пожалуйста) «Национальный вопрос» (мне стыдно Вас об этом просить, но ведь дали же Вы для таковой цели Говорухе-Отр<оку> и Грингмуту^{IX}) – моему старшему брату^X, очень умному, очень твердому человеку, по адресу: в город *Белый, Смоленск<ой> губ., в прогимназию. Николаю Васильевичу Розанову*, с припискою, какую и мне сделали: «по дружескому совету В.В. Розанова». Я Вам ручаюсь, что он будет Вашим учеником, ибо не только по воззрениям, но и по твердому складу характера, по отсутствию ложной сентиментальности, в высшей степени, в *подробностях* к Вам склонен и Вас поймет. По должности же директора и по умственной смелости сумеет Вас и распространить. Так я думаю. Когда я восторгался здесь Вашим «Византизмом», больше всего меня раздражало нетерпение поделиться с ним, и так как Гов<оруха>-Отр<ок> обещал мне потом экземпляра 3 «Востока», я думал ему послать. Но этого не случилось. Кстати, не вините Говоруху за небрежность: я отсюда чувствую, до чего он устает, до чего измучен противным газетным писаньем.

Ну, дай Вам Бог всего хорошего. Теперь я Вас знаю по портрету: он замечательно хорош: темный фон идет к Вашему очень сумрачному мирозерцанию; пенсне и [шляпа] говорят о Вашем стиле, о Вашем изяществе, о спокойном барстве слишком твердого и в удовольствиях человека; морщинка над носом, прямым и сухим, – о строгости суждений Ваших, не ошибающихся и не колеблющихся; и прямой не изогнутый рот о способности к слишком большому неуважению как глупого, так и ложно-чувствительного. Я *приблизительно* таким Вас и хотел видеть. Взглянув на портрет, я вспомнил Ваши слова: «что ж, это хорошо, что на Афоне при монастырях живут и богатые (забыл название), которые не прочь и от изящной мебели, и от хорошей сигары» и пр. Вообще в Вас стиль *очень выдержан*. Верно, к Вам много перешло от матери.

5) Ради Бога напишите Ваши впечатления от статьи «Наше высшее церковное управление» («Русск<ий> Вестн<ик>»), апрель), – меня она ужасно заинтересовала и во всем прежнем поколебала (я думал, что у нас цезаре-папизм).

Ваш В. Розанов

Р. С. В письмах к Говорухе-Отроку я Вас приравнивал к Макиавелли^{XI} (по значительности) и был уверен, что в XX веке политика

пойдет по Вашим указаниям – всюду (и в Европе). И это всегда буду думать. Если Бог даст мне сил – я помогу со временем Вашему распространению. Зимой у меня была начата статья о Вас^{XII} (стр. 20), но прервал за совершенною невозможностью дальше писать по недосугу. Вспомните же, что я ежедневно даю в гимназии 5 уроков. А Страхову и Соловьеву^{XIII} за молчание, конечно, стыдно. Верьте: тут много зависти.

В. Р.

III

<11 июня 1891 г. >

Дорогой и уважаемый Константин Николаевич!

До того мне стыдно, что написал я Вам в том, предыдущем письме о чувстве, которое побудило двух известных писателей ничего не говорить о Вас. Если хотите сделать мне дорогую услугу, вымарайте это слово в моем предыдущем письме, и пусть оно будет похоронено так, как будто его никогда и не было. Много фактов заставляло меня так думать, странных, необъяснимых отсюда (из Ельца), и та темнота и грязь, которая обычно гнездится в том же месте, откуда вырастают цветы литературы.

Да, Вы правы: как чисто, целомудренно письмо сравнительно со статьей для печати. Знаете, всякий раз, когда я пишу статью – я бываю почти счастлив (и у меня есть этот благодатный дар – во время писанья не думать совершенно ни о чем, кроме предмета обдумываемого, или о том, что радует или вызывает негодование. Вы вот пишете о *смелости* моего отзыва о Гоголе^I, – между тем, что это смело – я узнал лишь из газетных отзывов и Вашего письма; она мне не стоила никакого усилия, не сопровождалась никаким внутренним напряжением или страхом отпора: просто я сказал то, что уже много лет у меня накоплялось при наблюдении над остатками жизни *старого стиля* и сравнением виденного с картинами Гоголя; его несправедливость меня и возмутила, его грубость, поверхностность созерцания).

Но когда увидишь перед собой эти мысли, столь радостно положенные на бумагу – на печатном листе, где-то в Москве отделанные, повсюду читаемые, – является неизъяснимо грустное чувство; что-то *опустошенное* чувствуешь в себе. Точно заветный, милый уголок Вы показали толпе праздных гостей, которые любопытно и равнодушно оглядывают все, что Вы перед ними ни раскроете. Не

знаю, по-моему – пишущий должен как-то ненавидеть своих читателей: они чужие ему и, однако, смеют поступать так, как близкие; и ты сам виновник того, что они так поступают с тобой, – отсюда презрение к себе, к какому-то своему малодушию или ошибке, неблагоприятию.

В одном месте где-то Вы сказали: «самое лучшее в добром деле – это то, что оно остается неизвестно»; у Вас лучше это сказано, изящнее. Я чуть не заплакал, прочитав эти слова: в них сознан центр душевного целомудрия, самое лучшее, драгоценное, к чему мы способны. Мы, пишущие, вечно оскверняем этот центр. Поэтому есть нечто развратное в писательстве; я это вечно чувствую, и когда вижу свои мысли напечатанными, у меня пробуждается чувство мучительного неудовлетворения.

Но это – тема дальнего рассуждения; по-моему, все формы западной цивилизации (а литература в установившемся виде – одна из них) имеют в себе этот развращенный *оттенок*. Ярко, ослепительно; непреодолимо очаровывает, – но и мучит внутренне несопадением с простотой и ясностью первозданной и чистой человеческой природы.

О себе Вы ужасно ошибаетесь: до знакомства с Вами я думал, что наиболее пронизательные умы в С. П<етербурге> поняли Ваши идеи и, продолжая молчать о них, – действуют под их влиянием. История текущая идет по путям, Вами предначертанным; отношение к южным славянам, желание отслоить опять смещавшиеся было сословия, церковноприходские школы на место земских, преобразование земства, суда и городских сословий – разве это не есть отчетливое *подмораживание*, коего Вы требовали? Твердость всех этих приемов (чего не было в самом начале нынешнего царствования) не свидетельствует ли о том, что они вытекают из какого-то очень ясного убеждения и очень сильного страха? Мне думается – это именно страх смерти, сознание умирания через смешение обособившихся форм, что Вы сделали очевидным через Вашу теорию.

Нет, знайте и помните, что Вы *влиятельнее всех нас*, т. е. и Страхова, и Соловьева, и Говорухи-Отрока, и Астафьева^{II}, и меня; только Вам самим из Оптиной Пустыни это незаметно. Поэтому напрасно Вы взяли эпитафии из Вл. Герье^{III} и посвятили книгу свою Т. Филиппову^{IV}, – это к Вам не идет. Берите эпитафии из Библии, из Евангелия, из Пророков, и пишите, думая лишь о них.

Странный Вы человек, если себя не понимаете: да помните – «*трещины с углублением*», – ведь в этих двух словах, действитель-

но, все различие Запада от Востока. Я тоже всегда так думал о нашем Востоке, и мне было ужасно грустно.

В Вас нет разнообразия интересов, предметов трактуемых, какие есть у Соловьева и Страхова, – вот чем Вы им уступаете; но Вы поняли самое важное в истории, тогда как мы все понимаем лишь второстепенное, истолковываем подробности. Что же важнее – разве Вы не видите?

И еще: Вы пишете изящнее всех нас, красивее, у Вас есть строки, есть фразы, которые никогда не забудутся, – сухие, строгие, выточенные точно из слоновой кости. У нас – клюквенный кисель, вкусный и слабый.

После Вас на первом месте по языку я ставлю Страхова: в его задумчивости, в его мужестве (о Н.Я. Данилевском, об Ап. Григорьеве), в его *не увлекаемости* ходячим – много прелести; как писатель – он один из самых любимых мною, – он совершенно никогда не утомляет. Его читаешь и перечитываешь, он воспитывает своим строгим и тонким отношением ко всякому вопросу.

Во Вл. Соловьеве мне не нравится эта напряженность языка, эта торопливость; а его последние писания, простите за откровенность, мне просто противны. Вот величайший враг самого себя. Кто бы мог его побороть, есть бы он не поборол сам себя! Жалко и грустно.

Но, конечно, его разнообразие привлекательно; привлекательна и неутомимость. Но ее характер, но ее временные цели – или не тверды, или недостойны, а теперь часто и фальшивы. Как я любил его, когда еще будучи гимназистом – узнал о его выступлении против позитивистов, но с каждым годом он становится менее и менее интересен.

Может быть, я очень ошибаюсь, но думаю так: его имя никогда не будет забыто в истории нашей литературы, так он много нашумел, но его сочинения очень скоро перестанут читаться после его смерти; книги Страхова никогда не перестанут читаться, пока люди не устанут задумываться и размышлять; от Вас останется незыблемая теория (исторического развития) и арсенал, из которого никогда не перестанут черпать эпитафии. Отсутствие систематичности у Вас (не в мышлении, но в изложении) неотделимо от прелестнейших сторон Вашей литературной манеры; но именно она и есть виновница, что Ваши идеи (для глупцов, конечно) не кажутся научны.

Теперь об этой научности: всегда и всем были известны некоторые аксиомы и некоторые определения в сфере политики, истории, в воззрениях на смысл нашего XIX в.; но они были общими местами

в разговорах и в писаниях, никем не отвергаемыми, но мало значительными.

Вы эти аксиомы и определения взяли и, взаимно сцепив их, *построили теорему*, которая охватывает форму исторического развития народов, раскрывает смысл XIX в. и в подробностях указывает пути для всех, кто сознает, что спастись нужно, и не знает, как спастись.

Что эта теорема научна – и говорить нечего. Повторяю – в элементах своих она всегда была известна (ведь и элементы геометрии известны даже чувашам: «целое = сумме частей», «прямая короче кривой») – в целом никогда и есть философско-политическое открытие.

Статью о Вас, которую я Вам послал, верните мне, *когда я Вам напишу о том*; ее я окончу, как только будет досуг. Если бы в ней отметили (карандашом на полях) свои мысли – был бы благодарен.

Но Ваша теория, зацепляя некоторые теории, не разрешает их:

Вы *поняли* прогресс и медленную революцию (разложение), дали *теорию процесса*; силу же, которая движет этот процесс, Вы лишь отвергаете, но *не опровергаете*; это – утилитарная мечта, коя сложилась в теорию. Насколько будет моих сил достаточно, смысл моей жизни будет состоять в восполнении этого недостатка. Сделаю Вам признание: мне теперь 37 лет, и я занят многими разными вопросами, но между 16 и 23 годами я не прочел ни одной книги и совершенно ни о чем не думал, кроме этой одной теории^V, – думал, просыпаясь даже ночью, сидя в гостях или обедая; и на 3-м курсе Университета нашел ее разрешение. В своем роде это так же просто и всеобъемлюще, как Ваша теория триединого процесса развития. Но у меня одно несчастье: я не могу писать о том, что у меня разъяснилось, что я *уже* пережил и решил; пишется лишь о том, что переживаешь теперь; прошлое – скучно.

Книга «О понимании»^{VI} вся вылилась из меня, когда, не предвидя возможности (досуга) сполна выразить свой взгляд, я применил его к одной части – умственной деятельности человека. Утилитаризм ведь есть идея, что *счастье* есть цель человеческой жизни; я нашел иную цель, более естественную (соответствующую природе человека), более полную и во всех отношениях истинную и окончательную.

Доказать и раскрыть ее всю я не имел возможности и сделал это лишь относительно умственной стороны нашей природы.

Книгу эту, я был уверен, посылая ее, Вы читать не станете, – как читать 700 стр<аниц>, не зная, получишь ли достаточное за такой труд вознаграждение? Сперва хотел было отметить карандашом при оглавлении лучшие страницы (о религии и пр.), но потом и этого не сделал, зная, что у Вас самих лучших страниц довольно и ничего они Вам любопытного представить не могут. И теперь я уверен, что Вы всю ее читать не станете. (Страхов – не читал сплошь); но прочтите *Заключение* (там весь план и замысел книги изложен) и главу 2-ю – «О схемах разума и сторонах существующего», – и обратите внимание на понятие потенциальности, этого странного полу-существования, которое есть в мире, действительно, – и Вы будете на пути к полному усвоению моего взгляда на человека, его природу, его душу, его цель.

Пожалуй, прочтите главу о целесообразности: там этот процесс определяется как выделение своеобразного из первоначально простого; процесс истории есть целесообразный (Провидение), и здесь моя отвлеченная теория этого процесса буквально совпадает с Вашими политическими теориями; еще о целесообразности и ее проявлениях говорится в главе «О сущности», с того места, где начинается рассуждение о том, что такое *организм и жизнь*.

Еще, чтобы не было недоразумений: литературного самолюбия, Бог весть почему, во мне совсем нет. В «Южном крае» мой взгляд на Гоголя был изруган и я сам назван *без малого дураком*; но статья написана в таком здоровом духе, и вообще видно, что ее писал такой хороший человек, *любящий* литературу, что я редактора газеты просил крепко поблагодарить за *мотивы* статьи ее автора, хотя и упрекнул его в резкости и *неотчетливости* доказательств. Что книгу же «О понимании» никто не читает, – в этом я всегда б<ыл> убежден и нисколько на это не сердился, тем более что она, особенно в самом начале, чрезвычайно дурно, тяжелым языком написана и вообще не ясна, плохо изложена, *неосторожно*.

Невеста моя, теперь жена, Варвара Дмитриевна^{VII} – благодарит Вас за любезный подарок. Мы вместе с ней перечитали и Вашу статью^{VIII} (она лучшая по языку из прочитанных мною в «Гражданине»), и Ваше письмо; я очень смеялся Вашему «**самое главное**» – статью первому на коврик. Человек смотрит на всю землю с луны и думает о ковриках для своего знакомого, которого никогда не видал. Объяснял Ваш характер и, так сказать, необходимость в Вас этой черты.

Ну, дай Бог Вам всего хорошего. На коврик я стал 1-й^{IX}, и этого потребовала во время венчания сама невеста. Она – кроткая, но без всякой вялости. В 15 лет, когда в первый раз выходила замуж, выбрала мужа себе сама и, хотя ее увозили из Ельца в Ярославль и там ее дядя, архиерей Ионафан, тоже приставал, чтобы она выбирала себе другого мужа (этот был плохо устроен по положению) – отказалась от всего, от приданого и пр. – и вышла за любимого человека, которому была примерной женой, любящей и очень любимой. Есть убедительные побуждения у меня считать ее не вульгарной, но именно *в наш век* исключительной женщиной.

Ваш В. Розанов

Жена очень ревнует меня к Вам за это длинное письмо, занявшее целое утро.

Карточку свою пошлю Вам, верно, завтра.

В.Р.

IV

<5 июля 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Я очень соскучился, долго не получая от Вас ни весточки, и стал думать, уж не больны ли Вы (что было бы всего хуже) или не написал ли я в письме своем чего-нибудь Вам неприятного, или не нашли ли Вы таковое в статье моей о Вас, вообще не нашли ли причин к неудовольствию или негодованию на меня. Если это есть, если я чем-нибудь Вас огорчил, – верьте, что это не только не преднамеренно, но и без малейшего веденья о том, что делаю. Да и не можете, мне думается, Вы и предполагать во мне ничего, кроме самого искреннего и глубокого уважения, самой горячей преданности не только идеям Вашим, но и Вам лично.

Я Вам только что писал (получили ли Вы это письмо?), что, по всему вероятно, из Оптиной Пустыни Вы не совсем верно оцениваете меру распространения Ваших идей, а приехав сюда, встретил и подтверждение: стал о Вас толковать с одним бывшим в Университете товарищем, Вознесенским¹, и так как среди молодежи предполагал Ваше имя неизвестным (*теперешняя* молодежь, особенно самая последняя, *совершенно ничего не читает*), то очень удивился, увидя, что он знает все Ваши сочинения и, конечно, как все их чи-

тавшие и *не совершенно глупые*, – ценит по достоинству – спросил: откуда он их знает, каким путем наткнулся? – «Мой брат, – ответил он мне, – учится в Московской духовной академии», и в ней профессор Беляев (по церковной истории) задал курсовое сочинение «О положении христианских церквей по сочинениям Леонтьева», – и, след^овательно, все слушатели курса (а ведь их много и со многими они придут в соприкосновение) должны были не только прочесть Вашу книгу «Восток, Россия и славянство», но и проштудировать, изучить все Ваши сочинения.

И один ли он? Сколько, быть может, есть таких пропагандаторов (простите за невозможное слово) Ваших идей. На мою оценку, Вы именно так должны распространиться со временем через личную пропаганду отдельных людей; так распространяются все очень оригинальные писатели. Толпу захватывают сразу книги хорошо написанные, но об обыкновенном и, обыкновенно, с общепринятых точек зрения.

В Оптину Пустынь мы хотели с женой приехать месяц спустя после свадьбы; но, будучи в Москве (Выставка – скверна¹¹), так от неопытности и дороговизны во всем растратились, что выезжать с оставшимися рублями (должно быть, 20–30) не решились, было рискованно, страшно, да и просто невозможно, а когда, посещая на прощание Воробьевы Горы (кои жене моей необыкновенно понравились), вдруг нашли дачу за 30 руб. за лето, причем в задаток можно было дать лишь 3 руб., – то с радостью на нее переехали из дорогой гостиницы и от дорогих обедов в разных гостиницах. Итак, ужас финансового кризиса заставил нас вместо Оптиной Пустыни бежать сюда, в милый и чистенький домик богомольных и трудолюбивых *Липован*, коих я с наслаждением и почтением здесь наблюдаю. Но я верю, что мы свидимся, буду я ранее или позже (нынешний или следующий год) в Оптиной, и наговоримся. Знаете, я всегда представляю себе всех нас, *сражающихся, давших себе слово победить или умереть* – сереньких «средних людей» наивного и не эстетичного Прудона¹³ – в виде крошечной дружины, но очень тесно связанной, и всегда хоть раз хочется взглянуть на каждого сотоварища по оружию.

Вы не сердитесь, что я все пишу «сотоварищи» – это не по осуществленному мною, но *по замысленному к осуществлению*. Чувствуется, что Бог мне поможет, и верю я в будущем в очень сильное свое влияние на души людей; *почему-то верится*.

<19 июля 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Обрадовали Вы меня Вашим письмом несказанно: я, правда, был полон всяких боязней за наши отношения, – и вдруг такое письмо! Но чем Вы больны? Я рад был с «Анализа», что Вы медик, и всегда бесконечно любил с очень старыми медиками рассуждать о человеческих характерах, об истории и также – какие и от чего бывают болезни. Я Вам еще не говорил спасибо за определение в «Анализе» болезни Ивана Ильича: ею я без конца интересовался.

Статью о Вас я надеюсь кончить зимой, на Святках или, еще вернее, на *Святой* – ибо это единственно незанятое службой время: по некоторым причинам (поездка) на Святках я заниматься не буду, а в будни служба *разбивает всякий энтузиазм к писанию*, и я если пишу, то плохо.

Почувствовав громадную нужду в деньгах¹, я взялся для «*Московских ведомостей*» (Говор<уха>-Отр<ок> уехал) написать 4 воскресные фельетона, и стал писать принципиальную вещь.

1-й фельетон (7-го июля, № 185): «Почему мы отказываемся от наследства 60–70 гг.». Тут и о Государе убитом, и о состоянии Университета в мое время. Тревожит меня этот фельетон: все в нем правда, кою давно и жгуче хотелось высказать, – но мне ли, питомцу Университета? о своих ли профессорах? Вот что меня мучает, и, прочтя его в печати, я пережил дурные мучительные дни, – не помутилось ли мое доброе имя? Ради Бога, напишите мне свои мысли, *когда будете здоровы*: мне не столько к спеху, сколько непременно услышать их. Может быть, одобрите. Но я о стариках очень тепло сказал, да и вообще понятие об Университете, его идее, выставил высокое.

2-й фельетон (будут все воскресные): «*Что составляет главный недостаток в наследстве 60–70 гг.*», об ошибках в мировоззрении, т. о. разъяснение, как они произошли.

3-й фельетон: «*Два исхода*», об учении гр. Л. Толстого, об утилитаризме, о возможности знать истинную цель человека на земле и о религиозном значении человека.

Если Вы можете, достаньте эти фельетоны, особенно 2-й и 3-й, очень значущи и, кажется, с большим одушевлением написанные.

Я только что, по моей личной просьбе, переведен на службу из Ельца в Белый, где буду жить с семьей моего брата, у коего получил, за ранней потерей родителей, воспитание.

Прощайте; крепко обнимаю Вас.

Берегите здоровье. Кажется, мы разделаем с противной партией хорошие дела, если Бог подкрепит нас (разумею весь наш кружок людей). Чего доцент Александров^{II}, какой науки? Слава Богу, что нашего полка прибывает.

В «Вестнике Европы», июнь, в общественной хронике есть несколько об Вас со злобой сказанных слов. Если бы не большая начатая мною статья об Вас, мог бы я сделать формулу Вашей теории.

Ваш преданный В. Розанов

VI

22 июля 1891

Дорогой Константин Николаевич.

Не удручайтесь, а будьте веселы: вот Вы еще и не думали, а один из фельетонов (4-й) в Моск<овских> ведом<остях> я написал специально о Вас^I. Но знаю, пройдет ли, кажется, нет причин не пройти. Статью о Вас тоже могу окончить гораздо скорее: в сентябре, в октябре. Боюсь только, не будет конец вялее начала.

Я **завтра** (23 июля) уезжаю из Москвы в г. Елец, и пишите мне *по адресу*: Елец, Орловск<ой> губ<ернии>, против церкви Введения, Александре Адриановне Рудневой^{II}, с передачей В.В. Розанову. *Это если будете писать не позже 8-го августа*, ибо 10-го августа я выезжаю из Ельца в Белый (было бы приятно получить от Вас письмо в Ельце). Если письмо будет опущено 9, 10 и т. д. августа, то адрес: в город *Белый, Смоленской губ<ернии>* в Прогимназию мужскую, В. В. Розанову. Бог даст, не все же будет *fatum*. *Теперь* 1-я работа, коею буду заниматься, – будет статья о Вас.

Ваш В. Розанов

VII

<14 авг. 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Прочел там и сям первую брошюру Астафьева^I – мысли, в ней изложенные, уже неоднократно и мне приходили в голову (о вреде быстро сменяющихся впечатлений) и напр<имер> в книге «О по-

нимании» я упадок во всех людях религиозного чувства приписываю этой неустойчивости всех теперешних впечатлений, не дающих ни над чем задуматься. Но, знаете ли, истинно губительною в этом отношении является современная *изошренная* школа, кот<орая> не дает в уме человека от 7 до 23 лет держаться ни одному впечатлению более $1\frac{1}{4}$ часа. Я сам учитель гимназии, сам перемолотое и перемальвающее зерно, и вот мое мнение: кто ненавидит пиджачную цивилизацию средних, сереньких людей, – должен прежде всего желать совершенного уничтожения средней школы, этой переделочной психической машины, которая цельное, полное задатков зерно индивидуального ума, индивидуального характера переделывает в удобную, съедобную, *нужную*, – но уже безжизненную муку. Если бы я был Наполеон или Чингиз-хан, не могу выразить, с каким бы удовольствием, наведя тысячи дул на эти экономические построенные здания, именуемые гимназиями, и только выведя оттуда подростков, велел бы обратить все остальное в кучи щебня, с этими гнусными учебниками, с этими обмундированными педагогами с их идиотскими глобусами, юнонами по стенам и всей учебной дребеденью. Нет, Вы, ученик *не изошренной* школы 60-х годов – не знаете, не понимаете и не можете понять, что делается в школах. Гр. Д. Толстой^{II} был только великий канцелярист, он ничего не понимал в истории и политике, когда самодовольно докладывал Государю: «теперь в Забайкальской области и в Москве в один и тот же месяц дети русские читают одну и ту же страницу Вергилия». Вот уравнивающий идеал, какой мог явиться только у Чингиз-хана или – у современного бюрократа. Нет, своими земскими начальниками он не поправил и $\frac{1}{10}$ доли того *всесмешения*, коими (как никто до него в нашей истории) послужил он своею учебною реформою^{III}. Я ненавижу его ограниченный ум и всю эту *слепую* политику нашего века. Вы сказали, что Гладстон – всего только вульгарный характер; bravo! поймите же, что и наши Толстые всего только канцеляристы. Мне доставляет удовольствие, просыпаясь от дремоты, объяснять ученикам вместо какого-нибудь Венского конгресса^{IV} – мою теорию среднего образования, этого всемирного обезличения людей, коему оно служит. Вообще как учитель – я несколько капризен, лениво тяну канитель, на меня возложенную канцелярскими программами, но оживляюсь только тогда, когда ученикам приходится (придет фантазия) объяснить что-нибудь свое: о платоновских идеях, о рациональной возможности бессмертия души, о том, почему они, сами ученики, так окончательно бездарны, себялюбивы и мелочны, и пр.

Что значит *ischuria*? Заражение крови мочевиной? Помогите Вам Бог переносить Ваши страдания, но, знаете, правы все, которые думают, что страдание очищает, просветляет и смягчает душу человека. Я часто бывал очень несчастен, очень угнетен и всегда становился тогда лучше, нежнее и возвышеннее в своих отношениях к людям, в сознании своего долга. Счастье, довольство – оскотинивает человека. Но отчего Вы не прибегнете к операции? Ведь теперь при помощи кокаина или эфира их делают без боли, и Вы избавились бы от хронического страдания и опасности близкой смерти? Как любопытно все, что Вы пишете о Толстом: вот не ожидал *безжалостности* в нем. Да, удивительная вещь литература и литературный талант – не симпатичная для меня вещь. *Древо жизни* – не древо познания добра и зла. Есть какая-то обратная пропорциональность между ними. Высший цвет почти то же, что гноящаяся рана. Не хочется жить при таких мыслях.

«Бр<атъев> Карамазовых» не могу Вам выслать ранее, чем когда приедут вещи в Белый, ибо он заложен в ящиках и уже давно отправлен товаром малой скоростью. А о чем *своем* Вы хотели бы там справиться? Вот любопытно было бы. Ваши все политические идеи я понимаю и знаю, но литературные, относящиеся к отдельным вещам – для меня еще закрытые драгоценности. Чем можете, чем Вам не скучно – поделитесь со мною. Всякая Ваша заметка в двух-трех словах дорога для меня.

«Человечество старо», печатали и писали в письмах Вы. Да, истощилось в произведении гениального, мудрого, героического – и осталась одна пошлость, которая, просуществовав некоторое время, исчезнет как плесень с лица земли. Жить не хочется, опять и опять... *Древо жизни* иссякло, потому что и к познанию окончательному уже почти близки люди. Знаете, что я *лично* испытывал: в разных местах моих сочинений Вы найдете отдельные страницы, написанные с большою страстью или где блестит совершенно оригинальная мысль, доказательства коей льются как бы сами собой. Я испытывал, что, написав эти страницы, я всегда *физически ослабевал* (как мужчина) и становился психически раздраженным, сумрачным, злым почти; а *перед* написанием бывали минуты какого-то удивительного просветления и счастья, повышения жизни. Из этого внутреннего наблюдения я вообще заключил, что психическая деятельность истощает органическую энергию, что в нее уходит первая и раз что-нибудь хорошее написано, нарисовано, совершено – некоторая доля жизни вышла из человечества, пропала

в нем навсегда. Лепесток с древа жизни опал, превратившись в крупинку сахара в плоде познания. Так иссякает жизнь в исторически-деятельных народах. Опять грустные мысли, опять жить не хочется...

Как жаль, что Вы хотите оставить Оптину Пустынь^V, как шло к Вам жить при ней отшельником, жить и умереть там... Мне *бесконечно* хочется быть там, увидеть, посмотреть искоса, из-за угла на о. Амвросия, его удивительный рот и *глаза, что-нибудь прочитать в них* (беседовать я даже боюсь), побеседовать с Вами. Вся Ваша жизнь оригинальна: медик (по сочинениям судя – хороший, очень вдумчивый, наблюдающий), консул и даже с хлыстом в руках^{VI}, порывы к монашеству, политический теоретик и отшельник Оптиной Пустыни. Кстати, не можете ли Вы хотя отчасти открыть мне (простите за нескромность, но она не пуста, не бессодержательна, а *очень серьезна*) смысл того переворота душевного^{VII}, кот<орый> заставил Вас бросить консульство и думать о монашеству? И хоть что-нибудь Вы не сообщите ли мне о чудесах, которые испытали на себе. Как в самом деле жалко, что мы не можем поговорить друг с другом. Это было бы так нужно! Что за человек от. Амвросий? Вы в своем роде психолог, и сжато характеризующий и объясняющий – поэтому если не опасаетесь анализом оскорбить чтимую высоту, драгоценность, святость – написали бы мне. Я по часам рассматривал его карточку и расспрашивал людей, его выдавших, даже о манерах; перечитывал и Ваши строки в «О Клименте Зедеггольме». Напр<имер> понимает ли и знает ли о. Амвросий Вашу теорию всесмешения? Вообще держит ли в уме *наши* идеи?

Что касается до примирения науки и религии, то, писав «Место хр<иistianства> в ист<ории>»^{VIII}, я разумел: примирение точного и долголетнего научного изыскания с религиозным духом, настроением чувства. Этого я лично достиг и лично же проповедовал. Но Вы пишете *о религиозных тайнах...* Должен предварительно сказать в объяснение, что *православным* я стал лишь недавно, помолвившись несколько раз в церкви Введения, познакомившись с дьяконицей Рудневой, урожденной Ждановой, внучкой Иннокентия Таврического, коего она хорошо знала до 14 лет; все это скрепилось и уяснилось *в идее* через Ваши слова: «что такое христианство без Православия (или другой формы), что такое православие *без Византийских форм*» и пр. Вообще раньше я был абстрактно религиозен – к православию относился даже не дружелюбно (тогда и писалось *Место*). Теперь не то...

Итак, истины науки для меня – одной категории, истины религии другой, и так же не мешают друг другу, как слух – зрению и наоборот. Но, Вы скажете, их предмет один часто; да, это во многих случаях, напр<имер> рождение и после него *все-таки* девство. Знаете, истины анатомии, физиологии, вообще не теоретических, а опытных наук утверждают лишь *всегдашность* наблюдаемых фактов, но все не их логическую необходимость; они говорят: *бывает так*, но не могут доказать, что *не может быть иначе*. Бессемянное зачатие века отрицалось: *omne vivum ex ovo et sperma*^{IX}; теперь же открылись факты деворождения, *sine sperma*^X, напр<имер> у пчел трутни. Это показывает отсутствие вообще универсальности выводов всех опытных и наблюдательных наук: невозможности они не могут доказать.

[Далее], факт или заключение науки суть продукт *ума*, т. е. одной из трех способностей (да и трех ли?) нашей души. Истину я признаю объективно таковою, потому что она субъективно воспримлема моею мыслью, усвоима логическою стороною духа. И мистическую тайну я признаю объективно действительною (это *выше истины*), потому что субъективно воспринимаю ее своим религиозным чувством, второю и равною всем другим стороною моей душевной природы. Откуда у меня эта способность восприятия, если нет ей соответствующей объективной действительности? Если она не вложена в меня прежде начала мира? Бог, человеческая душа бессмертная как Его дыхание – для меня истины так же убедительные, как то, что Волга впадает в Каспийское море, *так же ясные и близкие*.

Я рад, что Вы браните профессоров и студентов: первое условие для ищущего истины человека – это презрение к нашим университетам, переполненным краснощеками и вертлявыми мальчишками вверху и внизу. Это умственные и часто вообще духовные проститутки – и только. И как это сделалось – непостижимо, удивительно!

Ну, простите! Прислали бы Вы мне: 1) отзывы об Вас, наклеенные – для возбуждения, для любопытства; 2) недоконченную статью о *среднем* Европейце как орудии всемирного разрушения^{XI} – кою *сберегу как свой глаз*; *Греческие повести*. Я жаден до Вас, и писем Ваших мне мало. Статью свою я прочел, за драгоценные примечания к ней благодарю и только жалею, что их мало и они коротки. Через 2 дня я еду в Белый. Адрес: г. Белый, Смоленской губ., в прогимназию В.В. Розанову (кстати – Вы все пишете Розанову – это Берг переврал – моя фамилия Розанов). Целую Вас крепко и обнимаю.

Ваши В. Розанов

За продолжение статьи о Вас примусь около 20-го августа или с 1-го сентября, как только переберусь в Белый и устроюсь там на квартире. Да читали ли Вы статьи мои в Моск<овских> вед<омостях>? Были уже 3, а 4-я с формулой Ваших теорий и вызовом Вестнику Европы ответить на них – верно скоро появится. Нет, не забывайте меня письмами.

Еще одно слово насчет *разных видов* истинного: перед Вами два лица *неизвестного* происхождения: кроткое, любящее, страдающее, и другое – сладострастно-скотское. Как *умом* Вы докажете, что одно прекрасно, а другое отвратительно, и между тем таковые Ваши утверждения будут объективны, истинны. Вообще ведь есть категория *святости*? и есть наше отношение к ней, вовсе не логическое, но умственное, и однако истинное, праведное. Это – отношение благоговения, богопочтения, которое вовсе не есть отношение познания. Спаситель мира, Спаситель души моей, сказавший: «блаженны изгнанные за правду» и пр., *родился*. Конечно, он родился без мужчины, без скверного плотского акта с его подробностями, потому что он Свят и к святому не прикасается нечистое. Как Св. Дева осталась Девою? Да как же ей не остаться Девою, когда я вижу мысленно ее восходящей по лестнице Храма и Первосвященника, встречающего Ее – когда она свята, не греховна, когда родившийся от нее стал Спасителем нас всех. Она родила Спасителя, произошло Святое Святых истории, чудный акт, Ей самой непостижимый, Ее потрясший – и все тоже – благочестивый Иосиф, полулежащий в хлеве, она усталая и потрясенная, младенец в яслях и ангелы, поющие «Слава в Вышних Богу»... Зачем тут женщина или девушка, это из другого мира, другой категории, где-то за углом, где начинается совсем другое, земное и человеческое. Взгляд науки есть взгляд только по одной линии забора, решительно ничего не видящий по его другую сторону. Вы лежите на траве, перед Вами звезды, тишина, сосновый лес. Вы вспоминаете мать свою, когда-то любимую Вами девушку, теперь так же умершую, и думаете и о своей старости, о том, что и Вам уже не долго любоваться этим небом. «И будет земля новая, и небо новое», думаете Вы; там, под этим новым небом, на этой новой земле я увижу опять их, и они поймут, как я любил их всю жизнь потом, как вспоминал. Вам хорошо, покойно и тепло на душе, ясно все мироздание. Разве же это не истина? Почему? Лишь только потому, что не доказуемо? Но ведь это ничего не значит, это из другого, недоказуемого и, однако, реального мира. Не умею высказать Вам, но существование разных миров я вообще как-то ясно понимаю. Что

хорошо, то и истинно; и логически верная мысль потому и истинна, что она хорошо пришлась для ума, что она лучше всех ей подобных, о том же и почти так же мыслимых, но чуть-чуть неправильно, ошибочно. Иначе какой же смысл *хорошего*? Дым, призрак, исчезающее – и не истинны, и не хороши. Хорошее потому и хорошо, что оно действительно, *ens realissimus – optimus ens*.

А культуру всемирную нужно сохранить, сберечь. Мне мечтается, что догадаются наконец люди, к чему идут (к смерти) и... удержатся. Появится новый жреческий орден, появится новый союз пифагорейцев. Из семени вырастает дерево, а не складывается оно из земли: где-нибудь и когда-нибудь появится кучка людей, решившихся *взять историю в свои руки*. Это будет смешение религии, философии, политики и также высокой поэзии. Конечно, боязнь Бога, боязнь своей судьбы – будет главное; второе – окончательное познание добра и зла и приникновение к остаткам древа жизни, его сбережение. Не будет истории как развития – будет неподвижное существование в прочных, непоколебимых формах. Будет, мечтается, громадное пустое место, обнесенное высокой стеной, куда будут вталкиваться неразумные и буйные и там оставаться одни, *вне человечества и без Бога*, только со своим самодурством. Простите, поболтал бы еще, но что-то нездоровится, а главное – несут обедать.

Ваш В. Розанов

VIII

<ок. 18 октября 1891 г.>

Многоуважаемый и дорогой Константин Николаевич!

Очень, очень тяжело мне до сих пор не получить от Вас, даже 2–3-х строк, и дай Бог, чтобы это случилось по Вашему неудовольствию на меня, а не ухудшению болезни. Если Вы сердиты на меня за что-либо (а по неумелости я часто могу вызвать это чувство к себе) – беда поправима, ибо *основания* для Вашей горечи нет во мне и не может быть. Какая-нибудь моя бестактность, глупое слово – но это *Вы всегда простите* – ведь я же отношусь к Вам и Вы всегда ко мне относились как человек не только близкий, но и совершенно, совершенно (не сердитесь) родной.

Кончил чтение Ваших статей (будущий 3-й т<ом> «Востока») – множество превосходных, и если бы можно было мне его про-

держат еще месяц или 1^{1/2} у себя. Статья о Вас (написано 42 стр.) будет, кажется, очень большая, вроде статьи о Достоевском. Теперь пишу (и с большим увлечением) о разнице в политическом складе древнего, античного государства и нового, христианского. Вообще по мысли она будет очень содержательна. Хочется очень взять кой-какие выписки из будущего 3-го тома «Востока», и для того я ее прошу позволения поддержать.

Писать я Вам много раз собирался, но все не хотелось отрывать-ся от статьи. Когда я бываю занят чем по письменной части, у меня всегда вроде физической боли возникает от всякого отвлечения в сторону. Вот и теперь пишу лишь несколько нескладных слов, чтобы сказать Вам, как мне *больно* Ваше молчание и вероятное неудовольствие и как бьется горячо мое сердце к Вам. Да хранит Вас Бог. Целую Вас и обнимаю крепко, крепко в Вашей постели.

В. Розанов

Адрес: Белый, Смоленской губ., в Прогимназию – мне.

Жена Вам кланяется и желает облегчения физических страданий. Вы мне напишите только 5 строк, что не сердитесь.

IX

<после 18 октября 1891>

Ну, дорогой, неоцененный Константин Николаевич!

На стр. 57, которую пишу сейчас, – я Вас приравнял к Ньютому, его яблоку и закону притяжения, приравнял, повторив после 57 стр. рассуждения Ваши, слова: «Если же дело идет к победе болезни – упрощается картина организма». И знаете, клянусь Вам, я ни йоты не преувеличиваю: вот что говорит Вам человек чистосердечный, *во все время писания своего* я чувствую своим *ясным и точным умом*, что Вы великий человек, в самом простом, но и полном значении слова. Невозможно, чтобы и Вы этого не чувствовали, и тогда – зачем сумрак? Что не были признаны? да кто же *во время* был признан и понят кроме пошляков? Прощайте, потому что некогда, я прервал работу и сейчас опять к ней.

Ваш В. Розанов

Примечания

I. Письмо является ответом на письмо К.Н. Леонтьева от 13 апреля 1891 г.

^I Опубликована в журнале «Русский вестник», 1890 г. (кн. 6–8). Статья перепечатана в журнале «Вопросы литературы», 1988, № 12; 1989, № 1.

^{II} Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – публицист, критик, философ.

^{III} К.Н. Леонтьев после окончания гимназии в 1849 г. поступил в Ярославский Демидовский лицей, откуда в ноябре того же года перевелся в Московский университет на медицинский факультет. Не пройдя полного курса, К. Н. Леонтьев в мае 1854 г. подал прошение о поступлении на военно-медицинскую службу и, получив степень лекаря, был определен в Белевский егерский полк.

^{IV} Ю. Николаев – один из псевдонимов писателя, критика и публициста Юрия Николаевича Говорухи-Отрока (1850–1896). Сотрудничал в газете «Московские ведомости», журнале «Русский вестник».

^V Брошюра, в которой К.Н. Леонтьев объединил две принципиальные для себя статьи: «О всемирной любви. Речь Ф.М. Достоевского на Пушкинском празднике», 1880 г., и «Страх Божий и любовь к человечеству. По поводу рассказа Л.Н. Толстого «Чем люди живы?», 1882 г. Вышла в 1889 г.

^{VI} Филипп Македонский (около 382 – 336 до н.э.), царь древней Македонии, полководец и дипломат. Отец Александра Македонского.

^{VII} Место, где произошла битва (338 г. до н. э.) войск Филиппа II Македонского с фиванцами и где было побеждено «священное» войско фиванцев, выступавших в союзе с Афинами. Царя Филиппа, по свидетельству историков, отличало необыкновенное трудолюбие, громадная энергия, но был он «не воздержан и любил шумные и часто грубые удовольствия».

^{VIII} Агамемнон – в греческой мифологии сын Атрея и Аэропы, царь в Микенах, наиболее могущественный из греческих царей. «Илиада» изображает его доблестным воином, но высокомерным и неуступчивым.

^{IX} «Восток, Россия и Славянство» – сборник статей в 2-х т. М., 1885–1886 гг. Центральное место в нем занимает работа «Византизм и славянство» (впервые опубликовано О.М. Бодянским в «Чтениях в Обществе истории и древностей российских», кн. 3, 1875 г.), где наиболее полно изложена «теория Триединого процесса развития» обществ, государств, культур.

^X Герой рассказа «Разбойник Сотири», опубликованного в ж. «Нива», 1884, № 19–21.

^{XI} Одно из названий русских раскольников, или старообрядцев. Липоване жили главным образом в Буковине, Румынии, Прибалтийском крае и Польше.

^{XII} Гладстон Уильям Юарт (1809–1898) – английский государственный деятель и писатель, лидер либеральной партии.

^{xiii} Лессепс Фердинанд Мари (1805–1894) – французский дипломат, инженер-строитель, организатор «Всемирной компании Суэцкий канал».

^{xiv} Гамбетта Леон (1838–1882) – французский адвокат и политический деятель; Фавр Жюль (1809–1880) – французский политический деятель, адвокат. Принимал участие в революции 1848 г., в 1870 г. возглавлял правительство «Национальной обороны», но в конце концов стал одним из палачей Парижской коммуны. По определению А. И. Герцена – «маховый краснойбай, ритор и софист».

^{xv} Овер Александр Иванович (1804–1864) – известный врач, профессор Московского университета.

^{xvi} Бодянский Осип Максимович (1808–1877) – славист, профессор истории и литературы славянских наречий в Московском университете, приятель Гоголя и семьи Аксаковых.

^{xvii} Это из письма К.Н. Леонтьева к В.В. Розанову от 13 апреля 1891 г. «...Христианство личное есть, прежде всего, *трансцендентный* (не земной, загробный) *эгоизм*. *Альтруизм* же сам собою «приложится...»

II. На л. 5 помета К.Н. Леонтьева – «20 мая 91 г.». Ответ на письмо К.Н. Леонтьева от 8 мая 1891 г.

ⁱ Название цикла статей в журнале «Гражданин», вышедших в 1887–1888 гг.

ⁱⁱ М. Южный. «Литературно-критический фельетон. О романах гр. Л. Н. Толстого, К. Н. Леонтьева». «Гражданин», 8 июня 1890 г. (157), 13 июля 1890 г. (162). *Южный* – псевдоним журналиста Зельманова Михаила Григорьевича (1869–1901).

ⁱⁱⁱ Речь идет о женитьбе на Варваре Дмитриевне Бутягиной. В это время В.В. Розанов был все еще женат на А.П. Сусловой, которая не соглашалась на развод. Настоятель церкви Колабинского детского приюта в г. Ельце согласился тайно обвенчать В.В. Розанова и Варвару Дмитриевну без свидетелей и записи в церковной книге и с условием, что после свадьбы они переедут в другой город. В.В. Розанов поменялся со своим университетским товарищем К.В. Вознесенским местом работы из Ельца в г. Белый. В архиве писателя хранится письмо директора Елецкой гимназии В.В. Розанову о перемещении его и Вознесенского (Бельская прогимназия) согласно их прошению с 1 июля 1890 г. «одного на место другого».

^{iv} Имеется в виду статья К.Н. Леонтьева из цикла «Записки отшельника» «Национальная политика, как орудие всемирной революции». – «Гражданин», 1888 (№ 256, 258, 261, 262, 265, 269, 272, 275, 279).

^v Амвросий Оптинский (Александр Михайлович Гренков) (1812–1891), иеромонах, старец Оптиной Пустыни. Отличался «широтой взглядов, кротостью и незлобием». Послужил прототипом образа старца Зосимы в романе Ф.М. Достоевского «Братья Карамазовы».

^{vi} Биографический очерк К.Н. Леонтьева «Отец Климент Зедегольм, иеромонах Оптиной Пустыни», впервые опубликованный в «Русском вестнике», кн. 11–12 за 1879 г. Затем эта работа вышла отдельной брошюрой в Варшаве в 1880 г.

^{vii} Семья Варвары Дмитриевны Бутягиной: ее мать – Александра Андриановна Руднева (урожденная Жданова), брат Варвары Дмитриевны – отец Иоанн (Иван Дмитриевич Руднев) – деревенский священник.

^{viii} Иннокентий Херсонский (Борисов Иван Алексеевич) (1800–1857) – знаменитый богослов и церковный оратор. С 1848 г. – архиепископ Херсонский и Таврический. Родился в г. Ельце. Будучи ректором Киевской духовной академии (1830 г.), отменил преподавание богословия на латинском языке; одним из первых начал производить описание библиотек и собранных рукописей в монастырях.

^{ix} Грингмут Владимир Андреевич (1851–1907) – педагог и публицист. Сотрудничал в газете «Московские ведомости» и журнале «Русское обозрение».

^x Розанов Николай Васильевич (1847–1894) – старший брат В.В. Розанова.

^{xi} Макиавелли Никколо (1469–1527) – итальянский общественный деятель, мыслитель, историк.

^{xii} Имеется в виду статья В.В. Розанова «Эстетическое понимание истории», опубликованная в журнале «Русский вестник», 1892 г. (кн. 1) уже после смерти К.Н. Леонтьева. В последующих письмах В.В. Розанова, где говорится о продолжении работы над статьей, речь идет именно об этой статье.

^{xiii} Соловьев Владимир Сергеевич (1853–1900) – философ.

III. Ответ на письмо К.Н. Леонтьева от 24 мая 1891 г. На письме помета К. Н. Леонтьева – «В. Вас. Розанова. Получено 11 июня; 91 г., без числа».

ⁱ Имеется в виду работа В.В. Розанова «Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением 2-х этюдов о Гоголе». 1891 г. Первые главы этой работы были опубликованы в журнале «Русский вестник» за 1891 г. (кн. 1, 2, 3), а также заметка «Несколько слов о Гоголе», опубликованная в «Московских ведомостях» 15 февраля 1891 г.

ⁱⁱ Астафьев Петр Евгеньевич (1846–1893) – писатель, публицист. Преподавал в Демидовском юридическом лицее. Вместе с Н.П. Аксаковым принимал участие в организации литературного отдела «Русской газеты» (1877 г.). Автор ряда брошюр по вопросам психологии и философии.

ⁱⁱⁱ Герье Владимир Иванович (1837–1919) – профессор всеобщей истории в Московском университете. Основал Высшие женские курсы (Курсы Герье).

^{iv} Филиппов Третий Иванович (1823–1899) – публицист, активный деятель славянофильства. Государственный контролер. Знаток и пропагандист русской народной песни. Писал также статьи по церковным вопросам.

^v Возможно, речь идет о не опубликованной в то время работе В.В. Розанова «Исследование идеи счастья как идеи верховного начала человеческой жизни», написанной еще в годы учебы в университете. Статья эта

была предложена журналу «Русская мысль», но не пошла. Позднее она была напечатана в XIV книжке журнала «Вопросы философии и психологии» за 1892 г. как часть исследования «Цель человеческой жизни».

^{VI} «О понимании. Опыт исследования природы, границ и внутреннего строения науки, как цельного знания». М., 1886.

^{VII} Бутягина Варвара Дмитриевна (урожденная Руднева) (ок. 1862 – 1923) – жена В.В. Розанова.

^{VIII} Статья К.Н. Леонтьева «Добрые вести» («Гражданин», 1890, № 81, 83, 87, 95).

^{IX} В письме к В.В. Розанову от 24 мая К. Н. Леонтьев писал: «...Прошу Вас, какова бы ни была ваша невеста, – *станьте первый на коврик...* Если она кроткая, ей это понравится, если вспыльчивая, тем *нужнее это*».

IV. По всей вероятности, письмо написано в начале июля 1891 г. Конец письма утерян.

^I Вознесенский Константин Васильевич – товарищ Розанова по университету. Был шафером на свадьбе Розанова с А.П. Сусловой.

^{II} Имеется в виду французская промышленная и художественная выставка в Москве, проходившая в мае 1891 г.

^{III} Прудон Пьер Жозеф (1809–1865) – французский экономист и политический деятель.

V. Письмо датируется по ответному письму К.Н. Леонтьева от 20 июля: «Вчера получил Ваше письмо с извинением, что переходите в г. Белый и т. д. ...»

^I Вот что писал В. В. Розанов об этом в примечаниях к письмам Н.Н. Страхова: «В Москве «с молодой женой» мы остались по безденежью столь страшному, что (живя у крестьянина на Воробьевых горах) раз прилучившемуся нездоровью я прошел *пешком* верст шесть в аптеку *по рельсам паровой конки*: ибо на лекарство было что-то полтинник, а на конку даже 10 коп. не было...» («Литературные изгнанники». СПб. 1913. Т. 1. С. 304).

^{II} Александров Анатолий Александрович (1861–1930) – редактор-издатель журнала «Русское обозрение» и газеты «Русское слово».

VI. Письмо на почтовой открытке. Имеются пометы К.Н. Леонтьева: «Москва <нрзб.> июля 1891 г.».

^I Имеется в виду статья «Европейская культура и наше отношение к ней» («Московские ведомости», 1891, № 225).

^{II} Руднева Александра Андриановна (урожденная Жданова) (1824–1910) – мать второй жены Розанова В.Д. Бутягиной.

VII. Датируется по письму К.Н. Леонтьева от 14 августа: «Вчера (когда 1-е мое послание было уже окончено) я получил ваше дорогое письмо и спешу прибавить еще, что *успею...*»

^I Вероятно, имеются в виду работы П.Е. Астафьева «Страдание и наслаждение жизни» (вып. 1), «Вопрос пессимизма и оптимизма» (Спб.,

1885), «Чувство, как нравственное начало» (М., 1885), «Национальность и общечеловеческие задачи» (1889), «Психический мир женщины. (Его особенности, превосходства и недостатки)» (1882) – на последнюю работу К. Н. Леонтьев написал небольшую рецензию («Афиши и объявления», 1883, № 14).

^{II} Толстой Дмитрий Андреевич, граф (1823–1889) – министр народного просвещения (с 1866 г.), президент Академии наук (1882–1889).

^{III} Имеется в виду реформа среднего образования 1871 г., проведенная Д.А. Толстым в пору, когда он был министром народного просвещения (1866–1880).

^{IV} Конгресс 1814–1815 гг., завершивший войну европейских государств с Наполеоном.

^V 23 августа 1891 г. К.Н. Леонтьев принял тайный постриг под именем Климента в Предтечевом скиту Оптиной Пустыни по благословению старца Амвросия. По его же совету он должен был навсегда покинуть Оптину Пустынь и переселиться в Троице-Сергиеву лавру.

^{VI} Летом 1864 г. К.Н. Леонтьев был вынужден покинуть о. Крит, где он служил секретарем при русском консульстве, из-за ссоры с французским консулом Дерше. Консул позволил себе «оскорбительно отозваться о России», в ответ на это Леонтьев нанес ему удар хлыстом.

^{VII} В 1871 г. в Салониках, где К.Н. Леонтьев был консулом, он внезапно заболел. В первые же дни болезни, страшаясь смерти, К.Н. Леонтьев дал клятву принять монашество на Афоне, если останется жив. После выздоровления он поехал на Афон, но «афонские старцы» Иероним и Макарий (они возглавляли русский Пантелеймонов монастырь на Афоне) ответили отказом на его желание принять постриг.

^{VIII} Эта статья была опубликована в «Русском вестнике», 1890 г., кн. 1, позднее она вошла в книгу «Природа и история» (Пб., 1900).

^{IX} Все живое из яйца и семени (*лат.*).

^X Без семени (*лат.*).

^{XI} Статья К. Н. Леонтьева «Средний европеец как орудие всемирного разрушения».

VIII. Письмо написано между 13 сентября и 18 октября. Датируется по ответному письму К.Н. Леонтьева от 18 октября 1891 г.

¹ К.Н. Леонтьев собрал вырезки своих статей и заметок за 1887–1891 гг. и наклеил их в тетрадь, предполагая в дальнейшем издать их в виде 3-го тома сборника «Восток, Россия и славянство». Издание не состоялось.

IX. Письмо написано после 18 октября до 12 ноября 1891 г. Последнее письмо В.В. Розанова к К.Н. Леонтьеву. 12 ноября 1891 г. К.Н. Леонтьев скончался в Троице-Сергиевой лавре.

ПИСЬМА В.В. РОЗАНОВА К П.П. ПЕРЦОВУ 1896–1901 гг.

Публикуемые ниже письма В.В. Розанова составляют лишь малую часть огромнейшей переписки, сохранившейся практически полностью благодаря заботам сначала самого П.П. Перцова, а затем Сергея Николаевича Дурылина, которому Перцов передал ее на хранение.

С Розановым его связывала долгая и, несмотря на мелкие размолвки, прочная дружба, начавшаяся в 1896 году с письма П.П. Перцова к В.В. Розанову и продолжавшаяся до смерти В.В. Розанова. В чем-то их отношения, по крайней мере первые годы, напоминают отношения молодого Розанова и умудренного жизнью К.Н. Леонтьева.

В 1920-е годы предпринимались попытки издания этой переписки. Так, в письме известного издателя Георгия Адольфовича Лемана к П.П. Перцову говорится: «Не забудьте тогда и письма В.В. Розанова. Первый том его переписки с К. Леонтьевым – разрешен к печати, и я надеюсь еще до весны его отпечатать. 2-й том пошли бы Ваши письма, третий – к Флоренскому» (14 февр. 1922 года, Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 140). О том же он пишет и в письме от 8 марта 1922 года: «...Мы окончательно сконструировали Кружок памяти В.В. Розанова и наметили темы и работы. Под покровительством этого Кружка будет выходить и мое издание писем В<асилия> В<асильевича>. Второй том я твердо рассчитываю выпустить с письмами его к Вам. И мы все очень просим Вас оставить за нами «право преимущественной покупки». Когда приступлю к первому тому (переписка с К.Н. Леонтьевым), – извещу Вас». К сожалению, эти планы так и остались неосуществленными, но письма, несмотря на сложные судьбы хранителей, дождались своего часа, и публикация их – наш долг перед светлой памятью и писавших, и тех, кто сохранил нам наше прошлое, соединив его своей жизнью с настоящим.

В этой книге публикуются два письма Перцова как свидетельство обоюдного интереса обоих собеседников к мировоззренческим вопросам философии творчества, которыми жило на рубеже XIX–XX веков русское общество. Надеемся, что полная публикация писем впереди, и это будет именно *переписка* Василия Васильевича Розанова с Петром Петровичем Перцовым с 1896 по 1918 год.

Датировка писем произведена на основании писем П.П. Перцова, так как даты практически на всех письмах В.В. Розанова, как всегда, отсутствуют. Печатаются по автографам, хранящимся в РГАЛИ в фонде Петра Петровича Перцова (Ф. 1796).

I

<9 ноября 1896 года>

Спасибо Вам за привет, дорогой Петр Петрович, – спасибо, или, точнее, привет Вам на новом пути – к «строгому раю»¹, кой Вы почувствовали, на который перешли. Да укрепит Вас Бог на этом пути; уверен, что Вы можете много тут сделать, что за вами пойдут. Помните нашего дорогого покойника – Страхова. До чего он любил молодежь, до чего надеялся на нее: этого никто не знал, это была одна из лучших тайн, унесенная им в могилу. Сегодня или завтра пришлю Вам оттиск «Вечн<ая> пам<ять>»². Но почему же Вы не подпишетесь на «Рус<ское> об<озрение>»³. Ведь мы *все* – гонимые, нищие, и положительно, положительно, скажу, всякий подписчик на наш журнал «служит» России, ибо подает милостыню ее нищим детям, ей беззаветно служащим. Я знаю, нас прокричали на всю Россию «купленными правительством», но никто не знает секретов домашнего обихода, никто не знает, что кричат именно купленные («Рус<ские> вед<омости>»⁴) о тех, кто никогда и никому бы не продался.

Ваш В. Розанов

II

12 ноября 1896 года

Вам, батюшка, надо *выплюнуть* все славянофильство, особенно в его заключительной фазе, с безголовым болтуном Ив. Аксаковым

во главе – иначе Вы не вступите в самонужнейшую фазу истории нашей, фазу собирания сил, сосредоточения мысли, крепости мышц и решимости. «Caveant consules...¹» – но я поставил это эпиграфом к статьям своим по образованию: «Афоризмы и наблюдения». Странно иметь правительство, оплачивая его миллиардом в год, и кое *осуществляет* или государственную измену или подлейший индифферентизм, и вообще, воссев на казенном ящике, говорит: «beatī possidentes»². Наши крики «caveant consules» есть только крик: «проснитесь, лукавые и ленивые рабы». Вы не служили и не знаете наших чиновников; Вы не знаете, что в Московском учебном округе канцелярией попечителя учебного округа было циркулярно сделано распоряжение о невыписке гимназиями «Руси»³ Аксакова, при полной, конечно, свободе выписывать «Вестн<ик> Евр<опы>»⁴ и «Дела»⁵ Стасюлевича и Благовсветова. Вы не знаете этого ужаса, что Россия (за исключением немногих праведников, кои есть в администрации: внуки капитана Миронова, см. «Кап<итанская> дочка» Пушк<ина>) имеет изменническое правительство, и когда мы кричим «caveant cons.», мы кричим народу о его прав[ительстве]. Просто в этой сфере Вы не знаете фактов, не знаете действительности. «Рус<ские> вед<омости>» – в ближайшей связи стоят к Мин<истерству> внутр<енних> дел и непосредственно с ним сносятся, как Стасюлевич сидел и подшептывал дурачку Лорис-Меликову⁶, потому я и решился их обвинить, а между тем постоянно делаю вид, даже при Лорис-Меликове, что они стоят в оппозиции к правительству, ибо только при этом условии в нашем тупом обществе можно иметь успех. Мы не подрываем правительства, страшась будущего и рискуя своим именем, но именно стоим в оппозиции прав-ву, т. е., блюдя его «принцип», боремся против лиц, а те мерзавцы (либералы), подрывая принцип, угодничают перед лицами, т. е. именно играют на струнке собственной, правительственной измены и достигают цели.

Но всего не переговоришь. Решительно нигде не бываю за недосугом: я ведь служу + пишу + семья, болезни детей, жены etc., след<овательно> вздохнуть некогда. Буду рад видеть Вас у себя, в воскресенье вечером. Ваш В. Розанов.

Вы имеете понятие о Рачинском⁷, инициаторе Церковной школы: ну так я Вам сообщу, что правительственный инспектор школ в Смоленской губернии сделал все усилия, чтобы закрыть его школу, это в собственном-то имении, только потому, что он учил по Псалти-

рю, а не по идиоту Корфу⁸. Наше пр<авительст>во *атеистическое* и *революционное*, хотя в то же время и состоит сплошь из дурачков (все Смердяковы или Коли Красоткины, см. Бр. Карамазовы). Кто этого не знает, тот не знает азбуки политического положения России. Скажут, но ведь Государь-то уже конечно православный и монархист: да, но «прав<ительство>» его обманывает и ему не повинуются, как печать наша подлая обманывает общество и уж конечно не повинуются народному духу. Не могу без мучения просто думать об этом. Да и сравните (ведь уже это-то ярко) положение в обществе и в правительстве – Страхова и напр. Пыпина, К. Леонтьева и напр. Игнатьева (посол в Константинополе, потом Мин<истр> вн<утренних> дел, собравший «сведущих людей» и не могший для парламента только найти в Петерб<урге> квартиры), вспомните правительственное преследование *всех* славянофилов...

Вот отчего мы призываем очищающую атмосферу от миазмов *грозу*; мы зовем черную, монашескую, старо-русскую, церковную революцию против революции хлыщей и пижонов, вальсирующих и канканирующих над задавленной, оплеванной ими Россией. Но, опять же, всего не переговоришь. Дай Бог, дай Бог, чтобы Вы когда-нибудь вошли в эти *суровые* начинания нашей истории. Знаете, большие горечи души производят род беспощадности... Верю, однако, что с мягким настроением души Вы тоже сослужите службу России, уже просто сослужите тем, что хотя бы лично только думаете о Боге и о своей земле.

Вы почитайте Достоевского и подумайте, что над ним *торжествовал* свинья Щедрин: *торжествовал* да еще имел бесстыдство и лицемерие писать «Разговоры свиньи с правдой»⁹, где под правдой разумел русский радикализм, а под свиньей – консерватизм: это во время-то Лорис-Меликова. Вот Вам и литературная «правда и справедливость».

Вся новая русская история есть одна сплошная боль, одно сплошное страдание для любящих свою землю. Да неужели Вы не читаете воспоминаний Стасова о сестре¹⁰: ведь там же прямо сказано, что министры ходили на задних лапках перед нигилистами, ибо те захватили *печать*.

III

18 ноября 1896 года

Прекрасно по доброму чувству и рассудительности Ваше письмо, и человек, любящий землю свою, меня успокаивает, как в данном случае Вы. Я знаю, что я зависим от либералов: возбудив во мне желчь, они испортили меня как человека и как писателя. В могиле успокоюсь. Рад буду всегда Вас у себя видеть, и приходите без чинов, когда хотите, – *вечером*: я почти всегда дома. Конечно, о славянофилах я увлекся: в них только закваску либеральную я ненавижу, но и консерватизм русский *без них* – какую же бы *мысль* хранил в себе? что охранял бы? Славянофилы для нашего исторического сознания положили драгоценное зерно; в навоз действительности положили жемчужину. Но Ив<ан> Акс<аков> в этом не принимал почти участия. Пушкина я знаю, люблю и чту не менее никого.

IV

декабрь 1896 года

Многоуважаемый Петр Петрович!

В большой праздник¹, я думаю, особенно чувствуется одинокость, – а потому, по-православному сходяв поутру к обедне, приходите 25-го к 4-м часам к нам обедать.

Ваш В. Розанов

V

декабрь 1896 года

Дорогой мой Петр Петрович! Все я понимаю, что Вы пишете, со всем даже согласен, но

Video meliora proboque
Deteriora sequor...¹

увы, увы и увы...

Если Вы станете это клясть, я отвечу только: «такова судьба рода людского...»

Такова она – *после* падения...

Еще Вы не знаете во мне сторону: вечный плач (т. е. моя «литература») и вечный гнев, плач о рае потерянном, гнев на юдоль холодную и бесприютную, на «внешнее место», куда мы изгнаны.

Отсюда – я не люблю Мережковского, Чехова (откуда о нем Вы узнали мое отношение? я ничего не писал), Ницше: они *воспели* это «внешнее место», они едят в нем колбасу и зернистую икру в январе месяце и думают, что это все, что нужно человеку... Ницше безумный *смел* написать: «Бог умер». И Бог, *для него* умерший, в нем *сказался сумасшествием*... Боже, до чего все ясно, до чего ясна история, до чего ясны судьбы человека².

Кстати: с Мереж<овским> я на 1/2 примирился, прочтя «Вечных спутников»³: кое-что отлично; по выражению (мне кажется) все слабо, безвольно, простите за выражение – «импотентно», но есть почти высокие или во всяком случае замечательные мысли (про Петра и Пушкина и славянофильство); но лучшее «Дафнис и Хлоя»; но он вовсе не понимает, что Мар<к> Авр<елий>⁴ был скудель всяческой ограниченности, что жена ему не напрасно рога наставила, и сын, при таком тошнотворном папаше, поневоле стал гладиатором.

Не наверно, но может быть, 3-го приду; по правде – мне нравиться Вы, но вообще «литераторы» («крапивное семя» старо-московских времен) – я тем более их почему-то не люблю, чем страстнее и мучительнее (т. е. *malgré moi*⁵) ушел в литературу.

Ваш В. Розанов

VI

22 января 1897 года

Буду Вас ждать вечером в воскресенье и, конечно, очень буду рад видеть и Д.С. Мережковского. Есть все-таки что-то грустное в них обоих¹: побольше света в душу, несколько утешения. Конечно, они оба просты и милы, и задушевные.

Ваш В. Розанов

VII

6–7 февраля 1897 года

Добрый друг! Не откажитесь сделать мне любезность, поехать со мной к Волынскому¹ по нужному и безотлагательному делу, вечером, сегодня в среду или завтра в четверг; если сегодня, то не раньше 10 часов вечера, ибо я ужасно устал, не спав почти несколь-

ко ночей и вообще изнеможенный. Лично объясню, в чем дело. Его (Шперк² говорил – хороший, простой человек, я же всех символистов представлял какими-то онанистами-гадами) предупредите о моем желании видеть письмом и пусть он извинит некоторые полуцарапины, кои косвенно среди символистов и ему я делал (вообще если может – да имеет «мир и благоволение» в душе). Вечером ехать – ибо я не могу оторваться от службы. Ответьте сейчас же на это письмо и (смотря по удобству) назначьте час и день, когда я у Вас или Вы у меня будете для совместной поездки.

Ваш В. Розанов

VIII

27–28 марта 1897 года

Буду ждать Вас в воскресенье; но может быть можно будет и Дм. Сергеевичу? Теперь погода отличная. – До чего Вы скоро читаете (уже прочли мою статью): а я как черепаха двигаюсь по книгам. Но тут виновна вечная усталость от службы, которая в соединении с необходимым писаньем вовсе не оставляет времени читать. Принесите «Разговоры» Гете¹ и, кажется, еще что-то замечательное хотели, но я не могу припомнить.

Мережковский сделал бы *благоденствие* мне, если б в папку и осторожно захватил 2 картины: 1) Пана и 2) Венеру Боттичелли² (я у него долго смотрел, он знает). Мне это ужасно нужно, не говоря о наслаждении созерцания, и для кое-какого идейного научения.

В. Розанов

IX

10–12 апреля 1897 года

Дорогой Петр Петрович!

Вы не знаете, до чего огорчили меня заключительными словами письма: достать № «Руси», где Вы почтили меня своим вниманием¹. Ну, разодолжили Вы меня, нечего сказать. Просто заплакать хочется, правда женскими, капризными слезами. Так далек я был от мысли, что это будет Вам больно... Так далек вообще я от мысли, что когда-нибудь могу огорчить Вас, радикала с «геттингенской душой». Мне думается, Вы не поняли смысл заметки, где Вы приведены как *факт*, и сила упрека вся ударяет в Михайловского,

т[ак] что Вы проскользаете незаметно, как упоминание. Но... да будьте же мудры и имейте мир в сердце.

Конечно, Вас и Мережковского я буду рад видеть и вечером. Я послал приглашение и Зинаиде Николаевне, с просьбой переубедить Дмитрия Сергеевича, который хотел выбраться из дома не ранее 5 часов. Какое безумие сочинять на 2-й день Пасхи. Нужно же жить, веселиться и, по примеру весенних птичек, щебетать самыми нервами, мускулами, широко вздымающейся грудною клеткой. Мы с Вами ведь еще христиане, а потому –

Христос Воскресе!

Итак, жду Вас – надеюсь теперь троих – вечером, если это Вам удобнее; утром, если Вы все трое войдете в мои вкусы весеннего непосредственного чувства, смеха, шуток, забав и вообще того, что, памятуя заветы лучшего нашего поэта, можно было бы окрестить именем «Pouchkiniana» в смысле радостно-мужественного отношения к жизни. Крепко жму руку.

В. Розанов

Был уверен, что Вы просто рассмеетесь веселым юношеским смехом; и может быть, в *бессознательных частях души* рассмешить Вас входило в мысль строк, к Вам полуотносящихся. Я вообще люблю *смешное* в литературе, т. е. всякие анекдоты, приключения, «буриме»: может быть, как отдых от одолевающей меня серьезности обыденного настроения. Поэтому для меня побудоражить в литературе, сделать школьную выходку – праздник; ведь я немножечко Вакх – Вы этого никогда не подозревали? Но очень грустный Вакх, как опять-таки и следует. Это большой секрет, для Вас только я сболтнул, расстроенный Вашим упреком и может быть подозрением меня как и Шперка².

Х

ноябрь 1897 года

Получил Ваше письмо, многоуважаемый Петр Петрович, – и вот хочу начать ответ Вам просьбою: где-нибудь у старьевщиков во Флоренции, верно, найдется что-нибудь из древнеегипетского. – Идеал мой – конечно, статуетка Изиды¹, как нужно – с головой коровы и маленьким Горусом на руках; но может быть, найдется статуетка с кошачьей головой, с головкой Ибиса², или – плитка пес-

чаника – с триадою Озириса³, Изиы, Горуса⁴. Вообще – что-нибудь. Чрезвычайно занял меня этот девственно-чистый и еще не запачканный позднейшим историческим мусором мир; и как всегда у меня – с процессом теоретическим пробудилось и сердечное влечение. Здесь, в Петербурге, я уже разыскал у одного моряка крошечную, в вершок высоту, фигурку кинокефала⁵ – по сравнению с рисунками у Масперо⁶, изображающую одного из гениев усопшего. У Бругша⁷, в Истории Египта, вот я читаю об удивительно расписанных стенах в подземных и надземных залах отлично сохранившихся в Египте храмов. Вот куда полетел бы я, и, право, с большею охотой, чем в Италию. Сладкая колыбель человечества – и всякому усталому и не молодому человеку удивительно как радостно взглянуть на эту колыбель. Здесь я несколько раз посещал Египетское зало Эрмитажа, и нисколько не тянуло меня оттуда вверх, к [нрзб.] и Мурильо. – Если что-нибудь найдете (однако – не дороже 5 р. и maximum даю Вам Garte Blanche израсходовать 10 р.) – сообщите мне сюда о находке и ее описание: я буду *предвкушать*.

Да, дорогой мой, Шперк умер, и хорошо все, что Вы о нем пишете в письме. В Петербурге его никто, кроме меня, не знал с субъективной, внутренней стороны. У него было много биографических секретов, не владея коими его нельзя судить. Потеря его с необыкновенною болью отозвалась у меня в сердце. Умирал он долго, 5 месяцев, ни разу не пожаловавшись. У его постели помирились даже непримиримые враги. Очень много трогательного передают о его болезни; в последние два месяца он часто плакал, именно всегда, когда играла музыка, – забредший в Халилу⁸ шарманщик; умереть в 25 лет, в расцвете надежд, и имея позади столько муки, столько борьбы, сколько перенес он за право бросить опротивевший ему университет и жениться на любимой девушке, которая была без всяких средств, – это ужасно и потрясает воображение, трогает сердце. Итак, мой друг, если Вы меня любите – никакое дурное слово о покойном мне не скажете, а лучше всего, если и сами с ним в душе полно и совершенно помиритесь.

Что Вы написали о предпочтительности Италии Петербургу – конечно справедливо; Вам работается – это самый верный показатель пользы и удачи выбора местности.

Что Вы написали о сеансах Флексера⁹ – ничего не понял. Межежковских еще не видел.

*Крепко жму Вашу руку – В. Розанов.
Пишите.*

XI

Датируется декабрем 1897 года

Только сейчас получил и прочел Ваше на этот раз длинное письмо, милый Петр Петрович, и, конечно, благодарю за снимки прекрасной Венеции. Счастливый Вы человек, что можете еще жить как Гете, и Бог дал Вам к средствам и вкус, и умственный интерес. Не растеряйте же этих даров Божьих, будьте целомудренны в работе, в препровождении времени.

Все письмо Ваше интересно, и не знаю, с чего начать: прежде всего – о Геях-Цибелах¹, Гекатах², Озирисах, Изидрах. Я истинный Капитан Копейкин, коему ежесекундно приходится хлопать себя по лбу со словом: «телятина». Думаю, думаю – как мне насытить похоть глаза и любопытство ума Египтом, Сидоном, Тиром³ – и приятель пишет из Италии: «Не хотите ли снимков?» Да конечно, батюшка – облагодетельствуете. Открываю Вам кредит на 40 р. (я очень *аккуратен* в ден<ежных> делах)⁴ с неременным условием рассрочки, т. е. я Вам их выплачу по 10 р. в месяц. Я думаю, для Вас возможно будет сделать мне этот кредит. Рисунки должны быть такие, чтоб можно было рассмотреть атрибуты, напр., выражение лица; чем больше странного и загадочного – тем лучше, ибо я *разгадываю* секреты Востока. Но вообще я полагаюсь на Ваш вкус и ум (зоркость, догадливость и угадливость). Фотографии лучше всего как Вы прислали – на тонкой бумажке, без всяких картонов: так они дешевле и след<овательно> на 50 р. можно больше привезти. Я несколько раз уже бывал в Эрмитаже в египетском зале, и бегаю по нему как по родному кабинету – так все в нем мне родственно и понятно.

Волынский странным образом разорвал со мной и Мережковскими⁵. Вообще в нем все мне не понятно. Я очень склонен был уважать его: ничего дурного в нем не находил. Его разговор мне казался содержателен и серьезен по характеру произнесения. По приезде с дачи в город я пошел к Вам в Пале-Рояль и, не найдя конечно, прямо пошел к нему. Затем он хотел быть у нас – и не был до сих пор, т. е. так как прошло 3 месяца, то очевидно и не хочет быть. Все это вовсе не понятно для меня. Но все-таки слова Вашего письма: «шарлатан» – удивили меня: я на него так не смотрю: спросил же я Вас во втором письме о странных и непонятных мне словах: «что делать в Пет<ербурге>, не на *сеансы* же к Волынскому ходить». Я *почти* понимаю эти слова, быв раз у него в воскресенье и к удивле-

нию застав литературный «сеанс», но не знаю, об этой ли мелкой и правда смешной вещи Вы говорили. – Но Зин<аида> Ник<олаевна> была очевидно к нему привязана, т. е. очевидно его уважала, он ее тоже, и безмолвный его разрыв с Мережковскими просто поразил меня, как бы «с облаков упал».

Да, мир пошлости, ответу я на Ваши слова о Риме времен те-перешних и 30–40 лет назад, это – опустошения культурные, кото-рые наносит Европе либерализм. К великому счастью его эра кон-чилась. Да, батюшка, я стал любить декадентов; они своими «фи-олетовыми руками» сделали то, чего не мог сделать Катков свои-ми громами, Страхов своей рассудительностью, образованностью и тихой борьбой. Потянуло новым в воздухе; мы входим в эпоху «тривиум» и «квадривиум»⁶, т. е. III–VI–VIII века по Р. Х. Все сум-еречное и неясное нам нравится, все Аракчеевски-Спенсеровски ясное – противно под самой язвительной для них формой: оно не опасно, не враждебно, оно просто скучно. Собственно я был ярост-ным консерватором не по любви к консерватизму, но по ненависти к либерализму (=Викт<ор>Эм<мануил>⁷) и его «средненькому», «сладенькому с кислотцой», против этой отвратительной культур-но-политической маниловщины с ее «школками имени Виктора Эм.», «больницами имени [Гумбольдта]». Но видя, что «фиоле-товые» руки восторжествовали и либерализм сам «спасается куда можно» – я становлюсь внутренне свободным. Да, больше сумрака, больше неясности! больше поэтического, больше святого! К черту политика и да здравствует арфа; о, если бы не проклятый *холодный* север: я бы вышел со службы и стал Lazzaroni. А тут дрова, квар-тира, «стол» – и ведешь скотски-жульнический вид существования. Ибо «госуд<арственную> службу» я считаю положительным злоу-потреблением: право, люди жили бы лучше и легче без государст-венных о них забот; главное – они были бы человекообразные и под-бористее, а то теперь, возложив все на государство, – превратились в совершенных свиней. Общество тоже тянется за государством и его «деловитостью» и потеряло уютность и теплоту прежнего быта.

Иные дни – иные сны.

Но мы тоже начнем

Иные сны –

и это меня удивительно одушевляет к литературе.

Ваш любящий В. Розанов

Мережковского я знаю с исключительно теоретической, умственной стороны, и Вы знаете, как это недостаточно, чтобы завязать интимность. Он б<ыл> у меня, и мы провели вечер в очень интересной беседе, с полуслова понимая друг друга. Теоретически у нас есть много общих догадок. Я говорил с величайшим удовольствием, ибо только в этих случаях мгновенного угадывания мыслей друг друга беседа легка. И еще приятно потому, что наблюдаешь, до чего, до которых точек по известному пути другой дошел. Что Вы думаете о Сологубе⁸: напишите мне; и что Вы к нему чувствуете. Мережк<овский> говорит, что это очень интересный человек, но я как-то не могу принудить себя заинтересоваться им. Стихи его – некоторые – мне нравятся; *Тяжелые сны* – я нахожу глубокомысленной, хотя и не связанной вещью.

Более всего в египетско-финикийско-<нрзб.> мировоззрении меня интересует идея бессмертия, загробного существования, материнства, рождения, отчества и вообще sexual'ных отношений. Как они думали об этом – можно догадаться по тому, как они это изображали. Самих фараонов и вообще людей и политики мне вовсе не нужно; равно всяких «писцов» и «воинов», вообще публицистики египетской не нужно. Нужно их гадания на тему

Кто разрешит мне, что тайна от века,

В чем состоит существо человека.

Кто он? откуда? куда он идет?

Кто там вверху над звездами живет?

Вот тема, на кою должны отвечать рисунки.

Но, дорогой мой, простите, что Вас я затрудняю.

Хорошо все, что Вы написали о католицизме, и хорошо, что «Капище св. Петра»⁹ Вас не обмануло своими эффектами. – Среди христианских разномыслий православие – самое простое и сердечное, и его недостаток лишь в том, в чем и всего христианства: т. е. оно сущности бытия не разгадывает. – Но, батюшка, про «отчество», т. е. зачем у русских «Васильичи», когда на Западе уже «Васильи» – Вы ужасно и возмутительно наврали. «Отчеством» Русь богаче, поэтичнее, культурнее, мистичнее Запада. Все наши фамилии из отчеств (Петров) или из прозвищ (смешное, характерное). Дело в том, что у нас лицо погружено в род, а это богатейше, Изидино начало, то, ради коего я Вас прошу собрать картинки. Нет, еще мы поборемся с западным кичливым «лицом». Да как Вы не догадались, что на Западе погребение Виллы Боргезе ради желания устроить из пар-

ка «настоящий Булонский лес» есть именно торжество лакейского сегодня над веками бытия (Изида), что это – пошлая французская революция, растоптавшая феодализм, и Южаков¹⁰, думающий, что с ним все кончится. Но крепка и *свята* корово-головая Изида, и мы все эти лакейские понятия похерим.

XII

апрель 1898 года

Дорогой мой! Пишу Вам кратко и почти без надежды, что письмо это еще застанет Вас в Риме: мне удалось здесь сделать такую богатую коллекцию египетских рисунков, сот до двух, и все идейного содержания, что без сомнения ни одна в Европе и даже Египте коллекция оригиналов не превосходит ее. Именно, 4-ю неделю поста я выпросил для «говенья», но согрешил Богу – начал ходить в Публичную библиотеку и здесь через прозрачную восковую бумагу снял все, что нужно, из 12-ти томного, в огромный лист формата, атласа рисунков, приложенного к *Экспедиции в Египет* Лепсиуса¹. И вообще – «Изида мне покровительствует»: Э.Л. Радлов², преподаватель Александровского Лицея – едет в страстную неделю в Иерусалим и «по пути – в Египет посмотреть пирамиды», я ему дал «кредит в 20 р.» приобрести там что-нибудь для меня.

Ну, мой дорогой, – обнимаю Вас и Вашего «alter ego» Дм. Сер., а Зинаиде Николаевне – желаю расцвести под южным небом, и еще запеть:

...люблю себя как Бога³ –

стишок, почему-то мне ужасно нравящийся. Тут есть наивность признания и глубина чувства, м. б. мысли даже.

Вам преданный В. Розанов

XIII

август 1898 года

Непоправимая рана, нанесенная мне Кавказом, дорогой мой Петр Петрович, – касается не *меня* и не есть *мнение*, которое можно было бы поправить. Моя бедная и невинная (как дева – по чистоте души и даже по плотской чистоте) жена оказалась *давно* и *трудно* больна¹, и для меня объяснились 7 лет ее угасания, ужасно медлен-

ного, но от которого к удивлению я не видал, чтобы она воспринимала. Если бы Вы знали, дорогой, ее качества: самопожертвование, совершенно исключительное отсутствие эгоизма! Но... величие *молчания* над горем.

Предложение Ваше об издании статей моих² – меня обрадовало, и я должен только горячо поблагодарить Вас. Страхов был мне «в отца» (как бы Вы сошлись с ним; и как не пошли Вы к *нему* вместо Михайловских: о, молодость, молодость!); Вы – младший брат с прозрачною душой.

Статьи мои – не имеют в теме важности «вечных спутников» и такой тщательной обработки; но почти везде есть тревожная мысль и чистосердечие: т. е. они могут будить читателя; и, кроме того, конечно, я найду несколько десятков интимно-любящих читателей: истинная и полная награда писателя. Но Вам придется быть другом-советчиком, советчиком-критиком; т. е. не только финансово работать, но выбирать и, так сказать, *чутьем* и *мыслью* работать. У меня хранится *полный экземпляр* всего напечатанного мною, за исключением 4-х фельетонов, которые могли бы быть, кажется, и Вашим profession de foi³.

1. Почему мы отказываемся от «наследства» 60–70 годов
2. В чем главный недостаток наследства 60–70 годов
3. Два исхода
4. Европейская культура и наше к ней отношение

Все – в «Московских ведом<остях>» 1891 года; их №№ у меня записаны. Как фельетоны пропали – не могу постигнуть. Но принципиально – это важнейшие фельетоны, и их придется, наняв переписчика, списать в Публичной библиотеке. Все прочие – набирать с печати. Кроме сего, конечно, я дам и новые статьи: из них одна была вырезана из «Рус<ского> вест<ника>» – большая, листа в 2 $\frac{1}{2}$, но которая чуть-чуть не прошла; в книге и больше 10 листов – она конечно пройдет, а нет – пусть вырежут: мы ее поместим на конец, так что только за набор придется бросить плату. Когда Вы вернулись, я даже хватил об лоб кулаком: что же я не выслал Вам ее за границу, с просьбою там напечатать: так она важна; так о ней много говорили – кто успел прочесть в «Рус<ском> вест<нике>» до вырезки. И у меня всегда была мысль напечатать ее хоть за границею. Называется: «О подразумеваемом смысле нашей монархии». В цензуре сказали: «Это – конечно, величайшая апофеоза русской монархии, какая появлялась, но пропустить нельзя». Приедете – увидите. Но вообще, дорогой мой, именно Вам и Вам – придется

поработать вниманием и усердием; а от меня – вечная благодарность; в свое время, т. е. в Вашей старости, – и Вам кто-нибудь так сделает. Будем верить в людей. Монеты греческие – меня взволновали; я в Ялте видел «*Diva Julia*»⁴ (дочь Августа) – и не купил! Но потому, что уже в Кисловодске купил, грешный, на 17 р. 12 монет, между коими – Веспасиана, Траян, *Diva Faustina*⁵ (жена М<арка> Аврелия), 3 каких-то персидских, 2 – кажется, древне-Византийских, и 1, кажется, сицилийская. Нет, в Сицилии, я думаю, Вы бы могли без обмана кой-что приобрести по монетному делу. Жить в самых Сиракузах! Это можно захлебнуться от ожидания. Ваша обо мне статья – прекрасна, но только в изложении Ваших взглядов Вы напрасно стеснялись политикою, – прошло бы. Статья эта очень важна для меня в литературно-материальном отношении: *мне ужасно* трудно в «*Н<овом> вр<емени>*». Вот из 4-х Кавказских фельетонов 2 самые важные вернули: «трудно написано; я не понимаю, Буренин⁶ – тоже; как же поймет читатель?» – пишет старик Суворин. Да, голубчик мой, я вот 8 лет *буюсь* в литературе, приносившись; и эта нервность приносивления, между прочим, погубила мой слог, когда-то легкий и ясный. То ли я *теперь*, что был в 89–93 годах! Руина. Если бы те *силы выражения* на *теперешние* (задумываемые) темы! А в литературе *выражение, стиль, манера*, это сочетание *силы и легкости* – есть все.

Да, устал я жить. Но будем догорать терпеливо и постараемся поменьше коптить. Ваш любящий

В. Розанов

Варя Вам кланяется.

Без конца грустно, что Вы так далеко от нас живете: ведь это почти невозможно видетсяя.

XIV

октябрь 1898 года

Буду у Вас, дорогой Петр Петрович, завтра, т. е. *в среду, вечером*, между 9–10. – Принесу гонорар и потолкуем; видел на панихиде у Полонского Никольского¹ – он тоже желает Вас видеть и спросил Ваш адрес у меня, кажется, собираясь к Вам или собираясь написать. Вдруг он мне (на подготовке Ваших сочувственных ему слов) – понравился. Так-то мы пылки и впечатлительны.

В. Розанов

XV

2–5 ноября 1898 года

Дорогой Петр Петрович!

Если в четверг до 10 ч. я не буду у Вас – значит, не приду: очень жестоко занят я эту неделю, особенно новыми обязательствами к *Одесскому листку*¹. Советую Вам не откладывать посещения Алексея Алексеевича Суворина, между 1^{1/2}–2 дня, *квартира № 10* (ход со двора, vis-à-vis дверь лестницы с подъездом; д. № 6, т. е. Редакции). Посылаю Вам письмо к Пятковскому².

Преданный Вам
В. Розанов

Пятковский – по четвергам, от 2 до 3; Пушкинская, д. 10.
Прочтите письмо к Пятковскому и заклейте его.

XVI

10–15 декабря 1898 года

Дорогой и милый Петр Петрович!

Как хорошо Ваше письмо сегодня – в правде своей («читаю я Вас, читаю, и, признаюсь, со скорбным сердцем – многим одарил Вас Бог, одного не дал – целомудрия мысли»¹ и т. д.). Спасибо, дорогой мой праведник: я и всегда чувствовал в Вас редко-хорошего человека, а тут Вы сказали нечто, братское, и с такими границами тона и теней, что умилили и тронули меня. Никогда мне в голову это не приходило, но, по крайней мере, полу-правы Вы. Конечно, я над *одним* не работаю, да и вся моя жизнь идет слишком *сбивчиво*. Кроме того, у меня до чрезмерности много субъективного пламени, какого-то лижущего края души, и то устремляющегося взлизами кверху, то ниспадающего взлизами же долу. Много, друг мой, в душе у меня много греха; есть ли искупающая правда? Очень много сострадания, какого-то жестокого сострадания – и в этом вижу частицу своей правды. Но я ужасно откололся от всего теперь действительного: Россия, русские, Церковь – для меня теперь как далеко! Удивительно, в какой индивидуализм я ринулся, после 3–4 лет ужасающего «коллективизма». Да, батюшка, я как облачко, разрываемое вихрями. Но неужели Вы через 3–4 года повторите: «осел» – Розанов; или сделаете вариант: «подлец» – Розанов. А ведь я уже Вам устроил

Элизий в памяти моей...
И не кропим водой забвенья!²

Да, дорогой мой: но от детства 3–12 лет в Костроме и по сей день – какая же это fuga самоуединения, самоожесточения, самопрезрения и вражды, вражды, вражды... с просветами умилений, слез прощения. Всего было. Что еще было: была и ложь, и может быть, очень много лжи. Вы говорите «талант». Вот термин, коего *определенно* я никогда не мог понять. У меня – талант «разрываемого облачка»: талант ли это? бесталанность ли? почему не последнее? Не знаю, ничего не знаю. Я был всегда *прилежен* в мысли (мышлении), но не *трудился* вовсе никогда в мышлении: прилежен как мальчик сосун прилежен к конфетам: вечно сосет, может быть, *пагубу*, но во всяком случае *сладость*. Вот моя психика, духовного сластолюбца, – и вместе духовного *самоуправца* («sic polor sic jubio»³ – Вы же характеризовали, удачно подметив). Но чудовищно, что это «самоуправство» соединено с ужасною хрупкостью души: нет менее твердого, более раба впечатлений, человека, чем я. Ну, простите: всегда пишете правду, из Ваших уст она сладка. Нет, Вы настоящий русский и настоящий христианин.

Ваш
В. Розанов

Может быть, я поправлю Вас, сказав: у меня нет *целомудрия жизни и целомудрия долга*. Связывает ли меня *в чем-нибудь*, что я – «писатель», «философ», «чиновник»? *НИ В ЧЕМ*. Я Бог знает что могу сделать, «вечно погубить душу» и «репутацию». Эта безграничность воли ужасно меня тяготит: точно что-то Нероновское, и равнодушно Нероновское (я в самом деле ужасно равнодушен к миру) и расслабленно-Нероновское. Ну, да из этих «оврагов» признаний не выйдешь, спать пора, 3 ч. Посылаю одновременно Ш<естако>ва Буренину⁴.

XVII

1–2 января 1899 года

Дорогой Петр Петрович! Даже скучно, что не вижу и не читаю Вас. Был в «Биржев<ых> вед<омостях>» в приемный день – болен и нет в ред. – Но вот что самое главное: повесьте уши на гвоздь внимания.

Орган Министерства финансов: «Вестник финансов» с приложением «Торгово-промышленной газеты» заводит у себя литературное приложение, повести, критика, публицистика etc., и меня пригласили для редактирования, а пока – для организации самого сотрудничества. Конечно, я о Вас подумал – и [так] да вдохновит Вас Аполлон и Страх; пробегите январские, или, пожалуй, декабрьские книжки толстых наших журналов, главное – беллетристику и напишите фельетон: «Журнальное обозрение», строк на 400–600. Редактор Федоров¹ – молодой математик и весьма литературный человек, задумал это преобразование узкопрофессионального органа в обще-литературный; средства – Витто²вские, публика – «капитальнейшая», и божусь, что не карманом; он мне говорил о множестве помещиков и дворян, подписывающихся на орган. Итак, батюшка; готовьте статью-обозрение; тут Вы, если Бог устроит, можете фундаментально начать работать, а не фуксом-зайцем с поклонами редактора. Ваш любящий

В. Розанов

В статьях моих еще не разобрался. Ужасно некогда². Петерб. сторона, Павловская ул., д. 2, кв. 24.

Приписка вверху на полях: Не сердитесь ли Вы на меня. Но, дорогой, это значило бы заставить меня горько-горько плакать: теперь Вы мой лучший друг и, может быть, даже единственный. «Не обижайте малых сих»: а в сердце моем есть что-то «малое» и ужасно нуждающееся в участии, ласке, простом привете. Угрюма [нрзб.] жизнь. Вы всего не знаете.

XVIII

27 февраля 1899 года

А что, батюшка, мы с Вами, пожалуй, сделали не худое дело? Т. е. издав «Сумерки просвещения». Спасибо Вам: «пью Ваше здоровье»¹. Да знаете, батюшка, нам бы надо было с Вами «пополам» купить бутылочку «вдовы Редерер» и на «Павловской д. № 2, кв. 24» и раскупорить: по 3 целковых с носа. Бокалы достанем у соседей. А? Хватите-ка по пути только у Депре, а не у колбасника Бауэра (пробовал портвейн – хуже). Пишу это, просидя минут 5 у печки и прочитав о Пастере, Достоевском и Программах домашнего чтения. Жаль, что мало библиографии: а ведь все это *нужное* юношеству, и

ей-ей *преполезная вообще* книга. Слогу бы надо быть полегче, но ведь ей-же-ей без... Ну, вообще полезно, нужно и, я думаю, *очень возбуждает*, по крайней мере даже меня возбудило при вторичном чтении. Да самые коротенькие статьи суть самые лучшие. Для 2-го издания «Сумерек» есть кой-что прибавить из №№ «Света»², Вам не переданных (в столе нашел), и из «Одесского листка» (за нынешний год) Безе.

В. Р.

Собственно статьи лишь в *книге* (т. е. если «пойдет» она и нам **НУЖНО ДОБИТЬСЯ ХОДА**) идут «далеким плаванием». И Вы отлично сделали, что извлекли металл из рудника газетного полу-забытого хлама. Спасибо, дружище. Еще я Вас ведь не благодарил. Да уж не угостить ли мне Вас Редерером? Тогда – привозите только, а уж от меня получите 6 р. Да ведь я Вам еще за Коран должен? Черт знает: и все-то меня рублишки за фалды тянут. Ну, на мою мелочность Вы не сердитесь и, записав в книжку, – забудьте на время.

XIX

16 марта 1899 года

Петр Петрович! Сделайте 2 вещи:

В «Религия и Культура» после написанных мною вчера для предисловия строк (исчисления периодических изданий, где б<ыли> напечатаны статьи), прибавьте, – как бы *слепотствуя* и не вмешивая своего *предрассуждения*:

Считаю долгом выразить глубокую признательность Петру Петровичу Перцову, моему молодому другу, который с величайшим самоотвержением посвятил несколько месяцев труда, зоркое внимание и литературный вкус, дабы из вороха бумаг составить сборники – «Сумерки просвещения»¹ и настоящий...

В. Р.

См. на оборот (но на обороте ничего нет, а есть сбоку на полях. – *Сост.*) – Не собрать ли отрывки о славянофилах в особую статью, с заглавием, напр.: *Над могилой славянофильства* или: *Наброски о славянофильстве* или: *Памяти великих усопших* или в самих эмбрионах сгруппировать?

XX

7 апреля 1899 года

Общее заглавие, конечно: *Заметки и наброски*¹ (тогда и о «бане» можно: ее непременно в конец: так и будет голым античным задом. Статья эта мне ужасно нравится: я без конца люблю баню и истинно в ней духовно отдыхаю). Для некрологов заглавие: *Памяти усопших*.

При заглавии «Заметки и наброски» – вовсе не надо отдельных заглавий; и след. к черту «литературный тлен» и проч.: а просто – черта между набросками:

или три звездочки:

* * *

Об [Афоньке]² – выбросьте: и вообще, конечно, противоречий не надо.

Должно быть, я сегодня-завтра «куплю» у Меркушева экз. 5 «Сумерек»: даже у автора нет ни одного, и еще просят люди, коим никак нельзя продать. Очень я щедр; «знай порет – всю испортил шкуру». Ведь кой-кому холуям раздавал, да вдруг хватился: «да что ж – ведь это я не свое раздаю».

Ваш В. Роз.

В субб<оту> у Мер<ежковских>.

XXI

между 5 и 7 апреля 1899 года

Непременно: Литературно-экономический «кризис»

Политико-экономический – смысла нет: наплевать мне на политику да и неверно.

Я думаю – Вы правы о Т-м¹, т. е. нужно взять 2 абзаца в заметки; в статье о Бел<инском> выбросьте раны славянофилам: тут я лягал лично мне известных и переутомивших меня уже совсем «ослов»² Кольку Аксакова, Афоньку Васильева: если бы Вы знали, какое это бескровье, именно *папье-маше*: все – конституционалисты + ходят в

поддевках + лизут ж-пу у Тертия. Это *архилакеи*, они же (будто бы) архи-православные, и напр. карточки и бюсты Хомякова – у них на столах и в углу вместо образов. Нет, они меня [измучили]. Да Карев³ – святой перед ними и исполнен жизни. Но конечно это – личное и бросьте.

Об объявлении в «Н<овом> вр<емени>»⁴ – отнесу подарочные экземпляры и тут же все сделаю, т. е. дам форму, они поставят – «в тип<ографии> А<лексея> С<уворина>» – и в шляпе.

Спасибо, дорогой. Ведь Вы меня выводите в свет. Если бы для Вас это кто сделал. Не налюбуюсь на свои сборники. А-ний⁵ – прекраснейший человек, «русская косточка», и спасибо ему, хоть я еще не читал, но видел, что похвалы. Что же Вам может нравиться, когда не[нрзб.] странно. Он очень умен и наблюдателен. Во всяком случае не спросить его, когда там тепло и нет *розлива* «священной реки» – просто глупо. Предвкушаю субботу. Странно, я даже М<ихайловско>го крикуна стал любить; это оттого, что у меня нет тесноты в деньгах эту зиму (слава Богу): но когда дома нет денег, а они *необходимы* – я ужасен, т. е. угрюм, темен и никого не люблю. Мой консерват<изм> тем объясняется, что те дни было очень мне трудно жить, и я прямо всех винил и всех ненавидел (на лекарства и стол не было – т. е. вечно с большим долгом и в вечном страхе, что не напечатает Суворин – и я буквально без хлеба). Вот почему за спасенье и доброту я прямо люблю Суворина: славянофилы даже не пернули, хотя изо дня в день, живя на одной лестнице, прямо видели мои страдания и из-за нужды литературную гибель – последней даже радовались. Эта цыганская сволочь. Ну – тяжелые воспоминания. Теперь светлее.

В. Розанов

(На обороте.)

Хочется мне с Вами поболтать «по душе» (рубрика прелицемерная или цыганская в «Русск<ом> деле»). «Вы не дорожите своим словом», пишете Вы: нет, дорогой, – дорожу, но конечно, не имею позы, что «роняю жемчужины», ибо это присуще вообще «ослам» и даже это *именно* есть демаркационная линия между ослом и не-ослом. Все мы должны быть смиренны и просты, просто быть «Иванами Иванычами Добчинскими» и «повиснуть на дверях» из любопытства, что делается... в камере «ревизора» или в мире Божиим. Выведшему меня «в люди» человеку я могу

сказать, кого он вывел. Шперк мне как-то обмолвился (между прочим) дорогим словом: «Значение Ваше литературное в том, что среди написанного Вами есть несколько *дорогих* для человека «вещей», или «слов», или «мыслей», т. е. как я понял и чувствую: интимных, милых, таких, взяв которые и пойдя на Страшный Суд, человек скажет: «вот *кто* – я» или «вот, Господи, я – *суди меня*». Так что, я думаю, я *дорог* есть или буду человеку, как и человек мне истинно дорог кой-чем в нем. Посему перед человеком я и есмь и *хочу* по принципу быть любящим и любопытным Добчинским. Но и [затем] у меня на одной из полок стоит 8+12 томов крайне мною почитаемого Карамзина, и вот мне всегда мечталось: буду – Карамзиным. Вы понимаете, что тут – не состав идей, а фигура, значительность, историческое положение. И вот просматривая «Выбранные Перцовым сочинения Р-ва» и присоединяя сюда, в золотых обрезках, – «Легенду о Инкв<изиторе>» и «О понимании», я кажется *точно* иногда думаю: кто же такую *верегу*⁶ мыслей (все – эмбрионов) волочет за собою и в себе и с собою. Так<им> обр<азом> я такой дворник, который принес очень много дров в печку национального сознания. И тут я менее [*критичен, причинен*] и *тонок*, но более богат – думаю, чем и Страхов и Достоевский и К. Леонтьев. Вообще я *чувствую* себя богатым и думаю – не обманываюсь. Далее, и это прямо относится к положению висящего на двери, Добчинского, – «кость лукавства в сердце моем». Ведь что *мне* дорого, когда я беру Сборник в руку: в это – я верил или верю, и ни единого без веры слова. Тут особенности моей психики, о которой когда-нибудь много позже. Мне давно стало «все равно» (относительно *меня* в мире, так что, напр., меня вовсе...

XXII

9 апреля 1899 года

Не будем спорить о лицах, а будем делать дело, какое Богу угодно, чтобы мы делали.

Богу угодно, чтобы словесную религиозность, плагольную религиозность и в конце концов лицемерную религиозность – многогрешный раб Божий сменил ошущаемую религиозностью, [нрзб.]. Так и делаю. «Это можно!» – Может быть. Не могу не делать, ни иначе делать.

Вообще *в себе* разобраться очень трудно; *в себе* мы разбираемся позднее всего («на том свете»).

Конечно, в молодом периоде своем я был (помню, вспоминаю) оч^{<ень>} серьезен, серьезно напряжен (вечный молчаливый плач, «перед битвою»). Теперь много полегчало на душе. Значит ли это, что теперь я стал не серьезнее. Опять *самому* трудно сказать. Знаю только, что в молодом периоде я *не принимал во внимание* целую систему точек действительности: и «открытие на них очес» и было причиной перемены во мне. В сущности я даже не изменился: в том периоде я безмерно любил то самое, что сейчас. Вот вам конкретный пример: приехав в 93 г. в СПб., я взял (умершую) 5-месячную Надю¹ на руки и через всякие «купе» и «комнаты» первого класса понес ее по Николаевскому вокзалу. Для меня СПб. был = Париж, Вавилон; его общество = madame дю-Барри; писатели – Вольтер и Штраусы, à la [Кареев]. И я шептал: «я этих петербуржцев научу, научу, перучу»... Эти слова я шептал, шептал, помню: это самое главное мое воспоминание. Чему? что за инстинкт? что за туман? Это было во время печатания «Сумерек просвещения» и перед поворотом в 4-х летнее мое «изуверство». Но я продолжаю воспоминание: «Бог для меня и всегда был *над*, в семье. Теперь: Струве² не без причины заметил: «Розанов ужасно наивен», и, думаю, во мне есть художественная наивность. Я мог «воспеть» (статья о Никаноре) монашество как подвиг, святое самоограничение Ас [нрзб.]; вообще, «бряцать» аскетизму, который куда ведь эстетичен. Но «глуп» ли я, наивен ли, не знаю: в *одно* у меня не сплетались и не *противоречили* мысли: «Бог *над* и в *семье*», мантии и воздетые руки аскезы. Таким образом я молился двумя молитвами, так сказать, на запад и на восток – без всякой догадки о их противоречии. И знаете: так поступают все люди. Моя перемена состоит в переходе в монотеизм. По случаю в Никол^{<аевском>} вокзале Вы можете видеть, что теперешний монотеизм и тогда был во мне: но одет одеждami красивого политеизма. В первый же раз, как я догадался, что христианство даже и отдаленно не имеет радости о детях (иначе как об учениках церковно-приходской школы), чувства семьи, да и вообще ничего египетского, – я вдруг проклял всю свою Савонаролловскую (Ваш медальон) проповедь, стал собирать разодранные «соблазнительные картинки» и не без бесовской улыбки, а частью – с благочестием и во всяком случае с внутренними слезами стал ставить их в передний угол «образом». Вот моя перемена. Перемена ли? Вы видите – почти нет.

Ну, устал, и пора дело делать. Конечно, любя и уважая Вас, – не только я не рассержусь, но и с «лобзанием» (духов^{<ным>}) выслушаю всякие Ваши упреки. Но не соглашаюсь с ними. Думаю, что я

не умею хорошо *выражать* своего поворота, и тут именно *слог*, а вовсе не обеднение в мысли. Также важно, что Вы сами очевидно поворачиваете в Савонароллоковский (в сущности – вечно возможный) цикл, и мы, так сказать, встретились с Вами «входя» – «выходя» в *воротах* между некими двумя мировоззрениями. Отсюда – оценки. Но довольно. Устал.

Ваш Роз.

XXIII

июнь 1899 года

Петр Петрович!

Счастливый странствователь к земле древнего [Кети]¹, Вас ждут любящие земные друзья, сегодняшние друзья:

Василий Васильевич Розанов

и спрашивают, какое кушанье изготовить Вам к обеду: зеленых щей? суп с вермишелью? с картофелем? или великороссийский рос-сольник. А на жаркое что: телятину или гуся? будет и пирожное со [нрзб.]. Адрес новый, не ошибитесь крыльцом: Шпалерная ул., дом 39, кв. 4.

Все трое Вас любящие соотечественники – Василий, Варвара и Александра Розановы и Бутягина².

Телеграфируйте *день обеда*.

XXIV

3 сентября 1899 года

Уж не знаю, саниментал<ен> я? зол? впечатлителен? Но только меня ужасно расстроило Ваше письмо. О, что мы лбами разошлись – не это. Но мне почудилось в письме что-то тяжелое, и вот и болит-болит. И пишу, и не знаю, что напишу, и даже зачем пишу: но бросив дело – взял лист бумаги.

Мне *скучно* было бы очень расставаться с Вами. *Всякие теории* бросим, и Вы мне *ни на какие* мысли не отвечайте. Просто скучно жить одному¹. Я ужасно между прочим испуг <ан>, что Вы не станете к нам зимой ходить обедать? Я как-то почувствовал [нюхом] в письме, что надоел Вам, и, словом, что Вы не будете ходить. Ужасно смешно об этом писать, но до чего *я не силен* как человек. Зефир *сдует*.

Ну, простите, дорогой, старого и оч<ень> усталого человека.

В. Розанов

Пусть Шест<аков> *мне лично* пришлет критическое что-ниб<удь> или рецензию, я постараюсь исполнить, о чем он просит. Но предупредите, что на линии его просьбы возможны редакционные сокращения – ножницы. Это – *fatum*. Ему не пишу, ибо адреса не знаю.

XXV

сентябрь 1900 года

Очень скучно, и, что скверно, не в частности скучно, а вообще скучно. Скучно о *себе*, а как мы начинаем мерять мир «от себя» – то и о мире скучно.

Скверное наше время, т. е. скверно *наше бессилие*. Что «видно в волнах» («ничего в волнах не видно»)? К чему мы способны? Умереть. Ну, это [всем] придет смерть и она умрет, не выписывая мудрости из-за границы.

Стал я сомневаться о себе и *своих мыслях*: то ли я говорю? Правильно ли я разгадал Египет и «иже с ним». Более чем сомнительно. То, что ученые зовут «культ f<allo>sa» – кроме того, что выражает их глубочайшее о древних неведение, *невообразимо и не нужно и для нас*. Бесспорные памятники древности показывают руины «fall-ческого культа», но что у нас с этим выйдет кроме «гг. Юханцовых и Ко». А в древности была нежность, было утончение; глубина и *настоящее благочестие к Богу*. Вот откуда *это нам взять*. Итак, древность очевидно неугадываема и может быть не разгадуема. Да ведь и нам *дело до нас и как нам устроиться*.

Скучно тоже и без... Галилеи. Вообще у меня на душе ужасное томление¹. Чувство утомленного пловца. Чувство, когда корабль утонул – и не знаешь, что делать, и *даже не понимаешь стран горизонта*. Скучно и сиротливо¹.

Эх, если бы Вы были поживее и поинтимнее. А то «корректность» Ваша связывает язык собеседника. Не так много хочется сказать, как нужно бы. И Вы без корней в почве. А двум пловцам в море – какое товарищество, каждый *ищет себе доски* и друг от друга отворачивается. Это закон «спасения на водах».

А иногда Вас и любишь за корректность, даже всего через 5 строк: «он меня не обидел и не обидит». Иногда просто это отри-

цательное условие – уже дорого. Так скучно и так скверно на душе. Верно, я очень ослаб.

«Умрем – похоронят...» Базаровский «лопух». Представьте, что мне специально отвратительно как писателю: слава. Отсюда высунул бы язык всем «провожающим гроб». Ничего нет скучнее и притворнее. «Скоро ли до могилы, а то калоши все в грязи, да и чаю хочется». В сущности, каждому чай дороже человека. Да верно того и стоит человек.

Мило – интимное. А интимного все меньше у человека и в жизни.

Кому нужен мой «брак». Никому, кроме меня. И с чего я стараюсь? Вид индивидуального сумасшествия. «У каждого свой конек», и этого конька люди называют талантом, а на небесах как его называют? Да и есть ли небеса? Да и нужны ли? Ох, как хотелось бы, а не знаю.

Ничего не знаю.

Ну, вот я Вам в Венецию натащил Петербургской скуки. Точно дождь пошел. Я думаю – под серым небом все будет серо и *всегда будет серо*. А все-таки целую моего бледного друга и его замечательный изящный лоб. Много Вы читаете и много размышляете – лучше пейте... иногда красное вино. Варя кланяется.

В. Розан

Сол^{овьев}² и его судьба ужасно страшны: никогда не было такого типичного *ложного пророка*. Невозможно его объяснить себе без того, чтобы он иногда не верил хоть в малюсенькое да в *посланичество себя*. Но он б^{ыл} так суетно-самолюбив, что все *малюсенькое* у себя – мучило гневом его ум, и он хотел «Моисейства». Тогда очевидно внутреннее «нет» на эту большую тему выражалось у него смехом, кощунством, злобой, холодом. Он ломился в большую роль, которая и вышла у него ложною, когда *маленькая пророческая роль* у него была или, точнее, была ему дана «откуда-то». А впрочем – не знаю.

Жалею, что я интимнее с ним не говорил при жизни. Но с ним всякий разговор – *переходя в серьезное, переходил в ложное*. Никогда, держа шандал в руках, я не имел свечку такого *темного света*. Ну, простите – и пишите скачущему другу.

Получив от Вас письмо – я Вам *в уме* сочинил длиннейшее письмо. Вообще лучшая часть моей литературы – не написана. Она улетучивается с дымом паровоза.

Уже запечатал письмо, как получил нов<ый> адрес.
Покойной ночи! дорогой.

XXVI

6 октября 1900 года

Дорогой Петр Петрович!

Ужасно мне совестно, что я не могу у Вас быть, а видеть хочется. Не выберете ли Вы, дружок, минутку сами у меня побывать. Я бы непременно у Вас был, если бы *каждый вечер* не рисковал быть *непрерывно* нужным дома. Уж такая оказия. Уж Вы не сердитесь. Достал за 1899 год «Миссионерское обозрение»¹, и хочется дать Вам его просмотреть: ведь нам непременно нужно знать, что делается в народе, каковы подземные течения. Я читал с захватывающим интересом. Уверен, и Вы то же испытаете, и я хотел бы Вам дать на 1–2 недельки. Приходите в субботу вечером.

Ваш В. Розанов

XXVII

20 октября 1900 года

Не придете ли, дорогой П<етр> П<етрович>, в суб<боту> часов в 8–9. Варе хотелось бы Вас повидать, а к 11 (Ваш обычный adventus) – она по слабости сил уже укладывается. Дочь – Надежда¹. Ну, жду к 9.

Сегодня о Сол<овьеве> совсем хорошо², даже отлично; кроме строк 8 о буддизме, и *вообще всего* о буддизме – все остальное сплошь хорошо. «Каждый аскет есть цельная неповторяющаяся церковь» – проникновенно и точно как формула, и совершенно новое слово. Вообще Вы очень медленно зреете, но как непрерывно – то кто же знает, до чего дорастете. Может, и мою головку покроете листьями – и уж конечно я не завидую, мой дорогой. Вы так много любили других, что и другие уж конечно «имеют утешение любить Вас».

Конечно, я со 2-м лицом не очень лажу, и главное по подозрению, ладил ли он с 1-м. Если бы все было между ними согласно – о чем же споры: лежи и спи. Но не все согласно: «новое слово, неслыханное принес». Ну так *чье* же оно особенно ввиду «искренности» слов: «ничего сын без отца», «мы с отцом – одно». Согласитесь, что это для самого обыкновенного ума сомнительно. Не такой же я Расплюев, чтобы распинаться за другого...

Моя личная биография в отношении к теме: да разве она не Богом посылается? Ведь нужно любить и комаров; ведь Шестаков не гений, а может быть, мы его любим сердечнее, чем В. Сол<овьева>. Вообще есть нравственная правда, которая состоит: Никого не обидь! (с этой точки я ненавижу Ницше, и просто *не* хочу его читать: только не говорите Фил<ософову>³ и Мер<ежковскому>.) Теперь: ну пусть одна семья задавлена «суровым законом», *который совершенно последовательно* (ведь я знаю, «что знаю») вытек из аскетизма просто как невнимания к полу и семье, а аскетизм опять совершенно послед<овательно> вытек из «лучше не...». Да, все тут до глупости, до наивности человеческой последовательно и преемственно. Лет 7 назад мне было рассказано, как около Костромы в лесу нашли трупик годовалого умершего от голоду ребенка, коего, очевидно, мать не могла убить и оставила «на милость Божию». Ну, из человеков никто мимо не прошел, и ребенок от голоду умер. Так я просто не могу вынести этой мысли, и она [жжет] мой ум и воображение. Ну, тут и начинается тяжба со 2-м идеалом и 2-м «пришествием» и ожидание «3-го приш<ествия>».

Просто: не надо! Просто – не удовлетворено мое сердце. Просто я лично и особенно как «В.В. Р-в» – прав. И хоть бы весь род человеческий б<ыл> против меня – останусь один. Я нарушаю равновесие «трех»: да ведь согласитесь сами, что 2-й имел свое «тысячелетнее царство» – и скорее я восстанавливаю «гармонию». Да и темно же в этом бывшем царстве; и как вы замечаете – «все рожки с того света». Точно малокровный не может избыть головокружения и жалуется на голову, а суть – в крови. Ну, в 9 ч.

Ваш В. Поз.

XXVIII

5 декабря 1900 года

Спасибо, дорогой П<етр> П<етрович>, что не забыли Вари. Она была очень тронута и сказала, что «письмо П<етра> П<етровича>

мне гораздо приятнее всех подарков, выражавших более тщеславие даривших, чем настоящего уважения и памяти; у него же, ученого и со мной не разговаривающего, – отразилась настоящая память моего имени». Думаю – так. Сам я подарил глупейший подарок. Вообще я ужасно глуп, и это досадно. Но вот, [analyse]: «я не читаю только трех Ваших сотрудников, Розанова, музыкального критика Иванова и Сигмы¹, хотя последний пишет красиво», сказал «САМ» (Л.Н. Т<олстой>) старику Суворину, тот – сыну², а сын – мне. Это даже в отношении гонорара (*и пропуска статей*) – крайне неблагоприятно, и я так огорчился, что даже жене не сказал (чтобы не тревожить). Печально. Уж не «людишки» ли мы, полезшие в «господа». Черт знает, иногда теряешь перспективы. Что скажет «Петр»? Что же не приходите? Скучно. – Да и вообще «погода скверная». В «Новостях» Вас пересмеяли со мною и Соловьевым. «Вот сравнил антиподов». Или «бодриться»? Ну, до полочки гонорара – а там веселее станет.

Настоящее – пройдет.

Что пройдет – то станет мило.

БЕССМЕРТНЫЙ ПУШКИН.

Да – его ведь и *критиковать* не следует. Прямо бери и ешь. Кто же критикует «царство небесное».

В. Розанов

vene, vide, vice³

XXIX

15 декабря 1900 года

А.А. Александров – *Невский*, против Гостиного двора, библиотека бывшая *Семенникова*.

Хорошо сегодня о XVIII в. и Пушкине. «Дух Божий носился над бездною» – этого еще нет (в XVII и П<ушкине>). Самый *веселый* и рацион<альный> и матерьял<ьный> [век]. А ведь в веселости, батенька, есть свой смысл; в *fin de siècle*¹ и декад<ентах> и у Вас мне не нравится «нос на квинту повесили». Так жить нельзя, с этим далеко не уйдешь, ноги не уносятся. Некоторое умеренное и постоянное веселье души, кажется, угодно Богу.

Ваш В. Роз<анов>

Жаль, что уезжаете. Хоть и не видимся, а все-таки *тут*. Шестак<о>ву *очень кланяйтесь*. Оч<ень> мне мил этот человек;

а ведь к нему больше идет, чем к Вам «с душою прямо Геттингенской». И брату (двоюродному)² поклонитесь же, хотя оч^{ень} он у вас молчалив был и ничего я не разобрал в нем.

В. Р.

(Наверху:) Зайдите перед отъездом.

XXX

19 февраля 1901 года

Дорогой Петр Петрович! Очень меня замучило *предисловие* к книге. Очень бы нужно было это время повидать Вас, да Вы не шли, а у меня так смутно было на душе, что просто пера взять не мог, чтобы черкнуть «придите»¹. У Вас же я вечно (без предварительного списания) целую замок. – В конце концов 2 предисловия написал, оба набрали в типографии, и оба изорвал. Тупая путаница и сумбур. В конце концов – написал сегодня 3-е, которое есть только перечень журналов, в которых печаталось. Как только выйдет, конечно, повторю и объявление о прежних книгах. Вообще башка тупа, и это самое скверное состояние. Что Вы? как Вы? Что пишете? Как с Дм<трием> Серг<Сеевичем>? Об этом черкните. Он все больше мне нравится. Простой и прямой человек, т. е. из прежней истерики стал выходить на пути простые и ясные. Ему бы в Казани пожить, или где-ниб<удь> на Руси. А то он слишком петербуржец, и от этого была вся его болезнь и слабость. А Вы напрасно ничего не пишете. Старое слабеет, молодое должно крепнуть. Разве нет тем? – Целое море. Мне немножко больно, что, не соиздаваясь, Вы точно охладели ко мне? Или заняты? Это бы лучше. Впрочем, у Вас по душе проходят временами полосы осени, а затем опять солнце, и я думаю, что всегда сумею выждать солнце. Я от Вас так много видел положительного, что не отвалюсь при отрицательных «штрихах».

– Что Вы мне ничего не написали об «Еврейской песне»²? Повревалась? Нет?

Ваши В. Розанов

Бакст с меня пишет большой портрет³ и – о, суета сует! – Я очень рад! Не видел (он запретил *мне* смотреть), но говорят все, что чудесно выходит. Особое ощущение. В сущности, это ужасно важно, ибо лица человеческие не повторяются, и как ведь нужно бы каждому оставить с себя вечную маску.

Напишите мне веселое письмо, а то ночь на душе. Да [неужели] Вы ничего и никуда не пишете? Ведь это значит у Бога даром хлеб есть.

XXXI

1–3 марта 1901 года

<До>рогой Петр Петрович! К <Вам> сегодня или завтра.

<Зай>дет агент Российского Общ<ества> страхования жизни навести обо мне всяческие справки о здоровье и прочем. Дайте *хороший аттестат* о поведении, а о здоровье *кроме неврастении ни о чем не упоминайте*, а письмо сожгите, чтобы ему на глаза не попало.

Ваш В. Розанов

XXXII

3 марта 1901 года.

Дорогой Петр Петрович! *Позволяю* себе послать Вам кучку в разное время (годы) бросившихся в голову мыслей. Это не значит, что Вы их *все* станете просматривать; но *кое-что* просмотрите и выберете. Самый крошечный [нрзб.], которые без Вашего внимания уже совершенно пропадут, – завертываю в сие письмо. Крепко жму руку. Кажется – я не позже недели – за границу.

Ваш любящ<ий> В. Розанов

А ухните-ка с нами в Италию!

Конечно, если Вы найдете что поместить, то уже проредактируйте в смысле «синих крестов» — — —

Очень совестно запаковывать так много эмбрионов, но Вы примите это как части «уехавшего в Италию друга дневника». –

(Сверху синим карандашом)

Ура! Пропустили книгу.

Комментарии

И. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 1.

Письмо П.П. Перцова от 7 ноября 1896 г., с которого началась переписка, а затем и дружба В.В. Розанова и П.П. Перцова: «Я прочел сейчас Вашу статью о Страхове («Вечная память»), и захотелось Вам писать. Я

лично видел Страхова мало – всего раза 3–4, незадолго до его смерти, и только в то же время начал знакомиться с его книгами. Но этот человек останется для меня одним из самых дорогих воспоминаний. Что-то было во всей его личности, во всем его высоком и строгом «служении» (как прекрасно Вы выразились), влекущее и покоряющее или – лучше сказать снова Вашими словами – что-то «просветляющее» – просветляющее не столько в том, что он извне вносил в тебя новые идеи и взгляды, сколько в том, что он выяснял тебе как-то незаметно и невольно твое собственное содержание и твой собственный долг – выяснял самого тебя. В его удивительных воспоминаниях об Афоне, мне кажется, едва ли не лучше, чем где бы то ни было, выразилась глубокая религиозность его духовной природы, то скрытое стремление ее к «неведомому Богу», которое таилось как ядро за внешней оболочкой этого критического и философского ума. Страхов не остановился, по Вашим словам, ни на какой религиозной системе (да его критицизм и не мог позволить ему этого), но в нем была сердцевина всех мистических построений – не имея *религии*, он имел *веру*. Во всем – в личном общении, так же как в книгах, чувствовалось, что этот человек жил как бы в *ожидании Бога*. И если Он открылся ему только за гробом, то тем достойнее его бдение здесь.

В этом именно и была тайна обаяния Страхова – именно потому так ясно раскрывалась около него религиозная сущность жизни и так властно было исходившее от него (и им самим, без сомнения, не подозреваемое) наставление.

Как видите, мои впечатления, несмотря на их количественную скудность, совершенно совпадают с Вашими. Впрочем, едва ли и возможно было, приблизясь к Страхову, уйти без этих воспоминаний. Вы хорошо сравнили обстановку его квартиры с монастырской кельей – и в этой келье жил настоящий подвижник и – можно смело сказать это великое слово – настоящий святой. И к<ак> удивительно он умер! Именно так, к<ак> можно было ожидать от Страхова и к<ак> нужно умирать! Вы прекрасно передали это. Вообще Ваша статья достойна того, о ком она написана. Большой похвалы Вы, вероятно, сами не пожелаете себе.

Очень хороша параллель с Баратынским. Все время, при чтении Вашей статьи, мне вспоминалось это превосходное стихотворение:

Царь небес, успокой
Дух болезненный мой!
Заблуждений земли
Мне забвенья пошли –
И на строгий Твой рай
Силы сердцу подай!

В этих строках заключается, как мне кажется, формула религиозной жизни Страхова, как бы скрытая его молитва. Кстати, как превосходно вы-

ражена здесь суровая сторона христианства, его требовательное самоотречение. Вот где нет ни религиозной эстетики, ни этической размягченности, о которых Вы пишете. Это та сторона, которую игнорирует Лев Толстой и которую утрирует Леонтьев и – простите – Вы сами.

Вы поймете мотивы, вызвавшие это письмо. О дорогом и близком человеке хочется говорить с другим, которому он был так же близок и который так хорошо умел его понять. К этому присоединяются постоянные мои симпатии к Вашим работам (не согласие – довольно редкое). Говоря без обиняков, нередко отдыхаешь на Ваших статьях, после того как несколько раз окунешься в наши критические и

P.S. Вы поймете мое желание иметь у себя Вашу статью. «Русск. обозрения» я не получаю, и потому, если у Вас есть лишний оттиск, пришлите его, пожалуйста, по следующему адресу: Пушкинская, гост. «Пале-Рояль», № 78, Петру Петровичу Перцову».

¹ Слова из стихотворения Е.А. Баратынского «Молитва».

² Статья В.В. Розанова памяти Н.Н. Страхова в журнале «Русское обозрение» (октябрь 1896 года).

³ Литературно-политический журнал. Выходил в Москве (1890–1898 гг.). Издатель – московский купец Д.И. Морозов, редактор – князь Д.Н. Цертелев. В 1892 году Цертелев сменил на посту редактора А.А. Александров (1861–1930). Среди сотрудников журнала В.А. Грингмут, Н.Н. Страхов, Л.А. Тихомиров, Ю.Н. Говоруха-Отрок, В.С. Соловьев (до 1892 года). В.В. Розанов активно сотрудничал с этим изданием в 1892–1898 гг., напечатав там свыше 24 статей, хотя с самим Александровым у него были сложные отношения.

⁴ Газета, издававшаяся в Москве (1863–1918 гг.). В 1883 году газета перешла в собственность литературного товарищества в составе: В.М. Соболевский (ответственный редактор), А.И. Чупров, П.И. Блорамберг, Г.А. Джаншиев, А.С. Посников, А.П. Лукин, Д.Н. Анучин, В.Ю. Скалон и др. В газете сотрудничали Н.К. Михайловский, В.А. Гольцев, П.Л. Лавров, М.Е. Салтыков-Щедрин, А.М. Скабичевский и другие. Газета придерживалась «прогрессивно-либерального направления».

II. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 2–3.

¹ «Пусть консулы будут бдительны» (лат.).

² «Счастливы владеющие» (лат.).

³ «Русь» – газета, издававшаяся в Москве (1880–1886 гг.). Редактор издатель И.С. Аксаков (1823–1886). После смерти И.С. Аксакова несколько номеров вышли под редакцией Д.Ф. Самарина. Кроме них, в газете принимали участие Н.Н. Страхов, Н.С. Лесков, И.А. Павлов, С.Ф. Шарапов и др.

⁴ Стасюлевич Михаил Матвеевич (1826–1911) – историк, профессор Петербургского университета, редактор-издатель журнала «Вестник Европы», издававшегося в Петербурге (1866–1908). Редакционное ядро журнала в первые годы составили А.Н. Пыпин, К.Д. Кавелин, В.Д. Спасович

и Б.И. Утин. В разные годы в нем сотрудничали М.Е. Салтыков-Щедрин, Н.И. Костомаров, Л.Д. Боборыкин, К.К. Арсеньев, В.С. Соловьев и другие.

⁵ Благодетель Григорий Евлампиевич (1824–1880) – редактор-издатель журнала «Дело», издававшегося в Петербурге (1866–1888). Ведущие публицисты журнала П.Н. Ткачев, Н.В. Шелгунов, Д.И. Писарев, П.Л. Лавров и другие.

⁶ Лорис-Меликов Михаил Тариэлович (1825–1888), граф, с 1880 года Министр внутренних дел. Император Александр III отправил его в отставку.

⁷ Рачинский Сергей Александрович (1833–1902), профессор физиологии растений Московского университета (1859–1868). После отставки занялся вопросами народного образования. Преподавал в церковной школе для крестьянских детей в Татево, своем имении. Автор книги «Сельская школа». Розанов был знаком и состоял с Рачинским в многолетней переписке (1892–1901), опубликовав некоторые его письма – «Из переписки С.А. Рачинского» с предисловием и комментариями («Русский вестник». 1902. № 10, 11; 1903. № 1), готовил его письма в будущие тома «Литературных изгнанников».

⁸ Корф Николай Александрович (1834–1883), барон. Занимался вопросами народного просвещения. Сотрудничал в «Вестнике Европы», «СПб. Ведомостях». Выпускал учебники для народных школ.

⁹ Имеется в виду сатирическая сценка «Торжествующая свинья» из очерков М.Е. Салтыкова-Щедрина «За рубежом» (1881).

¹⁰ В.В. Стасов. «Воспоминания о моей сестре» (Книжки недели. – 1896. № 1–12).

Ответ П.П. Перцова: «Уж не выплунуть ли заодно со славянофилами и Страхова, любезный Василий Васильевич? По крайней мере, я вполне принимаю все его реплики Вам, которые Вы приводите в Вашей статье.

Я не отвечал Вам до сегодня, чтобы успеть прочесть Ваши оттиски. Что сказать Вам? Вся Ваша пропаганда представляется мне прямой и, быть может, неизбежной антитезой либеральной проповеди. Это – утрированный Восток, восстающий против утрированного Запада. Здесь та же добровольная слепота, та же воспаленность мысли, то же догматизирование собственных взглядов, та же анафема несогласно-верующим. Спросите наших либералов, и они скажут Вам, что русский мужик томится по конституции и только поручил им, Джаншиевым и Михайловским, «выразить его стихийные желания». Они верят в свое посланничество совершенно так же, как Вы в каноничность Вашей «монашеской, старо-русской» проповеди самоотречения и поглощения личности – в Ваше «блаженны раздавленные»! А народ – этот таинственный незнакомец, этот тургеневский сфинкс – «народ безмолвствует» с обеих сторон и для обеих сторон. Но ведь не всегда он молчит и молчал. Как древний сфинкс он иногда бросает нам отдельные слова, отрывки своей культурной жизни, своей подлинной

стихийной работы. Пушкин – ведь это уже не безмолвие. Достаточно ли внимательно и, главное, достаточно ли свободно вслушивались Вы в эту речь? Вы зовете нас назад – к черному собору Соловецкого монастыря, к Александровской слободе, к московским застенкам и московскому сну наяву, а народ – тот же самый, Вами представляемый и на этот раз уже бесспорный, фактический русский народ отвечает Вам... Ломоносовым, Карамзиным, Пушкиным, Тютчевым, славянофилами, Страховым. Вглядитесь – то ли это?

О, он умеет каяться и отрекаться, этот народ! Но хочет ли он только каяться и отрекаться? Уже давно сказано про него, что он «умеет умирать», но не умеет ли он также и жить, или, по крайней мере, не хочет ли уметь?

«Блаженны раздавленные!» – но наш народ, не желая давить, не знает, не хочет знать и этой новой заповеди блаженства. Вот самые крупные культурные его явления – этот ряд имен, конечно, далеко не полный. Что ж? Разве в этой «гамме» нет ни одного отзвука Европы? Разве в ней звучит только покаянный псалом – *dies irae, dies illa*, – переложенный на старорусский глас? Вы не видите, Вы не хотите видеть действительности иначе, как принимая в расчет существование русских либералов. Ваша мысль зависима. В *pendant* либеральным мученикам, Вам нужно найти и создать консервативных. Либералы канонизируют Некрасова и Салтыкова – Вы Страхова и Леонтьева. Скажите, в чем состояло угнетение члена английского клуба Некрасова и члена ученого комитета М.Н.П. – Страхова? Какое правительство преследовало вице-губернатора Салтыкова и консула в Салониках Леонтьева? Карьера первого была, быть может, более «блестящей», чем второго. Так ли это важно? Зато последнего не тревожили с обысками. Личный характер Страхова не позволял ему воспользоваться дружбой с «сильными мира сего» – ничего, среди консерваторов есть и Катков и кн. Мещерский. Вы сравниваете писателя Леонтьева с министром Игнатьевым. Не проще ли было бы сравнить сравнимое? Зачем Вы забыли министра Дм. Толстого или Победоносцева? Многие и многие из честных и чистых (несмотря на все ошибки) русских людей – погибли в Сибири – не за преданность монархии, надеюсь?

Полноте утрировать. Неужели Вы думаете, что убедите и заставите к.н. перейти на Вашу дорогу натяжками и гиперболами? Вот я – русский человек, который смеет думать, что он предан своей стране не меньше Вас и не меньше Вашего думает об ее истории и жизни. И ни малейшей не вижу я надобности перекрашивать прошедшее и настоящее под цвет моего флага. Я принимаю нашу историю и жизнь, как они были, и оттого нисколько не менее верю в будущее. Повторяю, что писал прошлый раз: истинный консерватизм, точнее подлинная русская культура достаточно сильны, чтобы не требовать своего насаждения огнем и мечом.

И еще сошлюсь на себя, по поводу Ваших слов о «страдании» быть интеллигентом. По всему прошедшему, по воспитанию, по привычкам,

по образу жизни я – типичный русский «барич» и однако, смею Вас заверить, никогда, даже в бытность мою русским либералом, не чувствовал себя отрезанным ломтем от народного каравая. Не чувствовал, п. ч. знаю, что «он» – этот загадочный русский мужик там, на своем поле, чувствует нашу русскую природу так же, как чувствую ее я – здесь, на тротуарах Петербурга, – п. ч. знаю с другой стороны, что если бы «он» владел тем же умственным аппаратом, которым владею я, он понимал бы нашего Пушкина так же, как понимаю его я. Мне не нужно смиряться перед ним, потому что я сам – народ.

Но Вы правы, – всего не переговоришь. Очень рад был бы как-нибудь более подробно обменяться с Вами взглядами. В воскресенье я, к сожалению, занят, поэтому назначьте мне другой день, если не расхотелось.

Ваш П.П.

P.S. А знаете, мне кажется, что взгляды Ваши меняются, точнее обостряются. По крайней мере, я помню еще в прошлом году Ваш фельетон в «Н. Вр.» с похвалами первым славянофилам именно за их терпимость (в параллели с Данилевским). Очевидно, Вас слишком мучает действительность, «злобы дня». И прежде всего и больше всего, знаете, почему? П.ч. Вы мало верите (отсюда и Ваша «беспощадность»). Вас слишком смущает «зыбь поверхности». Вы 14 лет не можете простить несчастному, давно забытому Игнатьеву какие-то несчастные, давно забытые проекты. Вас до сих пор волнует калифат на час покойника Л.-Меликова. Что за злопамятность! И неужели Вы действительно думаете, что русская культура создается Л.-Меликовыми и Дм. Толстым. Посмотрите, посмотрите в глубь течения. «Есть еще порох в пороховницах». Никакие армяне «не залили» еще «центра». Еще только вчера создал он Васнецова. Еще жив Лев Толстой. Ну всего хорошего. От души желаю Вам больше спокойствия и больше уверенности. Ваш П.П. 15 ноября 1896 г. СПб.»

III. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 4.
Написано на визитной карточке.

IV. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 5.
¹ Рождество.

V. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 6.

Ответ на письмо П.П. Перцова от 28 декабря 1896 года, в котором П.П. Перцов спорит по поводу статей В.В. Розанова «Нечто о декадентах, «лампадном масле» и проницательности наших критиков» (Русское обозрение. – Дек.) и «Бумага и действительность» (Новое время, № 7476).

¹ «Доброе вижу и сочувствую ему, но влекусь к иному» (лат.).

² Розанова часто сравнивали с Ф. Ницше. В том числе и Мережковский: «Русский Ницше», «... в иных прозрениях столь же гениальный, как Ницше, и, может быть, даже более, чем Ницше». (Из книги: Мережков-

ский Д.С. Л. Толстой и Достоевский. М., 2000). Сам Розанов так писал о Ницше: «С основания мира было две философии: философия человека, которому почему-либо хочется кого-то выпороть; и философия выпоротого человека. Наша русская вся – философия выпоротого человека. Но от Манфреда до Ницше западная страдает Соллогубовским зудом: «кого бы мне посечь».

Ницше почтили потому, что он был немец, и притом страдающий (болезнь). Но если бы *русский* и *от себя* заговорил в духе: «падающего еще толкни» – его бы назвали мерзавцем и вовсе не стали бы читать (*по прочтении статьи Перцова: «Между старым и новым»*). (Розанов В.В. Уединенное. СПб., 1912. С. 121.)

³ «Вечные спутники (Портреты из всемирной литературы)» (СПб., 1897). Книга Д.С. Мережковского, изданная П.П. Перцовым.

⁴ Марк Аврелий Антоний (121–180), римский император, философ-стоик.

⁵ Вопреки себе (*фр.*).

VI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 7.

Письмо датируется по ответной записке П.П. Перцова.

¹ Т. е. Д.С. Мережковскому и его жене, писательнице З.Н. Гиппиус. Розанов познакомился и сблизился с ними благодаря П.П. Перцову.

VII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 8.

Ответ на письмо П.П. Перцова от 6 февраля.

¹ В это время Розанов познакомился с критиком Акимом Львовичем Вольтинским, который, по существу, определял литературную политику журнала «Северный вестник». В фонде В.В. Розанова в РГАЛИ хранятся письма А.Л. Вольтинского Розанову. На первой странице помета В.В. Розанова: «Северный Вестник. Флексер-Вольтинский – Уже по бумаге и почерку видно, что декадент. С сухой кожей лица, бритый. Сухой. Логик. Доктринер. Ненавидел Мережковского. И у меня <нрзб.> звучат его слова – «Мережковский не любит музыки. А Вы помните, Шекспир сказал о Кассии: Он музыки не любит. Зинка никогда его не любила и тем паче не жила с ним, а строила куры». (Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 681, с. 1.)

² Шперк Федор Эдуардович (1872–1897), критик, философ, поэт. Их знакомство, как и с П.П. Перцовым, началось в 1890 г. с восторженного письма Шперка, тогда еще студента. Розанов высоко ценил Шперка как критика и мыслителя, хотя часто не соглашаясь с ним: «гениальный Шперк», «мальчишка-гений», «славянофил-декадент». Ранняя смерть Шперка потрясла Розанова и особенно то, как быстро его забыли. «Трех людей я встретил умнее или. вернее, даровитее, оригинальнее, самобытнее себя: Шперка, Рцы и Фл-го. ... Их слова, мысли, суждения, самые коротенькие, освещали часто целую мировую область. Все были почти славянофилы, но в сущности – не славянофилы, а одиночки, «я»...

.. Но какова судьба литературы: отчего же они так не знамениты, отвергнуты, забыты?.. (Розанов В.В. Уединенное. СПб., 1912. С. 227–229.)

VIII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 9

¹ Эккерман И.П. Разговоры с Гете в последние годы его жизни. СПб., 1891.

² «Рождение Венеры» П. Боттичелли (около 1485 года).

IX. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 13–14.

Ответ на письмо П.П. Перцова от 10 апреля 1897 года.

¹ Имеется в виду статья В.В. Розанова «Литературные волнения» (Русь, № 71) или «Из мира идей и фактов» (Русь, №№ 61, 66).

П.П. Перцов в своем ответе на это письмо объясняет, почему его задела заметка в «Руси»: «...Нехорошо то, что факт, Вами сообщенный, никогда не существовал в действительности: никогда я Фетом в бытность мою в «Богатстве» не «занимался», никогда меня Михайловский за это «в нескольких книжках» не бранил и т. д. ...» (12 апреля 1897 года).

² В феврале 1897 года П.П. Перцов порвал отношения с Ф.Э. Шперком после того, как тот опубликовал статью, направленную против А.Л. Волынского.

X. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 15, 16.

Весной 1897 года П.П. Перцов уехал в Италию. Долгий перерыв в письмах объясняется неправильным написанием Розановым адреса Перцова в Италии. С помощью Д.С. Мережковского переписка возобновилась в октябре 1897 года.

¹ *Исида* – дочь древнеегипетских богов Геба и Нут, сестра и супруга бога Осириса и мать Гора (Горуса). Почиталась как богиня-мать, покровительница женщин и детей.

² Священная птица в Древнем Египте, символ Тота – бога мудрости и правосудия.

³ *Осирис* – бог загробного мира, супруг Исиды и отец Гора. Его культ соединяет в себе культ царя и культ богопроизводительных сил природы.

⁴ *Гор* – бог солнца, сын Осириса и Исиды, покровитель фараонов. Почитался в образе сокола.

⁵ Люди с песьими головами, в данном случае, вероятно, имеется в виду изображение Анубиса, бога умерших, в облике человека с головой собаки.

⁶ Масперо Гастон Камиль Шарль (1846–1916), французский египтолог.

⁷ Бругш Генрих Карл (1827–1894), немецкий египтолог.

⁸ Санаторий для больных чахоткой, устроенный на средства императорской семьи (Александра III) в Финляндии.

⁹ В письме от 16 (24) октября 1897 года П.П. Перцов писал Розанову: «...а в Петербурге что? На сеансы к Флексеру ходить?..» К этому времени отношения между А.Л. Волынским (Флексером), Д.С. Мережковским и З.Н. Гиппиус окончательно испортились, что было связано с «диктаторскими замашками» Волынского в редакции журнала «Северный вестник».

XI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 17–19.

Ответ на письмо П.П. Перцова от 13 ноября 1897 года.

¹ *Гея* – в греческой мифологии богиня, жена Кроноса, мать Зевса, Аида, Посейдона, Деметры и Геры. На Крите и в Малой Азии она смешивалась с азиатской богиней природы и плодородия Кибелой (Цибелой).

² *Геката* – в греческой мифологии богиня мрака, ночных видений в чародейства.

³ *Сидон, Тир* – древние финикийские города.

⁴ Сначала Розанов дал «кредит» Петру Петровичу на 180 руб. на покупку монет, но потом зачеркнул и дал 40. Вообще первая часть письма, где речь идет о монетах и Египте, носит следы волнения, радости, возбуждения. Чернила размазаны, много зачеркнутых слов, почерк, обычно подбористый и достаточно аккуратный, становится похож на египетские иероглифы.

⁵ А.Л. Волынский исключил Д.С. Мережковского и З.Н. Гиппиус из числа сотрудников журнала «Северный вестник» на 1898 год.

⁶ *Тривиум* (лат.) – буквально – трехпутие;

квадривиум (лат.) – перепутье четырех дорог, перекресток; в средние века название двух циклов наук, входивших в понятие «семи свободных искусств».

⁷ Виктор-Эммануил II (1820–1878), король Сардинии, а затем объединенной Италии, являлся для Розанова символом «самого пошлого либерализма».

⁸ В ответном письме от 3 дек. 1897 г. Перцов писал: «Стихи его я долго «отрицал» и даже не поместил в «Мол<одой> поэзии». Но потом отчасти он стал писать увереннее, отчасти я сам подрос, и его вторая книга ужешла во мне поклонника, а недавнее превосходное его стихотворение «Помоги!» даже привело меня в энтузиазм, испугавший самого Д.С. «Тяжелые сны» я начал читать, но бросил на первых же страницах, т. к. они произвели на меня впечатление кошмара. Я и теперь думаю, что произведение это уродливое и *слишком* большое. Что Сологуб вообще больной человек – это ясно, но этого я ему не ставлю в вину: напротив – именно в этой-то слабости и сила его. Надоели эти здоровые и «здоровенные», как говорит Д.С. В *стихах* его ненормальность уместна, *своевременна*, п.ч. теперь стихи должны быть «декадентскими», чтобы быть чем-нибудь кроме перепевов. В том смысле Вы правы, теперь пришел «александрийский» период: после ахейского XVIII века, аттического Пушкина и коринфского Фета как раз ему время. Вот почему все эти фетовцы до Фофанова включительно нередко талантливы, но всегда скучны, а Сологуб интересен, и за ним я считаю первое место в современной поэзии. Даже более того (как я и писал Д.С. по поводу «Помоги!») – он, Сологуб, дает свое имя новому периоду русской поэзии последнему, «упадочному», слабому и умирающему, конечно. (Но в том уж не его вина.) А для меня теперь прямо существует

лестница: Пушкин, Фет, Сологуб. Тут, разумеется, не в величине талантов дело, но каждого другого русс. поэта можно уложить в одну из этих трех хронологических рубрик, в которых самые типичные представители эти трое». (РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 77.)

⁹ Имеется в виду Собор Св. Петра (XVI в.). В своем письме П.П. Перцов писал: «Одно скажу – кто хочет видеть, почему русский народ не только никогда не мог сделаться католическим, но всегда так органически ненавидел католицизм, пусть посетит храм Петра... В этом храме собрано и применено все, что может не убедить или вдохновить, а поразить и удерживать толпу...» (13 ноября 1897 года).

¹⁰ Южакон Сергей Николаевич (1849–1910), публицист, сотрудник «Отечественных записок», «Северного вестника», «Русского богатства».

XII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 176, с. 28.

¹ Лепсиус Рихард (1810–1884), профессор Берлинского университета, основатель школы египтологов.

² Радлов Эрнест Леопольдович (1854–1928), историк философии, переводчик.

³ Строчка из стихотворения З.Н. Гиппиус «Посвящение».

XIII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177.

¹ Варвара Дмитриевна Бутягина, урожденная Руднева (1864–1923), «друг», как ее называл Розанов в своих сочинениях. Болезнь Варвары Дмитриевны, о которой они узнали во время поездки на Кавказ, привела к инсульту и частичному параличу левой руки. (Подробнее см.: *Розанов В.В. Смертное*. М.: Русский Путь, 2004.)

² П.П. Перцов предложил собрать и издать сборники статей В.В. Розанова по темам. В данном случае имеется в виду сборник «Литературные очерки», вышедший в 1899 году.

³ Исповедание веры (*фр.*).

⁴ Божественная Юлия (*лат.*). За дурное поведение была сослана.

⁵ Божественная Фаустина (*лат.*). Также обвинявшаяся в дурном поведении.

⁶ Буренин Виктор Петрович (1841–1926), поэт, драматург, критик. Сотрудничал в газете «Новое время».

XIV. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177, с. 10

¹ В некрологе «Я.П. Полонский. 18 октября 1898 г.» Розанов написал: «В личности Полонского, как и в его поэзии, было совершенное отсутствие раздражения, саднящего гнева, длительного негодования... Он... есть поэт в древнем смысле, одновременно классическом и всемирном: пение было сущностью его души, и пение – в гармонии с действительностью». (*Розанов В.В. Литературные очерки*. СПб., 1902. С. 275–276.)

Никольский Борис Владимирович (1870–1919), критик, поэт, преподаватель Александровской военно-юридической академии. Участвовал в

сборнике П.П. Перцова «Философские течения русской поэзии» (статья о Фете). Перцов в письме В.В. Розанову от 17 сентября 1898 года писал о Никольском: «...Он интересный и очень образованный человек с блестящим рассудком...».

XV. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177, с. 11.

¹ Василий Васильевич Навроцкий – редактор-издатель «Одесского листка» и «Одесских новостей». Розанов послал в газету в 1898 году несколько статей, часть из которых была не пропущена цензурой («Дурной тон в литературе», «О Соединенных штатах»). Остальные статьи были опубликованы в октябре – ноябре 1898 года. Заведующий редакцией «Одесского листка» – Александр Спиридонович Попандопуло.

На письмах Навроцкого помета Розанова – «очень хороший человек». (РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 727, с. 65.)

² Пятковский Александр Петрович (1840–1904), журналист, историк литературы, редактор-издатель журнала «Наблюдатель», у которого Перцов должен был забрать рукопись статьи Розанова. Петр Петрович в своих «Литературных воспоминаниях» так отзывался об этом журнале: «...довольно бесцветный толстый журнал, полулиберального направления, издававшийся под редакцией «маститого» и столь же бесцветного литератора Пятковского». (*Перцов П.П. Литературные воспоминания. 1892–1902. М., 2002. С. 143.*)

XVI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177, с. 15, 16.

Датируется 10–15 декабря 1898 года.

¹ Из письма П.П. Перцова от 10 декабря 1898 года.

² Цитата из стихотворения Е.А. Баратынского «Мой Элизий».

³ Так я хочу, так я приказываю (*лат.*).

⁴ Шестаков Дмитрий Петрович (1869–1937), поэт, переводчик античных авторов, профессор Казанского университета, друг П.П. Перцова. Речь идет о статье Д.П. Шестакова (название неизвестно), которую Розанов просит передать В.П. Буренину.

XVII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177, с. 23.

Написано 1–2 января 1899 года. Датируется на основании ответного письма Перцова от 3 января 1899 года.

¹ Федоров Михаил Михайлович, публицист, редактор «Торгово-промышленной газеты», приложения журнала «Вестник финансов, промышленности и торговли».

² В 1898 году Перцов начал готовить к изданию сборники «Сумерки просвещения», «Религия и культура», «Литературные очерки» и «Природа и история», куда вошли журнальные и газетные статьи Розанова и новые материалы.

XVIII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 177, с. 29.

Датируется 27 февраля 1899 года.

¹ «Сумерки просвещения. Сборник статей по вопросам образования». (СПб.: Тип. М. Меркушева, 1899) – первая книга Розанова, изданная Перцовым. В «Опавших листьях», говоря о своей литературной судьбе, Розанов напишет: «...Потом пришел ушедший от Михайловского Перцов, с его великодушными (при небольших своих средствах) изданиями чужих трудов...» (*Розанов В.В.* Опавшие листья. Короб второй и последний. Пг., 1915. С. 231.)

XIX. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 2.

Датируется 16 марта 1899 года.

¹ В марте сборник «Религия и культура» уже находился в типографии. Эти слова не вошли в предисловие, вероятно, по решению Перцова.

XX. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 7.

Письмо от 7 апреля 1899 года.

¹ В письме идет речь о сборнике В.В. Розанова «Литературные очерки», который в это время готовился к печати П.П. Перцовым. В нем, как и в предыдущих сборниках, Петр Петрович подверг редакторской правке ряд статей, сократив некоторые, и дал новые заголовки.

В заметке о «бане», завершающей раздел «О писателях и писательстве» (название П.П. Перцова), особое раздражение либеральной критики вызвали рассуждения Розанова, что «баня глубоко народна; я хочу сказать – русского народа нельзя представить себе без бани, как и в бане собственно нельзя представить никого, кроме русского человека... Обычай бани есть гораздо более замечательное историческое явление, нежели английская конституция...» (*Розанов В.В.* Литературные очерки. СПб., 1902. С. 225.)

² Васильев Афанасий Васильевич (1851–1929), генерал-контролер Департамента железнодорожной отчетности Государственного контроля (1893–1897), начальник Розанова по службе и сосед по дому на Петропавловской. Член кружка «поздних» славянофилов во главе с государственным контролером Т.И. Филипповым (1825–1899).

XXI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 8, 9.

Письмо написано между 5 и 7 апреля 1899 года и является продолжением предыдущего письма. Конец письма утрачен.

¹ Т. е. о Л.Н. Толстом.

² Обычно Розанов и Перцов так называли в своей переписке Н.К. Михайловского и его приверженцев.

³ Кареев Николай Иванович (1850–1931), историк, член 1-й Государственной думы. Занимался историей Западной Европы.

⁴ Речь идет об объявлении в газете «Новое время» о продаже сборника «Религия и культура».

⁵ Возможно, митрополит Антоний Храповицкий (1863–1936), тогда епископ Чебоксарский, викарий Казанский (1897–1899).

⁶ Неясное написание. Скорее всего – «верега», т. е. толстая, длинная жердь, судовой лес.

XXII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 11, 12.

Ответ на письмо Перцова от 7 апреля 1899 года, в котором тот разбирает статьи Розанова конца восьмидесятых – начала девяностых годов XIX века и работы последующих лет (1897–1899 гг.).

¹ Розанова Надежда Васильевна (1892–1893) – первая дочь Розанова. Умерла от менингита.

Струве Петр Бернгардович (1870–1944), экономист, историк, критик. Рецензия на «Сумерки просвещения» – «Романтика против казенщины» (Начало. 1899. № 3). В 1915 году Розанов напишет:

«В Струве живет идея честного порядка.

Он *очень любит Россию*.

Но отчего же он «неудачен на Руси».

Он любит Россию нерусскою любовью...». (Розанов В.В. Листва (Из рукописного наследия) М., 2001. С. 183.)

XXIII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 14.

Датируется на основании пометы Перцова.

¹ В мае – июне 1899 года Перцов собирался в Египет, но из-за чумы не решился туда ехать, побывав лишь в Константинополе и Афинах.

² Бутягина Александра Михайловна (1883–1920), дочь Варвары Дмитриевны от первого брака с Михаилом Петровичем Бутягиным (1852–1885).

XXIV. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 178, с. 31.

¹ В своих воспоминаниях Петр Петрович так пишет об этом времени: «Я пробыл за границей год – и этот год (зима 1897/1898 года) был решающим в духовной жизни Розанова. По возвращении я не узнал его... это был уже другой Розанов, вдруг пробудившийся к своим истинным интересам, – тот Розанов вопросов пола, религии, Востока, семитизма – одним словом, тот «египетский» Розанов, которого мы все теперь знаем. Превращение или, вернее, самораскрытие произошло, по-видимому, быстро...» Сам Перцов тоже менялся, но не так революционно, как Василий Васильевич. С 1897 года он работал над фундаментальным философским сочинением «Основания космономии» или «Основания диалогии» (одно из рабочих названий – пневматология) (РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 1–11), но времени катастрофически не хватало. На обороте фотографии, присланной Перцову, надпись: «П.П. Перцович. В годы, когда я так устал и жить, и думать, Вы, дорогой Петр Петрович, подошли ко мне с свежими силами и с неспорченным любопытством. Спасибо Вам за все, что Вы мне извне сделали (выбор и издание статей), и за письма ко мне, и за общество Ваше, которое всегда действовало на меня оживляюще и критически. И дай Вам Бог в старости найти такую же дружбу, какую Вы меня утешили. В. Розанов (Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 270).

XXV. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 179, с. 28, 29.

Письмо было получено Перцовым в Париже в сентябре 1900 года.

¹ «О, мои грустные «копыты»... И зачем я захотел *все знать*. Теперь уже я не умру спокойно, как надеялся... (1911)». (*Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912.)

² В.С. Соловьев умер 31 июля 1900 года. Статьи Розанова на смерть Соловьева: «Памяти Вл. Соловьева» (Мир искусства. 1900. № 15–16), «Еще о Вл. Соловьеве» (Новое время. 1900. 20 авг.).

XXVI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 179, с. 31.

Датируется 6 октября 1900 года.

¹ «Миссионерское обозрение» – ежемесячный журнал, издававшийся в Киеве (1896–1917). Редактор-издатель Скворцов Василий Михайлович (1859–1932), чиновник особых поручений при обер-прокуроре Синода К.П. Победоносцеве. Помогал в получении разрешения на открытие Религиозно-философских собраний (1901–1903), входил в состав членов-учредителей «Нового пути».

«Этот Василий Михайлович во всем красочен. Дома (я слышал) у него сделано распоряжение, что если дети, вернувшись из гимназии, спросят: «Где папа?» – то прислуга не должна отвечать: «барина нет дома», а «генерала нет дома». Это, я вам скажу, если на страшном суде Христовом вспомнишь, то рассмеешься.

Василия Михайловича я всегда почему-то любил... И что поразительно: он прост, и *со всеми прост*, не чванлив, не горд...

Неразрешим один вопрос, т. е. у него в голове: какой же земной чин носят ангелы?...» (*Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912. С. 11, 12.)

XXVII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 179, с. 32, 33.

¹ 9 октября 1900 г. родилась дочь Надежда или, как звал ее Розанов, – «пучок».

XXVIII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 179, с. 35.

¹ Иванов Михаил Михайлович (1849–1927), музыкальный критик и композитор.

¹ Сыромятников Сергей Николаевич (1864 – после 1911), писатель, публицист.

² Суворин Алексей Алексеевич (1862–1937), сын А.С. Суворина, работал в «Новом времени». Высоко ценил Розанова. После ссоры с отцом из-за статьи Розанова, снятой А.С. Сувориным, ушел из «Нового Времени» и основал в 1903 г. газету «Русь».

³ Пришел, увидел, победил (*лат.*).

XXIX. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 179, с. 36.

¹ Конец света (*фр.*).

² Перцов Владимир Владимирович (1875–1921), двоюродный брат П.П. Перцова, с которым он составил и выпустил в 1895 г. антологию «Мо-

лодая поэзия». После окончания Петербургского лесного института со званием лесовода 1-го разряда (1897) В.В. Перцов вернулся в Казань, где до 1919 г. работал в Оценочно-статистическом бюро.

XXX. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 180, с. 1.

¹ В 1901 году Розанов решил предпринять второе издание книг «Религия и культура» и «Литературные очерки». Перцов отказался принимать участие в подготовке этих изданий.

² Статья Розанова «Замечательная еврейская песнь» была опубликована в журнале «Исторический вестник» (1901, февраль).

³ Бакст Лев Самойлович (1866–1924), один из основателей художественного объединения «Мир Искусства», главный оформитель журналов «Мир Искусства», «Весы», «Золотое руно», в которых сотрудничал Розанов. Как писал Перцов в своих воспоминаниях, «Л.С. Бакст, как мне кажется, интимно ближе других усваивал его идеи: недаром ему захотелось написать с него портрет». (*Перцов П.П.* Литературные воспоминания. 1892–1902. М., 2002. С. 266.)

Портрет В.В. Розанова работы Л.С. Бакста хранится в Государственной Третьяковской галерее.

XXXI. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 180, с. 3.

(Открытка со срезанным углом – маркой)

¹ Розанов с Варварой Дмитриевной собирались поехать в Италию, а всякий отъезд из дома был связан для него с большими душевными волнениями (см., например, письма 1897 года, где говорится о поездке на Кавказ).

XXXII. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 180, с. 4.

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ

ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА

1917–1919 гг.

«Безумно люблю свое «Уединенное» и «Опавшие листья».

Пришло же на ум такое издавать. Два года в «обаянии их».

Не говорю, что умно, не говорю, что интересно, а... люблю и люблю.

Только это я люблю в своей литературе. Прочего не уважаю. «Сочинял книги». Старался быть «великолепным».

Это не праведно и не благородно.

«Уединенное» и «Опавшие листья» я считаю самым благородным, что писал.

Там – *УСИЛИЯ*. Здесь просто *ТЕЧЕНИЕ* во мне.

Искусство мое, что я имел искусство поймать на кончик пера все мимолетное, исчезающее, не оставляющее ни *ПАМЯТИ* и *НИЧЕГО* в душе...

Прошло – у всех

А у меня — *ЕСТЬ*.

Сегодня мелькнуло на извозчике: *СВЯЩЕННОЕ ЕСТЬ*. Это мой лозунг и привет миру...» (После Сахарны. 15 ноября 1913 года. РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 228, л. 160).

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде В.В. Розанова (Ф. 419) хранится тетрадь в коричневом коленкоревом переплете, по описи ед. хр. 244 – «Библиография статей В.В. Розанова (1886–1905); запись последней воли, обращений к друзьям, литераторам, евреям, писем В.В. Розанова: Барсуковой З.И., Горькому А.М., Мережковскому Д.С., Стоюниной М.Н., Ховину В.Р., Хохловой Лид. Авт., рук.». На листе 23 запись – «Последние мысли умирающего Розанова», записанные дочерью Надеждой. На пустых листах в этой тетради можно с трудом разглядеть следы карандаша – это последняя попытка Василия Васильевича Розанова «поймать на кончик пера» неуловимое...

Б. А. САДОВСКОМУ

Декабрь 1917 г.

Дорогой, милый, Борис Александрович!

Поищите, поспрашивайте, – купца, домовладельца, – сами подумайте, поразмышляйте: душа моя полна *глубокого отчаяния*, и с 4-мя детьми (2-я дочь, Вера, ушла в монастырь и *счастлива*) я замерзаю, в холоде и голоде. *Неужели ни один человек в России не захочет и не сможет меня спасти?* Что делать: научите, спасите, *осветите пути жизни*. Воображение мое полно мыслей, я могу и многое могу: но я – *ничего не умею*. Однако способен чистить сапоги, ставить самовары, даже носить воду, и вообще способен к «домашним услугам». Не говоря о «чудных вымыслах», к которым храню дар как Фет. *Крепостное право* я всегда рассматривал как естественное и не унижительное положение для таких лиц или субъектов, как я: ну, что же, мы не находим себе места в мире, мы не находим модуса, формы труда. Мы не можем изобрести, придумать: как нам жить? И мы можем стать только за спину другого, сказав: «веди, защити, сохрани. Мы будем тебе покорны во всем. Послушны, работящи (о лени нет и вопроса). Мы будем все делать тебе. А ты дай нам, и с семьей, которая тоже идет в крепость тебе, пропитание, хлеб, тепло, защиту».

Мне всегда это казалось правдою и естественным состоянием неумелых, а следовательно, и беззащитных людей. И у Суворина я чувствовал себя беззащитным человеком, «которого только курица не обидит». До того я слаб, мерзок и глуп, что не умел, пока был жив еще старик, попроситься ему «в крепость». А теперешние молодые люди, его потомство¹, не поймут уже моей великой и спасительной мысли социального и (религиозного) крепостничества.

Пишите мне непременно. Сергиев Посад, Московской губернии. Красюковка. Полевая улица, дом Беляева, В.В. Розанову.

Подумайте обо мне. Подумайте мучительно. Подумайте хорошо. Гордости во мне никогда не было. Я весь смиренный и тихий.

Мне нужен: кусок хлеба, тепло, комната. Книгопродавец М.С. Елов² сделал мне милость: согласился издавать «Апокалипсис нашего времени»: но я сделал бестактное заявление в 2-м №, он обиделся явно, и «последнее спасение» рухнуло или почти рухнуло. Подумайте, дорогой. Есть в Москве какой-то союз самоиздающихся писателей³. Нельзя ли бы к нему примкнуть? Кто руководитель, кто

главный? Где адрес? Помогите. Непременно пишите. Господи: есть же люди на Руси, которые меня любят. Где они? Господи, где.

В. Розанов

II

А.П. УСТЬИНСКОМУ

1

<7 июня 1918>

Спасибо Вам, дорогой и милый батюшка Александр Петрович за пространное длинное письмо. Все Ваши <нрзб.> письма, всегда (много лет) меня утешали. В них всегда горячая любовь, и – сердце к сердцу, лично, а не вообще (не схема). Моя больная Варвара, дочь (тоже) Варя, Таня, Надя, Вася, Вера (в монастыре)¹ благодарят Вас все и просят Ваших заступнических молитв. Все Вас целуют и обнимают. Не знаю, что и делать. Писатель-сомнамбула. Лазит по крышам и видит сны, и если кто-то его «не поддержит» – он упадет и разобьется. С 1/1000 долей моего таланта – давно богаты, миллионеры (М. Горький, Л. Андреев), а мне случалось попросить у прохожего папиросу изо рта, чтобы затянуться, согреться и горячо *поблагодарить*. И если бы знали люди, как я *всегда благодарен*.

В. Розанов

2

<15 июля 1918>

Без числа Вам было написано писем, милый и дорогой, ненаглядный старый друг. Но – ждал выпуска «Апокалипсиса», чтобы заплатить подешевле <нрзб.>. Не надо ради Бога высылать денег. Хотя в 6–7 выпусках у меня есть «обращение к читателю, который друг»², я пережил нечто ужасное с октября и по сейчас. Но, боюсь сглазить... Молчу. Любящий В. Розанов. <нрзб.> Жене и дочери поклон.

П.А. Флоренский хочет писать и уже начал биографию и личность ар. Феодора Бухарева³... Он уверен, что эта личность все у нас начала.

III

П.П. ПЕРЦОВУ

1

<лето 1918>

Ну, Бог с Вами. Видел доброе –
увидишь и худое.

Дорогой и милый П.П., я получил от Вас 2 оч<ень> грубых письма, «Чичиков» и карандашом: и т. к. вижу, что настал «кризис» нашей дружбы, то хочу Вам сказать «на прощание» или (лучше бы) не на прощанье, что вся та великая и прекрасная дружба, какая нас связывала без малого 20 лет, остается во мне, что я никогда не забуду «того Петю Перцова», который приехал ко мне на Павловскую знакомиться, и всю ту бесчисленную помощь «делом, словом и помышлением» (а ведь «дела»-то всегда вытекают конечно из *помышления*), какую видел и наконец какую испытал, т. е. вобрал плоды ея в себя, спасся. После Саввушки Эфрона¹, – тоже милого и незабвенного, Вы пришли ко мне вторым. Вы, тогдашний декадент, пожалуй – декадент «под Мережковского». Если, пожалуй, взять еще Федорова из «Торг<ово>-Пром<ышленной>»², – то вот и все. На этой ужасной «Павловской, д. 2 Ефимова», я жил под двумя славянофилами. Афанасьешко Васильев³, генерал-контролер Госуд <арственного> Контроля, ходивший в армяке и в мурмолке, сочинявший стихи и прозу в память Хомякова и издававший «Благовест» «для пользы службы», т. е. писавший в нем дифирамбы Филиппову⁴ и инвективы против врага и гонителя Тертия, Витте⁵. Второй был гениальный тунеядец Рцы⁶. Еще третий жил где-то на Зверинской улице, против Зоологического сада, «жених своей невесты», Шарпака⁷: *gamaïn* (уличный мальчишка, озорник (*фр.*) – *Т.П.*), озорник, но – милый в общем человек. С Рцы я был в переписке из Белого⁸, очень интересной и очень идейной, и Рцы именно и пригласил меня из Белого, «остановиться тут, в славянофильском гнезде». Я был какая-то «начинающая знаменитость из провинции», и вот, после «нехорошей встречи» с Тертием (сразу оба не понравились друг другу, необъяснимо – почему) началось «спускание меня по государственной службе», где кусательную сторону составляло конечно жалованье: после 150 р. в Белом, где я за квар-

тиру в 8 комнат платил 25 р., я получил «прикомандированный к Афоньке» – 100 р., с квартирой в 37 р. из 4 комнатшек «во двор». Ну, и провизия – уже не как в Белом, где пара «рябцов» (рябчики) неизменно стоила 30 коп., т. е. 15 к. рябчик, и говядина – 10 к. «черкасская», и молоко – латышка Штэкмо носила – почти даром. А жалованье убавилось на 50 р. И вот я помню ужас почти хохота внутреннего надо мной как «знаменитостью будущей в литературе» – этих Афоньки (в основе же Филиппова, конечно, страшно честолюбивого и «притязавшего» на литературность «академика»), и Рцы (да! да! хотя – «друг»), но – неудачный в литературе «друг», и Шарапко, коего в журналах вообще нигде не пускали за необразованность, легкомыслие и вообще (за его шалопайность, хотя очень милую). Тут еще приехал, недели через 4 позднее меня, Н.П. Аксаков⁹, с бородою, медленно и важно «вешавший», и который – как я сразу не понравился Филиппову – так сразу же, и тоже необъяснимо, понравившийся Филиппову («Главное» наше всеобщее начальство). Аксакову сразу назначили 3000 в год, т. е. 250 в месяц, хотя он вовсе нигде дотоле не служил и кончил курс в Гейдельберге, без русского воспитания и вообще без русской школы, всякой. Но они все, Тертый, Аксаков, Афанасий (тоже длинная борода) – были тусклы, скучны, невыносимы и неудачны в литературе: и это их как-то «связывало» и объединяло, внутренне дружило и «сердце сердцу весть подавало». И вот – славянофилы. Захлебываются Хомяковым, И.С. Аксаковым и «всеми Аксаковыми сколько их ни писало»¹⁰, Самариными¹¹ – и тоже «сколько их ни писало»: и с какою-то адскою злобой, не нужно им и беспричинно, без вызова с его стороны (так, «молчу») – прямо ненавидят одного только Розанова, и по той причине, что (кроме одного Рцы) он скучает с ними и «речь не плетется». Но я бы пожелал видеть человека, у которого «плелась бы речь» с Афанасьем.

Ужасы, много лет, которых описывать не стоит. И вот приезжает П.П.П.; да, раньше его – Эфрон. Эфрон – тоже ведь «неудачник» и «гибнущий»: и сразу, с взлета, помог мне, устроив сотрудничество в «Свете» Комарова¹² с ежемесячным жалованием 100 р. СПАСЕН!!

Розанов – спасен. Я даже – не просил его (не догадался), он же – только раз попил у меня чайку на Павловской. Милый Саввушка, милый Саввушка, ненаглядный, прекрасный. Я всегда ему мысленно целую руки, немые, неуклюжие, и так он был вообще жиденок, смешной, наивный, чуть-чуть хвастунишечко, с претензиями на важничанье. Тут-то я впервые рассмотрел евреев, насколько в

них много ясности, доброты и благородства, – вопреки подлой ко-
сности и высокомерия и зависти русской или вообще христианской.
Какой ум у Рцы, гений, и что такое «ум Эфрона» против его ума, ума
воистину тютчевского.

Я – жидочек бедный,
Маленький, смиренный.
Но зато моя душа
Як червонец хороша.

Да: и – ВОИСТИНУ хороша. И я не только руки, но и ноги це-
лую этим «жидкам из гетто» с их цимбалами, их музыкой, с их му-
зыкальной душой, за которую, за музыкальную душу, несомненно
и выбрал Бог себе «в завет Авраама».

Тайна жида – вовсе не в уме (они не очень умны), даже – не
в деятельности, деятельном характере. Их глубокая тайна лежит в
особом говоре сердца, «от души к душе», без посредства, почти без
звуков, без слов; и в неизъяснимом благородстве, почти не выгова-
риваемом, и которому нельзя «произвести арифметического расче-
та». Только болваны – всемирные историки не догадываются, что
без «жидка» гаснет всемирная история, что сразу и все Капитолии
и даже Парфеноны гаснут без «псалтири», без «Песни песней», и
вообще

БЕЗ БИБЛИИ

«Нет Библии» – и «не нужна всемирная история». Вот этого-то
историки и не сообразили. Сердце всемирной истории, ее неизъ-
яснимое тепло, ее даже неизъяснимая горячность и есть Библия,
«Иов», «Руфь», «Псалтирь» – около чего всего Парфеноны и Капи-
толии – всего квартира, и притом нетопленная, а только «с картина-
ми повешенными» и шторами, и так «лепка» по стенам в сущности
нежилой комнаты. Станный нежилой вкус во всемирной истории,
точно это манекены двигавшиеся, все эти Сципионы¹³, точно – из
крахмала и алебаstra. Голоса не слышишь: все Демосфены и тем
паче Цицероны около пророков обращаются в безголосых. И это не
только Исайя, но и «из малых», Иоиль и прочее.

Но оставим – никогда не кончу. Да, вот в чем дело: я не пере-
ношу нисколько «впечатления Библии» на современного жидка,
напротив совершенно – именно из «современного жидка», глупень-
кого и наивного, но чистосердечного (в этом все дело) я впервые и
разгадал: да в чем же тайна очарования Библии. Тайна: около Би-
блии все книги кажутся ложью. Просто – ненужное, пустое, и не

то чтобы объективно ложное, но в смысле вот «раскрытого сердца» они конечно суть все пустые. Не умею, не могу высказать. Брошу: и вот приходит задумчивый Перцов. «О чем думаешь, человек?» Моргает. «Да кто ты?» Тоже моргает, смотрит вдумчиво-любяще и отвечает: «а (глухота) – я декадент». О декадентах Пав<ел> Ал<ександрович> Флоренский впервые сообщил мне «с ног сшибательную вещь», которая и в голову ни мне и никому в мире не приходила, что когда впервые стали попадаться на глаза ему декадентские «странности», то он будущему епископу <Евдокиму>, а тогда ректору Дух<овной> Моск<овской> академии и редактору «Богосл<овского> вестн<ика>» читал их элементарности и бессмыслицы – и *сравнивал* их с «продуктами раннего христианства», египетского отшельничества и прочее, говоря «*ведь это по стилю души – одно и то же*», то ректор был изумлен и сказал: «конечно, это – один строй и музыка души». А, батенька?

И вот, входит ко мне П.П.П. «и прочие» – и я (сам декадент, конечно) – узнаю «родные души», узнаю – безгласно, без говора, без доказательства, и хотя мы с «Дм<итрием> Серг<еевичем>»¹⁴ – рассорились, но в сущности-то ведь мы – одно и то же. Флор<енский> конечно, тоже декадент и слишком декадент. Он как-то сказал мне (тоже – удивительно!): «я не считаю себя ни умным, ни замечательным человеком (мои частые и в глаза суждения о нем, раз при С.Н. Булгакове: я его сравнивал с Паскалем, на *которого он поразительно, до индивидуальности, похож лицом!*)¹⁵, но новым человеком – считаю». Вы помните:

Мы для новой красоты
Преступаем все законы
Переходим все черты¹⁶.

Дело и *историческая тайна* заключается в том, что «после позитивизма (и реализма)» наступила, по закону прямого перелома, эпоха декадентства воистину без пророков и без гадательных птиц; прямо – как повернулось колесо истории – и «букашки на верхнем ободке колеса» очутились «головами книзу» и под ободком, а «кверху поднялись» совершенно другие. «За одну ночь вырос целый огород исторический». Не чудо ли? Да не сказать ли: это – Бог. «Где Чернышевский, где Добролюбов с Писаревыми?» – «Прошли яко тени». «И Господь, вызвав новые души к существованию, – с позволения сказать, взял да и убежал». «Разделяйтесь с ними, как знаете». Учителем был Писарев, а слушателем его – Мережковский;

некто А.Ю. Кайзер мне сообщил поразительную вещь: от какой-то Пименовой¹⁷, сотрудницы «Русск. богатства», и личного друга семьи Михайловского он узнал, будто сын Михайловского, Марк¹⁸, естественник и талант, «наследие папаши», очень интересовался мною, как писателем, и все «жалел» и «высказывался», что «не может» или «трудно» познакомиться со мною (В.В.Р.). Кажется, даже лично он говорил ему это после «†» Мих<айловского>, и я сказал ему: «ну, это поздно. Когда бы жив Н.К. М<ихайловский> – я бы *пошел к нему*, а теперь – что же». Вообще перешло в многоточие и тусклость-по-нашему русскому обычаю... Вскоре, кажется, и Марк умер. Вообще не помню. Это уже было лет 8 назад, но вообще-то вывод тот, что «Михайловский учил», а сын его *уже был декадент*, как я, как Вы, как Флор<енский>. Еще из предсказаний Флоренского: «я ожидаю, что в самом непродолжительном времени наступят величайшие перемены в душе человеческой, и, м<ожет> б<ыть>, в самой природе и организации человеческой». Еще спустя: «м<ожет> б<ыть> начнут рождаться люди, которые не будут просто есть». А, что вы скажете? И еще, еще: «слова Ницше о сверхчеловеке суть главные в его учении. Но Ницше был глубоко благородный человек и не имел в виду тех пошлостей, какие связывали с его «сверхчеловеком». Он высказал свое предчувствие о появлении в ближайшей истории именно новых организаций человеческого типа, новых [species’]ов (особи (*лат.*), почти с органическим изменением, да и прямо с органическим». Сперва он очень противился изданию моего «Апокал<ипсиса>», но хотя я и не говорю с ним ничего о моей книжонке, он – по общему тону его отношения ко мне (это всегда чувствуется) не враждебен этому изданию, по страстному ненавистию им всей нашей культуры, то есть европейской культуры, западной, с атеизмом, с демонизмом, с пакостничеством и пакостью, вроде революций, вроде и в духе парламентов etc. Нужно заметить, мой «Апок<алипсис>» не имеет такого дурного характера, как о нем думают. Я несколько не «против Христа», а вот моя мысль: «не происходит ли поразительный атеизм Европы, поразительная утрата чувства Бога в христианстве у христиан, именно от того, что они суть христиане, а не просто «божники», «Божьи люди» etc.; от мотива, что этот атеизм – не феноменален, а эссенциален, «в существе дела зарыт», «в зерне христианства скрыт», и, как я думаю или вот в Посаде особенно начал думать, что «атеизм этот и идет от таинственной беззерности Христа, что Христос в сущности не имел фал-

ла, был лишен фалла, что он был «в половой организации» ни то, ни се, «Бог знает что». Ну, ладно. Устал, второй час ночи. Я думаю, если Вы дочитаете 50-й, 60-й выпуск «Апок<алипсиса>», и Вы скажете относительно Христа: «да, что-то **не ладное** с ним». «Кто он был – в сущности – мы не знаем». Меня давно начало поражать, еще со времен службы в Контроле, отчего у христиан, у одних христиан – младенцы новорожденные умерщвляются так легко? Мне это кажется самым демоническим, типично демоническим: Мне кажется, мать, умерщвляющая своего новорожденного младенца, ну, пусть от стыда или чего угодно умерщвляющая, сама конечно не есть демон, но я не могу удержаться от мысли, что она «играет какую-то роль», последнюю и очень жалкую роль – в типически «демоническом комплексе явлений». И вот тут моя мысль кидается к безбрачию католического духовенства и к Григорию Гильдебрандту¹⁹ («святой демон», как звали его современники, очевидно не без личного впечатления) («что-то такое было в великом папе») и, «репка за репку» – в последнем анализе в без фалличности Христа и след<овательно> безсемянном Его, Сударь-Батюшки, зачатии. Вот видите, как я пришел к мысли «Апокал<ипсиса>». У меня это не <φθινόμεν> (явление (*греч.*)), а – суть. Вся жизнь моя в сущности положена на это. «Что такое?» «Как?», «почему?» У Канта: «как могут происходить синтетические суждения а priori». У Ньютона: «как могут падать яблоки»? У Р<озано>ва: «как<им> образ<ом> в религии благодати», «не задувающей курящегося льна» и «не надламывающей треснувшей тростинки», могут младенцы умерщвляться в сущности и отдаленно по воле (мною так любимой) церкви?» Вот. И что-то плохое мне начинает думаться о Христе. «Что-то *не то*»? «Что-то не такой?» «Что это учение о скопчестве – феноменально или эссенциально?». «Так к слову пришлось», «по случаю разговоров с фарисеями о разводе, или – некая тайная мысль и выражение Его без зерной природы. Конечно, матерям СТРАШНО и Больно умерщвлять Рожденных ими же (ведь в душу их никто не заглядывал), и конечно же, «обществу до этого дела нет», и, след<ует> <вывод>, конечно, этого *требует* «приличие церкви». Теперь: «отчего это ПРИЛИЧИЕ требует не «по 10-ти раз в году рожать девкам, а совсем наоборот: глупое приличие, пустое, ничтожное, главное – никому ненужное – требует «ни разу девкам не рожать». Вопрос именно элементарный и ньютоновский, именно: «как *могут быть* синтетические суждения а priori.

Бог БЕЗ'БРАЧЕН.

Один христианский Бог

Прочий же Бог СОТВОРИЛ мир.

Теперь:

Христос = Бог.

или: Бог = Христос.

этих == (равенств) я никак не могу написать. И это-то именно и есть «источник синтетических суждений а'ргюги». Тут я не могу не сказать и того, что если «попам этого не нужно», «обществу – не нужно же», то след<овательно> нужно «только Церкви Христовой», и именно потому, что она «не Церковь вообще», т. е. «религия вообще», а специально как Христовой Церкви. Но что же дальше? Значит, это нужно Христу? Да. Почему? Без'зерен. Мы здесь восходим на головокружительные высоты: Христос есть Дух, Solo – Дух; а Бог есть *только* бог, «наш Боженька», «сотворивший мир». Головокружительность заключается в том, что «есть два № Бога», «просто-Бог» и высший над Ним – Христос. Ведь страшно и исключительно, что в истории конечно не бог победил, наш «сотворивший Вселенную, обыкновенный Бог», а победил и пришел в мир с уверенностью победы – Христос и Дух и Бог. Дело в том, что расслаивается самый мир на мир'-ное и над'мирное, Вселенское и Сверхвселенское, и «Над'» и «Сверх'» стало побеждать под' и вниз'. Что над Вселенною открылось еще что-то такое другое, не-мир, а – «больше мира», «больше Бога». Ну – я не знаю: но явно – мир распадается, разлагается, испепеляется. «Конец мира», и вот явно для Конца-то мира и пришел Христос. «Мужайтесь, ныне я победил мир» (слова Христа). Это так страшно, так ново, эта особая космогония Христа или точнее полная а'кос-мичность Его, что мы можем только припомнить, что в предчувствиях всех народов и р[елигий] действительно полагается, что «миру должен быть конец», что «мир несовершен». Но так страшно это «несовершен» и «конец» – что я только кладу перо и иду спать: ибо уже совсем рассвело.

Бог для меня стоит где Бог. И я учу только, что Он побежден Христом. Кто же Христос? Духа а'рожденный, именно – «пришедший», и именно Без'семенный. Без'семенно зачатый. Все точка в точку по Евангелию. Но здесь или выбросить Евангелие и «по-прежнему зажить», или «вовсе не жить», «оставаясь при Евангелии».



Просто – крест. Могила. Вечная ночь. Христос уносит нас в какую-то Вечную Ночь, где мы будем «с Ним наедине». Но я просто пугаюсь, в смертельном ужасе, и говорю: – *Я НЕ ХОЧУ*.

И прошусь «на прежнюю землю», «нашу». Тут не разгаданно остается, что такое в сущности «наша земля». По Христу это видимому «преходящее», «тьень», мнимость. Ну, не знаю. Если Христос открывает мир ноуменов. Сверх'сущего – тогда Он и вправе «звать к Себе». М<ожет> б<ыть> в смерти – высшее счастье? В конце концов самое-то страшное, что мы все действительно умираем, и не понимаем, «почему умираем», почему «индивидуальность не вечна». В конце концов еще более страшное в том, что Бог нашего мира, fall'ический, конечно, Бог – и должен быть побежден. Но тут голова моя окончательно закруживается, а глаза слипаются от желания спать.

Я Вам еще (давно уже) написал письмо, но не послал. Прощайте, целую, люблю. *Все мы очень несчастны*, и Розановы и Перцовы, счастлива только Верочка²⁰ в монастыре, шлющая нам чудные письма, нас утешающая ими и подкармливающая. Она высылает большую помощь. Об «Апок<алипсисе>» она, конечно, не знает и незачем знать.

В. Р.

2

Дорогой П<етр>П<етрович>! Конечно, я был бы *чрезвычайно счастлив* с В<ами> повидаться. Все наши ссоры <нрзб> конечно, вздор (хотя я чрезвычайно был Вами обижен, и, главное, долго обижаем). Я послал Вам «любящее»²¹ ящ. № 30²². Хоть бы Вы, <черт>, привезли толочна.

Зябну. Голодно. Дров чуть-чуть. Таня готовит обед. В доме только несколько копеек. Ужас... А помните Ваше в СПб письмо.

«3-й день русской Республики»²³.

Нагулялись с республикой. Экая гоголевщина. Вонючая, проклятая.

Неужели издания расстроились? А я так рассчитывал было...

Любящий В. Роз<анов>

Томительно хочется примчаться к Вам и поплакать на плече. Ах, что мы пережили. Я по приезде в 1917 г<оду> был как в беспамятстве. Продуктов вне базара (среда, пятница, воскресенье) никаких. И в довершение (убийства) душевного сделалось «недержание мочи и кала». Ужас, ужас.

Дурылин – на редкость человек²⁴.

Помета П.П. Перцова: «Последнее письмо, Москва, 1918, 17 (4) IX».

IV Н.А. КОТЛЯРЕВСКОМУ

1

23 августа 1918, Сергиев Посад

Счастлив. Благодарю. Крепну надеждой.

Господи, что же случилось с нашей Россией. Кто ждал? Кто – предвидел. Когда подобным кончались революции. «Светопредставление».

Розанов¹

2

(сентябрь – октябрь 1918), Сергиев Посад

Дорогой Нестор Александрович!

Спасибо за пособие 100 р. Это Ал<ександр> Алекс<еевич> смастерил, и он же, добряк, предложил обращаться к Академии Наук². Я так ослаб и растерян вот уже год, что это мне и *в голову не пришло*.

«А счастье было так

возможно

Так близко...»

Похлопочите, родной.

В. Розанов

(ноябрь 1918), Сергиев Посад

Глубоко уважаемый Нестор Александрович!

Получил 100 р., но выслушайте: прочтите в № 6–7 «Апок<алипсиса> н<ашего> врем<ени>» *«Обращение к читателям»*, и Вы поймете все. Во 1-х, умоляю Комиссию не отказать в дальнейших же месячных высыланиях, во 2-х кажется, что мне Комиссиею было определено высылать уже месяца 2 или 3 назад, и только «денег не выдавали» (Измайлов) – и тогда нельзя ли бы дослать за эти месяцы – тоже. Но главное – не это: потерял сына 18 л<ет>, здорового, сильного, единственного. Остались 2 дочери³, одна больная почками («нельзя работать») и другая слабенькая физически. Конечно – работают «с папой», качают воду насосом и на кухню и самовар носят (я 1/2 ведрами). Ежедневно нужно принести 6 на семью + дрова из сарая. И вот для «найма приходящей» прислуги надо бы всеми силами взять в дом. И была 1/2 надежда: но – «сорвалось». Есть и пить – больше хочется; лютят морозы ноябрем – жгучие. Теперь самая важная беда еще не та. Что делать – хоть бы посоветовал кто. Нужно именно указать, подумать, именно женским скопом, по-хозяйственному и по-домашнему: отремонтировать, вернее созидать теплую одежду невозможно – это стоит тысячи (на Посадском толкучем брюки поношенные мещанские и гнусные – 120 р., галоши резиновые – мелкие – 80 р., сапоги почти новые на толкучке 200 р. и т. д.). Очевидно, надо суррогатировать. У меня всегда было печальное тщеславие бедностью, и именно – детскою: «ну, как-нибудь проходите и эту зиму», «обойдется». «Поносы, Надя, Васино пальто, оно тебе впору, ну и что, что мужское». Дети, правда, вышли чудные от этого, скромные, работающие, безумно трудолюбивые. Хорошие дети, я думаю – исключительные. Точно эллины – в простоте и невзыскательности. Но – ноябрь. Надо, очевидно, немедленно выслать теплыми вещами фуфайки 2–4 (одна дочь маленькая, аршина 2 1/2, другая на голову – выше); худенькая, «декаден[тичья]». Нужны теплые кальсоны, чулки теплые, байковых 2 платка, и, словом, – «в окопы». Старшая (маленькая) получила службу, 1-й месяц, с очень хорошим вознаграждением, но этой радости не доверяет, не говорит – сколько. Слава Богу – спасемся, но ходить

надо около версты. Ушиб страха от революции (собственно голод и холод) до того во мне велик, что, потеряв единственного сына 18 лет, я просто не заметил смерти, не зная, что будем к ночи есть. Это же ужасы. Умер, схватив воспаление обоих легких, сгорел в 4 дня. Ужасы, ужасы. Я как-то даже скрываю (от знакомых) (от посторонних), боюсь признаться и сознаться. Какой-то лед бытия, и только накуриваешься до одурения, как в антарктическом поясе моряки напиваются ромом. «Спасти бы остальных» «Что потеряно – не оглядывайся – смотри и зорко храни прочих».

Вот, друг мой, как. Революция хороша в «Zone blanche»⁴, а пережить ее – такие ужасы, какие только мертвые в силах вынести. Да ведь мы и не живые. «Мертвые души». И впервые за всю жизнь, когда всю жизнь волновался и ненавидел так Гоголя⁵ – вдруг открыл его неисчетные глубины, его бездны, его зияния пустоты. Гоголь, Гоголь – вот пришла революция, и ты весь оправдан, со своим заострившимся как у покойника носом («Гоголь в гробу»). Прав – не Пушкин, не звездоносец Лермонтов, не фиалки Кольцова, не величавый Карамзин, прав *ты один* с «Повытчик – кувшинное рыло», с «городом N» (какая мысль в этом «N», – пустыня, небытие, даже нет имени, и в России именно нет самого имени, названия, это – просто «НЕТ»).

В. Розанов

4

(конец нояб<ря> –
нач. декабря 1918),
Сергиев Посад

Благодаря участию Мих<аила> Осипов<ича> Гершензона, указавшему Максиму Горькому на мое безвыходное положение, Максим Горький перевел мне по почте две тысячи рублей. Итак, мой добрый Нестор Александрович, все написанное мною Вам о пособии детям моим теплых вещей и непосильной мне самому работы отпадает. Теперь я сам справлюсь со своей нуждой. Преданный Вам.

В. Розанов

Ю.А. ОЛСУФЬЕВ – Н.А. КОТЛЯРЕВСКОМУ

20 декабря 1918, Сергиев Посад

Василий Васильевич Розанов, будучи тяжело болен, просил передать Отделению для вспомоществования литераторов и ученых при Академии наук в лице Нестора Александровича Котляревского свою искреннюю «невыразимую» благодарность.

По поручению В.В. Розанова

Ю. О.

V

ПОСЛЕДНИЕ МЫСЛИ УМИРАЮЩЕГО РОЗАНОВА

От лучинки к лучинке, Надя, опять зажигай лучинку, скорей, некогда ждать, сейчас потухнет. Пока она горит, мы напишем еще на рубль.

Что такое сейчас Розанов?

Странное дело, что эти кости, такими ужасными углами поднимающиеся под тупым углом одна к другой, действительно говорят об образе всякого умирающего. Говорят именно фигурой, именно своими ужасными изломами. Все криво, все не гибко, все высохло. Мозга, очевидно, нет, жалкие тряпки тела. Я думаю даже, для физиолога важно внутреннее ощущение так называемого внутреннего мозгового удара тела. Вот оно: тело покрывается каким-то странным выпотом, который нельзя иначе сравнить ни с чем, как мертвой водой. Она переполняет все существо человека до последних тканей. И это есть именно мертвая вода, а не живая. Убийственная своей мертвечиной. Дрожание и озноб внутренний не поддаются ничему ощущаемому.

Ткани тела кажутся опущенными в холодную лютую воду. И никакой надежды согреться. Все раскаленное, горячее представляется каким-то неизреченным блаженством, совершенно недоступным смертному и судьбе смертного. Поэтому «ад» или пламя не представляют ничего грозного, а скорее желанное. Это все для согревания, а согревание только и желаемо. Ткань тела, эти мотающиеся тряпки и углы представляются не в целом, а в каких-то

безумных подробностях, отвратительных и смешных, размоченными в воде адского холода. И кажется, кроме озноба ничего в природе даже не существует. Поэтому умирание, по крайней мере от удара – представляет собою зрелище совершенно иное, чем обыкновенно думается. Это холод, холод и холод, мертвый холод и больше ничего.

Кроме того, все тело представляется каким-то надтреснутым, состоящим из мелких раздробленных лучинок, где каждая представляется трущею и раздражающею остальные. Все вообще представляет изломы, трение и страдание.

Состояние духа – его – никакого. Потому что и духа нет. Есть только материя изможденная, похожая на тряпку, выброшенную на какие-то крючки.

До завтра.

Ничто физиологическое на ум не приходит. Хотя странным образом тело так изнеможено, что духовного тоже ничего не приходит на ум. Адская мука – вот она налицо.

В этой мертвой воде, в этой растворенности всех тканей тела в ней. Это черные воды Стикса, воистину узнаю их образ.

1

Д.С. И З.Н. МЕРЕЖКОВСКИМ И Д.В. ФИЛОСОФОВУ

(декабрь 1918)

Дорогой, дорогой, милый Митя, Зина и Дима!¹

В последней степени склероза мозга, ткань рвется, душа жива, цела, сильна!

Безумное желание кончить Апокалипсис, «Из восточ<ных> мотивов» и издать «Опавшие листья»², и все уже готово, сделано, только распределить рисунки из «Восточных мотивов», но это никто не может сделать.

И рисунки все выбраны. Лихоимка судьба свалила Розанова у порога.

Спасибо дорогим, милым, за любовь, за привязанность, состраданье.

Были бы вечными друзьями – но уже, кажется, поздно.

Обнимаю вас всех крепко и целую вместе с Россией дорогой, милой. Мы все стоим у порога, и вот бы лететь, и крылья есть, но воздуха под крыльями не оказывается. Спасибо милому Сереже Каблукову³ за письмо очень содержательное. Что же он не пишет большого письма, которое обещал?

Теперь дела мои все устроились. Спасибо Максимушке, Саше Бенуа, спасибо Макаренко⁴.

Господи, какие воспоминанья связаны с «Миром искусства», «Новым путем»⁵.

Восходит золотая Эос!⁶ Верю, верю в тебя, как верю в Иерусалим! Ах, все эти святости древности, они оправдались и в каких безумных оправданьях.

Целую, обнимаю вместе с Россией несчастной и горькой.

Творожка хочется, пирожка хочется. А ведь когда мы жили так безумно вкусно, как в этот голодный страшный год? Вот мера вещей. Господи, неужели мы никогда не разговеемся более душистой Русской Пасхой, хотя теперь я хотел бы праздновать вместе с евреями и с их маслянистой, вкусной, фаршированной с яйцами щукой. Сливаться, так сливаться в быте, сразу маслянисто и легко.

Примечание Н.В. Розановой: «Это было в первые дни болезни. Получив от Ховина⁷ письмо, где он пишет, что Мережковский посылает ему деньги, папа был до глубины души потрясен. Он торопил меня, волновался. Он был в страшном напряжении. Умолял меня не менять выражений, писать все, что он диктует, и все повторял: «Безумно холодно звучит, когда хочется писать горячо, нежно» и плакал».

2

МОЯ ПРЕДСМЕРТНАЯ ВОЛЯ

10 января 1919

Я постигнут мозговым ударом. В таком положении я уже не представляю опасности для Советской республики. И можно добиться мне разрешения выехать с семьей на юг.

Веря в торжество Израиля, радуясь ему, вот что я придумал. Пусть еврейская община в лице Московской возьмет половину права на издание всех моих сочинений и в обмен обеспечит в вечное пользование моему роду племени Розановых честною фермою в

пять десятин хорошей земли, пять коров, десять кур, петуха, собаку, лошадь и чтобы я, несчастный, ел вечную сметану, яйца, творог и всякие сладости и честную фаршированную шуку.

Верю в сияние возрождающегося Израиля, радуюсь ему <нрзб.>.

Василий Вас. Розанов

3

ЛИДОЧКЕ ХОХЛОВОЙ!¹

Милая, дорогая Лидочка! С каким невыразимым счастьем я скушал сейчас последний кусочек чудного, белого с маслом хлебца, присланный Вами из Москвы в декабре, и спасибо Вашей милой сестрице. И хочу, чтобы где будет сказано о Розанове последних дней, не было забыто и об этом кусочке масла. Спасибо, милая! И родителям вашим спасибо. Спасибо.

Благодарный Вам В. Розанов

Эту записку сохраните (писал собственноручно).

Примечание Н.В. Розановой: «Написано письмо в благодарность за присланную Л. Хохловой белую булочку с маслом, которую она принесла мне для папы и которую захватила на службу. Папа был очень растроган. Тогда он вообще был в очень нервном состоянии, постоянно плакал...» (л. 29 об.).

4

ПИСЬМО К ДРУЗЬЯМ

17 января 1919 года. Четверг

Благородного Сашу Бенуа, скромного и прекрасного Пешкова, любимого Ремизова и его Серафиму Павловну¹, любимого Бориса Садовского, всех литераторов без исключения, Мережковского и Зину Мережковскую – ни на кого ни за что не имею дурного, всех только уважаю и чту.

Все огорчения, все ссоры считаю чепухой и вздором.

Ивана Ивановича Введенского благодарю за доброту и внима-

ние, Музе Николаевне Всехсвяцкой целую руку за ее доброту, самого Всехсвяцкого² целую и за его доброту и за папироски. Каптереву³ благодарю и целую руку за ее доброту и внимание. Ну конечно, графа и графиню Олсуфьевых⁴ больше всего благодарю за ласку, Флоренского за изящество, мужество и поучение, мамочку нашу бесценную за всю жизнь и за ее грацию.

Лемана⁵ благодарю за помощь и великодушие и жену его тоже, они оба изящны очень и очень сердечны, и глубоко надеюсь, от Лемана большое возрождение для России.

Гершензона⁶ благодарю за заботу обо мне, очень благодарю. Виктора Ховина люблю и уважаю, Устиньскому милому кланяюсь в ноги и целую руки, Макаренко сердечно кланяюсь.

Перед скровищем Васенькой прошу прощения. Много виноват в его смерти. Грациозной Наденьке желаю сохранить ее грацию, великодушной и великой Вере желаю продолжения того же пути монашеской жизни, драгоценной и трепетной. Тане желаю сохранить весь образ ее души. Варе желаю сохранить бодрость и крепость духа, Алю⁷ целую, обнимаю и прошу прощения за все мои великие прегрешения перед ней, Наташу⁸ целую и обнимаю, любимому человеку Шуриному очень желаю добра и счастья. Только вместе, и вообще разделенья не желаю никому на свете, никому.

Лидочку Хохлову обнимаю, как грациозную девочку, (Шернаваля)⁹ вполне понимаю и извиняю вполне, ни на что не сержусь. Дурылина милого люблю, уважаю и почитаю и точно так же Фуделя, Чернова, Анне Михайловне¹⁰ дорогой целую руку ее, и так же точно Надежде Петровне¹¹. Ангела о. Александра за истинную доброту его благодарю и всему миру кланяюсь в ноги и почитаю за его великую терпимость.

Примечание Н.В. Розановой: «...В этот день что-то случилось, что-то открылось ему, он понял что-то и уже стал нездешним.

В первые дни болезни что-то темное и тяжелое было в нем. Темный свет исходил. Но затем темные лучи преобразились, полились новые, теплые, радостные. Жуть исчезла.

Диктовал это письмо, напряженно думая, но опять-таки каким-то уже нездешним чувством, все охватывающим, все понимающим, но уже далеким от всех...

Когда кончил, обратился к маме тем же страшным, ясным и радостным голосом, сказал: «Кажется, я со всеми простился хорошо, да, мама?» и через несколько минут ясно, радостно проговорил: «мамочка, поцелуемся во имя Христа».

Снова замолчал и добавил: «По-старому будем жить, по-православному, не будем сердиться на церковь, все прегрешения забудем...»

5

К ЛИТЕРАТОРАМ

17-го января. Четверг 1919 года

Нашим всем литераторам напиши, что больше всего чувствую, что холоден мир становится, и что они должны предупредить этот холод, что это должно быть главной их заботой.

Что ничего нет хуже разделения и злобы и чтобы они всё друг другу забыли, и перестали бы ссориться. Всё это чепуха. Все литературные ссоры просто чепуха и злое наваждение.

Никогда не плачьте, всегда будьте светлы духом.

Всегда помните Христа и Бога нашего.

Поклоняйтесь Троице безначальной и живоносящей и изначальной.

Флоренского, Мокринского и Фуделя и потом графов Олсуфьевых прошу позаботиться о моей семье и также Дурылина, и всех, кто меня хорошо помнит.

Прошу Пешкова позаботиться о моей семье.

6

К ЕВРЕЯМ

17-го января 1919 года

Благородную и великую нацию еврейскую я мысленно благословляю и прошу у нее прощения за все мои прегрешения и никогда ничего дурного ей не желаю и считаю первой в свете по назначению.

Главным образом за лоно Авраамово в том смысле, как мы объясняем это с о. Павлом Флоренским.

Многострадальный, терпеливый русский народ люблю и уважаю.

К МАКАРЕНКО

20-го января 1919 года

Милый, милый Николай Эмельянович, спасибо Вам за доброе внимание Ваше, которое никогда не забуду, как не забуду и друзей своих всех дорогих, не забуду драгоценный Эрмитаж и работу по нем благородного Бенуа.

Этот Эрмитаж незаслуженная драгоценность для всей России.

Помните ли Вы драгоценный Елизавет и драгоценный эстамп с нее? Особенно, когда она была младенцем? Для меня это незабываемо. Величавую Екатерину и все это величье и славу, когда-то бывшее в России, но теперь погибшее.

Боже, куда девалась наша Россия. Помните Ломоносова, которого гравюры и храню до сих пор, Тредьяковского, даже Сумарокова? Ну, прощай былая Русь, не забывай себя. Помни о себе.

Если ты была когда-то величава, то помни о себе. Ты всегда была славна!

Передайте Мережковскому о всей этой славе, которую он помнит так хорошо. Поклон его Петру и его стрельцам¹. Это тоже слава России. Поклон его Зине. Поклон его милой Тате и Натe² и если можно, поцелуй, а я знаю, что можно. Если бы можно было бы, позволили бы силы, можно было бы рисунки закончить и это была бы драгоценная работа для них и для меня.

Ну, друзья, устал, изнеможен, больше не могу писать. Сделайте что-нибудь для меня. Я сам умираю уже, нечего больше, прежде всего работать. Хочется очень работать. Хочется очень кончить Египет³ и жадная жажда докончить, а докончить вряд ли смогу. А работа действительно изумительная. Там есть масса положительных открытий, культ солнца почти окончен.

Еще хотел бы писать, мои драгоценные, писать больше всего об Египте, об солнце много изумительных афоризмов, м. б. еще припишу «писульки», не знаю и не берусь за это.

От семьи моей поклон, от моей Вари поклон, от моих детей, тружеников небывалых поклон, в этом не сомневайтесь, не колеблетесь. Варя совершенно с Вами помирилась.

Всему миру поклон, драгоценную благодарность, от своей Танечки тоже поклон, она грациозная, милая и какая-то вся игривая и вообще прелестная, и от Наденьки, которая вся грация: приезжай-

те посмотреть. И это пишу я, отец, которому, естественно, стыдно писать. Ну, миру поклон, глубокое завещание никаких страданий и никому никакого огорчения. Вот, кажется, все!

Васька дурак Розанов

Детки собираются сейчас дать мне картофель, огурчиков, сахара, которого до безумия люблю. Называют они меня «куколкой», «солнышком», незабвенно нежно, так нежно, что и выразить нельзя, так голубят меня. И вообще пишут: «так! так! так!», а что «так» – разбирайтесь сами.

Сам же себя я называю: «хрюнда, хрюнда, хрюнда!» Жена нежна до последней степени, невыразимо и вообще я весь счастлив, со мной происходят действительно чудеса, а что за чудеса, расскажу потом когда-нибудь.

Все тело ужасно болит!

8

М. ГОРЬКОМУ

20 января 1919

Дорогой, милый А<лексей> М<аксимович>! Несказанно благодарю Вас за себя и за всю семью свою. Без Вас, Вашей помощи она погибла. 4000 это не кое-что. Благородному Г<ершензону> тоже глубокую благодарность за его посредничество и хлопоты, и вообще, всем моим друзьям несказанный поклон за заботы, хлопоты и теплое внимание. Сейчас всего больше я устал, состояние здоровья моего крайне слабо и кажется безнадежно. Странное чувствую и ощущаю: прежде всего, потеря всего плана тела; я не знаю, не понимаю, как я себя чувствую, какая-то изломанность всего тела, раздробленность его. Всего лучше сравнить состояние моего тела с черными водами Стикса: оно наполняется холодной водой с самой ночи. Это состояние невыносимое: представьте себе ледяную воду, наполняющую Ваше тело. Никаких сил выдержать, а держаться приходится. Вот сейчас лежу, как лед мертвый, как лед трупный. Много думаю о Вас и о Вашей судьбе. Какая она, действительно, горькая, но и, действительно, славная и знаменитая. И дай Вам Бог еще успеха и успеха большого. Вы вполне его заслуживаете. Ваша «Мальва» и Барон составляют и уже составили эпоху. Так это и знайте. Ну, еще, Максимушка дорогой, прощайте и не огорчайтесь, если в чем и обидел. Помнишь, было неладное с Кожемякой. Зато

Мальва превосходно вышла, и особенно изумительно Барон. Это кажется лучше всего. Прощай, не забывай, помни меня!

В. Розанов

9

Д.С. МЕРЕЖКОВСКОМУ

20-го января. Воскресенье

Дорогой Дмитрий Сергеевич!

Я не могу хорошо разобраться в своих рисунках к <книге> «Вост<очные> мот<ивы>». А разобраться нужно. Вы один могли бы это сделать. Вы вполне понимаете меня и мотив<ы> моего труда.

Не оспору, что он иногда бывал гениален. Вас любящий, любящий и целующий Вашу руку

В. Розанов

Алешке Ремизову поклон.

10

К ВАРЕ

20-е января

Милая, дорогая Варечка, кажется, что я помираю. Целую тебя крепко, счастливо, радостно. Всегда тебя люблю, на тебя всегда радовался. Не могу больше жить, не могу больше писать.

Твой <куклюшонок>¹ Папа

Всех Вас люблю, дорогие мои, ненаглядные, милые.

11

З.И. БАРСУКОВОЙ

20-е января

Зинаида Ивановна², дорогая, милая. Кажется, я умираю. Ничего не могу писать. Вл<адимиру> Фед<ровичу>³ милomu, дорогому, любимому. Совсем ничего не могу писать. Целую всех.

12

В.Р. ХОВИНУ

20-е января <1919>

Милый, милый Ховин, целую тебя.

Ты был всегда моим лучшим другом, и я тебя никогда не забуду. Тоже Садовскому, милому. поклон. Он тоже был моим лучшим другом. Его лирика прелестна.

В. Розанов

13

М. Н. СТОЮНИНОЙ

20-е января

Мария Николаевна⁴ великая, героическая женщина. Больше не в силах ничего писать.

14

Н.В. РОЗАНОВА – П.П. ПЕРЦОВУ

6 февраля 1919

Глубокоуважаемый Петр Петрович!

Сообщаю Вам о глубоком горе, постигшем нашу семью. 23-го янв<аря> ст<арого> ст<илия> в среду в 1 ч. дня скончался папа. 2 мес<яца> он болел параличом, который произошел на почве сильных потрясений и продолжительной голодовки. Он похудал так, что походил на тень, я легко его переносила с кровати на руках, как ребенка. Надо было одно – усиленное питание – которое мы не могли ему дать при всем усилии. Он все слабел и слабел, и вот 23-го его не стало. Умер он совсем тихо, радостно, радостно, со всеми простился. 4 раза он причащался, 1 раз его соборовали, три раза над ним читали отходную, во время которой он и скончался. За неск<олько> минут до † ему положили пелену, снятую с изголовья с мощей преп<одобного> Сергия, и он тихо, тихо заснул под ней.

Похоронили его в монастыре Черниговской Божьей Матери, рядом с К.Н. Леонтьевым.

Много, много чудесного открыла его кончина и его последние дни и даже похороны. Милость Божия была на нем. Последние дни я была непрестанно с ним и записывала все, что он мне говорил.

Мама очень плоха и слаба. Она просит кланяться Вам и Марии Павловне.

*Уважающая Вас
Над<ежда> Розанова*

Примечания

1. РГАЛИ. Ф. 2833, оп. 1, ед. хр. 450 (копия).

Садовской Борис Александрович (1881–1952) – поэт, критик.

Из примечания Б.А. Садовского к письму В.В. Розанова: «...письмо Розанова является страшным, мучительно безнадежным воплем человека, выброшенного из жизни. Пресловутый цинизм покойного писателя сослужил ему плохую службу. Розанов гордился, что прожил всю жизнь за занавеской, этой занавеской являлся для него огромный номер «Нового времени», когда же его не стало, философ очутился на улице голодный и холодный. По моему мнению, последнее письмо должно считаться крупным человеческим документом из числа многих, порожденных революцией. Борис Садовской (1926)».

¹ Суворин Алексей Сергеевич (1834–1912) – с 1876 года издатель газеты «Новое время». В 1911 организовал Акционерное издательское и книготорговое общество «Новое Время».

Суворин Алексей Алексеевич (1862–1937), сын А.С. Суворина от первого брака. С 1888 года фактический редактор «Нового времени». В 1903 году оставил «Новое время», основав газету «Русь».

Суворин Борис Алексеевич (1879–1940) – сын А.С. Суворина, принимал участие в редактировании газеты.

Суворин Михаил Алексеевич (1860–1936) – сын А.С. Суворина от первого брака. Печатался в «Новом времени». С декабря 1903 года фактический редактор газеты «Новое время».

Взаимоотношения В.В. Розанова с сыновьями Суворина были неоднозначны, о чем неоднократно упоминается в переписке Розанова.

² Елов Михаил Савельевич – владелец магазина в Сергиевом Посаде (1918 год), финансировал издание «Апокалипсиса нашего времени».

³ *Союз самоиздающихся писателей.* Вероятно, имеется в виду «Книжная лавка писателей», которая открылась в начале сентября 1918 года на кооперативных началах. Помогала писателям распродавать свои произведения и книги из личных библиотек. Учредителями были М.А. Осоргин,

Н.А. Бердяев, М.О. Гершензон. В дальнейшем книжная лавка стала продавать рукописные сборники и отдельные произведения. Подробнее см.: *Богомолов Н.А., Шумихин С.В.* О рукописных книгах 1919–1922 гг. // Наше наследие. 1988. № 6.

II. РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 315. Датируется по почтовому штемпелю.

Устьинский Александр Петрович (1854–1922) – протоиерей Десятинского женского монастыря в Новгороде. Знаком с В.В. Розановым с 1898 года. З.Н. Гиппиус вспоминала об Устьинском: «...исключительной глубины и прелести человек – священник Устьинский...» (*Гиппиус З.Н.* Живые лица. Вып. 2. Мюнхен, 1971. С. 26–27.)

¹ На иждивении В.В. Розанова находились: жена Варвара Дмитриевна, урожденная Руднева, в первом браке Бутягина (1862–1923); дочь Татьяна (1895–1975); дочь Вера (1896–1919), которая с 1913 года ушла в монастырь, а через несколько месяцев после кончины отца покончила с собой; дочь Варвара (1898–1941), в замужестве Гордина; дочь Надежда (1900–1956) по первому мужу Верещагина, по второму – Соколова. Сын В.В. Розанова Василий в октябре 1918 вместе с сестрой Варварой поехал на Украину за продуктами, но в Курске заболел воспалением легких и умер.

² «обращение к читателю...» – см.: *Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. Вып. 6–7. Сергиев Посад, 1918.

³ Феодор Бухарев – Бухарев Александр Матвеевич, в монашестве Феодор (1824–1871) – духовный писатель, учился в Тверской семинарии и в Московской духовной академии, где и был оставлен при кафедре Священного Писания. Незадолго перед окончанием курса принял монашество. Занимался толкованием «Апокалипсиса». П.А. Флоренский в 1918 году работал над книгой о Феодоре Бухареве, о чем свидетельствует его письмо к Б.Э. Нольде от 10 марта 1918 года: «Глубокоуважаемый Борис Эммануилович! С радостью узнал о намеченном предприятии издательства «Огни». Долгом своим считаю по мере сил своих способствовать этому начинанию. Написать о митрополите Филарете согласен, однако не стесняю себя сроком слишком узким. Благодарю Вас за лестное доверие. Но именно в силу него позволяю себе обратиться к Вам со встречным предложением – дать вместо монографии о Филарете для предпринятой серии монографии, которую дать едва ли кто может, кроме нижеподписавшегося. Разумею архимандрита Феодора (А.М. Бухарева). Основанием ее для моего утверждения служит то, что в течение нескольких (более 8-ми) лет я непрерывно занимался изучением его личности, издал его «Исследования Апокалипсиса», ряд писем Бухарева и к Бухареву и изучал среду, в которой он вращался, в моих руках находятся неизданные сочинения Бухарева, серии писем его и воспоминания о нем; кроме того, я имею связи с лицами, близкими к по-

койному арх. Феодору. Смее утверждать, что миную меня, никто не может сейчас написать о нем, не оставив без внимания существенно важные материалы. Что же до вопроса о достаточной значительности арх. Бухарева для монографии, то, конечно, тут возможны разные мнения. Мое же, сложившееся в итоге долгих обдумываний: арх. Феодор есть родоначальник религиозного и отчасти литературного течения нашей современности, и только теперь приходит время его настоящей оценки. Однако и в прошлом его влияние, обычно просачивавшееся подкожно, было велико. Важно учесть и его светские связи с Гоголем, славянофилами. Подлежит обследованию Достоевский и Соловьев в этом отношении».

III. РГАЛИ, Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 186. В квадратные скобки заключены слова, чтение которых предположительно.

¹ Эфрон Савелий Константинович – журналист и драматург. См. о нем: *Кугель А.Р.* Листья с дерева. Воспоминания. Л.: Время, 1926.

² Федоров М.М. в 1893–1894 гг. редактировал «Торгово-промышленную газету».

³ Васильев А.В. – один из издателей ежемесячника «Русская беседа», редактор ежемесячника «Благовест» (1895–1896).

⁴ Филиппов Третий Иванович (1825–1899) – писатель, государственный и общественный деятель славянофильской ориентации. Служил в Государственном контроле, где пользовался большим авторитетом и где с 1893 года в его подчинении служил В.В. Розанов.

⁵ Витте Сергей Юльевич (1849–1915) – в 90-е годы XIX века был министром финансов, враждебно относился к славянофилам.

⁶ Рцы – псевдоним Ивана Федоровича Романова (1861–1913) – публициста славянофильской ориентации.

⁷ Шарапов Сергей Федорович в 1882–1890 гг. издавал еженедельник «Русское дело», в 1897–1899 гг. был редактором-издателем газеты «Русский труд».

⁸ Розанов жил в городе Белый в 1891–1893 гг.

⁹ Аксаков Николай Петрович (1853–1909) – поэт и публицист.

¹⁰ Аксаков Иван Сергеевич (1828–1886) – поэт, публицист, общественный деятель славянофильской ориентации. Кроме него, известностью пользовались его отец писатель С.Т. Аксаков (1791–1859) и брат К.С. Аксаков (1817–1860).

¹¹ Самарин Юрий Федорович (1819–1876) – писатель, общественный деятель, один из идеологов славянофильства, его брат Дмитрий Федорович также был общественным деятелем, сотрудничал в «Московских ведомостях» в период редакторства И.С. Аксакова, был издателем сочинений Ю.Ф. Самарина; Самарин Николай Федорович (1829–1892) также был общественным деятелем.

¹² Комаров В.В. в 1882–1894 гг. был редактором-издателем газеты «Свет», издававшейся в Петербурге.

¹³ Сципионы – династия древнеримских полководцев.

¹⁴ Дм<итрий> Серг<еевич> Мережковский – критик, публицист, писатель, поэт. С Мережковским и его женой З.Н. Гиппиус Розанова связывала многолетняя дружба, начавшаяся в 90-е годы XIX века.

¹⁵ Булгаков Сергей Николаевич (1877–1944) – философ, начинавший как легальный марксист, позднее ставший православным мыслителем. Сотрудничал в журнале «Новый путь» и «Вопросы идеализма». В 1918 году принял сан священника.

¹⁶ Неточная цитата из стихотворения Д.С. Мережковского «Дети ночи»:

Мы для новой красоты

Нарушаем все законы,

Преступаем все черты.

¹⁷ Пименова Э.К. – сотрудница журналов «Мир Божий» и «Русское богатство», близкий друг Н.К. Михайловского. См. ее воспоминания: *Пименова Э.К. Дни минувшие*. Л., 1929.

¹⁸ Михайловский Марк Константинович (1877–1904) – сын публициста Н.К. Михайловского, биолог по образованию.

¹⁹ Гильдебрант – монашеское имя папы Григория VII, инициатора реформы католической церкви, введившей celibat, то есть обязательное безбрачие духовенства.

²⁰ Верочка – дочь В.В. Розанова.

²¹ «Любящее» – так называет Розанов первое письмо..

²² Ящик № 30 – почтовый адрес Перцова: Кострома, Почтовая контора, ящик № 30.

²³ Розанов цитирует письмо П.П. Перцова к нему от 1 марта 1917 года, послужившее причиной размолвки.

²⁴ Дурылин Сергей Николаевич (1877–1954) – философ, историк литературы, с которым Розанов особенно сблизился после переезда в Сергиев Посад.

IV. Отдел рукописей (ИРЛИ РАН). Ф. 135, ед. хр. 587.

Котляревский Нестор Александрович (1863–1925) – литературовед, академик, был секретарем Отделения русского языка и словесности Российской Академии наук.

¹ Адрес на конверте: «В Петроград, Вас. Остров, в Академию наук. В комиссию по оказанию помощи нуждающимся литераторам и ученым. Нестору Александровичу Котляревскому».

² Измайлов Александр Алексеевич (1873–1921) – русский писатель, критик, был близок к В.В. Розанову. В письме от 26 июля 1918 года советовал В.В. Розанову обратиться к Н.А. Котляревскому.

³ 2 дочери – Надежда и Татьяна.

⁴ мертвая зона, пустое пространство (*фр.*).

⁵ ...ненавидел так Гоголя... – об отношении В.В. Розанова к Гоголю см.: *Розанов В.В.* Легенда о Великом Инквизиторе Ф.М. Достоевского. Опыт критического комментария. С приложением 2-х этюдов о Гоголе. Изд. 3-е. СПб., 1906; *Розанов В.В.* Уединенное. СПб., 1912; *Розанов В.В.* Опавшие листья. СПб., 1913.

У. Печатается по записи Н.В. Розановой: РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 244. Впервые опубликовано с неточностями: *Летопись Дома литераторов.* 1922. № 8–9. С. 5. К тексту сделано примечание: «Продиктовано В.В. Розановым его дочери Надежде в декабре 1918 года за месяц до смерти».

1. Впервые напечатано: *Вестник литературы.* 1919. № 8. С. 14; печатается по записи Н.В. Розановой: РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 244.

¹ Митя, Зина, Дима – Мережковский Дмитрий Сергеевич (1866–1941); Гиппиус Зинаида Николаевна (1869–1945), Философов Дмитрий Владимирович (1872–1940).

² «Апокалипсис нашего времени». Сергиев Посад (1917–1918) – последние статьи В.В. Розанова, объединенные общим заглавием. Серия была начата 15 ноября 1917 года. За 1917–1918 гг. было издано 10 выпусков; «Из восточных мотивов». Петроград, 1916–1917 – вышло 3 выпуска. «Опавшие листья» – имеется в виду несостоявшееся издание 3-го короба «Опавших листьев» Г.А. Леманом.

³ Каблуков Сергей Платонович (1881–1919) – секретарь Религиозно-философского общества (1909–1913), преподаватель математики в женской гимназии А.П. Никифоровой, музыкальный критик и сотрудник журнала «Музыкальный современник» (1913–1915).

⁴ Максимушка – А.М. Горький; Саша Бенуа – Бенуа Александр Николаевич (1870–1960), сблизился с В.В. Розановым в период работы в журнале «Мир искусства» (1899–1904); Макаренко – Макаренко Николай Эмельянович (1888–1934) – сотрудник Эрмитажа (см. о нем: *Звагельский В.* Нельзя забыть // *Червоний промінь.* 1988. 10 декабря).

⁵ «Мир искусства», «Новый путь» – журналы, в которых активно сотрудничал В.В. Розанов. В журнале «Новый путь» (1902–1904) В.В. Розанов вел особую рубрику «В своем углу».

⁶ Золотая Эос – в греческой мифологии богиня утренней зари.

⁷ Ховин Виктор Романович (1891–1944) – основатель частного издательства «Очарованный странник», в котором с 1918 по 1922 гг. было издано 8 выпусков журнала «Книжный угол». В 1924 году Ховин эмигрировал в Ригу. Погиб в Освенциме.

2. Впервые с рядом неточностей: *Вестник литературы.* 1919. № 6. С. 15; Печатается по записи Н.В. Розановой: РГАЛИ. Ф. 419, оп. 1, ед. хр. 244.

Все последующие письма печатаются по указанному источнику (до письма Н.В. Розановой П.П. Перцову) и отдельно не оговариваются.

3.

¹ Лидия Дометьевна Хохлова [в замужестве Баранова, Иванова (24 мая (5 июня) 1900, СПб. – 2 апреля 1991, там же)] – гимназическая подруга дочери В.В. Розанова Надежды.

4.

¹ Ремизов Алексей Михайлович (1877–1957) – писатель, Ремизова Се-
рафима Павловна (1876–1943) – его жена. Об отношениях Розанова и Ре-
мизова см.: *Ремизов А.М.* Кукха. Розановы письма. Берлин, 1923.

² Муж и жена Всехсвятские (Всехсвяцкие в написании Розанова) – Ни-
колай Дмитриевич, служивший библиотекарем в Духовной академии, и его
жена Муза Николаевна. Оба много сделали для Розанова и его семьи в го-
лодные 1917–1919 гг.

³ Каптерева – жена Каптерева Сергея Николаевича, жителя Сергиева
Посада.

⁴ Граф и графиня Олсуфьевы – Юрий Александрович Олсуфьев (1878–
1938) и Софья Владимировна Олсуфьева, урожденная Глебова (1884–1943).
Ю.А. Олсуфьев был известный историк русского искусства, специалист по
иконописи и прикладному искусству. С марта 1917 года переехал в Серги-
ев Посад и с 1918 года вместе с П.А. Флоренским работал в Комиссии по
охране памятников искусства и старины Троицко-Сергиевой лавры. Под-
робнее см.: *Вздорнов Г.И.* Забытое имя // Памятники Отечества. Вып. 2. М.,
1987. С. 83–89; *Олсуфьев Ю.А.* Из недавнего прошлого одной усадьбы. Бу-
ецкий дом, каким мы его оставили 5-го марта 1917 года. М.: Индрик, 2009.

⁵ Леман Георгий Адольфович (1887–1968) – издатель, друг и почитатель
В.В. Розанова, в дальнейшем – лингвист, переводчик, педагог. В 1918–1922
гг. пытался издать 3-й короб «Опавших листьев», переписку В.В. Розанова
с К.Н. Леонтьевым, П.П. Перцовым и П.А. Флоренским.

⁶ Гершензон Михаил Осипович (1869–1925) – критик, историк литера-
туры. Один из тех, кто откликнулся на обращение В.В. Розанова «К читате-
лю, который друг» (*Розанов В.В.* Апокалипсис нашего времени. Вып. 6–7.
Сергиев Посад, 1918), прислав Розанову письмо. Последний считал также,
что благодаря хлопотам Гершензона получил и помощь от Горького.

⁷ Аля – Александра Михайловна Бутягина (1883–1920), дочь Варвары
Дмитриевны Розановой от первого брака.

⁸ Наташа – возможно, Вальман Наталья Аркадьевна, подруга А.М. Бу-
тягиной.

⁹ (Шернаваль) – врач, лечивший В.Д. Розанову.

¹⁰ Анна Михайловна Флоренская – жена П.А. Флоренского.

¹¹ Надежда Петровна Гиацинтова – теща П.А. Флоренского.

5. Впервые напечатано: Вестник литературы. 1919. № 5. С. 8; публикуется по записи Н.В. Розановой...

6. Впервые напечатано с неточностями: Вестник литературы. 1919. № 6. С. 15; публикуется по записи Н.В. Розановой...

7. Впервые с неточностями напечатано в журнале: Летопись Дома литераторов. 1922. № 8–9. С. 5. Публикуется по записи Н.В. Розановой...

¹ Поклон его Петру и его стрельцам – имеется в виду роман Д.С. Мережковского «Петр и Алексей», где царевич Алексей и поддерживавшие его стрельцы, поднявшие бунт против Петра 1, были изображены весьма сочувственно.

² Тага и Ната – сестры З.Н. Гиппиус художница Татьяна Николаевна Гиппиус (1877–1957) и скульптор Наталья Николаевна Гиппиус (1880–1963), окончившие Академию художеств по классу «свободный художник». После революции остались в России. После убийства С.М. Кирова были высланы из Ленинграда. После войны жили в Новгороде.

³ «хочется очень кончить Египет» – В.В. Розанов подготовил обширный материал для очередных выпусков «Восточных мотивов».

8. Впервые опубликовано в журнале: Вестник литературы. 1919. № 8. С. 14. Публикуется по записи Н.В. Розановой...

9–13. Публикуются по записи Н. В. Розановой...

¹ куклюшонок – домашнее имя, которое дала В.В. Розанову дочь Надежда.

² Барсукова Зинаида Ивановна – племянница историка Н.П. Барсукова, дочь И.П. Барсукова (1841–1906), считывала корректуру «Опавших листьев».

³ Владимир Федорович Высотский – муж З.И. Барсуковой, ученик Розанова по Елецкой гимназии, автор книг о сектантах.

⁴ Стоюнина Мария Николаевна (1846–1940) – вдова известного педагога Владимира Яковлевича Стоюнина, основательница частной женской гимназии в Петербурге.

14. РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 191.

С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ.

Размышления о ходе русской литературы

Нет предмета, смысл коего мы могли бы вполне понимать, если он еще *не закончен*. В этом отношении 1917-й и 1918-й годы, когда рухнуло Русское Царство, представляют собою исключительную историческую минуту, в которую видно все сполна историческое течение и литературное течение в их завершенном, окончившемся уже течении. Мы видим, *куда* все шло, *к чему* все клонилось, *во что* все развивалось, двигалось, формировалось. *Этого*, что лежит перед нашими глазами, уже нельзя переменить, переделать. Оно – *есть*, оно представляет собою *факт, зрелище*; – нечто *созревшее* и переменам не подлежащее. Точнее, пусть перемены и настанут, но самые эти перемены настанут от впечатления испытываемого зрелища, от его потрясающего и, в общем, неожиданного смысла. Во всяком случае, что-то «кончилось» в России. И куда побегут новые побеги ее – это будет зависеть от того, как мы уразумеем совершившееся вот именно в этом 1917-м и 1918-м году.

Маленькою горсточкою славян, живших по Ильменю-озеру, совершилось, более чем тысячу лет тому назад, так называемое «призвание князей на Русь», – по побуждению чрезвычайно странному, не записанному в летописях и хрониках никакого другого народа. Жили-были люди; – занимались торговлею, маленькою на великом водном пути «из Варяг в греки», т. е. от язычествовавших в тот IX-й век после Рождества Христова варяжских викингов в страну христиански просвещенную, в великую Византийскую Империю, наследницу античных языческих сокровищ, обогащенных и углубленных смыслом христианским. Жили-были; торговали; занимались звериным промыслом; рубили лес, вспахивали поля; все – в тех небольших пределах, каких требовала жизнь, в каких требовала небольшая северная нужда. Жили; но, без сомнения, по причине

мелких житейских ссор, мелких житейских свар, – уголовно-полицейского характера, – стали нуждаться в ком-то «старшем», кто дал бы им «порядок» условно-всеобщий, условно-постоянный, который бы «признали все до единого». «Порядок» этот назван в летописи «нарядом»: «Приидите, сказали новгородские посланцы варяжским мелким князьям, володеть и княжити над нами. Земля – бо наша велика и обильна, а – *наряда в ней нет*¹. Тот «порядок», какой новгородцы видели как у варягов, так и в Византии, они называли «нарядом», без сомнения по впечатлению «красивого зрелища», какое являет собою вообще упорядоченная, правильная, единообразно-текущая жизнь, сравнительно с течением разрозненным, в разные стороны, направленным один день «так» и другой день «иначе», в одной семье, улице или городке по такому-то «ладу», а в другой семье, улице и городке по совершенно иному «ладу» и «складу».

Так и пошло «начало Руси», начало «русской истории». «Как начала быть и откуда пошла есть Русская Земля»... Нельзя не отметить глубоко-прекрасного смысла этого «начала Руси»: всегда и во всех историях первым толчком к образованию у себя гражданского порядка, вообще чего-то вроде «государства» и «государственной власти» – служили без исключения воинственные намерения, более или менее разбойного характера. Как «напасть» или каким образом «защититься» – это и было мотивом к возникновению «княжеств», «государств», «царства». «Самый смелый и хитрый разбойник», «*атаман*» в разбойниках и становился «князем», «королем» или «царем». Лучший образец этого – *Рим*, образец вообще начал государственного строительства, образец вообще – течений исторических. Было поистине прекрасно «начало Руси», безоблачное, безбурное, бесшумное. «Когда солнышко всходило – даже и незаметно было ни для кого», – а «когда оно взшло – уже день начался», и вот все начало Русской истории.

И – начало Русской литературы. Буквально, русская литература начинается из столь же безвестных источников, как и наша история: так же – ночь, сумерки раннего утра, и вот – солнышко начинает прорезывать тьму. *Город* Новгород уже стоит, построен, ранее «призвания князей», а сказки рассказываются, песни поются, пословицы складываются и поговорки шутятся именно у звероловов кривичей, древлян, полян и т. д. Все это «разговорные» начала Руси, все это «говорные начала Руси», и тут уже не было «никакого призвания князей», все это было еще бесшумнее, еще тише, еще незаметнее. И, вместе с тем: еще – фундаментальнее. «Говор», уличная речь,

речь базара, речь охоты, речь рыбной ловли, – заунывный плач на похоронах – все это является полным составом «литературы» в том предрассветном сумраке истории. «Говор», «слово» – есть орган литературы; он орган ее – в тонах, в интонациях, в певучести, ласке, нежности. Наверное, у римлян не было вот этих указываемых оттенков. Их твердые супины, их повелительные герундии – все говорит о воле, о приказании народа, и в самом деле раскинувшейся на весь свет власти, но у которого «золотого слова» не вышло в литературе, литература которого всегда была коротка и груба.

Славянские же певучие говоры, заунывные тягучие песенки и весь «зимний сон» сказок предвещал литературу из чистого золота; как и странное «призвание князей» из-за моря говорило о народе безвольном, бесхарактерном, не могущем «управиться с собою» и учинить у себя «свой собственный наряд». Говорит о народе пассивном, мягком, «зазевывающемся» при зрелище другого народа и всегда готовом побежать и «сделать *так же как он*».

«Начала истории» как-то «одевают шапку» на все последующее течение ее; как «говоры базарные и уличные» – слагают душу литературы, ее интимное, ее заветное.

После «начала Руси», которое было и вышло из Новгорода, при Владимире «Красном Солнышке» произошло в Стольном городе Киеве – *крещение Руси*. Опять же факт, столь же царственный, государственный, – наконец факт столь же религиозный, как слиянно и литературный. И в мотивах одного факта, Новгородского, и другого факта, Киевского – лежит опять один и тот же мотив: красота, зрелище, вид: «Стоя на богослужении в Святой Софии Цареградской – мы не знали, находимся ли на небе или на земле»².

И вот совершился второй акт «пришествия Руси в себя» или вернее «одеяния Руси в свой образ»: после «наряда», в каком мы живем и ходим, – одела Русь «наряд», в каком она молится.

И факт опять же слиянно и *литературный*. Отсюда, от Киевской Руси взамен «звериных обычаев», какими красилась или какими безобразилась Новгородская Русь, – потекут с 988 года тихие и кроткие описания «житий» сперва греческих «угодников», а потом и русских «угодников»; потекут «патерики» и «поучения». «Како надо ставить правду Божию на земле», «како надо править правду Божию в душе». «Из грек» полился совершенно иной свет в душу русскую, в душу славянскую, нежели «из варяг»: все море, весь океан и древних античных, а главным образом – новых христианских волнений, впечатлений, переживаний, опытов, размышлений – стал

входить и стал овладевать душою неопытною и впечатлительною, как воск. «Возсиял свет разума». И первые – монахи, они же, правя службу церковную, записали и начала гражданской Руси, «как пошла есть и откуда начала быть Русская земля».

Литература вся стала церковною, по единственным источникам самого бытия ее. Все залилось переводами, переводами с золотого греческого слова, золотого и по форме, по чекану, золотого и по содержанию, по духу. «Златоструй», «Пчела», «Изборник», «Измарагд»³, все говорит о себе уже самыми заглавиями своими; все говорит и о тоне благоговейного слушания, с каким внималось слово поистине небесного слушания. То, что испытывали посланцы Святого Владимира, стоя на службе Святыя Софии Цареградской, то самое испытывали русские читатели тех древних книг с медными застежками и в почерневших переплетах. «Не знаем, читаем ли мы слово человеческое или слово – Ангельское». «Книга та – с Неба, и все это премудрое Божие научение».

Все старое, новгородское, языческое – начало устыжать человека самую возможностью внимания к нему. Поразительное «Слово о полку Игореве», – произведение, каким-то чудом сохраненное и пронесенное через все века русской истории, но уже по единичности экземпляра найденного – явно целые века не читаемое, не находившее к себе интереса, пренебреженное – являет собой хотя памятник Киевской Руси, но еще почти киевско-языческой.

И вот все переносится в Москву. Переносится от отсутствия того «наряда», какой спал с Руси в ее удельно-вечевой период и недостаток которого заставил новгородцев «призвать князей». В сущности – «много князей» – то же, что «нет князя», нет «Большого», нет «Набольшого»: и переход Руси на недолго в Суздаль, во Владимир на Клязьме и затем быстро – в Москву, есть незаметно и вторично опять же «призвание князей»: «бо (ибо) наряда на Руси нет» или «опять не стало».

Уже это перенесение центров исторической жизни, перенесение культуры, – знаменовало многое; как и последовавшее потом перенесение столицы еще раз в Петербург Петром Великим. Перемена *места*, перемена *жилища* знаменует собою отсутствие большой *крепости* к земле, большой *тяги* земной, тяги планетной и, до известной степени – легкомыслия человека. Славяне не жили *родовою жизнью*, вот в чем дело; и они не так глубоко *вросли* (так у Розанова: от «рост». – Т. П., А. Н.) в землю, *гнездились* в земле. Эта птица не вьет такого *большого гнезда*, эта птица – *поменьше будет*.

Вот, пожалуй, печальные предвестники и *конца* истории, если мы действительно переживаем уже таковой конец, а, во всяком случае – ее зыбкого, колеблющегося течения, течения не столь твердого и массивного. *Родовую жизнь* жили только твердины истории; твердины, до некоторой степени, планеты: евреи (двенадцать колен Израилевых, сохраняющиеся от Авраама, Исаака и *Иакова* с двенадцатью его сынами, до настоящего даже времени); греки (их *филы*), римляне (трибы, курии, *patres*, патриции⁴), германцы («родовой быт германцев», описанный изначально Тацитом⁵). Таковые «роды» пирамидально, вершиною книзу, корнем книзу, вростают глубоко в землю и питаются из более глубоких слоев ее, из более горячих слоев ее, питаются жизненнее, сильнее. Не только земля, в смысле мистическо-жизненном, нужнее для них; но в странно-мистическом смысле, в космогоническом смысле, и они как-то и в каком-то значении – более нужны для мира. Здесь последняя разгадка принадлежит концу времен, о котором мы смеем только трепетать, но не смеем размышлять. Очевидно, однако, что в русской истории содержится интерес, но не содержится значительности, по крайней мере столь исключительный, как в евреях, эллинизме и романтизме; наконец – как в германизме, увы... Что же было у нас вместо «родового быта»? начало – «ватажное» (ватага), соседская, которая распадается на добро-соседское и злобно-соседское; общинное; артельное; казацкое. Действительно, те в сущности «общины новгородские», которые, подумав, «призвали себе князей», – «порядка-бо у нас нет», эти же самые общины вылились в XV-м, XVI, в XVII веках на Юге России в форму «казачества», – пожалуй, с заветом или мыслью – «бо (ибо) порядка и *не надобно*». Вообще тут выразилось некоторое «побродяжничество Руси», как племени, не очень драгоценного для планеты, и которое она держит на себе, но с которым особенно не связано. Питает, хранит, но не вынимает из чрева.

Москва есть устоя русской истории; если бы представлять себе всякую историю, как *мост*, по которому народ переправляется куда-то, переправляется приблизительно в *вечность*, то Москва ее главный опорный *бык* такого моста. Здесь Россия сделала наибольшие усилия *сосредоточиться, утвердиться*, почти – *обдумать себя*. Она стала растить *царскую власть*, которая отстояла Русь, от края и до края, и от корня которой Русь вся питалась, тоже от края до края. Царская власть есть духовное и личное осмысление всей Руси, и ничего здесь не деля, а только целебно соединя и совмещая, мы бы повторили народное и благодатное народное слово: «как на

Небе – Един Бог, так на Земле Един Царь»... И продолжили бы и развили эту мысль, досказав, что «как на Небе Бог устанавливает *миропорядок*, – так на Земле Царь устанавливает *землепорядки*». Русь получала в царской власти то, чего ей недоставало в родовом быте: земле-прикрепление, плането-прикрепление. Русь с царской властью начинала тверже держаться на планете, больше «светиться в подсолнечной» – «Ах, вот где мы нашли *себя*»: и Русь распоясалась и села.

Именно – села, утвердилась и вросла. Самостоятельный, большой русский мир. Начало цивилизации, самобытности, оригинальности.

«Василий Блаженный», как никакая церковь на земле; «кремлевские терема», как никакие терема на земле; «грановитая палата», как опять никакая палата на земле; «батюшка Грозный», как тоже никакая царь на земле. И – «лобное место», чтобы казнить супостатов.

Крепкое место, сильное место. Но, крепясь, – надо было крепость разливать на всю Русь; надо было ее ожелезывать всю. Тогда как Цари – и, добавим с любовью и благодарностью – «батюшки наши, цари и благодетели наши», – ее скорее разрыхляли. Именно – из *рода царского*, от *корня царского* надо было начать *пускать корни, крепить сословия*. Укрепляться не только *лично и самому*, но укреплять свою *державу и державство*. Этого-то и не было сделано. Безумная борьба Грозного с дворянством, борьба наконец со Святыми, с церковью (судьба митрополита Филиппа⁶; судьба Адашева⁷ и Сильвестра⁸; судьба князя Курбского⁹), – все это похоронные этапы Руси; все это – грозные предвестники разложения Руси. Все это было «скрепление Руси», но с таким «наоборот», при котором все целебное как-то пропало, испарилось.

Порок, грех, судьба. Нужно же было, чтобы Грозный лично так несчастно воспитался. Что это – «случай»? Да, «случай». Невозможно совершенно исключать «случай» из истории. Мы впоследствии, в отметках о смерти Пушкина и Лермонтова, повлиявшей на ход и судьбу всей русской литературы, – будем иметь возможность отметить еще два «случая» и повторить вопрос, какой задаем себе сейчас: имеет ли *право* «случай» влиять на историю и, так сказать, изменять мировые гороскопы? Как смеет «случай», нечто мелькающее, нечто именно «случайное», т. е. мизерабельное по смыслу и физиономии, с лицом не то старушонки, не то мальчишки, «выросши из щели», из «дыры» и «небытия» – касаться тронов и весов

судьбы? И горестно должны ответить – «да, может»: «случай», который «не смеет», на самом деле: – «Да, смеет»... Бездонности небес никто не исчерпал.

«Порок», «случай», «несчастье» и «грех» в воспитании Грозного, не уравновешенные другими ослабляющими влияниями, не уравновешенные благородством и великодушием самого боярства, а также – благоразумием и осторожностью последующих Государей, – заставили его почти истребить боярство, засушить и попалить огнем тот «подлесочек», из которого сама царская власть брала себе сослужение, черпала соки и помощь. Работник, главный работник рубил у себя руки и ноги. Громадное дерево, Райское дерево – царская власть, – стало расти одно, одиноко, без леса; начало огрубляться, одеваться коркою, черстветь, червиться. Вместо «Райского дерева» начал расти «могильный гриб». Нет «Государя» без «благородного дворянства»; как не может быть «полководца» без «храбрых солдат» и «службы доблестной» без «честных сослуживцев». Словом – «Царь был», но он – «не одел себя порфирию», а «порфира царская» – это «люди царственные».

Когда мы в последующее время увидим яростные порывы интеллигенции взять себе «всю власть», мы увидим, как «царская власть» в сущности и погибла оттого, что вовремя и благоразумно не сумела окружить себя защитным лесом. Интеллигенция, в муке на дворянство, в злобе – «почему оно – не дворянин», рвала последние клоки его, вырывала «свиным рылом» последние корни того дуба, который начала шатать царская власть. А когда, в одиночку и в борьбе, встретился «интеллигент и царь», то интеллигент сбросил царя с перил моста, как более молодой, как более сильный, как менее стеснявшийся в средствах борьбы, как более злодей и разбойник и вообще – как менее воспитанный человек и более преступный тип. Но все это настало потом и к нашим временам. Все это уже открылось к «вершине пирамиды», которая «разрушилась».

«Золотого царства» не бывает без «позолоты всех вещей». И царю, укрепясь, надо было сейчас же золотить все вокруг себя: украшать людей, а не унижать людей, украшать и возвеличивать сословия, а не гноить и не гнать их; надо было сейчас же воздать труду, ремеслу, таланту в ремесле, торговцу, фабриканту. Надо было рыхлить почву подо всем, а не иссушать ее подо всем. «Царству» надо было разрастаться в «царский сад», а не в «царское уединение». И, словом, тут встретился тот же «грех» и «случай», встре-

тился в сущности «личный недостаток», который как «обойти» и как его «избыть». Разве Адам не был прекрасно сотворен Богом? Но что-то «случилось»...

Русская история как-то неполна, и менее всего она полна тем, что не выработала она в себе крепкого сословного строя; гордого сословного слоя; самобытного сословного слоя; соперничающего сословного строя. Она виновна и слаба тем, что не развила в себе вихревых эгоизмов, твердых «я», могучих «я»... В противовес «дворянству», в Германии выросла «Ганза»¹⁰ и союз «ганзейских городов». «Короли» соперничали с «рыцарством», – и «освободить Иерусалим» ходили не только «Людовик Святой», но и «Готфрид Бульонский»¹¹. Вот как дела делаются. Всякая планета имеет *свое притяжение*, притяжение – *в себя*; центр вращения вокруг *своей оси*, именно – *своей*, именно – *исключительной*. Так творится *настоящая история*, творится на вращательных *вихревых эгоизмах*, которые не покоряло бы Христово смирение:

Удрученный ношей крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде Царь Небесный
Исходил, благословляя...¹².

Увы, история вообще есть *языческое* явление... И кто хочет очень «поклониться Христу», не должен приниматься за «дела истории»...
...«Victoria! Victoria»... «Nixη! Nixη!»... «Побеждай». – «Триумф». Это также свет истории, по крайней мере – это также *толчок* в истории, как и другой «Христов свет» и Христово поползновение...

Москва, от всех стран столь удаленная, уже жила менее подражательно, чем Новгородская Русь и чем Киевская Русь... Более уподобилась она Востоку, филигранному Китайскому царству, особенно Батыеву царству и особенно понимаемой и воображаемой Византии... Мня быть похожею на все сии царства, Москва была похожа только на себя. Со своей большой пушкой. Со своим большим колоколом. Со своим исключительным «красным звоном». И «завонила ты, Матушка, весь мир», и зачаровала весь мир...

Очарование кончилось, когда обнаружилась слабость – Петр Великий. Напор западных держав. Швеция, Польша. Стрелять не умеем. Стрельцы бунтуют; стрельцы – слабы. Требования военного строя, который стреляет из ружей, а не из «пищалей». И вот – вся Россия преобразована, и под молодым царем – поскакал молодой конь в безбрежность, в неизвестное...

И – новая литература, совершенно новая... Она вся вспрыснула, вскочила. «Помощь – империи! Помощь – молодому царю!»... Помощь – особенно в преобразовании. Как стар Стефан Яворский¹³, как молод Феофан Прокопович¹⁴. Все вообще разделилось на *старое* и *молодое*, и если в России «сословий» собственно не было, то их теперь заменили сословия «молодого поколения» и сословия «старого поколения», которые на Руси стали соперничать, как в Германии «рыцарство» и «Ганза»...

«История русской литературы» от Петра Великого и до могилы русского царства есть явление настолько исключительное, что оно может называться «всемирным явлением», всемирною *значимостью* – независимо нисколько от своих талантов... Может назваться таким явлением в силу, так сказать, своего «гороскопа». Еще никогда не бывало случая, «судьбы», «рока», – чтобы «литература сломила наконец царство», «разнесла жизнь народа по косточкам», «по лепесткам», чтобы она «разорвала труд народный», переделала «делание» в «неделание», – завертела, закружила все и переделала всю жизнь... в сюжет одной из повестей гениального своего писателя: «Записки сумасшедшего».

«Литература» в каждой истории есть «явление», а не *суть*. У нас же она стала *сутью*. Войны совершались, чтобы беллетристы их *описывали* («Война и мир», «Севастополь», «Рубка леса», «Красный смех» Леонида Андреева), и преобразования тоже совершались, но – зачем? Чтобы журналисты были несколько тоже удовлетворены. Если «освободили крестьян» – то это Тургенев и его «Записки охотника», а если купечество оставили в презрении – то потому... что там было «Темное царство» Островского, и нужно было дожидаться времени, когда они преобразятся в новофасонных декадентов. Цари как-то пошли на выставку к Пушкину, Лермонтову и Жуковскому или попали под презрение Максима Горького и Леонида Андреева с его «Семью повешенными». Наконец, даже святые и праведники церкви рассортировались в старцев Зосим и Ферапонтов Достоевского или пошли в анекдот «Мелочей архиерейской жизни» Лескова... Это так сделалось напряжено парами, литература до того напряглась парами, что, наконец, когда послышалась ломка целого корабля – все было уже поздно... Поздно поправлять, поздно целить, подставлять пластырь корабельный: Россию разорвало, разорвала ее литература. И когда еще не произнеслись выкрики, испуги – на месте чего-то, что «было», – заплывали осколки досок, завертелись трупы, кровь, все захлебнулось в пене, буре, зловонии смерти.

«Литература», которая была «смертью своего отечества». *Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться.* Но между тем совершенно реальна эта особенность, что «ни одной полочки корабля» и «порчи машины» нельзя указать без ее «литературного источника». И к «падению Руси» нужно и возможно составлять не «деловой указатель», а обыкновенную «библиографию», указатель «печатный», «книжный», перечень «пособий в стихах и прозе», в журнальных статьях и в «хрониках внутренней жизни». Работа кропотливая, изнурительная. Но если бы новый Тэн¹⁵, эмпирик и реалист без всякой особенной философии, вошел в Императорскую Публичную Библиотеку со словами: «Покажите мне, пожалуйста, отдел русской журналистики и русских газет, начиная с *Отечественных Записок* времени еще Белинского и затем Щедрина и Некрасова, и *Голоса* со времени Краевского», – будто бы *это и есть* источник к развалинам нового Карфагена: то, порывшись достаточно, прорывшись всю жизнь, он вынес бы *resume*:

Каким образом величайшая благожелательность, прямо «Христианские чувства» – правда, без упоминания имени Христова, – и вечное служение родине, – только родине, – народу и только народу, – но не с забвением и универсальных задач человечества, и вообще всего гуманного просветительного, школьного, – каким образом целый век служения «Литературе и жизни» (очень замечательное название на этот раз гениальных – именно в *удаче названия* гениальных статей Михайловского) привело именно к тому, что все «провалялось, погигло», – и от России столько же осталось, сколько после закончившей дневную атаку броненосцев, – ночной атаки миноносцев осталось от знаменитой эскадры адмирала Рождественского¹⁶ в Цусимском проливе...

Как это могло случиться в Государстве величавом – от действия писателей презираемых, гонимых, цензурируемых, за которыми глядело «сто глаз», с которыми «не церемонились», которых почти вешали, для которых были заготовлены специальности вроде Петропавловки и Шлиссельбурга, которых едва не «драли», да кажется и «драли», потаенно и некоторых... И которые вообще приняли на себя Голгофу долготерпения...

Вот *кто* им помог... Бес или Бог... «Христа не надо, «имя Его ненавистно», – но ведь в тайне и в сердце – это же выше Нагорной проповеди и привлечения «чистого сердца» на «алтарь отечества» нашей хмурой и несчастной Руси... нашей лютой и холодной Руси, с обдираемым и кровенящимся народом... Вообще, что выше свя-

ценного служения Человечеству, сироте, бедняку? Все языческое, грубое, жестокое – этого не надо... Все повелительное – о, не надо этого... Мы так измучились, измучены... Голгофский страдалец – это Россия, это мы...

О, не надо Христа, вообще этих суеверий – не надо. Мы соединим величайший позитивизм, полную трезвость взглядов, – полную реальную научность – с тем, однако, что с Голгофы потекло в сердце человеческое, утешило и облагородило его, возвеличило и истончило... что есть самое гуманное, эфирное, о чем человечество, как о недостатке своем, всегда рыдало... Мы добавим к этому нашу русскую раскаянность, это чувство греха, – мы не будем гордыми, самолюбивыми, тщеславными... Мы поиграем и в карты, как «Рыцарь на час¹⁷, плачущий над могилою своей матери, и поленимся, как Обломов, надевающий три дня одну туфлю... Кто не грешен, кто Богу не грешен... Но мы – люди, но – золотое русское сердце... И вот последняя книжка журнала, которую Белинский требовал, чтобы ему положили ее под голову в гроб, когда его тело в плохом сюртучишке положат в гроб же перед тем, как отнести на мокрое Волково кладбище... Бр... – какое название... В России даже гробницы волком воют и все дожидаются, когда честный человек умрет, по слову поэта.

У счастливого – недруги мрут...

У несчастного – друг умирает...

О, о, о...

Цусима, взрывы...

Мелькание огней в холодном море...

И этот жалкий Рождественский, отдающийся в плен дикому Ояме¹⁸, в отвратительном морском мундире, японского фасона: «Возьмите, генерал, мою шпагу». «Сам я ранен, и у меня перевязки»...

Ояма приказал не тревожить больного и окружить его цветами... Прекрасными японскими хризантемами окружить подушку страдальца при Цусиме.

Мне как-то пришлось прочесть, кажется, даже два раза, о том, как умирал беллетрист Каронин, – беллетрист и отчасти публицист, – приблизительно семидесятых или восьмидесятых годов прошлого XIX-го века. Ничего *его* не читал, и, кажется, нечего было читать: он всю жизнь трудился и не написал ни разу ничего выразительного, значащего. Все «общие места» и все «то же»... И вот – он умира-

ет: и перед смертью у него прошептались слова до того поразительные, что – тогда же мелькнуло у меня – их следовало бы вырезать надгробием всего *этого течения* русской литературы. Смысл их заключался в том, что выше русской литературы, и вот именно в этих *мелких ее течениях*, в *течениях незаметных*, не было ничего в целой всемирной литературе, и именно – по служению народу и человечеству. Что это было – одно *служение*, одно *бескорыстие*, одно – *самоотвержение*. Не помню слов: но слова (у умирающего!) были так прекрасны, ровны, не возбужденны, не истеричны, от них веяло таким прекрасным веянием и могилы, и вечности, такую готовностью «пойти на Страшный Суд» и рассудиться «хоть с Самим Богом», что в душе у читающего оставалось впечатление полного умиления, полного восторга. Белинский был все-таки знаменитый критик, знавший свое значение для всей России, и в словах его «о книжке *Отечественных Записок*, которую кладут ему в гроб», могло быть и самообольщение, и гордость собою, заслугами своими перед литературою, да и перед всею даже историческою русской жизнью. Он был Карамзиным русской критики. Но *этом?.. ?.. – Ничего*. Прополз как клоп по литературе, кого-то покусал обличительно, но даже городской не оглянулся на «укус». Таким образом он сказал не *о себе*, а *о всех нас*, вот таких же журнальных страдальцах, живших впроголодь, и все строчивших и строчивших, и все обличавших и обличавших, все «боровшихся со злом грубой жестокой действительности»... И вот он выговорил, что этого «обличения» и всей его скорби не выше Шекспир, не выше и Гете и Шиллер, не выше Байрон с его громами и молниями... «Выше ли?.. А в *самом деле* – не «выше», как толпа «мучеников христианства», выведенных в цирк на борьбу со львами, на сражение со львами, причем самые имена их никому не ведомы, до некоторой степени выше проповеди всех Апостолов, которые «глаголом жгли сердца людей», которые если и пострадали, то за то и велики. Прославлены. И вообще, с них началось «Новое Небо».

Бывает, что пыль земная – священнее звезд. Это – пыль усталого человечества, протоптанная ногами в ранах, в болячках, да и просто пыль от *очень усталых ног*. И Каронин сказал именно, что следует. Что пусть западные литературы более блистают, чем наша, талантом, – что пусть их заливают гений, и что «пусть никто у нас не может сравниться с Вольтером остроумием и с Байроном дерзостью: но что все это – в золотых странах Запада и настоящего просвещения, а вот они «потерли бы лямку у нас, в этом тусклом

погребу, где не на кого и оглянуться, и вообще где «заедает среда», и где все такие исправники, что даже «хуже Думбадзе»¹⁹ и можно сказать «прямо Гершельманы»²⁰.

Не знаю. Не умею выразить. И даже не хочу выражать. Но что «сапоги выше Пушкина», – притом *действительно выше* и священнее, святее его – показала и *доказала* впервые русская литература вот этого особенного течения и направления... Позвольте: но уже не я и не *Каронин* сказали, что Лазарь в *ранах* выше Давида, играющего псалмы на арфе, выше Соломона в его убранстве одежд, и что вообще *последний* в Царстве Божием – выше Авраама с его плодущим лоном... Таким образом «Пушкин» и «сапоги» далеко не впервые прозвучали во всемирной истории, и выдумала эти слова вовсе не русская литература... Есть *вечная истина*, когда «сапог» действительно выше Аполлона, играющего «на цитре». Это – пот, страдание, подвиг. Вот Он. Голгофский Страдалец сказал. А русская литература вся превратилась в Голгофу от Шлиссельбурга и от Гершельмана.

...Я так говорю, потому что вижу пирамиду уже с *вершины* тысячелетия, когда «Голгофа» сорвала шапку с русского царства, истерзала порфиру на русских царях, которые, увы, все не были «Лазарями», а – теми «богатыми» и «жившими во дворцах», которые в час гнева и суда попросили у нищего Лазаря несколько капель холодной воды на язык... ..«О, будет суд, о – будет *терзание*»...

Но есть и *Божий суд*, наперсники *разврата*...

Этот «суд русской интеллигенции над своею историею», – имевший в сердцеvine суд литературно-образованный, суд журнально- и газетно начитанного *общества* над тою же историею, закончился скандальным шепотом германской полиции: «сколько же вам следует миллионов, бильонов талеров уплатить за продажу своего отечества, за уступку провинций ваших, за развал вообще всей России: раскалывание которой, щели которой мы давно видели, и на них рассчитали победу военную и политическую, после того, как давно, уже с Петра Великого и Екатерины Великой, с Александра I и Николая I-го, с Александра II-го, культурно, идейно, научно, университетски, школьно, административно, законодательно, судебно, медицински, аптекарски, фабрично, заводски, торгово, по отделу страхования и банков постепенно овладели и давно и крепко всем овладели в России»? – «Деньга *счет любит*» и «даром мы ничего не берем, хотя бы вы и отдавали в рабство нам свое отечество совершенно задаром»...

«Вот счетные книги Германского Имперского банка: и сверх того, Германия имеет всемирно-необозримый кредит».

И Грановский, Белинский, Станкевич, люди совершенно чистые, люди страдальческие и жертвенные, и Некрасов, Щедрин, люди уже иного разбора, Бакунин и Кропоткин, а, главное, в глубине за всеми ими всадник, поскакавший «в Берлин за наукою» с Сенатской площади, вдруг почувствовали бы вар горячего золота, вар расплавленного золота, вар банковского золота – вар Иудиного золота, – за великое историческое предательство...

– Кипи, окаянный Иуда, в золоте... Ты был окаян в земле своей. Ты мнил себя *святым*, «жертвою», *замученным* и *праведником*... Но, поистине, слова проходят, а дела остаются... Дело же твое, уже с чудного гения, озарившего все на Востоке, прискакавшего к нам с Востока, принятого нами как гость с Востока, – было отвратительно и предательно.

Не смеет Царь предавать Царство, ему врученное Богом, врученное как ветвь Сада Эдемского, как Ветку Дерева Жизни... Он не имел ума как простой японский микадо, как рядовой японский микадо, *преобразовать свое отечество*... С ручищами Исполина, он бил бедную Россию, бил бессильную Россию, уже и без того забитую «Грозными» царями Московского периода, обухом в темя, обухом в затылок, обухом по шее. Бил и – *убил*... Его назвал народ «Антихристом» и было что-то вроде этого... От «Антихриста» пошел «род Антихристов», «порождение Антихристово, племя Антихристово, поколение Антихристово»... Были и праведники, вас исправлявшие, вас предупреждавшие: но *грех*, врожденный вам, был сильнее их праведности. Горсточка и в образованном классе примкнула к этим праведникам земли русской: Это – славянофилы, славянофильство. Но они все были бессильны. Они звонили в колокольчики, когда в стране шумел набат. Никто их не услышал, никто на них не обратил внимания. Когда уже все крушилось, пирамида падала, царство падало, когда поднялась Цусима одного дня, о всех этих предупреждавших Катковых, Леонтьевых, Гиляровых-Платоновых, Данилевских, Страховых Аксаковых, Хомяковых, Киреевских²¹ – даже не вспомнили, даже не называли ни разу их имен. Они были вполне – *могилы*, вполне *могильны*... Нельзя всех назвать. Были еще Флоренский, Эрн, Булгаков, Рцы-Романов, Пл. А. Кусков, Гильфердинг, Востоков²². Это алтарь. Растоптанный алтарь.

Все растоптанное поистине растоптано и не достойно даже памяти имени. История есть все-таки история дел, а не жалкая хро-

ника мнений. Песок пустыни, песок забвения – вот его участь. «Забудьтесь» – и никакого глагола еще.

«Triumph, triumph, Mars, Mars... Иди же ты, Вильгельм: и заканчивай похороны Руси. Которая языками восторжествовавших наконец социалистов облизывает твои фельдмаршальские руки. Справляй триумф, Вильгельм, и длинный ряд Вильгельмов и Фридрихов: ты победил восточного Ивана-Дурака».

Что же случилось? В конце концов как же все *произошло*. История есть слово о *происшедшем*. Я говорю о *resumé* русской истории, о *resumé* и хода ее литературы. Началось все очень радостно, с Петра, с Кантемира, с Фон-Визина, Ломоносова, Княжнина, Хераскова, Хемницера, с прекрасного Державина.

Восторг внезапный ум пленил –

в этой строке, в этой исключительной по наивности и по чистоте сердечной строке – выражается в сущности вся русская литература XVIII века, литература Петра, Елизаветы, его «дщери», и двух Екатерин, счастливой и несчастной, и кровавой Анны.

Утихающий «восторг», но все-таки восторг, что-то крепкое и славное, держится в Батюшкове, Жуковском, Языкове, Пушкине.

Это солнце-стояние русской литературы. Это – ее высший расцвет, зенит. Эдем ее. Все сияет невыразимую, независимой: красотой: и Смирдин оплачивает червонцем каждый стих Пушкина. На самом деле если бы Николай не был таким тупым остзейским императором и петербургским бароном, он призывал бы каждый день Пушкина поутру во дворец и, спросив: «Писал ли ты что сегодня ночью, друг мой, сын мой, – мой *наставитель*», – целовал бы, в случае «написал», руку у него: потому что все его глупые и пошлые воины не стоили:

Прибежали в избу дети,
Второпях зовут отца...
Тятя! тятя – наши сети
Притащили мертвеца.
Врете, врете, бесенята...

Но – солнце не стоит... Близится вечер, близится ночь. Зима и осень близкие, увы для всякой истории. Мы, русские, считали себя бессмертными. Страшно, дико: но проживя *тысячу лет* – мы все

еще считаем себя «молодыми», «молодой нацией». Мы в сущности, были глуповатой нацией, и еще мы ничего вообще не сделали, не совершили в Подсолнечной – и в этом заключалось все право наше на «молодость»: мы были развращенные старики-мальчишки, с скверными привычками, со скверными пороками.

Взвилась звездой не то утренней, не то вечерней узкая лента поэзии Лермонтова, что-то сказочное, что-то невероятное, для его возраста, для его опыта: взглянув на которую черный гном Гоголь сказал: «Я тебе покажу, звездочка»...

И вот все рушилось.

...в *безнадежную* бездну хаоса.

Причина – семинаристы, тупые, злые, холодные. Равнодушные ко всему, кроме своей злобы. Напрасно Герцен приезжал к ним увещевать, что он «тоже социалист» – «социалист, да *не тот*»... «Ты – *барин, барское отродье*, и твой отец драл наших отцов, когда они были еще не дьячками, а его *крепостными* мужиками». Поднялась черная сплетня о том, кто кого «драл» и «кто дольше сидел в Шлиссельбурге». Весь воздух огласился криками: «Нас били и еще *продолжают бить*», «нас унижали и еще *продолжают унижать*».

Вся русская история стала представляться или была выставлена как гниющее пороков и преступлений, которое чем больше кто ненавидел, тем он казался сам пророчесственнее, священнее... Собирались уже «Самуилы», которые должны зарезать «царя Агага»...²³ Кровью дышала вся страна... «Кто-то должен *пасть*», «кто-то должен быть убит»...

– Голгофа! Голгофа!

Доблестные сыны Туснельды ждали... Сыны старой, верной Германии... Наивной, не очень умственной, простой. – Сыны «Германа и Доротеи», образ которых создал старец Гете.

В сущности, чем же *превозмогла* Германия Россию? В составе *громмады*, – в *целом*? Как море людей, как «шапками закидаем»?

Благородством.

Выживает *наилучшее*, сказал Дарвин.

И «пирамида» рассыпалась по *достаточному нравственному основанию*, как сказал бы Лейбниц.

И еще, и еще – уже немного слов: где же наш *оригинальный* труд в истории? В истории Россия всегда обнаруживалась *слабой* нацией, как бы слабо *отпечатанной* на космическом печатном станке. Как бы не ушедшею глубоко ногами в землю – поверхностною. Что за странная жизнь, – жизнь «впечатлениями», жизнь «подра-

жаниями». Между тем, от «призвания князей» и до «социал-демократии» мы прожили собственно *так*. В объеме *подражательности* и *ряда* подражательностей уместается объем всей русской истории. Мы – слабо оригинальная страна, не выразительная. Именно – не сильный оттиск чужих произведений. Далее – гибель от литературы, единственный во всей всемирной истории образ гибели, способ гибели, метод гибели. Собственно – гениальное, и как-то *гениально-урожденное* – в России и была только одна *литература*. Ни вера наша, ни церковь наша, ни государство – все уже не было столь же гениально, выразительно, сильно. Русская литература, несмотря на всего *один только век ее существования* – поднялась до явления совершенно универсального, не уступающего в красоте и достоинствах своих ни которой нации, не исключая греков и Гомера их, не исключая итальянцев и Данта их, не исключая англичан и Шекспира их и, наконец – даже не уступая евреям и их Священному Писанию, их «иератическим пергаментам». Тут дело в самоощущении, в душе, в сердце. Тот век, который Россия прожила в литературе *так страстно*, этот век она совершенно верила, во всякой строчке своей верила, что переживает какое-то священное писание, священные манускрипты... И это – до последнего времени, до закрытия всех почти газет, вот до рокового 1918 года, когда каждый листочек «Утра России» или «Социал-Демократа» еще дышит полным вдохновением: «у меня одного – правда». Это, конечно, экстаз. Когда «дряхлый старик» – (слово пропущено. – *Т. П., А. Н.*).

Это его конец и правда. Развратный старик. Так ты и погиб. Но погиб пророчественно и великолепно, от Пушкина до Лейкина, не отняв смычка от струны.

Сам заслушался...
И когда все уже горело...
Алтари падали как в Карфагене...
Римские воины ломились в стены...
Ты слушал и слушал, великолепный певец.
Ты был небесен только в слове.
И – это небо тебя раздавило.

Примечания

¹ Здесь и далее Розанов пересказывает и цитирует (часто неточно) «Повесть временных лет».

² Имеется в виду эпизод «испытания вер Владимиром» из «Повести временных лет».

³ Распространенные в Древней Руси сборники поучений и слов на темы христианской морали («Изборник», «Златоуструй», «Измарагд»), переводных текстов изречений и кратких исторических анекдотов («Пчела»).

⁴ Фила – родовое деление жителей древней Аттики. Трибы – первоначальное родовое, а затем территориальное деление римского народа. Патриции – коренные граждане Древнего Рима, принадлежавшие к родовой аристократии. Курия – совокупность нескольких родов, являвшаяся одним из гражданских подразделений древнеримских общин.

⁵ Тацит – древнеримский историк периода ранней Империи. Родовой быт германцев был описан Тацитом в труде «Германия» (около 98 г. до н.э.)

⁶ Филипп – митрополит московский и всея Руси (в миру Федор Степанович Колычев (1507–1569). Был задушен в монастыре Малютой Скуратовым.

⁷ Адашев Алексей Федорович – окольничий царя Ивана Грозного. Был заключен под стражу в Дерпте, где и умер. Адашев Даниил Федорович – военачальник. В 1561 году был казнен по приказу Ивана Грозного вместе со своим тринадцатилетним сыном.

⁸ Сильвестр – священник московского Благовещенского собора, политический и литературный деятель XVI века (автор одной из редакций «Домостроя»). Вместе с А.Ф. Адашевым и митрополитом Филиппом входил в круг наиболее приближенных к Ивану Грозному советников. Попав в опалу (1560 г.), удалился в Кирилло-Белозерский монастырь, где и умер.

⁹ Курбский Андрей Михайлович (предп. 1528–1583), князь, – политический деятель и писатель, сподвижник Ивана Грозного. Во время гонений на сторонников Сильвестра и Адашевых, опасаясь расправы, бежал в Литву, где поступил на службу к польскому королю Сигизмунду-Августу. Автор «Истории князя великого Московского...», четырех писем к Ивану Грозному и других произведений.

¹⁰ Ганза – торговые товарищества немецких купцов за границей, возникшие для взаимной помощи и защиты. С той же целью заключались договоры и между собственно немецкими городами. В 1367 году был основан Ганзейский союз, просуществовавший до 1669 года, после чего наименование «Ганзейские города» сохранилось лишь за Любеком, Гамбургом и Бременом.

¹¹ Людовик IX Святой (1215–1270) – французский король, один из самых деятельных участников и вдохновителей Крестовых походов своего времени. Готфрид Бульонский (около 1060 – 1100) – герцог Нижней Лотарингии, по преданию, главный предводитель Первого Крестового похода.

¹² Цитата из стихотворения Ф.И. Тютчева «Эти бедные селенья...».

¹³ Яворский Стефан (1658–1722) – знаменитый иерарх церкви. Первоначально поддерживал деятельность Петра I, затем находился в оппозиции к нему. Идеальный противник Феофана Прокоповича.

¹⁴ Прокопович Феофан (1681–1736) – проповедник, писатель и государственный деятель. Один из помощников Петра I в делах духовного управления России.

¹⁵ Тэн Ипполит (1828–1893) – французский теоретик искусства и литературы, философ, историк. Представитель культурно-исторической школы.

¹⁶ Правильно: Рожественский Зиновий Петрович (1848–1909) – вице-адмирал русского флота, один из виновников гибели русской эскадры в Цусимском сражении (1905 г.).

¹⁷ «Рыцарь на час» – стихотворение Н. А. Некрасова.

¹⁸ Ояма Ивао (1842–1916) – японский военный и государственный деятель, маршал. В 1904–1905 гг. – главнокомандующий сухопутными войсками в Маньчжурии.

¹⁹ Думбадзе Иван Антонович (1851–1916) – светский генерал, главнокомандующий Ялты. Примыкал к «Союзу русского народа». Известен крупными мерами по отношению к революционерам.

²⁰ Гершельман Сергей Константинович (1854–1910) – московский генерал-губернатор, командующий войсками Киевского военного округа.

²¹ Катков Михаил Никифорович (1818–1886) – публицист, редактор-издатель журнала «Русский вестник». Леонтьев Константин Николаевич (1831–1891) – писатель, публицист и дипломат. Гиляров-Платонов Никита Петрович (1834–1895) – философ, публицист и критик. Данилевский Николай Яковлевич (1822–1895) – публицист, критик и естествоиспытатель. Страхов Николай Николаевич (1828–1896) – публицист и критик. Аксаковы: Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) – русский писатель, публицист, литературный критик. Аксаков Иван Сергеевич (1823–1886) – русский поэт, публицист. Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) – русский поэт, публицист, философ. Киреевские: Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) – русский философ, критик, публицист. Киреевский Петр Васильевич (1808–1856) – русский фольклорист, археолог, переводчик, публицист.

²² Флоренский Павел Александрович (1882–1937) – русский мыслитель, ученый, священник, богослов. Эрн Владимир Францевич (1882–1917) – философ и литературный критик. Булгаков Сергей Николаевич (1871–1944) – ученый, богослов, публицист и критик. Романов Иван Федорович (псевдоним: Рцы) (1861–1913) – критик и публицист. Кусков Платон Александрович (1834–1909?) – русский поэт, публицист, автор полемических работ, критикующих теорию эволюции Дарвина. Гильфердинг Александр Федорович (1831–1872) – славист, этнограф, дипломат. Востоков Александр Христофорович (1781–1864) – славист, лингвист, поэт и переводчик.

²³ Агаг – царь амалекитян, побежденный и взятый в плен Саулом, царем израильским, и умерщвленный затем пророком Самуилом. Имя Агага упоминается уже в Пятикнижии Моисея (Книга Чисел, 24, 7). Таким образом, царь Агаг – общее название амалекских царей.

В КРУГЕ



РОЗАНОВА

П. П. ПЕРЦОВ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ АФОРИЗМЫ

Петр Петрович Перцов родился 4 июня 1868 года в Казани. Перцовы – старинная дворянская фамилия. Хорошо и подробно о роде Перцовых сказано в «Воспоминаниях» Петра Николаевича Перцова (двоюродного брата Петра Петровича Перцова) (РГАЛИ. Ф. 1796, оп. 1, ед. хр. 296–298).

В 1887 году по окончании курса 2-й Казанской гимназии Перцов поступил в Казанский университет на юридический факультет. Литературную деятельность начал в 1890 году в столичных газетах «Неделя» и «Новости». Затем стал сотрудничать и в местной печати – в газетах «Волжский вестник» и «Казанский биржевой листок», фактическим редактором которого был Александр Иванович Иванчин-Писарев, публицист-народник, познакомивший Перцова с Николаем Константиновичем Михайловским.

В 1892 году после окончания университета Перцов приехал в Петербург и начал работать в журнале «Русское богатство»; ему было поручено вести библиографический отдел. Сотрудничество с Михайловским продолжалось недолго, весной 1893 года Перцов возвращается в Казань и возобновляет литературные статьи в «Волжском вестнике» и «Казанском биржевом листке». Позднее он издал эти статьи отдельной брошюрой под названием «Письма о поэзии», СПб., 1895.

В 1894 году Перцов вновь в Петербурге, он сближается с представителями ранних символистов Дмитрием Сергеевичем Мережковским, Зинаидой Николаевной Гиппиус, Валерием Яковлевичем Брюсовым. В 1895 году Перцов (вместе со своим двоюродным братом Владимиром Владимировичем Перцовым) выпустил сборник «Молодая поэзия», среди участников которого были Константин Дмитриевич Бальмонт, Валерий Яковлевич Брюсов, Ни-

колай Максимович Минский, Дмитрий Сергеевич Мережковский. В 1896 году Перцов составил и издал сборник «Философские течения русской поэзии». К этому же году относится и знакомство Перцова с Василием Васильевичем Розановым. Их дружеские отношения продолжались до смерти Розанова в 1919 году. Перцов был издателем и редактором-составителем многих книг Розанова (Сумерки просвещения. СПб., 1899; Литературные очерки. СПб., 1899; Религия и культура. СПб., 1899; Природа и история. СПб., 1900). Отметим, что деятельность Перцова как издателя никогда не носила коммерческого характера.

В 1902 году Перцов вместе с Мережковским и Гиппиус приступили к организации религиозно-философского и литературного журнала «Новый путь», первый номер которого вышел в 1903 году. Вскоре в результате разногласий, возникших в редакции журнала, Перцов оставил «Новый путь».

После ухода из журнала Перцов начал активно выступать как публицист, литературный и художественный критик. Он сотрудничал в журналах «Вопросы философии и психологии», «Мир искусства»; в газетах «Новое время», «Голос Москвы», «Слово», «Торгово-промышленная газета». Тогда же он перевел работу Ипполита Тэна «Путешествие по Италии».

После революции Перцов долгое время жил в Костромской губернии. В 1921–22 годах он читал в Костромском педагогическом техникуме лекции по истории общественных движений XVIII–XIX веков, а в Костромском университете – курсы о Гоголе и по истории русской живописи. Литературные работы Перцова того времени касались в основном истории русской живописи и архитектуры. Он выпустил ряд путеводителей по музеям, опубликовал воспоминания о художественно-культурной жизни России конца XIX – начала XX века.

Особое место в жизни Перцова занимала работа над философским трудом «Основания космономии» (другое название «Основания диалогии»), представляющим, по словам Перцова, «попытку установления точных законов мировой морфологии». Работа над этим трудом продолжалась с 1897 года до смерти писателя в 1947 году.

Публикуемые «Литературные афоризмы» представляют своеобразное дополнение к этой работе. Записи первых афоризмов относятся к 1897 году. В 1920–30-е годы Перцов расширил и систематизировал их. Не имея возможности опубликовать эти

тексты, Перцов знакомил с их содержанием своих друзей. Этим объясняется наличие копий «Литературных афоризмов» в архивах Николая Сергеевича Ашукина, Дмитрия Евгеньевича Максимова, Мстислава Александровича Цявловского.

Текст «Литературных афоризмов» публикуется по авторской машинописи, хранящейся в РГАЛИ в фонде Петра Петровича Перцова (Ф. 1796. оп. 1, ед. хр. 41, л. 1–23; ед. хр. 42, л. 19–22).

Петр Петрович Перцов Литературные афоризмы

I О ПУШКИНЕ (фрагменты)

1

Основное чувство Пушкина – чувство свободы (не политической, конечно, а творческой). Всегда, когда он говорит о самом себе – он говорит о свободе. Это чувство также характерно для него, как для Толстого – чувство детерминизма. Первый и последний.

2

Пушкин – это бог в борьбе с земными условиями, с «внешней необходимостью». В этом и был корень его трагедии.

3

«Бьется птица в силке» – вот впечатление от последних годов Пушкина и семейной его жизни. И благоразумные люди хотели видеть в нем образец семьянина, что-то вроде Карамзина! «Свобода – он одной тебя еще искал в подлунном мире» («Кавказ. пленник»). Билась-билась птица – и силок задушил ее.

4

«Что в мой жестокий век восславил я свободу»... Он прекрасно понимал себя. Это мы его не понимаем, воображая, что тут речь идет о пресловутых декабристах, которых он давно забыл. Но о с в о е й свободе он помнил от «Кавказского пленника» («свобода – он одной тебя») – и до смерти.

5

У Лермонтова напряжение свободы, порыв к ней; у Пушкина – спокойное обладание ею, в о з д у х с в о б о д ы .

6

Пушкин – одинаково а с к е т и в любви, и в дружбе: он никогда не отдает себя. Дон-жуанизм и «приятельство» – вот его любовь и дружба. Он везде одинок (единичен). Он чужд религии, потому что слишком молод для нее, – но если бы дожил до старости, подошел бы к ней со стороны аскезы. За это ругаются уже его изумительные стансы Филарету:

Твоим огнем душа палима,
Отвергла мрак земных сует...

Ибо, как верно угадала легенда, всякий Дон-Жуан есть аскет in potentia.

7

Пушкин – это прежде всего м о л о д о с т ь . Тот возраст, когда человек сознал самого себя и минутно остановился на этом. Он наслаждается с о б о й . Он вышел из Общих Начал, и еще не обернулся назад, чтобы определить свое отношение к ним. Эта минута и есть Пушкин.

8

Он совершенно нерелигиозен – вернее, безрелигиозен. И в н е м это законно. Как законна безрелигиозность молодости. Кто толкует о религиозных качествах Пушкина – не чувствует ни Пушкина, ни религии.

9

Никогда не было человека, который так переживал бы жизнь, так ее о щ у щ а л , как Пушкин. В этом смысле очень характерно его дважды повторенное перед самой смертью восклицание: «Жизнь кончена! Кончена жизнь!» Именно жизнь – л и ч н а я его жизнь – была всем содержанием его души и поэзии. И самая трагедия с Дантесом субъективно была вызвана, я думаю, прежде всего нарастающим ощущением бледнеющей жизни, погасания ее красок. Он не годился для старости, как для всего «общего». И, смутно ощущая в себе зарождающуюся старость – пошел под пулю,

тем сильнее ненавидел молодого «счастливец» Дантеса. И он был когда-то также счастлив во всем.

10

Всего яснее я представляю себе Пушкина в одесский период. Тогда он был в вершине своей жизненной дуги. Тогда же встретил и главную свою любовь (загадочная история в его жизни). После, в Михайловском, он был стеснен; в Петербурге выбит из колеи (особенно с момента нелепой влюбленности в Гончарову). С женитьбы он начинает блекнуть. Для «большой» любви он не годился, как для всякой трансцендентности. Его любовь – легкий дон-жуанизм, минутный «роман», одна из «приятностей» жизни. Как в юности.

В Одессе он был более всего самим собою. Я воображаю его на утренней прогулке, на бульваре, над морем, в голубой солнечный день, в мечтах о своей мимолетной «Belvetril» (гр. Воронцова) или напевающим мотив Россини. Он нигде так не светел, как в тамошних своих стихах:

Но уж темнеет вечер синий,
Пора нам в оперу скорей –
Там упоительный Россини,
Европы баловень, Орфей...

И он поет, поет. Никто, ни раньше, ни после не «пел» так, как Пушкин. Сравните его хоть с Лермонтовым – того уже тянет к «рассуждению».

11

Никто не умел так оставаться поэтом, не выходя из жизни. Это секрет, потерянный после Пушкина. После – или остаются в жизни, перестав быть поэтами (Достоевский, Толстой), или поэтизируют вне жизни (символисты, стилисты и т. д.). Нужно уметь прямо из реализма перейти в *realioga**. Это – у Пушкина.

12

Его высшие создания – потому что с а м ы е о б о б щ а ю щ и е – маленькие драмы (особенно «Моцарт и Сальери»). Так же «Египетские ночи» и «Медный Всадник» – поэма героизма, ему еще близкого и с тех пор почти непонятного. Также «Пиковая Дама» – это аполлоническое выражение Хаоса.

* Действительность, реальность (*лат.*).

13

Лук звенит, стрела трепещет –
И, клубясь, издох Пифон.
И твой лик победой блещет,
Бельведерский Аполлон, –

вот типично пушкинские стихи. Аполлоническое начало во всем его солнечном блеске.

14

Лев Толстой – живопись масляными красками; Тургенев – акварель; Достоевский – рисунок углем; Пушкин – рисунок свинцовым карандашом; Гоголь – фресковая живопись с ее динамизмом и «преувеличениями» (М.-Анжело, Тинторетт).

15

Стихи Пушкина – царские стихи; стихи Лермонтова – пророческие стихи. Пушкин – золотой купол Исаакия над петровской Россией, но только над ней. Не он, а Лермонтов – великое обетование.

16

Солнечный мир Пушкина; лунный мир Тургенева; звездный мир Достоевского.

17

Пушкин – имя собирательное.

18

Пушкин не все знал, даже многого он не знал (мистика, современная «сложность»). Но что он знал, то знал безошибочно. Пушкин и ошибка – «две вещи несовместные».

19

Пушкин ко всему относится извне. Все его стихотворения суть собственно описания. Он еще ничего не принял в себя из мира, но он оглядывает весь мир. Пространство в его поэзии преобладает над временем, как зрение над слухом (пластический тип, а не музыкальный – как Лермонтов).

20

Также «извне» воспринимает он и природу (обратно с Тютчевым). У него нет никакого чувства связи с нею. Она у него остается «равнодушной», потому что в глубине он сам к ней равнодушен.

21

И религия для Пушкина – такой же внешний, вне его самого существующий факт, как и все остальное. У него нет никакой собственной в ней потребности (ср. с Гоголем). «В мире есть, между прочим, и религия – и я напишу, между прочим, отцов-пустынников» и «Подражания Корану». И последнее даже лучше первого. Кому-то нужны эти «отцы», но у меня они – сюжет, как и «Египетские ночи» (рядом), и тысячи других «эхо».

22

Но это не от «безбожия», а как раз наоборот – от богоподобия Пушкина. Он целен в себе, в нем покоится божественная «плирома» – и древние сказали бы о нем: *divus**. У него нет религии, как нет ее у Бога. В мире религия начинается с ангелов, а в русской литературе – с Гоголя, в котором так явно боролись ангельское и демонское начала (с перевесом последнего), и с Лермонтова (в котором преобладало первое).

23

Почему Европа «не приняла» Пушкина (там мало интереса к нему) и почему даже для нас он как будто «устарел» (при всем гипертрофированном «юбилейном почитании», живем Достоевским и Толстым)? Это потому, что у него слабо развито собственно человеческое начало (прекрасно выяснено еще Гершензоном в его книге «Мудрость Пушкина»). Человек у Пушкина не автономен – не имеет собственной, самозаконной творческой силы. Над всем царит Божественная Стихийная Сила и мир зависит только от Бога. Человек у Пушкина – такое же явление Природы, как все другое, – такое же безобразное, безличное. Когда он силен, то той же стихийной силой, как гроза или вихрь (образ Петра). Для Пушкина нет Богочеловечества: для него есть только Бог.

* Божественный (*лат.*).

Поэтому понятно, что в век особого развития чисто человеческой силы, в эпоху преувеличенного даже самопредставления человека, Пушкин показался чем-то чуждым и «старомодным». Отсюда и наша «писаревщина».

24

Для Пушкина характерно, что его «священное» чувство – дружба, а не любовь. О дружбе он говорит более высоким языком (все упоминания его об этом чувстве звучат каким-то особенным благородством) и переживал он ее, по-видимому, в более возвышенных тонах (отношения к Дельвигу, например). Напротив, любовь у него остается примитивной. «Она» отсутствует в его поэзии, но присутствует во множестве «оне». Во всем этом (как всегда) – полная антитеза Лермонтову («друзей клевета ядовитая»; единственная подлинная любовь к Лопухиной). И снова все это свидетельствует о «древности» (Гершензон), вернее – античности Пушкина. Пушкин был античным моментом русской литературы.

25

Пушкин, так много любивший и любимый, вечно кем-нибудь «огончарованный», – по существу чужд женскому началу и потому тянется к нему. Что такое пресловутая Татьяна? Мужской идеал женщины: женщина, какой мужчина хотел бы, чтоб она была. И все мужчины пришли в восторг; все критики хвалят. Но спросите женщин, зачитываются ли они «Онегиным», как «Карениной», «Дворянским гнездом» или даже «Обрывом». Из поэтов женщину знал Тютчев (глубина страсти ни у кого не передана так, как у него), а Женственное – Лермонтов, Фет, Владимир Соловьев, Блок; Пушкин даже не догадывается об «Ewig Weibliche»^{*}.

26

Брак Пушкина – характерная «восточная» женитьба старика на молоденькой. Она – явный признак его ранней старости: в 30–32 года Пушкину в сущности уже 60–62. Несомненно, что ни при каких обстоятельствах он не мог бы прожить долго.

¹ Вечная Женственность (нем.).

27

Письма Пушкина к жене лучше всего обличают характер его женитьбы: тон их – типично-стариковский, деланно-фамильярный; все отношение к жене – покровительственно-ревнивое, вовсе не уважительное; в письмах то и дело мелькают нецензурные слова и строки – «конфертативы»¹ такой любви (ср. напр., с письмами к жене Баратынского – документами той же эпохи). Вся «примитивность» Пушкина сказалась тут ярко. Будь он восточным поэтом, каким-нибудь Саади, он просто взял бы новую наложницу в гарем и продолжал бы писать «газели». Но на Западе, – где есть так называемая «личность», – вышла целая трагедия с молодыми ухаживателями, их старыми покровителями, пасквилями и дуэлями.

28

Основной порок женитьбы Пушкина – то, что он выбрал себе жену, как фаворитку, – по психологии любовничества, а не брака. В браке есть вопрос совместного построения быта, своего рода «деловой» элемент, – и отсюда большая взыскательность личного вкуса. Поэтому нельзя жениться при такой разнице даже не столько лет, сколько всего душевного склада, как в случае Пушкина. Какой быт мог он построить с Наталией Николаевной – сам еще менее подходя к этой задаче, нежели она? Слишком привыкнув к «играм Киприды», где нет таких затруднений, и лишь по «солидности» лет и общему примеру применив к себе «план» женитьбы, он был обречен на крушение. И женился он, собственно, потому, что Наталья Николаевна не была доступна другим путем – как была доступна, например, Керн. В психологии же своей по-прежнему остался холостяком, дон-Жуаном, Онегиным, не нашедшим и даже не искавшим Татьяны. Отсюда его непрерывные измены своей Наташе (даже с ее сестрой) и невольное тяготение к прежней, холостой, нормальной для него жизни. Ср. замечательный рассказ о нем, как семьянине, Брюллова, лучше всех его понимавшего (в воспоминаниях Железнова, «Живоп. обзор». 1898. № 31).

29

Пушкин, женившись, нарушил закон собственной личности. Этим законом была свобода («никому отчета не давать... для власти, для ливреи»), – и ни для чего на свете не делать никаких

уступок из этой свободы). Его ошибка – та же, что у Наполеона: один погиб, когда основал династию (связал свой индивидуализм родовым началом); другой, – когда связал себя семьей. Каждый из них должен был оставаться один, чтобы оставаться самим собой. Рок отомстил ему не столько за Н.Н. Гончарову, сколько за него самого.

30

Есть три отношения к женщине: 1) как к гетере, к любовнице; 2) как к супруге, «матери семейства»; 3) как к Мадонне. Любовническое, брачное и религиозное (личное). В первом преобладает тело, во втором – душа, в третьем – дух. Только третье имеет отношение к вечности. Пушкин – античный, эвклидовский человек во всем – знал только первое и напрасно усиливался ко второму, с неизбежностью смешав его в своей брачной попытке с первым. Третьего он, видимо, вовсе не знал, как не знал вообще ничего «потустороннего». Напротив, Лермонтов знал искренно только третье (любовь к Лопухиной-Бахметьевой); он натягивал на себя первое – как все прочие свои «защитные» маски, и был вовсе чужд второму. Тютчев, в своей яркой жизни сердца, идеально углубил второе (ср. стих. «Волна», «Предопределение» и друг.), а в последней любви – к Денисьевой – коснулся третьего.

31

Как исключительно в Пушкине чувство ж и з н и – так в Гоголе чувство с м е р т и . Они взаимно уравновешивают друга друга: Гоголь оттого так и сосредоточен на смерти, что только что Пушкин так много взял от жизни. Тут вся несправедливость духовно-морфологического раздела.

Лермонтов – уже по ту сторону смерти, и тем более по ту сторону «легкой», пушкинской, эвклидовской жизни – «в трех измерениях». Пушкин и Гоголь – это изначальные + и –; Лермонтов ±.

32

«Пушкин – наше все»: формула Апол. Григорьева, до сих пор определяющая наше отношение к Пушкину и поверхностно нами повторяемая. Но она подлежит серьезному пересмотру. Она создалась в тех же условиях петербургской культуры, в тех же горизонтах петровской России, в которых выросло творчество

самого Пушкина. Между тем эти горизонты и составляют его границу: явившись в зените петербургского периода – в «ампирный» момент русской истории, Пушкин характеризует его собою, но и сам характеризуется им. Он – такой же «памятник» эпохи, как «Горе от ума» или арка Главного Штаба. Для петербургской России он, действительно, «все», представляя величайшее ее достижение – апогей русского пластицизма. Но вместил ли в себя этот ампирный поэт то, чем жили и что осуществляли в русской истории Киев, Новгород, Москва, наконец, – все, что покрывается словом «Святая Русь»? Когда Пушкин прикасается к этому миру – он теряет почву под ногами. Его единственное крупное полотно из старой Руси, «Борис Годунов», могло казаться подлинной картиной Москвы только петербуржцам. Теперь, после Сурикова, Рябушкина, Ап. Васнецова, Стеллецкого и других, мы не то называем Москвой. Музыка Мусоргского менее «опера», нежели «либреттный» текст Пушкина. Открытие древне-русской иконописи и архитектуры окончательно определяет Петербург и Пушкина, как часть целого, и часть не центрального значения. Это – щедрая плата за обучение, заплаченная Россией-ученицей западному учителю, но это не Россия, «пришедшая в возраст».

33

«Пушкин – наше все». Но прежде всего – типичен ли Пушкин для России? Что-нибудь да значит, что Европа не нашла в нем того «образчика» России, каким стали в ее глазах позднейшие авторы (с Тургенева), меньшие по таланту. Дело в том, что для такого представительства Пушкин – сам слишком Европа, слишком аристократ в демократической (самой демократической за всю историю) стране. В сущности: это р о м а н с к и й тип на русской почве – в частности, особенно близкий французской культуре (как Гоголь близок Испании, а Лермонтов – ранней Италии). Самый формализм, «аполлонизм» Пушкина – черта французского духа, вовсе не типичная для «азиатки» – России.

34

Также подлежит пересмотру и вопрос о «протействе» Пушкина. «Протей», несомненно, – сам русский народ, – как п о с л е д н и й в ряду культурных народов (последующие понимают предыдущих). Но «перевоплощения» П у ш к и н а сомнительны.

Только предвзятый взгляд Достоевского мог принять французски-легковесного героя «Каменного гостя» – характерный тип XVII–XVIII века – за испанский прообраз. Но подлинной, мрачно-страстной Испании надо искать скорее у самого Достоевского, в «Легенде об инквизиторе», и еще того более – в творчестве Гоголя. Также нет подлинного Востока в пахнущих литературой «Подражаниях Корану» (что и отмечено ориенталистами, как проф. Крымский). Позднее поверхностно-туристское «Путешествие в Арзрум» доказало еще раз, как чужд был Восток аполлоническому гению Пушкина. Но более того: не близка ему и самая Москва – как обличает это оперный «Годунов» с мелодраматическим Борисом (баритон), польски-романтическим Самозванцем (*tenore di grazia**), примадонной Мариной и резонером Пименом (*basso profundo***). Только «береговой гранит» петербургской реки – с о я почва для Пушкина.

II ГОГОЛЬ

1

Чувство смерти – основное в Гоголе. Этим чувством он поверяет жизнь, и потому она так мелка и пошла в его глазах. Отсюда и его негодование на людей. Они для него – «мертвые души», потому что не видят смерти. Это чувство – источник всего его творчества. Контраст жизни и смерти всегда перед его глазами.

2

Гоголю не интересна действительность. Ему нужен мир не таким, каким его создал Бог, а каким он пересоздается им самим. «Пусть будет мир, как хочу я». Здесь рождается его демонизм.

3

В «Портрете», самой автобиографической повести Гоголя, дано заранее объяснение его «катастрофы». Также сам он нарисовал «антихриста» – и испугался.

*Лирический тенор (*итал.*).

** Глубокий бас (*итал.*).

4

Гоголь – великий гипнотизер. И его искусство по своим внешним приемам есть прежде всего искусство гипноза (в этом смысле характерна связь его с т е а т р о м). В этом искусстве воплотилась громадная воля – и люди, слушая Гоголя, переставали верить тому, что видели собственными глазами, а верили тому, что рассказал об этом Гоголь (Россия 30–40-х годов в освещении Гоголя).

5

Отсюда и нагромождение односторонностей, как главный художественный прием, – что отмечено всеми критиками Гоголя. Это – «блестящий шарик» гипнотизера. Гоголь старается подчинить себе читателя, а не убедить его (еще менее – объяснить что-нибудь). Он действует не на сознание, а именно на волевою сторону.

6

Лев Толстой подозревает, что Гоголь был не умен. Если это и верно, то неважно: для творческой задачи Гоголя нужен был не ум, а то душевное свойство, которое обычно плохо уживается с умом, – воля. О гипнотизере никто не спрашивает, умен ли он. Во всяком случае, это в нем второстепенно. Достаточно было у Гоголя нужной ему силы, если, глядя на клетку со слоном, люди повторяли полстолетия, что там сидит буйвол, – только потому, что Гоголь написал на клетке: «буйвол».

7

Душа Гоголя – готический кафедрал, полный мрака и волшебных лучей. И лицо его – «готического стиля».

8

Язык Гоголя – раскрашенный воск. Тоже что-то католическое.

9

Украинские повести Гоголя – серебристое впечатление лунной ночи.

10

Женщина у Гоголя является всегда лишь в отношении к ней мужчины; ее собственный мир для него не существует. В этой утрированной «мужественности» он совершенно противоположен с «женщиной» – Толстым.

11

Любовь у Гоголя – небесно-голубая лирика (Андрей, Улинька) или же – карриатура (женские лица в «Ревизоре»). Два вечных полюса романтической гиперболы.

12

«Ревизор» – русская *commedia dell'arte**. Чистое «зрелище смеха», а вовсе не картина быта и нравов. Все действующие лица здесь – условные «маски», подобные итальянским Баланцоне и Пульчинелло, меняющие в каждом десятилетии свой облик. Отсюда неувядаемость этой комедии и ее общепонятность.

13

Не только в таланте Гоголя было нечто театральное, но и в самой его судьбе: его, великого романтика и фантаста, поняли и приняли, как реалиста и «обличителя». Вышло некое *qui pro quo*** – подобное тому, что в «Ревизоре».

14

«Мертвые души» писались в Риме, потому что чувством, внушавшимся ему Вечным Городом – г о р о д о м В е ч н о с т и , – Гоголь поверял современную ему минуту жизни.

15

И к Италии его так тянуло, потому что итальянцы тех лет, имевшие много крупных пороков, не имели одного мелкого – порока пошлости. Это и подкупало в них Гоголя, всегда так остро чувствовавшего «пошлость пошлого человека» и утомленного способностью к ней русских.

* Комедия масок (*итал.*).

** Путаница, один вместо другого (*лат.*).

16

Две жизни: большая, Жизнь Вечности, и малая, преходящая, – как часть той, первой, – вот постоянная точка зрения Гоголя (общая у него с Лермонтовым). От нее идет его «ревизия» – суд над людьми и временем. Это вовсе не социальное обличение, как близоруко поняли современники, а – р е л и г и о з н о е : его пафос не гражданский, а пророческий. И последнее слово Гоголя, «Переписка», не случайно для него, а органически связано со всей предыдущей его деятельностью и с его взглядом на самого себя.

17

В споре Гоголя с Белинским неправы оба. Один жертвовал человеком для Бога (который не нуждается в такой жертве); другой приносил в жертву Бога для человека (который не властен на такую жертву).

18

Гоголь всю жизнь искал и ждал Лермонтова и, не видя его, стоявшего рядом, хватался за Языкова. Тут ощутительно сказался закон духовного преемства, не допускающий обратного действия (все предыдущее «не видит» последующего). И Гоголь, в своей жажде религиозной поэзии, не замечал лермонтовских «Молитв», удовлетворяясь языковским «Землетрясением».

19

Известное изречение Гете: «классическое есть здоровое, романтическое есть больное» вполне приложимо (даже в отношении физического здоровья) к Пушкину и Гоголю в их полярности. Но есть болезни, которые стоят здоровья.

20

Гоголь также динамичен, как спокоен Пушкин. Динамичен во всем – в языке, в своем развитии (бурность роста, внезапные переломы) и в самой жизни (вечные путешествия, так им любимые). Его жизнь – настоящая жизнь романтика, единственная среди русских писательских биографий. Он на деле воплотил в себе лермонтовского «пророка»:

Посыпал пеплом я главу,
Из городов бежал я нищий.

И кончилось так же, как там:

В меня все ближние мои
Бросали бешено камня.

21

У Гоголя нет природы, потому что в природе самой по себе нет места для человеческой воли. А Гоголю интересна только сфера творческих свершений человека. Его пафос – насилие пророка над миром.

22

Самочувствие Пушкина в творческие минуты – самочувствие ц а р я («Ты – царь; живи один», и т. д.). Самочувствие Гоголя – самочувствие п р о р о к а . Он весь точно вышел из Ветхого Завета и дышит богоизбранничеством – своим личным и своего народа.

23

Насколько Гоголь ветхозаветен – настолько новозаветен Лермонтов. Это полярность Микель-Анжело и Рафаэля.

24

Гоголь – украинец в своей лирике и юморе, но основное, религиозное в нем – от его польского корня (Гоголь-Я н о в с к и й) и близко напоминает польских мессианистов.

25

Гоголь и Достоевский верили в традиционное православие, но совсем не по-традиционному. В них яснее, нежели в ком-либо, сказалась н о в а я религиозная стихия. И знаменательно, что оба – украинцы (малороссы), а не великороссы.

26

Гоголь ближе всех (и главное, п е р в ы й) подошел к идее Теократии (у него – «царской власти»). Потому что в нем лично соединились все три национальные стихии, образующие

теократический элемент Славянства: по происхождению он – малоросс и поляк (Гоголь-Я н о в с к и й), по культуре – русский. Все другие односторонни сравнительно с ним, даже Достоевский (малоросс по отцу и великоросс по матери, но без польского или с отдаленным польским элементом, что дает ослабление типа). Чисто русские (великорусские) гении (Пушкин, Тургенев, Толстой) слишком «позитивисты» для религиозной задачи.

27

Гоголь – первый пророк Теократии и будущей, н о в о й Церкви Славянства (письмо о Светлом Воскресении в «Переписке»). Вот разгадка «загадки его существования» (его слово о себе). И в этом его крест и трагедия.

28

Гоголь – жертва за Россию, – за возможность ее будущих судеб.

29

Гоголь – первый разрушитель былой России. Его творчество – Валтасаровы над ней слова². И <нрзб.> успех этого творчества был показателем близкого конца. В этом творчестве, в самой его возможности, уже просвечивает 1917 год. Недаром Белинский и т. п. так ухватились за него: такое понимание России оправдывало их стремления и обещало им верный успех.

III ЛЕРМОНТОВ

1

Лермонтов тем, главным образом, отличается от Пушкина, что у него человеческое начало а в т о н о м н о и стоит равноправно с Божественным. Он говорит с Богом, как равный с равным, – и так никто не умел говорить («Благодарность» и друг.). Именно это и тянет к нему: человек узнает через него свою б о ж е с т в е н н о с т ь .

2

У Гоголя – еще природный человек, – в вечном смятении перед Богом, как ветхозаветный иудей. Только у Лермонтова он – сын «Божий» и не боится Отца, потому что «совершенная любовь исключает страх».

3

Настоящая гармония Божественного и человеческого – момент с о в е р ш е н с т в а – только у Лермонтова, а не у Пушкина, у которого она покупается ценою односторонности – преобладания Божественного. В мире Пушкина человеку д у ш н о .

4

«Мятежный Лермонтов»... На самом деле именно у него нет и не может быть бунта, потому что бунт только там, где рабство, а у Лермонтова отношение к Богу – отношение сына к Отцу, а не раба или слуги – к Господину (Пушкин, Гоголь). Даже в минуты непокорности и упреков оно остается сыновним, новозаветным. Сын может возмущаться властью Отца, Его несправедливостью (на его взгляд), но это не бунт: т у т н е т ч у в с т в а р а з н о р о д н о с т и и н е с о и з м е р и м о с т и .

5

Пушкин эстетически совершеннее Лермонтова, но Лермонтов духовно – значительнее. На их примере наглядно видно, что в искусстве «главное» все-таки не красота, и что само искусство не есть важнейшее явление нашего духовного мира.

6

Дуэль Лермонтова – замаскированное самоубийство (как уже неоднократно замечалось). Самоубийство Вертера – с той же самой психологией «неприятя мира» и только без Шарлотты. Быть может, он и был прав в отношении себя: «исчезнуть» он не боялся, а хотелось поскорее «мир увидеть новый». Но, несомненно, он был неправ объективно – забыв свой гений. Сила личности (и отсюда – самососредоточенности) слишком ослабила в нем чувство обязанности (своей относительности).

7

Для Лермонтова «земля», вообще земной отрывок всего человеческого существования – только что-то промежуточное. Мощь личного начала (величайшая в русской литературе) сообщала ему ощущение всей жизни личности: и до, и во время, и после «земли». «Веков бесплодных ряд унылый» – память прошлого, – и рядом: «давно пора мне мир увидеть новый» (удивительная уверенность в этом мире). Он знал всю ленту человеческой жизни, – и понятно, что тот ее отрезок, который сейчас, здесь происходит с нами, мало интересовал его.

8

Лермонтов – лучшее удостоверение человеческого бессмертия. Оно для него не философский постулат и даже не религиозное утверждение, а простое реальное переживание. Ощущение своего «я» и ощущение его неуничтожимости сливались для него в одно чувство. Он знал бессмертие раньше, чем наступила смерть.

9

Лермонтов некоторыми внешними чертами сходен со Львом Толстым (осуждение войны; апофеоз «смирного» типа), но внутренне – вполне ему противоположен. У него не только нет страха смерти (центральное чувство у Толстого), но нет даже мысли о ней – и как о го ее чувства. «Смерть, где жало твое?» Чувство жизни – Вечной Жизни, – и отсюда полное равнодушие к «переходу». Земную жизнь он чувствует еще меньше, чем Толстой, но не от врожденного настроения «старости», как тот, а все от того же равнодушия. «Комок грязи, если нет дополнения» (его слова). Никакой зависти и тоски по земному, всегда сквозящих у Толстого. Это – поэт Воскресения, христианин насквозь, хотя он ничего не говорит о Христе.

10

Если считать существом религиозности непосредственное ощущение Божественного элемента в мире – чувство Бога, то Лермонтов – самый религиозный русский писатель. Его

поэзия – самая весенняя в нашей литературе, – и, вместе, самая воскресная. Отблеск пасхального утра лежит на этой поэзии, вся «мятежность» которой так полна религиозной уверенности.

11

«Небесное» было для Лермонтова своей стихией. Говоря о нем, он умел находить такие же поэтически точные, «окончательные» слова, какие Пушкин находит, говоря о земном. Когда Лермонтов касается мира бесплотности, самый стих его окрыляется, точно освобождаясь от веса («На воздушном океане»).

12

Если, по слову Лермонтова, «Россия вся в будущем», то сам он, больше, чем кто-нибудь, ручается за это будущее.

IV

ТУРГЕНЕВ

1

Л и з а К а л и т и н а . Она, может быть, не реальна; даже наверное. Но реальных женщин изображали так или иначе, лучше или хуже, все – Толстой, Флобер, Чехов. Но один Тургенев изобразил не то, что женскую душу, а душу человеческую в ее отношении к Б о г у (в таком отношении всякая человеческая душа есть ж е н с к а я душа). И это – Лиза Калитина.

2

В своих двух «мужских» романах – «Рудин» и «Отцы и дети» – Тургенев дал два (оба основных) типа наших «западников»: «кадет» Рудин (40-е годы) и «социал» Базаров (60-е годы). Этим он исчерпал свои возможности в «политике»: славянофильский тип – задача не его, а Достоевского. (Пресловутый Лаврецкий, конечно, не славянофил, а самое большее – простой националист).

3

В двух «женских» (и для него более «своих») романах – «Дворянское гнездо» и «Дым» – Тургенев дал два основных же типа гораздо большего значения: типы женского отношения к любви. Аскетического, религиозного – Лиза, подвижница по натуре; и чисто полового, демонического – Ирина, гетера по натуре. Этими двумя типами он и здесь исчерпал тему. Поэтому остальные романы (более всего «дань времени») – «Накануне» и «Новь» – так пусты. «Хоть бы и не было».

4

Толстой рисует будни жизни; Тургенев ее праздничные минуты.

5

Если бы не было Тургенева, – насколько меньше было бы на свете счастья.

6

Тургенев – элексир юности: кто хочет дохнуть молодостью, – пусть читает Тургенева (особенно «Ася», «Три встречи», и всего более – н а ч а л о «Вешних вод»).

В одном стихотворении в прозе Тургенева «Христос» (среди народа, в деревенской церкви) больше подлинного ощущения христианства, чем во всех имитациях Толстого. Может быть, это – односторонний, слишком человеческий, «несторианский» подход, но все-таки он в и д и т Христа, тогда как Толстой всегда и всюду видит только себя.

V

ДОСТОЕВСКИЙ

1

Немцы сравнивали в юбилей 1921 г. Достоевского и Данта – как двух писателей, вполне воплотивших свой век. Параллель верна, но, собственно, потому, что эти двое воплотили в себе так полно и цельно, как никто другой, два основных мировых начала: Б о г – у Данта, ч е л о в е к – у Достоевского.

2

Достоевский – величайший пророк человечества (человеческого начала) какой только был. Никто так не любит человека – болезненно, страстно, иступленно; никто так не чувствует всех изгибов и извилин человеческой души. К природе он равнодушен: Бог с а м в с е б е ему далек: он не мог бы Его понять и принять вне человека и помимо человека, как Дант. И самого Христа он любит собственно за человеческие Его черты. В слове «Бого-ч е л о в е к» он делает ударение на второй половине. И оттого христианство Достоевского не слишком надежно. Это – христианство XIX века.

3

Из всех русских писателей Достоевский более всего – е в р е й . Таков он в своем антропологическом теизме. Как еврей, он всегда готов тягаться с Богом за человека. Но, как еврей же, не может оторваться от края плаща Божьего и забыть Его благословение.

4

Гипертрофия человеческого и приводит Достоевского парадоксально к обличению человека. Он в своем искусстве (вопреки своим идеям) невольно берет человека, как автономную, всеопределяющую силу, т. е. как силу сатанинскую. И самое значительное в творчестве Достоевского – умение показать все отрицательные возможности человека («Бесы»; карамазовщина). «Положительное» гораздо слабее: тут он слащавит, как с мармеладным Мармеладовым, или неопределенничает, как с Алешей, или, в лучшем случае, рисует ангела, а не человека (Мышкин). Это и понятно: в собственных пределах и собственной силой человек не властен победить себя, а Достоевский весь замкнут в человеческих пределах. Веря сам в Высшее Начало, он не имел дара воплотить эту веру в своем искусстве.

5

Исключительный успех Достоевского в Европе (особенно в Германии) обличает его духовное сродство с западно-европейским миром: так же, как там, онтология его насквозь антропологична. Подлинный, беспримесный онтологизм (характеризующий, например, Византию) чужд европейскому духу, – и также чужд

Достоевскому. Поэтому надо осторожнее принимать Достоевского, как безусловное выражение России и славянства (у Бердяева, напр.). Россия, в своей последней глубине, во всяком случае ближе к Византии, чем к Западной Европе, и русской Церковью не случайно осталось онтологическое Православие, а не антропологический Протестантизм.

6

Путь Достоевского в политике вел его – от революции (типы Верховенских: кадета-отца и социала-сына; анархист Кириллов) через цезаризм (Ставрогин, Иван Карамазов) – к порогу Теократии (монахи, Алеша). Это и есть реальный, исторический путь России: Достоевский заключал его в себе весь – от своей минуты и до конца.

7

Достоевский важен тем, что первый разгадал в русской Революции начало свершения судеб России. Этого не видели в ней самые зоркие (К. Леонтьев, напр.).

8

«Бесы» – роман о русской революции. Здесь даны ее основные типы: Верховенский-отец – кадет, Верховенский-сын – социал, Кириллов – анархист. Здесь же и типы «реставрации»: националист Шатов и «цезарь» – Ставрогин. Типы революции не соблазняют Достоевского: над Верховенским-сыном он смеется, почти также как над отцом (а кадету-Тургеневу Базаров импонирует неодолимо, как импонировали позднее «друзья слева» милюковской партии); возле Кириллова он колеблется разве одну минуту. В Шатове, наконец, просто узнает самого себя (его признание в этом смысле). Но вот Ставрогин, «Иван-Царевич», кажущийся победитель Революции, – и тут долгое колебание. Соблазн, идущий от Раскольникова, давшего теорию цезаризма («право» Наполеонов), – как Ставрогин должен был дать его практику. Дальнейший путь еще заслонен этим призраком – и только к «Карамазовым» Достоевский нащупал дорогу.

9

«Карамазовы» – роман о русской Теократии. И здесь выступает сперва теория – в «трактате» Ивана и в речах монахов,

а после чуть намечена практика – в Алеше. Иван по натуре – еще «цезарь», как Ставрогин; но в мыслях – уже исповедник Теократии. Он пишет о ней, а его младший физически и старший духовно брат – Вениамин Достоевского – уже живет ею, дышит ее воздухом.

10

Достоевский совершенно не знает любви. Она у него заменена сладострастием, которое он наивно принимает за любовь. В этом сказалась психология позднего человека – «на пороге старости».

11

Вопрос пола у Достоевского в сущности элементарен. Его пресловутое «паучье сладострастие» – не более, как простая чувственность. Его «любовь» – купеческий разгул Дмитрия Карамазова, старческая похотливость Федора Павловича, резонерство Ивана или, наконец, бесплотная (как у Гоголя) мечта «ангела» – Мышкина. Юной страсти и юношеской пылкой чувственности (Пушкин!) у Достоевского уже нет. Нет и задачи личной любви, как у Тургенева, Лермонтова, Фета. Для этого тоже слишком поздно. В любви Достоевский не более, как простой комсомолец (что верно почувствовал аскет-Страхов). И – увы! – это самый вероятный тип отношений между полами в огрубевшем обществе последних, «американских» столетий.

12

Достоевский в своем слогe вечно дребезжит. И все оговорочки, оговорочки, обмолвки, недомолвки (особенно «Дневник»). И всегда тон: «я – мол знаю, чего Вы не можете и недостойны знать»).

13

У Достоевского, если святая, то непременно проститутка (пресловутая Соня Мармеладова), – если святой, то непременно «идиот» (смешноватый Мышкин), – если святой умер, то «упредил естество» и «протух» (смерть Зосимы в «Карамазовых»). Его «христианство» – такое же «яблочко с червоточинкой», как и все русское, как вся Россия его дней.

14

Достоевский без эпилепсии – уже не Достоевский. Без этой мировой судороги он не знал бы мира таким, каким он его знает.

15

Когда читаешь Пушкина, Тургенева, даже Толстого, – все прочно и устойчиво; миру жить еще долгие годы. Но вот переходишь к Достоевскому – и вдруг почва заколебалась под ногами, все становится неустойчивым, неверным, близким к крушению. Вместо солнечного света горит какой-то странный стальной свет, – подобный лучам солнечной короны во время затмения. И над землей несется тень апокалиптического всадника...

16

Кто же: Достоевский или Пушкин – «воплощение России»? Ибо они в этой роли несовместимы. «Пушкин – наше все» (Аполл. Григорьев); «в Достоевском открывается тайна России» (Бердяев). Кто же прав?

17

Пушкин – amor loci* России, как Достоевский – amor fati**.

18

В последние годы Достоевского перед ним отчетливо возникла задача – создать новый религиозный тип (то же у Гоголя, но не так очевидно и не с таким обновлением). Он, по видимому, в какой-то степени и сам сознавал это. Отсюда его – «Алексей Федорович Карамазов», которого он так выдвигал, но который воплотился только в форме «Алеши». Причина понятна: отход от прошлого был все-таки не полным. Задача заключалась в том, чтобы создать тип не аскетического христианства, – не созерцательного, но деятельного, – не пассивного, но актуального, – и Достоевский явно вел к этому (до чего близоруки возражения ему К. Леонтьева – именно не «оптинское» понимание христианства и есть плюс Зосимы и самого Достоевского). Но чтобы задача вполне прояснилась – понадобилось еще полвека.

* Любовь к месту (*лат.*).

** Любовь к судьбе (*лат.*).

VI ЛЕВ ТОЛСТОЙ

1

Лев Толстой – самый эволюционный из наших писателей, – тот, у которого его фигуры растут, меняются, стареют, как организмы. Он единственный, даже из «великих», кто умеет показывать характеры не только статически, как «данные», но и динамически, как «становящиеся». Все его герои в конце – не те, что были в начале, и эти перемены происходят на глазах читателя. Этого еще нет даже у Тургенева и Достоевского: Рудин, например, все Рудин, и только внешне стареет; Раскольников, Иван Карамазов остаются самими собой, несмотря ни на какие «покаяния». Только у Толстого люди меняются, как в жизни, и поэтому у него не «типы» только и не столько типы, как люди (отсюда и очарование его реализма). У Пушкина, например, как бы две Татьяны – в начале романа и в конце; перемена происходит за кулисами, и мы должны верить ей на слово. То же у Гончарова с Адуевым-младшим (даже карикатурно). Онегин, Печорин, Обломов, Райский – всегда те же самые (не говоря уже о фигурах Гоголя). Когда Достоевский подошел к необходимости изображения эволюции (Алеша Карамазов) – он умер, не кончив.

2

Мы смотрим на «Войну и Мир», как на циклопические строения: невозможно поверить, что это создание одного человека. Как поэмы Гомера, как Парфенон, это творение кажется частью самой природы.

3

«Война и Мир» – *c'est plus la vie, que la vie elle-meme**.

4

Преимущество Толстого над Достоевским и другими – то, что он никуда не стремится. Пушкин, Тургенев, Гончаров тяготеют к Западу; Достоевского тянет на Восток (его предсмертное «в Азию!»); и только Толстому никуда не нужно, и он спокойно

* Больше жизнь, чем сама жизнь (*фр.*).

сидит на своем месте, а к нему приходят все. В нем воплотилась наиболее чистая стихия русского мира, уже кончившая свои колебания на Западе и на Востоке, уже уравновешенная в себе. Отсюда и особый интерес к нему Европы и других, как к законченному явлению – к наиболее подлинному выражению того, что такое Россия в ее самобытности. Характерно, что Толстой не мог жить вне России, тогда как Достоевский, например, годами живя в Европе, не скучал там (не говоря уже о Тургеневе); Гоголь чувствовал Рим, как «родину души»; Пушкин стремился на Запад, и даже «Обломов»-Гончаров проехался вокруг света.

(Это не совсем верно: у Толстого есть тоже своя «заветная страна» вне России – это Индия и отчасти даже Китай – вообще дальне-азиатский Восток, как у Достоевского – ближний).

5

Лев Толстой начал, как граф и «*comme il faut*»*, а кончил, как босак и «пролетарий». В этой личной эволюции заранее воплотилась эволюция всей его страны, ставшей почти при его жизни из барской и петербургской (европейской) – демократической и национально-замкнутой.

6

Для Толстого характерно бессознательное, незамечаемое им самим отрицание истории. Для него «Царствие Божие» (заглавие одной из главных книг) может прийти от простого усилия сейчас живущих людей – без всякой связи с общей жизнью человечества, бывшей и будущей. Нужно только «захотеть». Он написал эпопею 12-го года, но он был совершенно лишен исторического чувства, чувства д о р о г и , – которое было так сильно в Достоевском.

7

В «Войне и Мире» есть мир, но нет войны. Война здесь взята тоже как своего рода «мир» – с точки зрения мира и мирных людей. Нет самого н е р в а войны и, без сомнения, если бы война (особенно прежняя, еще не выродившаяся) была такова, как в этом романе, – люди не воевали бы. Толстой изобразил в сущности не 12-й год, а свою эпоху. Исторического здесь только имена и внешняя канва.

* Приличный, порядочный (*фр.*).

8

Толстой отрицал войну – и не только как мыслитель, но и как художник (война в «Войне и Мире», да и в «Севастополе»). Но сам он – единственный из русских великих писателей (кроме Лермонтова) – у м е л быть на войне. Между тем, «не отрицавших» – Тургенева, Гончарова, Достоевского – нельзя или трудно представить себе в условиях Севастополя. Тут сказался реализм Толстого – сила его соприкосновения с действительной жизнью, что именно и влечет к нему, составляя главный секрет его очарования (его «воплощенность»). Поэтому его «отрицания» нужно брать всегда с поправкой на биографа. Так и после «Крейцеровой Сонаты» у него, уже 60-летнего, родится сын.

9

«Буддизм» Толстого (его отрицание войны, пола, вообще всего активного в жизни – пресловутое «непротивление») не проистекал ли прежде всего от бессознательной боязни самого себя? Боязни тех элементов души, которые были сильны в нем, но казались ему «языческими». Он не знал, как ввести их в религиозное русло – и стал выбрасывать. Отсюда самонасилие его «буддизма», которого нет у подлинных буддистов и нет во всем индусском мире (никогда не было стремлений к войне, к власти, к сильной жизни пола, – а это все сквозит у Толстого). У «толстовцев» этого тоже нет (Бирюков и прочие бабы в штанах). Возможно, что Толстого сбивало с пути прежде всего недоверие к самому себе, а также узость исторического религиозного горизонта, замкнутого на аскетических формах религии.

10

Почему Толстой так взволновал мир своей, явно несостоятельной «религией»? Может быть, потому, между прочим, что весь мир инстинктивно ждет: «начнется из России». Россия ощущается, как невыразившийся еще, не определившийся вовне религиозный потенциал – единственный в мире. Уже все сказали «свое слово», кроме России, которая как будто таит его в себе. Поэтому понятно, что все встрепенулись, когда показалось, что именно т а м «что-то началось».

11

«Религия» Толстого как-то подозрительно похожа на атеизм, сдобренный «добротой» и «добродетелями». Показательно также, что его атеистическое время приняло его так радушно.

12

Толстой уже потому далек от подлинной стихии религии, особенно христианства, что у него нет никакого чувства преобразования мира. Природные условия и земной человек для него – предел. Он добросовестно топчется в рамках трех измерений, – как истый сын XIX-го века.

13

Толстой – величайший из наших «шестидесятников». При всем различии устремлений, кругозор его в сущности тот же, что у Чернышевского: также замкнут стеною «действительности».

14

Основной недостаток Толстого – безвыходный имманентизм. Он как будто не догадывается, что есть еще что-нибудь, – кроме природы и человека. Все его поиски, все пресловутые «превращения» Пьера, Левина, Нехлюдова – все эти «сопряжения» и проч. не выходят за границы все тех же двух сфер. Он то «поучается» у природы, как его такой же близорукий учитель – Руссо, – то «верит в человека», в русского мужика, в Платошу Каратаева, в «подавальщика» Федора, в дядю Акима и проч. И, едва поверив, опять срывается, снова ищет и «превращается» и т. д. Он обшарил все уголки имманентного мира, но за его пределы не сумел или не смог заглянуть. Отсюда его вечная неудовлетворенность.

15

«Любление твари паче Бога» – вот главный «грех» Толстого. Он так и не увидел за тварью Творца. Что-то сделало его безнадежно близоруким, ослепшим в свете дневной материальности. Может быть, русские 60-е годы, к которым он принадлежал по своему поколению; может быть, великорусский слепой «реализм» вообще; или, наконец, безмерное самолюбие, не допускавшее

«подчинения». Может быть, все вместе. И он являет собою зрелище «слепого титана» (Мережковский) в своем мучительном метании между давящих стен, все в пределах одной или, точнее, д в у х «комнат» – природной и человеческой сферы.

16

Толстому всего более вредило его здоровье (или, точнее, «здоровенность»). Здоровье нормально и безвредно для «ранних» – как Пушкин. Но «последним» нельзя быть нормальными.

17

Достоевский выдержал этот искуc – в своем полу-юрродстве, если не полу-сумасшествии. Но Толстой испугался и надел на себя предохранительную маску «Левушки-дурачка».

18

В известном смысле Толстой может быть охарактеризован, как г е н и й б а н а л ь н о с т и .

19

Толстой не знал «глубин сатанинских». И оттого он скучен нам и скоро будет скучен всем.

Пушкин тоже, казалось бы, не знал. Но он мог их знать. Недаром литература тотчас же после него так развернула эти темы (Гоголь, Лермонтов, даже Тургенев, и в конце – Достоевский). Пушкин «не знал» только потому, что он был м и н у т а ю н о с т и России, а в ту минуту оне не проснулись еще в человеке, хотя могут быть сильны потом.

20

«Анна Каренина» – великолепный ураган в стакане воды.

21

Толстой и Достоевский – фарисей и мытарь. Толстой, как истый протестант, не знает покаяния; Достоевский, как католик, упивается им.

22

Нужно бы все же пересмотреть вопрос о национальной характерности Достоевского и Толстого, – и, может быть, сильно ограничить ее. Точно ли они были наиболее подлинным и, главное, полным выражением России? В Толстом, например, явно нет ничего православного, ничего соборного: он гораздо ближе к протестантству. Достоевский также слишком замкнут в себе для православного мира. Не следует забывать, что оба они – плоды конца нашего XIX-го века, когда Россия за два петербургских столетия успела так пропитаться Европой, что перестала отличать себя от нее. В этом, может быть, также главная причина успеха их в Европе, увидевшей в них свой русский вариант – наиболее оригинальное, «славянское», выражение все той же основной европейской темы «гуманизма» (мир, как человеческая индивидуальность, – мир, как человек). Подлинную же, непохожую на Европу Россию – с ее космическим мироощущением – Европа едва ли и почувствует, так же как она не почувствовала столь понятной нам Византии. В этом смысле наша обычная гордость успехами русской литературы на Западе может быть подвергнута серьезным оговоркам.

23

Толстой для России в некоторых отношениях то же, что Гейне для Германии, – минута само-недоверия и само-отрицания. Для него также характерны анти-национализм, анти-патриотизм, легковесная революционность и космополитизм, причем он не имеет для себя даже оправдания инородчества, как Гейне. Те же черты характеризовали и всю его эпоху, увенчавшую его таким триумфом. Но в иные, более национально-здоровые времена он легко может стать столь же *demodé** в России, как сейчас Гейне в Германии (что уже отчасти и есть).

24

В исключительном успехе Толстого (самом большом прижизненном за всю историю человечества), в числе прочих «пружин», действовало несомненно и впечатление, какое давал он лично, как своего рода Wundergreiss («чудо-ста-

* Вышедший из моды (*фр.*).

рик)), – аналогичное впечатлению от «вундеркиндов». С его смертью этот интерес естественно отпал – и слава его стала затихать с необычайной быстротой. Возможно, что само его (тоже исключительное) славолюбие и славоискание (неисчислимые портреты, бюсты, интервью, дневники, сообщения, юбилеи и проч., и проч.) объясняются более всего предчувствием этой непрочности.

25

Лев Толстой оправдал на себе слова Вольтера: «дайте мне славу на один день, – и я буду знаменит всю жизнь»: слава романиста обеспечила успех банальностям «философа». И ни в чем так не выразилась легендарная его удачливость (не подлинное счастье, которого у Толстого не было), как в том серьезном усердии, с которым люди переворачивали лет тридцать подряд этот умственный и моральный мусор.

26

Толстой – «голый король» (сказка Андерсена). Как это случилось – загадка истории, – что серьезно толковали и волновались вокруг него, как в свое время вокруг Руссо, почти как вокруг Лютера, – тогда как это был только второй (или хронологически первый) о. Григорий Петров? Со временем его эпоха, этот конец «машинного» XIX века, будет казаться таким же образом религиозного безвкусыя, каким та же эпоха является нам уже сейчас в отношении своего «стиля» (здания, одежда, мебель 60–90 годов). Это была исключительно пресная пора в истории. И этот вегетарианский недосол ни в чем так не чувствуется, как в «открытиях» Толстого (так же, как в его жизни и отчасти даже в искусстве).

27

Главный недостаток жизни Л. Толстого – в ее б е с т р а г и ч н о с т и . А для человека такого размера трагедия в биографии обязательна. Зачаток ее был, может быть, у Толстого в его неравнодушии к Т.А. Кузьминской (сестре жены), но он добродетельно подавил в себе это чувство. Осталась «трагедия» с Софьей Андреевной – домашняя тридцатилетняя война. Толстой и тут, как во всем, заменил мистические крайности жизни буржуазной «трезвостью» и умеренностью.

28

Олеографическая эпоха Толстого (80–90 годы)... Тогда все пахло «премией «Нивы» – в том числе и «религия» Толстого.

29

Очень понятно, что Толстой кончил «отрицанием» пола. Действительно, если пол таков, как в «Крейцеровой сонате» (и каким, видимо, был он у самого Толстого – ср. также воспоминания жены), то только и остается его отрицать. Точно так же – если война такова и только такова, как передано в «Войне и Мире», то остается отрицать войну.

30

Ср. Пушкина с Достоевским и Толстым в отношении пола: как легко он у первого, как тяжел и мутен у последнего! Пол юности и пол в старости.

31

У Толстого ни в чем нет улыбки – ни в жизни, ни в творчестве. Мир его – весь бессолнечный. Ср. с Пушкиным, который всегда озарен солнцем и всегда улыбается.

32

Лев Толстой принес на данный ему талант даже не десять, а, может быть, сто талантов, но половину – поддельной монетой.

33

История славы Льва Толстого, как «основателя новой религии» – повторение в реализме действительности гоголевского «Ревизора»: «И почему только приняли за ревизора? что нашли похожего?»

34

Во Льве Толстом был какой-то самообман. Едва ли не продал он права своего последнего-родства («последний из великих», что стоит всякого первородства) за чечевичную похлебку рационалистических достижений и прижизненного триумфа. В искусстве он продолжает Достоевского, а в мысли пытается продолжить Писарева. Похоже, что его опьяняло ощущение богатства своих сил, – и отсюда родился своеобразный демонизм:

«достигну всего – без труда и без жертв». Очень смелый и трудолюбивый по внешности, он где-то в центре был робок и ленив. И ни к кому так не идут слова, сказанные Ангелу лаодикийских (последних) времен: «ты говоришь: я – богат, а не знаешь, что ты – нищ и слеп».

35

Соблазн Толстого – не байронический соблазн самодовлеющего могущества одинокой человеческой личности, а «лаодикийский», космический соблазн всемирного захвата, претворения всего в свою личность. Третье, а не второе искушение. Это своего рода «цезаризм», параллельный политическому. Отсюда и острая, почти личная ненависть Толстого к Наполеону («жирные ляжки», «обрызган одеколоном»), и также к Петру (увидел только казни), к Екатерине («дурной запах»), и даже к Потемкину («грязный и потный»). Это все – соперники.

36

Впечатление от III-го тома бирюковской биографии Толстого: Вечный, неподвижный страх смерти – это главное чувство всей его жизни. Вечное искание чем бы «заслониться». Никакого чувства жизни: это другие жили и отжили за него (Пушкин, Тургенев, все «предки»). Он – живет, как на кладбище, и «ждет»... Вечный старик – старик с самого рождения. Отсюда ненависть к молодости – «так бы и задушил». Особенно к полу (глубокая, бессознательная зависть). И все «грех, грех» – как у старой нянюшки. И вечная воркотня на всех, – как у нее же. О «христианстве» тут смешно и говорить. Вся его трагедия в том, что он никогда не почувствовал христианства – не почувствовал, что был Христос. Не имел вообще никакого чувства жизни «по ту сторону» (антитеза Лермонтову). Мир захлопнут, как ящик, тяжелой крышкой смерти, – а он под ней бьется и «ждет». Страшно, страшно – и что-то лепечет ледяным языком о какой-то «любви». Авось, хоть она выручит...

37

«Неверие во Христа пришедшего» – признак, по которому ап. Иоанн указал нам отличать дух антихристов, определенно

характеризует Толстого. Это естественный вывод из его религии гуманизма, проведенной вполне последовательно: человеческое начало у Толстого автономно, и человек в сущности не нуждается в Боге. Поэтому из двух заповедей Евангелия³ удержана одна вторая, с забвением первой и «наибольшей», а «ближний» понят в чисто-гуманистическом смысле, – как всякий человек вообще. Иначе сказать, здесь дан полный очерк человеко-божия, вместо Бога-человечества («человек хорош уже потому, что он человек»). Поэтому нужно быть очень осторожным в увлечении Толстым.

38

В учении Толстого, его характере и успехе начало, быть может, оправдывается всегдашнее народное у нас предчувствие связи России с явлением Антихриста. Страх этой связи не случайно, конечно, пронизывает все века и все формы нашей религиозной жизни. Запад – также христианский – не ощущал, однако, такой связи. Зато там был хорошо знаком (мало известный у нас) непосредственный страх Сатаны. В этом сказалось всегдашнее различие трансцендентного (на Западе) и имманентного (у нас) переживания религии. Явление Антихриста, очевидно, более всего угрожает нам – в связи, вероятно, с «гуманитарными», толстовскими элементами русской души.

39

Борьба между духом Лермонтова и духом Толстого – вот ожидающая нас наша религиозная борьба.

VII РОЗАНОВ

1

Самое важное в Розанове, что его «антихристианство» во все не демонично, а тоже религиозно (по крайней мере, так в своем истоке). Это самое оригинальное и знаменательное в нем – и не для него только.

2

Демонизм был всюду – в 3. Европе, как и в древнем мире. Не нова и атеистическая критика рационализма. Но Розанов, и единствен, и пророчествен для России, – потому что, враждуя с христианством (аскетической его формой), не враждует с Богом. В этом религиозно-положительный смысл его явления.

3

На Западе кто не был с христианством – был безбожен (или религиозен лишь вербально, как в «деизме»). Безбожен – или в сторону позитивного гуманизма (все «Вольтеры»), или в сторону демонического человекобожия (все «Ницше»). Только в России стала возможной религиозная критика аскетического христианства. И это будет поважнее гуманистического полуреформаторства европейского типа, – как у Достоевского и Толстого.

4

«Суть» Розанова, конечно, – в требовании религиозного быта. Но сперва он укладывал это требование в рамки традиционного христианства и корил мир за нерадивое его осуществление. Позднее же «догадался» – и направил свои укоры по другому адресу. Оставаясь всегда на религиозной почве. Это совсем не «русский Ницше», как звали его наши близорукие «европейцы» (недаром он так не любил этой клички). Напротив, весь смысл Розанова в том, что это у же не «Европа».

5

Для Розанова характерно, что христианство кажется ему менее половой религией, нежели иудаизм. Но разве в мире Ветхого Завета возможны были «рыцарь бедный» и св. Тереза? Все половые секты у нас и на Западе? Иоанн Лейденский, мормоны, хлысты и Кондратий Селиванов? В иудаизме (как и в магометанстве) простое, добросовестное, «семейно-бытовое» сожительство – хотя бы и с целым гаремом. «Оне», но не «она». Акт природы, но не лица. Там та же преснота пола, какая чувствуется и у самого Розанова, сквозь все его сексуальные умиления.

6

Розанов отнюдь не еврей (как он сам о себе думал). Еврей неотделим от идеи Мессии, а Розанов вынимает из иудаизма

именно эту идею. Вместо духовного человечества (мистический идеал еврейства), он удовлетворяется простым посюсторонним, земным человечеством. Его влечет лишенное всякой «цели», почти позитивное упоение игрою быта, заслоняющее от него бездну и создающее «жизнь» в переливах цветов на поверхности (стихия театра). Это семитский Восток вне еврейства – те «жрецы Ваала и Астарты», которых проклинали пророки Израиля.

7

«Кроткий демонизм» называлась одна из ранних статей Розанова (против Меньшикова). Это определение в более серьезном смысле идет к его собственной идеологии и проповеди. С тихой лаской он уводит «назад» – будто в Вифлеем – только бы не идти на Голгофу.

Примечания

¹ Конфертативы – от латинского «confertus» (плотный), «врачебные средства, возбуждающие похоть» (Словарь научных терминов, иностранных слов и выражений. Под ред. В. В. Битнера. СПб., 1905, с. 405).

² «Валтасаровы над ней слова» – «МЕНЕ, МЕНЕ, ТЕКЕЛ, УПАРСИН» – таинственные слова, предвещавшие гибель Вавилона и последнего его царя Валтасара, проявившиеся на стене зала, где происходил пир (Валтасаров пир). Слова эти были прочитаны и истолкованы пророком Даниилом; Валтасар – имя пророка Даниила при царском дворе.

³ «Иисус сказал ему: возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Евангелие от Матфея, 22, 37–39).

ИЛЛЮЗИИ «ЖИРНОГО ЦАРСТВА», ИЛИ «ГАМЛЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ»

В 1921 году в Берлине стал выходить ежемесячный критико-библиографический журнал «Русская книга», в котором копились скудные, порою противоречивые, но от этого, быть может, еще более трагические повествования о судьбах представителей российской интеллигенции, которых не минуло беспощадное лихолетье Гражданской войны в России.

Был в журнале открыт даже специальный раздел «Судьба и работы русских писателей, ученых и журналистов за 1918–1920 гг.», из которого потрясенная Европа узнала о том, как дешево стали в России цениться человеческая жизнь и талант и что даже писатель, ученый и художник не могут более укрыться в тиши профессорского кабинета или мастерской, чтобы с философской невозмутимостью осмыслять происходящие вокруг социальные борения и потрясения.

Наступила эпоха бескомпромиссная, железная, о которой Василий Васильевич Розанов в откровениях «Апокалипсиса нашего времени» сказал беспощадные, трагические слова о «железном занавесе», повторенные 5 марта 1946 года Уинстоном Черчиллем в его знаменитой Фултоновской речи, положившей начало «холодной войне»:

«С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.

– Представление окончилось. Публика встала. – Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Среди грома социальных битв как-то тихо и незаметно появилась небольшая книжка «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке», принадлежащая перу русского философа и обществен-

ного деятеля князя Евгения Николаевича Трубецкого (1863–1920), о судьбе которого в 1921 году первый номер журнала «Русская книга» привел скудную информацию: «Кн. Евг. Ник. Трубецкой, б. проф. Моск. унив. скончался от тифа в конце 1919 г. в Новороссийске».

В действительности Е.Н. Трубецкой скончался 23 января (по старому стилю) 1920 года, о чем журнал сообщил в своем третьем номере, и брошюра, вышедшая в 1922 году в московском издательстве близкого приятеля В.В. Розанова Георгия Адольфовича Лемана, напечатанная на рыхлой газетной бумаге в типографии «Боровичско-Валдайского Кустарного и Сельскохозяйственного Союзного Товарищества», объемом всего в сорок восемь страниц, стала одним из последних трудов оригинального русского мыслителя, название главной книги которого «Смысл жизни» (1918), пожалуй, вернее всего отражал основную идею его философских исканий.

Сегодня о Е.Н. Трубецком пишут все чаще, но не о судьбе «Иного царства», книге, подведшей своеобразный итог подвижнической работы по единению людей во имя духовного возрождения России. Как ждут еще своего исследователя труды и дни его старшего брата князя Сергея Николаевича Трубецкого (1862–1905), русского религиозного философа, публициста и общественного деятеля, первого выборного ректора Московского университета.

«Гамлетом русской революции» назвал Е.Н. Трубецкого Председатель Совета Министров России С.Ю. Витте, предложивший в 1905 году князю пост министра народного просвещения. «Это чистый человек, – писал С.Ю. Витте в своих «Воспоминаниях», опубликованных после революции, в 1923 году, – полный философских воззрений, с большими познаниями, как говорят, прекрасный профессор, настоящий русский человек, в неизгаженном (союз русского народа) смысле этого слова, но наивный администратор и политик.

Совершенный Гамлет русской революции. Он мне, между прочим, сказал, что едва ли он, вообще, может быть министром и, в конце концов, и я не мог удержать восклицания – «кажется, Вы правы».

Эта на редкость точная характеристика подтвердилась и в последующие годы, когда Е.Н. Трубецкой стал ясно ощущать, как на его глазах распадается связь времен, как мысль подменяется словами («слова, слова, слова»), как политическая и социальная демагогия начинает править миром. Он пытался противопоставить надвигавшемуся духовному хаосу не только свою философскую идею «святой соборности», то есть единения людей на основе православия,

правды и справедливости, но и общественно-политическую деятельность.

Он являлся членом Государственного Совета, был одним из основателей Конституционно-демократической партии, вскоре, однако, ее все же покинувший, избирался членом Всероссийского Церковного Собора, принявшего постановление о восстановлении в России патриаршего управления.

Е.Н. Трубецкой искренно полагал, что именно практическая работа способна приостановить надвигавшуюся духовную катастрофу. Не экономическую, не социальную, но именно духовную, ибо ясно видел, что *звериный лик индивидуума*, то есть способность убить, унижить или ограбить себе подобного и найти пристойное тому оправдание, проявляется в эпоху крушения религиозно-нравственных, подлинно народных начал. Именно поэтому, предчувствуя русскую трагедию, размышлял он над нравственными столпами русского народного характера. Именно поэтому обратился к русскому фольклору, к русской народной сказке.

Тема для философа мирового уровня, последователя и ученика Владимира Соловьева, автора книг, посвященных религиозно-общественным идеалам христианства, философии права, метафизической теории познания, русской иконописи и многих других, прямо скажем, неожиданная, но если вдуматься, то глубоко закономерная. Исходя из материала отечественного фольклора, Е.Н. Трубецкой вышел на новый уровень теории познания действительности, и за вроде бы отвлеченными абстрактными схемами теперь стояла сама жизнь и в конечном счете судьба его родины.

Россия Е.Н. Трубецкого, реальная, распадающаяся на составные части, и та, идеальная, которую в *«тоске по всеединству»* (термин Е.Н. Трубецкого) он тщетно пытался собрать в некий Собор, агонизировала в братоубийственной войне. Пророческие стихотворные строки Владимира Соловьева, начертанные еще в 1894 году, стали отнюдь не поэтическим образом, но реальностью для его ученика:

О, Русь, забудь былую славу:
Орел двуглавый сокрушен,
И желтым детям на забаву
Даны клочки твоих знамен.
Смирится в трепете и страхе,
Кто мог любви завет забыть, —
И третий Рим лежит во прахе,
А уж четвертому не быть.

И все-таки забыть былую славу богоносной страны Трубецкой не мог, да и не хотел – это была его родина, пусть униженная и оскорбленная, но уже ступившая на терновый путь далекого обновления. Именно эту дальнюю историческую перспективу будущего российского всеединства, во имя которого он жил и творил, Трубецкой объективно выразил в таких, казалось бы, злых и несправедливых по отношению к своему народу работах последнего закатного своего периода, как *«Звериное царство и грядущее возрождение России»*, *«Великая революция и кризис патриотизма»* (обе работы 1919 года). И, конечно, *«Иное царство» и его искатели в русской народной сказке»*.

Эти книги продолжали его давнюю тему, которая прозвучала еще в ноябре 1910 года в дни десятилетних поминок по Владимиру Соловьеву. В реферате «Владимир Соловьев и его дело» Е.Н. Трубецкой предрекал этот испепеляющий самум, которому суждено будет пронестись над просторами России во имя грядущего ее Возрождения: «Русское общество мечтало о скором, близком осуществлении царства правды на земле, в котором наступит полное общественное обновление. Все мы так или иначе участвовали в созидании нашего земного рая, той преображенной земли, где должна царствовать преображенное человечество.

Но Россия еще не выстрадала своего просветления, не приняла еще своей последней крестной муки; а потому рухнула наша хижина, построенная из негодного, наполовину сгнившего материала». Того, что время это придет очень скоро и что сам он погибнет под обломками рухнувшей России, Е.Н. Трубецкой, конечно же, предвидеть не мог, как не мог и предположить, что его записки «Из путевых заметок беженца», рассказывающие о годах гражданской войны, будут опубликованы в 1926 году в Берлине в эмигрантском «Архиве Русской Революции».

Книга «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке» основывалась на сравнительно небольшом по объему материале, на сборнике русских народных сказок А.Н. Афанасьева.

Скорее всего, в руках Е.Н. Трубецкого случайно оказался двухтомник 1897 года, третьего издания знаменитого афанасьевского собрания русских народных сказок. Однако хотя он оперировал материалами лишь одного национального фольклорного фонда, но проблему *«неумирающих ценностей человеческой жизни»* в сфере национального и общечеловеческого (*«сверхнародного»*) решал в контексте всей мировой культуры. И иерархия этих неумирающих ценностей, иными словами, сосуществование нравственных народ-

ных идеалов и того, что можно было бы назвать лжеидеалами, неожиданно многое объяснила в той туманной субстанции, которая именуется «душа народа»; в искажении иерархии этих ценностей Е.Н. Трубецкой увидел истоки происходящей с Россией трагедии.

Так или иначе, для Е.Н. Трубецкого сказка любого народа есть реально существующая народная утопия, и поиски «инога царства», «лучшей доли» есть попытка воссоздания ее в сказочном мире. По сути дела, и это Трубецкой ощущал отчетливо, все происходившее в России (революция, гражданская война, разруха) было теми же лихорадочными поисками «инога царства», исканиями «неизреченного, волшебного богатства», но в мире реальном.

Надо сказать, что фольклор всегда был индикатором социально-политических изменений, происходивших в русском обществе. Культура, философия, искусство в разные исторические периоды всякий раз по-новому интерпретировали фольклорное наследие, обращаясь к тем или иным его жанрам. Вспомним хотя бы интеллигентское *неонародничество* предреволюционных лет, ожидание появления «стихийных людей» (выражение Александра Блока), когда предчувствовался «отдаленного восстания надвигающийся гул», интерес к *неомифологизму* и иррациональным фольклорным жанрам (духовные стихи, сектантская поэзия), что особенно было присуще творчеству Н.А. Клюева, С.М. Городецкого, С.А. Есенина и многих других писателей и поэтов. Происшедший революционный перелом рельефнее всего выразил самый «непритязательный» фольклорный жанр – частушка, и именно ее *пулеметная очередь* прошла метрику блоковского стиха.

Однако философию революции объясняла сказка, ибо она в большей мере, чем другие фольклорные жанры, выражала социально-утопические устремления народа. «Иное царство» искренне искали в те годы многие, забывая при этом лишь об одном – никогда еще утопия не становилась реальностью. Е.Н. Трубецкой обратил внимание, что эти «многие» разнятся в плане духовном по отношению к системе «*неумирающих ценностей человеческой жизни*», и выделил среди сказочных героев-искателей «инога царства» людей *низшего, высшего и среднего* духовного уровня. У каждой категории были и есть свои собственные идеалы, и сказка объективно выражала каждый из них.

Реально существовал в сказке любого народа и «*воровской идеал*», вековая мечта «*легкого хлеба*», добытого без труда и усилия. Эта моральная система, которую можно было бы определить как «*вульгарный гедонизм*», распространена во все века повсеместно,

но страшно, если она становится социальной доминантой. Именно в главе «Воровской идеал. Сказка в роли социальной утопии» революционная цензура тех лет усмотрела контрреволюционное содержание и беспощадно черной тушью вымарала во всех экземплярах четырнадцать строчек.

В социально-политической атмосфере тех лет, когда властвовал принцип «либо – либо», всякого рода интеллигентские сомнения и метания, «гамлетовщина», воспринимались не как чистый поиск свободного ума, болеющего за нравственное нездоровье родины, стремящегося вывести человека из нравственного тупика, куда он попал не по своей воле, а утилитарно, как враждебная пропаганда. Словом, философия была занятием небезопасным, и часто судьба зависела от того, кто и как тебя поймет.

В принципе, тезис о «воровском идеале» был так или иначе подхвачен и освоен отечественной литературой – ведь ставшие сегодня легендарными булгаковской Шариков с его «все поделить» и его идейный учитель Швондер суть носители этого низменного идеала.

Однако есть в русской сказке и, следовательно, в русской жизни и иные идеалы, которые «*смотрят в небо*». Именно они и определяют подлинную нравственную физиономию народа. Цена подъема в небеса необычайно высока. Как пишет Е.Н. Трубецкой в своей книге, «*не человеческое мясо, а человеческая жертва*», когда кормит героя волшебную птицу Моголь, поднимающую его в небеса, к иному царству, кусками собственного тела.

В самом факте существования «*иного царства*» не как осязаемой конкретной материальной субстанции («*жирная утопия солдата-дезертира*»), а как вечного стремления к нему, воспарения над жизнью («*полет к Ненаглядной Красоте*»), видит Трубецкой будущее одухотворение России, ее грядущее Возрождение. И самое великое, что приобретает тогда человек, есть дар поистине бесценный – «*мирообъемлющий взгляд*», торжество человеческого духа.

Тому, как сумел Трубецкой предугадать неизбежное торжество человеческого духа, остается лишь удивляться. Кругом шла братоубийственная война, брат шел на брата, сын шел на отца, а Трубецкой говорил об идеалах *всеединства*, о *христианском мирочувствовании*, о проблемах, которые казались большинству в те годы подлинной чепухой, бредом сумасшедшего, – о какой-то «*Тайне солидарности всей живой твари и ее откровении в сказке*» (о том, что грядет экологическая катастрофа, тогда и представить не могли). Для Трубецкого же все это имело смысл высший как Безусловное, Всеединое.

Категория «ино́го ца́рства» как «национального преломления вселенского откровения», по мысли Е.Н. Трубецкого, позволяла познать то, что весьма неопределенно и по сей день называется «русская душа». Русская волшебная сказка отразила то «женское мироощущение», «слабость волевого героического элемента», которое так беспокоит и раздражает нерусского человека, рождает мифы о податливости и рабской сущности славянина. И очарованные этим мифом, идут иноземцы завоевывать мистическую страну и всякий раз обманываются. *Терпение, мудрость, смирение, божественная благодать* (Василиса Премудрая), словом, все то, что входит в понятие «женственного», неизменно в конце концов одерживает верх.

Эта идея была не нова для русской философской мысли. Об этом, правда, на ином жизненном материале, много размышлял В.В. Розанов, а Н.А. Бердяев в статье 1918 года «О «вечно-бабьем» в русской душе» сформулировал идею еще более категорично и резко: «В самых недрах русского характера обнаруживается вечно-бабье, не вечно-женственное, а вечно-бабье».

Е.Н. Трубецкой же на последнем этапе своей жизни эту мистическую загадку русского национального характера решал на принципиально новом для метафизики материале, обратившись к духовному пласту *народного, незамутненного мироощущения*. И не просто подтвердил на материале сказки тезис о «женском мироощущении», но сделал один вроде бы небольшой, но принципиальный шаг в его развитии.

Он не поддался соблазну философского умиления перед этой уникальной алогичностью русского национального характера, но сказал о «живом деле» как единственном средстве победы над низкой утопией «легкого хлеба», ибо лишь тогда восторжествует в русской жизни подлинное откровение «ино́го ца́рства», а не пародия и карикатура на него.

«Иное царство» как в жизни, так и в сказке имеет смысл лишь как категория духовная, а не вульгарно-материальная. Именно утрата этого духовного начала более всего страшила философа. Еще в ноябре 1910 года в докладе «Спор Толстого и Соловьева о государстве», прочитанном на собрании Религиозно-философского общества в Москве, Е.Н. Трубецкой отчетливо высказал следующее: «Совершенство Царства Божия находит себе полное, адекватное выражение только в совершенной победе над злом, в совершенном и всеобщем одухотворении. Чтобы победить раздвоение духовного и мирского, Богочеловечество должно преодолеть раздвоение духа и плоти. Эта окончательная победа выражает собою

предел и конец здешнего существования. Ибо Царство Христово – не от мира сего».

Нельзя, впрочем, сказать, что книга «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке» осталась совсем незамеченной. Она была воспринята с той предельной ясностью, которая характерна для эпох ожесточенного классового противостояния. У нас в стране она получила все самые нелестные и категорические ярлыки. За рубежом же она стала трактоваться в большей мере как памфлет политического характера. Эта узость обеих противоборствующих сторон достойна лишь сожаления, ибо она лишила нас возможности узнать о себе больше и нечто такое, что заставило бы человека задуматься и оглянуться окрест – ведь вовсе не о политике писал Е.Н. Трубецкой, а боролся за человеческое в человеке, за то самое высшее *«иное царство»*, которое вечно.

Сожалая о своей уходящей России, не принимая Россию новую, с радостным оптимизмом рванувшуюся к иллюзорному материальному счастью, он приветствовал Россию будущую, в которой воплотится великая духовная идея, и человек посмотрит на Небо. «Рушится все то, что не имеет безусловного основания, – писал незадолго до революции Е.Н. Трубецкой, – уносится временем все то, что не имеет корней в сверхсовременном. Но вечно пребывает Безусловное, Всеединное, и бессмертен человек, как сосуд, орудие и проводник божественного в мире. Или мир не имеет смысла, или смысл этот есть совершенное Богочеловечество. В нем – надежда всей твари, начало преображения для всякого человека и для всякого народа».

Хотелось бы, чтобы возвращенная книга Е.Н. Трубецкого «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке» была воспринята именно в широком философском плане, а не как узкое фольклористическое исследование. Для фольклористов же она несомненно будет иметь характер принципиальный, ибо даже в те нелегкие годы преподавала *образец настоящего социологического исследования* устного народного творчества, исполненного не в угоду догмам политического момента, а во имя высокой истины. Книга как бы давала шанс, показывая, как это можно и надо делать, но фольклористика по этому пути в силу, конечно же «объективных», но отнюдь не извинительных причин пойти не смогла. Она предпочла *схемы вульгарной социологии*, да честно говоря, резко упавший в те годы общий уровень культуры и знаний и не предполагал иного пути. Смейте надеяться, что сегодня мы стали мудрее и прислушаемся к предостережениям русского философа, перед своей смертью

создавшего уникальный труд о русском фольклоре и похороненного все-таки на русской земле.

В 1859 году А.Н. Афанасьев в статье «Журнальная промышленность» так охарактеризовал наступающую капиталистическую эпоху с «новыми» нравственными идеалами: «В наш практический и деньголюбивый век...» Двадцатый век, к сожалению, так и не избавился от этих пороков человеческого бытия. Но преодолевая низкое в себе, поднимая глаза к Небу, перешагивая через «*жирное счастье*», вечно стремится человек к высшему. Выдержит ли он этот путь? Вот в чем вопрос!

PS. В 1923 году в первом – втором номере эмигрантского журнала Петра Бернгардовича Струве «Русская мысль» (Прага – Берлин) эта работа Е.Н. Трубецкого была напечатана полностью, без каких-либо цензурных изъятий и сокращений. В марте 1990 года нам удалось опубликовать во второй книге журнала «Литературная учеба» восстановленный текст именно того давнего советского издания книги Е.Н. Трубецкого «Иное царство» и его искатели в русской народной сказке». Встречающиеся между двумя текстами (берлинским и московским) разночтения носили в основном редакционный характер (абзацы, курсив, разрядка и т.д.), что и было указано в публикации.

Важной особенностью публикации в «Литературной учебе» было то, что в ней были особо выделены все *восстановленные цензурные изъятия*, все разночтения, имеющие содержательный характер. Для научной и общественной судьбы этой последней книги великого русского мыслителя в XXI веке это было не менее важно, чем простое воспроизведение исходного текста этой честной, прозорливой, *вечной книги*.

ПУТЬ И СУДЬБА АЛЕКСАНДРА ВАНОВСКОГО

Своего современника Александра Алексеевича Вановского Василий Васильевич Розанов не знал и никогда с ним не встречался. Да и не могла такая встреча состояться. Слишком разными были их жизненные темпераменты, как различны были их общественные идеалы и нравственные устремления. И все же нелегкий жизненный путь и причудливая судьба неистового революционера-романтика Вановского стали своеобразным умозрительным ответом на непростые вопросы вечно рефлексирующего русского интеллигента Василия Розанова.

Революционеры Розанов, мягко говоря, не жаловал, особенно не любил крайние формы проявления их революционного темперамента. В отличие, например, от Д.С. Мережковского. В статье 1908 года «Бес или Бог», включенной в книгу «В тихом омуте», мягкий и интеллигентнейший Дмитрий Сергеевич оправдал и фактически воспел изуверское протестное самоубийство при помощи гвоздя и ложки Максима Бердягина, одного из героев русского террора. Розанов, отвечая Мережковскому, написал в «Уединенном» так: «Хороша Геся Гельфман, – но кровавая Фрумкина мне противна, как и тыкающий себя от злости вилкой Бердягин. Все это чахоточные, с чахоткой в нервах, Ипполиты (из «Идиота» или «Подростка» Достоевского). Нет гармонии души, нет величия. Нет «благообразия», скажу термином старца из «Подростка», нет «наряда» (одежды праздничной), скажу словами С.М. Соловьева, историка».

Реальная встреча Розанова с Вановским так и не состоялась. Однако судьбе было угодно, что именно розановские нравственные рецепты ускорили излечение Вановского от нравственной чахотки, что гармонию и величие своей души русский революционер обрел в результате долгих скитаний и мучительных переживаний как на Родине, так и на экзотической чужбине.

В 1994 году в пятом выпуске альманаха «Российский архив» были опубликованы документы, относящиеся к жизни Александра Алексеевича Вановского (публикация Елены Бронниковой). Эта публикация получила продолжение, выявив круг лиц, так или иначе связанных с его судьбой. Откликнулись исследователи из Японии, США, отыскалась племянница А.А. Вановского – Мира Мстиславовна Яковенко, дочь брата жены Александра Алексеевича – Веры Владимировны Вановской (урожденной Яковенко). Хранящиеся у них архивные материалы позволили по-новому взглянуть на необычную судьбу оригинального русского мыслителя, органично соединившего в своем творчестве Россию, Восток и Запад.

Александр Алексеевич Вановский был известен советской исторической науке как один из девяти делегатов I съезда РСДРП, проходившего в 1898 году в Минске. Правда, в мемуарной литературе и научных исследованиях его постоянно путали и путают то с братом Виктором (тоже известным революционером), то с военным министром П.С. Ванновским.

А.А. Вановский (1874–1967) окончил 3-й Московский кадетский корпус, но оставил в 1897 году военную службу и поступил в Московское техническое училище. В 1898 году стал одним из организаторов Московского «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» (от Союза он и был послан делегатом на съезд в Минск). В конце 1898 года был арестован и сослан в Вологду, где познакомился с Н.А. Бердяевым, А.М. Ремизовым, Б.В. Савинковым. В конце жизни Вановский вспоминал: «Город был набит ссыльной интеллигенцией и действительно представлял собой *Северные Афины*, как мы его в то время называли. Всего больше было социал-демократов, затем шли социал-революционеры, а за ними политически неопределенные лица... Тронулись реки, а вместе с ними вниз по Сухоне тронулись и мы, ссыльные, получившие назначения в разные города обширной губернии. Нас провожали. Некоторые из уезжавших завидовали остающимся в городе, но я – нисколько, так как меня, точно путешественника, тянуло повидать новые, отдаленные места... Я поступил на должность земского техника. Я чинил старые дороги, проводил новые, сооружал мосты, строил школы и больницы. Служба была мне по душе, тем более что она давала возможность разъезжать за казенный счет по всему огромному уезду и охотиться всюду, где заблагорассудится».

После окончания ссылки опять была подпольная работа в Ярославле и Рыбинске, активное участие в боевой группе при

ЦК РСДРП, участие в военном восстании в Киеве, декабрьском вооруженном восстании в Москве, близкое знакомство с В.И. Лениным и, наконец, – создание Московского военно-технического бюро – сверхсекретной подпольной организации, занимавшейся военной и технической подготовкой вооруженного восстания. Вановский руководил разработкой новых видов оружия, в том числе ракет.

В 1906 году Вановский написал книгу *«Тактика уличного боя»*, ставшую весьма популярной у боевиков. В 1917 году, например, штаб Красной гвардии использовал ее для составления плана вооруженного восстания в Москве, а во второй половине XX века книга, переведенная на испанский, стала едва ли не главным учебным пособием для участников различных левацких группировок в странах Латинской Америки. Несмотря на все старания, полиции не удалось обнаружить ни автора, ни типографии, ни тиража *«Тактики уличного боя»*. После поражения революции, не имея возможности легализоваться (за московские события его ждала виселица, а за восстание в Киеве военно-полевой суд, т.е. расстрел), Вановский на долгие десять лет уходит в глубокое подполье.

Эти годы стали переломными в его судьбе. Разочаровавшись в идее насильственного переустройства мира, бывший боевик Вановский признавался: «Я на политику и общественную жизнь ставлю крест... Я не могу заниматься делом, раз вижу, что оно безнадежно... Однако я не могу заглушить в себе какого-то беспокойства, тоски, желания искать лучшее, потерянное; видно, с этой неудовлетворенностью я останусь навсегда».

В поисках истинного пути человечества Вановский обращается к христианству. В своих воспоминаниях, написанных полвека спустя в Японии, он так определил эволюцию своего мировоззрения: «Я без малого провел 13 лет в рядах социал-демократической партии, борющейся с царским правительством за «свободы» и демократию. Но никто не предсказал мне, что после 1905 года у меня явятся религиозно-философские интересы, несовместимые с марксистским пониманием истории. Я пришел к религии не через Библию и не через Канта, как Бердяев, а совершенно иным путем. Ныне коммунистическое движение уперлось в проблему нового гражданина социалистического общества, которую оно пытается разрешить средствами массового террора и психофизического насилия над личностью человека. Та же задача встала предо мной тогда, ибо я понял, что социализм немислим без нового человека,

и в поисках этого нового человека я занялся изучением трагедии, предметом которой является новое рождение (*имеется в виду трагедия Вильяма Шекспира «Гамлет»*. – А.Н, Т.П.). Как возможно такое духовное возрождение человека, при котором он, сохраняя свою индивидуальность, свободно будет сливать свои личные интересы с интересами общества в целом? На этом пути я обратился к Христу как к человеку, поднявшемуся в процессе трагедии на божественную высоту, при сохранении своей Индивидуальности, свободно слившему свои интересы с интересами всего человечества».

В 1914 году Вановский решил легализоваться и пойти на фронт, но его одолевали сомнения: «военное начальство ведь может знать о моих «похождениях», и если я явлюсь, то вместо фронта могу попасть на эшафот. Я долго мучился нерешительностью, но чувство патриотизма взяло верх. Меня выручила путаница, которая царил в военном ведомстве – меня (давно уже) путали с каким-то чиновником». В ноябре 1914 году Вановский получил должность младшего офицера седьмой роты 84-го пехотного запасного полка, а 8 марта 1916 года за военные заслуги социал-демократ, находящийся к тому же на нелегальном положении, был награжден орденом Святой Анны III степени с мечами и бантом и направлен в офицерскую электротехническую школу. Его откомандировали в Хабаровск и назначили начальником радиостанции. В революционные дни 1917 года Александр Алексеевич избирается в Хабаровский Совет рабочих и солдатских депутатов, но в 1919 году заболевает тяжелым нервным расстройством и уезжает в Японию для лечения.

В 1918 году в Хабаровске вышла в свет небольшая книжка Вановского *«Знамя возрождения»* – своеобразный прощальный манифест, где он призывает к прекращению братоубийственной войны, видя спасение только в религии: «Мы истекаем кровью гражданской войны и взаимной ненависти, и никакая сила не может спасти нас от грядущего рабства. Спасение единственно в обращении к заступничеству Небесной Водительницы. И если мы поймем, что великое будущее нашей страны требует от нас великого единения в борьбе за гражданина нового, действительно трудового общества, в котором «несть ни эллин, ни иудей», «ни пролетарий, ни буржуй», а есть только работники духа, творцы общечеловеческих ценностей, то мы поймем также и бессмыслицу кровавого хаоса, в котором пребываем, и найдем средство к его преодолению. Все существующие политические партии, как отравленные при самом своем зарождении затхлым воздухом старого мира,

пропитанные мракобесием, нигилизмом, обывательским эгоизмом и человеконенавистничеством большевики, меньшевики, эсеры, кадеты, монархисты, анархисты должны пройти сквозь пламя борьбы за личность, все должны вывариться в котле творческого духа)... И далее: «наши доморощенные Моисеи связывают борьбу за материальные интересы с разнуданием в человеке зверя, а не с борьбой за личность».

Существует легенда: Вановский неожиданно покинул Россию, потому что увидел вещий сон – будто бы распустился огромный красивый цветок на фоне прекрасной белоснежной горы, из цветка вышла прекрасная японка и поманила его к себе. Говорили также, что, приехав в Японию, Вановский поселился у подножия Фудзиямы и стал вести жизнь отшельника, основав что-то вроде мистической религиозной секты, имел множество последователей среди японцев.

На самом деле все было гораздо прозаичней: он стал преподавать русскую литературу в Токийском университете и занялся изучением восточных философий и религий.

В Японии Вановский прожил около пятидесяти лет, он был профессором нескольких университетов, в том числе университета Васэда. Его вклад в становление японской русистики значителен, что признают и японские исследователи. В 1934 году в парижском журнале *«Путь»* опубликован его доклад *«Мифология Кодзики и Библия»*, который являлся частью большого труда, посвященного сравнительному анализу мифологии Кодзики и первых шести глав книги Бытия и Апокалипсиса. Позднее многие выводы доклада вошли в фундаментальную книгу Вановского *«Кодзики. Вулканы и Солнце»*, где он впервые проанализировал японскую и европейскую мифологические системы.

В середине 30-х годов Вановский публикует работу *«Зеркало судьбы»*, посвященную вешему сну пушкинской Татьяны. Пережив нелегкие годы Второй мировой войны (он бы интернирован как иностранец в лагерь), Александр Алексеевич дождался лучших дней: его книги и статьи начинают активно печатать, он становится преподавателем русского языка на курсах при Министерстве иностранных дел Японии, что значительно улучшило его материальное положение. В 1965 году выходит его самая известная книга *«Третий завет и Апокалипсис»*, с посвящением «Светлой памяти моего друга и учителя Николая Александровича Бердяева». Путь Вановского к христианству был самобытен и нетрадиционен, и все же книга *«Третий Завет и Апокалипсис»* во многом

созвучна идеям С.Н. Булгакова, Н.А. Бердяева, В.В. Розанова, Д.С. Мережковского.

Как итог творческих исканий Вановского, в 1962 году на английском языке была издана книга *«Путь Иисуса от иудаизма к христианству (обнаружение скрытого иудейского сюжета в трагедии «Гамлет»)»*. Это самая неудобная для восприятия книга: ведь за образом Гамлета для Вановского встает образ Христа, тем самым трагедия обретает второй, потаенный смысл.

Постоянной целью мыслителя был поиск ответа на вопрос, каким должен быть человек, чтобы на земле могло состояться справедливое общество. В предисловии к книге он отмечал: «С мироощущением революционера подошел я к Шекспиру, и оно поддерживало меня в борьбе с веками, ревниво оберегающими свои тайны. Я понял трагедию как революцию духа, в которой Логос, стремясь к воплощению в героя, выступает в качестве новатора, разрушающего древний храм иудаизма и воздвигающего новый храм христианской религии».

И в заключение отрывок из письма друга А.А. Вановского Сабуро Симано к Мире Мстиславовне Яковенко: «Как у Александра Алексеевича была своя философия и своя вера, так и у меня своя философия, свое мировоззрение. Мы разнились между собой по некоторым вопросам в этой области, но, конечно, это нисколько не мешало нашей крепкой дружбе, потому что мы были – это самое главное – духовно близки. Мы оба хорошо знали, что человек окружен со всех сторон «Великой Неизвестностью», что древними мудрецами называлось «Неизвестным Богом»...

Судьба оказалась жестока к Александру Алексеевичу. Ему бы умереть в России, в окружении любимых и любящих людей, а он умер даже не дома, в своей любимой квартире, где на стене висела икона и от всего уклада веяло чем-то неизменно русским.

Из-за чего так случилось? По воле неизвестного никому бога? Не знаю. Не дано знать... Так как Александр Алексеевич хотел после земной жизни поселиться около горы, Виштак-сан, считаясь с его желанием, похоронил его останки у подножия горы Такао, что недалеко от Токио».

Было Александру Алексеевичу Вановскому 93 года.

О РУССКОМ ЛЕСЕ И ФРАНЦУЗСКОМ ПАРКЕ

О русской провинции обычно вспоминают от случая к случаю. Когда происходит или грядет то или иное событие, тут и начинают разыгрывать «провинциальную карту». Причем политические игроки понимают прекрасно, что это не туз или король пик, а карта меньшего ранга, но она приходится к месту, а когда игра сделана, то о ней тотчас же забывают. Вот почему к кампаниям, посвященным судьбе русской провинции и малых русских городов, отношусь скептически и даже с опасением.

Еще недавно всплеск «заботы» о русской провинции несомненно был связан с так и не состоявшейся аграрной реформой и ее очевидно непредсказуемыми последствиями. Но даже если она осуществится в будущем, боюсь, что как только приватизация земли насытит аппетит прошлого горожанина и возникнут поместья, ранчо или другие фазенды некоренных элементов, интерес к судьбе русской провинции сменится алчной ее эксплуатацией и провинции будет нанесен окончательный и последний удар и она исчезнет, как Атлантида русской духовности. Сегодня провинция – козырная карта в жесткой предвыборной борьбе.

Когда Россией к концу XIX века овладела лихорадка социального прогресса, русская провинция стала для самолюбивой и, конечно, *прогрессивной* интеллигенции «*проклятым вопросом*». Ее все время спасали, клеймили за невежество, за консерватизм традиций, за патриархальность уклада русского. И ничего сделать не могли. Даже великая литература, честно поверившая в возможность грядущего прогресса, пела отходную провинциальному русскому городу, пела талантливо и самозабвенно, не понимая, что рубит собственные корни. Начиная с известного рефрена «*В Москву, в Москву*» и кончая идиотическими видениями сологубовского Передонова.

Василий Васильевич Розанов, рассуждая едко и зло о литературных обличителях русской провинции, в частности о романах

Федора Сологуба «Мелкий бес» и «Навыи чары», а также о рассказах *Анатолия Каменского*, акценты расставил весьма определенно и опубликовал 11 июня 1910 года в газете «Новое время» статью «Бедные провинциалы...», в которой, в частности, говорилось: «Что же касается скорби патриотов «о провинции», то нельзя не заметить им, что ведь дела Гилевича, Тарновского, Прилукова, Наумова (*скандальные судебные процессы начала XX века. – А.Н.*), да и другие новейшие и тоже весьма скорбные случились уж никак не в «богоспасаемой Пензе», а в городах старой культуры, высокого образования... и, словом, там именно, где «молодежь всеми силами стремится переписывать на машинке» замечательные статьи замечательных авторов... Вместо «бедная провинция» не подумает ли кто-нибудь хоть про себя: «Бедная литература!»

Да, как говорил *Иван Сергеевич Тургенев*, «Москва у России под горой – всё в нее катится», и катилось все «прогрессивное» из провинциального Симбирска, Екатеринбурга, Мариуполя, чтобы переустроить в России все, чтобы навсегда сгнула ненавистная прогрессу русская провинция, где все было спокойно и по-человечески осмысленно, но абсолютно не научно. Вчитываясь в биографии наших революционеров прошлого, да и реформаторов сегодняшнего дня, понимаешь, что не в малой степени их побуждало и побуждает к социальным экспериментам именно нелюбовь к месту своего рождения, к необъятной и неодолимой русской провинции.

Малые русские города могут стать сегодня еще одним полем социальных битв за «новую жизнь», именно благодаря внедрившейся в сознание политиков и власть имущих «мегаполисной» психологии. Большие города не суть Россия, они вненациональны, оторваны от почвы и существуют по общим законам мегаполиса. Малые города – это своеобразные духовные заповедники России, и решать их проблемы можно, лишь поднявшись от мегаполисного сознания до сознания вершинного, т. е. провинциального. Этого, по всей вероятности, случиться с нашими политиками не может даже в силу того, что само определение «провинциальный» ощущается ими как унижительное.

Противоречие это непреодолимо, ибо, поверхностно усвоив столичную психологию, они стыдятся и презирают свою малую Родину, навязывая стандартные пути решения ее проблем. Они видят миражи мегаполиса, не замечая провинциальной сути даже самой Москвы, т.е. ее души. Именно поэтому с легким сердцем ими отдавались распоряжения о сносе зданий или возведении новых,

о переименовании улиц и т.д. и т.п. Именно когда проблемы провинции начинают решать с позиций мегаполисного сознания, то и возникают очаги духовной, социальной, национальной и иной напряженности.

Лучше всего было бы оставить провинцию в покое и не подвергать ее новым социальным экспериментам, а предоставить право коренному населению самому решать свои проблемы. Это ведь для столичного чиновника что Урюпинск, что Мышкин – все едино, тогда как в действительности каждый из этих городов – единственный в своем роде. Как нет двух одинаковых деревьев в лесу, все они разные по роду, растут – кто в ложбинке, кто на горке, а вместе являют собой не призрачный линейный парк на манер французского, а огромный русский лес, который пока еще очищает душу – легкие задыхающегося русского человека.

ПРЕДЧУВСТВИЕ ТУРЕЦКИХ ЦЕПЕЙ

«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечает другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечает другой. Этим разговор и кончился».

Н.В. Гоголь. Мертвые души

Можно ли говорить о кризисе или упадке литературы сегодня? А вчера, позавчера, завтра? Вопрос этот носит принципиальный характер, ибо упирается в проблему – что есть вообще литература, вернее, как ее понимают. Если как нечто развивающееся, то есть проходящее какие-то стадии развития, как некую эволюцию, спроецированную на культуру из мира органической природы, то использование медицинского термина «кризис» вполне правомерно. Этот идущий из греческого языка термин обозначает такие общие понятия, как «решение», «приговор», «решительный исход». Однако всякая эволюция неизбежно ведет к смерти, а следовательно, применительно к теме развернутой дискуссии, к смерти искусства вообще и литературы в частности.

Об этом размышлял еще в 1875 году Константин Николаевич Леонтьев, формулируя в работе «Византизм и славянство» свой знаменитый закон «триединого процесса развития»: «Все в начале просто, потом сложно, потом вторично упрощается, сперва уравниваясь и смешиваясь внутренне, а потом еще более упрощаясь отпадением частей и общим разложением». И далее: «Этот триединый процесс свойственен не только тому миру, который зовется собственно органическим... Он ясен в ходе развития искусств, музыкальных и архитектурных стилей... и, наконец, в жизни племен, государственных организмов и целых культурных миров».

Однако являемся ли мы свидетелями в литературном настоящем «первичной простоты», «последующей цветущей сложности» или «конечного смещения» – сказать трудно. Вроде бы по законам логики истории мы уже на третьем ее этапе и потому вправе ожидать от литературы нашей если не «отпадения частей» и «общего разложения», то по крайней мере некоего признака этого разложения в виде трупных пятен, тлетворного запаха или чего-то иного.

И что самое поразительное, все эти признаки налицо. Литературный поток сегодня мутен и грязен, экологически нездоров и даже опасен для человека. Как бы ни старались критики размышлять лишь над «чистой», опубликованной в журналах словесностью, не замечать, игнорировать, отмахиваться от того, что лежит сегодня на книжных лотках, но согласимся – эта всплывшая на поверхность «порнуха» и «чернуха» тоже, увы, участвует в сегодняшнем литературном процессе, потому что круг ее пользователей (не хочется прозвучать слово «читатель») значителен, а воздействие ее аукнется в нашей жизни не сегодня завтра.

Кому приходилось плавать «вниз по матушке по Волге», нетрудно будет соотнести великую реку России с сегодняшней нашей Литературой: чего там только нет – и цвета она коричневого, и вечером не какие-нибудь там миазмы, а смрад поднимается над ее поверхностью, и плавает в ней неизвестно что, но все-таки это – Волга, но все-таки это – Литература. Пусть с мусором, но великая.

Однако о конце, то есть о кризисе литературы, говорить все же преждевременно. Все-таки конец связан с высокой трагедией, а его как раз нет и, видимо, пока не предвидится. Трагедия уже раз случилась с великой русской литературой, когда были разорваны мощные культурные традиции и возник некий культурный вакуум. К огромному сожалению, приходится признать правоту В.В. Розанова, считавшего русскую литературу именно в силу ее гениальности виновницей всего того, что случилось с Россией. «Литература, которая была «смертью своего отечества». Этого ни единому историку никогда не могло вообразиться», – горестно размышлял в 1918 году о трагическом переплетении судьбы великой русской Литературы с судьбой великой русской Истории В.В. Розанов в своей последней, предсмертной работе «С вершины тысячелетней пирамиды».

Относилось это к литературе действительно великой, грандиозной по масштабам и глубине. Сегодняшняя молодая литература стать «смертью своего отечества», конечно же, не может. Хилая она еще, бледная какая-то, переживающая стадию «первичной просто-

ты». Всегда удивляло (хотя понятно, что такова профессия), с какой серьезностью критика анализирует весь современный литературный процесс, разбирая произведения молодых авторов, в творчестве которых многое, если не все, достаточно банально. Для журнала «Литературная учеба» это еще объяснимо – на то она и учеба, то есть надо объяснить, подсказать.

Культурный вакуум, образовавшийся в результате российской трагедии, воспитал как нового, без культурных традиций читателя, так и нового писателя. Собственно, чего мы хотим от литературы – поворота ли колеса, преодоления ли упадка – если читатель такой, как он есть; в традиционном русском смысле слова «читатель» у нас пока еще не появился. В лучшем случае есть «листатель», проглатывающий отнюдь не шедевры.

Мы несколько тщеславны, привлекая в качестве некоего аналога неоднократно поминаемую в дискуссии известную работу Дмитрия Сергеевича Мережковского «Грядущий Хам». Хотим мы того или нет, но создается иллюзия равноценности явлений и процессов, происходивших в литературе тогда и сейчас. Да и сама литература, прошлая и нынешняя, как бы соотносятся, приравниваются друг к другу.

Однако эти явления отнюдь не одного порядка и качества. Тогда литературный процесс противоречиво метался в рамках богатейших культурных традиций, имел за спиной классику, органически сопряженную с литературным декадансом XX века, в какой-то мере породившую его. Именно тогда и происходило «отпадение частей и общего разложения», пользуясь терминологией Константина Леонтьева.

Сегодня же, в эпоху острой нехватки того, что можно было бы назвать «литературным эфиром», когда классика для современной литературы является некоей фикцией, в лучшем случае желаемым идеалом, литература лишь силится перейти от «простоты» к «цветущей сложности». Однако процесс этот, происходящий в недрах новой русской литературы, имеющей за собой наследие девственно простой, хотя и во многом искренней советской литературы, будет более длительным, чем всем хотелось бы.

Можно ли в таком случае говорить о мировоззренческих основаниях для литературного творчества в настоящем? Чтобы были такие основания, необходимо иметь по крайней мере само мировоззрение. Тот факт, что творцов литературы (в широком смысле этого слова) все более привлекают идеалы вечные, связанные, к примеру,

с религиозными представлениями, радуется, но может и насторожить. Уже больно удивляет энтузиазм «смены вех» в воззрениях на мир (речь идет не о сознании отдельной личности, где смена мировоззрения в ту или иную сторону выглядит вульгарным отступничеством, а в сознании коллективном), простота и наивность, с которыми эта смена совершается.

Энтузиазм, с которым наши отцы и деды отказывались от традиций (религиозных, культурных и т. д.), по силе и пафосу сходен с энтузиазмом сегодняшнего приобщения к «вечным ценностям». Короче говоря, как яростно и во многом искренно наши неразумные предки крушили храмы, так столь же яростно и опять-таки искренно мы, умные и искушенные, эти храмы восстанавливаем. Хотелось бы из литературы современной убрать эту истерику новообращенности и увидеть неторопливость приобретения, созидания. Однако об этом возможно лишь мечтать, ибо традиция в культуре оказалась насильственно прерванной, а кавалерийским наскоком ее не приобрести. Необходимо время.

Совершенно сознательно здесь не назывались имена писателей-прозелитов, да и не в именах дело – подставляй любое из плеяды сегодняшних молодых литераторов. Впрочем, и переживаемая нами эпоха «простоты» преподнесла примеры будущего органического искусства, литературы вечной. Для каждого читателя (не «листателя») это будут свои имена и произведения, и не то важно, кто из них выше – Михаил Шолохов или Андрей Платонов, Осип Мандельштам или Михаил Булгаков, – важно, что все они принадлежат к новой после крушения великой литературе.

Есть, правда, одна странная особенность нового витка отечественной словесности. Шедевры эти рождались в моменты наивысшего гнета морального и физического их творцов. От нравственной травли «собратями по перу» Михаила Булгакова до физического уничтожения Властью Осипа Мандельштама – вот веки этого страшного пути к вершине духа.

Даже духовно безликие 50-е годы прошлого века подарили читателям самую знаменитую интеллектуальную книгу XX века – «Розу мира» Даниила Андреева. А что дала эпоха полной свободы творчества, нареченная перестройкой, в плане «вершинной» литературы? Пожалуй, ничего значительного. Злободневных, модных, актуальных, острых произведений – хоть пруд пруди, а великих нет.

Даже эпоха так называемого застоя дала прозу Александра Солженицына и Олега Волкова, «деревенскую прозу» Василия Бело-

ва, Валентина Распутина, Виктора Астафьева, «городскую прозу» Юрия Трифонова, историческую прозу Булата Окуджавы и Валентина Пикуля, «Затоваренную бочкотару» Василия Аксенова, наконец – произведения грядущей эпохи «цветущей сложности» литературы. То, что они писатели разные, порою отрицающие друг друга, с точки зрения вечности большой роли не играет – все они по-разному отразили трагедию своего времени.

Парадоксальную картину такого будущего единения во времени антиподов нарисовал еще Александр Васильевич Чаянов в «Путешествии моего брата Алексея в страну крестьянской утопии», представив некий невероятный памятник великой эпохе: «Увенчивая колоссальную колонну, стояли три бронзовых гиганта, обращенные друг к другу спиной и дружески взявшиеся за руки. Кремнев едва не вздрогнул, узнав знакомые черты лица. Несомненно, на тысяче пушечных жерл, дружески поддерживая друг друга, стояли Ленин, Керенский и Миллюков... Кремнев успел на барельефе различить несколько фигур – Рыкова, Коновалова и Прокоповича... и не мог удержаться от недоуменного восклицания, в ответ на которое его спутник процедил:

– Памятник деятелям великой революции.

– Да послушайте, Никифор Алексеевич, ведь эти же люди вовсе не образовывали в своей жизни таких мирных групп!

– Ну, для нас в исторической перспективе они сотоварищи по одной революционной работе, и поверьте, что теперешний москвич не очень-то помнит, какая между ними была разница!»

Вообще над обстоятельствами появления великих произведений, когда художник стеснен либо рамками канона (иконопись), либо социальными тисками, стоит задуматься. Можно привести еще один пример для сравнения. Остроумнейшее, легкое сочинение «Новейший Плутарх», созданное во Владимирской тюрьме Данилом Андреевым, Василием Лариным и Львом Раковым, и другое коллективное произведение, созданное на свободе в эпоху первой оттепели, – популярный литературный шлягер «Джин Грин Неприкасаемый» Овидия Горчакова, Григория Поженяна и Василия Аксенова (ГОРПОЖАКС). Вывод напрашивается невероятный и страшный: как для рождения алмаза нужна высокая температура и огромное давление, так и для появления в наше время великой литературы неизбежны бедствия и страдания ее творцов.

Действительно, сочинитель пишет трагедию своего народа собственной кровью. Получается, что пророчески оказывается прав

Константин Леонтьев, утверждавший в 1879 году в своей работе «Письма отшельника»: «Божественная истина Евангелия земной правды не обещала, свободы юридической не проповедывала, а только нравственную, духовную свободу, доступную и в цепях. Мученики за веру были при турках; при бельгийской конституции едва ли будут и преподобные».

Мученики за литературу определяют ее лицо в ту или иную эпоху, вопреки давлению – тоталитарного ли государства, интеллектуальной ли толпы. Сегодня же одинокого художника, пожалуй, не найти. Может быть, один лишь Виктор Астафьев стоически молчит – чувствуется появление произведения незаурядного. **(Эта работа была написана в далеком 1991 году, до выхода его романа «Прокляты и убиты».)** Свобода, свалившаяся на художника, оказывается более тяжким грузом, чем былая несвобода. Оттого публицистика заслонила сегодня литературу, что говорит о проблемах сиюминутных, понятных каждому без каких-либо интеллектуальных усилий, чего как раз обязательно требует чтение литературы.

О том, что не литература, а именно публицистика является сегодня средоточием духовной жизни масс, свидетельствует явление, которое подметил еще Розанов. Правда, сегодня мы наблюдаем нечто обратное тому, что происходило на рубеже веков. Розанов в «Опавших листьях» писал: «Почему «век Николая» был «веком Пушкина, Лермонтова и Гоголя», а не веком Ермолова, Воронцова и как их еще. Даже не знаем. Мы так избалованы книгами, нет – так завалены книгами, что даже не помним полководцев».

Сегодня же наш век знаком литературы никак не отмечен – ведь не называем же мы его «веком Анатолия Рыбакова», «веком Саши Соколова» или, скажем, «веком Вячеслава Пьецуха». Для нас более надежны определения типа «эпоха Сталина», «эпоха Брежнева», «эпоха Андропова» и т. д. и т. п.

Ход литературы – процесс мистический, и предвидеть его невозможно. Тем более говорить о повороте историко-культурного колеса в какую-либо сторону. Все зависит не от воли писателя, а от воли читателя, который диктует ее, отражая свой уровень культурных потребностей. Как заметил все тот же Розанов в «Уединенном», «все стали немножко «метерлинками», и в этом суть. Но стали «метерлинками» раньше, чем слышали о Метерлинке».

Вот когда все станут «немножко Шекспирами» или «немножко Гёте», мы ощутим поворот историко-культурного колеса, а пока мы имеем то, чего объективно достойны, – «туалетную прозу» Виктора

Ерофеева или «железнодорожную поэму» Венедикта Ерофеева да кое-что в современной публицистике. «Души в вас нет, господа: и не выходит литературы», – отчаянно вскрикнул в «Опавших листьях» на переломе эпох все тот же великий Василий Васильевич Розанов.

Все же предчувствие нового гения неотвратимо. Наш безрадостный опыт ужаснет потомков и может стать тем самым утраченным «литературным эфиром», которым будет жить грядущая литература «цветущей сложности». «Жаль только – жить в эту пору прекрасную уж не придется – ни мне, ни тебе».

КОГДА ЖЕ ПРИДУТ ТРЕТЬЯКОВЫ И МАМОНТОВЫ?

Давно желанное слияние интеллигенции с капиталом совершается.

Интеллигенция идет навстречу капиталу.

Капитал, со своей стороны, не остается чужд взаимности.

Иван Федорович Горбунов

Эти пространные размышления о значении «возвращенного» России духовного наследия представителей русской религиозной мысли, о судьбе и роли русской интеллигенции и русской культуры в контексте происшедших в стране кардинальных общественных перемен были напечатаны в 1994 году в журнале «Российская Федерация» (№ 21).

Вынесенный в эпиграф отрывок из рассказа замечательного русского актера и писателя Ивана Федоровича Горбунова «От мирового» как нельзя лучше иллюстрирует широко распространенное ныне мнение о путях выхода страны из всем очевидного культурного тупика. Это своего рода последняя надежда на решение многих проблем, универсальный рецепт грядущего расцвета русской культуры, когда капитал будет щедро поощрять искусства и ремесла. Словом, как на цивилизованном Западе или, на худой конец, в дореволюционной России.

Надежда на универсальное средство не таит в себе ничего предосудительного, она извинительна для людей, находящихся в отчаянном положении. Но стоит напомнить, что ожидание чудесной панацеи только поддерживает все деградирующие процессы в вялотекущем состоянии. Особенно это относится к тем, кто назначен властью эти процессы контролировать.

Помните баталии союзного еще Верховного Совета о желаемом увеличении с трех, кажется, процентов отчислений на культуру до,

скажем, пяти? Тогда такое повышение, о котором страстно с трибун вещали наши народные любимцы – актеры, писатели, музыканты, казалось единственным лекарством от всех бед, обрушившихся на культуру. Кто сегодня вспоминает о тех желанных культурных процентах! Даже в думских бюджетных баталиях стыдливо выносятся за скобки бесконечно малые величины отчислений на культуру: о чем говорить, когда не о чем говорить...

За недолгое время в стране произошло много событий, несущих печать все более некультурной агрессивности. Возьмем хотя бы неприличный путч 1991 года, когда были попраны все стереотипные представления о своего рода эстетике подобных исторических ЧП, сложившиеся у нас и под влиянием литературы и кинематографа.

Но бесспорно, самым некультурным и разрушительным по характеру и последствиям надо признать повальное обнищание широких масс населения. На его фоне позорной вершиной воздвигся октябрь 1993 года, когда автора этих строк, живущего у метро «Баррикадная», целую неделю бдительно «окультуривали» какие-то бритоголовые люди – то резиновой палкой по шее, то металлическим щитом по спине. Тогда многие поняли, что реально означает в сегодняшних условиях термин «культурная революция»...

Я могу ерничать по поводу ущерба, причиненного моей вые, но более чем серьезен и склоняю голову перед памятью невинно убиенных людей.

Убежден: именно в тот день, 3 октября 1993 года, была расстреляна Культура. Тогда наши соотечественники высыпали на Новоарбатский мост, прильнули в экстазе к экранам телевизоров, словно перед ними крутили по «видяшнику» щекочущий нервы фильм-катастрофу. Это был день Апокалипсиса отечественной культуры, день ее позора, когда не самые бесталанные ее представители требовали с раскаленного экрана: «Добейте, расстреляйте, уничтожьте». Ведь это же никогда не забудется. Пройдут годы, века, но мелкой хотя бы строкой в литературных или актерских легендах будут шелестеть слова о том, как художник имярек предал Творчество и помогал вбивать гвозди в тело распятого. Не дело культуры судить, кто прав, а кто виноват, не дело мастера культуры декламировать и петь с подмостков «да, да, нет, да».

Кто спорит, власть предержавшие сегодня очень изменились и в плане аудиовизуальном не идут ни в какое сравнение с советским истеблишментом: на кряжистых плечах супермодные по крою и расцветке костюмы, кое-кто уже и в смокигах. А как не оценить выход

из тени на свет первых леди – тоже событие для нашей страны небывалое. Для многих граждан именно эти факторы стали символом «окультуренности» власти. Начинают поговаривать даже о возрождении в России эстетики власти. Помните, как у замечательного мудреца Константина Леонтьева? «Власть должна быть красивой».

А что, подскажут мне, вот ведь и речь демократической номенклатуры по форме хотя бы перестала быть «совковой» – исчезли слова-фетиши «коммунизм», «социализм», постоянные ссылки на Карла Маркса и В.И. Ленина. В «постсовковой» словесности доминируют такие слова, как «цивилизованное общество», «священная частная собственность», пошла волна ссылок на Н.А. Бердяева, С.Н. Булгакова, П.А. Флоренского и других прежде идеологически опальных мыслителей. Да, для многих граждан это не просто признак «окультуренности» власти, но прямой символ культуры власти.

То, о чем мечталось интеллигентам-шестидесятникам, свершилось. Власть заговорила с ними на одном языке, а некоторым писателям, философам, артистам было даже предложено место в околовластных структурах. Таким образом, можно подумать, что шестидесятники как бы «окультурили» власть и тем самым выполнили свое историческое предназначение. А заодно избавились от постоянно тяготившего их комплекса недооцененности властью их талантов и преданности общественным интересам. Они действительно родились поздновато и не могли «пасть на той далекой, на гражданской», чтобы таким образом испытать счастье увидеть склоненными над собой «комиссаров в пыльных шлемах».

Но вот что странно. Именно сейчас, когда произошла очередная «смена вех», а вернее, очередная «смена цитат», для меня вдруг прояснилось давно смущавшее душу обстоятельство: почему любимый мною Василий Васильевич Розанов называл то, что писал не менее почитаемый тогда Николай Александрович Бердяев, обидным словом «белибердяевщина».

Та давняя, еще начала века, уничижительная характеристика не в обиду или оскорбление талантливому философу, прошедшего традиционный русский путь от марксизма к идеализму, была дана. Но лишь в предвидении неизбежной для него роли – стать кумиром интеллигентной толпы, которой так необходимо, чтобы кто-то на философском уровне оправдывал все ее метания и «перетекания» от одной экстремы к другой.

Боязнь всеобщей пошлости, ужас перед торжеством тотальной «образованщины», мнящей себя культурным феноменом, а на

деле являющейся антиподом культуры, ее искусным эрзацем, неизбежность бездарной реализации в будущем метафоры «искусство, философия, культура и т. д. и т. п. принадлежат народу» заставили чуткого Василия Васильевича Розанова дать это колкое определение грядущей культурной эпохе. Словом, что пошло, то и пошло, как говаривал язвительный Дмитрий Сергеевич Мережковский.

По сути, «белибердяевщиной» была официальная культурная политика канувшей в Лету советской эпохи. Торжествующую культурную пошлость мы имеем и по сей день, только с другим полюсным знаком.

Пересмотрите давний, восьмидесятых годов прошлого века, художественно-публицистический фильм Никиты Михалкова «Анна. От 6 до 18». В нем многие хроникальные кадры недавнего прошлого заставят вас покраснеть и ужаснуться, ибо вы увидите, как люди действительно талантливые лицедействуют во славу режима ущербного, обреченного и нравственно, и физически. Как перед партийной геронтократией один из ведущих актеров страны, загримированный «под Вождя», яростно произносит бессмысленные фразы-лозунги. Главное непонятно, во имя чего это все делается. Славы, почета, званий и даже денег не прибавится, за отказ участвовать в публичной профанации даже не последует никаких административных санкций. Значит, просто так, на всякий случай лишний раз показаться на глаза начальнику – как это назвать?

А не запечатлен ли портрет этой самой «бедибердяевщины» в облетевших весь мир снимках гениального русского музыканта, специально прилетевшего из-за рубежа, чтобы вскинуть на плечо автомат Калашникова? Может быть, тем самым он хотел показать, что стреляет еще лучше, чем играет? Так ведь нет, любому очевидно, что музыкант он виртуозный, а стрелок никудышный. Я могу назвать великое множество творцов, ненавидевших советскую власть, от Ивана Бунина до Федора Шаляпина, но представить их в образе легендарной Анки-пулеметчицы, при всем моем богатом воображении, никак не удастся. Как невозможно представить, к примеру, великого Сергея Рахманинова, радостно музицирующего на Красной площади, где помимо Злодея, Тирана и их сатрапов нашли свой вечный покой люди, составившие славу России, – Валерий Павлович Чкалов, Сергей Павлович Королев, Юрий Алексеевич Гагарин, многие наши военачальники и полководцы... А уж про «Рок на баррикадах» даже упоминать необязательно – классическая мелкотравчатая поделка.

Рассуждения о противостоянии Культуры и «белибердяевщины» навеяны очевидностью возникшего сегодня раскола в культурном пространстве, за господство над которым яростно борются деятели культуры, ангажированные политиками. Таких деятелей немного, но они активны, публичны и «раскручены» современным культполитпросветом таким образом, что создается иллюзия их единственности и уникальности. Они уже не творят, они только борются с культурным наследием, их породившим.

Раскол культурного континента чреват гораздо более опустошительными последствиями, чем даже крушение отечественной экономики, он сопоставим лишь с грядущей экологической катастрофой, о которой сегодня все стараются просто не думать.

То, что Культура вообще и деятели культуры в частности разделены сегодня некоей нравственной стеной, очевидно для многих. Неверным, однако, представляется мне желание увидеть эту стену как некую баррикаду – «за правительство или «против правительства». Примитивная «бинарная оппозиция» (за – против, верх – низ, черное – белое...) удобна для социолога или, на худой конец, для культуролога, ибо позволяет строить схемы и конструкции. Но в данном случае схема не объясняет ничего, а лишь создает иллюзию понимания хода культурного процесса. Между тем Культура – вряд ли процесс, скорее, как полагал гениальный Паскаль, она лишь оболочка, покрывающая Нечто. Какие бури, коллизии, социальные судороги происходят под этой оболочкой – пусть разбираются аналитики из других сфер. Творцы же обязаны пестовать этот последний защитный слой ноосферы – духовный аналог озонового слоя Земли. Ибо прорыв тончайшего «культурного эфира» приведет человека к духовной деградации, что равнозначно смерти.

К сожалению, наши культурологи продолжают оперировать «баррикадной схемой», провозглашающей в среде интеллигентов примат большинства (прогрессивного, разумеется) над меньшинством (которое почему-то не согласно с очевидным). На этой кажущейся очевидности «культурного противостояния» мы обжигались не раз даже на нашем коротком веку. И лишь потом, «задним умом», разумели свою ошибку. Помните, как в фантастическом рассказе одного американского автора: в преддверии катастрофического землетрясения в Калифорнии, предсказанного с точностью до секунды специалистами, все разумное большинство в панике покидает обреченный на погружение в морскую пучину цветущий полуостров, люди тысячами перепрыгивают через все более

увеличивающийся разлом между Калифорнией и США. Но когда замешкавшийся в лаборатории сейсмолог, этот очкарик-интеллигент, «ботаник», выражаясь молодежным сленгом, выскакивает на обезлюдевшую улицу, он видит, как в морскую пучину уходит не Калифорния, а американский континент. Итак, слава презиаемым до поры до времени «ботаникам»! Им, не поспевающим за толпой, может, и суждено спасти Культуру от краха.

Если все-таки отказаться от черно-белой очевидности, культурный конфликт обнаружит всю свою многослойность. Начнем хотя бы с того, что есть культура и есть «культурность». Первое понятие вечно, второе подвержено социальным, политическим, идеологическим и иным колебаниям, приливам и отливам. Борьба между этими реальными категориями бессмысленна, ибо «культурность» тоже чрезвычайно важна: кто не согласится, что гораздо приятнее иметь дело с человеком, который не путает рукав с носовым платком и уступает женщине место в транспорте? Возникшая в России историко-культурная общность так называемых «новых русских» как бы заново утверждает права давно известных способностей «без принужденья в разговоре коснуться до всего слегка», помнить «хоть не без греха» из Пастернака (Мандельштама, Евушенко, Окуджавы, Бродского и т. д.) два стиха, порассуждать многозначительно о Малевиче или Кандинском, спеть про друзей, взявшихся за руки, и полюбить представителей фауны «с дырочкой в правом боку»...

Схватив свою коммерческую удачу под уздцы, новая генерация деловых людей смутно осознает, что ее эксперимент может так и не выйти из пробирки, если не случится оплодотворяющего слияния с той самой историко-культурной общностью, которая жадно идет навстречу вожделенному капиталу. Да-да, в то самое время, как Александр Исаевич Солженицын выдворялся из страны, а другой русский писатель, Леонид Иванович Бородин, «трубил» свой долгий срок в лагерях, постоянно трусящая, подобно сухово-кобылинскому Тарелкину, «впереди прогресса» интеллигенция уже готовилась пасть у ног нового возлюбленного – крутого и мускулистого «нового русского».

Гораздо раньше многих других она осознала, что быть богатым не так уж стыдно, что можно без морального ущерба культурно мимикрировать долгие годы, держа фигу в кармане, означающую протест. Это нехитрое занятие тревожно объединяло в некое элитарное братство, отделяло от «некультурной» массы, имевшей несчастье воспринимать только текст, не придавая значения тайному

подтексту. «Фига в кармане» как типичный отечественный феномен восприятия культуры фетишизировала второстепенное и даже третьестепенное в культуре, игнорируя главное, во имя чего культура и существует, то есть Духовное и Вечное.

Когда пришла Свобода и в Москве появилась даже площадь Свободной России, прогрессивный интеллигент вытащил из кармана этот культурный символ своего подпольного бытия, но разжать пальцы, образовавшие эту сакральную конструкцию, так и не смог. Поистощил-таки он себя в нелегкой науке культурной мимикрии.

Как-то лет пятнадцать назад в Российский фонд культуры среди прочей многочисленной корреспонденции пришло письмо из Амстердама о предстоящей Международной культурной акции – прибытии в Россию Корабля дураков. «Летом 1995 года осуществляется азартное дело, – говорилось в письме, – отправляется из Амстердама наш Корабль дураков «Азарт» в 11 стран, в том числе и в Россию. Корабль дураков – это старинная европейская традиция, которая включает смех и путешествие и которая сближает людей. Корабль дураков – это интернациональный коллектив, международная миссия, это парад через города, это встреча с высокопоставленными лицами, это шествие в глуши, это забава и смех, это поразительное вечернее представление. И Россия нуждается в развлечении. России мы подарим смех».

Милые наивные голландцы отнюдь не помышляли об экспорте в Россию дураков (у нас и своих хватает), но произнесли вслух некое утверждение, которое российский чиновник стесняется произнести и которое тем не менее в течение долгого времени настойчиво проводится в жизнь, становясь как бы сверхзадачей современной культурной политики – «Россия нуждается в развлечении». Являясь современным вариантом древней формулы «хлеба и зрелищ», наша официальная культурная политика сегодня и не может быть иной, ибо эфемерно само государственное устройство (кто мы – монархия, республика, что строим – капитализм, социализм с человеческим лицом?), нестабильно и перевернуто в стране все, начиная от экономики и кончая системой человеческих взаимоотношений.

Не потому ли мы все чаще возвращаемся к мысли, что объединение возможно только вокруг вечных ценностей, что лишь Культура способна каким-то образом внести гармонию в мятущееся общество. Идея прекрасная. Но проблема заключается в том, что русские и, так сказать, «новые русские» под понятием «культура» понимают чаще всего разные вещи.

Для первых достижение духовных вершин возможно не только в процессе воспитания, образования, обучения на хорошем европейском уровне. В еще большей мере это зависит от ориентации на культурный мир, связанный с понятием русского духа, вечным поиском духовного града Китежа. С прагматической точки зрения последнее лишено какого-либо здравого и вообще смысла. Люди, запрограммированные лишь на азы европейской культурности, никогда не поймут тех других, русских культурных мистиков. Более того, само их существование вызывает раздражение у нового поколения отечественных прагматиков, стремящихся в который уже раз повернуть «алогичную Россию» в колено европейского прогресса.

Опять вечный спор «западников и славянофилов»? Можно и так сказать. Несмотря на все поражения и насмешки, в этом споре все-таки побеждают в конце концов последние. История доказывает это на многих примерах. Ведь вот и Петр Великий предполагал строить Голландию, а получилась вопреки всему Россия. А уж о том, как «переварила» по-своему Россия европейские социалистические учения, даже говорить лишний раз не стоит. То же самое происходило и с прочими культурными нашествиями на нашу страну. Происходит это, кстати, и сегодня, когда на культурном поле все более отчетливо зреет «культурный антиамериканизм» (понимаю под «американизмом» усредненную культурную серость).

А к слову сказать, «новые русские» – достаточно смелый термин, ибо общественно-политическая ситуация в стране вообще наложила табу на использование имени «русский». В советское время его порой произносили, но весьма ограниченно. Помню, как редактор пенял мне, что в моей статье на одной машинописной странице слово «русский» употреблялось несколько раз. Этого делать было нельзя, могли обвинить и автора, и редактора в великодержавном шовинизме. Приходилось выходить из положения при помощи филологических хитростей – синонимов, эпитетов, синекдох и т.д. Сегодня же, когда вроде бы все можно, на пятидесятом году моей жизни мне вдруг стали настойчиво внушать, что я вовсе не русский, а «россиянин».

Последнее вызывает у меня (и не только у меня) естественный культурный протест, ибо я рожден русским отцом и русской матерью, а самое главное – воспитан в стихии русской духовности и русского языка. К «россиянской» культуре я не имею никакого отношения. К ней, скорее, имеют отношение как раз «новые русские»,

которые внесли терминологическую путаницу в нашу и без того путанную (простите, конечно же «путаную») жизнь. Было бы замечательно, если бы был издан чей-нибудь указ впредь именно «новых русских», это очередное историко-культурное заблуждение России, именовать «россиянами». Тогда в нашей жизни наступила хотя бы терминологическая ясность.

Реальность бытования русской культуры и русского человека приучает нас сегодня к постоянным оценкам извне – с точки зрения «правильности и неправильности». Вспомните оскорбительный для русского человека поток зарубежных, а следом – и отечественных публикаций о «неправильной» русской истории, об отсутствии в ней европейской логики... Или возьмем всем известную книгу Ричарда Пайпса «Россия при старом режиме», где моей родине вообще было отказано в праве считаться страной цивилизованной, а следовательно, и поступать с ней можно как кому заблагорассудится.

Впрочем, поступали и поступают так по сей день. И если унижения и издевательства над русскими на Варшавском вокзале в 1994 году, где наших соотечественников полицейские заставляли повторять «я – русская свинья», как-то всколыхнули и возмутили русское общество, то наше ежедневное и потому уже привычное духовное унижение, смысл которого аналогичен грязным словам, прозвучавшим на Варшавском вокзале, остается без какого-либо ответного действия. Даже со стороны официальных культурных и академических кругов, которые на то и поставлены, чтобы защищать национальное наше достоинство, а значит, Культуру.

Да, да, соглашаемся мы, «неправильная» у нас история. И Иван Грозный сильно набезобразничал (правда, масштаб его жестокости был значительно скромнее, чем в те же годы у цивилизованных англичан). И мужик в лаптях ходил и был хуже скотины бессловесной. А то, что одним топором чудеса творил, что не признал «культурного» Наполеона и выгнал его из русских пределов вопреки всем правилам цивилизованного европейского военного искусства, так это опять же – «историческое недоразумение».

Пусть так: мы другие, с другим менталитетом и другой Культурой, которая ниспослана русскому человеку свыше. Мы любим посмеяться над собой, даже унизить себя до самой последней степени, но никогда не позволяли чужому, то бишь равнодушному, делать то же самое. Писатель и дипломат, посланник Сардинского короля в России Жозеф де Местр был одним из немногих иностран-

цев, кто понял русскую особенность: «Русский человек из всех людей в мире лучше всех видит свои недостатки, но зато менее всякого другого прощает тому, кто указывает ему на них».

Не коммунисты или демократы были и есть враги русской культуры, а люди чужие и равнодушные ей, кому без разницы, что он должен такое опекать – культуру ли, туризм, производство кирпича, телевидение или кинематографию.

Что касается движения «интеллигенции к капиталу», о котором было заявлено в эпитафии, следует учитывать два обстоятельства. Первое относится к капиталу, который будет способен на подобный нравственный поступок не сегодня. Должно смениться два-три поколения русских капиталистов, чтобы в людях этого нового класса вызрел осознанно вечный принцип русской духовности – «богатым среди бедных быть стыдно». Именно это и произошло с великими русскими меценатами Третьяковыми, Мамонтовыми, Щукиными, Морозовыми, когда они сделали тот естественный шаг навстречу культуре, о котором их деды и не помышляли. Второе обстоятельство – сама интеллигенция, которая сегодня в таком бедственном состоянии, что даже не понимает своего действительно великого предназначения хранителя Ценностей Вечных.

Поэтому сегодняшнее движение «интеллигенции к капиталу», когда одни стремятся урвать хотя бы что-то, а другие дают возможность это сделать, чтобы ощутить собственную значимость и причастность кругу людей популярных, может привести не к расцвету культуры, а скорее всего к конфузу. Подобному тому, который и случился с героями рассказа Ивана Федоровича Горбунова, с замечательных слов которого мы начали свое повествование. А конец в рассказе был таков: «Помню, что шум был большой. Песельница из русского хора плакала, участковый протокол составлял».

Надеюсь, не мне одному очевидна вся бессмысленность и абсурдность рассуждений о новых путях развития русской культуры, о необходимости что-то с ней делать. Ей надо просто не мешать. России не единожды выпадало счастье быть культурной страной. Это были эпохи расцвета государственности, когда «за державу не было обидно», когда кроме рублей существовали еще и копейки. Но это счастье она постоянно отвергала во имя чего-то большего.

Это ее судьба, и наша трагедия, что нам с вами выпала сегодня печальная доля присутствовать на мнимом торжестве «культурности» над Культурой. Однако это всего лишь миг в истории, который имеет свои пределы.

Культура ждет сегодня как со стороны предпринимателей, так и деятелей культуры тех, кто обладает высшим даром ответственности перед Отечеством. Такие люди всегда появляются у нас, когда эрзац-культура, «культурность», уверенные в своем успехе, празднуют победу. Именно в эти моменты Россия начинает собираться вокруг своих нетленных ценностей, которые ее и спасали.

В трагически разломные годы своей истории русский человек вопреки всякой логике всегда отправлялся в путь «туда – не знаю куда, чтобы принести то – не знаю что», то есть отправлялся искать вечную Правду и Красоту. Постоянно обманываясь демагогией всех встречных-поперечных краснобаев, обираемый «культурными» разбойниками, предаваемый и убиваемый, он, однако, веры своей не терял – и все желаемое свершалось. Именно в этом смысле следует понимать цитируемое всеми «Красота спасет мир». Вот в чем тайна и счастье русского человека и вечный оптимизм русской культуры. «Посмотришь на русского человека острым глазком... Посмотрит он на тебя острым глазком... И все понятно. И не надо никаких слов. Вот чего нельзя с иностранцем», – писал в «Уединенном» гениальный Василий Васильевич Розанов, пытаясь прикоснуться к великой тайне Русской Вечности.

ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ...

(Беседа А.Л. Налепина с обозревателем
газеты «Российские вести»
Станиславом Стремидловским
8 октября 2003 года)

– Алексей Леонидович, позвольте вначале задать вам личный вопрос, учитывая ваше призвание филолога, архивиста. Предназначение, которое определяет жизнь любого человека, в какой степени оно выполнено вами? В чем вы его видите?

– Остаться в памяти человечества – вот достойная задача, требующая концентрации всех физических и моральных сил. И, возможно, именно специфика моей деятельности, работа с архивными материалами заставляет сделать такой вывод. Понимаете, когда работаешь с историей, начинаешь замечать, как очень много заслуженных людей невниманием потомков предаются забвению. Их поступки, их мысли уходят от нас в прошлое, и беда в том, что зачастую в прошлом и остаются. И мы, современники, уже попросту не знаем, не помним, не замечаем многих наших российских философов, ученых, литераторов, политических деятелей.

Я, можно сказать, счастливый человек. Мое дело приносит мне радость, и я с удовольствием хожу на работу. Вместе с Никитой Михалковым в 1990 году приступили к изданию альманаха «Российский архив», до этого были попытки издавать в Академии наук, однако та система не восприняла идею. А вот Михалков очень благосклонно отнесся к альманаху, причем сразу же предложил издавать его на студии «Тритэ». Это было удивительно, поскольку все-таки студия занималась и занимается кинопроизводством, а «Российский архив» – издание академического плана. Так получилось, что наши книги выходили одновременно с фильмами, которые снимал Михалков. Постепенно мы притерлись друг к другу, мы пе-

рестали чувствовать себя чужеродными, а сотрудники «Тритэ» стали проявлять уважение к нашей работе. В определенной степени мы даже координируем нашу работу. Например, к фильму «Сибирский цирюльник» был выпущен «Историко-бытовой словарь» Леонида Васильевича Беловинского, который содержит понятия, не совсем ясные современному российскому читателю, так как они или исчезли из языка, или изменили свое значение. Американские кинопродюсеры к своим фильмам выпускают, может быть, какой-нибудь меч, которым герой машет на экране, а мы – книгу, разница есть.

Можно, конечно, сказать так – ну к чему нам эта архивная пыль. Однако замечу следующее. Дело в том, что история действительно повторяется. Ошибки, которые мы совершаем сегодня, уже совершались в прошлом. А вместе с ошибками искали и находились пути их решения. Скажем, я сам неоднократно поражался, изучая архивные материалы эпохи Николая I, относящиеся к Кавказским войнам, которые вела в то время Российская империя, насколько же велико совпадение проблем, встававших тогда перед российской властью на Кавказе, с нашими нынешними неудачами или удачами в Чечне. Более того, спустя полтора века перекликаются даже названия мятежных аулов. А ведь та Российская империя все же завершила войну в свою пользу, почему бы не воспользоваться опытом? Без изучения архивов мы будем и дальше обречены наступать на исторические грабли. И очень больно получать по известному месту.

– Ваше увлечение великим русским философом Василием Васильевичем Розановым связано с желанием «извлечь» его из исторической тени или здесь присутствует нечто личное?

– Розанов созвучен мне по состоянию души. У него есть абсолютная свобода, главное достоинство человечества, унаследованное от Бога. Василий Васильевич из той породы мыслителей, изучать наследие которого доставляет высшее интеллектуальное удовольствие. Вот, знаете, можно испытывать физическое удовольствие от хорошего вина, вкусной еды, а можно – от чтения прекрасной книги. Первая моя публикация розановских материалов состоялась в 1988 году в журнале «Литературная учеба». А увлек меня Розановым Петр Васильевич Палиевский, он вел на нашем факультете семинар. И когда я стал серьезно изучать труды Василия Васильевича, как-то на нет сошло мое еще студенческое увлечение Николаем Александровичем Бердяевым. Кстати, вы знаете, как Бердяева называл Розанов? *«Журналистствующим философом»* или *«белибер-*

дьявиной). Между прочим, это не просто личная неприязнь двух современников. Меня крайне удручает проникший в науку дилетантизм, который оборачивается упрощенческим подходом. Поймите, я не против журналистики, это тоже важная часть человеческого общения – но не до таких же пределов, которые существуют сейчас. Явления можно понимать по-разному, поднимаясь от простого понимания к более сложному. Но сегодня легче все упрощать. *Человек думающий* становится *артефактом*, человек задумавшийся по нынешним временам совершает *подвиг*. Так вот Розанов подтягивает мыслительный процесс на высший уровень. Петр Васильевич Палиевский однажды составил графическую схему развития русской литературы, которую отобразил в виде карты скоростного транспорта. Начинается карта с Александра Сергеевича Пушкина, заканчивается же в наше время. Там Розанов располагается неподалеку от Пушкина. Знаете, Василия Васильевича можно любить или не любить, но талант нельзя замолчать. Он был очень точен в своих предвидениях, предсказал многое, безо всякого модного теперь мистицизма. В любой его фразе гораздо больше смысла, чем в книгах многих философов.

– Безусловно, он бы прекрасно понял вашу озабоченность этим «воинствующим дилетантизмом», действительно отравившим многие сферы человеческого познания в современной России. Как бороться со всем этим, есть ли культурная вакцина?

– Да, и заключается она в том, что мы называем базовым образованием. Мировые культуры в разнообразии своем входят в понятие базового образования. Разнообразие в свою очередь страшует нас от усредненности. Вот не зря же Константин Николаевич Леонтьев так отчаянно страшился торжества *«среднего европейца»*, понимая удушающее воздействие усредненности на культуру. Растем мы, конечно, все из одного корня. И русская культура, употреблю здесь образ апостола Павла, есть дикая маслина, привитая к греческой и римской античности, христианству Рима и Византии. Но надо тем не менее чем-то и отличаться. А для этого необходимо серьезно ее изучать.

– Однако книжные прилавки как будто завалены исторической литературой. В глазах рябит от многообразия энциклопедий, обещающих просветить читателя обо всем, что есть и было, за пару часов чтения.

– Вот вы упомянули сейчас о важной проблеме. Меня самого крайне беспокоит нарастающий вал того, что бы я назвал *«желтой научной литературой»*. Любой дилетант, прочитавший пару энциклопедий, имеет сегодня возможность создавать свои «оригинальные» теории. И ладно бы он публиковался в научной серии, профессионалы умеют отличать зерна от плевел, так что не составит труда разоблачить подделку. Страшнее другое. История коверкается в художественных произведениях. Начинают выдумывать альтернативные исторические сюжеты, Конечно, и это можно допустить, однако у истории есть тоже свои исторические законы, от которых невозможно отойти. Представьте, например, фантастический роман, в котором вдруг автор отменяет закон всемирного тяготения и при этом люди у него нормально ходят по земле. Возможно ли такое? Нет. Зато события 1917 года сводят к одной лишь фигуре Владимира Ильича Ленина, после чего автор благополучно убивает вождя, а в России вместо революции наступает сытая жизнь. Но это ненаучно, это страшное упрощение, исторические события развиваются совершенно не так, как дилетантски представляет автор. Издание «Российского архива» в этой связи я вижу как инструмент выстраивания истории. Наше издание государственнической направленности. Мы полагаем, что в истории России много и темных, и светлых сторон, но своей историей полагается гордиться. Недаром у нас на обложке часть иконы Симона Ушакова, где у древа государственности изображены князь и патриарх.

– Алексей Леонидович, с вами трудно не согласиться. Но тогда встает вот какой вопрос. В какой степени художественное произведение должно не только строиться на основании исторических законов, но и соответствовать историческим реалиям? И приведу пример, связанный, кстати, как раз со студией «Тритэ». По выходу фильма «Сибирский цирюльник» критики отмечали определенные несуразницы, которые допустил ваш школьный товарищ Никита Михалков. Скажем, не мог российский император принимать парад верхом на коне в Кремле, поскольку Кремль являлся сакральным местом России, куда даже цари входили пешком со снятым головным убором.

– Мне кажется, что художник может позволить себе видеть отдельные исторические детали в ином свете, нежели ученый. Главное, чтобы не было противопоставления общим законам исторического развития. Великий англичанин Честертон устами своего героя отца

Брауна говаривал, что способен поверить в невероятное, но не способен поверить в невозможное. Иначе говоря, конный всадник в Кремле XIX века, конечно, есть невозможное. Но это допустимое преувеличение. Вот если бы царь не осенил себя во время приема юнкеров крестным знаменем – это недопустимое невозможное. Должны быть рамки. Американское кино в этом отношении бывает часто невоздержанным.

– Как представляется, неспроста. Вам не кажется, что иностранцы лучше нас умеют использовать прошлое для воздействия на настоящее и даже будущее? Манипулирование историей – не вымысел. Эксплуатируя те или иные исторические периоды, раскрывая «нужные» архивные документы, можно добиться заданной интерпретации реалий. Скажем, практически все вооруженные конфликты на территории бывшего Советского Союза начинались именно после определенных исторических «открытий».

– К сожалению, многое из того, что вы говорите, является правдой. Мы в России не умеем пользоваться своей историей, своими историческими ресурсами, как следовало бы это делать. А ведь еще Гюстав Ле Бон, известный французский психолог XIX века, отмечал убийственную силу исторической интерпретации для манипуляции человеческими массами. Уж не поэтому ли Ле Боном так увлекался основатель советского государства Владимир Ильич Ленин? Но как бы там ни было, западные специалисты лучше нас понимают взаимосвязь прошлого и настоящего. Россия сидит на богатейших залежах архивных материалов, я вообще считаю, что отечественные архивы – это такой же природный ресурс, как нефть, газ, лес. Однако, долгое время занимаясь публикацией архивных материалов, я вижу, что у нас нет системы. Американцы, например, когда посещают наши научные заведения, точно знают, что им нужно и где это лежит. Иногда кажется, что сегодня они лучше нас знают нашу страну, хотя, когда я впервые посетил США, ситуация была прямо противоположной.

– Как вы считаете, ваш альманах дает человеку возможность понять историю?

– Наш читатель должен сделать над собой интеллектуальное усилие и прийти к своим собственным выводам. Поэтому мы публикуем исторические документы полностью, а не только то, что

интересно авторскому коллективу альманаха. И знаете, когда разбираешь материалы, видишь, как меняются имена, даты, названия, но человеческая природа не меняется. Потомки считают, что они лучше своих предков понимают прошлые времена. Научные труды выглядят как разбор бесконечных ошибок – то не сделали, здесь пошли в неправильном направлении. Но, как я уже замечал, история повторяется, а значит, всегда можно выставить современникам счет – вы знали о прошлых ошибках, однако все равно их повторили, так как к вам после этого относиться? Поэтому, отвечая на ваш вопрос, могу заметить только следующее. Наш альманах предоставляет человеку возможность сформировать свою точку зрения. А вот какой она окажется, зависит от интеллектуальной работы читателя, его мыслительных усилий. В конце концов, от того, какова *мускулатура мозга*.

СЦЕНАРИЙ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ФИЛЬМА О В.В. РОЗАНОВЕ

В 1994–1996 гг. режиссер киностудии «ТРИТЭ-ВИДЕО» Виталий Максимов создал для Центрального телевидения документально-художественный цикл фильмов под названием «Кто Есть Кто – XX век». Цикл рассказывал об истории в душах людей, переживаемой, живой и притом недавней, еще не успевшей «остыть» или скрыться «за шеломенем», – истории XX века.

Век этот вызвал бурю страстей и переживаний, переходящих к нам и неотступных, требующих решений. Потрясения его были так сильны, что некоторые готовы усматривать в них конец света, нарастающий, сгущающий мрак. Не станем с ними спорить, но скажем, что были в этой истории и моменты настоящего счастья, и не только временного, но перспективного, важного для нас сегодня. Древние называли историю учительницей жизни. Наш Пушкин добавлял: «Говорят, что несчастье хорошая школа. Может быть. Но счастье есть лучший университет».

Задуманный в рамках проекта «Кто Есть Кто – XX век» цикл «Эмоции века» ставил целью рассказать о некоторых уроках этого «университетского курса», показать, совсем нелегкие, требующие громадных усилий, испытавшие провалы в пути и все-таки состоявшиеся.

Фильм о В.В. Розанове так и не вышел на экран. Однако сценарий этого несостоявшегося фильма из цикла «Эмоции века» сохранился и, возможно, ждет своего часа.

СЧАСТЬЕ ЛЮБВИ ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА

Л.Н. Толстой говорил: «Пишут про то, как они любили друг друга и наконец поженились. Но с этого только все начинается!» Мы расскажем вам о любви, которой долго пришлось добиваться своего счастья, чтобы жить в семье, среди тяжелых катаклизмов истории; о том, как все-таки она это счастье отстояла в «печи огненной» и какие духовные ценности оттуда для всех нас извлекла.

...Жил-был в провинциальной глуши безвестный учитель Василий Розанов, таивший в груди высокие мечтания. Он поклонялся Достоевскому...

В 1880 году случился странный брак Розанова – он женился на дочери купца Аполлинарии Прокофьевне Суловой, той самой Суловой, которая была предметом самой сильной страсти Достоевского. Женщина крайностей, вечно склонная к предельным ощущениям, послужившая Достоевскому прообразом таких героинь, как Полина в «Игроке» и Екатерина Ивановна в «Братьях Карамазовых». Брак Розанова с Суловой состоялся еще при жизни Достоевского. Трудно сказать, что побудило 24-летнего студента жениться на стареющей, неуравновешенной женщине, но, скорее всего, сыграл свою роль ореол «возлюбленной Достоевского», писателя, перед талантом которого Розанов преклонялся.

Розанов и Сулова. Ее история: смелая провозвестница свободной любви, предшественница Александры Коллонтай («Дорогу крылатому Эросу»), «Оттого, что наши дуры, Теруаньде – Мериктуры» и т.п. покоряет Достоевского. Розанов из великого почтения к Достоевскому женится на ней. «Встанешь утром к умывальнику, снимешь очки, а она подойдет и по морде – трах!» Разрыв.

Годы жизни с Суловой, а она оставила его в 1886 году и не давала ему официального развода почти до самой смерти Розанова, были истинной мукой, семейным адом. Именно из этой трагедии выросла мучительная для писателя тема, которую можно было бы определить названием одной из его книг – «Семейный вопрос в России» (СПб., 1903).

В 1891 году состоялся второй брак Розанова, принесший наконец успокоение и простое домашнее счастье. Поскольку Сулова развода не дала, то Розанов тайно венчался с Варварой Дмитриевной Бутягиной. Варвара Дмитриевна олицетворяла

тихое семейное счастье без всех «заумностей» прогрессивной женщины. Была она домовита, ревнива, не шибко грамотна (что подчас шокировала «интеллигентных» – типа Зинаиды Гиппиус – посетителей дома Розановых), но была самым воплощением русской доброты и добропорядочности. Но счастливый брак стал и очередной «проклятой проблемой», ибо по законам Российской империи Розанов считался двоеженцем и все его дети, а было их пятеро, считались незаконнорожденными.

Именно отсюда следует исчислять истоки той самой «деликатной» темы – проблемы поиска «религии жизни», «религии пола», которая сделала имя Розанова для многих одиозным и даже неприличным, своего рода пикантной «клубничкой», тогда как все его поиски «освященного пола» были направлены на защиту попавшего в беду человека, провозглашали святость рождения ребенка. Отсюда и его мнимое богоборчество, ибо, оставаясь христианином, не мог он понять причину невозможности освящения своего истинного брака церковью, размышляя об этом, как всегда и во всем до конца, впадая потому в ересь, то ветхозаветную, а то и просто языческую.

Именно в таком смятенном состоянии души и мысли и появляется Розанов в Санкт-Петербурге, непонятый и отвергаемый всеми. Этот невзрачный тщедушный человек носился по приезде в столицу с маленьким гробиком умершей в дороге дочери, своего первенца, что являло собой зрелище страшное, в духе кошмаров Достоевского. Мало кому могло прийти в голову, что через некоторое время он станет самым мощным источником провоцирующей общественное мнение мысли, провозгласившей первенство личного, уединенного над общественным, что перед ними русский гений, предвосхитивший своими работами многое – и Зигмунда Фрейда, и Освальда Шпенглера, и многое-многое другое. Секрет же был весьма прост – отказавшись от догмата «общественного мнения», он определил центром своего мирозерцания и даже мировоззрения «теплый дом», «очаг», т. е. семью, семью и еще раз семью. «Лучшее в моей литературной деятельности, – писал он в книге «Опавшие листья», – что десять человек кормились около нее. Это определенное и твердое. А мысль? Что же такое мысли... Мысли бывают разные». Мысли действительно были разные, и не так-то легко их было высказывать. Общество требовало определенности, размежевания, четкой общественной позиции, т.е. всего того, что менее всего занимало «беспринципного» Розанова...

Розанов ведет борьбу за свою любовь семьи, поднимая проблему к общему вниманию: «Семейный вопрос в России». Его идея: «Семья – самая аристократичная форма жизни». Осуществляет ее на деле. Дети, приемная дочь, любовь к жене, материнская любовь («Мать – да будет выше звезд!»). Освящение пола вопреки западному его «раскрепощению». Семья обеспечивает ему подъем духа и активность мысли.

5 марта 1946 года сэр Уинстон Черчилль отправился вместе с Президентом США Трумэном в городе Фултон, штат Миссури, где в Вестминстерском колледже произнес знаменитую речь, в которой призвал к объединению англосаксонских стран против СССР и созданию военно-политических блоков. В той Фултоновской речи, положившей начало «холодной войне», Черчилль употребил слова про «железный занавес», который опустился на континент Европы и разделил ее по линии от Штеттина на Балтике до Триеста на Адриатике. С тех пор термин «железный занавес» стал главным понятием мировой политики второй половины XX века, символом целой эпохи с ее политической нестабильностью, локальными войнами, ущемлением прав человека, а сэр Уинстон Черчилль остался в памяти человечества отцом этого гениального определения сути нашего времени.

Между тем как пропагандисты обеих противоборствующих сторон – лагеря капитализма и лагеря социализма – ломали копьё в идеологических битвах вокруг «железного занавеса», одни – восхищаясь гениальным пророчеством Уинстона Черчилля, другие – ниспровергая его как ложь с обязательным добавлением к термину «железный занавес» слов «так называемый», никто из них не предполагал, что Черчилль заимствовал не только сам термин, но и само определение сути нашей эпохи у русского писателя и мыслителя, самого противоречивого и загадочного русского гения рубежа веков Василия Васильевича Розанова.

Писатель, не создавший единого художественного (в традиционном понимании) произведения; мыслитель, постоянно разрушавший собственные самобытные философские системы; критик глубокого аналитического ума, шедший всегда вразрез с читающим большинством; богослов, скользивший по краю ереси; публицист, так писавший «на злобу дня», что его невероятные суждения и оценки событий, ему современных, читаются сегодня как пророчества, которые сбылись и, скорее всего, сбудутся.

Родился 20 апреля 1856 года в Ветлуге. После окончания историко-филологического факультета Московского университета

работал учителем в провинциальных гимназиях. Когда ему было уже под сорок, перешел на государственную службу в Государственный контроль, которую оставил в 1899 году. Казалось бы, банальная судьба заурядного российского чиновника. Это внешне, а внутренне – годы раздумий и мечтаний, тогда казавшихся бесполезными, той самой российской рефлексии, которая людей практически всегда раздражала. Но рефлексия, т. е. самоанализ, мышление, имеющее предметом самого себя, оказалась вовсе не бесполезной, ибо, преодолев его гипертрофированный эгоцентризм, привела Розанова к пониманию чужой боли, к состраданию и жалости к ближнему, а это уже было вызовом неумолимому железному XX веку. Эта тема отчетливо звучала во всех его многочисленных трудах, начиная от книги 1886 года «О понимании» и кончая «Опавшими листьями» и «Уединенным», достойно завершившими великий путь русской литературы, блистательно начатой Пушкиным. Именно Розанов как бы поставил точку, написал последнюю главу, где каждая фраза, по свидетельству современников, могла бы стать предметом многотомных рассуждений совсем неглупых писателей, философов, политиков. После Розанова пришла совсем другая жизнь и другая литература, лучшая часть которой продолжала и продолжает зависеть от стиля исповедальной прозы Розанова.

Розанов раздражал всегда. С ненавистью писали о нем Ленин и Троцкий, так называемая прогрессивная интеллигенция постоянно опровергала его и хоронила нравственно и творчески. Но он остался и по сей день, а его ниспровергатели или сами низвергнуты с пьедесталов, или вовсе забыты. А он всегда удивлял. Даже отвечая на традиционно российский вопрос, актуальный, кстати, и сегодня, о том, «что делать?».

Серьезные рассуждения на эту тему, начиная от Чернышевского и кончая Лениным, их книги, над которыми в течение более семидесяти лет «корпело» не одно поколение советских людей (на политзанятиях, в школах и университетах), перечеркивались мимолетно брошенной фразой Розанова, сказанной «так, по случаю». «Что делать?» – спросил нетерпеливый петербургский юноша. – Как что делать, если это лето – чистить ягоды и варить варенье; если это зима – пить с этим вареньем чай». Тогда это произнесенное казалось большинству кощунством, сегодня мы понимаем, что Розанов был прав. Как оказался он прав и в брошенном лозунге эпохи «Назад к Пушкину», в то время как большинство с упоением кричало: «Вперед к новому искусству».

Мировоззренческая позиция Розанова выглядевшая парадоксально, как бы со знаком минус, всегда была и остается предупреждением человеку против втаскивания его в какое-либо идеологическое прокустово ложе.

То же произошло и с очередным заблуждением XX века, когда в России бушевал революционный энтузиазм и эйфория кажущегося приближения царства свободы на Земле. И в преддверии своей кончины Василий Васильевич Розанов в «Апокалипсисе нашего времени» бросил пророчество – предупреждение о России, которое обернулось судьбой всего мира: «С лязгом, скрипом, визгом опускается над Русской Историей железный занавес.

– Представление окончилось. Публика встала. – Пора одевать шубы и возвращаться домой. Оглянулись. Но ни шуб, ни домов не оказалось».

Розанов скончался 5 февраля 1919 года и был похоронен на кладбище Черниговского монастыря близ Троице-Сергиевой Лавры, бок о бок с другим русским провидцем Константином Леонтьевым. На могиле был поставлен крест с надписью из «Апокалипсиса»: «Праведны и истинны все пути Твои, Господи». В 20-е годы на территории монастыря помещалось общежитие для слепых, и они, постоянно наталкиваясь на надгробия, расколотили их железными палками. Так ослепшая Россия попирала своего пророка, оказавшегося, к сожалению, правым. Сегодня на могиле снова стоит крест.

ПЕРЕЧЕНЬ АФОРИЗМОВ ЗА 1913 ГОД, СОСТАВЛЕННЫЙ В.В. РОЗАНОВЫМ («Перед Сахарной», «В Сахарне», «После Сахарны»)

В Российском государственном архиве литературы и искусства (РГАЛИ) в фонде В.В. Розанова (ф. 419, оп. 1, ед. хр. 231) хранится «Алфавитный перечень афоризмов Розанова 1911–1916 гг.», представляющий объемный комплекс подготовленных писателем материалов по составлению предполагаемого Единого указателя *тем*, так или иначе затронутых в его «исповедальной» прозе начала XX века, т. е. в «Уединенном» (1912), в двух коробах «Опавших листьев» (1913, 1915), а также в подготовленных, но так и не опубликованных тогда книгах – «Сахарна» («Перед Сахарной», «В Сахарне», «После Сахарны») и «Последние листья».

Розанов в течение нескольких лет вел роспись первых строк (афоризмов) этих книг, предполагая в будущем использовать результаты этой работы для подготовки Сводного указателя. В архиве хранится розановская роспись первых строк его «исповедальной» прозы:

- 187 афоризмов из «Уединенного»,
- 328 афоризмов из первого короба «Опавших листьев»,
- 381 афоризм из второго короба «Опавших листьев»,
- 122 афоризма из рукописи «Перед Сахарной»,
- 217 афоризмов из рукописи «Сахарна»,
- 234 афоризма из рукописи «После Сахарны»,
- 476 афоризмов из рукописи «Мимолетное».

Таким образом, его книга, которую он предполагал назвать «Последние листья», должна была содержать 1945 афоризмов.

В данной единице хранения находятся несколько блокнотов, в одном из которых – роспись «Сахарны» (л. 30–45), озаглавленная

как «Мимолетное». Публикуемые впервые росписи Розанова за 1913 год представляют не только очевидный исследовательский интерес, но и имеют самостоятельную художественную ценность.

В публикации сохранена авторская нумерация.

МИМОЛЕТНОЕ

1913 г.

П Е Р Е Д С А Х А Р Н О Й

Я Н В А Р Ь

1. «Любовь существует для пользы отечества» (игра).
2. Три-три-три – фру-фру-фру (футуризм и позитивизм).
3. Вот идет по тротуару проституточка...
4. Самый плохой мужчина все-таки лучше, чем «нет мужчины»...
5. Вот 2 вещи совершенно между собой несходные. Бог захотел связать их (Адам – Ева).
6. Булгаков честен, умен, начитан и рвется к истине.
7. Почему я, маленький, думаю, что Бог стоит около меня?
8. «Ни я, ни вы, ни Новоселов церкви не нужны», написал мне Флоренский.
9. Флоренский бы заговорил другим языком, если бы из его дома вывели за ручку Анну Михайловну.
10. Мерзавцы-канонисты подумали бы... (*письмо [нрзб.] сюда?*)
11. «Скука, холод и гранит» – Что это, стихотворение Пушкина? – Нет, каноническое право. (Сюда – Судьба Светланы из «Русского библиофила», 1915, книга II).
12. «Моя прекрасная душа! Моя прекрасная душа!»
13. Вина евреев против И. Христа была ли феноменальная или ноуменальная?
14. Еврей находит «отечество» во всяком месте, в котором живет, и в каждом деле, у которого становится.
15. Много можно приобрести богатством, но больше ласковостью (евреи).
16. Греки – «отец», и римляне – отец. Одна Жидова – Вечная Мать.
17. Как поправить грех – грехом: тема революции.

18. Теперь стою в банке – и оглядываюсь (Шерлок Холмс).
19. Когда идет добро от священника – то это лучше, приятнее, чем добро от мирянина.
20. За попа, даже и выпивающего, я трех кадетов не возьму.
21. Знаешь, если бы он теперь жил, он не показался бы интересным (мамочка о Страхове).
22. Это что часы-то? Остановились (А.А. Руднева).
23. Как задавили эти негодяи Страхова, Данилевского, Рачинского (сюда письмо Горького о Говорухе и о К. Леонтьеве).
24. Мне не нужна «русская женщина», а нужна русская баба (впечатления от прекрасной Прокудиной-Горской).
25. Батя. С Урала. Член Г. Думы (рассказ Златопрышевой).
26. Что истинно интересно? Своя судьба. Своя душа. Свой характер.
27. После Гоголя, Некрасова и Щедрина невозможен никакой энтузиазм в России.
28. Да, если вы станете захлебываясь на каждом шагу цитировать Щедрина, – то вас назовут «идеалистом-писателем». Рог-Рогачевский и пр.
29. Да почему он «Скиталец»? О писателе Скит.
30. Собственно, есть *одна* книга, которую человек обязан *внимательно* прочитать, – это книга его собственной жизни.
31. В белом больничном и черных шерстяных перчатках она изычно пила чай с яблочным вареньем.
32. Бредет пьяный поп... Вдовый и живет с кухаркой... И я отделиюсь от Влад. Набокова и Милюкова – и перехожу *к нему*.
33. Христианству и нужно всегда жить о бок с язычеством: В деревнях – бедность, нужда...
34. Купа седых (серых волос). Грудь. Облизался. На концерте В.В. Андреева.
35. Я – великий методист. Мне нужен метод души, а не ее «убеждения»... И этот метод – нежность.
36. Первый из людей и ангелов я увидел границу его... Его (И. Христа) – небожественность... И не сошел с ума. А м. б. я и сошел с ума.
37. Какая-то смесь бала и похорон в душе – вечно во мне.
38. Да не будет наслаждения «с женщиною», будет наслаждение в одиночку (онанизм – аскетизм).
39. «Отдай пирог! Отдай пирог! Отдай пирог!» (Вера).

40. Моему 13-летнему сыну («русская цивилизация»).

41. «Я счастлива».

ФЕВРАЛЬ

1. Страхов так и не объяснил, почему же мы «враждуем с *рационализмом*?»

2. *Твердость* есть отличительное качество Рцы.

3. Кто же научил меня крестить подушку на ночь? Мамаша. – А мамашу – Церковь.

4. Церковь есть устроительница души и устроительница жизней.

5. Для безличного человека заменяет лицо.

6. Вся натура моя – мокрая. Сухого – ничего.

7. – «На неделе 7 пятниц??!» – «Еще бы: я богатч: у меня пятниц 25».

8. Кто же научил меня крестить подушку на ночь?

9. Я и испытываю (перекрестя подушку) это простое, ясное: что ко всем людям делаюсь добрее.

10. Только человек, помолвившийся на ночь, есть человек, до этого животное.

11. Все они – сладкие и демократичные; и – безжалостные.

12. Пошлость Нордман – это что-то *историческое*.

МАРТ – АПРЕЛЬ – МАЙ

1. Пустынная земля есть голодная земля. И земле – земля, насаждал сады...

2. И Деметра улыбалась, Баубасто с ней шутила.

3. Наша молодежь отчасти глупа, отчасти – падшая.

4. Вечное – в мгновениях. Вечное именно на века, не временно, не «общее», а «сейчас».

5. Почему это важно, как «студента арестовали» и что он думал, когда его «вели в тюрьму».

6. Почему это важно, что я «думаю о Чернышевском».

7. В самом деле, писатель не должен смотреть на то, что написал много страниц...

8. Что я так упираюсь «†»? Разве я любил жизнь? – Ужасно хо-рошо утро.

9. Пьяный сапожник да пьяный поп – вся Русь. Трезв только чиновник.

10. Египтянки, провожая в Серапеум нового Аписа...
11. Да ведь и оканчивается соском, как детская соска. Даже желобок есть, чего нет в детском рожке для положения языка.
12. Я отрастил у христианства соски.
13. – «У нея голубые глаза»; сказал древнейший завет о любви; и посадил Рай Сладости.
14. Целомудренные обоняния... И целомудренные вкушения... В лесу – те же, что здесь...
15. Никогда не упрекайте любовь.

В С А Х А Р Н Е

16. – «Мы – соль земли». – «Да. Горькая соль из аптеки».
17. Игорный дом в Храме Божиим (духовенство в браке).
18. Сердит. Не хочу слушать лекции (студент-медик).
19. Семя души нашей сложно.
20. Если предложить «подать мнение» (имя-славцы на Афоне).
21. Единственный глупый на Сахарну еврей (рассказ Евг. Иван.).
22. До так называемого «сформирования девушки».
23. Несомненно когда умер Рцы – нечто погасло на Руси.
24. Да не воображайте: попы имеют ту самую психологию «естествознания» и «Бокля».
25. Наша школа тупа (Евг. Ив-на о брате).
26. Мысль о вине Бога против Мира – моя постоянная мысль.
27. Отсутствие государства, как и отсутствие отечества – есть источник могущества евреев.
28. Ведь и Александр Борджиа был «правильно рукоположен».
29. Один человек рассказывал «о сих [нрзб.]» (о заседании Синода – Тернавцев).
30. Мне очень легко быть «стойким» в литературе.
31. «Когда женщина свистит – Богородица плачет».
32. Итак, по литературе русские все лежали на кровати и назывались «Обломовыми».
33. – Вам нравится этот цветок? (Евгения Ивановна).
34. Религия вечно *томит душу*.
35. Евгения Ивановна, вся рассыпаясь в милом смехе, сказала: «Дважды два именно *не четыре*».
35. Вот идет моя бродулька с вечным приветом.

36. Они-то их целуют в плечико, а те все им «накладывают».
37. Церковь – до-книгопечатное явление.
38. Когда танцуют – не вспоминают о священнике... Он должен уметь *ждать*.
39. Удивительно, что русского писателя русские писатели и не представляют иначе, чем что он, конечно, ненавидит Россию, не уважает Царя.
40. Пустота мысли у евреев, однако, удивительна. Это – действительно изношенная нация.
41. Это вещь совершенно недопустимая, чтобы дети не любили и не уважали родителей, или – [место] учения своего.
42. Но вот что нужно еще иметь ввиду: что ведь «завет»-то в самом деле был и не разорван до сих пор.
43. «Едем на тройке кататься» – «Собираемся в компанию».
44. Русские – вечные хлысты, невесты...
45. Революция – это какой-то гашиш для русских.
46. Прокливание России есть суть русской литературы.
47. Раз он поставлен на [гряде] заботы о заповеди Господней.
48. Еўріка! Еўріка! – о половом стыде.
49. В собственной душе я хожу как в Саду Божиим.
50. Прокливание России есть суть «Истории русской литературы».
51. Отношение социалиста ко всему – как *commis voyageur*'а к гостинице.
52. Кабак – это всегда шум. И существо литературы – это шум.
53. Нет праведного гнева, нет праведного гнева, нет праведного гнева (к выбросу из русских музеев Антокольского, Левитана и Гинсбурга).
54. Всегда надо помнить «12-го» среди Апостолов (Афон – «Имя-славцы»).
55. К банкирше был введен внук 3-х лет («Кушал ли ты икру и землянику?»).
56. Крестьяне смотрят на книгу как на *молитвенник*.
57. Мережковские никогда не видали меня иначе, как *смеющимся*.
58. Да ведь если в самом деле есть загробное существование, бессмертие души и Бог...
59. Не понимает книги, не понимает прямых русских слов, – а пишет на нее критику.

60. Не стесняйтесь, не стесняйтесь, господа: русский пейзаж обработал Левитан.

61. Да, ну что же, ну что же, если розы имеют нектар, – и нельзя всех за это тащить в тюрьму.

62. Слышу шум, но голосов не слышу... И вижу тени, а лиц не вижу.

63. «†» ребенка. Из газет.

64. Укусы современности – те гвоздочки, коими прибиваются бриллианты на посмертную корону.

65. Какое страшное, какое пошлое непонимание Толстым Евангелия.

66. Письмо мамочки к массажистке.

67. Пустота мыслей у евреев, однако, удивительна. Зачеркнуто.

68. «Симпатичная молодежь» все [преуспеваает].

69. Да: устроить «по-новому» и «по-своему» отечество – мечта их.

И Ю Н Ъ

1. Оттого я так жизнерадостен, что много страдал. Оттого я так люблю радости, что они были редки.

2. Нужен купол надо всем, над полем, над храмом, над сословиями (социальные расслоения и иерархия).

3. Стекло [сушит] кожу: поэтому никогда, девушки, не глядитесь в зеркало.

4. В [лени] – почти метафизический корень Православия.

5. Как Столпнер (при понимании ценности идей Страхова) равнодушен был, что он «не идет».

6. Да, великие сокровища Греции попали в бездарные русские руки (история русской церкви).

7. Мало учат в церковной школе. Только Евангелие. Это что. Даже не читают наших сочинений.

8. Да что такое Столпнер, этот эстетический Столпнер, с его умом и диалектикой?

9. Танец ... Великий танец в душе моей. Вечно. (Нечто).

10. Да, конечно если бы я почувствовал хоть каплю [внутренне] про себя, молча, правды в [эмигрантах].

11. Вовсе не радикализм враждебен мне, а формализм радикализма.

12. Я мог бы любить литературу не как выражение России... а как *план* ее благородства и величия.

13. «Проблемы Родзевича» (школьное воспоминание).

14. Как эти негодяи уничтожили Хрусталева-Носаря (евреи-социалисты).

15. Теперешний социализм точно пьяный рвется к успеху (о Рубакине, «Среди книг», – скупость его).

16. Даже для цирка собак, которые бы умели прыгать в колесо, – выбирают, а из семинарии всех стригут *в одно*.

17. Интересное, что мы могли бы услышать от Горнфельда – это о том, что личная торговля вся перешла в руки евреев.

18. Нужно вырвать Белинского из этого кабака. («Современника» и «Отечеств. Записок»).

19. Маркс и Лассаль производили Прудону обрезание (суть социализма и русской революции).

20. Есть что-то хлыстовское в иудейской субботе.

21. В революции музыкант показал ноты французские и потом еврейские, канифоль польская. Русский студент слушает и хлопает.

22. Образовался рынок. Рынок книг, газет. Литературы. И стали писать для рынка. (Судьба литературы).

23. Чуковская (еврейка) на вопрос мой, в чем суть евреев, – ответила: ум.

24. Этакую «Америку» сказал, что я чуть с ног не свалился: – «нужно уважать чиновника» (С.С. Боткин).

25. У социалиста болит зуб. «Вне программы»... И бегают, бегают по комнате.

26. Да, променял я Государя своего на повестушки Айзмана. Подставляй карман.

27. Государи терпели. Государь наш чувствовал во время Японской войны кой-что другое, чем Короленко.

28. Я рад потому, что это от Государя; не тому, что это хорошо или дурно, но тому, что от Государя.

29. Почему все пристали к душе моей и к душе каждого писателя, что он должен ненавидеть Государя.

30. Снять нареkanie с оплодотворения человеческого – на это [уложено] 1/2 моей литературной деятельности.

31. Еще 20 лет назад, когда я начинал литературную деятельность, «еврей в литературе» был что-то незначительное.

32. Ну вот и «таинство» совершили над Львом Николаевичем (суд его над Карениной).

33. Идет поп с [клюкой] как рак с клешней. Впереди его [барышня].

34. Вечное солнце течет в моих жилах.

35. «Вы хотите опять портрета с меня» (цыганка).

36. Приведи, Боже Вечный, победить этот кабак (было: набрано).

37. Кабак – отвратителен. Если часто – невозможно жить. Но изредка – он необходим (перенесено в май).

38. Русские – вечные хлысты, невесты... «Грязная девчонка» лежит в основе всех наших европейских увлечений.

39. На месте души у него кривая палка: и так поучает [«сплю» и «овамо»] о правде (Гофштетер).

40. Если духовенство настаивает и будет продолжать настаивать, что оно не отречется от теперешнего учения о браке, – то я отрекись от нее.

41. У Герцена умерла мать... Когда немец Шиллер высек поручика Пирогова.

42. Человек, на которого никогда не взглянул Бог (Гофштетер).

43. Есть люди, которые смотрят на христианство как на «последнюю часть» несчастной (бесчестной в кн.) жизни.

44. Два случая я знал, когда мужчина женился «на деньгах».

45. Кора говорила. Александр молчал.

46. «Мы такие же люди, и nihil humanum a me alienum puto» – говорят Столпнер, Слонимский и Эфрос.

47. Евреи знают, что «с маслом» вкуснее, – и намамливают, намамливают русского гражданина и писателя.

48. Из писателей «нашего направления» мне первому удалось добиться читаемости.

49. Печаль современного писателя – что он живет и пишет среди циничного общества. (Билет 10 р., икра, вина; и – «дороги книги»).

50. Куда же я пойду от церкви? Неужели к этим «опять» – зулусам-позитивистам?.. И вот душа моя «зажата» между ими и детоубийцами.

51. Вся моя дьявольская энергия уложилась в брюхо моей литературной деятельности.

52. Верю ли я в Бога в ночном, страшном смысле.

53. Выпереть из литературы Герцена... не его, а его хвостовство, самовлюбленность, грех.

54. Где родник ненависти к «Уедин.» и «Оп. л.»? С моей точки зрения, как я это понимаю?

55. Бог простит ему. Видел доброе. Отчего же не вынести и худого? (Мережковский в «Русс. Слове» обо мне).

56. Смотри на дело свое как на молитву. На главное дело.

57. Да вовсе и не социалисты против меня... а накладные бороды в социализме.

58. Нужно различать стихию веры от догматов веры.

59. Не составляет ли мелочности ума и мелочности души возил (мысленная) с Синодом, с консисториями и со всяким «духовным делопроизводством».

60. Единственное условие быть счастливым – забывать о себе.

61. Отчего так сердятся на «Оп. л.»? Еще больше чем на «Уединенное»? Не понимаю, не понимаю своего литературного position.

62. Только и делает, что спрашивает: «Чего изволите»? (Мережковский: обо мне).

63. Мы русские нечистоплотны... Входит еврей к русскому в гости... Будет ли он с русским говорить о своих.

– Нет, – а о русском правительстве.

64. «Гнись, приспосаблийся», – кричит жене поп, когда ее колотит муж.

65. Вся литература поражена, что я считаю деньги. «И так цинично, на глазах у всех».

66. Кроме всего другого прочего, евреям присущ своеобразный гипноз.

67. Портрет Репина – Короленко.

68. – Хочешь книжку? – Скучное лицо. – Может физическими опытами займешься? – Скучное лицо (студенты).

69. Нимфа Эгерия сказала мне (о русской хлебной торговле).

70. «Павший Розанов впал в позорное падение» («Одесские новости» обо мне).

71. Все-таки с «Уед.» и «Оп. л.» поумнела Русь.

72. Все еврейские умы какие-то бесхлебные умы.

73. Пройду я, пройдет Меньшиков, а кварталный на углу Невского и Литейного все будет стоять.

74. Мы вышли с Мих. В. Нестеровым из Клиники Ел. Пав. («грех старит»).

75. Что же мы русские сделали с принятым от греков Православием?

76. Твердо держи ружье стрелец, твердо держи перо писатель.

77. Трактирные люди – да, вот суть позитивизма.
78. Были песни, сказки, былины. Это они – Пушкин, [Жуковский].
79. Добрый человек посадил женщину и kota в мешок и сказал: – «Благословляю вашу любовь».
80. Всякий имеет «своего Иегову» – даже произносит «*áто*»...
81. Есть религии *лиц* и есть религии *народов*.
82. У каждого собственно *своя религия*.
83. Он скорее художник, чем проповедник, и скорее балерина, чем священник.
84. У Левитана все красиво. Но где же русское безобразие? И я поняла – что он не русский.
85. Говорю я Шервуду (скульптору): – «У вас был погром?» – «Был. Точно *теплый дождь прошел*».
86. В Казани на голоде: как баба выпросила рубль сходить на богомолье, (рассказ Евгении Ивановны).
87. – «Я так несчастна! Я так несчастна!» – Муж выбросил женин Образ Николая Чудотворца.
88. Я предпочла бы жить среди каторжников, чем среди них (о евр. банкирах).
89. Мы надежда России. Мы ее будущее. Дайте денег (попы).
90. Православные пьют чай с медом, а социалистишки со злобой на правительство. Естественно у нас вкуснее.
91. Мягкую, белую руку (интендант у Евгении Ивановны).
92. Мне не надо Патти. Я имею граммофон.
93. Достало духу судить Пушкина (Влад. Соловьев).
94. Когда Белинский написал ругательное письмо о Церкви Гоголю, то никто не сказал: «цинизм».
95. Нужно функции выводить от формы. (Иосиф, Эгерия).
96. ... с дочкой. И дочка довольно красивая (попадья бессарабская).
97. Жулики-то эти, старички (время вступления в брак).
98. Социализм пошел в кабак. Впрочем, все явления теперь пошли в кабак.
99. «Переоценку ценностей» в христианстве произвели. И все кричали – «браво»... Так распинает демократия все возвышенное.

И Ю Л Ь

1. Горнфельдишке никак не хочется, чтобы утвердилось, что Гоголь не был реалистом.

2. К числу утешений монашеских относится как известно «с мухой».

3. Да, он равнодушен к женщинам, но не дает покоя мухам.

4. Обряд церковный весь свят, но управление церковное давно уже не свято.

5. – Постыдно жить на содержании у своего имущества, не работая (Евгения Ивановна). – «Да и опасно: прогонят в шею» (Розанов).

6. Бабушке было уже 76 лет (рассказ Евгении Ивановны).

7. Если я в темной комнате наткнусь на косяк, я скажу неодолимо «pardon» (Евгения Ивановна).

8. Прокатилось колесо, пропылило, потом свалилось в канаву. Так я умру.

9. Не любят писатели России. – Ну, что же: зато любят святые.

10. Был вечер, христианство... Теперь – ночь, и нечего ждать [«Наша культура»].

11. «Наш [Жоржик]» (Женя в кн.) (рассказ Евгении Ивановны).

12. Еврейская религия... вечно моет, чистит, прокаливает посуду («роды»).

13. Все образы Нестерова просят пощады.

14. «История новейшей русской литературы»... что самые интересные молодые люди суть социалисты.

15. Когда я открываю в духовном журнале статейку («пирог был, извините за выражение, с яйцами»).

16. Александр Яблоновский считает себя либеральным писателем (о браке гимназистов и гимназисток).

17. Стена высокая, каменная... Не перелезешь...

18. Горнфельду очень нужно утвердить «натурализм» Гоголя.

19. Шум, звон, колокол и хвостовство пошло в русской литературе от Герцена («незаконнорожденность» его).

20. ...да мне противны только люди «с общественным интересом», а не то, чтобы «общие дела», «дела мира».

21. Единственный барин в литературе и есть революция.

22. «Герои». «Они 20 лет сидели под замком. Потом женились».
– Но секрет не в героизме, а в замке.

23. «Розанов – крестник Победоносцева» – пишет Яблоновский.

24. «В 12 часов по ночам» (И.Е. Репин).

25. Провокация как пылесос: сосет пыль в комнате, в стране, собирает в ведро и выносит вон.

26. Русские вообще все, кроме редких исключений, суть невинные сутенеры.

27. Мне кажется, когда обсуждают отношение церкви к браку, – всю эту жестокость и грубость отношения, то забывают ту судомойку, которую единственно знают монахи и иереи в качестве «женщины для себя».

28. Читаю Ключевского о Лермонтове.

29. На всю жизнь человек получает в рождении какую-то тайну.

30. Вот что: если перед вами еврей и еще несколько человек: немец, поляк – то вы всегда увидите еврея в озарении некоторой деловитости.

31. Чего же ты хочешь, когда не хочешь ни литературы, ни политики? Мне [нрзб.] литературное «появление Розанова».

32. – Так вы нами не очарованы? – Нет (соц. демократы).

33. Прочел у Глазенапа (о переменных звездах).

34. ...хоть бы постеснялся *скромностью* (Мережковский о Св. Серафиме Саровском).

35. «Пролетарий» обычно делает судьбу через женитьбу.

36. – «В Петербурге не было у меня никого знакомых». (Лидия Эрастовна урожд. княжна Ухтомская и ее супруг полу-жид Гофштетер).

37. Я вздрогнул: передавал зажженные свечи – священники целуют друг у друга руки [как мужчины у мужчин – если они содомиты]

38. Сердечный монотеизм... «вы совокупляйте мальчиков»... Целый народ «радостно старается» (евреи).

39. Взял девку с бородой замуж и так одарил подарками (Авраам), см. дальше: сентябрь № 34.

40. Если бы не губы, мы старели бы, а как есть рот, то мы вечно молоды. От этого и сказано – вкусите в жизнь вечную, вкусите во оставление грехов.

41. Нимфа Эгерия раз сказала Сервию Туллию: «учение о форме вещи относится к самым глубоким частям магии».

42. Бог попросил у Авраама. А Авраам несколько Богу не навязывался.

43. Нимфа Эгерия шепнула Сервию Туллию: обрати, сын мой внимание, что этого и нельзя сделать, не повтори в того, что Авраам сделал перед Богом.

44. Когда же, услышав это, Сервий Туллий закрыл лицо руками...

45. Напрасно опять ты волнуешься, сказала Нимфа Эгерия Сервию Туллию: младенец сосет сосок матери.

46. Теперь ты понимаешь, сын мой, сказала Нимфа Эгерия Сервию Туллию.

47. На Тибре и около Слюаса Махима народ шумел. Нимфа Эгерия об обонянии смол и вкушении нектара.

48. У нас – минутами, у евреев – вечно. У нас некоторыми и как беззаконие, у евреев всеми и как закон. Нимфа Эгерия.

49. Станный договор (Ветхий Завет – Тильзитское свидание).

50. Почему эта клумба астр хуже стихотворения?

51. Хворалось. И целый день читал К. Тимирязева.

52. Хоть и мелочь, и не хочется говорить, а «все-таки» (о мини-страх просвещения в отношении Буслаева и Тихомирова),

53. ...было легко писать «направо» и «налево» – и я писал. Почему «легко» – не знаю.

54. Я себя считаю («себе кажется») самым богатым лицом в XIX-м веке.

55. Скопческое отродье только и могло выродиться в формализм и канцелярию. Чего же я ждал? Чего мир ждет?

56. Отрицание-то пола и есть корень мирового пессимизма.

57. Если индейку назвать курицей, какого она будет вкуса? (ответ Дарвину).

58. ...да очень просто, что «не было никаких изображений».

59. В вопросе брака и безбрачия духовные так же гибнут, как мухи в клейкой бумаге.

60. Морить мух однако не нужно: достаточно поставить тарелку с вареньем в стороне.

61. «Gloria! Gloria!» – (видение Аписа в соборе Св. Петра).

62. Удивительно упрекают меня в порнографии (я и цензура).

63. «Пора начинать детей!!!», сказал я проснувшись и не проснувшись.

64. Яблоновский подражает Амфитеатрову, Амфитеатров под-держивает Яблоновского, и оба бегают за Горнфельдом.

65. «Охранка», я думаю, с большим удовольствием смотрит на газетные сочинительства Философова и Мережковского.

66. Как много тем даже не начато в науке (самоубивающиеся насекомые и птицы).

67. Конечно, «обрезал» палец, обрезал «ногти»... обрезание у иудеев.

68. Хорош запах розы. Но хорошо пахнет и резеда (полигамия).

69. Подождите: через 150–200 лет будет свистеть над русскими нивами бич иудейского надсмотрщика.

70. В настоящее время для России нет 2-х опасностей. Есть 1 опасность – евреи.

71. О судах человеческих: Со мною родилась новая нравственность и пр. Почитав Тимирязева.

72. – Ваше Превосходительство, – спрашиваю я у Соломона: что значит: «девиц без числа»?

73. М. б. во мне и есть изгибы змеи. Но нет ее ядовитого зуба.

74. Я раскутываю сердце их Герцена, их Чернышевского.

75. Евреи ходят около русских как их [могель] около коровы.

76. Даже мудрейшие не понимают темы брака (у нас – венчание, слова; у них – омовение).

77. Социалистишки не изобрели ни одной сноповязалки.

78. Евреи – счетчики и никогда «большой хозяин».

79. Порядок сотворения Богом мира перевешивает авторитетом все слова даже и святых. И я прав.

80. Царство социал-демократической пошлости (все плятятся перед Бурцевым и Плехановым).

81. Чего вообще стоит эта печать, подхлестнутая иудеями и получающая от них деньги за ругань (Рог-Рогачевский о А.С. С.[уворине]).

82. Оборачиваясь назад, часто видишь паука или вошь (о себе).

83. ...да что имеет вид соска, то должно естественно сосаться.

84. То-то на том свете «за языки повешень»: я думаю – не за одни разговоры.

85. Станция «Мечта»... с тараканами на икре и сыре.

86. Федор Павл. Кар. хотел [покормить] друга.

87. Чем не человек: и сочинения пишу, и к угодникам езжу (я).

88. Преодолеть я в я – великая проблема.

89. Да это не революция, а кабак (соц. дем. всех красивей и занимательней).

90. Да м.б. это – хорошо, это всепобедное шествие кабака.

91. О чем главным образом тоскуешь? – О невоспитанности.

92. Ах, этот серп молодой луны.

93. ...он шел по кособору [семейная проституция в Финикии].

94. Самонадеянные глупцы. Самовлюбленные.

95. Готы и вандалы могли цивилизоваться. Д. ч. они были страшно серьезные люди. Но как цивилизовать современного члена Академии Наук?

96. ...есть доля упреков Струве все-таки справедливая мне.

97. Суеверные не суть глупые, а внимательные к «неведомому еще».

98. Если это так, – и связано с глубочайшими тайнами религии и магии сложения рта, – тогда понятно восклицание Репина: «удались бы губы».

99. Престарелый Архиепископ дочитывал «бумаги». «Мне не можетя»...

100. Гоголь – первый, который воспитал в русских ненависть к России.

101. Да, конечно это дело. Если Щукин, такой ласковый говорит «грешница» о девушках, – если Флоренский молчит при этом, если Цветков.

102. Розанов – великий скотовод. – Ну, а голова? И голова «ничего».

103. Ему пора жениться [Очерк современного брака].

104. Разбивайте цивилизацию нашу копытами. Разрывайте ее рогами. И – зубами.

105. Розанов – великий скотовод... Разве [Б. иначе] смотрит на землю... телка [сосет матку].

106. «Полное приданое за 950 р.».

107. Два раза мне приходилось купаться с покойным Шперком (половой стыд).

108. «Развлеки меня», говорит читатель с брюхом, беря «Опавшие листья».

109. Моя тихая, молчаливая Муза, 20 лет меня со спины крестившая. Сегодня сказала: «Вот мы с тобой состарились».

110. Все восторгались «великим отрицанием» Гоголя.

111. Смех есть вообще недостойное отношение к жизни. Ибо она от Бога.

112. В 1-й раз в жизни спросил себя: в чем собственно разница между «нами» и «ими».

113. Семя души нашей не односоставно.

114. Писали «оды» вельможам, п.ч. они платили. Теперь платят евреям, и пишут «оды» им.

115. Вы все лжете, и перед собою, и перед другими. И называете меня циником, п. ч. я не лгу.

116. Сохранение личной независимости стало теперь гораздо труднее, чем прежде.

117. С помощью «Ююю»... я вызвал душу Соломона и спросил его: «Что значит «девиц без числа». «Начинается поцелуями» и «оканчивается поцелуями» ... Садовод наслаждается запахом всех цветов.

118. Все затянуло жидом.

У нас Polizion-Revoluzion ... Анна Павловна, Вера Фигнер и студенты.

Нет хорошего лица без чего-то «неприятного».

А В Г У С Т

1. Господи: в чем же победа над смертью, – в деторождении или благородстве... (о «конце»).

2. Не есть ли нечто несправедливое в моих оценках Бокля, Спенсера, Дарвина?

3. Что такое «добрый священник»? Всех утешает, всех укрепляет.

4. Господи, отчего ты только в конце жизни открываешь нам, что уже то, что мы есть – есть твой дар, а не наше право.

5. Евреи вовсе не *полно-кровны*, а *высасывающе-кровны*.

6. Океан жизни омывается океаном смерти.

7. В чем болванность социализма? Решает задачу «со 100 неизвестными» как «с 1 неизвестным».

8. Идти вдаль и к чужому народу есть не столько розыскание корма, сколько надежда «найти кумира, которому бы поклониться» (евреи) (Левитан).

9. Еврей всегда и везде имитирует, «обезьяна Божия». То-то они «в [тонусе]».

10. Еврей несет вам воды умыться, когда вы еще не проснулись. «Послужи всем и будешь всем господином».

11. М. б. я и буду разорван революцией, но в ее гадкое тело я впустил стрелу...

12. Государь стоит на страже России.

13. «Дом мой» не то, где «я живу», а «то, где я умру».

14. Кушанье не может быть хорошо сготовлено, если масло кладут на холодную сковороду.

15. Гул грома за горизонтом. Слышно? Не слышно? Евг. Ив. «†».

16. «Что делать? Что делать?» – произнес огромный сильный человек Андрей Константинович Драгоев, – «бесплотно влюблен-

ный» (sic!) в Евгению Ивановну Апостолопуло, урожд. Богдан, сестру m-me Помер («Рус. Б.»).

17. Смерть есть необходимость для всего. Зачем же дана жизнь?

18. Один очень жизненный и резкий человек сказал мне: «удод» (птица) = школе современной.

19. Таинственное, личное и священное поля открываются лишь в *родстве*.

20. Проповедь бесполого брака и проповедь прелюбодейного брака (Новоселову, Альбову и Дернову).

21. Едва вы вошли в толпу евреев, как глаза их прилипли к вам.

22. Евг. Ив. рассказывала: так, проводив мужа до банка, она говорила: «Прощай, мой дорогой», и приказывала кучеру везти себя к любовнику.

23. У семитов и арийцев *носы* повернуты в разные стороны.

24. Лично мне евреи не сделали ничего дурного.

25. В ярости Иегова рванул Израиля. И поверг. Тот упал навзничь.

26. Когда евреи лежат на брюхе – топчи их. Ничего не будет. А если навзничь – не трогай: последует наказание.

27. Я ехал из Сахарнянского монастыря, с удивительным инженером (Андрей Константинович Драгоев). О Церкви.

28. Божии Розы – назвал бы я самых целомудренных девушек в стране.

29. Если ты меня не любишь, на река Кура пойдешь (песенка Церетели).

30. Вся прежняя литература выходила из тишины и молчания.

31. Второй час ночи. Лежу. Молчу. «Господи, помилуй!».

32. Не хотели бы вы, чтобы эти милые молодые люди, студенты, и один инженер, говорили о религии? – О, нет! нет! нет!

33. Ей было лет 45 или 50 (Анна Ивановна Менделеева).

34. Республику было бы нетрудно установить [нрзб.] «не была республика и республика».

35. Да, но до Священной рощи 2 версты, а пошел дождь...

36. Чего испугался Розанов? Священная роща и должна быть возле нас.

37. Иногда кажется, что я преодолел всю литературу. И не оттого, что силен. Но «Господь со мною».

38. Когда встретишься с этим тщеславцем, скажи ему что-нибудь ласковое (литераторы).

39. М.б. действительностью мы и могли бы соединиться с католиками и протестантами. Но мы никогда не соединимся с ними снами.

40. Им «овладеть бы миром». Нам это «все равно».

41. Приобрел «безопасный ящик» (240 р.)... 35.000 [все держится].

42. Да, мы хотим школ, требуем всеобщего обязательного обучения.

43. Дьявол овладевший Господом, бес победивший Бога.

44. Помилуйте, помилуйте – русские мыслители передового направления так прямо и говорят: «нужно уважать человека».

45. 40 лет он держал настежь дверь кабака (Михайловский).

46. Хорошо глубокой ночью «опавшие листья» заедать маринированными грибами.

47. Пожалуйста, не рассказывайте мне о том, что вы сидели в Петропавловке.

48. И теперь я думаю, что революция была необходима.

49. В наше время служить Отечеству я считаю революционным, а идти за революцией считаю ретроградным.

50. По корням – это целая культура. – А м.б. ничего не выйдет? (о своих сочинениях).

51. Письмо от Васи. Сломал ногу.

52. Евреи «нищ» лежат перед Богом. И видит каждый небо, звезды.

53. А много я навалил книг (мои сочинения).

54. По следующим линиям потекла моя умственная жизнь (книги).

55. Да что же они вообще-то понимают? Для них нет церкви. Нет религии. Нет истории.

56. Больше всего духовенство выдается хорошим ростом.

57. А любишь ты себя, Розанов. – Люблю. – Но ведь это грех.

58. Что это ты, Розанов все на «ничего» едешь.

59. Я стоял в углу и плакал (школьное воспоминание, немецкий язык).

С Е Н Т Я Б Р Ь

1. Отчего я так волнуюсь от литературы (антипатия)? Тут есть что-то... в звездах.

2. История сливается с *лицом* человека. Лицо поднимается до исторического в себе *значения*. В этом суть монархии.

3. В редкие минуты я достигаю всемирной любви.

4. Да, так вы и думаете, что есть розы, которых бы никто не обонял.

5. Я Василия Михайловича спрашивал: да какая разница между хлыстами и монахами.

6. У вас не жезл, а палка (иерархия монашеская).

7. Ясно, что если бы *Песнь песней* не была отвратительно и даже идиотски истолкована у нас, – то и скопчества Кондратия Селиванова не появилось бы.

8. Я колеблюсь. Мерцают звезды... Извилисты горы.

9. Один Михайловский «не знал колебаний».

10. Это и в ботанике так: десятый сорвал розу, а 9 прошли и только понюхали.

11. Что же делать, если «окончательно» один, а не окончательно почти все.

12. Что это: коварство или глупость? Пока я боролся с христианством, – Мережковский, слегка упрекая, был необыкновенно ласков со мной.

13. Всегда перекрестится, что бы ни начинала делать (мама).

14. Хорошо. Великие события происходили. Колебался Синай. Но как же все это *записалось*?

15. Дурака и «дураком» называют в глаза... он делает вид, что «не замечает».

16. Он перекрестился на церковь и потом зарезал на дороге проезжего (полемика с церковью).

17. Побыл в церкви и чувствуешь, что день провел «как следует».

18. Конечно, «все человеку простить можно», кроме молитвы, (либерал-гуманисты).

19. О болящих молится церковь ОДНА. И об умершем...

20. Ставлю «на канун» 2 свечки: «Надежды», «Веры». *Одна Церковь создала Вечную память.*

21. Удивительно: Чуковский почти исчез. Почему?

22. Как в счастливой семье легко трудиться. Т.е. весело.

23. Без нигилизма – нельзя. Без нигилизма и нигилистов нам все-таки не обойтись. Они дали нам, государству и отечеству, железное ХОЧУ.

24. Людей, решавшихся проповедовать, что *НУЖНО УВАЖАТЬ человека* – было не так много: Кавелин, Стасюлевич и пр.

25. Постоянный шелест крыл в душе.

26. Боже вечный: держи меня всегда за руку.

27. Обрезанные *уже невольно для себя* становятся религиозными.

28. Я не «блудный сын» Божий. Во мне нет буйности... Но я [«шалунок»] у Бога.

29. ...да *сороботать* колоссальной силе, нашей силе, нами в истории сработанной – неужели не сладостно? С сознанием, что это *мы*.

30. *История* не есть ли борьба, игра могущественных эгоистов?.. Разве [Данте...].

31. Да будет она проклята, – она, сама проклинаящая (о литературе).

32. В чем мое *отличие* в литературе? В *деятельности* этого «нашего направления».

33. Если бы «бог Израилев» взял в любовь себе греков, римлян, – евреи моментально почувствовали бы свое право «изменить» ему.

34. ...взял девку с бородой замуж, да так одарил ее, как не получила ни одна девка без бороды. Вот это халдейская история.

35. Сердечный монотеизм... И бегают друг около друга.

36. Розанов еще молод. Р-в совсем молод. Когда мамочка здорова.

37. К литературе было предназначенье и она «вышла» у меня.

38. Он был волосом рус и красив. И дошел до «экзарха» Грузии.

39. Каин просит крови («Труп» Толстого).

40. Гребь, гребь, Вася! Гребь, не уставай.

41. Какое-то ерничество (Влад. Соловьев).

42. Тетраграмма была вдохом... И на этот вдох Б. не мог не отозваться.

43. Да у нас не «реализм» был. Не «эмпиризм». А просто – трактир.

44. Напишешь что. Подбежал Левин. Полаял.

45. Нет евреев. Есть еврей. У которого 10 000 000 рук.

46. «Ах» не так просто. «Ах» похоже на Иеговых.

47. Однако же и у скопцов есть радения. (Ах! Ах!).

48. Горечь, горечь! Больше (давайте) огорчения (критикам).

49. Очень ошибаетесь, Елизавета Кускова, думая...

50. Ужасный сегодня рассказ проф. Грибовского, как через Йоллоса и Герценштейна шли на революцию деньги еврейских банкиров.

51. «На куртаге изволил оступиться» (Авраам «упал» перед Богом).

52. Без книг и разума все-таки нельзя.

53. Как все лакейски вышло (застрелили Герценштейна) из-за куста. И убежали.

54. Есть люди, которые при всем уме и таланте не хотят печататься. (Флоренский).

55. Девство до-брачное... только и объяснимо из фаллического культа.

56. А окурочки-то все-таки вытряхиваю.

57. Иногда что-нибудь грязное «мучит» душу. Не опасное, не вредное.

58. Уважение к Государству и верность Престолу должны выразиться в заботе о семье и браке и архиереев и Синода.

59. Ну вот и папочка нашел лесного зверька по себе. МЕДВЕДЬ.

60. Что-то мне отдаленно кажется симпатичным в Елизавете Кусковой.

61. Не велика вещь: обернуться в 1/2 оборота на каблуке. А увидишь все новое.

62. «Дам тебе и Землю Обетованную» (обрезание Авраама).

63. Жена министра (Елена Геннадьевна Кривошеина, урожденная Карпова, из рода – Морозовых).

О К Т Я Б Р Ь

1. Мои ошибки так же священны, как мои правды, п. ч. они текут из действительности. А она священна.

2. Я настолько же люблю студентов как ненавижу (Голубев разыскивает Ющинского).

3. Жидки могут удовольствоваться, что за ними побежал Влад. Соловьев. Розанов не побежит.

4. Всегда мамочка скажет: «Не из дорогой материи».

5. Сто топоров за поясом: «лес рубим, щепки летят». Надо засеять: а за поясом только топоры.

6. Новоселов – не подымай нос (о Распутине статья).
7. Когда я читаю о богочеловеческом [процессе] у Влад. Соловьева, то мне ужасно хочется играть в преферанс.
8. Отечество евреев – в крови их.
9. Евреи – в субботу, а другие – в других днях недели. Вот их отношение к инородцам – гоям.
10. Разгадка Библии и юдаизма начинается не с «монотеизма», а с ритуального убоя скота.
11. «Псалмы Давида! Псалмы Давида!» – да дело не в этом, а что они «не могут есть от *бедра*».
12. Лавка. Комната большая (торговец табаком в Москве).
13. Евреи бросаются все за *одного*. И разрывают как волки охотника когда он убил у них *самих*.
14. «Хоть бы кто помолился о душе моей грешной». Все молчат. Церковь сказала: «Я помолюсь».
15. Все общество покачнулось в сторону Невского. А через 50 лет туда [нрзб.] и дочки и замужние.
16. Издательство «Пантеон»... Какая-то провокация всех понятий и имен. И когда им скажет Аракчеев: «Цыц».
17. Устраните берега и река разольется в болото («свобода» и «стеснение»).
18. Какая проклятая капля, папа. Не дает купаться (Верочка).
19. Сколько я могу объяснить психологию Веры...
20. Большой «пуд» все-таки я положил в чашу умственной жизни России.
21. «В эти дни позора»... Любош.
22. Россия вовсе уж не так «не гражданственна»...
23. Ах, холодные души, литературные души, бездумные души.
24. Завязав в *один* узел *оба* завета... наше духовенство и гадит около них, ничего не понимая.
25. Еврею тепло... и на чужбине; русскому и у себя холодно.
26. Борьба с еврейством *для успеха* не должна быть концентрируема.
27. «Рабочая эпоха» – уважение к труду. Я и говорю: «я *заработал*».
28. Какой же он к черту «профессор государственного права», когда он не умеет под козырек Его п-ву сделать.
29. ...да ну, смотрите проще на вещи: ведь бывает же, что сучка играет с сучкой и кобелек с кобельком. Чего волнуетесь? (Платон).

30. И он учен и инструмент учен (библейсты; смотрит в микроскоп на небо и в телескоп на инфузорию).

31. Хорошо. Я знаю. И украл. И прелюбодействовал (о Некрасове).

32. Есть стороны, есть уголок какой-то мысли и жизни, где Некрасов стоит Пушкина.

33. Да тут не «мнение Роз-ва», а «Роз-в знает» (Юдаизм и наши богословы).

34. Сквозь безумную ненависть – такая же безумная любовь.

35. «Что же это – любили, любили и вдруг разлюбили» (я и евреи).

36. Александр III в Петропавловском соборе. Венки,

37. *Нет* ли Алекс. III-го? *Есть* ли он еще?

38. Грибок самый пахучий – белый. *НАШ*. Мех – бобр. *НАШ*.

39. Прекрасная Философова о Достоевском (Страхов о Д.).

40. Что-то мне нравится в Елиз. Кусковой.

41. Хорошо, что в России устроены: «Рады стараться Ваше В-дие» (на Религ.-Фил. собрании).

42. Религиозно-филос. собрания как-то потеряли *кристалл* в себе.

43. ...да! да! да! «Не позвали к обеду!» «Не позвали к завтраку!» – лежит в основе всей нашей оппозиции.

44. Что же эти повестушки Тургенева: они сели около камина и я стал им *рассказывать*.

45. Где *зубы* – там и лицо. А сзади – и целая голова, пусть невидимо. «Днесь спасения нашего «главизна».

46. Что прекрасно в наивном, то отвратительно в опытном (Философов и мать его).

47. Ведь радикализм – отрочество, юность. Вечный радикал слова – это Писарев.

48. Действительно поразительно (указал Меньшиков), что Авраам Бога нашел через жену свою.

49. Когда я был младенцем – вид огня производил на меня гипноз.

50. И та «головка» начала преобразовываться в Озириса, а это «лицо»... выросло...

51. «Машка стерва» – а у самого такая безграничная любовь.

52. Учение о содомии «кое-где» и «кое-в-ком» может быть [поведано] и как скандал, безобразие и разрушение ...И я – молчу.

53. Между самым большим счастьем и самым большим несчастьем – только в 1 день (Евгения Ивановна).

54. Почему ты царь умираешь – и о тебе говорит весь свет.

И лакей умирает – и о нем никто не говорит.

55. Чиновник в морали (Толстой и Победоносцев).

56. Они живут по типу «собачьей свадьбы» (евреи).

57. Если кто будет говорить против развода, – то хватай его за бороду и бросай на землю.

58. Совершаются преступления. Давятся. Топятся (развод).

59. Когда по темным улицам я ехал «назад».

60. «Каждый ложится на свою полочку» (синагоги и наши храмы). (Мережковский и евреи).

61. Расходившийся полицейский, который тычет публику в «рыло» (Щедрин).

62. Как же все это произошло? (Ученые и Ветхий завет).

63. День оправдания Бейлиса.

64. Почему у Мережковского и Фил-ва этот извиняющийся тон перед Богучарским?

65. Евреев не 7 миллионов, еврей *ОДИН*.

66. Митрополиты – ни один – не отслужили панихиды по Ющинском.

67. О, как хотел бы я, взяв на руки тело Андрюши, пронести его по всем городам России.

68. И понесли все убийцу на руках. Он «культурный еврей».

69. Есть что-то некрасивое в наших чиновниках.

70. Боже вечный. Помоги мне. Помоги не упасть.

71. Поразительно нет интереса к личности Суворина.

72. Сколько лет думаю, 20 лет думаю: «Отчего «у нас» все так безжизненно» (в редакции «Земщины»).

73. Не есть ли «исток» русской революции в раздражении делами «сверху».

Н О Я Б Р Ь

1. Дети, поднимающиеся на родителей – погибнут. И поколение, поднимающееся на родину – погибнет.

2. В собственных детях я иногда вижу ненавидение отечества.

3. Я даже не помню, за 50 лет, где бы своя земля не проклинаясь.

4. Не весь Авраам б. нужен Б., а часть его.
5. Русский пересидит всякого бегуна... И «тихость» русская пересидит еврейскую суетливость.
6. Мир, который я «слушаю» и «люблю» – есть «мой мир» и «Розанов» из «Розанова» никак не умел выскочить. Это и есть мое «уединение».
7. Сказать ли некоторый «стыдный» секрет нашей литературы – что «литераторов дальше передней не пускают». – Щедрина конечно евреи распяли бы на 3-х крестах.
8. Скропаешь строки... Мыслишки, полу-мыслишки. А получишь 25 руб.
9. ...Да это не голова, а «главизна»... И отсюда: «История религий».
10. Шеренга солдат... (Мой Вася и революция).
11. ...да, верно пишет Закржевский (Киев), что теперь писателей пугает иметь свое лицо.
12. Ах, Господи... Но откуда же нежность, мягкость (жиды похожи на жопу, содомия пассивная их с «богом Израилевым»).
13. «Столпообразные руины...» Это хорошо, если применить к коням.
14. «Тумба»... Это – преобладающий тип православного русско-го духовенства. И «священный путь России» есть просто тротуар с деревянными тумбами.
15. Моя вечно пьяная душа... Она всегда пьяна, моя душа.
16. ...Разговоры, суть разговоры, а дело есть дело. Евреи отдали нам разговоры, а себе взяли дело.
17. Мои ошибки, обмолвки были сохранены. Зачем? «Я» для «себя» (чудно). «Священный лик».
18. Безумно люблю свое «Уед.» и «Оп. Листья».
19. Да евреи вообще не имеют *углубления* в вещи...
20. Собирались 3 года и даже «Господи, помилуй» с места не сдвинули.
21. Лавочки... Парламент есть просто собрание лавочников.
22. Весь наш консерватизм есть какие-то допотопные ископаемые чудища.
22. В церковных правилах о браке много гордости и мало истины.
23. А что если СВЯЩЕННОЕ есть – есть просто пошлость.
24. М. б. это к лучшему в печати, что в ней остался только «гвалт».

25. Часть похвал, на мой «нос корабля» несущиеся, – мне противны.
26. Зашел в кухню (штопаные чулки детей).
27. Никто так не удалил христиан от понимания «завета» иудеев с Иеговою, как христианское духовенство.
28. Просто не верю глазам, читая: «радикальная пресса не могла дать Шуфу своей дачи и усадьбы»...
30. А в самом деле, «Кому на Руси жить хорошо?» (Некрасов).
31. «Цыц». Легионы опрокинули и Иерусалимский храм. Русь – жиды – печать.
32. Ниоткуда с таким удовольствием не получаю гонорар как из «Богословского вестника».
33. Мне 57 лет и издал 15 книг.
34. Золотые дорожки еврейства проведены и в цензуру, и в кредитную канцелярию.

ДЕКАБРЬ

1. Я свинья и брежу «куда куда мне нравится» без всякого согласования с нравственностью и разумом.
2. Сидит темный паук в каждом. Этот паук «я». И сосет силы, время.
3. Где есть квадрат, найдется и куб... (провокация, существо измены политической). Так совершились дела от В.Ф. Фигнер до Азефа.
4. «Копчущек» (сцена в лавочке), замки (Рцы).
5. Тебя покинул твой Бог, Израиль. – Чего ты ждешь?
6. Нет, не верна моя точка зрения на Некрасова.
7. Есть ли я великий писатель? – Да. – Почему?
8. Читатели – не все, но очень многие – представляют себе автора книг в виде попрошайки («купи мою книгу»).
8. Где «мое» кончается – кончается история.
9. Только душу мою я сторожил. Мира я не сторожил.
10. Конечно, тайный иудей сказался в Мережковском, когда он сказал о России: «Это – труп» (в Рел. Фил. собр.).
11. «Не пришли к Суворину» в юбилей.
12. Говорят: вечна одна истина. И – одна добродетель.
13. Корректные люди... Они не нарушают никакого закона. Напротив, напоминают другим о законе.

14. Не знаю как теперь, но до 1904–1905 года (о «Нов. Вр.» и Суворине).

15. Всякое преобразование есть однако *перелом*. О чем-то было «да», о чем-то стало «нет».

16. Губы и сближаются с губами. И выходит поцелуй. Длинный.

17. ...и молоденькие, едва ли даже двух-годовалые, – подбегая сзади вскакивали на [сестер] старших, (жеребеночки; вспомнил Сахарну).

18. Очень это чистосердечно и глубокомысленно, (евреи и немцы в клинике Елены Павловны) (Кондурушкин и Горнфельд).

19. Поговоришь об евреях – и во рту какой-то неприятный вкус.

20. ...да, русская армия «позорно бежала от японцев» и «утонула в интендантских сапогах», но (разбарабанил I Семеновский полк Московскую революцишку).

21. Так сокрушается «о неравноправии с собою» Гессена (Русские писатели в «Речи»).

22. Словом, рабби Акиба был «Розанов 1-го века по Р.Х.», такой же неуч, такой же гений.

23. Мудрость одиночества. Мудрость пустыни. Вот монастырь.

24. Лермонтов только несколько месяцев не дожил до величины Байрона и Гете.

25. Не уступлю! Не уступлю! (Книги не расходятся).

ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ

Никита Михалков. Напутственное слово. – Впервые в книге: *Налепин А.Л., Померанская Т.В. Розанов@etc.ru*. М.: Центральный издательский дом, 2011.

П.В. Палиевский. Розанов надолго. – Впервые в книге: *Налепин А.Л., Померанская Т.В. Розанов@etc.ru*. М.: Центральный издательский дом, 2011.

О благородной лани, вымистой корове, рыжем зеленоглазом козле и шелудивой собаке. – Первый вариант статьи впервые в книге: *Налепин А.Л., Померанская Т.В. Розанов@etc.ru*. М.: Центральный издательский дом, 2011.

«Разноцветная душа» Василия Васильевича Розанова – статья А.Л. Налепина. Впервые в журнале: *Литературная учеба*. 1988. № 1.

«Книга – это быть вместе» – статья А.Л. Налепина. Впервые в книге: *Розанов В.В. Сочинения*. М.: Советская Россия, 1990.

В.В. Розанов и народная культура – статья А.Л. Налепина. Впервые в книге: *Контекст-1992. Литературно-теоретические исследования*. М.: Наука, 1993.

Невербальные компоненты поэтики В.В. Розанова и их фольклорные параллели. – Впервые в книге: *Этнопоэтика и традиция: к 70-летию члена-корреспондента РАН Виктора Михайловича Гацака*. М.: Наука, 2004.

«Всего лишь неполный год...» – статья Т.В. Померанской. Впервые в журнале: *Литературная учеба*. 1989. № 6.

Бранделяс, лукуста и «отсырелость почвы» – статья А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Литературная учеба. 1991. № 2.

Молчание розановской пирамиды – статья Т.В. Померанской и А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Москва. 1990. № 5.

Из «Розановской энциклопедии» – статьи А.Л. Налепина. Впервые в книге: Розановская энциклопедия / сост. и гл. ред. А.Н. Николоюкин. М.: РОССПЭН, 2008.

В.В. Розанов. Материалы к биографии (Анкета для библиографического словаря деятелей Нижегородского Поволжья; проект условий между редакцией «Нового Времени» и В.В. Розановым; письмо в совет московского общественного управления архивным делом; духовное завещание) – впервые в книге: *Налепин А.Л., Померанская Т.В. Розанов@etc.ru*. М.: Центральный издательский дом, 2011.

Переписка В.В. Розанова с К.Н. Леонтьевым – публикация Т.В. Померанской писем В.В. Розанова к К.Н. Леонтьеву. Впервые в журнале: Литературная учеба. 1989. № 6.

Письма В.В. Розанова П.П. Перцову. 1896–1901 гг. – впервые в книге: *Розанов В.В. Сочинения*. М.: Советская Россия, 1990.

Василий Васильевич Розанов. Последние письма. 1917–1919 гг. – публикация и комментарии Е.В. Ивановой и Т.В. Померанской. Впервые в журнале: Литературная учеба. 1990. № 1.

С вершины тысячелетней пирамиды. Размышления о ходе русской литературы – статья Т.В. Померанской и А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Москва. 1990. № 5.

П.П. Перцов. Литературные афоризмы – публикация Т.В. Померанской. Впервые в книге: *Российский Архив. История отечества в свидетельствах и документах XXVIII–XX вв.* М.: Студия «ТРИТЭ», 1994.

Иллюзии «жирного царства», или «Гамлет русской революции» – статья А.Л. Налепина. Впервые под названием «Иллюзии «жирно-

го царства». Работа Е.Н. Трубецкого «Иное царство и его искатели в русской народной сказке» в журнале: Литературная учеба. 1990. № 2.

Путь и судьба Александра Вановского – статья Т.В. Померанской и А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Восточная коллекция. 2001. № 2.

О русском лесе и французском парке – статья А.Л. Налепина. Впервые в газете: Радонеж. 1995. № 5. Июль.

Предчувствие турецких цепей – статья А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Литературная учеба. 1991. № 6.

Когда же придут Третьяковы и Мамонтовы? – статья А.Л. Налепина. Впервые в журнале: Российская Федерация. 1994. № 21.

Остаться в памяти – впервые в газете: Российские вести. 2003. 8 октября.

Сценарий несостоявшегося фильма о В.В. Розанове – публикуется впервые.

Перечень афоризмов за 1913 год, составленный В.В. Розановым («Перед Сахарной», «В Сахарне», «После Сахарны») – публикуется впервые.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

- Аввакум, протопоп 74, 123, 251
Аврахов 103
Адамович А.Ф. 152, 153
Адашевы А.Ф. и Д.Ф. 375, 377
Азеф Е.Ф. 492
Айвазовский И.К. 45
Айзман Д.Я. 473
Айзенберг Аня вклейка
Аксаков И.С. 189, 198, 203, 209, 210, 239, 286, 288, 316, 333, 355, 373, 378,
Аксаков К.С. 355
Аксаков Н.П. 303
Аксаков С.Т. 257, 373, 378
Аксаковы 333, 373
Аксенов В.П. 440
Александр I 372
Александр II 249, 270, 372
Александр III 162, 201, 249, 317, 489
Александр Македонский 40, 250, 279
Александров А.А. 44, 143, 146, 177, 218, 219, 240, 241, 270, 282, 312, 316
Александров Василий
Александрович *см.* Розанов В.В. (мл.)
Александров П.А. 38, 96, 105
Александрова Варвара
Александровна
см. Розанова Вар. В.
Александрова Вера
Александровна *см.* Розанова В.В.
Алкивиад 161, 163, 165, 179, 194, 228
Альбов И.Ф. 483
Амфитеатров А.В. 479
Анна Иоанновна, имп. 374
Андреев В.В. 60, 61, 132, 468
Андреев Даниил 439, 440
Андреев Леонид 9, 17, 79, 101, 122, 130, 331, 268
Андропов Ю.В. 441
Антокольский М.М. 471
Антоний Храповицкий, митрополит 325
Антонин, архимандрит 126
Анучин Д.Н. 316
Апостолопуло Евг. И. 470, 476, 477, 482, 483, 490
Ардов (Тардов В.Г.) Т. 105
Аристотель 37
Арнольд Оля вклейка
Арсеньев К.К. 317
Артем Веселый 75
Арцыбашев М.П. 80, 101, 130
Астафьев В.П. 440, 441

- Астафьев П.Е. 186, 191, 198, 209, 221, 223, 264, 271, 281
Афанасьев А.Н. 65, 421, 426
Ашукин Н.С. 383
Байрон Дж. 371
Бакст Л.С. 313, 328
Бакунин М. 29, 373
Бальмонт К.Д. 88, 381
Баратынский Е.А. 315, 316, 389
Барсуковы И.П. и Н.П. 359
Барсукова З.И. 79, 101, 329, 351, 359
Бартенева П.И. 5
Батюшков К.Н. 374
Бейлис М. 20, 50, 490
Бекон Ф. 196
Белинский В.Г. 303, 369–371, 373, 395, 397, 473, 476
Белов В.И. 439
Беловинский Л.В. 455
Белый Андрей 86
Беляев, свящ. 116, 155, 156, 269, 330
Белянкина, вклейка
Бенуа А.Н. 345, 346, 349
Берг Ф.Н. 44, 143, 146, 221
Бердягин Максим (партийная кличка), настоящая фамилия
Бибииков М.В. 427
Бердяев Н.А. 38, 354, 403, 405, 424, 428, 429, 431, 432, 445, 456
Бисмарк О. 246
Благосветлов Г.Е. 286, 316
Блок А.А. 28, 68, 69, 75, 89, 90, 134, 388, 422
Блорамберг П.И. 316
Блох Маня вклейка
Блюхер Г. 187
Боборыкин П.Д. 317
Богданов К.А. 84
Богданович Соня вклейка
Богомоллов Н.А. 354
Богучарский В.Я. 490
Бодянский О.М. 245–247, 259, 279, 280
Бокль Г.Т. 33, 140, 145, 482
Борджа 106, 470
Бородин Л.И. 448
Боткин С.С. 473
Боттичелли П. 290, 321
Брауде Оля вклейка
Брежнев Л.И. 441
Британник 106
Бронникова Е. 428
Бругш Г.К. 292, 321
Брюллов 389
Брюсов В.Я. 381
Бувье А. 104
Булгаков М.А. 106, 109, 123, 439
Булгаков С.Н. 335, 356, 373, 378, 432, 445, 467
Бунин И.А. 446
Буренин В.П. 298, 300, 324
Бурцев В.Л. 480
Буслаев Ф.И. 479
Бутурлин А.С. 103, 104
Бутурлин В.Д. 58, 100, 104, 112, 128, 129
Бутягин И.П. 35, 152
Бутягин М.П. 266, 326
Бутягина (урожд. Руднева) В.Д. 35, 96, 115, 143, 145, 149–154, 200, 201, 218, 236, 245, 267–269, 278, 280–282, 296–298, 307, 309, 310, 312, 327, 331, 347, 349, 350, 353, 354, 358

- Бутягина А.М. 115, 153, 154, 307, 326, 347, 358, 463, 470, 472, 481, 487
- Быков, прокурор 107, 108
- Бэттс Р. 127
- Валленштейн В. 246
- Вальман Н.А. 347, 358
- Ванновский П.С. 428
- Вановская (урожд. Яковенко) В.В. 428
- Вановский А.А. 427–432
- Вановский В.А. 428
- Васильев А.В. 303, 325, 332, 333, 355
- Васнецов Ап. М. 319, 391
- Введенский И.В. 346
- Веллингтон А. 187
- Венгеров М.П. 115
- Венгеров С.А. 18, 19, 46, 153
- Веселовский А.Н. 82
- Вздорнов Г.И. 358
- Виктор-Эммануил II 294, 322
- Витгенштейн А. 107, 108
- Витте С.Ю. 332, 355, 419
- Виштак-сан 432
- Владимирский Ф. 89
- Вознесенский К.В. 268, 269, 280, 282
- Волк Вера вклейка
- Волков О.В. 439
- Волошин М. 111
- Вольнский (Флексер) А.Л. 289, 290, 292–294, 320, 322
- Вольтер 163, 306, 371, 412
- Вонлярлярский Д.В. 103
- Воронцова Е.К. 385
- Востоков А.Х. 373, 378
- Всехсвятские М.Н. и Н.Д. 347, 358
- Вургафт вклейка
- Высотский В.Ф. 351, 359
- Гагарин Ю.А. 446
- Гайдебуров П.П. 178
- Гамбетта Л. 258, 280
- Ганецкий А.И. 107–109
- Ганецкий И.С. 107
- Гацак В.М. 84
- Гегель Г. 205
- Гейне Г. 411
- Гельфман Г.М. 427
- Ген М.П. 150
- Генрих IV 246
- Гермоген, еп. Саратовский 50, 51, 129–131
- Герцен А.И. 39, 164–166, 280, 375, 474, 477, 480
- Герценштейн М.Я. 487
- Герье В.И. 200, 209, 264, 281
- Гессен И.В. 487
- Гете И. 208, 247, 290, 293, 321, 371, 375, 441, 493
- Гиацинтова Н.П. 347, 358
- Гизо Ф. 33, 140, 145
- Гилевич А.А. 110, 434
- Гильфердинг А.Ф. 59, 132, 373
- Гиляров-Платонов Н.П. 198, 210, 373, 378
- Гинсбург И.Я. 471
- Гиппиус З.Н. 18, 22, 32, 50, 289, 291, 292, 294, 296, 303, 320, 344–346, 349, 354, 359, 381, 382, 462
- Гиппиус Н.Н. и Т.Н. 349, 359
- Гладстон У. 258, 272, 279
- Глазенап 478

- Говоруха-Отрок (Ю. Николаев)
Ю.Н. 19, 32, 37, 98, 159, 173, 189,
221, 240, 257, 258, 260, 262, 264,
270, 279, 316, 468
- Гоголь Н.В. 5, 29, 40, 41, 47, 75,
82, 122, 133, 166, 170, 188, 196,
212, 252–254, 257, 263, 267, 280,
342, 355, 375, 382, 386, 387, 390–
398, 404–407, 410, 436, 441, 468,
476, 477, 481
- Голлербах Э.Ф. 21, 126
- Голубев 487
- Гольцев В.А. 316
- Гомер 247, 376, 406
- Гончаров И.А. 75, 122, 211, 406–
408
- Гончарова Н.Н. 385, 389, 390
- Горбунов И.Ф. 443, 452
- Горелов И.Н. 84
- Горнфельд А.Г. 473, 476, 477, 479,
493
- Городецкий С.М. 422
- Горчаков А.М. 207, 232
- Горчаков О. 440
- Горький А.М. 9, 17, 20–22, 25, 28,
29, 42, 46, 51, 64, 79, 88, 90, 115,
157, 329, 331, 342, 345, 346, 348,
350, 351, 368, 468
- Готфрид Бульонский 367, 377
- Гофштетер И.А. 474, 478
- Гофштетер (урожд. Ухтомская)
Л.Э. 478
- Грановский Т.Н. 33, 140, 145, 373
- Грибовский В.М. 487
- Грибоедов А.С. 216
- Григорий VII (Гильдебрант) 337,
356
- Григорьев Ап. А. 186, 265, 390,
405
- Грингмут В.А. 173, 175, 208, 221,
240, 262, 281, 316
- Гринченко Б.Д. 136
- Гроссман Л.П. 34
- Губастов К.А. 246
- Гуль, банкир 108
- Гумилев Н.С. 111
- Густав Адольф 246, 247
- Даль (Казак Луганский) В.И. 58,
225
- Данилевский Н.Я. 33, 35, 140,
145, 161, 186, 265, 319, 373, 378,
468
- Данте А. 260, 376, 401, 402, 486
- Дантес Ж. 384, 385
- Дарвин Ч. 43, 85, 375, 378, 479,
482
- Декарт Р. 196
- Де-Ласси (урожд.
Бутурлина) Л.Д. 104
- Дельви́г А.А. 388
- Делянов И.Д. 201, 214
- Демосфен 250, 334
- Денисьева Е.А. 390
- Державин Г.Р. 47, 374
- Дернов А.А. 98, 483
- Дерше, консул 281
- Джаншиев Г.А. 318, 319
- Добролюбов А. 215, 335
- Довнар А.С. 148
- Дольбек, полковник 107
- Дорошевич В.Р. 105
- Достоевский Ф.М. 25, 34, 39, 40,
46, 48, 63, 69, 74, 115, 117, 133,
168, 170, 172, 174, 176, 179, 180,
182, 184, 187, 189, 195, 201, 203,
205, 210, 211, 213, 215, 230, 237,
245, 247, 248, 256–258, 278, 287,

- 301, 305, 355, 368, 385–387, 392,
396, 397, 400–408, 410, 411, 413,
416, 427, 461
Драгоев А.К. 482, 483
Друккер В. 107–109
Дрэпер Дж. В. 33, 140, 145
Думбадзе И.А. 372, 378
Дурылин С.Н. 117, 284, 340, 347,
348, 356
Дюнкемп, лорд 107
Евтушенко Е.А. 448
Егорова Лида вклейка
Екатерина I 374,
Екатерина II 6, 166, 204, 349, 372,
374, 414
Елизавета Петровна, имп. 349,
374
Елов М.С. 330, 353
Ермолов А.П. 441
Ерофеев В.В. 29, 442
Ерофеев Вен. В. 442
Есенин С.А. 12, 61, 62, 422
Железнов 389
Жуковский В.А. 47, 205, 368, 374,
475
Закржевский А.К. 491
Звагельский В. 357
Зедергольм Климент, иеромонах
261, 274, 280
Зеленин Д.К. 63
Зноско-Боровский Е.А. 111
Золя Э. 206
Зорин С.М. 125
Иван Грозный 365, 377, 451
Иванов М.М. 312, 327
Иванова Е.В. 82
Иванов-Разумник Р.В. 57
Иванчин-Писарев А.И. 381
Игнатъев Н.П. 232, 287, 318, 319
Иероним, афонский монах 283
Измайлов А.А. 340, 341, 356
Иллюстров И.И. 59, 131, 132
Иловайский Д.И. 100, 129, 223
Иннокентий Херсонский
(Борисов Иван Алексеевич),
архиеп. 35, 261, 274, 281
Иноземцев Ф.И. 163
Иоанн Херсонский 150
Иоллос Г.Б. 487
Ионин А.С. 197, 208
Иофан Б.М. 120
Каблуков С.П. 126, 345, 357
Кавелин К.Д. 316, 486
Кайзер А.Ю. 336
Кальвин Ж. 251
Каменская вклейка
Каменский А. 110, 130, 434
Кандинский В.В. 448
Кант И. 196, 337, 429
Кантемир А.Д. 374
Каптерев С.Н. 347, 358
Каптерева 358
Карамзин Н.М. 47, 102, 120, 305,
318, 342, 371, 383
Кареев Н.И. 19, 46, 304, 306, 325
Карл Великий 246
Каронин (Петропавловский) Н.Е.
370–372
Карус К. 208
Карякина Лида вклейка
Катков М.Н. 33, 140, 145, 173,
178, 197, 198, 203, 205, 209, 210,
215, 233, 239, 294, 318, 373, 378
Кворт Женя вклейка

- Керенский А.Ф. 440
Керн А. 389
Киреевские И.В. и П.В. 373, 378
Киров С.М. 359
Клавдий, имп. 106
Клычков С.А. 62,
Клюев Н.А. 422
Ключевский В.О. 478
Княжнин Я.Б. 374
Ковалев И.Ф. 78
Колубовский Я.Н. 151
Колумб Х. 248
Кольцов А.В. 342
Комаров В.В. 333, 356
Комаровский П. 103
Кондурушкин С.С. 493
Коперник Н. 222, 224
Королев С.П. 446
Короленко В.Г. 473, 475
Корф Н.А. 287, 317
Корякина Ира вклейка
Костомаров Н.И. 317
Котляревский Н.А. 340–343, 356
Кравцов Н.И. 61
Краев А.Т. 63
Краевский А.А. 369
Крандиевская А.Р. 45
Краснуха Э.В. вклейка
Кривошеина (урожд.
Карпова) Е.Г. 487
Кромвель О. 159, 169, 246
Кропоткин П.А. 373
Крундышева Зина вклейка
Крючков Д.А. 59, 132
Кугель А.Р. 355
Кузьмин М.А. 111
Кузьминская Т.А. 412
Кук Дж. 248
Кускова Е.Д. 4487, 489
Кутузов М.И. 187, 256
Лавров П.Л. 316, 317
Ларин В. 440
Лассаль Ф. 473
Ле Бон Г. 458
Левин Д.Ю. 92
Левитан И.И. 471, 472, 476, 482
Лейбниц Г. 375
Лейбович Лиля вклейка
Лейбович Эся вклейка
Лейкин Н.А. 178, 376
Леман Г.А. 117, 284, 347, 358, 419
Ленин В.И. 429, 440, 445, 457,
458, 464
Леонтьев К.Н. 11, 19, 27, 28, 35–
41, 55, 82, 95–99, 122, 157–284,
287, 305, 316, 318, 373, 378, 403,
405, 436, 441, 456, 465, 468
Леонтьев П.М. 178
Лепсиус Р. 296, 323
Лермонтов М.Ю. 46–48, 216, 342,
365, 368, 384, 386, 388, 390, 391,
395–400, 404, 410, 414, 415, 441,
478, 493
Лесков Н.С. 75, 122, 316, 368
Лессепс Ф. 258, 280
Ломоносов М.В. 318, 349, 374
Лопухина В. 388, 390
Лорис-Меликов З. 107
Лорис-Меликов М.Т. 286, 287,
317, 319
Лукин А.П. 316
Людвик IX Святой 367, 377
Лютер 412

- Майн-Рид 163
Макаренко Н.Э. 82, 345, 347, 349, 350
Макарий, афонский монах 283
Макиавелли Н. 262, 281
Маковицкий Д.П. 103
Маколей Т.Б. 33, 140, 145
Максимов Д.Е. 383
Максимов В.Э. 460
Малевич К.С. 448
Мамонтовы 443, 452
Мандельштам О.Э. 439, 448
Манфред 21
Марк Аврелий 289, 320
Маркс К. 445, 473
Марченко В. 127
Масанов И.Ф. 43
Масперо Г. 292, 321
Менделеева А.И. 483
Меньшиков М.О. 46, 475, 489
Мережковский Д.С. 46, 50, 130, 157, 158, 289–294, 296, 311, 313, 319–322, 329, 332, 335, 344–346, 349, 351, 356, 357, 359, 381, 382, 410, 427, 432, 438, 446, 471, 475, 478, 485, 490, 492
Меркушев М. 303, 325
Местр Ж., де 451, 452
Метерлинк М. 228, 441
Мещерский В.П. 42, 318
Микеланджело Буонарроти 386
Милюков П.Н. 177, 440, 468
Минский Н.М. 382
Миротлюбов В.С. 45
Митрофания, игум. 164, 252
Михайловский М.Н. 336, 356
Михайловский Н.К. 29, 41, 44, 143, 146, 167, 290, 297, 304, 316, 317, 321, 325336, 356, 369, 381, 484, 485
Михалков Н.С. 4, 446, 454, 457
Мокринский Г.Х. 348
Молева Н.М. 120
Мопассан Г. 48
Морозов Д.И. 316
Моцарт 193
Муравьева 111
Мурильо Б.Э. 292
Мусоргский М.П. 391
Набоков В.Д. 468
Навроцкий В.В. 324
Накашидзе, кн. 107, 108
Налепин А.Л. 3, 4, 72, 84, 85, 124, 454
Налепинская Ганя вклейка
Наполеон I 187, 204, 207, 272, 390, 414, 451
Наумов 110, 434
Некрасов Н.А. 38, 45, 46, 96, 318, 369, 373, 468, 489, 492
Нестеров М.В. 117, 475, 477
Никифорова А.П. вклейка
Никифорова Нина вклейка
Николаев В.Н. 152
Николаева Татьяна Николаевна см. Розанова Т.В.
Николай I 372, 374, 441, 455
Николай II 473
Никольский Б.В. 298, 323, 324
Николюкин А.Н. 124
Ницше Ф. 21, 48, 168, 171, 194, 228, 229, 289, 311, 319, 320, 336, 416
Новиков Н.В. 78, 81, 82, 164

- Новоселов М.А. 467, 483, 487
Нольде Б.Э. 354
Нордман Н.Б. 469
Ньютон И. 278, 337
О'Бриен де-Ласси П.-К. 104–112, 128, 129
Овер А.И. 259, 280
Огарев Н.П. 39
Огинский Б. 103
Окен Л. 208
Окуджава Б.Ш. 440, 448
Олсуфьев Ю.А. 343, 347, 348, 358
Олсуфьева (урожд. Глебова) С.В. 347, 348, 358
Ончуков Н.Е. 59, 132
Ориген 254
Осман-паша 107
Осоргин М.А. 353
Остафьева Е.А. 140
Островский А.Н. 75, 122, 206, 368
Ояма Ивао 370, 378
Павлов И.А. 316
Павский 177
Пайпс Р. 458
Палем Ольга 146, 148
Палиевский М.Т. 10, 17
Палиевский П.В. 6, 9, 55, 56, 76, 455, 456
Панченко В.К. 58, 99, 103–105, 109, 111, 112, 128, 129
Паскаль Б. 236, 335, 447
Пастернак Б.Л. 448
Патти А. 476
Пенкин И.И. 152
Первов П.Д. 37, 144
Перцов В.В. 313, 327, 328, 381
Перцов П.Н. 381
Перцов П.П. 11, 50, 119, 153, 284–328, 332–340, 352, 353, 356, 381–417
Петр I 46, 74, 367, 368, 372, 374, 378, 414
Петров Гр. С. 412
Петрова Таня вклейка
Петровский С.А. 232
Пешехонов А.В. 102
Пикуль В.С. 440
Пименова Э.К. 335, 356
Писарев Д.И. 122, 215, 317, 335
Писемский А.Ф. 205
Платон 230
Платонов А.П. 439
Плеханов Г.В. 480
Плютичевский Д.И. 152
Победоносцев К.П. 189, 318, 327, 477, 490
Поберенская Маня вклейка
Пожалова Наташа вклейка
Поженян Г. 440
Полонский Я.П. 298, 323
Померанская Т.В. 3–5, 82
Попандопуло А.С. 324
Посников А.С. 316
Потемкин Г.А. 204, 414
Преображенский 168
Прилуков 110, 434
Пришвин М.М. 8, 22, 28
Прокопович Феофан 368, 378
Прокудина-Горская А.А. 468
Прудон П.Ж. 269, 282, 473
Пушкин А.С. 19, 39, 46–48, 68, 117, 118, 205, 210, 216, 248, 288, 289, 312, 318, 319, 322, 323, 342, 365, 368, 372, 374, 376, 383–392,

- 395–398, 404–407, 410, 413, 414,
460, 464, 467, 476, 489
Пыпин А.Н. 178, 287, 316
Пьецух В. 441
Пятковский А.П. 299, 324
Радищев А.Н. 96, 120, 164
Радлов Э.Л. 296, 323
Раков Л. 440
Распутин В.П. 440
Распутин Г.Е. 124, 126
Рахманинов С. 446
Рачинский С.А. 160, 167, 179,
194, 286, 317, 468
Ремизов А.М. 18, 32, 62, 75, 80,
101, 346, 351, 358, 428
Ремизова С.П. 346
Репин И.Е. 475, 477, 481
Рескин Д. 228
Ричардсон Р. 107
Робинсон А. 107, 108
Рог-Рогачевский В.Л. 468, 480
Рождественский Иоанн 150
Рождественский Т.С. 67
Рождественский З.П. 369, 370, 378
Розанов В.В. 3–493
Розанов В.Ф. 139, 144, 155
Розанов Василий 36, 54, 115, 150,
152–154, 170, 331, 341, 347, 354,
463, 484, 491
Розанов Н.В. 32, 33, 54, 57, 139,
145, 155, 185, 239, 262, 270, 281
Розанова (в замуж. Гордина)
Вар. В. 36, 115, 150, 152–154, 307,
331, 347, 351, 354, 463
Розанова Вера В. 36, 115, 150,
152–154, 330, 331, 339, 347, 354,
357, 463, 488
Розанова Н.В. 21, 36, 82, 115, 127,
128, 154, 310, 331, 341, 343, 345–
349, 352, 353, 354–359, 463
Розанова (урожд. Шишкина) Н.И.
135, 140
Розанова Надежда 306, 326
Розанова Т.В. 36, 82, 149, 150,
152–154, 331, 341, 347, 349, 354
Розановы Вера В. и Павла В. 139,
140, 145
Розановы Ф.В., Дм. В., С.В. 145,
149
Розень Тамара вклейка
Романов (Рцы) И.Ф. 37, 154, 320,
332–334, 355, 373, 378, 469, 470,
492
Романова О.И. 150, 154
Рондаль, клоун 88
Россини Дж. 385
Рубакин Н.А. 473
Руднев И.Д. 281
Руднева (урожденная
Жданова) А.А. 35, 152, 186, 261,
271, 274, 281, 282, 468
Руссо Ж.Ж. 412
Рыбаков А.Н. 441
Рыбаков Б.А. 89
Рябушкин 391
Савинков Б.В. 428
Садовской Б.А. 330, 331, 346, 352,
353
Садоков К.И. 140
Салтыков-Щедрин М.Е. 5, 40, 75,
85, 100–102, 122, 256, 287, 316–
318, 369, 373, 468, 490, 491
Сальери А. 193
Самарин Д.Ф. 316, 333, 355
Самарины Н.Ф. и Ю.Ф. 355

- Самойлов А.И. 151
Санд Ж. 188
Сахаров В.И. 10
Свищевская Маруся вклейка
Селиванов К. 67, 416, 485
Сенека 13
Сесилкина Л.В. 61
Сигма (Сыромятников) С.Н. 312, 327
Сикорский И.А. 98
Сильвестр, свящ. 365, 377
Симано Сабуро 432
Скабичевский А.М. 316
Скалон В.Ю. 316
Скворцов В.М. 327
Скиталец (Петров) С.Г. 468
Сковорода Г.С. 82
Скуратов Малюта 377
Слонимский Л.З. 151
Смирдин А.Ф. 374
Смирнов-Кутаческий А.М. 59, 70, 132, 135
Соболевский В.М. 316
Соколов А. 441
Солженицын А.И. 439, 448
Соловьев Вл. С. 35, 43, 80, 100, 134, 145, 164–167, 175, 184–187, 189, 194, 195, 203, 210, 213, 221, 231, 241, 249–255, 263–265, 281, 309–312, 316, 317, 327, 355, 388, 420, 421, 424, 476, 486–488
Соловьев Вс. С. 141, 145
Соловьев С.М. 145, 427
Сологуб Ф. 50, 110, 295, 322, 323
Спасович В.Д. 316
Спенсер Г. 201, 482
Сталин И.В. 441, 446
Стеллецкий Д.С. 391
Стессель А.М. 116, 117
Стоппнер Б. 472, 473
Столыпин П.А. 63, 108
Стоюнин В.Я. 359
Стоюнина М.Н. 329, 352, 359
Страхов Н.Н. 32, 35–43, 98, 149, 167, 173, 175, 179, 184–187, 189, 194, 199, 203, 215, 221, 238, 244, 256, 257, 260, 263, 265, 267, 279, 282, 285, 287, 294, 297, 301, 305, 314–316, 318, 378, 404, 468, 469, 472, 489
Стремидловский Ст. 454
Струве П.Б. 306, 326, 426, 481
Суворин А.А. 98, 151, 312, 327, 353
Суворин А.С. 44, 98, 143, 146, 148, 151, 298, 299, 304, 312, 327, 330, 353, 480, 490, 492, 493
Суворины Б.А. и М.А. 353
Сумароков А.П. 349
Суриков В.И. 391
Суслова А.П. 34–36, 145, 152, 280, 461
Сю Эжен 225
Тамерлан 215
Тарновская М.Н. 103, 110, 434
Таскина Вера вклейка
Татищев В.Н. 120
Татлин В.Е. 120
Тацит 250, 364, 377
Тернавцев В.А. 470
Тимирязев К.А. 479, 480
Тимофеев Л.И. 115
Тинторетто 386
Титов В.И. 107, 108
Тихвинский М.М. 89, 90

- Тихомиров Л.А. 177, 178, 316
 Тихон Задонский 204
 Ткачев П.Н. 317
 Токвиль А. 259
 Толстая С.А. 412
 Толстая С.М. 91
 Толстой А.Н. 111
 Толстой Дм. Андр. 201, 235, 272, 282, 318, 319
 Толстой Л.Н. 5, 39, 47, 48, 51, 88, 103, 118, 130, 182, 186, 203–205, 210, 211, 213, 215, 244, 245, 248, 257, 258, 270, 273, 312, 316, 319, 325, 383, 385–387, 393, 397, 399–401, 405–416, 424, 461, 472, 473, 486, 490
 Трахтерев И.С. 99, 111, 112, 128
 Третьяковский В.К. 349
 Трифонов Ю.В. 440
 Троицкая (в замуж. Розанова) А.С. 140
 Трубецкой Е.Н. 72, 81, 418–426
 Трубецкой С.Н. 38, 177, 250, 419
 Трумэн Г. 463
 Тургенев И.С. 42, 75, 96, 122, 205, 211, 236, 256, 368, 386, 400, 401, 403–406, 408, 414, 489
 Тэн И. 369, 378, 382
 Тютчев Ф.И. 318, 367, 377, 387, 388, 390
 Удовиченко Лаля вклейка
 Успенский М.И. 67
 Устьинский А.П. 331, 347, 354
 Утин Б.И. 317
 Ушаков Симон 457
 Фавр Жюль 258, 280
 Федоров М.М. 301, 324, 332, 355
 Феодор Бухарев 331, 354, 355
 Феофан (Быстров Василий Дмитриевич), архиеп. Полтавский 124–127
 Феофан, еп. Тамбовский 124
 Фет А.А. 175, 321–324, 330, 388, 404
 Фигнер В.Н. 38, 96, 482, 492
 Филипп (Колычев Федор Степанович), митрополит Московский 365, 377
 Филипп Македонский 258, 279
 Филиппов В.Г. 105
 Филиппов Т.И. 155, 200, 209, 214, 264, 281, 304, 325, 332, 333, 355
 Философов Д.В. 311, 344, 479, 481, 487
 Фирсанова, миллионерша 108
 Фихте И.Г. 205
 Флобер Г. 400
 Флоренская А.М. 347, 358
 Флоренский П.А. 26, 55, 56, 117, 284, 320, 331, 335, 336, 347, 348, 354, 355, 358, 373, 378, 445, 467
 Фози О. 98
 Фомина Муся вклейка
 Фонвизин Д.И. 374
 Фофанов К.М. 321
 Фрейд З. 21, 462
 Фрибес О.А. 150, 154
 Фридрих Великий 159
 Фрумкина Ф.М. 427
 Фудель И.И. 172, 177, 178, 189, 190, 192, 347, 348
 Хемницер И.И. 374
 Херасков М.М. 374
 Хилков 108
 Ховин В.Р. 329, 345, 347, 352, 357
 Ходасевич В.Ф. 12

- Хомяков А.С. 304, 332, 333, 373, 378
- Хохлова (в замуж. Баранова, Иванова) Л.Д. 11, 127, 128, 329, 346, 347, 357
- Хрусталеv-Носарь Г.С. 473
- Цветаев И.Е. 151
- Цветков С.А. 95, 481
- Цертелев Д.Н. 316
- Цицерон 334
- Цявловский М.А. 383
- Чаянов А.В. 440
- Чернов (Портье д'Арк) 347
- Чернышевский Н.Г. 75, 79, 101, 122, 335, 409, 464, 469, 480
- Черчилль У. 418, 463
- Честертон Ф. 457
- Чехов А.П. 45, 46, 88, 225, 289, 400
- Чехов М.А. 86
- Чистов К.В. 62, 65
- Чкалов В.П. 446
- Чуковская (Гольдфельд) М.Б. 473
- Чупров А.И. 316
- Шаляпин Ф.И. 446
- Шарапов С.Ф. 316, 332, 333, 355
- Шварценберг К.Ф. 187
- Шекспир В. 247, 320, 371, 376, 430, 441
- Шелгунов Н.В. 317
- Шервашидзе, кн. 111
- Шервуд Л.В. 476
- Шернваль Л.Р. 347, 358
- Шестаков Д.П. 300, 308, 311, 312, 324
- Шестов Лев 20
- Шиллер Ф. 225, 247, 371
- Шкловский В.Б. 24
- Шолохов М.А. 430
- Шпанькова Т.Н. 116–117
- Шпенглер О. 38, 462
- Шперк Ф.Э. 253, 290–292, 305, 320, 321, 481
- Шталь А.В. 36, 150
- Штейнер Р. 86
- Шумихин С.В. 354
- Шуф В.А. 105, 492
- Эккерман И.П. 321
- Эльпорт Галя вклейка
- Энгельгардт Н.А. 106
- Эпштейн М.Н. 29
- Эрн В.Ф. 373, 378
- Эфрон С.К. 332–334, 355
- Эфрос А.М. 474
- Ювенал 250
- Южаков С.Н. 167, 296, 323
- Южный М. 172, 259, 280
- Ющинский А. 487, 490
- Яблоновский А.А. 477, 479
- Яворский Стефан 368, 377
- Языков Н.М. 374, 395
- Яковенко М.М. 428, 432
- Якушева Вера вклейка
- Яроцкий В.Г. 107, 108
- Ярош 186

КОРОТКО ОБ АВТОРАХ ЭТОЙ КНИГИ

Татьяна Владимировна Померанская и Алексей Леонидович Налепин – филологи, издатели, исследователи творчества В.В. Розанова и русской общественной мысли рубежа XIX – начала XX вв., создатели и издатели исторического альманаха «Российский Архив», продолжающего традиции «Русского Архива» Петра Ивановича Бартенева. Т.В. Померанская и А.Л. Налепин в 1970 году окончили филологический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова. Сферой научных интересов А.Л. Налепина является литературоведение, фольклористика, этнография. Он доктор филологических наук, кандидат исторических наук, лауреат Государственной премии Российской Федерации в области литературы и искусства (1998), заслуженный работник культуры РФ, член Союза писателей России, главный редактор альманаха «Российский Архив». Т.В. Померанская более двадцати лет проработала в Центральном государственном архиве литературы и искусства (ЦГАЛИ, ныне РГАЛИ), в настоящее время заместитель главного редактора альманаха «Российский Архив». Является публикатором многих архивных материалов В.В. Розанова. Т.В. Померанская и А.Л. Налепин являются лауреатами премии города Москвы 2012 года в области литературы и искусства.

Содержание

| | |
|--|-----|
| <i>НИКИТА МИХАЛКОВ</i> . НАПУТСТВЕННОЕ СЛОВО | 3 |
| <i>П.В. ПАЛИЕВСКИЙ</i> . РОЗАНОВ НАДОЛГО | 5 |
| Вместо предисловия. О БЛАГОРОДНОЙ ЛАНИ, ВЫМИСТОЙ КОРОВЕ, ЗЕЛЕНОГЛАЗОМ КОЗЛЕ И ШЕЛУДИВОЙ СОБАКЕ..... | 7 |
| МАТЕРИАЛЫ И ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| «РАЗНОЦВЕТНАЯ ДУША» | |
| ВАСИЛИЯ ВАСИЛЬЕВИЧА РОЗАНОВА..... | 17 |
| «КНИГА – ЭТО БЫТЬ ВМЕСТЕ» | 31 |
| В.В. РОЗАНОВ И НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА..... | 57 |
| НЕВЕРБАЛЬНЫЕ КОМПОНЕНТЫ ПОЭТИКИ В.В. РОЗАНОВА И ИХ ФОЛЬКЛОРНЫЕ ПАРАЛЛЕЛИ | 83 |
| «ВСЕГО ЛИШЬ НЕПОЛНЫЙ ГОД...»..... | 93 |
| БРАНДЕЛЯС, ЛУКУСТА И «ОТСЫРЕЛОСТЬ ПОЧВЫ»..... | 100 |
| МОЛЧАНИЕ РОЗАНОВСКОЙ ПИРАМИДЫ..... | 114 |
| ИЗ «РОЗАНОВСКОЙ ЭНЦИКЛОПЕДИИ» | 124 |
| РОЗАНОВ. ТЕКСТЫ | |
| В.В. РОЗАНОВ МАТЕРИАЛЫ К БИОГРАФИИ..... | 139 |
| ПЕРЕПИСКА В.В. РОЗАНОВА С К.Н. ЛЕОНТЬЕВЫМ | 157 |
| ПИСЬМА В.В. РОЗАНОВА К П.П. ПЕРЦОВУ. 1896–1901 гг. | 284 |
| ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ РОЗАНОВ. ПОСЛЕДНИЕ ПИСЬМА. 1917–1919 гг. | 329 |
| С ВЕРШИНЫ ТЫСЯЧЕЛЕТНЕЙ ПИРАМИДЫ. РАЗМЫШЛЕНИЯ О ХОДЕ РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 360 |
| В КРУГЕ РОЗАНОВА | |
| П.П. ПЕРЦОВ. ЛИТЕРАТУРНЫЕ АФОРИЗМЫ | 381 |
| ИЛЛЮЗИИ «ЖИРНОГО ЦАРСТВА», ИЛИ «ГАМЛЕТ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ» | 418 |

| | |
|--|------------|
| ПУТЬ И СУДЬБА АЛЕКСАНДРА ВАНОВСКОГО | 427 |
| О РУССКОМ ЛЕСЕ И ФРАНЦУЗСКОМ ПАРКЕ..... | 433 |
| ПРЕДЧУВСТВИЕ ТУРЕЦКИХ ЦЕПЕЙ..... | 436 |
| КОГДА ЖЕ ПРИДУТ ТРЕТЬЯКОВЫ И МАМОНТОВЫ? | 443 |
| ОСТАТЬСЯ В ПАМЯТИ... .. | 454 |
| СЦЕНАРИЙ НЕСОСТОЯВШЕГОСЯ ФИЛЬМА О В.В. РОЗАНОВЕ..... | 459 |
| ПЕРЕЧЕНЬ АФОРИЗМОВ ЗА 1913 ГОД, СОСТАВЛЕННЫЙ В.В. РОЗАНОВЫМ («Перед Сахарной», «В Сахарне», «После Сахарны») | 466 |
| ПЕРВЫЕ ПУБЛИКАЦИИ | 494 |
| УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН..... | 497 |
| КОРОТКО ОБ АВТОРАХ ЭТОЙ КНИГИ | 509 |



А.Л. Налепин
Т.В. Померанская
РОЗАНОВ@etc.ru

Проект Сергея Биговчего
Оформление книги – Александр Стройло

Технический редактор Р. П. Васильева
Корректор Т. П. Николаева
Компьютерная верстка И. Г. Александровой

ГППО «Псковполиграф»
180004, Псков, ул. Ротная, 34

Подписано в печать 28.08.2013 г. Формат 60x88¹/₁₆.
Гарнитура Times New Roman. Печать офсетная. Объем 32 печ. л. + 1 печ. л. вкл.
Заказ № 1. Тираж 3000 экз.

Отпечатано в ГППО «Псковская областная типография».
180004, Псков, ул. Ротная, 34

ISBN 978-5-94542-292-6



9 785945 422926 >